

Г.Х. Федоров

Г.Х. Федоров

Ганс-Христиан
Андерсен

Собрание сочинений
в четырех томах

Ганс-Христиан Андерсен

Собрание сочинений
в четырех томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Ганс-Христиан Андерсен

Собрание сочинений том 3

ИМПРОВИЗАТОР. ПЕТЬКА-СЧАСТЛИВЕЦ.
КАРТИНКИ-НЕВИДИМКИ.
ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ. ПЕРВЕНЕЦ.
ДОРОЖЕ ЖЁМЧУГА И ЗЛАТА.
ГРЕЗЫ КОРОЛЯ. 45 СТИХОТВОРЕНИЙ
В ПЕРЕВОДАХ РУССКИХ ПОЭТОВ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

**ББК 84.4Д
А65**

**Иллюстрации художника
М. ПЕТРОВА**

**Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА**

А65 Андерсен Ганс-Христиан
**Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3: Импровизатор: Роман; Повести; Комедии;
Стихотворения / Пер. с дат. — М.: ТЕРРА, 1995. — 544 с.: ил.**
ISBN 5-300-00083-3 (т. 3)
ISBN 5-85255-750-1

**В том 3 включены роман «Импровизатор», в котором нашли свое яркое выражение конфликт поэта-меч-
тателя и пошлого, бессердечного света, а также повести, комедии и стихотворения датского писателя.**

А 4703010000-118 Подписное
А30(03)-95

ББК 84.4Д

ISBN 5-300-00083-3 (т. 3)
ISBN 5-85255-750-1

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995



ИМПРОВИЗАТОР

Роман в двух частях

Часть первая

ПЕРВАЯ ОБСТАНОВКА МОЕГО ДЕТСТВА

Кто бывал в Риме, хорошо знает площадь Барберини с ее чудным фонтаном: тритон опрокидывает раковину, и вода бьет из нее в воздух высокой струей. Кто же не бывал там, знает ее по гравюрам. Жаль только, на них не видно высокого дома, что на углу улицы Феличе; из стены его струится вода и сбегает по трем желобкам в каменный бассейн. Дом этот представляет для меня особый интерес — я родился в нем. Оглядываясь назад, на свое раннее детство, я просто теряюсь в хаосе пестрых воспоминаний и сам не знаю, с чего начать. Охватив же взором драму всей моей жизни, я еще меньше соображаю, как мне изложить ее, что пропустить как несущественное и на каких эпизодах остановиться, чтобы нарисовать возможно полную картину. Ведь то, что кажется особенно интересным мне самому, будет, может быть, безразличным для лица постороннего! Мне хотелось бы рассказать все правдиво и без всяких прикрас, но — тщеславие, это несносное тщеславие, желание нравиться! Оно уж непременно впутается и сюда! Оно было посеяно во мне, еще когда я был ребенком, разрослось с тех пор, как евангельское горчичное зерно, в целое дерево, и в ветвях его свили себе гнезда мои страсти. Вот одно из первых моих воспоминаний, уже ясно указывающее на эту черту моего характера.

Было мне около шести лет от роду; я играл с другими детьми возле церкви капуцинов; все мои товарищи были моложе меня. К церковным дверям был прибит небольшой медный крест; помещался он почти как раз на самой середине двери, и я только-только мог достать до него рукой. Матери наши всякий раз, как мы проходили с ними мимо этой двери, подымали нас, ребят, поцеловать священное изображение. Теперь мы играли тут одни, и вдруг самый младший из моих товарищей спросил: почему младенец Иисус никогда не придет поиграть с нами? Я, как

самый старший и умный, объяснил это тем, что Он висит на кресте, и затем мы все направились к церковным дверям посмотреть на Него. Младенца Иисуса мы на упомянутом кресте не нашли, но все-таки захотели поцеловать крест, как учили нас наши матери. Но где же нам было достать до него! И вот мы принялись подымать друг друга кверху, но силы оставляли поднимающего как раз в ту минуту, когда вытянутые губки поднятого готовы были расцеловать невидимого младенца, и ребенок шлепался. В это самое время матери моей случилось проходить мимо. Увидав нашу игру, она остановилась, сложила руки и промолвила: «Ангельчики вы Божьи! А ты — мой херувимчик!» И она крепко расцеловала меня.

Я слышал потом, как она рассказывала об этом нашей соседке и опять называла меня невинным ангелочком; мне это очень понравилось, зато невинность моя поубавилась: семя тщеславия было пригрето первыми лучами солнышка! Душа у меня от природы была мягкая, благочестивая, но, к сожалению, добрая матушка, совсем не думая о том, что это отзовется на моей детской невинности, дала мне заметить, изучить все мои действительные и воображаемые достоинства. Невинность ведь что василиск: едва увидит себя — умирает.

Монах капуцин, фра Мартино, был духовником моей матери, и она и ему рассказала, какой я благочестивый мальчик. Я, правда, отлично знал наизусть много молитв — хоть и не понимал в них ни полслова, — и монах очень любил меня за это. Он даже подарил мне картинку с изображением Мадонны, плакавшей горькими крупными слезами, которые дождем падали в пекло, где их с жадностью ловили грешники. А один раз он взял меня с собою в монастырь; особенное впечатление произвела на меня там открытая галерея со столбами, шедшая вокруг небольшого четырехугольного картофельного огорода, на котором красовались также два кипариса и одно апельсиновое дерево. По стенам галереи висели рядами старые портреты умерших монахов, а на дверях каждой кельи были наклеены лубочные картинки, изображавшие страдания святых мучеников; я смотрел на них тогда с тем же благоговейным чувством, с каким впоследствии взирал на шедевры Рафаэля и Андреа дель Сарто.

— Ты храбрый мальчик! — сказал мне фра Мартино. — Сейчас я покажу тебе мертвых!

С этими словами он отворил маленькую дверцу, и мы спустились вниз на несколько ступенек. Там я увидел перед собою черепа, черепа!.. Они были сложены в правильные ряды и образовывали целые стены и даже отдельные часовни и ниши, в которых стояли скелеты наиболее прославившихся монахов. Они были завернуты в коричневые ряссы, подпоясаны веревками, а в руках держали молитвенники или высохшие цветы. Алтари, подсвечники и разные украшения в этих часовнях были из клю-

чиц и позвоночных хребтов, барельефы — из мелких костей, но все отличалось грубой безвкусицей, как и самая идея. Я крепко прижался к монаху, а он, сотворив молитву, сказал мне: «Вот здесь буду когда-нибудь почивать и я; ты придешь тогда навестить меня?» Я не ответил ни слова, боязливо поглядывая то на него, то на окружавшую нас ужасную, дикий обстановку. Нелепо было, в самом деле, приводить в такое место ребенка. Я был совсем подавлен, угнетен этим зрелищем и успокоился, только вернувшись в келейку фра Мартино; здесь в окна заглядывали чудесные желтые апельсины, а на стене висела пестрая картина: ангелы возносили Богородицу на небо, внизу же виднелась гробница ее, вся утопавшая в цветах.

Это первое посещение монастыря надолго дало пищу моей фантазии, и я до сих пор живо помню его. Монах стал казаться мне совсем иным существом, нежели все прочие люди, которых я знал. Он ведь постоянно был в общении с мертвыми, столь похожими в своих коричневых рясах на него самого, знал и рассказывал мне столько историй о святых и чудесах, матушка моя так чтала его святость — все это заставляло меня мечтать о том, как бы и мне когда-нибудь стать таким же.

Мать моя давно овдовела и жила только тем, что шила на людей да отдавала внаймы нашу большую комнату. Прежде мы сами занимали ее, но теперь жили на чердачке, залу же, как мы называли большую комнату, снял у нас молодой художник Федерико. Он был веселый, живой молодой человек, родом издалека, оттуда, где не знали ни Мадонны, ни Иисуса, говорила матушка, — из Дании. Я тогда еще не мог взять в толк, что есть на свете иной язык, кроме нашего, и, думая, что художник не понимает меня просто потому, что глух, принимался выкрикивать слова во все горло, а он смеялся надо мною, часто угощал меня фруктами и рисовал мне солдатиков, лошадок и домики. Мы скоро познакомились, я очень полюбил его, да и матушка говорила, что он славный человек. Но вот я услышал однажды между нею и фра Мартино такой разговор, который внушил мне совсем особые чувства к молодому художнику. Мать спросила монаха, в самом ли деле иностранец обречен на вечную гибель и адские муки. «А ведь и он, и многие из иностранцев славные, честные люди и не делают ничего дурного. Все они добры к бедным, аккуратно платят за квартиру, и, сдается мне, за ними не водится таких грехов, как за многими из наших!» — прибавила она.

— Так! — ответил фра Мартино. — Все это верно! Часто они бывают людьми очень почтенными, но знаете отчего? Видите ли, дьявол уже знает, что все еретики принадлежат ему и потому никогда не искушает их. Вот им и легко быть честными, не грешить. Напротив, всякий добрый католик — дитя Божие, и дьяволу приходится пускаться в ход

все свои соблазны, чтобы уловить его в свои сети. Он искушает нас, слабых, и мы грешим; еретиков же, как сказано, не искушает ни дьявол, ни плоть!

На это мать моя не нашлась что ответить и только вздохнула от жалости к бедному молодому человеку. Я же начал плакать: мне казалось просто смертным грехом осудить на вечные мучения доброго молодого человека, который рисовал мне такие чудные картинки!

Третьим лицом, игравшим значительную роль в моем детстве, был дядюшка Пеппо, по прозвищу «злой Пеппо» или «король Испанской лестницы»¹; лестница эта была его постоянной резиденцией. У Пеппо от рождения были сухие и крестообразно сведенные ноги, и он с раннего детства приобрел изумительный навык передвигаться с места на место с помощью рук. Он упирался ими в дощечки, прикрепленные к ним ремнем, и двигался таким образом почти так же быстро, как люди на здоровых ногах. День-деньской, до самого заката солнца, он сидел, как сказано, на Испанской лестнице, но никогда не кланчил милостыни, а только вкрадчиво улыбался и приветствовал прохожих: «Bon giorno!»² Мать моя не особенно жаловала его и даже стыдилась родства с ним, но поддерживала с ним дружбу ради меня, как часто говорила. У него было кое-что скоплено, и я мог, если сумею поладить с ним, сделаться единственным его наследником — конечно, лишь в том случае, если он не вздумает завещать все церкви! Пеппо на свой лад благоволил ко мне, но мне в его присутствии всегда было как-то не по себе. Дело в том, что мне случилось однажды быть свидетелем довольно характерного происшествия, заставившего меня бояться дядюшку Пеппо. На одной из нижних ступеней Испанской лестницы сидел старый слепой нищий и побрякивал деньгами в жестяной коробочке, приглашая этим прохожих бросить в нее и свою лепту. Многие проходили мимо Пеппо, не обращая внимания на его заискивающую улыбку и махание шляпой, но подавали слепому, который, таким образом, выигрывал своим молчанием куда больше. Уже трое прохожих поступили таким образом; прошел четвертый и тоже бросил в коробочку слепого монетку. Тут уж Пеппо невтерпеж стало. Я видел, как он, словно змея, скользнул вниз и закатил слепому такую оплеуху, что тот уронил и деньги, и палку.

— Ах ты, мошенник! — закричал Пеппо. — Ограбить меня вздумал! Ты и калека-то ненастоящий! Не видит — вот и весь его изъян, а таскает у меня деньги из-под носу!

¹ С Испанской площади ведет к холму Пинчио и лежащим там улицам широкая каменная лестница высотой с четырехэтажные дома, стоящие возле. Лестница эта является сборным пунктом римских нищих и называется Испанскою по имени площади.

² Добрый день!

Дальше я не слышал — я так испугался, что со всех ног пустился домой с бутылкой вина, за которой меня посылали.

В большие праздники мне приходилось бывать с матушкой у него в гостях, причем мы всякий раз являлись с гостинцами, приносили ему то кисть крупного винограда, то засахаренных яблок, до которых он был большой охотник. Я должен был целовать ему руку и называть его дядюшкой. Он как-то странно посмеивался при этом и давал мне мелкую монетку, но всегда с наставлением спрятать ее, а не тратить на пирожное: съем я его, и у меня не останется ничего, а спрячу деньги — у меня все-таки что-нибудь да будет!

Жил он грязно, гадко; в одной каморке вовсе не было окон, а в другой всего одно, да и то под самым потолком, и с разбитым и склеенным стеклом. Мебели в каморках совсем не было, кроме большого широкого ящика, на котором Пеппо спал, да двух бочек; в них он прятал свои платья. Я всегда шел к нему со слезами, и немудрено: матушка, постоянно увещевая меня быть с ним ласковым, в то же время и страшила меня им под сердитую руку, говоря, что отдаст меня моему милому дядюшке, вот я и буду сидеть да распевать с ним на лестнице — авось что-нибудь заработаю! Я, впрочем, знал, что она никогда этого не делает, — я был ведь зеницей ее ока.

На стене соседнего дома висел образ Мадонны, а перед ним вечно теплилась лампада. Каждый вечер, когда начинали звонить к «Ave Maria», я и другие ребята падали ниц перед этим образом и пели молитву Богородице и прелестному младенцу, написанным на образе и украшенным лентами, бусами и серебряными сердечками. При мерцании огонька лампады мне часто казалось, что Дева Мария и младенец шевелятся и улыбаются нам. Я пел чистым, высоким дискантом, и говорили, что я пою чудесно. Однажды перед нами остановилось семейство англичан, прослушало наше пение, и, когда мы встали с земли, знатный господин дал мне серебряную монету — «за мой чудесный голос», объяснила мне матушка. Но сколько вреда мне это принесло! С тех пор я, распевая перед Мадонной, не думал уже только о ней, а о том — слушают ли, как хорошо я пою. И вдруг меня охватывали жгучие угрызения совести и страх разгневать Мадонну, и я начинал искренно молиться и просить, чтобы Она помиловала меня, бедняжку.

Вечерняя молитва перед образом была единственным связующим звеном между мною и другими детьми. Я вел вообще тихую, сосредоточенную жизнь мечтателя, мог по целым часам один-одинешенек лежать на спине и смотреть в окно на дивное голубое итальянское небо и на удивительную игру красок при заходе солнца, когда облака принимали фиолетовые оттенки, а самый свод небесный горел золотом. Как часто хотелось мне полететь туда, туда, за Квиринал и дома, к высоким пиниям, вырисовывавшимся гигантскими тенями на пурпурном фоне не-

ба. Совершенно иного рода зрелище открывалось из противоположного окошка нашей комнаты. Из него видны были наш и соседний дворы; оба представляли небольшие площадки, тесно сжатые высокими стенами домов и затемненные огромными, нависшими над ними деревянными галереями. Посреди каждого двора был каменный колодезь, и пространство вокруг него было до того узко, что двум встречным, пожалуй, и не разойтись было. Сверху, из своего окна, я мог, таким образом, видеть лишь эти два глубоких колодца, поросших тонкой, нежной зеленью, венеринными волосами, как ее называют. Глядя в их беспросветную глубину, я как будто глядел в недра самой земли, и воображение рисовало мне ряд причудливых картин. Мать, впрочем, украсила окошко большим пучком розог, чтобы я постоянно видел, какие растут на нем для меня плоды на тот случай, если я полезу туда, да не вывалюсь и не утону.

Но теперь я перейду к описанию происшествия, чуть было не положившего конец сказке моей жизни, прежде нежели она успела достигнуть более сложного развития.

ПОСЕЩЕНИЕ КАТАКОМБ. Я ПОСТУПАЮ В ПЕВЧИЕ. АНГЕЛОЧЕК. ИМПРОВИЗАТОР

Жилец наш, молодой художник, брал меня иногда с собою, отправляясь бродить за город; я не мешал ему, пока он срисовывал какой-нибудь вид, когда же он кончал работу, забавлял его своею болтовней, — он уже стал понимать наш язык. Однажды я побывал с ним и в *sigia hostilia*, в глубоких подземных пещерах, где в древности держали диких зверей для игрищ в цирке, во время которых безвинных пленников бросали на растерзание кровожадным гиенам и львам.

Темные переходы, глухие каменные стены, о которые проводник наш, монах, беспрестанно ударял горящим факелом, глубокие каменные цистерны с зеркальной прозрачной водой, к которой то и дело приходилось прикасаться факелом — не то просто и не верилось, что это вода, а не пустое пространство, — все возбуждало мое воображение: страха же я не ощущал ни малейшего, так как и не подозревал ни о какой опасности.

— Мы опять пойдем в пещеры? — спросил я художника, заведя в конце улицы верхушки Колизея.

— Нет! — ответил он. — Сегодня ты увидишь еще не то! И я срисую и тебя, кстати, славный мой мальчик!

Мы шли все дальше и дальше, между двумя рядами белых стен, которыми были обнесены виноградники, и между развалинами древних терм, пока не вышли за город. Солнце жгло, и крестьяне, устроив над



своими телегами беседки из зеленых ветвей, спали в них, а лошади, предоставленные самим себе, плелись шагом, пощипывая связку сена, подвешенную для этой цели у них сбоку. Наконец мы добрались до грота Эгерии, отдохнули там, закусили и выпили вина пополам со свежей водой из источника, журчавшего между каменными глыбами. Стены и своды грота и внутри и снаружи обросли нежной зеленью; все как будто было обито зеленым шелком и бархатом; над самым же входом спускался густыми гирляндами плющ, густотой и свежестью листьев не уступавший калабрийскому винограду. В нескольких шагах от грота стоит — вернее, стоял, так как теперь от него остались одни развалины — маленький нежилой домик, построенный над одним из спусков в катакомбы. В древности они, как известно, служили для соединения Рима с окрестными городами, но затем часть ходов была завалена обрушившимися стенами, а часть заложена, так как катакомбы стали служить убежищем для воров и контрабандистов. Спуск через могильные склепы церкви святого Себастиана и только что упомянутый и были тогда единственными открытыми для публики. Мы, впрочем, пожалуй, последние, спускались через второй — вскоре после происшествия с нами его заложили, и остался открытым для иностранцев только один вход через упомянутую церковь, да и через тот их стали пускать лишь в сопровождении монаха.

Глубоко под землей пересекаются ходы, прорытые в мягкой земле; здесь их такое множество и все они так похожи один на другой, что в них может заблудиться даже тот, кто отлично знаком с направлениями главных ходов. Я-то, впрочем, ни о чем таком не думал, а художник принял такие меры предосторожности, что даже не задумался прихватить с собою и меня. Он зажег одну свечу, другую взял в карман, прикрепил у входа клубок ниток, и наше странствие началось. Своды то становились так низки, что даже я едва мог держаться прямо, то опять уходили ввысь высокими арками, расширявшимися в местах пересечения ходов в четырехугольники. Мы миновали круглую пещеру с маленьким алтарем посредине; здесь тайно отправляли богослужения первые христиане, преследуемые язычниками. Федерико рассказывал мне о погребенных здесь четырнадцать папах и многих тысячах мучеников. Мы подносили свечу к большим трещинам в могильных нишах и видели там пожелтевшие кости. Пройдя еще несколько шагов, Федерико приостановился: нитка кончалась. Он крепко привязал конец ее к петлице своей куртки, воткнул свечу между камнями и принялся срисовывать мрачные своды. Я сидел возле, на камне; художник велел мне сложить руки и глядеть вверх. Свеча наполовину уже сгорела, но рядом лежала еще одна целая; кроме того, Федерико взял с собою огниво и трут, чтобы можно было вновь зажечь свечу, если она внезапно погаснет.

Фантазия рисовала мне тысячи диковинных предметов в этих бесконечных переходах, погружавшихся вдали в сплошной мрак. Тихо было

кругом; слышался только однообразный звук падения водяных капель. Я совсем забылся, предавшись своим мечтам, как вдруг испугался, взглянув на моего друга-живописца. Он как-то странно вздохнул и стал вертеться на месте, ежеминутно наклоняясь к земле, словно хватая что-то, потом зажег большую свечу и опять принялся искать около себя. Меня охватил испуг, и я с плачем поднялся с места.

— Ради Бога, сиди смирно, дитя! — сказал он. — Ради самого Бога! — И он опять впился глазами в землю.

— Я хочу наверх! — закричал я. — Я не хочу оставаться тут! — И я схватил его за руку и потянул за собою.

— Дитя, дитя! Ты милый, славный мальчик! Я дам тебе пирожного и картинок! А вот тебе пока денег! — И он вытащил из кармана свой кошелек и отдал мне все, что в нем было, но я чувствовал, что рука его холодна как лед, что сам он весь дрожит, и я испугался еще больше и начал громко призывать матушку. Тогда он сердито схватил меня за плечо, сильно потрянул и сказал: — Смирно, или я прибью тебя! — Затем он крепко обвязал мою руку своим носовым платком, чтобы я не вырвался от него, но тут же наклонился ко мне и крепко поцеловал, называя меня «своим милым, дорогим Антонио» и прося меня молиться Мадонне!

— Разве нитка потерялась? — спросил я.

— Мы найдем ее, найдем! — ответил он и опять принялся искать. Между тем огарок первой свечи догорел, и по мере того, как от сильных движений Федерико быстро оплывала и догорала в его руке другая, страх его все возрастал. В самом деле, без нитки нам невозможно было выбраться из катакомб; каждый шаг мог только удалить нас от выхода и завести вглубь, откуда уже никто не мог бы спасти нас.

После тщетных поисков Федерико бросился ниц на землю, обнял меня за шею и вздохнул:

— Бедное дитя!

Я громко заплакал, чувствуя, что уже никогда не попаду домой. Лежа на земле, он крепко прижал меня к себе, рука моя скользнула под него, я уперся пальцами в щебенку и вдруг нащупал нитку.

— Вот она! — закричал я.

Он схватил мою руку и точно обезумел от радости: ведь и впрямь жизнь наша висела на этой ниточке! Мы были спасены.

О, как тепло светило солнышко, какой лазурью сияло небо, как хороши были зеленые деревья и кусты! Мы не могли наглядеться на все это, выйдя опять на свет Божий. Федерико снова расцеловал меня, потом вынул из кармана свои красивые серебряные часы и сказал мне:

— Вот тебе!

Я так обрадовался, что совсем позабыл недавнее приключение, но мать моя никак не могла забыть его и больше уж не позволяла художнику

брать меня с собою на прогулки. Фра Мартино сказал, что Господь спас нас единственно ради меня, что это мне послала Мадонна нитку, а не еретику Федериго, что я добрый, благочестивый мальчик и никогда не должен забывать ее доброты и милости ко мне. Это приключение, а также насмешливые уверения некоторых знакомых, что я уродился монахом, так как, кроме матушки, мне вообще не была по сердцу ни одна женщина, убедили мою мать, что я предназначен в служители церкви. И впрямь, сам не знаю почему, я недолюбливал женщин; в них было, на мой взгляд, что-то отталкивающее. Я пренаивно высказывал это, и за то все девушки и женщины, приходившие к моей матери, безжалостно дразнили меня, настаивая, чтобы я непременно поцеловал их. В особенности донимала меня своими насмешками и часто доводила даже до слез Мариучия, веселая, жизнерадостная крестьянская девушка. Она была натурщица по ремеслу и поэтому одевалась всегда очень красиво и пестро, на голове же носила большое белое покрывало. Она часто служила моделью Федериго, заходила и к матери моей, и при этом всегда называла себя моею невестой, а меня своим женихом, который непременно должен поцеловать ее. Я всегда отказывался, но она заставляла меня силой. Однажды я не выдержал и разревелся; тогда она назвала меня грудным младенцем и сказала, что меня надо покормить. Я бросился к дверям, но она поймала меня, посадила к себе на колени и прижала мое лицо к своей груди. Я отворачивался что было сил, а она все крепче и крепче прижимала меня. В борьбе я вырвал из косы девушки серебряную стрелу, и волосы ее пышной волной рассыпались по ее обнаженным плечам и закрыли меня. Матушка стояла в другом углу комнаты, смеялась и подзадоривала Мариучию, а Федериго в дверях незаметно срисовывал всю группу.

— Не надо мне невесты, не надо жены! — говорил я матери. — Я хочу быть священником или капуцином, как фра Мартино!

Молчаливость и сосредоточенность моя, особенно по вечерам, также указывали моей матери на мое предназначение в духовное звание. А я сидел да мечтал о том, какие дворцы и церкви построю, когда вырасту и разбогатею, как буду тогда разъезжать кардиналом в красных каретах в сопровождении раззолоченных слуг. Иногда же я рисовал себе целую мученическую эпопею, похожую на те, которые рассказывал мне фра Мартино; героем ее являлся, конечно, я сам и по воле Мадонны никогда не испытывал причиняемых мне мук. В особенности же увлекала меня мечта отправиться на родину Федериго, чтобы обратить там всех его соотечественников и сделать их сопричастными общему спасению.

Как матушка и фра Мартино устроили это — я не знаю, но только в одно прекрасное утро она нарядила меня в лиловый стихарь, сверх него накинула кисейную рубашку, доходившую мне до колен, и затем подвела меня к зеркалу посмотреться. Я был принят в певчие церкви

капуцинов, должен был кадить из большой кадиланицы и петь перед алтарем. Фра Мартино дал мне все нужные указания. О, как я был счастлив! Скоро я совсем освоился с новой обстановкой и чувствовал себя в маленькой, но уютной монастырской церкви совсем как дома, знал на память каждую ангельскую головку, изображенную на образах, каждую пеструю завитушку на колоннах и мог, зажмуря глаза, представить себе прекрасного архангела Михаила, попирающего безобразного дракона. А сколько самых причудливых мыслей возбуждали во мне высеченные на каменном полу черепа в венках из зеленого плюща!

В праздник Всех Святых монахи взяли меня с собою в капеллу мертвых, куда водил меня фра Мартино в первое же мое посещение монастыря. Монахи пели заупокойную обедню, а я с двумя мальчиками-однолетками кадил перед большим алтарем, составленным из черепов. В паникадила, сделанные из человеческих костей, вставили свечи, скелетам монахов дали в руки новые букеты, а на черепа им надели свежие венки. Народу, по обыкновению, набралось туда множество, все встали на колени, торжественно зазвучало «Miserere...». Долго глядел я на пожелтевшие черепа и кадила́ный дым, стелившийся причудливыми клубами между ними и мною, и, наконец, все закружилось передо мной, взор мой застлало какое-то радужное сияние, в ушах зазвенели тысячи колокольчиков, мне показалось, что я плыву, уношусь по течению, невыразимо сладкое чувство охватило меня... Больше я ничего не помню: сознание оставило меня.

Тяжелый, спертый воздух и чересчур разгоряченное воображение были причинами моего обморока. Придя в себя, я увидел, что лежу на коленях у фра Мартино под тенью апельсинового дерева, росшего в монастырском саду.

Сбивчивый рассказ мой о том, что мне сейчас чудилось в грезах, был истолкован им и всей братией по-своему: я удостоился небесного видения и не в силах был вынести зрелища блаженных духов, воспаривших надо мною в блеске и великолепии.

Такое отношение ко мне повело к тому, что я часто стал видеть чудесные сны, некоторые даже сочинять сам, рассказывал их матери, а та передавала своим друзьям, и за мной с каждым днем все больше и больше устанавливалась репутация избранного Богом дитяти.

Незаметно приблизилось и желанное Рождество. Горные пастухи, в коротких плащах и остроконечных, украшенных лентами шляпах, стали стекаться в город и возвещать звуками волынки о рождении Спасителя перед всеми домами, на дверях которых находились изображения Мадонны. Я ежедневно просыпался под одну и ту же монотонную заунывную мелодию и сейчас принимался повторять свою речь. Дело в том, что я в числе других избранных детей — мальчиков и девочек — должен был на Рождестве произнести проповедь перед образом Иисуса в церкви святой Марии Арачели.

И не только я сам да матушка с Мариучией радовались тому, что я, девятилетний мальчуган, должен был держать речь, но также и художник Федерико, перед которым я без их ведома делал репетицию, стоя на столе. На такой же стол, только покрытый ковром, поставили нас, детей, и в церкви, где мы должны были перед всей паствой держать заученную наизусть речь «об обливавшемся кровью сердце Мадонны и о красоте младенца Иисуса». Я совсем не трусил, сердечко мое билось только от радости, когда я очутился на возвышении и взоры всех устремились на меня. Казалось, что наибольшее впечатление на слушателей произвел именно я, но вот на стол поставили изящную, нежную маленькую девочку, с таким светлым личиком и мелодичным голоском, что все единогласно называли ее ангелочком. Даже матушка, которая охотно отдала бы пальму первенства мне, громко заявила, что девочка ни дать ни взять ангелочек с большого престольного образа — такие у нее дивные черные глазки, черные как смоль волосы, детское и в то же время необыкновенно умное выражение личика, прелестные маленькие ручки!.. Нет, право, матушка уж чересчур много занималась ею! Она, впрочем, сказала, что и я тоже был похож на ангелочка.

Есть песня про соловья, который, сидя птенчиком в гнезде, клевал зеленый листок розового куста и не замечал бутона, готового распуститься, спустя же несколько недель, когда роза расцвела, пел только о ней, полетел прямо на шипы и истек кровью. Песня эта часто приходила мне на ум впоследствии, когда я стал постарше; тогда же она еще ничего не говорила ни моему детскому слуху, ни сердцу.

Дома я должен был повторять мою речь перед матушкой, Мариучией и другими матушкиными приятельницами, и не один, а много раз. Это немало льстило моему самолюбию, но они скорее устали слушать меня, чем я повторять. Чтобы вновь заинтересовать мою публику, я додумался сам составить новую речь, и, хотя она явилась скорее описанием церковного торжества, нежели настоящей рождественской проповедью, Федерико, который первый услышал ее, сказал, что она ничуть не хуже сочиненной фра Мартино и что во мне «сидит поэт». Говоря это, он смеялся, но я тем не менее был польщен. Слово «поэт» заставило меня, однако, сильно призадуматься — я не понимал хорошенько, что оно значит, и наконец порешил, что это «сидит во мне добрый ангел», может быть, тот самый, который показывает мне такие прелести во сне. И только летом один случай несколько лучше объяснил мне значение поэта и пробудил в моей детской душе новые идеи.

Матушка редко переступала пределы нашего квартала, поэтому для меня было настоящим праздником услышать от нее, что мы отправимся с нею к одной из ее приятельниц, жившей в Трастевере¹. Меня нарядили

¹ Часть Рима, расположенная на правом берегу Тибра.

в праздничное платье: к груди прикрепили булавками пестрый шелковый лоскуток, заменявший мне жилетку, сверху накинули коротенькую курточку, шейный платок завязали большим бантом, а на голову надели вышитую шапочку. Я был просто обворожителен!

Возвращались мы назад домой уже поздно, но лунный вечер был так ясен и светел, воздух так свеж; высокие кипарисы и пинии, росшие на ближайших холмах, резко вырисовывались на голубом фоне неба. Это был один из тех вечеров, каких немного приходится пережить каждому; они не знаменуются никакими особенными событиями, но тем не менее глубоко запечатлеваются со всеми своими оттенками на крыльях Психеи — души. Вспоминая впоследствии Тибр, я всегда вижу его перед собою таким именно, каким видел в тот вечер, вижу эту густую желтоватую воду, в которой отражался месяц, вижу черные старые быки ветхого моста, резкими тенями выступавшие из потока, вижу пенившие поток мельничные колеса и веселых девушек, отплясывавших с тамбуринами в руках сальтарелло¹. На улицах вокруг Санта-Мария делла Ротонда движение и жизнь еще не прекращались. Мясники и торговки фруктами сидели за своими столами, на которых между гирляндами из лавровых листьев были разложены их товары и горели на вольном воздухе свечи. Под горшками, в которых жарились каштаны, пылал огонь; говор, крики, шум и гам стояли в воздухе; чужестранец, не понимающий языка, мог бы подумать, что тут идут ссоры не на жизнь, а на смерть. Матушка встретила здесь свою старую приятельницу, торговку рыбой, и женщина задержала нас своими разговорами до поздней ночи. Начали уже тушить свечи, прежде чем мы двинулись дальше; когда же матушка проводила приятельницу до дому — на улицах, даже на Корсо, стояла уже полная тишина, но как только мы обогнули площадь ди Треви, где находится великолепный каскад, навстречу нам опять понеслись веселые звуки.

Лунный свет озарял старое палаццо; между каменными глыбами, образующими его фундамент и будто наваленными как попало, журчала вода. Тяжелый каменный плащ Нептуна развевался по ветру, а сам Нептун глядел на каскад и на окружавших его тритонов, правивших морскими конями. Струи воды ниспадали в широкий бассейн, а на ступенях вокруг бассейна расположилась освещенная лунным светом толпа поселян. Возле них валялись большие разрезанные дыни, из которых так и бежал сок. Маленький коренастый парень, в одной рубахе да коротких холщовых панталонах, сидел с гитарой в руках и, весело перебирая струны, распевал песню. Крестьяне восторженно хлопали ему. Матушка приостановилась, и я услышал песню, которая сильно поразила меня. Она была совсем не похожа на обыкновенные — парень пел в ней о нас самих, о том, что мы видели и слышали сейчас

¹ Римский народный танец.

вокруг себя! Мы сами были выведены в песне, в настоящей песне! Он пел о том, как прекрасно спится под голубым небом вместо полога и с камнем под головой вместо подушки, под звуки волынки этих двух горных пастухов (тут он указал на тритонов, трубящих в рога), о том, что все эти поселяне, проливающие сок дынь, должны выпить за здоровье его возлюбленной, которая теперь спит себе и видит во сне купол святого Петра и дружка, разгуливающего в папском городе. «Да, выпьем за ее здоровье и за здоровье всех девушек, стрелы которых держат еще неразжатые руки!¹ — сказал он, щипнул матушку в бок и прибавил: — А кстати, уж и за твое здоровье, матушка, да за здоровье будущей возлюбленной твоего сынка, которую он сыщет себе прежде, чем у него пробьется первый пушок на губе!»

— Браво! браво! — вскричала матушка, и все крестьяне захлопали и закричали: «Браво! Браво, Джиакомо!»

На крыльце маленькой церкви, лежавшей направо, мы заметили знакомое лицо. Это был Федерико; он стоял и набрасывал карандашом на бумагу всю эту веселую группу, облитую лунным светом. По дороге домой он и матушка весело разговаривали о славном импровизаторе — так называли они крестьянина, распевавшего такие забавные песни.

— Антонио! — сказал мне Федерико, — что ж ты не ответил ему импровизацией? Ты ведь у нас тоже маленький поэт! Тебе надо учиться излагать свои речи стихами!

Теперь я понял, что такое поэт: это тот, кто умеет красиво воспевать все, что чувствует и видит. Вот-то весело, да и нетрудно! Будь только у меня гитара!

Первым предметом, который я воспел, была ни более ни менее как мелочная лавочка, находившаяся напротив нашего дома. Фантазия моя давно уже воспламенялась причудливым разнообразием ее товаров, которое привлекало даже внимание иностранцев. Между красивыми гирляндами из лавровых листьев висели, словно большие страусовые яйца, белые буйволовы сыры; свечи, обвитые золотой бумагой, представляли ни дать ни взять трубы органа, а колбасы — колонны, на которых покоился золотисто-янтарный круг пармезана. Вечером, когда все это освещалось красным пламенем лампы, висевшей перед образом Мадонны, что помещался на стене между колбасами и окороками, мне казалось, что передо мной открывался какой-то волшебный мир. Кошка, сидящая на прилавке, и молодой капуцин, который всегда так долго торговался с синьорой, тоже не были забыты в моей поэме, которую я столько раз протвердил в уме, что легко мог продеklamировать Федерико. Она заслужила его одобрение, скоро разнеслась по всему дому и дошла и до

¹ Поселянки носят в волосах стрелы, которые у девушек держат сжатые руки, а у замужних разжатые.

самой синьоры лавочницы. Та много смеялась над моей поэмой, называя ее дивным творением, вторую «Божественною комедией».

Теперь-то я принялся воспевать все! Я постоянно жил в царстве фантазии, мечтал и в церкви, под пение монахов, и на улицах, под крик разносчиков и шум экипажей, и в своей кроватке, над изголовьем которой висели образ Мадонны и кропильница. Зимой я мог часами сидеть в сумерках за воротами дома и, не отрываясь, глядеть на большой, разведенный среди улицы огонь, вокруг которого толпились кузнецы и простые крестьяне: первые калили железо, вторые просто грелись. В этом красном огне открывался мне целый мир, пламенный, как и моя собственная фантазия. А как ликовал я, когда зимою нагорный снег нагонял к нам такую стужу, что каменные тритоны на площади покрывались ледяными сосульками! Жаль только, что это случалось так редко! Родовались этому и крестьяне — это ведь предвещало урожайный год, — брались за руки и плясали в своих больших тулупах вокруг бассейна, любуясь радугой, игравшей в высоких водяных струях.

Но я слишком долго останавливаюсь на отдельных воспоминаниях детства, которые для посторонних, конечно, не могут представлять того значения и живого интереса, какие представляют для меня: я, перебирая их в уме, точно снова переживаю всю мою жизнь с самого раннего детства.

Ребенком жил я в чудном мире грез,
По морю звуков сладких я носился...

Теперь я перейду к событию, которое, отделив меня терновой оградой от моего домашнего рая, бросило меня в среду чужих людей и изменило все мое будущее.

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ В ДЖЕНЦАНО

Настал июнь месяц; приближался день знаменитого праздника цветов, ежегодно справляемого в Дженцано¹. У матери моей и Мариучии была там общая приятельница, державшая вместе с мужем своим постоянный двор и трактирчик, и они уже несколько лет собирались побывать на этом празднике, но всегда что-нибудь мешало; на этот же раз поездка должна была, наконец, состояться. Отправиться из дому приходилось за день до праздника — путь предстоял не близкий; от радости я не спал всю ночь накануне.

Веттурино приехал за нами еще до восхода солнца, и мы покатили. До сих пор мне не случалось бывать в горах, и я был просто вне себя

¹ Маленький городок в Альбанских горах, лежащий у самой проезжей дороги, что соединяет Рим с Понтийскими болотами.

и от радости, и от ожидания — столько я наслышался чудесного об этом празднике. Мог бы я взрослым смотреть на жизнь и природу теми же глазами, как тогда, да высказать свои чувства словами — вышло бы бессмертное поэтическое произведение! Тишина на улицах, железные городские ворота, широко раскинувшаяся долина Кампани с разбросанными по ней одинокими могилами, густой утренний туман, окутывавший подножия отдаленных гор, — все казалось мне таинственным прологом к ожидавшему меня великолепному зрелищу. Даже воздвигнутые по краям дороги деревянные кресты с привязанными к ним белыми костями разбойников, напоминавшие о погребенных здесь невинных жертвах и казни убийц, и те занимали меня. Сначала я попробовал было сосчитать бесчисленные каменные трубы водопроводов, снабжавших Рим водой, но скоро устал и принялся осаждать старших тысячами вопросов о больших огнях, разведенных пастухами возле обрушившихся могильных памятников, и о больших овечьих стадах, скученных на небольших пространствах, огороженных рыбацкими сетями.

Остаток пути от Альбано нам предстояло сделать пешком, по кратчайшей и живописной дороге через Арричия. Всюду росли дикая резеда и левкой; густые, сочные оливковые деревья давали чудесную тень; вдали виднелось море, а по горному склону возле дороги, где воздвигнут был крест, вприпрыжку обгоняли нас веселые хохочущие девушки, не забывавшие, однако, по пути набожно приложиться к кресту. Высившийся вдали купол собора в Арричия я принял за купол святого Петра, подвешенный ангелами к голубому небу между темными оливковыми деревьями. На одной из улиц целая толпа окружила медведя, плясавшего на задних лапах под звуки заунывной мелодии, которую наигрывал на волынке его вожатый; эту же самую мелодию играл последний, являясь к нам из гор перед наступлением Рождества, и перед образом Мадонны! Славная обезьянка в мундире, «капрал» — как величал ее вожатый, — кувыркалась у медведя на голове и на спине. Мне так хотелось остаться тут, вместо того чтобы тащиться в Дженцано! И праздник-то ведь должен был начаться только завтра! Но мать торопилась добраться до места, чтобы помочь своей приятельнице плести венки и ковры из цветов.

Скоро мы подошли к дому Анджелины. Он стоял на окраине Дженцано, обращенной к озеру Неми. Домик был очень красив; из-под фундамента его бежал в каменный бассейн источник прозрачной воды, возле которого теснились ослы.

Мы вошли в самый трактир; там стоял шум и гам, на очаге шипело и варилось кушанье. Целая толпа крестьян и горожан сидела за длинным деревянным столом, попивая винцо и поедая ветчину. Перед образом Мадонны стоял в кружке букет прекраснейших роз и горела лампадка; огонь ее едва мерцал сквозь кухонный чад. Кошка бегала по сырам, разложенным на полках, а по полу разгуливали куры, то и дело попадаясь

кому-нибудь под ноги; мы с матушкой чуть не упали через них. Анджелина приняла нас очень радушно, проводила по крутой лесенке в верхнюю каморку и угостила королевским, по моим понятиям, обедом. Все было здесь превосходно; даже бутылка с вином и та была украшена: вместо пробки в горлышке ее красовалась роза. Все три приятельницы расцеловались; на мою долю также пришелся поцелуй, я волею-неволею должен был примириться с этим. Анджелина сказала, что я прехорошенький мальчик, и матушка, трепля одною рукой меня по щеке, другою принялась прихорашивать меня — то обдергивала рукава курточки, из которой я уже вырос, то натягивала ее повыше на плечи и грудь.

Сейчас же после обеда для нас уже начался праздник: мы должны были принять участие в сборе цветов и зелени для венков. Через низенькую дверь мы вышли в сад, скорее в беседку, всего в несколько шагов в длину и в ширину. Плохонький забор поддерживался широкими твердыми листьями дикого алоэ, которое образовывало здесь естественную изгородь. Гладкое, как зеркало, озеро неподвижно покоилось в глубокой и широкой котловине вулкана, из которого когда-то бил к облакам огненный фонтан. Пробираясь между густыми платанами, ветви которых были опутаны ползучими растениями, мы стали спускаться по уступам горы, напоминавшим ступени амфитеатра. По ту сторону озера лежал, глядясь в его голубое зеркало, город Неми. По дороге мы рвали цветы и плели венки из темных ветвей олив, свежих виноградных листьев и диких левкоев.

Синеющее в глубине котловины озеро и ясное голубое небо над нами то скрывались от нас за густыми ветвями деревьев и побегами виноградных лоз, то опять проглядывали, сливаясь в одну безграничную синеву. Все было для меня ново и восхищало меня; душа моя была исполнена тихого блаженства. И теперь еще бывают минуты, когда воспоминание воскрешает в моей душе все эти чувства; они выступают тогда вновь, такие же свежие, блестящие, как мозаичные обломки, извлекаемые из погребенного под лавою города.

Солнце жгло, и, только спустившись к самому озеру, где старые платаны, росшие прямо из воды, купали в ее струях свои оплетенные диким виноградом ветви, нашли мы прохладу и могли продолжать нашу работу. Красивые водяные растения лениво кивали головками, словно предаваясь под этой густой тенью сладкой дремоте. Скоро солнечные лучи перестали уже освещать озеро, а только золотили еще крыши домов в Неми и в Дженцано. Темнота разливалась все шире и шире и скоро совсем окружила нас. Я отошел от остальных, но всего на несколько шагов, так как матушка боялась, что я упаду в глубокое озеро с этого крутого обрыва. Возле развалин древнего храма Дианы лежало срубленное фиговое дерево, плотно обвитое и точно прикрепленное к земле плющом. Я взлез на него и тоже принялся плести венок, напевая отрывок из одной песенки:

...Ah rossi, rossi fiori
Un mazzo di violi
Un gelsomin d'amore... —

как вдруг меня прервал странный шипящий голос:

...Per dar al mio bene!

Перед нами неожиданно очутилась высокая старуха, удивительно прямая и стройная, одетая в обычный костюм крестьянок из Фраскати. Длинное белое покрывало, спускавшееся с головы на плечи, еще резче оттеняло своей белизной ее бронзовое лицо и шею. Все лицо было покрыто сетью мелких морщин; в огромных черных глазах почти не видно было белков. Прошипев эти слова, она засмеялась и уставилась на меня серьезным и неподвижным, словно у мумии, взглядом.

— Цветы розмарина, — сказала она, — станут еще прекраснее в твоих руках! Во взоре твоём горит звезда счастья!

Я удивленно глядел на нее, прижимая к губам венок, который плел.

— В прекрасных лавровишневых листьях скрывается яд! Плети из них венок, но не вкушай их!

— А, да это мудрая Фульвия из Фраскати. — сказала Анджелина, вышедшая из кустов. — И ты тоже плетешь венки к празднику или, — прибавила она, понижая голос, — вяжешь при закате солнца другого рода букеты?

— Умный взгляд! — продолжала Фульвия, не сводя с меня глаз. — Когда он родился, солнце проходило под созвездием Быка, а на рогах Быка — золото и почести!

— Да! — сказала матушка, подошедшая вместе с Мариучией. — Когда он наденет черный плащ и широкополую шляпу, выяснится — будет ли он кадить Господу или пойдет по тернистому пути!

Сивилла, казалось, поняла, что матушка говорила о моем предназначении в духовное звание, но в ответе ее скрывался совсем иной смысл, нежели тот, который могли тогда придать ему мы.

— Широкополая шляпа не накроет его головы! Он предстанет перед народом, и речь его зазвучит музыкой, громче пения монахинь за монастырской решеткой, сильнее раскатов грома в Альбанских горах! Колесница счастья выше горы Каво, где покоятся между стадами овец облака небесные!

— О Господи! — вздохнула матушка, как-то недоверчиво покачивая головой, хотя ей и приятно было слышать такое блестящее предсказание. — Он бедный мальчуган; одна Мадонна знает, что будет с ним! Колесница счастья выше телеги альбанского крестьянина; колеса вертятся непрерывно, где ж бедному мальчику взобраться на нее!

— А ты видела, как вертятся большие колеса крестьянской телеги? Нижняя спица подымается наверх и опять опускается вниз, крестьянин

ставит на нее ногу, колесо поворачивается и поднимает его; но бывает также, что колесо наезжает на камень, и тогда смельчак летит кувырком!

— А нельзя ли и мне тоже взобраться на колесницу счастья? — спросила матушка, посмеиваясь, но вдруг вскрикнула от испуга. Огромная хищная птица стрелой ударила в волны озера и обдала нас всех брызгами. С заоблачной вышины завидела она своим острым взглядом большую рыбу, неподвижно лежавшую, словно камыш, чуть не на самой поверхности воды, с быстротою молнии бросилась на добычу, вцепилась острыми когтями в спину ее и хотела было снова подняться в вышину. Но рыба, как мы могли заключить из сильного волнения, поднявшегося на озере, была необыкновенной величины, а силой не уступала своему врагу и, в свою очередь, потащила птицу за собою в глубину. Птица так глубоко запустила когти в спину рыбы, что не могла уже вытащить их, и вот началась борьба. По тихому до сих пор озеру заходили большие волны, в которых мелькали то блестящая спина рыбы, то широкие, бороздившие воду крылья, по-видимому ослабевавшей, птицы. Борьба продолжалась уже несколько минут; вот крылья птицы распростерлись на поверхности озера, словно для отдыха, потом она вдруг взмахнула ими, послышался хруст, одно крыло погрузилось в воду, а другое все еще продолжало вспенивать ее, затем исчезло и оно. Рыба увлекла птицу на дно, где они скоро и должны были погибнуть обе.

Молча глядели мы все на эту сцену. Когда же матушка обернулась к нам, сивиллы уже не было. Как это, так и только что случившееся происшествие, которое, как увидит читатель, повлияло много лет спустя на всю мою судьбу и потому вдвое сильнее запечатлелось в моей памяти, заставило нас всех поспешно и молчаливо направиться к дому. Мрак густой волной лился из листвы деревьев; пурпурные облака отражались в зеркальном озере; мельничные колеса монотонно шумели; все вокруг носило отпечаток чего-то таинственного. Во время пути Анджелина шепотом рассказывала нам разные чудеса про Фульвию, умевшую варить всякие ядовитые и любовные зелья. Между прочим, слышали мы и о бедной Терезе из Олевано, изнывавшей от тоски по молодцу Джузеппе, который ушел туда, за горы, на север. Старуха бросила в медный котел разных кореньев и поставила его на горячие уголья. Коренья кипели, пока Джузеппе не взяла тоска и он без оглядки, без отдыха не заторопился домой, где варились чудодейственные коренья вместе с локонами волос его и Терезы. Я потихоньку стал творить «Ave Maria» и не успокоился, пока мы не очутились снова дома у Анджелины.

Все четыре фитиля в медной лампе были зажжены, а самая лампа украшена венком; на ужин нам подали блюдо из помидоров и бутылку вина. Внизу в общей горнице крестьяне пили и импровизировали; двое из них пели что-то вроде дуэта, а остальные подхватывали хором, но, когда я запел вместе с другими детьми молитву перед образом Мадонны,

висевшим возле очага, где пылал огонь, все умолкли, стали прислушиваться и хвалить мой прекрасный голос, так что я забыл и мрачный лес, и старуху Фульвию. Я бы с удовольствием пустился и импровизировать взапуски с крестьянами, но матушка охладила мой пыл вопросом — неужели, по-моему, пристойно церковному певчему и, может быть, будущему проповеднику слова Божия строить из себя шута? Теперь еще ведь не карнавал, и она не позволит мне дурачиться, строго добавила она, но, когда мы вечером пришли в нашу спальню и я улегся на широкую постель, она любовно прижала меня к своему сердцу, называя своим утешением и радостью. Подушка моя оказалась слишком низка, и добрая матушка позволила мне прилечь на ее руку. Я спокойно спал до тех пор, пока солнышко не заглянуло к нам в окна и матушка не разбудила меня, — настал чудный день праздника цветов!

Как мне передать первое впечатление, произведенное на меня пестрым убранством улицы? Вся улица, слегка подымавшаяся в гору, была сплошь усыпана цветами. Фоном служили голубые цветы, — казалось, обобрали все поля, все сады, чтобы нарвать такую массу цветов одного оттенка — по голубому же фону шли на некотором расстоянии друг от друга продольные полосы из больших зеленых листьев и роз, а в промежутках между ними были насыпаны темно-красные цветы; они же окаймляли как бы бордюром и весь этот цветочный ковер. В середине его красовались звезды и солнце из ярко-желтых цветов и разные инициалы, над которыми пришлось особенно потрудиться, пригоняя цветок к цветку, листок к листку. Вся мостовая представляла, таким образом, сплошной цветочный ковер, мозаичный пол, пестрее и богаче красками, нежели помпейские мозаики. Не было ни малейшего ветерка, и цветы прилегали к земле так плотно, словно тяжелые драгоценные камни. Из всех окон спускались по стенам домов большие цветочные ковры, на которых были изображены разные события из священной истории. Тут спасалось в Египет Святое Семейство (лица, руки и ноги Иосифа, Марии и Иисуса были из роз, развевающиеся одежды Мадонны из левкоев и голубых анемонов, а сияние вокруг их голов из белых кувшинок с озера Неми), там боролся с драконом святой Михаил, здесь сыпала розы на темно-голубой земной шар святая Розалия; всюду, куда ни поглядишь, библейские лица и события. И у всех зрителей на лицах написана такая же радость, что и у меня! На балконах стояли разодетые богатые иностранцы, явившиеся с той стороны гор, а вдоль тротуаров двигались толпы людей в национальных костюмах. Матушка отыскала себе местечко возле каменного бассейна, а я взобрался на голову сатира, выглядывавшего из воды.

Солнце палило, колокола звонили, и вот по цветочному ковру двинулось торжественное шествие; прекрасная музыка и пение возвестили нам о его приближении. Впереди шли мальчишки-певчие и кадили перед ковчегом со святыми дарами, затем следовали с венками в руках краси-

вейшие девушки из окрестностей, а бедные дети с крылышками за голенькими плечами ожидали шествие у большого алтаря, воспевая ангельское славословие. Молодые парни украсили свои остроконечные шляпы, на которых были прикреплены образки Мадонны, развевающимися лентами; на шеях у них были надеты цепи из серебряных или золотых колец, а концы пестрых шарфов красиво ниспадали на бархатные куртки. Девушки из Альбано и Фраскати щеголяли тонкими белыми покрывалами, наброшенными на их черные косы, заткнутые серебряными стрелами; у девушек же из Веллетри на головах красовались венки, а шейные платочки были прикреплены к кофточкам так, что открывали круглые плечи и пышную грудь; уроженки Аbruцких гор и Понтийских болот тоже были в своих национальных костюмах; получалась удивительно пестрая картина. Кардинал в серебряной ризе выступал под украшенным цветами балдахин^{ом}; за ним шли монахи различных орденов с зажженными восковыми свечами в руках. Когда шествие вышло из церкви, толпа хлынула за ними. Мы с матушкой были увлечены общим потоком; она крепко держала меня за плечи, чтобы меня не оттерли от нее. Я двигался вперед, сжатый со всех сторон толпой, и видел только кусочек голубого неба над головой. Вдруг в толпе раздались крики ужаса, началась давка: прямо на народ неслась пара взбесившихся лошадей... Больше я уж ничего не слышал, — меня сбили с ног, в глазах у меня потемнело, в ушах зашумело, точно надо мной^ю несся водопад...

О, Матерь Божия, какое горе! Я и теперь еще вздрагиваю, припоминая, что случилось тогда. Когда я пришел в себя, голова моя покоилась на коленях у Мариучии, которая плакала и вопила, а рядом лежала на земле моя мать, тесно окруженная толпой посторонних людей. Бешеные лошади опрокинули нас, экипаж переехал через грудь моей матери, изо рта ее хлынула кровь, и — она скончалась.

Я видел, как ей закрыли глаза и сложили безжизненные руки, так еще недавно ласкавшие и защищавшие меня! Монахи перенесли ее в монастырь, а меня, так как я отделался одной ссадиной на руке, Мариучия взяла с собою обратно в трактир, где вчера я так веселился, плел венки и спал в объятиях матушки! Я был очень огорчен, хотя и не признавал еще как следует своего сиротства. Мне дали игрушек, фруктов и пирожного и пообещали, что завтра я опять увижу матушку, которая теперь у Мадонны, где вечно справляют чудный праздник цветов и веселятся. Но и остальные речи не ускользнули от моего слуха. Я слышал, как все шептались о вчерашней хищной птице, о Фульвии и о каком-то сне, виденном матушкой; теперь, когда она умерла, оказывалось, что все предвидели несчастье.

Взбесившиеся лошади были между тем остановлены сейчас же за городом, где они зацепились за дерево. Из кареты высадили полумертвого от страха господина лет сорока с небольшим; говорили, что он из фамилии

Боргезе, владеет виллой между Альбано и Фраскати и известен своей страстью собирать разные растения и цветы; шептались даже, что он не уступит в тайных познаниях самой Фульвии. Слуга в богатой ливрее принес от него сироте кошелек с двадцатью скудо.

На другой день, вечером, прежде чем зазвонили к «Ave Maria», меня отвели в монастырь проститься с матушкой. Она лежала в тесном деревянном гробу, в том же праздничном платье, в каком была вчера; я поцеловал ее сложенные руки, и все женщины заплакали вместе со мной.

У дверей уже дожидались носильщики в белых плащах, с надвинутыми на глаза капюшонами. Они подняли гроб на плечи, капюшины зажгли восковые свечи и запели погребальные псалмы. Мариучия шла со мной за гробом. Алое вечернее небо бросало на лицо матушки розоватый отблеск, и она лежала точно живая. Другие ребятишки весело прыгали вокруг нас по улице и собирали в бумажные трубочки воск, капавший со свечей монахов. Мы шли по той же улице, где вчера двигалась праздничная процессия; на мостовой валялись еще цветы и листья, но все картины и красивые фигуры исчезли, как и мои детские беззаботность и веселость! Я смотрел, как отвалили на кладбище большую каменную плиту, прикрывавшую вход в склеп, как скользнул туда гроб, слышал, как он глухо стукнулся о другие гробы... Затем все ушли с кладбища, а меня Мариучия заставила опуститься у могилы на колени и прочесть «Ora pro nobis».

Лунной ночью мы с Мариучией, Федерико и еще двумя другими иностранцами выехали из Дженцано. Альбанские горы были окутаны густыми облаками; я смотрел на легкий туман, плывший при свете луны над Кампаньей; спутники мои говорили мало; скоро я заснул и видел во сне Мадонну, цветы и матушку: она опять была жива, улыбалась и разговаривала со мною!

ДЯДЮШКА ПЕППО. НОЧЬ В КОЛИЗЕЕ. ПРОЩАНИЕ С РОДНЫМ ДОМОМ

Когда мы вернулись в Рим, в домик моей матери, был поднят вопрос о том, что, собственно, следовало делать со мной. Фра Мартино был за то, чтобы меня отправили в Кампанью, к родителям Мариучии, почтенной пастушеской чете; мои двадцать скудо были ведь для них целым богатством, и они приняли бы меня как родного. Одно только смущало его: я наполовину уже принадлежал церкви, а отправившись в Кампанью, я бы уже не мог служить певчим в церкви капуцинов! Федерико же вообще стоял за то, чтобы меня поместили в какое-нибудь почтенное семейство в самом Риме; ему не хотелось, сказал он, чтобы из меня вышел грубый невежественный крестьянин. Пока фра Мартино советовался с братией в монастыре, неожиданно прискакал на четвереньках

дядюшка Пеппо, услышавший о смерти матушки и о доставшихся мне двадцати скудо. Они-то главным образом и привлекли его сюда. Он заявил, что в качестве единственного моего родственника берет меня к себе, что и я, и все имущество, оставшееся после матушки, так же, как и двадцать скудо, принадлежат теперь ему! Мариучия принялась уверять его, что она и фра Martino уже устроили все к лучшему, и дала понять Пеппо, что ему, калеке-нищему, впору заботиться о самом себе, а в это дело соваться нечего!

Федерико вышел из комнаты, и двое оставшихся высказали теперь друг другу свои эгоистичные побуждения, заставлявшие их заботиться обо мне. Дядюшка Пеппо излил на Мариучию весь запас своей желчи, а девушка наступала на него, как фурия. Ей, впрочем, не было дела ни до него, ни до меня, ни до чего бы там ни было! Пусть он возьмет да переломит мне пару ребер, сделает из меня такого же калеку и нищего, который будет собирать гроши в его суму! Пусть он возьмет меня, но деньги она отдаст фра Martino; фальшивым глазам Пеппо не удастся и взглянуть на них! Пеппо, в свою очередь, грозил проломить ей голову своей дощечкой, пробить в ней дыру величиной с площадь дель Пополо! Я стоял между ними и плакал. Мариучия оттолкнула меня от себя, а Пеппо потащил к дверям, говоря, что я должен идти за ним, держаться его одного, а если он возьмет на себя такую обузу, то вправе получить и награду! Римский сенат сумеет защитить права честного гражданина! И не успел я опомниться, как он вывел меня из дверей на улицу, где уже дожидался нас оборванный мальчишка с ослом. Для больших прогулок, а также если дело было к спеху, дядюшка бросал свои дощечки, и садился на осла, крепко обхватывая его своими сухими ногами; осел и всадник составляли тогда как бы одно целое. Пеппо посадил меня впереди себя, мальчишка стегнул осла, и мы поскакали во всю прыть. Пеппо на свой лад ласкал меня во все время пути.

— Видишь, мальчик! — говорил он. — Разве не чудесный у нас осел? Ишь как он летит!словно рысак по Корсо! Тебе будет у меня хорошо, как ангелу на небе, стройный ты мой мальчуган! — И затем он принимался клясть Мариучию.

— Где ты украл такого хорошенького мальчугана? — спрашивали его знакомые, мимо которых мы проезжали, и моя история рассказывалась и повторялась чуть не на каждом перекрестке. Торговка водой с лимонными корками дала нам за этот длинный рассказ целый стакан своей воды, и мы распили его пополам. Едва мы успели добраться до дому, как солнце уже село. Я не говорил ни слова, только закрывал лицо руками и плакал. Пеппо свел меня в каморку рядом с большой комнатой и указал мне мою постель — ворох маисовой шелухи, прибавив, что я, вероятно, не голоден и уж тем меньше хочу пить: мы ведь только что выпили с ним целый стакан чудесной лимонной воды! Потом он потрепал

меня по щеке, улыбаясь своей гадкой улыбкой, которая всегда так пугала меня, и спросил, много ли серебряных монет было в кошельке, брала ли из них Мариучия, чтобы заплатить веттурино, и что сказал слуга, передавая мне деньги. Я не мог ответить ни на один из этих вопросов и только плакал, спрашивая, в свою очередь, — разве я останусь тут навсегда, разве я не вернусь завтра домой?

— Конечно, конечно! — ответил он. — А теперь засни, но не забудь сначала прочесть «Ave Maria»! Когда человек спит, дьявол бодрствует! Огради себя крестным знаменем — это железная решетка, которая защитит тебя от рыкающего льва! Молись хорошенько и проси Мадонну наказать фальшивую Мариучию, обидевшую тебя, невинного младенца! Положись теперь на меня одного! Ну, спи! Отдушину я оставляю открытой; свежий воздух — пол-ужина! Не бойся летучих мышей! Они не влетят сюда, пролетят мимо, бедные твари! Спи сладко, мой ангелочек! — И он закрыл за собою дверь.

Долго ходил он по своей комнате, прибирая что-то; потом я услышал там чужие голоса, а сквозь щелочку увидел и свет лампы. Я приподнялся, но как можно осторожнее, потому что сухая солома сильно шуршала, и я боялся, что на этот шум войдут ко мне. Сквозь щель я увидел, что оба фитиля лампы были зажжены, на столе лежал хлеб и коренья, а бутылка с вином гуляла вокруг стола из рук в руки. За столом сидела целая компания нищих калек. Я сразу узнал их, хотя они смотрелись теперь совсем не так, как обыкновенно. Умиравший от лихорадки Лоренцо болтал без умолку и громко смеялся, а днем я всегда видел его распростертым на траве на холме Пинчио; обвязанная голова его опиралась тогда о древесный ствол, а губы еле шевелились; жена его, указывая на несчастного страдальца, взывала к состраданию прохожих. Франчия, беспалый детина, барабанил обрубками пальцев по плечу слепой Катарины и вполголоса напевал песню о «Cavaliere Torchino». Двое-трое остальных сидели ближе к дверям и в тени, так что я не мог узнать их. Сердце у меня так и стучало от страха; я услышал, что они говорят обо мне.

— А годится мальчишка на что-нибудь? — спросил один. — Есть у него какой-нибудь изъян?

— Нет, Мадонна не была к нему так милостива! — сказал Пеппо. — Он строен и красив, как барский ребенок.

— Плохо! — сказали все, но слепая Катарина прибавила, что ничего не стоит немножко попортить меня, чтобы я мог снискивать себе хлеб земной, пока Мадонна не удостоит меня небесного.

— Да, — сказал Пеппо, — была бы умна сестра моя, мальчишка давно нашел бы свое счастье! У него такой голос, что у твоих ангелов! Он прямо рожден папским певчим! Из него вышел бы такой певец!

Они заговорили о моем возрасте, о том, что еще может случиться и что можно предпринять для моего счастья. Я не понял хорошенько, что

такое они хотели сделать со мною, но ясно видел, что они замышляли дурное, и задрожал от страха. Как мне вырваться оттуда? Вот чем были заняты все мои мысли. И куда бежать? Над этим я, впрочем, не задумывался. Я отполз от дверей, взлез на какой-то чурбан, приподнялся к самой отдушине и высунулся. На улице не было видно ни души; все двери были закрыты. Мне предстояло сделать большой прыжок вниз, и я не решался на него, но вдруг мне показалось, что за ручку двери взялись... Кто-то хотел войти ко мне! Страх охватил меня, я разом скользнул по стене вниз и тяжело упал на землю и мягкий дерн.

Живо вскочил я и побежал по узким извилистым улицам куда глаза глядят; навстречу мне попался всего один прохожий, громко распевавший песню и постукивавший палкой о камни мостовой. Наконец я очутился на большой площади, залитой лунным светом. Я сразу узнал местность: это был римский Форум, или Коровья площадь, как мы звали ее.

Луна освещала заднюю стену Капитолия, похожую на отвесную скалу. На ступенях высокой лестницы, ведущей к арке Септимия Севера, растянулись несколько спящих нищих, закутанных в широкие плащи. Высокие колонны — остатки древних храмов — отбрасывали длинные тени. Никогда еще не бывал я тут после заката солнца; все казалось мне таким таинственным. Я споткнулся о верхушку разбитой мраморной колонны, скрывавшуюся в высокой траве, и упал. Поднявшись, я устремил взгляд на развалины дворца цезарей; густой плющ, одевавший их, придавал им еще более мрачный вид; высокие кипарисы как-то зловеще тянулись к небу, и мне стало еще страшнее. Но в траве, между поверженными колоннами и кучами мраморного щебня, лежали коровы, пасся мул, и это слегка ободрило меня: здесь все-таки были живые существа, которые не сделают мне ничего дурного!

При свете луны было светло почти как днем; все предметы выступали так явственно. Вдруг я услышал чьи-то шаги... Что, если это меня ищут? В ужасе шмыгнул я в развалины огромного Колизея, лежавшего передо мною, будто целая цепь скал. Я остановился между двумя рядами колонн, огибавших половину всего строения и будто воздвигнутых только вчера — так хорошо они сохранились. Холодно здесь было, мрачно!.. Я сделал несколько шагов вперед, но тихо-тихо — меня пугал даже шум собственных шагов. Невдалеке виднелся костер, разведенный на земле; возле него вырисовывались тени трех человек; крестьяне ли это расположились тут на ночлег, чтобы не ехать ночью через пустынную Кампанию, или солдаты-караульные, или, наконец, разбойники? Мне показалось, что я слышу звяканье их оружия, и я тихонько отступил в глубь строения, где над высокими колоннами уже не было другого свода, кроме густой сети ветвей и вьющихся растений. Станные тени рисовались на высоких стенах; квадратные плиты их во

многих местах разошлись и, казалось, держались еще на своих местах только благодаря густо опутавшим их стеблям плюща.

Вдали, в среднем проходе, двигались между колоннами люди, вероятно, путешественники, вздумавшие осмотреть эти достопримечательные руины при лунном свете. В числе их была одна дама, вся в белом. Я и теперь еще ясно вижу перед собой эту странную картину: люди двигались, скрывались между колоннами и опять показывались, освещенные луной и красным огнем факелов. Небо было самого густого синего цвета, а кусты и деревья темнели черным бархатом; каждый листочек дышал ночью. Я долго следил взглядом за иностранцами, после же того, как они скрылись из виду, за красным отблеском их факелов... Наконец исчез и этот, и все вокруг опять погрузилось в мрак и мертвую тишину.

Я уселся на верхушку разбитой колонны, что валялась в траве позади одного из деревянных алтарей, расположенных тут один возле другого и изображавших шествие Христа на Голгофу. Камень был холоден как лед, голова моя горела, по телу пробегал лихорадочный озноб. Сон бежал от меня, я лежал и припоминал все, что слышал когда-то о древнем Колизее, о пленных иудеях, которые должны были, по повелению могущественного римского цезаря, воздвигать эти огромные каменные глыбы, о диких зверях, боровшихся тут на арене друг с другом, а часто и с людьми, и о зрителях, сидевших на каменных ступенях, подымавшихся от земли до самых верхних колонн.

В кустах позади меня зашуршало; я взглянул вверх, и мне показалось, что там что-то шевелится. Воображение мое принялось населять окружающий меня мрак бледными, мрачными образами, работавшими над постройкой здания. Я явственно слышал удары их орудий, воочию видел этих исхудалых бородатых евреев, вырывавших траву и кусты и громоздивших камень на камень до тех пор, пока сызнова не воздвигли гигантское здание... Передо мною волновалось целое море голов, двигалось какое-то бесконечное живое гигантское тело...

Затем я увидел весталок в длинных белых одеяниях, блестящий двор цезарей, голых, истекающих кровью гладиаторов; вокруг раздавался шум и рев... Это неслись со всех сторон стаи тигров и гиен; они пробежали мимо меня, я ощущал на своем лице их горячее дыхание, видел их огненные глаза и все крепче и крепче прижимался к своему камню, моля Мадонну о спасении, но дикий вой и шум вокруг меня все усиливались. Сквозь эти бешеные стаи я различил, однако, святой крест, который до сих пор еще стоит здесь и к которому я всегда набожно прикладывался мимоходом, — напряг все свои силы, дополз до него и еще успел ясно почувствовать, что руки мои обвились вокруг него, но затем все как будто рухнуло вокруг меня, все смешалось: стены, люди, звери... Я лишился сознания!

Когда я опять открыл глаза, лихорадка моя уже прошла, но я совсем ослабел, весь был точно разбит.

Я действительно лежал на ступенях перед большим крестом. Окинув взором всю окружающую обстановку, я не нашел в ней уже ничего страшного: на всем лежал отпечаток величавой торжественности; в кустах заливался соловей. Я стал думать о дорогом младенце Иисусе, Чья мать была теперь и моею, — другой у меня ведь не было, — опять обвил руками крест, прислонился к нему головою и скоро заснул подкрепляющим сном.

Я проспал, должно быть, несколько часов; разбудило меня пение псалмов. Солнце светило на верхнюю часть стены, капуцины с зажженными свечами в руках ходили от алтаря к алтарю и пели «Кирие элейсон». Вот они подошли к кресту, возле которого лежал я, и я узнал между ними фра Мартино. Он наклонился ко мне, мой расстроенный вид, моя бледность и то, что я находился здесь в такой час, испугали его. Как я объяснил ему все, не знаю, но мой страх перед Пеппо, моя беспомощность и заброшенность достаточно говорили за меня. Я крепко схватился за коричневую рясу монаха и молил его не покидать меня; вся братия, казалось, приняла во мне живое участие; все они ведь знали меня, я бывал у них в кельях и пел с ними перед святыми алтарями.

Как же я был рад, очутившись с фра Мартино в монастыре, как скоро забыл все свои злоключения, сидя в его келейке, обклеенной по стенам старинными лубочными картинками, и глядя на апельсиновое дерево, протягивавшее свои зеленые душистые ветви прямо в окно! Вдобавок фра Мартино пообещал мне, что я больше не вернусь к Пеппо.

— Нельзя доверить мальчика нищему калеке, который день-деньской валяется на улице да кланчит милостыню! — сказал он другим монахам.

В полдень он принес мне на обед кореньев, хлеба и вина и сказал мне так торжественно и прочувствованно, что сердце мое затрепетало:

— Бедный мальчик! Будь твоя мать жива, нам бы не пришлось расставаться: церковь укрывала бы тебя, и ты вырос бы в ее тиши, под ее защитой! Теперь же ты будешь брошен в бурное житейское море, будешь носиться по нему на шаткой доске! Но не забывай своего Спасителя и Небесной Девы! Крепко держись их! У тебя во всем свете нет никого, кроме их!

— Куда же я денусь? — спросил я, и он сказал, что я отправлюсь в Кампанию к родителям Мариучии, советовал мне почитать их, как своих родителей, слушаться их во всем и никогда не забывать молитв и всего того, чему он учил меня. Под вечер к воротам монастыря явилась Мариучия со своим отцом. Фра Мартино вывел меня к ним. Одеждою-то, пожалуй, и Пеппо перещеголял бы этого пастуха, которому сдавали меня на руки. Разорванные, запыленные кожаные сапоги, голые колени и остроконечная шляпа с воткнутом в нее цветком вереска — вот что прежде всего бро-

силось мне в глаза. Он опустился на колени, поцеловал руку фра Martino и сказал, что я прехорошенький мальчик и что он и жена его будут делиться со мной последним куском хлеба. Мариучия вручила ему кошелек со всем моим богатством, и мы все вошли в церковь. Все сотворили про себя молитву; я тоже опустился на колени, но не мог молиться — глаза мои все искали знакомые образа: Иисуса, плывущего по морю высоко над церковными дверями, ангелов на запрестольном образе и дивного архангела Михаила. Даже черепам в венках из плюща хотел я сказать последнее прости! Фра Martino благословил меня и подарил мне на прощанье книжечку с рисунком на обложке: «*Modo di servire la sancta messa*».

Затем мы расстались. Проходя по площади Барберини, я не мог не бросить прощального взгляда на домик, в котором жил с матушкой, все окна были отворены, горницы ожидали новых жильцов.

КАМПАНИЯ

Итак, я должен был теперь поселиться в огромной степи, окружавшей старый Рим. Иностранцу, поклоннику искусства и старины, являющемуся из-за Альп и впервые созерцающему волны Тибра, эта высохшая пустыня кажется, пожалуй, развернутой страницей всемирной истории, а разбросанные по ней отдельные холмы священными письменами или целыми главами этой истории; художник также может идеализировать ее: нарисует одинокий остаток разрушенного водопровода, пастуха, сидящего возле стада овец, а на первом плане тощий репейник, и все говорят: «Какая красивая картинка!» Но совсем иными глазами смотрели на эту огромную равнину мой спутник и я. Спаленная зноем трава, нездоровый летний воздух, постоянно приносящий жителям Кампании лихорадку и злокачественные болезни — вот какие теневые стороны преобладали в воззрении моего провожатого. Для меня, впрочем, картина эта представляла все-таки нечто новое, и я любовался красивыми горами, расцвеченными всеми оттенками лилового цвета и окаймлявшими равнину с одной стороны, любовался дикими буйволами и желтым Тибром, по берегам которого тащились длиннорогие быки под тяжелым ярмом, двигавшие против течения барки. Мы шли по тому же направлению.

Кругом, куда ни взглянешь, лишь низкая пожелтевшая трава и высокий полузавядший репейник. Мы прошли мимо креста, воздвигнутого над могилой убитого; тут же висели и отрубленные рука и нога убийцы. Я испугался, тем более что крест этот находился неподалеку от моего нового жилища. Жилищем же этим служила ни более ни менее как старая полуразрушившаяся древняя гробница, которых в этой местности такое множество. Пастухи Кампании в большинстве случаев и не ищут себе иных помещений: гробницы доставляют им нужный кров и защиту, а часто даже

и удобства, стоит только засыпать некоторые углубления, заделать кое-какие отверстия, набросать тростниковую крышу и — жилье готово. Наше лежало на холме и было двухэтажное. Две коринфские колонны у узкого входа свидетельствовали о древности постройки; три же широких каменных столба — о позднейшей переделке. Может быть, в средние века гробница играла роль крепости. Дыра в стене над дверями заменяла окно; половина крыши была из камыша и сухих ветвей, другая из живого кустарника; роскошные каприфолии свешивались над треснувшей стеной.

— Ну, вот и пришли! — сказал Бенедетто, и это были первые его слова за все время пути.

— Так мы тут будем жить? — спросил я, поглядывая то на мрачное жилье, то назад, на обрубленные члены разбойника. А Бенедетто, не отвечая мне, принялся звать жену:

— Доменика! Доменика!

Я увидел пожилую женщину, вся одежда которой состояла из одной грубой рубахи; ноги и руки были голы, а волосы свободно падали на спину. Она осыпала меня поцелуями и ласками, и уж если сам Бенедетто был молчалив, то она зато говорила и за себя, и за него. Она назвала меня маленьким Измаилом, посланным сюда, в пустыню, где растет только дикий репейник.

— Но мы не заморим тебя жаждой! — продолжала она. — Старая Доменика будет для тебя доброй матерью вместо той, что молится теперь за тебя на небе! Постельку я тебе уж приготовила, бобы варятся, и мы все трое сядем сейчас за стол. А Мариучия не пришла с вами? А ты не видел святого отца? А не забыл ты привезти ветчины, медных крючков и новый образок Мадонны для дверей? Старый-то мы зацеловали до того, что он почернел весь! Нет, не забыл? Ты ведь у меня молодец, старина, все помнишь, обо всем думаешь, Бенедетто!

Продолжая сыпать словами, она ввела меня в узкое пространство, называвшееся горницей; впоследствии оно казалось мне, впрочем, огромным, как зала Ватикана.

Я в самом деле думаю, что это жилище имело большое влияние на развитие моего поэтического воображения; эта маленькая площадка была для моей фантазии то же, что давление для молодой пальмы: чем больше ее гнетет к земле, тем сильнее она растет. Жилище наше, как сказано, служило некогда семейной усыпальницей и состояло из большой комнаты с множеством небольших ниш, расположенных одна возле другой в два ряда; все были выложены мозаикой. Теперь эти ниши служили для самых разнообразных целей: одна заменяла кладовую, другая — полку для горшков и кружек, третья служила местом для разведения огня, на котором варились бобы.

Доменика прочла молитву, Бенедетто благословил кушанье. Когда же мы насытились, старушка проводила меня наверх по приставной лестнице,

проникавшей через отверстие в своде во второй этаж, где мы все должны были спать в двух больших, некогда могильных, нишах. Для меня была приготовлена постель в глубине одной, рядом с двумя связанными верхушками накрест палками, к которым было подвешено что-то вроде люльки. В ней лежал ребенок — должно быть, Мариучии. Он спал спокойно; я улегся на пол; из стены выпал один камень, и я мог через это отверстие видеть голубое небо и темный плющ, колебавшийся от ветра, словно птица. Пока я еще укладывался поудобнее, по стене пробежала пестрая, блестящая ящерица, но Доменика успокоила меня, говоря, что эти бедняжки больше боятся меня, чем я их, и не сделают мне никакого вреда. Затем она прочла надо мною «Ave Maria» и придвинула колыбельку к другой нише, где спала сама с Бенедетто. Я осенил себя крестом и стал думать о матушке, о Мадонне, о новых своих родителях и о руке и ноге разбойника, виденных мною неподалеку от дома, потом мало-помалу все спуталось в сонных грезах.

На следующий день с утра полил дождь, который и держал нас целую неделю взаперти в узкой комнате, где царил полумрак, несмотря на то что дверь стояла полуотворенной, когда ветер дул с нашей стороны.

Меня заставили качать малютку в парусиновой колыбели, а Доменика пряла и рассказывала мне о разбойниках Кампаньи, которые, впрочем, никогда не обижали их, пела мне священные песни, учила меня новым молитвам и рассказывала еще не известные мне жития святых. Обычную пищу нашу составляли лук и хлеб; она была мне по вкусу, но я ужасно скучал, сидя взаперти в тесной комнате. Чтобы развлечь меня, Доменика провела перед дверью канавку, извилистый Тибр в миниатюре, с такою же желтой и медленно текущей водой. Флот мой состоял из щепочек и камышинок, и я заставлял его плавать от Рима до Остии. Но если дождь уж чересчур усиливался, дверь приходилось запирасть, и мы сидели тогда почти в потемках. Доменика пряла, а я припоминал красивые образа монастырской церкви, представлял себе Иисуса, проплывающего мимо меня на корабле, Мадонну, возносимую ангелами к облакам, и надгробные плиты с высеченными на них черепами в венках.

Когда же дождливое время года кончилось, небо целые два месяца сияло безоблачной лазурью. Мне позволили бегать на воле с тем только, чтобы я не подбегал слишком близко к реке: рыхлая земля обрыва легко могла осыпаться подо мною, говорила Доменика. Кроме того, возле реки паслись стада диких буйволов. Но именно дикость-то их и опасность и возбуждали мое любопытство. Мрачный взгляд животных, странный дикий огонь, светившийся в их зрачках, — все это вызывало во мне чувство сродни тому, что влечет в пасть змеи птичку. Их дикий бег, быстрота, превосходящая лошадиную, их битвы между собою, состязание равных сил — приковывали мое внимание. Я старался изобразить на песке виденные мною сцены, а для пояснения своих рисунков слагал песни, под-

бирал к ним мелодии и распевал их, к большому удовольствию Доменики, говорившей, что я — умница мальчик и пою, как ангел небесный.

День ото дня солнце палило все сильнее; целое море огненного света лилось на Кампанию. Стоячие гниющие воды заражали воздух, и мы могли выходить из дома только по утрам да вечерам; ничего такого не знавал я в Риме на холме Пинчио. Я помнил, каково там было в самую жаркую пору года, когда нищие просили не на хлеб, а на кружку холодной воды, помнил и наваленные горами чудесные зеленые арбузы, разрезанные пополам и обнажавшие свою пурпуровую мякоть с черными зернышками... Губы сохли при этих воспоминаниях еще сильнее! Солнце стояло прямо над головой, и тень моя, казалось, старалась спрятаться от его лучей под мои ноги. Буйволы лежали на спаленной траве неподвижно распростертыми, словно безжизненными, массами или в бешенстве описывали по равнине большие круги. Вот когда душа моя прониклась представлением о мучениях путешественника в жгучей африканской пустыне!

В продолжение двух месяцев мы вели жизнь потерпевших крушение в океане и спасшихся на обломке судна. Ни одна живая душа не навещала нас. Все дела по дому справлялись ночью или ранним утром. От нездорового воздуха и нестерпимой жары у меня сделалась лихорадка, и негде было взять даже капли свежей воды для утоления жажды. Все болота высохли; тепловатая желтая вода Тибра еле-еле текла, сок в дынях был также совсем теплый, и даже вино, несмотря на то что хранилось между камнями и прикрывалось травой, было кисло и точно наполовину сварено. Хоть бы единое облачко на горизонте! И днем и ночью та же ясная лазурь. Каждое утро, каждый вечер молились мы о ниспослании дождя или свежего ветра, каждое утро, каждый вечер смотрела Доменика по направлению к горам — не покажется ли там облачко, но нет, лишь ночь, душная ночь приносила с собою хоть какую-нибудь тень; два долгих-долгих месяца дул только удушливый, знойный сирокко.

Наконец, и то только на восходе да при закате солнца, стало веять прохладой, но тупость и какое-то оцепенение, в которое погрузили все мое существо мучительная жара и скука, все еще держали меня в своих тисках. Мухи и другие докучливые насекомые, казалось вконец уничтоженные жарой, опять возродились к жизни, да еще в удвоенном количестве. Мириадами нападали они на нас и жалили своими ядовитыми жадами. Буйволы часто бывали сплошь покрыты этими жужжащими мириадами, набрасывавшимися на них, как на падаль. Доведенные до бешенства животные бросались в Тибр и барахтались в мутной воде. Истомившийся от летней жары римлянин, крадущийся по почти безжизненным улицам города вдоль самых стен домов, словно желая вдохнуть в себя жмущуюся к ним тень, не имеет все-таки и понятия о мучениях обитателя Кампании. Здесь дышишь серным, зачумленным воздухом;

здесь насекомые, словно какие-то бешеные демоны, изводят обреченных жить в этой раскаленной печи.

В сентябре дни стали прохладнее, и однажды к нам явился Федерико. Он сделал несколько эскизов спаленной солнцем степи, срисовал и наше оригинальное жилище, крест на месте казни и диких буйволов, подарил мне бумагу и карандаш, чтобы и я тоже мог рисовать себе картинки, и пообещал, что в следующий раз, когда опять придет к нам, возьмет меня с собою в Рим: пора мне было навестить фра Мартино, Мариучию и всех моих друзей, а то они, кажется, совсем позабыли меня! Но и самого-то Федерико пришлось упрекнуть в том же.

Вот пришел и ноябрь, самое прекрасное время года в Кампанье. С гор веяло прохладой, и я каждый вечер любовался богатой, свойственной только югу игрою красок на облаках, которую не может, не рискует изобразить на своих картинах художник. Причудливые оливково-зеленые облака на желтоватом фоне казались мне плавучими островами из райского сада, а темно-синие, вырисовавшиеся на золотом небе, точно вершины пиний, казались горами в стране блаженства, у подножия которых играли и навевали крыльями прохладу добрые ангелы.

Однажды вечером я сидел и предавался своим мечтам, глядя на солнышко сквозь проколотый листок. Доменика нашла это вредным для глаз и, чтобы положить конец моей забаве, заперла дверь. Мне стало скучно, и я попросился погулять; Доменика позволила, я весело подпрыгнул, побежал к двери и распахнул ее, но в ту же минуту был сбит с ног. В дверь ворвался какой-то мужчина и быстро захлопнул ее за собою. Я едва успел взглянуть на его бледное лицо и услышать из его уст отчаянное воззвание к Мадонне, как вдруг дверь потряс такой удар, что из нее вылетело и обрушилось на нас несколько досок. В образовавшееся отверстие просунулась голова буйвола, яростно сверкавшего глазами.

Доменика вскрикнула, схватила меня за руку и прыгнула со мной на лестницу, которая вела во второй этаж. Смертельно бледный незнакомец растерянно огляделся кругом, заметил ружье Бенедетто, постоянно висевшее, на случай ночного нападения, на стене, и быстро схватил его. Раздался выстрел, и я увидел сквозь пороховой дым, как незнакомец бил прикладом животное по лбу. Буйвол не шевелился: голова его застряла в узком отверстии, и он не мог двинуться ни назад, ни вперед.

— Святые угодники! — были первые слова Доменики. — Что же это такое?! Ведь вы убили животное!

— Хвала Мадонне! — ответил незнакомец. — Она спасла мне жизнь! А ты был моим ангелом-спасителем! — прибавил он, обращаясь ко мне и взяв меня на руки. — Ты открыл мне дверь спасения! — Он был еще совсем бледен, и по лбу у него катились крупные капли пота.



По речи его мы сейчас же узнали, что перед нами не иностранец, а римский вельможа. Он объяснил нам, что занимается собиранием разных цветов и растений, оставил поэтому свой экипаж у моста Молле и отправился пешком вдоль Тибра, но тут наткнулся на буйволов. Один из них погнался за ним, и он спасся только благодаря тому, что наша дверь внезапно, как бы чудом каким, раскрылась в самую опасную минуту.

— Пресвятая Дева — заступница наша! — промолвила Доменика. — Это Она и спасла вас! А орудием вашего спасения она избрала моего Антонио! Она всегда благоволила к нему. Есселенза еще не знает, что это за ребенок! Он читает и по-печатному, и по-писаному, а рисует как! Сразу можно угадать, что он хотел нарисовать. Он нарисовал и собор святого Петра, и буйволов, и толстого патера Амброзио! А голос у него какой! Послушал бы его Есселенза! Папским певчим не поймать его ни в одной неверной нотке! И ко всему этому он такой добрый ребенок — на редкость! Я не стану хвалить его при нем, это вредно, но он стоит того!

— Но это ведь не ваш же сын? — спросил незнакомец. — Он еще так мал.

— А я так стара! — сказала она. — Правда, старое фиговое дерево не дает молоденьких отростков! У бедняжки нет ни отца, ни матери, никого на свете, кроме меня и Бенедетто! Но мы-то уж не расстанемся с ним — пусть даже выйдут все его денежки! Но, Пресвятая Дева! — прервала она себя самое и схватила за рога буйвола, из головы которого лилась в комнату кровь. — Надо же убрать животное! Не то ни нам не выйти, ни к нам не войти! Ах, Господи! Да он застрял так, что нам и не отделаться от него, пока не вернется Бенедетто! Только бы нам не досталось за убийство животного!

— Не беспокойтесь, матушка! — сказал незнакомец. — Я все беру на себя. Вы ведь, конечно, знаете Боргезе?

— Ах, ваше сиятельство! — сказала Доменика и поцеловала край его одежды, а он пожал ей руку, подержал в своих мою и наказал Доменике прийти завтра утром со мной в Рим, в палаццо Боргезе.

Моя приемная мать даже прослезилась от такой великой милости, как она сказала, и непременно пожелала показать Есселенза все мои царапанья карандашом на разных клочках бумаги, которые она припрятывала, словно эскизы самого Микеланджело. Есселенза пришлось пересмотреть все, что так радовало ее, и я был очень польщен, так как он улыбнулся, потрепал меня по щеке и сказал, что я маленький Сальваторе Роза.

— Да! — сказала Доменика. — Кто подумает, что это рисовал ребенок? Ведь сразу видно, что он хотел нарисовать! Буйволы, лодки и наш домик! А вот это я! И похожа ведь? Только красок не хватает. Но нельзя же было раскрасить карандашом! А теперь спой! — обрати-

лась она ко мне. — Спой, как умеешь, что-нибудь свое! Да, Eccellenza, он сам слагает целые истории и проповеди, что твой монах! Ну, спой же! Eccellenza господин добрый и хочет послушать тебя, а ты ведь сумеешь взять верный тон!

Незнакомец улыбнулся; ему, видно, забавно было глядеть на нас обоих. Я хорошо помню, что я начал петь и что Доменика пришла от моей импровизации в восторг, но что именно я пел и как — не помню. Одно только ясно удержалось у меня в памяти: в песне моей фигурировали Мадонна, Eccellenza и буйвол. Eccellenza сидел молча, и Доменика истолковала его молчание восхищением.

— Захватите с собою мальчика! — вот все, что он сказал после моей импровизации. — Я буду ждать вас завтра утром! Впрочем, нет! Приходите лучше вечером, так за часок до «Ave Maria»! А когда придете, люди сейчас же доложат о вас, я уж предупрежу их! Но как же я выберусь отсюда? У вас нет другого выхода, через который бы я мог выйти и добраться до моего экипажа, не натыкаясь на буйволов?

— Есть-то есть, — сказала Доменика, — да не для Eccellenza! Мы-то можем лазить, но для такого знатного господина эта дорога не годится! Наверху, видите ли, есть дыра, через которую надо выползти и тогда уж попросту спуститься по стене вниз. Это делаю даже я в мои годы! Но я не могу предложить этого гостю, да еще такому знатному господину!

Тем не менее Eccellenza поднялся по узенькой лесенке наверх, просунул голову в дыру и заявил, что спуск так же удобен, как capitoлийская лестница. К тому же буйволы в это время как раз повернули к Тибру, а по дороге, недалеко от нашего домика, лениво тащился крестьянский обоз, направлявшийся к большой дороге; к нему-то Eccellenza и решил пристать: за нагруженными связками камыша возами он мог быть в безопасности от нового нападения буйволов. Еще раз наказал он Доменике прийти со мною к нему на другой день, за час до «Ave Maria», протянул ей для поцелуя руку, потрепал по щеке меня, раздвинул густую зелень плюща и спустился по стене вниз. Скоро мы увидели, что он догнал крестьянский обоз и скрылся между возами.

ПАЛАЦЦО БОРГЕЗЕ. КОНЕЦ ДЕТСТВА

Бенедетто, с помощью двух других пастухов, оттащил животное от дверей, и тут-то пошли разговоры, но я помню ясно только то, что на другой день я был на ногах еще до рассвета, приговарываясь к вечернему путешествию в Рим. Мое праздничное платье, лежавшее столько месяцев без употребления, снова увидело свет Божий; меня принарядили, и шляпу мою украсили свежей розой. Башмаки составляли самую слабую часть моего костюма; трудно, право, было решить, насколько они, собственно,

соответствовали своему названию и не походили ли скорее на римские сандалии?

Как долог показался мне путь, как пекло солнце! Никогда еще фалернское или кипрское вино не казалось мне таким вкусным, как вода, что струилась изо рта каменного льва у обелиска на площади дель Пополо. Я прижался горячей щекой к пасти льва и подставил под струю свою голову, к величайшему ужасу Доменики: я ведь замочил свое платье, и приглаженные волосы мои растрепались! Наконец мы дошли до величественного палаццо Боргезе, расположенного на улице Рипетта. Как часто и я, и Доменика проходили мимо него, не обращая на него особенного внимания! Теперь же мы остановились перед ним и созерцали его в почтительном молчании. Нас поразила его роскошь, особенно шелковые занавеси на окнах. Мы были уже знакомы с самим вельможным хозяином палаццо; он ведь был вчера нашим гостем, а теперь мы пришли к нему в гости, и это обстоятельство придавало в наших глазах особый интерес всему. Никогда не забуду я странного трепета, который охватил меня при виде роскошной обстановки палаццо. С самым знатным Eccellenza я уже познакомился, видел, что он такой же человек, как и другие, но эта роскошь, это великолепие!.. Да, теперь я видел тот блеск, то сияние, которое отличает святых от простых смертных! Внутри двора был разбит четырехугольный садик, обнесенный высокой белой колоннадой; в нишах красовались статуи и бюсты. Высокие кусты алоэ и кактусов росли возле колонн; ветви лимонных деревьев сгибались под тяжестью зеленоватых плодов, — солнце еще не успело позолотить их. Две пляшущие вакханки высоко подымали кверху чаши с водой, которая и лилась им прямо на плечи. Большие водяные растения протягивали к ним свои сочные зеленые листья. И сравнить только эту прохладу, эту зелень, этот аромат с нашей желтой, дышащей огнем, спаленной Кампаньей!

Мы поднялись по широкой мраморной лестнице. В нишах стояли прекрасные статуи; перед одной из них Доменика благочестиво преклонила колени и перекрестилась: она думала, что это Мадонна, а я узнал впоследствии, что это была Веста, тоже почитавшееся в свое время олицетворение девственности. Слуги в богатых ливреях встретили нас и так дружески поклонились нам, что страх мой мало-помалу прошел. Только бы залы не были так огромны и роскошны! Полы были выстланы гладким блестящим мрамором, по стенам всюду висели чудные картины, а где не было их, там самые стены были из зеркального стекла и разрисованы летающими ангельчиками, гирляндами, венками и пестрыми птицами, клевавшими красные и золотые плоды. Сроду не видывал я такой красоты!

Нам пришлось немножко подождать, пока, наконец, Eccellenza вышел к нам в сопровождении прекрасной, одетой в белое дамы. Большие живые глаза ее пристально, но приветливо устремились на меня; потом она откинула мне со лба волосы и сказала Eccellenza:

— Ну, не говорила ли я, что вас спас ангел! Бьюсь об заклад, что под этим некрасивым узким платьем у него спрятаны крылышки!

— Нет! — ответил тот. — Я читаю на его красных щеках, что много воды утечет в море из Тибра, прежде чем он распустит свои крылышки. Небось и старушка не хочет, чтобы он улетел от нас на небо! Не правда ли, вы не хотите лишиться его?

— Нет! Без него в нашей хижине стало бы так мрачно и пусто! Это все одно что замуровать в ней все окна и двери! Нет, я не могу расстаться с нашим милым мальчиком!

— Ну, на сегодняшний-то вечер можете! — сказала дама. — Пусть он побудет у нас несколько часов, а потом вы придете за ним. Ночь лунная, идти домой будет светло, а разбойников ведь вы не боитесь?

— Да, пусть мальчик останется тут на часок, а вы тем временем закупите себе, что нужно для дома! — сказал Есселенза и сунул Доменике в руки небольшой кошелек. Больше я ничего не слышал — дама увела меня в залу, оставив старуху с Есселенза.

Роскошь обстановки и блестящее знатное общество совсем ослепили меня. Я глядел то на нарисованных на стенах улыбающихся ангельчиков, выглядывавших из-за зеленых гирлянд, то на сенаторов в лиловых и кардиналов в красных чулках; они всегда казались мне какими-то полубогами, а теперь я сам попал в их общество. Но больше всего привлекал мои взгляды прекрасный амур — прелестный ребенок, сидевший верхом на безобразном дельфине, выбрасывавшем в воздух две высокие водяные струи, которые затем ниспадали обратно в бассейн, стоявший посреди залы.

Знатное общество, да, все — и кардиналы, и сенаторы с улыбкой поздоровались со мною, а один молодой офицер, в мундире папских гвардейцев, даже протянул мне руку, когда молодая дама представила меня ему в качестве ангела-хранителя ее дяди. Меня забросали вопросами, на которые я бойко отвечал, вызывая смех и рукоплескания. Потом явился и Есселенза и сказал, что я должен спеть им песню. Я охотно согласился. Молодой офицер поднес мне шипучего вина и велел выпить, но молодая дама покачала головой и отняла у меня стакан после первого же глотка. Словно огонь разлился по моим жилам, когда я выпил вино. Офицер предложил мне воспеть эту прекрасную молодую даму, стоявшую рядом и глядевшую на меня с улыбкой, и я охотно исполнил его желание. Бог знает, что такое я плел, но моя болтовня сошла за красноречие, смелость за остроумие, а то обстоятельство, что я был бедный мальчик из Кампаньи, придало всему отпечаток гениальности. Все аплодировали мне, а офицер снял прекрасный лавровый венок с бюста, стоявшего в углу, и, смеясь, надел его на голову мне. Все это, конечно, было шуткой, но я-то принял все всерьез, и оказанное мне внимание привело меня в самое блаженное настроение, доставило мне лучшие минуты в жизни. Затем я перешел к песням, которым

научили меня Мариучия и Доменика, описывал обществу злые глаза буй-волово и наше маленькое жилище, переделанное из гробницы, и время пролетело для меня незаметно. Явилась Доменика, и я должен был отправиться домой. Я шел за своей приемной матерью, нагруженный пирожными, фруктами и блестящими серебряными монетами. Доменика сияла, как и я: она сделала богатые покупки — купила и на платья, и кое-что из кухонной утвари, и две большие бутылки вина. Вечер был удивительно хорош. Ночная тьма окутывала деревья и кусты, но в вышине над нами сиял полный месяц, словно чудный золотой челн, колышущийся на волнах темно-синего моря, струившего прохладу на спаленную Кампанью.

Вернувшись домой, я только и думал о богатых покоях палаццо, о ласковой даме и о рукоплесканиях и наяву и во сне бредил этой прекрасной мечтой, которая скоро опять стала действительностью, прекрасной действительностью. Я не раз побывал в гостях в роскошном палаццо, прекрасная ласковая дама забавлялась моей оригинальностью и заставляла меня рассказывать, болтать с нею, как со старой Доменикой; ей это, по-видимому, доставляло большое удовольствие, и она хвалила меня *Esceienza*. Он тоже был очень добр ко мне — главным образом, потому, что был невинной причиной смерти моей матери. Это он ведь сидел в экипаже, который понесли взбесившиеся лошади. Прекрасную даму звали Франческой; она часто брала меня с собою в роскошную картинную галерею палаццо Боргезе. Мои наивные вопросы и замечания насчет чудных картин часто смешили ее, она передавала их другим, и те тоже смеялись. По утрам галерея была открыта для публики, и в ней толпились иностранцы, сидели и копировали разные картины художники, но после обеда галерея стояла пустою. Тогда-то мы с Франческой и расхаживали по ней; путеводительница моя рассказывала мне при этом разные истории, имевшие отношение к картинам.

Особенно нравились мне «Времена года» Франческо Альбани. Все эти хорошенькие веселые ангелочки или амурчики, как говорила Франческа, как будто выскочили из моих сновидений! Как чудно резвятся они на картине «Весна!» Целая толпа их точит свои стрелы, один вертит точило, а двое, паря в воздухе, поливают камень водою. На картине «Лето» одни летают вокруг дерева и рвут с него плоды, другие купаются и шалят в свежих струях воды. На картине «Осень» изображены осенние удовольствия: амур сидит с факелом в руках на маленькой колеснице, которую везут двое его товарищей, а любовь манит охотника в уютный уголок, где они могут отдохнуть рядышком. «Зима» убаюкала всех малюток; крепко спят они; нимфы стащили у них колчаны и стрелы и бросают эти опасные орудия в огонь, который скоро и уничтожит их.

Почему ангелочки назывались амурами, зачем они стреляли — да и много еще о чем хотел я разузнать поподробнее, не довольствуясь беглыми объяснениями Франчески, но она говорила мне:

— Ты сам должен прочесть обо всем! Многому надо еще тебе учиться! Но корень ученья горек! День-деньской придется сидеть за книжкой, на скамейке, нельзя уже будет играть с козлятами в Кампанье или ходить сюда любоваться на твоих маленьких друзей — амурчиков! А чего бы тебе больше хотелось: скакать верхом, с развевающимся султаном на каске, за каретой святого отца, надеть блестящие доспехи, как те, что носит Фабиани, или научиться понимать все эти прелестные картины, познавать мир Божий и узнать множество историй, куда прекраснее тех, которые я тебе рассказывала?

— Но разве я уж совсем не буду больше приходить к тебе? — спросил я. — И разве я не могу всегда оставаться у доброй Доменики?

— Ты ведь помнишь еще свою мать, помнишь, как тебе хорошо жилось у нее? Тогда тебе вечно хотелось жить с нею, ты и не думал ни о Доменике, ни обо мне, а теперь мы стали тебе самыми близкими людьми. Настанет время — опять все может перемениться, — в таких переменах проходит вся жизнь!

— Но ведь вы же не умрете, как матушка? — спросил я со слезами на глазах.

— Умереть или вообще расстаться друг с другом всем нам когда-нибудь придется! Наступит время, когда нам уже нельзя будет так часто видаться, как теперь, и мне хотелось бы видеть тебя тогда веселым и счастливым!

Поток слез был моим ответом. Я чувствовал себя таким несчастным, сам хорошенько не зная причины. Франческа потрепала меня по щеке и сказала, что у меня слишком мягкое сердце, а это не годится. Тут подошел Есселенза с молодым офицером, который увенчал меня после моей первой импровизации лаврами: звали его Фабиани, и он тоже очень любил меня.

На вилле Боргезе свадьба, блестящая свадьба! — вот какой слух донесся через несколько дней до бедной хижинки Доменики. Франческа выходила замуж за Фабиани и затем должна была уехать с ним в его имение близ Флоренции. Свадьбу праздновали на вилле Боргезе, лежавшей неподалеку от Рима и окруженной густым парком из вечнозеленых лавровых деревьев, мощных дубов и высоких пиний, что и летом, и зимою поднимают к голубому небу свои одинаково зеленые вершины. И в те времена, как теперь, парк этот служил излюбленным местом прогулок и для римлян, и для приезжих иностранцев. По густым дубовым аллеям катились богатые экипажи; белые лебеди плавали по тихим озерам, в которых отражались плакучие ивы; по гранитным уступам сбегали водопады. Пышногрудые римлянки с огненными глазами ехали на праздник в экипажах, гордо поглядывая на жизнерадостных поселянок, плясавших по дороге, потряхивая

тамбуринами. Старая Доменика пешком приплелась со мной на виллу Боргезе, чтобы присутствовать на свадьбе нашей благодетельницы. Мы стояли в саду и смотрели на освещенные окна виллы. Франческа и Фабиани были уже обвенчаны. Из внутренних покоев доносились звуки музыки, а над зеленым лугом, где был расположен амфитеатр, взлетали ракеты и бураки, рассыпавшиеся искрами в голубом воздухе.

В одной из высоких оконных ниш показались две тени — кавалер и дама.

— Это он и она! — сказала Доменика.

Тени склонились друг к другу и как будто слились в поцелуе... Я увидел, что моя приемная мать сложила руки, творя молитву; я тоже невольно преклонил колени под темными кипарисами и начал молиться за свою дорогую синьору. Доменика опустилась на колени рядом со мною: «Пошли им Бог счастья!» В ту же минуту ракета разлетелась, и с неба как будто упали тысячи звездочек, в знак того, что желание старухи сбудется. Но она все-таки плакала, плакала обо мне: нам предстояла скорая разлука! Есселенза внес за меня деньги в Иезуитскую коллегию, и я должен был воспитываться там, вместе с другими детьми, для более блестящей будущности, нежели та, которая могла ожидать меня в Кампанье у Доменики и Бенедетто.

— Пожалуй, в последний раз на моем веку иду я с тобою через Кампанью, — сказала мне старуха. — Теперь ты будешь ходить по блестящему паркету да мягким коврам! Их нет у бедной Доменики, но ты был добрым мальчиком, останешься им и никогда не забудешь ни меня, ни бедного Бенедетто! Господи, подумать только, что теперь тебя может еще осчастливить блюдо жареных каштанов! Ты можешь еще забавляться, играя на дудочке из тростинки, и глаза твои светятся радостью небесною, глядя, как жарятся на камыше каштаны! Потом ты никогда уже не будешь так радоваться всякой безделице. Репейник Кампаньи цветет все-таки красными цветами, а на блестящем полу в богатых покоях не растет и соломинки, на нем легко поскользнуться! Не забывай никогда, что ты из бедной семьи, мой милый Антонио! Помни, что ты должен и видеть, и не видеть, и слышать, и не слышать! Вот как придется тебе пробивать себе дорогу! Когда Господь призовет к себе нас с Бенедетто, когда ребенок, которого ты качал в люльке, будет мыкать жизнь бедным крестьянином в Кампанье, ты, может быть, приедешь когда-нибудь в богатой карете или верхом на великолепном коне взглянуть на старую гробницу, где ты спал, играл и жил с нами, и увидишь, что в ней живут чужие люди, которые низко поклонятся тебе! Но ты не возгордишься! Ты вспомнишь прежние дни, старую Доменику, жареные каштаны и ребенка, которого ты баюкал, вспомнишь свое собственное бедное детство — у тебя ведь золотое сердце, мой Антонио! — Тут она крепко поцеловала меня и заплакала.

Сердце мое готово было разорваться. Этот обратный путь домой и ее речи были для меня тяжелее самой разлуки. Тогда Доменика уж ничего не говорила, а только плакала. Когда же мы вышли из дому, она вдруг вернулась назад, сорвала с дверей старый закоптелый образок Мадонны и отдала его мне: я ведь так часто целовал его, и ей больше нечего было дать мне!

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. АББАС ДАДА. «DIVINA COMMEDIA». ПЛЕМЯННИК СЕНАТОРА

Синьора уехала с мужем во Флоренцию, а меня водворили в Иезуитскую коллегию. У меня появились новые занятия, новые знакомства, драма моей жизни начала развиваться. Тут целые годы как будто сокращаются в один год, каждый час богат содержанием; это целый ряд картин, которые теперь, при взгляде на них издалека, сливаются в одну общую картину моей школьной жизни. Как для путешественника, в первый раз поднявшегося на Альпы, открывается и выступает из мало-помалу рассеивающегося тумана то вершина горы, с городами и селениями, то освещенная солнцем часть долины, так открывался, выступал и рос перед моим умственным взором Божий мир. Из-за гор, окружавших Кампанию, мало-помалу выступали страны и города, которые мне прежде и во сне не снились; история населяла каждое местечко, пела мне диковинные предания и сказания; каждый цветок, каждое растение получали для меня значение, но прекраснее всего казалось мне мое отечество, чудная Италия. Я гордился тем, что родился римлянином: каждая пядь земли в моем родном городе была мне дорога и интересна; вершины колонн, служившие краеугольными камнями домов в узких улицах, были для меня священными памятниками, колоссами Мемнона, певшими моему сердцу чудные песни. Тростник Тибра шептал мне о Ромуле и Реме; триумфальные арки, колонны и статуи укрепляли в моей памяти историю отчизны. Я жил душою во времена классической древности, и современники, в лице моего учителя истории, хвалили меня за это.

В каждом обществе — в кругу дипломатов и в кругу духовных лиц, в веселой компании, собравшейся в простой харчевне, и в знатном обществе, убивающем время за картежными столами, — всюду бывает свой арлекин. В школах арлекины водятся и подавно. Молодые глаза легко отыскивают себе мишень для насмешек! У нас тоже был свой арлекин, да еще лучше всякого другого: самый серьезный, ворчливый, педантичный и тем более забавный. Это был аббат Аббас Дада, арабский отпрыск, пересаженный на папскую почву еще в юности, ныне руководитель и просветитель нашего вкуса, светоч Иезуитской коллегии и даже самой Академии Тиберина.

Взрослым я много размышлял о поэзии, об этом удивительном даре богов. Она представляется мне богатой золотой рудой в горе; образование и воспитание — вот искусные рудокопы, которые очищают ее; попадают, впрочем, в горах и чисто золотые самородки; это — лирические импровизации природного поэта. Но кроме золотых и серебряных руд, есть также и свинцовые, и другие менее ценные, которыми тоже не следует пренебрегать: благодаря искусной обработке и полировке и простые металлы могут приобрести вид и блеск настоящего золота или серебра. Я поэтому делю всех поэтов на золотых, серебряных, медных и железных. Но есть еще целая толпа мастеров, занимающихся разработкой простых глиняных пластов; это — не поэты, которым, однако, очень хочется попасть в сонм поэтов. К таким-то вот и принадлежал Аббас Дада; его искусства как раз хватало только на лепку своего рода глиняных горшков, которые он с известной поэтической вольностью и разбивал о людей, далеко превосходивших его самого и глубиной чувства, и поэтическим дарованием. Легкие, гибкие стихи, крайне вычурные по форме, образовывавшие на бумаге разные вазы, сердечки и т. п., — вот что пленяло и восхищало его. Поэтому пристрастие его к Петрарке приходится объяснить или дивной мелодией сонетов последнего, или модой, или просто, наконец, светлой манией его больного мозга; вообще же Петрарка и Аббас Дада были два наиболее разнородных существа. Аббас Дада заставил нас выучить наизусть чуть ли не четвертую часть длинной эпической поэмы Петрарки «Африка», и Сципионы стоили нам многих слез и розог. Кроме того, он ежедневно восхвалял нам основательность и глубину Петрарки. «Поверхностные же поэты, — говорил он, — пишущие акварелью, эти дети фантазии, — настоящее отродие соблазна. Даже величайший из них, Данте, не мог стяжать себе бессмертия иначе, как призвав на помощь и небо, и землю, и ад, тогда как Петрарке довольно было написать один маленький сонет! И на мой взгляд, Данте весьма и весьма неважный поэт! Конечно, он мастер писать стихи! И эти-то волны звуков и доносят его Вавилонскую башню до отдаленнейших поколений. Да если бы еще он выполнил свой первоначальный план, написал всю поэму по-латыни, этим он доказал бы хоть свою ученость, но латинский язык стеснял его, и он предпочел ему наше вульгарное наречие, которое держится и поныне. Боккаччо сравнивает Данте с потоком, по которому и лев проплывет, и ягненок пройдет вброд. Я же не нахожу в нем ни этой глубины, ни этой простоты. У него нет надлежащего устоя; он вечно колеблется между древним миром и нашим. А вот Петрарка, этот апостол правды, не сажал умершего папу или императора в ад, чтобы доказать этим свою храбрость! Он был для своего времени все равно что хор для греческой трагедии, выступал как своего рода Кассандра, предостерегая и порицая как пап, так и князей. Он осмелился сказать Карлу IV в лицо: «По тебе видно, что добродетель не наслед-

ственна!» Когда же Рим и Париж хотели венчать его лаврами, он с благородным сознанием своего достоинства обратился к своим современникам за подтверждением того, что он действительно достоин такой чести, и в продолжение трех дней позволял экзаменовать себя, как школьника, прежде чем вступил в Капитолий, где король Неаполитанский надел на него пурпурную тогу, а римский сенат увенчал лаврами, которых не дождался Данте!»

Таким образом, Аббас Дада вечно бил на то, чтобы вознести Петрарку и унижить Данте, между тем как оба эти поэта достойны стоять рядом, как душистая фиалка и пышно цветущий розовый куст. Мы должны были выучить наизусть все сонеты Петрарки, из Данте же не прочли ни одной строчки, и только из порицаний Аббаса Дада я узнал, что Данте затронул в своей поэме и рай, и чистилище, и ад, три стихии, особенно увлекавшие меня и возбуждавшие во мне пламенное желание познакомиться с творением Данте хотя бы тайком: Аббас Дада никогда не простил бы мне прикосновения к этому запретному плоду!

Однажды, бродя по площади Навоне между грудami апельсинов, разбросанными по земле обломками старого железа, старыми платьями и другим хламом, я наткнулся на столик букиниста, заваленный старыми книгами и картинами. Тут были разложены и карикатуры на обжор, уплетающих макароны, и изображения Мадонны с сердцем, пронзенным мечом, и другие крайне разнообразные предметы. Внимание мое привлек том Метастазіо; в кармане у меня был один паоло¹, последний остаток карманных денег, данных мне полгода тому назад Eccellenza. Для меня паоло было теперь целым богатством, и я готов был поступиться из него разве несколькими байоко. Наконец я почти уже сторговал Метастазіо, как вдруг увидал заглавие другой книги: «Divina commedia di Dante»! Запретный плод с древа познания добра и зла! Я бросил Метастазіо и схватился за «Комедию», но она оказалась мне не по карману: за нее требовали три паоло! Я повертывал свое паоло в руках, оно просто жгло мне руки, но удвоиться никак не хотело, а между тем решительная цена книги была объявлена — два паоло! Это была ведь лучшая итальянская книга, первое поэтическое произведение в мире, сказал продавец и принялся изливать потоки красноречия, распинаясь за униженного Аббасом Дада Данте.

— Каждая страница стоит проповеди! — говорил он. — Это пророк Божий, который через пламень ада ведет вас в вечный рай! Вы не знаете его, молодой синьор, не то вы сейчас же ударили бы по рукам, хоть бы я запросил за него целое скудо! Подумайте, вы на всю жизнь приобретете себе такую книгу, лучшее произведение своего отечества, и всего за два жалких паоло!

¹ Итальянское скудо равняется десяти паоло, а паоло десяти байоко.

Ах, я бы охотно отдал и три, будь они только у меня, но теперь я, как лисица, для которой виноград кисел, захотел показать свою ученость и пустил в ход грозные филиппики Аббаса Дада против Данте, превознося в то же время Петрарку.

Но букинист с жаром и увлечением отпарировал мои нападки на его любимого поэта и затем прибавил:

— Да, да! Вы еще слишком юны, а я слишком невежествен, чтобы нам с вами судить таких людей. Пусть каждый будет хорош по-своему! К тому же вы не читали Данте! Не могли читать! Юная, горячая душа не может изливать желчь на мирового гения!

Я честно сознался, что мое суждение основано единственно на отзывах моего учителя; тогда продавец, в припадке увлечения своим любимым поэтом, сунул мне в руки книгу и попросил в вознаграждение за недоплаченный ему паоло одного — прочесть и не осуждать гордость Италии, его дорогого, божественного Данте.

Как же я был счастлив! Книга была теперь моей собственностью, моей вечной собственностью! Я всегда не доверял осуждению ее желчным Аббасом Дада, а теперь любопытство мое еще более было подзадорено восторженными похвалами букиниста, и я едва-едва дождался минуты, когда наконец мог втихомолку приняться за чтение.

С этой минуты для меня началась новая жизнь! Мое воображение открыло в Данте новую Америку с величественной, роскошной природой, превосходящей все, что я знал доселе. Какие могучие скалы, какие яркие краски представились мне! Я сам переживал все, страдал и наслаждался вместе с бессмертным певцом, странствовал вместе с ним по аду, и в ушах у меня беспрерывно раздавалась, словно глас трубный, надпись над воротами ада:

Здесь мною входят в скорбный град к мученьям,
Здесь мною входят к муке вековой,
Здесь мною входят к падшим поколениям.
Подвигнут правдой вечный Зодчий мой.
Господня сила, разум всемогущий
И первыя любви дух святой
Меня создали прежде твари сущей,
Но после вечных и мне века нет.
Оставь надежду всяк сюда идущий!¹

Я видел этот воздух, вечно черный, как песок пустыни, крутимый вихрем, видел, как опадало семя Адама, словно листья осенью, слышал, как стонали в воздушном пространстве скорбящие духи. Я оплакивал великих подвижников мысли, обретавшихся здесь за то только, что они не были христианами. Гомер, Сократ, Брут, Вергилий и другие лучшие, благороднейшие представители древности были навсегда удалены от рая.

¹ Перевод Дмитрия Мина.

Меня не удовлетворяло то, что Данте устроил их здесь так уютно и хорошо, как только может быть в аду, — все же существование их было безнадежной тоской, скорбью без мучений, все же они принадлежали к тому же царству проклятых, которые заключены в глубоких адских болотах, где вздохи их всплывают пузырями, полными яда и заразных испарений. Почему Христос, спустившись в ад и затем снова воспаривши в обитель Отца Небесного, не мог взять из этой долины скорби всех? Разве любовь могла выбирать между равно несчастными? Я совсем забывал, что все это было только плодом поэтического творчества. Вздохи, раздававшиеся из смоляного котла, доходили до моего сердца; я видел сонм симонистов, выплывавших на поверхность, где их кололи острыми вилами демоны. Исполненные жизни описания Данте глубоко врезывались в мою душу, мешались днем с моими думами, ночью — с моими грезами. По ночам часто слышали, как я кричал во сне: «Pape Satan, alepp Satan rare!» — и думали, что меня мучает лукавый, а это я бредил прочитанным. Во время классов я был рассеян; тысячи мыслей занимали мой ум, и при всем своем добром желании я не мог отделаться от них. «Где ты витаешь, Антонио?» — спрашивали меня, и меня охватывали страх и стыд: я знал — где, но расстаться с Данте, прежде чем пройду с ним весь путь, не мог.

День казался мне невыносимо длинным и тяжелым, как вызолоченные свинцовые колпаки, которые должны были носить в аду лицемеры. С трепетом крался я к запрещенному плоду и упивался ужасными видениями, казнившими меня за мои воображаемые грехи. Я сам чувствовал жало адских змей, кружащихся в пламени, откуда они возрождаются, как фениксы, и изливают свой яд.

Другие воспитанники, спавшие в одной комнате со мною, часто просыпались по ночам от моих криков и рассказывали о моих странных бессвязных речах об аде и грешниках. Старый же дядька увидел однажды утром, к великому своему ужасу, что я, с открытыми глазами, но во сне, приподнялся на кровати, называя сатану, начал бороться с ним и, наконец, обессиленный упал на подушки.

Тут уж все убедились, что меня мучил лукавый, постель мою окропили святою водой, а меня ежедневно перед отходом ко сну заставляли читать установленное число молитв. Ничто не могло вреднее отзываться на моем здоровье: моя кровь волновалась еще сильнее, сам я приходил в еще более нервное возбуждение, — я ведь знал причину своего волнения и видел, как обнаруживаю ее. Наконец настал кризис, и буря улеглась.

Первым по способностям и по знатности происхождения был между нами, воспитанниками, Бернардо, жизнерадостный, почти чересчур резвый юноша. Его ежедневной забавой было садиться верхом на выдававшийся над четвертым этажом строения водосточный желоб или балансировать на доске, перекинутой под самой крышей из одного углового окна в

другое. Все шалости, случавшиеся в нашем маленьком школьном царстве, приписывались ему, и почти всегда справедливо. У нас старались ввести монастырскую дисциплину и спокойствие, но Бернардо играл роль духа возмущения и разрушения. Злых шалостей он, впрочем, себе не позволял, разве только по отношению к педанту Аббасу Дада; между ними поэтому всегда были довольно натянутые отношения, но Бернардо это обстоятельство ничуть не беспокоило: он был племянник римского сенатора, очень богат, и его ожидала блестящая будущность. «Счастье, — говорил Аббас Дада, — часто бросает свои перлы в гнилые чурбаны и обходит стройные пинии!»

У Бернардо были свои определенные мнения обо всем, и если товарищи не желали признавать их, то он прибегал к помощи кулаков. И ими уж вбивал в спины бестолковых свои молодые, зеленые идеи. Победа, таким образом, всегда оставалась за ним. Несмотря на несходство наших натур, между нами установились наилучшие отношения. Я всегда уступал ему во всем, но это-то именно и давало ему повод к насмешкам надо мною.

— Антонио! — говорил он. — Я бы побил тебя, если бы знал, что это хоть немножко расшевелит в тебе желчь. Хоть бы раз ты выказал характер! Ударь ты меня кулаком в лицо за мои насмешки над тобою, я бы стал твоим вернейшим другом, но так я просто отчаиваюсь в тебе!

Однажды утром, когда мы остались с ним одни в зале, он уселся на стол передо мною, насмешливо поглядел мне прямо в глаза и сказал:

— Ты, однако, и меня перецеголял, плут этакий, — превосходно играешь комедию! А они-то кропят его постель святой водой, окуривают его ладаном! Ты думаешь, я не знаю, в чем дело? Ты читал Данте!

Я вспыхнул и спросил, как он может обвинять меня в подобном.

— Да ты сам описал сегодня ночью дьявола, точь-в-точь как он описан в «Divina commedia»! Рассказать тебе, что ли, историю? У тебя ведь богатая фантазия, и тебе это должно быть по вкусу! В аду, как ты сам знаешь из поэмы Данте, есть не только огненные озера и отравленные болота, но и большие замерзшие пруды, где души навек заморожены во льду. Миновав их, приходишь к глубочайшей бездне, где находятся изменники и предатели своих благодетелей; между ними и Люцифер, как восставший против Бога, нашего величайшего благодетеля. Он стоит во льду по самую грудь и держит в разинутой пасти Брута, Кассия и Иуду Искарюта; голова Иуды находится в самой глубине ее. Ужасный Люцифер стоит и машет крыльями, словно чудовищная летучая мышь! Так вот, дружок мой, раз увидев такого молодца, не так-то скоро его позабудешь! Познакомился же я с ним в Дантовом аду. И вот сегодня ночью ты описал его со всеми мельчайшими подробностями, и я сказал тебе тогда, как и теперь: «Ты читал Данте!» Но ты-то тогда был чистосердечнее, чем теперь. Ты заикался и произнес имя нашего любезного Аббаса Дада! Ну, сознайся же мне и

теперь! Я не выдам тебя! Наконец-то и ты заявил себя молодцом. Недаром же я все еще не терял надежды на тебя! Но откуда ты достал книгу? Я бы мог дать ее тебе! Я приобрел ее, как только услышал брань Аббаса Дада: я сразу смекнул, что ее стоит прочесть. Два толстенных тома напугали было меня, но я все-таки взялся за них назло Аббасу Дада и вот теперь перечитываю их в третий раз. Не правда ли, ад превосходен? Как ты думаешь, куда угодит наш Аббас Дада? Его, пожалуй, доймают и жаром, и холодом!

Итак, в мою тайну проникли, но я знал, что мог положиться на скромность Бернардо. С тех пор между нами установились еще более тесные дружеские отношения; все наши разговоры наедине вертелись на одном — «Divina commedia». Я был от нее в восторге, и чувствам моим нужен был исход — Данте и его бессмертное произведение и дали мне тему для первого моего стихотворения, которое я занес на бумагу.

В предисловии к «Divina commedia» находилась биография Данте, конечно краткая, но с меня было довольно и этого. И вот я воспел поэта и его возлюбленную Беатриче, его чистую духовную любовь, его страдания во время борьбы Черных и Белых, его изгнание, странствования и смерть на чужбине. Живее же всего описал я полет освобожденной души Данте, взиравшей с высоты на землю и ее пропасти. Для этого описания я воспользовался кое-какими чертами из его же бессмертного творения: я описывал, как чистилище (такое, каким описывал его сам Данте) открылось, как показалось чудесное дерево, обремененное великолепными плодами и орошаемое вечно шумящим водопадом, как сам Данте несясь в челноке, окрыленном вместо парусов большими белыми крылами ангелов, как содрогались окружающие горы и как очистившиеся души возносились на небо, где и солнце, и все ангелы служили только как бы зеркалами, отражавшими сияние вечного Бога, где все одинаково блаженны: каждая душа, какую бы ступень — высшую или низшую ни занимала, вмещала в себе столько блаженства, сколько в силах была вместить.

Бернардо прослушал мое стихотворение и признал его мастерским.

— Антонио! — сказал он. — Прочти его на празднестве! То-то разозлится Аббас Дада! Чудо! Да, да, непременно прочти это, а не что-нибудь другое!

Я отрицательно покачал головой.

— Что же? — продолжал он. — Ты не хочешь! Так я прочту! Уж накажу же я Аббаса Дада за бессмертного Данте! Милый Антонио, отдай мне твои стихи! Я прочту их. Но тогда надо выдать их за мои! Ну, откажись же от своих великолепных перьев и укрась ими галку! Ты ведь такой услужливый, а тут тебе как раз представляется случай заявить себя с самой лучшей стороны! Ты ведь согласен, да?

Мне самому так хотелось услужить ему и сыграть эту штуку с Аббасом Дада, что меня не пришлось долго уговаривать.

В то время в Иезуитской коллегии существовал еще обычай, который и доныне соблюдается в Пропаганде¹: 13 января — «in onore dei sancti re magi» — большинство воспитанников публично декламировали свои собственные стихотворения на одном из преподававшихся в заведении иностранных языков или на своем родном. Тему мы избирали сами, но затем она проходила через цензуру наших учителей, от которых уже и зависело разрешить нам разработку ее.

— А вы, Бернардо, — сказал ему Аббас Дада в день выбора тем, — конечно, ничего не выбрали? Вы не принадлежите к числу певчих птиц! Вас можно пропустить.

— О нет! — последовал ответ. — На этот раз и я осмелюсь выступить! Мне вздумалось воспеть одного из наших поэтов, конечно, не из самых великих, — на это я не решаюсь, — но я остановился на одном из менее выдающихся, на Данте!

— Эге! — отозвался Аббас Дада. — Он тоже собирается выступить, да еще с Данте! То-то выйдет шедевр! Послушал бы я его! Но так как на торжество соберутся все кардиналы и иностранцы со всех концов света, то лучше будет отложить эту потеху до карнавала! — И он пропустил в списке Бернардо, но этот не так-то легко позволил себя похерить и добился позволения от других учителей. Итак, каждый выбрал себе тему; я решил воспеть красоту Италии.

Каждый, конечно, должен был разработать свою тему сам, но ничем нельзя было так подкупить Аббаса Дада и вызвать что-то вроде солнечного луча на его пасмурном лице, как представив ему свои стихи на просмотр и попросив у него совета и помощи. Обыкновенно он и перedelывал все стихотворение сплошь: там вставит заплатку, там поправит — глядь, стихотворение-то хоть и осталось по-прежнему плохим, да зато на другой лад. Случись же кому-нибудь из посторонних похвалить стихотворение, Аббас Дада умел дать понять, что это он украсил стихи блестящими своего остроумия, сгладил шероховатости и т. д.

Моего стихотворения о Данте, которое Бернардо собирался выдать за свое, Аббасу Дада, конечно, не пришлось просматривать.

День настал. К воротам то и дело подъезжали экипажи; старые кардиналы в красных плащах с длинными шлейфами входили и занимали места в роскошных креслах; всем были розданы афиши с нашими именами и обозначением языков, на каких будут произнесены стихотворения. Аббас Дада сказал вступительную речь, и затем началось декламирование стихотворений на сирийском, халдейском, коптском, даже на санскрите, ан-

¹ В 1622 г. Григорием XV основана в Риме «конгрегация для пропаганды веры» из кардиналов и прелатов для распространения римско-католического вероисповедания и уничтожения ересей. С нею соединено основанное Урбаном VI «Collegium Sep Seminarium de propaganda fide» — учреждение для образования миссионеров.

глийском и других редкостных языках. Чем удивительнее и незнакомее был язык, тем сильнее раздавались рукоплескания и крики «браво» вперемишку с искренним смехом.

С трепетом выступил я и продекламировал несколько строф в честь Италии. Дружным «браво» приветствовало их все собрание; старые кардиналы рукоплескали, а Аббас Дада улыбался так ласково, как только мог, и пророчески вертел в руках лавровый венок, — из итальянских стихотворений оставалось непрочитанным только произведение Бернардо да одно английское, которое тоже навряд ли могло рассчитывать на награду. Но вот на кафедру взошел Бернардо. Я с беспокойством следил за ним и взором, и слухом. Смело и гордо начал он декламировать мои стихи о Данте; в зале воцарилось глубокое молчание. Все, казалось, были поражены удивительной силой его декламации. Я сам знал каждое словечко, и все-таки мне казалось, что я слышу крылатую песнь поэта, несущуюся к небу. Когда Бернардо кончил, его приветствовал взрыв восторга. Кардиналы встали с мест, как будто все уж было кончено; венок был присужден Бернардо; следующее стихотворение прослушали только ради порядка, поаплодировали чтецу, и затем все опять принялись восхищаться красотой и вдохновенностью стихотворения о Данте.

Щеки мои горели, как огонь, грудь волновалась, я не помнил себя от радости, душа моя упивалась фимиамом, который воскуряли Бернардо. Но, взглянув на него, я заметил, что на нем лица нет: он стоял смертельно бледный, с опущенными глазами, похожий на преступника, это он-то, он, всегда так смело глядевший в глаза всем. Аббас Дада тоже представлял жалкую фигуру и, казалось, собирался разорвать венок. Но один из кардиналов взял его и возложил на голову Бернардо, который преклонил колени, закрывая лицо руками.

Когда празднество окончилось, я отыскал Бернардо, но он крикнул мне: «Завтра, завтра!» — и вырвался от меня.

На следующий день я заметил, что он просто избегает меня; меня это огорчило — я искренно привязался к нему; душа моя искала привязанности и избрала предметом ее Бернардо.

Прошло два вечера; на третий он бросился ко мне на шею, пожал мне руку и сказал:

— Антонио! Надо мне объясниться с тобой, я не могу больше терпеть! Да и не хочу! Венок, который возложили на меня, колот мою голову, точно терновый! Похвалы звучали насмешкой! Тебе ведь принадлежала вся честь! Я видел, что твои глаза блестели радостью, и знаешь? Я возненавидел тебя! Да, я отношусь к тебе уже не по-прежнему. Это дурно, и я прошу у тебя прощения! Но мы должны расстаться! Тут мне вообще не житье! Я хочу вырваться отсюда! Не хочу на будущий год, когда чужие перья уже не будут украшать меня, служить посмешищем для других! Дядя пристроит меня. Он должен это сделать! Я уже

объявил ему свое желание! Я даже унизился до просьбы! И... и мне сдается, что во всем виноват ты! Я ожесточен против тебя, и это меня мучает!.. Только при иных обстоятельствах можем мы опять стать друзьями!.. И мы будем друзьями, обещаю тебе это, Антонио!

— Ты несправедлив ко мне! — сказал я. — Несправедлив и к самому себе. Бросим и думать об этих дурацких стихах и обо всей этой истории! Дай мне руку, Бернардо, и не огорчай меня такими странными словами!

— Мы навсегда останемся друзьями! — сказал он и ушел.

Вернулся он в коллегию только поздно вечером и прямо прошел в спальню, а на следующее утро все узнали, что он выходит из школы, избирает другую дорогу!

— Он промелькнул, как метеор! — иронически говорил о нем Аббас Дада. — Блеснул и исчез! И он сам, и стихотворение его один пустой треск! Я нарочно сохранил это сокровище! Но что оно такое, в сущности, если разобрать его хорошенько? Пресвятая Мадонна! Разве это поэзия! Вертится себе вокруг да около — ни формы, ни образности! Сперва я было думал, что оно изображает вазу, потом — французскую рюмку или индийскую саблю, но, как ни вертел, как ни поворачивал его, выходила все та же бессмысленная форма реестра! В трех местах у него встречается лишний слог, попадаются ужаснейшие зияния, и двадцать пять раз повторяется слово «divina», как будто через это и само стихотворение может стать «divina»! Чувство, чувство! Не оно показывает истинного поэта! Что значит и вся эта игра воображения? Одно метание туда и сюда! Сила и не в мысли даже, а в рассудочности, уравновешенности, в золотой уравновешенности! Поэт не должен увлекаться своей темой! Он должен оставаться холодным как лед; он должен рассечь свое детище на части и каждую часть рассмотреть отдельно! Только таким образом можно создать истинно художественное произведение! Вся же эта горячка, скороспелость и восторженность — ни к чему! И этакого-то мальчишку венчают лаврами! Розгами бы его следовало за его исторические промахи, за «зияния» и за убожество формы!.. Я, однако, рассердился, а мне это вредно! Противный Бернардо!

Вот приблизительно какой похвальной речью почтил Аббас Дада Бернардо.

ПРИЯТНАЯ И НЕПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧИ. МАЛЕНЬКАЯ ИГУМЕНЬЯ. СТАРЫЙ ЕВРЕЙ

Всем нам недоставало веселого сорвиголовы Бернардо, но никто не скучал о нем больше меня. Я ощущал вокруг себя какую-то пустоту; одних книг мне было мало; гармония моей души расстроилась, я не мог совладать с ее диссонансами. Одна музыка еще умиротворяла меня на

мгновения: уносясь в этот мир звуков, я опять ясно сознавал и смысл, и цель моей жизни; звуки действовали на меня сильнее, нежели какой бы то ни был поэт, даже сам Данте. Они давали пищу не только мысли и чувству, но и слуху, и я лучше постигал заключающиеся в них духовные образы. В звуках молитвы, которую пели каждый вечер перед образом Мадонны дети, воскресало передо мною мое собственное детство; в заунывных звуках пастушеской волынки слышалась мне колыбельная песня; монотонное пение закутанных лиц, сопровождавших какое-нибудь погребальное шествие, напоминало мне похороны моей матери. Я начинал размышлять о прошедшем и будущем, сердце мое как-то странно сжималось, мне хотелось петь, старые мелодии так и звучали у меня в ушах, и слова громко, даже чересчур громко лились из моих уст. Пение мое беспокоило Аббаса Дада, хотя он и занимал довольно отдаленную комнату, и он приказывал передать мне, что тут не опера и не школа пения, что в Иезуитской коллегии не желают слышать никаких арий, кроме тех, что раздаются в честь Мадонны. И вот мне приходилось молчать. Молчаливый и грустный стоял я раз, прислонившись головой к косяку окна, устремив взор на улицу и думая свою думу. «Fellissima notte, Antonio» (Счастливой ночи, Антонио!) — вдруг донеслось до меня с улицы. Под окном гарцевал всадник на прекрасном борзom коне; проделав несколько смелых эволюций, он дал коню шпоры и помчался дальше. На нем был мундир офицера папской гвардии; ловко и гибко поворачивался он на лошади, кланяясь мне до тех пор, пока совсем не скрылся из виду. Я узнал его; это был Бернардо, счастливый Бернардо! Как не похожа его жизнь на мою! Нет, прочь эти мысли! Я надвинул шляпу на лоб и, словно преследуемый злым духом, пустился куда глаза глядят. Я совсем и забыл правило, воспрещавшее воспитанникам Иезуитской коллегии, Пропagанды и других учебных заведений папской столицы показываться на улице без провожатого — старшего товарища или хоть ровесника. Для одинокой прогулки требовалось специальное разрешение. Нам, впрочем, как-то не внушали этого правила, так что я и не подозревал ни о каком ограничении моей свободы и спокойно вышел за ворота. Старый дядька пропустил меня, полагая, вероятно, что я имею на то разрешение.

На Корсо теснились экипажи, переполненные римлянами и иностранцами; один ряд двигался в одну сторону, другой в другую; был час обычной вечерней прогулки. Народ толпился перед гравюрами, выставленными в эстампном магазине; нищие приставали к прохожим, прося милостыню; продвигаться вперед можно было только с трудом, да и то не иначе как пробираясь между самыми экипажами. Я благополучно лавировал между ними, как вдруг меня схватила за платье чья-то рука и знакомый мне отвратительный голос прохрипел: «Bon giorno, Antonio!» Я оглянулся — на тротуаре сидел мой дядя, ужасный дядюшка Пеппо со своими сведенными набок сухими ногами и деревянными дощечками

на руках. Уже много лет не встречался я с ним так близко лицом к лицу: я всегда делал большой обход вокруг Испанской лестницы, чтобы избежать встречи с ним, а проходя мимо нее в процессии или вместе с другими воспитанниками, тщательно скрывал свое лицо.

— Антонио, мой родной! — говорил Пеппо, держа меня за полу. — Ты разве не узнаешь своего дядю Пеппо? Вспомни святого Иосифа¹, вот вспомнишь и мое имя. Как же ты вырос и возмужал!

— Пусти меня! — закричал я, видя, что люди смотрят на нас.

— Антонио! — продолжал он. — Помнишь, как мы ехали с тобою на ослике. Милый мой мальчик! Да, теперь ты залетел высоко и знать не хочешь своего бедного дядю! Никогда не наведишь меня на лестнице! А ведь когда-то ты целовал у меня руку, спал у меня на соломе! Не будь же неблагодарным, Антонио!

— Да пусти же! — закричал я, вырвался от него, шмыгнул между экипажами и перебрался на другую сторону улицы. Сердце мое колотилось от страха и от — признаться ли? — от оскорбленной гордости. Мне казалось, что все люди, видевшие эту встречу, почувствовали ко мне презрение. Но я недолго находился в этом настроении, скоро оно сменялось другим, более горьким. Ведь Пеппо говорил одну правду, я был сыном его единственной сестры! Я сознавал всю жестокость своего поступка, мне было стыдно и перед Богом, и перед самим собою; раскаяние жгло меня. Очутись я теперь наедине с Пеппо, я бы расцеловал его безобразные руки и попросил у него прощения. Я был глубоко взволнован.

В церкви святого Августина зазвонили к «Ave Maria»; грех мой тяготил мне душу, и я зашел в храм помолиться Божьей Матери. Мрачно, пустынно было под высокими сводами; тускло горели на алтарях свечи, мерцая, как трут ночью, когда дует влажный сирокко. Душа моя малопомалу прониклась отрадным чувством облегчения.

— Синьор Антонио! — раздался позади меня чей-то голос. — Есселленца вернулся и прекрасная синьора тоже. Они приехали из Флоренции и привезли с собою своего ангелочка. Не хотите ли сейчас же отправиться навестить их?

Со мной говорила старая Фенелла, жена привратника, служившего в палаццо Боргезе. Моя благодетельница прибыла сюда с мужем и ребенком. Я не видел их вот уж несколько лет, очень обрадовался этому известию и поспешил в палаццо повидаться с дорогими мне людьми.

Фабиани обошелся со мною очень благосклонно и ласково, Франческа встретила меня с чисто материнской радостью и вынесла ко мне свою маленькую дочку, Фламинию, милого ребенка с удивительно ясным, светлым взором. Малютка сейчас же протянула мне губки для поцелуя, охотно

¹ Пеппо — уменьшительное имя от имени Джузеппе, т. е. Иосиф.



пошла ко мне на руки, и не прошло и двух минут, как мы с нею были уже старыми знакомыми и друзьями. Она сидела у меня на руках и громко смеялась, а я плясал с нею по зале, напевая одну из своих любимых веселых старинных песенок.

— Не зарази мою маленькую игуменью¹ светской суетой! — смеясь, сказал Фабиани. — Не видишь разве, она уже носит знак своего достоинства? — И он указал мне на серебряный крестик с распятием, прикрепленный к бантику, красовавшемуся на груди малютки. — Сам святой отец дал ей его; она давно уже носит у сердца образ своего Небесного жениха!

Счастливые супруги обещали посвятить свое первое дитя Богу, и папа подарил малютке на зубок святой знак. Ей, как родственнице знатной фамилии Боргезе, было открыто первое место в Римском женском монастыре, вот почему все окружающие уже и звали ее почетным именем маленькой игуменьи. Рассказы, игры, все, чем ее забавляли, было приноровлено к тому, чтобы укрепить в ней представление о мире, которому она, собственно, принадлежала, и о счастье, которое ее ожидало.

Малютка показала мне своего младенца Иисуса и маленьких, одетых в белые платья монашенок, которые ежедневно ходили к обедне, расставила их в два ряда на столе, как учила ее няня, и рассказала мне, как хорошо они поют и молятся прекрасному младенцу Иисусу. Я же принялся рисовать ей веселых крестьян, одетых в длинные шерстяные блузы и плясавших вокруг каменных тритонов бассейна, пульчинелей, сидевших друг у друга на горбах, и эти новые картинки несказанно позабавили малютку. Она нежно целовала их, а потом, в порыве шалости, рвала в клочки, и мне приходилось рисовать ей все новые и новые, пока, наконец, за нею не явилась нянька: маленькой игуменье пора было спать; она и то уж засиделась сегодня дольше обыкновенного.

Фабиани и Франческа расспрашивали меня о моем житье-бытье в школе, осведомлялись, здоров ли я и доволен ли, обещали мне свое покровительство и желали мне всякого счастья.

— Мы должны видеться ежедневно! — прибавила Франческа. — Смотри навещай нас, пока мы здесь!

Спросила она и о старой Доменике, и я рассказал, как радуется старушка моим редким посещениям весною или осенью, как жарит для меня каштаны и словно молодеет, вспоминая то время, когда мы жили вместе, как всякий раз водит меня взглянуть на уголок, где я спал, и показывает мне нацарапанные мною когда-то рисунки, которые она хранит у себя вместе с четками и старым молитвенником.

¹ Среди итальянской знати исстари существует обычай предназначать одну из дочерей Богу, и ее уже с самого раннего детства зовут каким-нибудь почетным именем, вроде невесты Иисуса, игуменьи, монахини и т. п.

— Как он смешно кланяется! — сказала Франческа мужу, когда я стал прощаться. — Хорошо, конечно, заботиться об образовании ума, но не надо пренебрегать и манерами! На это обращают в свете большое внимание. Но, конечно, это все придет со временем! Правда, Антонио?

И она, улыбаясь, протянула мне для поцелуя руку.

Было еще не поздно, но уже совсем темно, когда я опять очутился на улице. В то время на улицах Рима еще не было фонарей; они, как известно, введены лишь в последние годы. Узкие, неровные улицы освещались только лампадами, горевшими на перекрестках перед образами Мадонны. Приходилось подвигаться вперед ощупью, и я шел очень медленно, весь погруженный в мысли о событиях нынешнего дня.

Вдруг моя протянутая вперед рука наткнулась на кого-то.

— Черт возьми! — слышался знакомый голос. — Не выколи мне глаз! И без того мало вижу, а тогда и вовсе ослепну!

— Бернардо! — радостно воскликнул я. — Так мы все-таки встретились с тобою!

— Антонио! Милый Антонио! — вскричал он и схватил меня под руку. — Вот забавная встреча! Откуда ты? С маленького приключения? Не ожидал! Вот ты и пойман на запретном пути! Где ж твой провожатый, чичисбей или как там зовут твоего верного спутника?

— Я один! — ответил я.

— Один! — повторил он. — Да ты, в сущности, ловкий парень! Тебе следовало бы поступить в папскую гвардию, тогда, может быть, нам и удалось бы как следует расшевелить тебя!

Я рассказал ему вкратце о возвращении Есселленца и синьоры и выразил ему свою радость по поводу нашей встречи. Он был рад не меньше моего; мы больше и не думали о темноте, а шли себе да шли вперед, даже не замечая за разговорами — куда.

— Видишь ли, Антонио, — говорил он, — теперь только я узнал, что такое жизнь. Ты же ее совсем не знаешь! Она слишком хороша, чтобы можно было просидеть ее на жесткой школьной скамье, слушая воркотню Аббаса Дада! Теперь я умею править конем! Ты видел меня сегодня? И красавицы синьоры посылают мне такие жгучие взгляды!.. Я ведь парень красивый, и мундир идет ко мне! Эта дьявольская темнота мешает тебе разглядеть меня! Мои новые товарищи просветили меня! Они не такие сидни, как вы! Мы осушаем кубки в честь государства, заводим порою и маленькие интрижки, но не твоим ушам слушать о них, святоша! Да, плохой ты мужчина, Антонио! Я же в эти несколько месяцев набрался опыта за десять лет! Теперь я чувствую, что молод, кровь во мне кипит, сердце бьется, и я пью из чаши наслаждения большими глотками, пока губы мои еще горят и я ощущаю эту жгучую жажду!

— Ты попал в нехорошую компанию, Бернардо! — сказал я.

— В нехорошую! — произнес он. — Не читай мне, пожалуйста, нравоучения! Чем моя компания не хороша? Товарищи мои все истые римские патриции! Мы составляем почетную стражу святого отца, и его благословение очищает нас от наших маленьких грешков. В первое время по выходе из коллегии я тоже еще был заражен этими монастырскими понятиями, но я тоже не дурак — не дал моим новым товарищам заметить этого! Я последовал их примеру! Моя плоть, моя кровь, все мое существо жаждало жизни, и я не противился этому влечению, оно было сильнее меня! Сначала-то, впрочем, в глубине моей души все еще раздавался какой-то неприятный голос. Это бунтовали моя монастырская закваска и ребячество, говорившие мне: «Ах, ты уже не невинный ребенок теперь!» Но потом я стал только смеяться над этим голосом — поумнел! Теперь я — взрослый человек! Ребенку пришлось уступить место мужчине, вот этот-то ребенок и плакал во мне!.. Но мы как раз у Киавика! Это лучшая остерия, где собираются художники. Зайдем туда распить бутылочку по случаю нашей приятной встречи. Зайдем, там превесело!

— Что ты! — сказал я. — А если в коллегии узнают, что я был в остерии вместе с офицером папской гвардии?!

— Большая, в самом деле, беда — выпить стакан вина и послушать, как иностранцы-художники поют песни на своем родном — немецком, французском, английском и Бог знает каком там еще языке! Тут превесело, даю тебе слово!

— То, что можно тебе, не дозволено мне! И не уговаривай меня лучше! — Тут я слышал невдалеке смех и крики «браво» и ухватился за это обстоятельство, чтобы перевести разговор на другое. — Смотри, какая там толпа! Что случилось? Право, кажется, они затеяли какие-то фокусы прямо перед образом Мадонны! — И мы направились туда.

Парни и мальчишки из черни загородили всю улицу, окружая какого-то старого еврея; слышно было, как его понуждали перепрыгнуть через палку, которую держал пред ним один из парней.

Известно, что в Риме, столице христианского мира, евреям позволено жить лишь в отведенном им квартале, узком, грязном гетто. Каждый вечер ворота гетто закрываются, к ним ставится стража, и уж ни в ворота, ни из ворот не впускается и не выпускается никто. Ежегодно старейшины еврейские являются в Капитолий и на коленях молят о даровании им позволения остаться в Риме еще на год. В благодарность же обязуются взять на себя все издержки по бегу лошадей на Корсо во время карнавала и явиться в известный день к католической обедне, чтобы выслушать проповедь обращения.

Старик, который стоял перед нами, проходил один впотьмах по узкой улице мимо толпы играющих парней и мальчишек.

— Глядите, жид! — закричал один, и все принялись насмехаться над стариком. Он было хотел молча пройти мимо, но парни загородили

ему дорогу, и один из них, толстый, широкоплечий малый, протянул перед ним длинную палку и закричал:

— Ну, жид, прыгай, не то гетто закроют, и ты не попадешь на ночь домой... Ну, покажи же свою ловкость!

— Прыгай, жид! — кричали мальчишки. — Бог Авраама поможет тебе!

— Что я вам сделал? — спрашивал он. — Пустите меня, старика, идти своею дорогой, не смейтесь над моими сединами, да еще перед образом Той, Которую вы сами молитесь о милосердии!

— Ты думаешь, Мадонне есть дело до жида? — сказал парень. — Ну, прыгнешь ли ты, старая собака? — И он показал ему кулак, а мальчишки стали напирать на него.

Тут Бернардо бросился вперед, оттолкнул ближайших, в одно мгновение выхватил у парня палку, замахнулся на него саблей и, держа перед ним ту же самую палку, вскричал громовым голосом:

— Прыгай-ка сам, или я расшибу тебе башку! Да живо! Или, клянусь всеми святыми, я раскрою тебе череп!

Парень словно с облаков упал; все остальные тоже остолбенели: громовой звук голоса, обнаженная сабля и офицерский гвардейский мундир — все это как бы наэлектризовало парня, и он, не говоря ни слова, перепрыгнул через палку, которую только что подставлял бедному еврею. Вся толпа была поражена не меньше его, никто не смел пикнуть; все только удивленно глазели на происходившее. Едва парень перепрыгнул через палку, Бернардо схватил его за плечо, погладил по щеке саблею плашмя и закричал:

— Браво, пес! Отлично! Еще разок! И тогда, я думаю, будет с тебя этих собачьих фокусов!

Парню пришлось опять прыгнуть, и толпа, проникшись смешною стороной дела, принялась кричать «браво» и хлопать в ладоши.

— Где ты, еврей? — спросил Бернардо. — Иди, я провожу тебя! — Но старик уже успел скрыться; никто не отозвался.

— Пойдем! — сказал я Бернардо, когда мы вышли из толпы. — Пойдем, и пусть говорят, что хотят, а я разопью с тобой бутылку вина! Я хочу выпить за твоё здоровье! Мы останемся друзьями, чтобы там ни произошло между нами!

— Дурень ты, Антонио! — ответил он. — Да и я хорош! Стоило сердиться на грубого парня! Но, я думаю, он теперь не скоро заставит кого-нибудь прыгать!

Мы зашли в остерию; никто из веселой компании не обратил на нас внимания. Мы сели за маленький столик в углу, велели подать себе бутылку вина и принялись пить за нашу удачную встречу и возобновленную дружбу. Потом мы расстались. Я вернулся в коллегю; старый дядька, мой добрый покровитель, осторожно впустил меня. Скоро я заснул и видел во сне разнообразные приключения этого вечера.

ЕВРЕЙКА

Меня очень беспокоила моя вечерняя самовольная отлучка и посещение остерии, где я вдобавок распивал с Бернардо вино, но случай мне благоприятствовал: никто не хватился меня, а может быть, и хватились, да, как и старый дядька, полагали, что я получил разрешение. Я ведь считался в высшей степени скромным и добросовестным юношей. Дни медленно шли, за ними шли и недели; я прилежно учился и время от времени посещал свою благотельницу; посещения эти служили мне лучшим поощрением. Маленькая игуменья день ото дня становилась мне все милее; я приносил малютке картинки, нарисованные мною еще в детстве, и она, поиграв с ними, рвала их в клочки и сорила по полу, а я подбирал и прятал.

В то же время я читал Вергилия; шестая книга, где описывается странствование Энея по преисподней, особенно интересовала меня своим сходством с Данте. Я вспоминал, читая ее, и мое стихотворение о Данте, и Бернардо. Я давно уже не видел своего друга и успел сильно соскучиться по нем. Был как раз один из тех дней недели, в которые ватиканские художественные галереи открыты для публики, и я попросил позволения сходить туда посмотреть мраморных богов и чудные картины; настоящей же целью моей было — встретить там моего дорогого Бернардо.

И вот я очутился в огромной открытой галерее, где находится лучший бюст Рафаэля и где весь потолок покрыт великолепными фресками, выполненными по наброскам великого мастера его учениками. Для меня уже не были новостью все эти причудливые арабески и легионы колелопреклоненных и парящих в небесах ангелов; если же я и медлил здесь, делая вид, что рассматриваю их, то лишь в надежде на счастливый случай — на встречу с Бернардо. Я прислонился к каменной балюстраде и принялся любоваться роскошными очертаниями гор, волнообразной линией окружавших Кампанию, не забывая в то же время поглядывать на двор Ватикана всякий раз, как о каменные плиты его звенела чья-нибудь сабля, — не Бернардо ли? Но он не показывался.

Тщетно бродил я по залам, останавливался и перед Нильской группой, и перед Лаокооном — толку все не было; мне стало досадно и скучно. Бернардо не являлся, и мне было уж все равно, вернуться ли домой или продолжать разглядывать древние торсы и Антиноя.

Вдруг по коридору промелькнула легкая тень в каске с развевающимся султаном, слышалось бряцанье шпор... Я вдогонку — то был Бернардо! Он обрадовался нашей встрече не меньше меня и поспешно увлек меня за собою: ему надо было сообщить мне тысячу вещей.

— Ты не знаешь, сколько я выстрадал! Да и теперь еще страдаю! Будь моим доктором! Ты один можешь помочь мне своими волшебными травами!

И, говоря это, он повел меня через большую залу, где стояли на часах папские гвардейцы, в большой покой, отведенный дежурному офицеру.

— Надеюсь, ты не болен? — спросил я. — Этого не может быть! Твои глаза, твои щеки так и горят!

— Да, они горят! — ответил он. — Я весь горю, как в огне, но теперь все пойдет хорошо. Ты моя счастливая звезда. Ты предвещаешь мне счастливое приключение, внушаешь добрые идеи! Ты поможешь мне! Сядь же! Ты не знаешь, что я пережил с нашей последней встречи! Тебе я доверюсь, ты верный друг и сам примешь участие в моем приключении!

Он не давал мне вымолвить ни слова, говоря без умолку о том, что так волновало его.

— Помнишь ты еврея? — продолжал он. — Старика еврея, того, что мальчишки заставляли прыгать? Он еще удрал тогда, даже не сказав спасибо за мою рыцарскую помощь! Я-то скоро забыл его и всю эту историю, но вот несколько дней спустя прохожу мимо входа в гетто... Я бы и не заметил этого, если бы не часовой. Он отдал мне честь — я ведь теперь «персона», — я ответил ему и случайно увидел за воротами целую толпу чернооких красавиц евреек. Ну, понятно, мне захотелось пройтись разок по этой узкой, грязной улице. Там настоящая синагога! Дома один возле другого, высокие, точно лезут на небо! Из всех окон слышится: «Берешит бара Элохим!» Голова на голове, словно когда эти толпы переходили через Черное море! Кругом развешаны старые платья, зонтики и другой хлам; я перепрыгивал через груды старого железа, картин и грязи. А кругом стон стоял: ко мне приставали, спрашивали, не продаю ли я, не покупаю ли... За этим содомом мне еле-еле удалось рассмотреть нескольких чернооких красоток, улыбавшихся мне из дверей. То-то было странствование, достойное пера Данте! Вдруг ко мне бросается старый еврей, кланяется мне чуть не до земли, словно самому папе, и начинает: «Eccellenza, благодетель мой, спаситель, да благословен будет час нашей встречи! Не считайте старика Ганноха неблагодарным!» И много еще чего говорил он; всего я не упомяну, да и не разобрал. Я узнал его: это был тот самый старик, которого заставляли прыгать. «Вот мое убогое жилище; но мой порог чересчур низок, я не смею просить вас переступить его», — продолжал он, целуя мне руки и платье. Я хотел было отделаться от него — неловко ведь было: все окружающие вытаращились на нас, — да вдруг увидел в окне прелестнейшую головку! Это была сама Венера из мрамора, но с таким горячим румянцем и огненными глазами, какие бывают только у дочерей Аравии! Ну, понятно, я последовал за евреем — он ведь пригласил меня! Пришлось пройти узкий темный коридор, похожий на тот, что ведет в могилу Сципионов; каменная же лестница и чудесная деревянная галерея годились как раз

для того, чтобы выучить людей ходить с оглядкой. Зато в самом помещении было не так дурно; недоставало только девушки, а для чего же я и зашел туда! Мне еще раз пришлось выслушать длинную благодарственную речь, уснащенную восточными эпитетами и картинами. Тебе, такой поэтической натуре, она, наверное, пришлась бы по вкусу! Но я пропустил ее мимо ушей и все ждал, что вот-вот войдет она, но она не входила. Зато еврею пришла в голову мысль, которая при иных обстоятельствах была бы, пожалуй, очень и очень недурна. Он заявил, что я, как светский молодой человек, вероятно, должен тратить много денег, а также и чувствовать в них иногда недостаток, заставляющий меня прибегать к помощи сострадательных душ, готовых по-христиански выручить ближнего — за двадцать, тридцать процентов! А вот он — подумай, вот чудо-то в еврейском царстве! — готов снабжать меня деньгами совсем без процентов! Слышишь? Без процентов?! Я ведь такой благородный человек, и он полагается на мою честность! Я защитил отпрыска еврейского древа, и сучья его не станут рвать моей одежды! Но так как я не нуждался в деньгах, то и не взял их. Тогда он спросил, не соблаговолю ли я отведать его вина, у него есть одна особенная бутылочка! Не знаю, что я ответил, знаю только, что в комнату вошла моя красавица. Что за формы, что за колорит!.. Волосы черные как смоль, как эбеновое дерево!.. Она поднесла мне превосходного кипрского вина, и царская кровь Соломона бросилась ей в щеки, когда я осушил стакан за ее здоровье. Послушал бы ты, как она благодарила меня за своего отца! А право, и благодарить-то было не за что! Речь ее звучала для меня небесной музыкой. Нет, положительно передо мною было неземное существо! Затем она исчезла, и со мною остался один старик.

— Да это точно поэма! — сказал я. — Превосходная тема для поэмы!

— Ты не знаешь, как я мучился потом, как строил разные планы, разрушал их и опять строил — все, чтобы встретить опять эту дочь Сиона! Подумай, я даже унизился до того, что пошел и попросил у старика займы, в чем вовсе не нуждался. Я занял у него двадцать блестящих скудо на неделю, но ее не видел. На третий день я принес ему деньги нетронутые, и старик с улыбкой потер руки. Он, пожалуй, не очень-то все-таки доверял моей хваленной честности. Я стал выхвалять его кипрское вино, но на этот раз не она угостила меня! Он сам налил и поднес мне стакан своими худыми трясущимися руками. Мои глаза обежали все углы — ее не было нигде. Она так и не показалась; только уже спускаясь с лестницы, я заметил, что занавеска открытого окна шевелится. Должно быть, за занавеской притаилась она! Я крикнул: «До свиданья, синьора!» — но никто не отозвался, никто не появился. И вот я до сих пор не подвинулся в моем приключении ни на шаг! Дай же мне совет! Я не могу отказаться от нее, да и не хочу! Но что же

я могу сделать?.. Слушай же, душа моя, какая явилась у меня теперь блестящая идея! Будь моею Венерой, которая свела в потаенном гроте Энея с ливийской царицей!

— Чего ты хочешь от меня? Не знаю, что я вообще могу сделать для тебя.

— Все, если только захочешь! Еврейский язык — чудный язык, поэтический, образный! Тебе надо взяться за изучение его и пригласить учителем старого еврея! Заплачу за все я! Ты пригласишь именно старого Ганноха — я узнал, что он принадлежит к ученым. Когда же ты покоришь своей внушающей доверие особой его самого, ты познакомишься и с дочерью, и тогда возьмешься помогать мне! Но живо, с места в карьер! В крови моей разлит жгучий яд любви! Сегодня же иди к еврею!

— Нет, не могу! — ответил я. — Ты совсем не входишь в мое положение. Какую роль придется играть во всем этом деле мне? И как можешь ты, милый Бернардо, унизиться до любовной связи с еврейкой?

— О, ты тут ровно ничего не понимаешь! — прервал он меня. — Еврейка ли, нет ли — безразлично, лишь бы товар был хорош. Ну же, благословенный младенец, мой милый, бесценный Антонио, возмись за еврейский язык! Мы оба будем изучать его, только на разные лады! Будь же благоразумен и подумай, как ты можешь осчастливить меня!

— Ты знаешь, — сказал я, — как искренно я привязан к тебе! Знаешь, как действует на меня твоя сила воли! Будь ты дурным человеком, ты мог бы испортить меня, меня так и тянет в твой магический круг! Я не сужу тебя по себе — каждый следует влечениям своей природы — и не считаю также грехом твоей манеры наслаждаться жизнью! Что ж, раз ты создан так, а не иначе! Но сам-то я держусь совсем иных правил! Не уговаривай же меня принять участие в твоей интрижке, которая если даже и удастся, не доставит тебе истинного счастья!

— Ладно, ладно! — перебил он, и я заметил в его взоре то же холодное, гордое выражение, с каким он, бывало, уступал Аббасу Дада, когда тот, в силу своего положения, заставлял его молчать. — Ладно, Антонио! Я ведь пошутил только! Тебе не придется из-за меня бегать лишний раз исповедоваться! Но какой грех в том, что ты стал бы учиться еврейскому языку, и именно у моего еврея, — я понять не могу! Впрочем, ни слова больше об этом!.. Спасибо за посещение! Хочешь закусить? Или выпить? Сделай одолжение!

Я был расстроен; в тоне его голоса, в манерах так и звучала обида. Мое горячее пожатие руки было встречено с холодной, леденящей вежливостью. Расстроенный и огорченный, я скоро ушел от него.

Я чувствовал его неправоту и признавал, что сам поступил как должно, и все-таки в иные минуты мне сдавалось, что я как будто обидел Бернардо. Так, борясь сам с собою, зашел я в еврейский квартал, надеясь, что моя счастливая звезда выручит меня, послав мне здесь какое-нибудь

приключение, которое послужит на пользу моему дорогому Бернардо; но мне не удалось встретить даже старика еврея. Из всех окон и дверей выглядывали чужие лица; грязные ребятишки валялись на мостовой между кучами всевозможного хлама; непрерывный крик о покупке и продаже почти оглушал меня. Несколько девушек забавлялись, перекидывая друг дружке в окна мячик; одна была довольно красива — не это ли возлюбленная Бернардо? Я невольно снял шляпу, но тут же устыдился и провел рукой по лбу, словно только жара, а не девушка, заставила меня обнажить голову.

КАРНАВАЛ. ПЕВИЦА

Если бы только держаться нити, связывающей мою жизнь с любовью Бернардо, то пришлось бы пропустить целый год моей жизни. А между тем год этот, несмотря на свой ровный обычный ход, представлял для меня гораздо большее значение, нежели только лишних двенадцать месяцев. Он явился как бы антрактом в драме моей жизни.

Я редко виделся с Бернардо, а при встречах находил в нем все того же веселого, бравого юношу; но относился ко мне он уже не по-прежнему. Из-под маски дружелюбия проглядывало холодное, важное равнодушие. Это расстраивало и огорчало меня, и я не решался спрашивать у него, как идут его дела.

Зато я часто посещал палаццо Боргезе, сделавшееся для меня истинно родным домом. Тем не менее Eccellenza и Франческа часто глубоко огорчали меня. Душа моя была переполнена благодарностью к ним за все, что они для меня сделали, и малейшее неодобрение их набрасывало на мое веселое расположение духа мрачную тень. Франческа хвалила меня за мои добрые качества, но постоянно стремилась воспитывать меня: моя манера держать себя и выражаться вечно подвергалась ее строгой, слишком даже строгой критике, зачастую вызывавшей у меня, шестнадцатилетнего юноши, на глазах слезы. Сам Eccellenza, который вызвал меня из хижинки Доменики в свое роскошное палаццо, относился ко мне по-прежнему сердечно, но и он тоже не уступал синьоре в желании воспитывать меня. Я не разделял его страсти к собиранию цветов и растений, и он называл это недостатком серьезности и положительности во мне, находил, что я слишком занят собственным «я», что «радиусы моего ума не пересекают великой окружности вселенной».

«Помни, сын мой, — говаривал он мне, — что листок, который свертывается вовнутрь, увядает!» Но, погорячившись немного, он трепал меня по щеке и иронически уверял, что свет, в сущности, очень дурен и что людям, как и цветам, нужно побывать под прессом для того, чтобы из них вышли хорошие экземпляры для Мадонны! Фабиани же смотрел на

все с веселой точки зрения, смеялся над доброжелательными проповедями жены и Eccellenza и уверял, что мне никогда не достигнуть ни учености Eccellenza, ни остроумия Франчески, но что из меня выйдет третий сорт человека, тоже не из последних! Потом он призывал свою маленькую игуменью, и с нею я скоро забывал все свои маленькие огорчения.

Следующий год они собирались провести в Северной Италии: лето в Генуе, а зиму в Милане. Мне же предстояло в этот год сделать важный шаг — сдать экзамен на аббата и, таким образом, занять более высокую ступень общественного положения.

Перед отъездом моих покровителей в палаццо Боргезе дан был большой бал, на который пригласили и меня. Палаццо было окружено как бы огненным смоляным венком: все факелы, которые несли перед экипажами гостей, были воткнуты в железные канделябры, прикрепленные к наружной стене дома, и образовывали каскады огня. Перед воротами разъезжали конные папские гвардейцы. Садик весь был убран разноцветными бумажными фонариками, мраморная лестница залита огнями; аромат цветов разливался повсюду: на каждой ступени лестницы стояли вазы с цветами и небольшие апельсиновые деревца. К дверям был приставлен почетный караул; толпы разодетых слуг сновали взад и вперед. Франческа была ослепительно хороша в белом атласном платье, отделанном дорогими кружевами; на голове же у нее красовалось роскошное перо райской птицы; блестящий наряд удивительно шел к ней, но особенно пленила она меня тем, что так ласково протянула мне руку. В двух залах шли под звуки оркестров танцы. В числе танцующих был и Бернардо. Как он был хорош! Красный, вышитый золотом мундир, узкие белые брюки — все сидело на нем восхитительно и обрисовывало его стройные формы. Он танцевал с царицей бала, и она любовно и доверчиво улыбалась ему. Как мне было досадно, что я не мог танцевать. Никто не обращал на меня внимания. В самом близком, почти родном мне доме я чувствовал себя чужим, но Бернардо дружески протянул мне руку, и уныние мое как рукой сняло. Мы скрылись с ним в оконную нишу, за длинные красные занавеси, и стали пить пенящееся шампанское. Он дружески чокнулся со мною; чудные мелодии лились нам прямо в душу, и дружба наша воскресла с прежней силой! Я даже не побоялся упомянуть о прекрасной еврейке; Бернардо громко расхохотался; казалось, он совершенно излечился от своей глубокой раны.

— Я поймал себе новую райскую птичку! — сказал он. — Она оказалась более ручной и прогнала своим пением мою хандру. Так пусть себе другая летит, куда хочет! Она и в самом деле улетела, исчезла из еврейского квартала и даже из Рима, если верить моим людям.

Мы чокнулись еще раз; шампанское и веселая музыка вдвойне разгорячили нашу кровь. Бернардо опять унесся в вихрь танцев, а я остался один, но на душе у меня воцарилось блаженное спокойствие: мне хотелось

прижать к своему сердцу весь мир! На улице перед окнами палаццо слышались радостные восклицания бедных мальчишек, которые любовались сыпавшимися от смоляных факелов искрами. Мне вспомнилось мое бедное детство: и я тогда играл так же, как они, а теперь я, в числе первых вельмож Рима, принят в этом богатом палаццо как свой! Благодарность и любовь к Божьей Матери, моей милостивой покровительнице, переполнили мою душу, колени мои сами собой подогнулись, и я стал молиться. Длинные, плотные занавеси скрывали меня от глаз остального общества. Я был бесконечно счастлив.

Ночь пролетела, за ней прошли еще два дня, и семейство Боргезе уехало из Рима. Аббас Дада ежечасно напоминал мне, что этот год принесет мне с собой имя и сан аббата. Я учился прилежно и почти не виделся с Бернардо и вообще со знакомыми. Недели шли, шли и месяцы, и вот настал день экзамена, после которого я надел черное платье и короткий шелковый плащ аббата.

Все, казалось, торжествовало вместе со мною: и высокие пинии, и только что распутившиеся анемоны, и крики на улице, и легкое облачко, скользившее по голубому небу!.. Надев черный шелковый плащ аббата, я как будто стал другим, более счастливым человеком. Франческа прислала мне на мои нужды и удовольствия чек на сто скудо. Это привело меня в еще более радужное настроение, и я помчался на Испанскую лестницу, бросил дядюшке Пеппо блестящий скудо и быстро удалился, не слушая его криков: «Eccellenza, Eccellenza, Антонио!»

Было начало февраля; миндальные деревья уже цвели, апельсины начинали золотиться; приближался веселый карнавал, словно нарочно совпавший с моим поступлением в аббаты, чтобы достойно отпраздновать его. Трубачи-герольды, разъезжавшие на конях, с развевающимися бархатными знаменами в руках, уже возвестили о приближении праздника. Еще ни разу в жизни не приходилось мне как следует насладиться удовольствиями карнавала, всласть упиться зрелищем этого общего народного праздника, когда все — и стар, и млад, и бедный, и богатый — веселятся напропалую. Когда я был ребенком, матушка моя никогда не пускала меня в толпу, боясь, что меня задавят, и мне поэтому удавалось полюбоваться всем этим весельем только мельком, стоя с матушкой где-нибудь на углу. Во время пребывания в коллегии я видел празднество не лучше; нам, воспитанникам, разрешалось смотреть на него только с одного определенного места — с плоской крыши флигеля палаццо дель Дориа. О том же, чтобы самому принимать участие во всем, порхать с одного конца улицы на другой, побывать в Капитолии и в Травестере, словом, где захочется, — нечего было и думать. Немудрено, что я теперь с такой жадностью бросился в этот вихрь удовольствий и радовался всему, как дитя. Я и не чаял, что тут-то как раз и наступит важнейшая эпоха моей жизни, что событие, когда-то живо занимавшее меня, вновь

воскреснет, что забытое зерно, невидимкой лежавшее в моей душе, взойдет зеленым душистым ростком, который крепко обовьется вокруг дерева моей жизни.

Карнавал поглощал все мои мысли. Ранним утром я побывал на площади дель Пополо, чтобы полюбоваться приготовлениями к бегу лошадей, а вечером бродил по Корсо, рассматривая выставленные в окнах пестрые карнавальные наряды и фигуры в масках и полных костюмах. Я взял напрокат костюм адвоката, как один из наиболее веселых и забавных, и почти не спал всю эту ночь, приготавливаясь к своей новой роли.

Следующий день был для меня настоящим праздником. Я был счастлив, как дитя. В боковых улицах устраивались со своими столами и лотками продавцы конфетти¹. Улица Корсо была чисто выметена; из всех окон спускались пестрые ковры. Около трех часов, по французскому способу считать часы², я уже был в Капитолии, чтобы впервые насладиться зрелищем начала празднества. Все балконы были переполнены знатными иностранцами; сенатор в пурпурной тоге восседал на бархатном троне; прелестные маленькие пажи в бархатных беретах с перьями стояли по левую сторону трона, впереди папской швейцарской гвардии. И вот явилась толпа еврейских старейшин; все они были с обнаженными головами и, приблизившись к трону, преклонили колени. Я узнал среднего; это был Ганнох, старый еврей, дочерью которого так интересовался Бернардо. Старик обратился к сенатору с речью, в которой просил для себя и своих единоверцев позволения остаться в Риме, в отведенном им квартале, еще на год, обещая в течение этого времени явиться раз, в назначенный день, в католическую церковь и прося позволения заплатить все издержки по бегу лошадей вместо того, чтобы, согласно древнему обычаю, самим бежать по Корсо на потеху римлян. Сенатор милостиво кивнул головою (старый обычай — ставить на плечо просителя ногу — был уже оставлен), затем сошел при звуках музыки с лестницы, сел вместе с пажами в великолепную карету и открыл карнавал. Большой колокол Капитолия зазвонил, а я бросился домой, торопясь облечься в свой адвокатский костюм. В нем я казался самому себе совсем другим человеком. Довольный выскочил я на улицу, где встретил уже целую толпу масок. Это были бедные ремесленники, которые в дни карнавала пользуются одинаковыми правами с богатейшими вельможами. Костюмы их были очень оригинальны, а стоили очень дешево. Они накинули на

¹ Маленькие белые и красные шарики из извести или из ячменных зерен, закатанных в гипс, которыми перебрасываются во время карнавала гуляющие.

² В Италии часы считаются от захода солнца, когда сутки кончаются, и колокол звонит к «Ave Maria». Пройдет с того времени час — и часы показывают час, потом два, и так до двадцати четырех. Каждую неделю часы переставляются по солнцу на четверть часа вперед или назад. Обыкновенный же способ счисления времени итальянцы называют французским.

себя поверх обыкновенной одежды грубые балахоны, на которых вместо пуговиц были нашиты лимонные корки, на плечах и на башмаках красовались пучки салата, на головах парики из сельдерея и на носу огромные очки, вырезанные из апельсиновой корки.

Я стал угрожать им процессом, указывая им в своей книге на такие-то и такие-то статьи закона, воспрещавшие одеваться так роскошно. Затем, сопровождаемый их аплодисментами, я вышел на Корсо, превратившуюся из улицы в маскарадную залу. Из всех окон, со всех балконов и временно устроенных возвышений для зрителей спускались пестрые ковры. Вдоль стен домов тянулся бесконечный ряд стульев, «лучших мест для зрителей», как выкрикивали барышники. Экипажи тянулись непрерывной двойной цепью; у некоторых экипажей даже колеса были украшены лавровыми ветвями, так что самые экипажи смотрели движущимися зелеными беседками. В промежутках между ними волновалась веселая толпа людей. Все окна были заняты зрителями. Прелестные римлянки в офицерских мундирах и с намалеванными усиками на нежных губках бросали в знакомых конфетти. Я обратился к ним с речью, угрожая привлечь их к суду за то, что они бросают не только конфетти, но и огненные взгляды, воспламеняющие сердца! Цветочный дождь был наградой за мою речь.

Вслед за тем я наткнулся на разряженную барыню, шествовавшую под руку с кавалером; путь нам преградила толпа затеявших свалку пульчинелей, и барыне пришлось отведать моего красноречия.

— Синьора! — начал я. — Так-то вы исполняете предписания римско-католической церкви? Увы, где теперь найдешь Лукрецию, супругу Тарквиния Коллатина. Вы и многие вам подобные отправляете на время карнавала ваших почтенных мужей в монастырь в Трастевере, клянясь, что и сами будете вести богобоязненную, тихую жизнь, сидеть дома, в то время как они станут истязать свою плоть, молиться и работать день и ночь в стенах монастыря! А вместо того вы себе бегаете по улицам с кавалерами?! Эге, синьора! Я притяну вас к суду на основании параграфа шестнадцать статьи двадцать седьмой!

Тяжеловесный удар веером по щеке был мне ответом; судя по основательности удара, я нечаянно угодил барыне не в бровь, а в самый глаз.

— Ты спятил, Антонио?! — шепнул мне ее кавалер, и затем оба исчезли в толпе сбиров, греков и пастушек. Но мне довольно было и этих немногих слов — я узнал Бернардо. Кто же, однако, была его дама?

— Luogi! Luogi! Patroni! — кричали барышники, торговавшие местами, и крики их спутали все мои соображения. Да и где тут было соображать! Вокруг меня плясала толпа увешанных колокольчиками арлекинов, а рядом шагал на высоких ходулях в рост человека другой адвокат. Увидав коллегу, то есть меня, он начал насмехаться над моим

низким положением и уверять, что только он один может выигрывать процессы: на земле, где пресмыкаюсь я, нет справедливости; ее надо искать только тут. При этом он указал на окружавшее его воздушное пространство и зашагал дальше.

На площади Колонна играл оркестр и резвые докторессы и пастушки весело плясали вокруг одиноких групп солдат, машинально расхаживавших тут для поддержания порядка. Я было опять начал забавную речь, но явился какой-то писарь, и мое красноречие пропало даром: слуга писаря, бежавший впереди его, так неистово зазвонил в колокольчик над самым моим ухом, что я сам перестал слышать свои слова; затем прогремел и пушечный выстрел — сигнал к разъезду экипажей и окончанию празднества на сегодня. Я добыл себе местечко на подмостках; внизу волновалось море человеческих голов, не поддававшееся усилиям солдат очистить место для лошадей, которые скоро должны были промчаться по улице.

В конце Корсо, обращенном к площади дель Пополо, уже стояли за протянутой поперек улицы веревкой полуодичавшие лошади. К спинам их был привязан горящий трут, за ушами прикреплены маленькие ракеты, а на боках железные бляхи с острыми шипами, пришпоривавшими лошадей во время бега. Конюхи едва сдерживали животных. Раздался пушечный выстрел, веревка упала, и лошади вихрем понеслись по Корсо. Мишурные украшения шуршали, гривы и пестрые ленты развевались по воздуху, из-под копыт сверкали искры, народ неистово гикал лошадям вслед и, едва те пронеслись, снова сомкнулся за ними, как волны за килем корабля.

На сегодня празднеству наступил конец. Я поспешил домой, чтобы сбросить свой костюм, и нашел у себя Бернардо.

— Ты здесь? — воскликнул я. — А где же твоя донна? Куда ты девал ее?

— Шш! — прервал он меня, шутливо грозя пальцем. — Пусть между нами не замешивается женщина!.. Но как это тебе взбрело в голову наговорить ей таких вещей?.. Впрочем, мы даруем тебе отпущение! Пойдем сегодня вместе в театр Алиберта; дают оперу «Дидона»; музыка, говорят, божественная, в театре соберутся все первые красавицы Рима, и кроме того, заглавную роль будет петь одна иностранная примадонна, которая недавно свела с ума весь Неаполь. Говорят, у нее такой голос, такой талант, о каких мы и понятия не имеем; к тому же она хороша, дивно хороша собою! Не забудь захватить карандаш: если она хоть наполовину соответствует описаниям, то должна вдохновить тебя, и ты посвятишь ей прелестнейший сонет! Я же сберег от карнавала последний букет фиалок, чтобы поднести ей, если она пленит меня.

Я охотно принял его приглашение; я хотел испить всю чашу карнавалных удовольствий до дна, не упустив ни единой капельки. То был

знаменательный вечер для нас обоих: в моем календаре третье февраля отмечено двойной чертой; Бернардо имел основания сделать то же.

Новая певица дебютировала в роли Дидоны на сцене театра Алиберта — первого римского оперного театра. Великолепный потолок, на котором парили музы, занавес, изображавший весь Олимп, и золотые арабески, украшавшие ложи, — все блесло новизной. Театр был полон снизу доверху. Над каждой ложей горели лампочки — вся зала утопала в море света. Бернардо обращал мое внимание на каждую вновь входившую в какую-нибудь ложу красавицу и прохаживался насчет дурнушек.

Началась увертюра — своего рода музыкальное введение к опере. В море бушует буря и гонит Энея к берегам Ливии. Но вот буря утихает, и слышатся звуки благочестивых гимнов, которые постепенно переходят в восторженные ликования; нежные звуки флейт поют о еще незнакомом мне чувстве, о пробуждающейся любви Дидоны. Раздаются звуки охотничьих рогов, буря опять усиливается, и я переносусь вместе с влюбленными в таинственный грот; мелодии дышат любовью, бурной страстью и вдруг разрешаются громким диссонансом. В тот же момент занавес взвился. Эней собирается уехать завоевать для Аскания Гесперийское царство, хочет покинуть Дидону, приютившую его — чужеземца, пожертвовавшую для него своей честью и своим спокойствием. Она еще не знает о его намерении, «но скоро сладкий сон прервется» — говорит Эней. Тут появляется Дидона. Глубокая тишина воцарилась в зале. Всех, как и меня, поразила новая примадонна своей царственной осанкой, соединенной с какой-то нежной воздушной грацией. Нельзя, однако, сказать, чтобы она соответствовала моему представлению о Дидоне. Она была в высшей степени женственна, нежна, прелестна духовной красотой рафаэлевских типов. Черные как смоль волосы облегли прекрасный, высокий лоб, темные глаза были полны выражения. Раздались рукоплескания — ими публика приветствовала пока одну красоту, так как певица не взяла еще ни одной ноты. На лице ее, в то время как она кланялась восхищенной толпе, выступил легкий румянец. Опять настала тишина; все чутко прислушивались к глубоко обдуманной, прекрасной передаче ей речитатива.

— Антонио! — вполголоса воскликнул Бернардо и схватил меня за руку. — Это она!.. Или я с ума сошел, или это она, моя упорхнувшая птичка!.. Да, да, я не могу ошибаться! И голос ее! Я слишком хорошо помню его!

— О ком ты говоришь? Кто она? — спросил я.

— Еврейка из гетто! — ответил он. — И в то же время это просто невозможно! Не может быть, чтобы это была она!..

Он умолк и весь ушел в созерцание дивной красавицы. Она пела о своем счастье, о своей любви. Вся душа ее выливалась в этих звуках;

на их крылах возносилось к небу вырывавшееся из ее груди глубокое чистое чувство. Какая-то сладкая грусть охватила меня; эти звуки как будто выманили из глубины моей души какие-то давно похороненные в ней воспоминания, и я готов был воскликнуть вместе с Бернардо: «Это она!» Да, событие, о котором я столько лет и не думал и не вспоминал, вдруг воскресло предо мной с необыкновенной живостью и яркостью: я вспомнил церковное торжество в церкви Арачели, мою рождественскую проповедь и стройную, прелестную девочку с удивительно нежным, чистым голосом, похитившую у меня пальму первенства. Чем больше смотрел я на певицу и слушал ее, тем увереннее твердил себе: «Это она, она!»

А когда затем Эней объявил ей, что уезжает, что они ведь не муж и жена, — как поразительно выразила она в своей арии произошедший в душе ее переворот — отчаянье, боль, бешенство! Звуки вздымались, словно волны морские, бросаемые бурей к облакам. Как высказать, как передать словами мои тогдашние чувства? В этих звуках открылся для меня целый мир, но они как будто исходили не из человеческой груди, и мысль моя искала приурочить их к какому-нибудь подходящему живому образу. Да, так поет лебедь, влагающий в свою песню всю свою жизнь и то рассекающий своими широкими, светлыми крыльями волны эфира, то погружающийся в глубину моря, чтобы затем снова вознестись к небу!

Взрыв рукоплесканий огласил залу; раздались вызовы: «Аннунциата! Аннунциата!» И ей пришлось выходить и кланяться восхищенной толпе без конца.

И все же эта ария уступала дуэту второго действия, когда Дидона умоляет Энея не уезжать так поспешно, не покидать царицу, «оскорбившую ради него ливийское племя и князей африканских, пренебрегшую своею скромностью, своим добрым именем». «Я ведь не посылала кораблей под стены Трои, я не оскорбляла памяти и праха Анхиза!» В голосе ее звучала такая искренность, такое горе, что у меня слезы выступили на глазах; воцарившаяся в зале глубокая тишина показывала, что и другие слушатели были тронуты не меньше моего.

Эней все-таки покидает Дидону, и вот она стоит с минуту бледная, холодная, как мраморное изображение Ниобеи... Затем кровь бросается ей в лицо, — это уже не нежно любящая Дидона, покинутая супруга, это — фурия! Прекрасные черты дышат смертельной ненавистью; Аннунциата сумела придать своему лицу такое выражение, что у всех кровь застыла в жилах; все жили и страдали теперь вместе с нею.

Леонардо да Винчи написал голову Медузы, которая находится в Флорентийской галерее; на нее жутко смотреть и в то же время нельзя оторваться: это Венера Медицейская, созданная из ядовитой пены морской, застывшей в прекрасном, но ужасном, дышащем смертью образе. Такою-то вот явилась теперь пред нами и Аннунциата — Дидона.

Сестра ее Анна воздвигла костер; весь дворец увешан черными венками и гирляндами; на заднем плане взволнованное море, по которому уносится вдаль корабль Энея; Дидона стоит с забытым им кинжалом; глухо звучит ее песнь, затем переходит в громкие стенания, похожие на плач падшего ангела. Костер вспыхивает, сердце разрывается, последний аккорд замирает...

Занавес опустился. Раздался гром рукоплесканий. Красота и чудный голос артистки привели всех в неописуемый восторг. «Аннунциата! Аннунциата!» — раздавалось из партера, изо всех лож. Занавес снова взвился, и перед нами стояла певица, такая скромная и прелестная, с взором, исполненным любви и кротости. К ногам ее посыпался настоящий дождь цветов; дамы махали платками, а мужчины восторженно выкрикивали ее имя. Занавес опять опустили, но энтузиазм публики все рос, и Аннунциате опять пришлось показаться; на этот раз она вышла об руку с певцом, исполнявшим партию Энея. Крики «Аннунциата! Аннунциата!», однако, все не прекращались; тогда она вышла со всей труппой, содействовавшей ее успеху, но ее продолжали вызывать одну. Она вышла, и в кратких, но прочувствованных словах поблагодарила присутствующих за такое щедрое поощрение ее таланта. Я в порыве восторга набросал на клочке бумаги несколько строчек, и бумажка полетела к ее ногам вместе с цветами и венками.

Занавес больше не поднимался, но вызовы все продолжались; публика хотела еще раз увидеть певицу, еще раз выразить ей свое восхищение. Аннунциата вышла из-за боковых кулис и прошла вдоль рампы, посылая своим восторженным поклонникам воздушные поцелуи. Глаза ее сияли радостью, все лицо дышало счастьем. Видно было, что она переживала теперь лучшие, счастливейшие минуты своей жизни. Не то же ли было и со мной? Я ведь разделял и ее радость, и восторг зрителей; взор мой, вся душа моя упивалась ее красотой; я не видел ничего, не думал ни о чем, кроме Аннунциаты!

Толпа повалила из театра; меня увлек общий поток, стремившийся к углу театра, где стояла карета певицы; там меня притиснули к стене; всем хотелось еще разок взглянуть на Аннунциату; все стояли с непокрытыми головами и восторженно провозглашали: «Аннунциата!» Я кричал то же, и сердце мое при этом как будто вырастало в груди. Бернардо протискался к самым дверцам кареты и открыл их для Аннунциаты. Восторженная молодежь решила сама везти карету с певицей и моментально отпрягла лошадей. Аннунциата благодарила своих поклонников и взволнованным голосом просила их отказаться от этого намерения; ответом были те же восторженные крики. Бернардо вскочил на подножку кареты и принялся успокаивать Аннунциату; я же, вместе с другими, повез карету и был счастлив, как и все. К сожалению, счастью этому слишком скоро наступил конец; эти несколько минут промчались, как чудный сон.

Как же я был рад, когда опять столкнулся с Бернардо! Он ведь говорил с нею, стоял около нее так близко!

— Ну, что скажешь, Антонио? Неужели твое сердце еще не затронуто? Если ты еще не горишь любовью, то недостойн называться мужчиной! Понимаешь ты теперь, как ты проиграл, отказавшись тогда познакомиться с нею, понимаешь, что из-за такого создания стоило бы начать учиться по-еврейски! Да, Антонио, я не сомневаюсь — как все это ни загадочно, — что она-то и есть моя исчезнувшая еврейка! Это ее я видел у старика Ганноха, это она угощала меня вином! Теперь я опять нашел ее! Она, словно Феникс, возродилась из пепла — из этого отвратительного гетто!

— Это невозможно, Бернардо! — ответил я. — Она и во мне пробудила воспоминания, но они говорят как раз противное: она не может быть еврейкой. Нет, наверное, она принадлежит к единой истинной церкви! И если бы ты взгляделся в нее пристальнее, ты бы убедился, что у нее совсем не еврейский тип; на ее лице нет печати отвержения, отмечающей это несчастное, изгнанное племя. Самый язык ее, эти звуки!.. Нет, они не могли вылетать из еврейских уст! О, Бернардо! Я так счастлив, так упоен этими звуками! Но что она говорила? Ты ведь разговаривал с нею! Стоял рядом! Что, она была так же счастлива, как и мы все?

— Да ты и впрямь вне себя от восторга, Антонио! — прервал меня Бернардо. — Наконец-то лед Иезуитской коллегии растаял!.. Что она говорила? Да она и была испугана, и гордилась тем, что вы, сумасброды, повезли ее по улицам. Она спустила на лицо свою густую вуаль и прижалась в уголок кареты; я стал успокаивать ее и высказал ей все, что подсказало мне мое сердце и что следовало высказать царице красоты и невинности, но она даже не приняла моей руки, когда я хотел помочь ей выйти из кареты.

— Да как же ты осмелился? Она ведь не знает тебя! Я бы никогда не решился на это!

— Ах, ты не знаешь ни света, ни женщин! Теперь она обратила на меня внимание, и это уже кое-что значит.

Затем мне пришлось прочесть ему мой экспромт, и он нашел его божественным, достойным появиться в печати! Мы зашли в кафе и выпили за здоровье Аннунциаты; да и все, бывшие там, говорили только о ней; все, как и мы, продолжали восхвалять ее. Было уже поздно, когда я простился с Бернардо. Я вернулся домой, но нечего было и думать заснуть! Мне доставляло такое наслаждение вспоминать всю оперу: и первый выход Аннунциаты, и ее арию, и дуэт, и, наконец, за душу хватающий финал. В пылу восторга я даже несколько раз принимался аплодировать и громко вызывать Аннунциату! Затем мне вспомнилось и мое маленькое стихотворение; я написал его на бумажке, прочел и нашел очень красивым, перечел еще раз, и — если уж быть откровенным —

любовь моя к Аннунциате как будто перешла в восхищение своим собственным стихотворением! Теперь, спустя столько лет, я смотрю на все это иными глазами, тогда же я находил свои стишки маленьким шедевром. «Она, наверное, подняла их, — думал я, — и теперь сидит, полураздетая, на мягкой шелковой софе, облокотившись прекрасной ручкой на подушку, и читает:

Душа стремилась, замирая,
Вслед за тобою улететь,
Минуя ад, к чертогам рая,
Но то лишь Данте мог посметь!
Он описал красу Эдема,
Могуч его блестящий стих,
Но ярче, жизненней поэма
Лилась сейчас из уст твоих!»

До сих пор я не знал мира богаче, прекраснее мира поэзии, открытого мне творением Данте, но теперь он стал для меня как-то еще жизненнее, яснее, чем прежде: чарующее пение Аннунциаты, ее взгляды, страдание и отчаяние, которые она сумела так художественно выразить, как будто впервые открыли мне всю гармонию дантовского стиха. Наверное, ей понравились мои стихи! Я представлял себе, что она думает, читая их, как желает познакомиться с автором, и, право, засыпая, я хоть и воображал, что занят одною Аннунциатой, на самом-то деле больше был занят самим собою и своим ничтожным стихотворением!

БЕРНАРДО ЯВЛЯЕТСЯ, КАК DEUS EX MACHINA.
«LA PRUOVA D'UN OPERA SERIA».
МОЯ ПЕРВАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КАРНАВАЛА

На другой день я все утро напрасно искал случая увидеться с Бернардо; много раз проходил я и по площади Колонна, не для того чтобы любоваться на колонну Антония, но чтобы увидеть хоть край платья Аннунциаты: она ведь жила на этой площади! Бродил я, конечно, все возле ее дома. У нее были гости; счастливцы! До меня доносились звуки фортепиано и пение; я прислушался, но это пела не она. Низкий бас пропел несколько гамм; вероятно, это был капельмейстер или один из певцов ее труппы. Какой завидный жребий! Вот бы быть на месте того, кто пел Энея! Видеть ее так близко, лицом к лицу, упиваться ее ласковыми взглядами, переезжать с нею из города в город, пожиная лавры!.. Я совсем ушел в эти мечты, а вокруг меня плясали увешанные бубенчиками арлекины, пульчинели и чародеи. Я совсем и забыл, что сегодня опять карнавал, что веселье уже началось, и вся эта пестрая толпа, весь этот шум и гам производили на меня самое неприятное впечатление. Мимо катились экипажи; почти все

кучера были переодеты дамами, но эти черные усы и бороды, видневшиеся из-под дамских капюшонов, эти резкие угловатые движения просто резали мне глаза! Я не был, как вчера, расположен веселиться и, бросив последний взгляд на дом, где жила Аннунциата, хотел уже уйти домой, как вдруг из ворот выскочил Бернардо и бросился прямо ко мне, весело крича: «Иди же сюда! Не стой там! Я представляю тебя Аннунциате! Она уже ждет тебя! Видишь, какой я хороший друг!»

— Она! — пробормотал я, и кровь бросилась мне в лицо. — Не шути со мною! Куда ты ведешь меня?

— К ней, к той, которую ты воспел! — ответил он. — К ней, к волшебнице, вскружившей всем нам головы, к божественной Аннунциате! — И он повлек меня за собою.

— Но объясни же мне, как ты сам попал туда? Как ты можешь вводить к ней меня?

— После, после все узнаешь! — ответил он. — Смотри же теперь повеселее!

— Но костюм мой!.. — пробормотал я, торопливо охорашиваясь.

— О, ты неподобен, друг мой, лучше и быть нельзя! Ну, вот мы и у дверей!

Двери отворились, и я очутился перед Аннунциатой. Она была в черном шелковом платье; на плечи был накинут газовый, голубой с красным, шарф, черные волосы зачесаны назад и оставляли открытым высокий благородный лоб, на который спускалось какое-то черное украшение, кажется камей. Поодаль от нее, возле окна, сидела старушка в темном простеньком платье; глаза и весь облик ее обнаруживали еврейку. Я вспомнил утверждение Бернардо, будто Аннунциата и красавица еврейка из гетто одно и то же лицо; но нет, сердце мое протестовало против этого! В комнате находился еще один, незнакомый мне господин. При нашем входе он встал; сама Аннунциата с улыбкой направилась нам навстречу, и Бернардо шутливо представил меня ей:

— Милостивая синьора, имею честь представить вам поэта, моего друга, аббата Антонио, любимца семейства Боргезе!

— Синьор извинит, — начала она, — но, право, это не моя вина! Я не желала напрашиваться на ваше знакомство, как оно ни лестно для меня!.. Вы почтили меня стихотворением, — тут она покраснела. — Ваш друг назвал мне автора и обещал представить его мне... Но вдруг увидел вас в окно, крикнул: «Сейчас вы увидите его!» и устремился за вами, прежде чем я успела остановить его, предупредить... Ведь таким образом... Но вы лучше меня знаете своего друга!

Бернардо принялся смеяться, а я пробормотал что-то похожее на извинение и выразил, как умел, свое счастье и радость.

Щеки мои горели; она протянула мне руку, и я, в порыве восторга, прижал ее к губам. Она познакомила меня с упомянутым выше госпо-

дином, капельмейстером их труппы, старушку же назвала своей воспитательницей. Последняя окинула нас с Бернардо серьезным, почти строгим взглядом, но я скоро забыл об этом под впечатлением остроумия и дружески-ласкового обращения Аннунциаты.

Капельмейстер сказал мне несколько обязательных комплиментов насчет моего стихотворения, протянул мне руку и посоветовал мне взяться за составление оперных либретто. Для начала я мог бы написать одно для него.

— Не слушайте его! — прервала Аннунциата. — Вы не знаете, в какие бедствия он хочет ввергнуть вас! Композиторы и не думают о жертвах, какие приходится приносить автору либретто, а публика и того меньше. Сегодня вечером вы увидите в театре «La ruova d'un opera seria» — правдивую картину мучений бедного автора, и все же они обрисованы там еще недостаточно ярко.

Композитор хотел было возразить, но Аннунциата подошла ко мне поближе и, смеясь, продолжала:

— Вы создаете вещь, вкладываете в прекраснейшие стихи всю вашу душу; идея, характеры — все у вас строго обдуманно, но вот является композитор. У него своя идея, и ее надо провести, а вашу побоку. Он желает ввести барабаны и дудки, и вы должны плясать под них. Примадонна говорит, что не станет петь, если у нее не будет блестящей выходной арии; ей нужна ария в темпе *furioso maestoso*, а кстати это или не кстати, это уж не ее дело. Первый тенор предъявляет такие же требования. Вы должны метаться от примы к терциа-донне, от басов к тенорам, кланяться, улыбаться, переносить все наши капризы, а их немало!

Капельмейстер хотел что-то возразить, но Аннунциата не дала ему сказать ни слова и продолжала:

— Затем является сам директор, взвешивает, соображает и бракует. Вы же должны разыгрывать роль его покорнейшего слуги во всем, даже в глупостях и нелепостях. Заведующий монтировочной частью уверяет, что средства театра не позволяют такой-то обстановки, таких-то декораций, и вот вы должны изменить в вашей пьесе то и то-то, или, как говорят на театральном языке, «прилаживаться к обстоятельствам». Декоратор со своей стороны не позволяет приладить к его новой декорации такого-то аксессуара, и вы должны выкинуть все реплики, в которых упоминается этот аксессуар. Затем оказывается, что синьора не может брать трель на том слоге, которым кончается какой-нибудь стих; ей нужен слог на *a*, откуда же вы возьмете его — ей нет никакого дела. Вы должны прилаживаться, прилаживаться, и, когда, наконец, ваше либретто, в неузнаваемом для вас самих виде, появится на сцене, вам предстоит удовольствие присутствовать при провале оперы и услышать вопль композитора: «Все погубило невозможное либретто! Даже мои мелодии не могли окрылить такого истукана; он и провалился!»



В окна к нам врывались звуки веселой музыки; ряженные шумели на площади и на улицах. Громкие крики восторга и аплодисменты привлекли нас всех к открытому окну. Теперь, стоя рядом с Аннунциатой, достигнув исполнения моего заветного желания, я опять был счастлив, карнавал опять веселил меня, как вчера, когда я сам принимал в нем участие.

Под окном собралось больше полсотни пульчинелей. Они выбрали себе короля и усадили его в маленькую тележку, разукрашенную пестрыми флагами и гирляндами из лавровых ветвей и лимонных корок, развевавшихся словно ленты и шнурки. На голову королю надели корону из вызолоченных и раскрашенных яиц, в руку дали скипетр — огромную погремушку, обвитую макаронами, затем все принялись плясать вокруг него, а он милостиво раскланивался на все стороны. Наконец пульчинели впряглись в тележку, чтобы везти его по улицам; тут он случайно увидел Аннунциату, узнал ее, дружески кивнул ей и крикнул: «Вчера ехала ты, а сегодня еду я на тех же кровных римлянах!» Я видел, как Аннунциата вся вспыхнула и отшатнулась, но вдруг, овладев собой, мгновенно бросилась вперед, перегнулась через перила балкончика и крикнула ему: «Да, но ни ты, ни я недостойны этого счастья!»

Ее увидели, слышали ее слова, громкое «виват» огласило воздух, и на балкон полетели букеты. Один задел ее плечо и упал мне на грудь. Я крепко прижал к сердцу это сокровище, с которым решил не расставаться.

Бернардо был возмущен этой, как он выразился, дерзостью пульчинеля, хотел было сейчас же бежать на улицу и наказать парня, но капельмейстер и другие удержали его, обратив все в шутку.

Слуга доложил о приходе первого тенора, который привел с собою какого-то аббата и иностранного художника, желавших представиться Аннунциате. Минуту спустя вошли новые гости: еще несколько иностранных художников, явившихся засвидетельствовать певице свое почтение. Эти отрекомендовались ей сами. Таким образом, составилось целое общество. Разговор шел о веселом празднестве, состоявшемся прошлой ночью в театре Аргентина, где собрались маски в костюмах, скопированных с знаменитых статуй: Аполлона, гладиаторов и метателей диска. В общий разговор не вмешивалась только пожилая дама, которую я принял за еврейку; она совсем ушла в свое вязанье и только кивала головой всякий раз, как Аннунциата обращалась к ней в разговоре.

Как не похожа была сегодняшняя Аннунциата на то существо, которое я рисовал себе заранее! Дома она казалась жизнерадостным, почти резвым ребенком, но и это шло к ней удивительно и нравилось мне несказанно. Она восхищала и меня, и всех остальных своими беглыми, шутливыми замечаниями и своим остроумием. Вдруг она взглянула на часы, быстро поднялась и извинилась перед нами, что должна оставить нас, — пора было одеваться; она ведь пела в этот вечер главную партию в «*La prima d'un opera seria*». Дружески кивнув нам головкой, она скрылась в соседнюю комнату.

— Как ты осчастливил меня сегодня, Бернардо! — сказал я, очутившись с ним на улице. — Какая она милая! Такая же милая, как и на сцене!.. Но каким образом ты сам очутился у нее, как мог ты так скоро познакомиться? Я ничего не понимаю! Все это кажется мне сном, даже то, что я был сейчас у нее!

— Как я попал к ней? Очень просто! — отвечал Бернардо. — Я, как один из представителей знатной римской молодежи, как офицер папской гвардии и, наконец, как поклонник красоты, счел своим долгом явиться к ней с визитом! Да любви не нужно и половины всех этих предлогов. Вот я и явился к ней, а уж само собою разумеется, что представиться-то ей я сумел не хуже тех художников, что явились при тебе, также без всяких глашатаев или дядек!.. Раз я влюблен, я всегда бываю интересным, и можешь быть уверенным, что я сумел занять ее разговором. Через полчаса мы были с нею уже настолько знакомы, что я мог ввести к ней и тебя!

— Ты любишь ее? — спросил я. — Любишь ее истинной любовью?

— Да, больше, чем когда-либо! — сказал он. — В том же, что она и есть та самая красавица, которая угощала меня вином в доме еврея, я и не сомневаюсь. И она узнала меня, как только я вошел к ней; я сразу заметил это. А старая еврейка, что сидит словно истукан, только покачивая головой да спуская петли, является своего рода Соломоновой печатью, подтверждающей мое предположение. Но сама-то Аннунциата не еврейка; меня ввели в заблуждение ее черные волосы, темные глаза и место нашей первой встречи с нею. Твое предположение вернее: она нашей веры и будет в нашем раю!

Мы уговорились встретиться вечером в театре, но народу было столько, что мне так и не удалось отыскать Бернардо. Я все-таки достал себе место; театр был набит битком, жара стояла ужасная, а кровь моя и без того уже была лихорадочно возбуждена; события двух последних дней представлялись мне каким-то бредом. Дававшаяся же пьеса меньше всего годилась для успокоения расхолодившихся нервов. Опера-буфф «*La riuova d'un orega seria*», как известно, продукт самой развеселой фантазии. В ней, собственно, нет общей связи; либреттист и композитор имели в виду только посмешить публику и дать певцам побольше случаев блеснуть своим голосом и умением петь. В опере выведены страстная, капризная примадонна, такой же композитор и разные капризничающие артисты, этот особый сорт людей, с которыми и обходиться нужно на особый лад, словно с ядом, что и убивает и исцеляет! Бедный же либреттист играет в пьесе роль несчастного козла отпущения.

Появление Аннунциаты вызвало бурю восторгов и цветочный дождь. Выказанные ею в этой новой роли веселость и живость сочли высшим проявлением искусства; я же назову это скорее проявлением ее истинной природы: такую точно была она и вчера у себя дома. Пение ее напоминало

сегодня звон серебряных колокольчиков; все сердца упивались радостью, сиявшей в ее взоре.

Дуэт между нею и композитором, причем они меняются партиями — он поет женскую, а она мужскую, — был триумфом для обоих, но особенно поразила всех слушателей Аннунциата своими искусными переходами от самого низкого альты к высочайшему сопрано. В танцах же она казалась самой Терпсихорой, как та изображается на этрусских вазах; каждое движение дышало пленительной грацией и могло послужить предметом изучения для художника или скульптора. Но вся эта пленительная живость и резвость казались мне только естественным проявлением ее природы, которую я уже имел случай изучить. Роль Дидоны была, по-моему, в исполнении Аннунциаты действительно проявлением высшего искусства, роль же «примадонны» в этой опере — высшим проявлением субъективности.

Бравурные арии буффонады были набраны отовсюду, но Аннунциата исполняла их так естественно-шаловливо, что бессмыслица как-то скрадывалась.

В конце концов композитор уверяет, что теперь все превосходно, что можно начать увертюру, и раздает ноты музыкантам настоящего оркестра; примадонна помогает ему; затем дают знак, и начинается ужаснейшая, уши и душу раздирающая какофония. Но сам композитор и примадонна аплодируют и кричат: «Браво! Браво!» Публика вторила им, смех почти заглушал музыку, но меня все это возбуждало еще больше; я положительно был расстроен. Аннунциата казалась мне резвым, восхитительно шаловливым ребенком; пение же ее напоминало дикие дифирамбы вакханок, и я не мог следовать за нею даже в этот мир веселых звуков. При взгляде на нее мне вспоминалась чудная фреска Гвидо Рени «Аврора». На ней богини времен года порхают вокруг колесницы солнца; одна из них поразительно похожа на портрет Беатриче Ченчи, но только как бы снятый с последней в один из счастливых моментов ее жизни. То же выражение нашел я и в лице Аннунциаты. Будь я скульптором, я бы изваял ее из мрамора, и люди называли бы эту статую «Невинною радостью». Все громче и громче гремели диссонансы в оркестре; композитор и примадонна пели и затем воскликнули: «Великолепно! Увертюра кончена, теперь можно поднять занавес!» — и в ту же минуту занавес опустили. Буффонада была кончена. Аннунциату принялись вызывать повчерашнему, осыпая букетами, венками и стихами. Кружок моих ровесников, из которых я знал некоторых, решил дать ей в этот вечер серенаду; я примкнул к ним, несмотря на то что не пел уже целую вечность.

Через час после ее возвращения домой мы гурьбой отправились на площадь Колонна и расположились под балконом Аннунциаты; за длинными оконными занавесями мелькал еще свет; душа моя была взволнована; я думал только о ней, и голос мой смело слился с голосами других. Кроме того, я должен был исполнить соло; по мере того как я пел, я

все больше и больше забывал окружающее и все на свете; я весь ушел в мир звуков, и голос мой звучал так мощно и в то же время так нежно, как никогда прежде. Товарищи мои не могли удержаться от тихого «браво», и с меня было довольно, я сам стал прислушиваться к своему голосу, и радость стеснила мне грудь: я чувствовал в себе присутствие божества! Когда Аннунциата показалась на балконе и низко поклонилась нам в знак благодарности, мне казалось, что это относится ко мне одному. Я слышал, как мой голос покрывал весь хор, являясь как бы душою этого огромного тела. В каком-то чадуге упоения вернулся я домой; суетные мысли мои были заняты одним — удовольствием, которое наверное доставило мое пение Аннунциате! Я ведь поразил им даже себя самого.

На следующий день я отправился к ней с визитом и застал у нее Бернардо и многих других знакомых. Она была в восторге от чудесного тенора, который слышала вчера во время серенады; я покраснел, как маков цвет. Кто-то из присутствующих выдал меня, и она сейчас же повлекла меня к фортепиано, требуя, чтобы я спел с нею дуэт. Я стоял перед инструментом, как преступник перед эшафотом, уверяя, что никак не могу петь. Но все принялись просить меня, а Бернардо даже бранить за то, что я хотел лишить их удовольствия слышать синьору. Она взяла меня за руку, и я был пойман, как птица; напрасно я бил крыльями — пришлось петь! Дуэт был мне знаком; Аннунциата сыграла прелюдию и начала; я поддерживал ее дрожащим голосом. Взгляд ее покоился на мне, как бы говоря: «Не робей! Следуй за мною в мир звуков!» Я и думал только об этом да об Аннунциате. Скоро робость моя прошла, и я кончил дуэт смело и уверенно. Бурные аплодисменты приветствовали нас обоих, даже молчаливая старая еврейка дружески кивнула мне головой.

— Да ты просто поразил меня! — шепнул мне Бернардо и затем рассказал всем, что я отличаюсь еще одним прекрасным талантом — даром импровизации, которым и должен сейчас порадовать общество. Я был глубоко взволнован, но лестные похвалы моему пению и некоторая уверенность в своих способностях, а также просьбы Аннунциаты заставили меня решиться импровизировать — в первый раз с тех пор, как я стал взрослым человеком. Я взял гитару Аннунциаты, а она задала мне тему: «Бессмертие». Я быстро обдумал богатую тему, взял несколько вступительных аккордов и начал импровизацию.

Гений фантазии понес меня через фосфорно-голубое Средиземное море в пышные долины Греции. Афины лежат в развалинах; над поверженными колоннами растут дикие фиговые деревья. И дух мой проникся печалью. Во времена Перикла здесь, под высокими сводами, весело толпился народ, собравшийся на праздник красоты; по улицам плясали увенчанные цветами женщины, прекрасные, как Лаиса, громко раздавалось пение рапсодов!.. Они пели о бессмертии красоты и добра. Но теперь от благородных красавиц остался один прах; восхищавшие древних греков прекрасные формы

забыты! И вдруг, в то самое время как гений фантазии оплакивал разрушение Афин, из земли извлекли дивные образы красоты, изваянные великими мастерами из мрамора, и гений узнал в них дочерей Аттики! Красота получила в этих статуях отпечаток божественности, и белый мрамор сохранил ее для грядущих поколений! Красота бессмертна! Да, но земная власть и величие — преходящи. Гений фантазии понесся через море, в Италию, и с развалин древнего дворца Цезарей смотрел на вечный город. Тибр по-прежнему катил свои мутные волны, но там, где некогда боролся Гораций Коклес, плыли в Остию барки с бревнами и оливками. На том месте, откуда бросился некогда в огненную пучину Курций, росла высокая трава и пасся скот. Август! Тит! Славные имена! Но о них говорят ныне лишь стены разрушенных храмов и арки. Римский орел, мощная птица Юпитера, лежит мертвым в своем гнезде. Рим, где твое бессмертие? Но вот сверкнула молния церковного проклятия над возникающими царствами Европы. Поверженный римский престол стал престолом святого Петра, и земные владыки потекли в священный град босые, с непокрытыми головами. Рим стал повелителем мира! В шуме крыл пролетающих веков звучит, однако: «Смерть, смерть всему, что доступно руке человека, открыто его глазу!» Но может ли заржаветь меч святого Петра? Может ли рушиться власть церкви? Возможно ли невозможное? Рим гордо лежит в развалинах со своими древними богами и священными образами, но властвует над миром, как очаг вечного искусства! Вечно будут стекаться, о Рим, к твоим холмам сыны Европы — и с востока, и с запада, и с холодного севера, — восклицая: «Рим, твоя власть бессмертна!»

Бурные одобрения приветствовали меня, когда я остановился. Одна Аннунциата не шевельнулась; она сидела молчаливая и прекрасная, как статуя Венеры, не сводя с меня пламенного взора. Я понял немой язык сердца, и слова вновь полились из моих уст, складываясь в стихи под диктовку вдохновенной мысли.

С великой мировой арены гений фантазии понес моих слушателей на меньшую: я описал великую артистку, приковывающую к себе сердца людей своей игрой и пением. Аннунциата опустила глаза: я ведь имел в виду ее и постарался, чтобы ее узнали в моем изображении. «Когда замрут последние звуки ее голоса, — продолжал я, — когда занавес упадет, когда умолкнут шумные ликования толпы — ее художественное создание становится прекрасным трупом, погребенным в груди слушателей. Но грудь поэта подобна гробнице Мадонны: в ней все превращается в цветы и благоухание, умершие воскресают в еще более прекрасных образах; из нее взвивается ввысь мощная песнь, обещающая артистке бессмертие!»

Я смотрел на Аннунциату; уста мои высказали мои мысли, я низко поклонился ей, и все окружили меня, осыпая похвалами.

— Вы доставили мне истинное наслаждение! — сказала Аннунциата, ласково глядя на меня, и я осмелился поцеловать ее руку.

Моя импровизация возбудила в ней интерес ко мне; она уже тогда чувствовала то, что я понял только позже, что это любовь заставила меня вознести ее и ее искусство на такую высоту, до которой они никогда не могли возвыситься на самом деле. Драматическое искусство не бессмертно, к сожалению! Оно напоминает радугу, отражающую великолепие неба; это мост, соединяющий небо с землей; им восхищаются, но через минуту он исчезает со всеми своими лучезарными красками.

Я ежедневно посещал Аннунциату. Немногие еще остававшиеся дни карнавала пролетели как сон, но я всецело наслаждался ими: в обществе Аннунциаты я вкушал такую радость и блаженство, каких не знавал раньше.

— Ну, вот и ты начинаешь вести себя по-человечески! — сказал мне Бернардо. — Как и мы все! Но все-таки ты еще чуть только прикоснулся губами к чаше наслаждений. Я готов поклясться, что ты еще ни разу в жизни не целовал ни одной девушки, ни разу не склонял головы на ее плечо! А что, если бы Аннунциата полюбила тебя?..

— Что ты говоришь! — возразил я почти сердито, и кровь бросилась мне в лицо. — Аннунциата, эта чудная женщина, настолько выше меня!..

— Да уж там выше или ниже — все же она женщина, а ты поэт! Ваших отношений нельзя определить с точностью. Но раз поэту удастся забраться в сердце, он может ввести туда и возлюбленного.

— Я только восторгаюсь ею, восхищаюсь ее веселостью, ее умом и талантом, но любить ее — этого мне и в голову не приходило!

— Фу, как все это важно, торжественно! — смеясь, сказал Бернардо. — Так ты не влюблен? Впрочем, ведь ты из породы духовных амфибий, занимающих между духами и людьми среднее место!.. Так ты не влюблен, как я, как был бы влюблен всякий другой на твоем месте. Ты сам говоришь это, и я хочу верить тебе. Но тогда ты должен доказать это и на деле: не краснеть и не бледнеть, когда она говорит с тобою, и не бросать на нее таких пламенных взоров! Я советую тебе это ради нее же! Как ты думаешь, какими глазами смотрят на это другие?.. Но, к счастью, она уезжает послезавтра, и кто знает, вернется ли она после Пасхи, как обещает!

Да, Аннунциата собиралась покинуть нас на пять долгих недель! Она была приглашена петь во Флоренцию, и отъезд ее был назначен в первый же день поста.

— Теперь у нее будет толпа новых вздыхателей! — продолжал Бернардо. — Старые скоро забудутся, а также забудется и твоя прекрасная импровизация, за которую она наградила тебя такими ласковыми взглядами, что, право, страшно становилось! Но глуп тот, кто занят одной женщиной! Все они к нашим услугам! Луг усыпан цветами — рви сколько душе угодно!

Вечером мы были с ним в театре; Аннунциата пела в последний раз перед своим отъездом. Она опять выступила в роли Дидоны; пение и игра

ее были так же совершенны, как и в первый раз; это была та высшая степень искусства, выше которой идти уже нельзя. Она опять явилась для меня тем же чистым идеалом, как и в первый вечер. Веселость, резвая шаловливость, проявленные ею в буффонаде и в своей домашней жизни, казались мне только пестрым светским нарядом, который она временами накидывала на себя; он очень шел к ней, но в Дидоне мы видели самую ее душу, ее духовное «я». Крики восторга приветствовали певицу; едва ли восторженнее приветствовали римляне даже Юлия Цезаря и Тита!

Аннунциата сердечно благодарила публику и, прощаясь, обещала скоро вернуться в Рим. Опять раздалось «браво». Вызывали ее без конца, и молодежь опять выпрягла из экипажа лошадей и с триумфом повезла ее по улицам. Я был впереди всех. Бернардо восторгался не меньше меня, и мы оба крепко держались за дышло кареты, в которой сидела улыбающаяся Аннунциата; видно было, что благородное сердце ее переживало в эти минуты высшее счастье.

Вот настал и последний день карнавала, а вместе с тем и пребывания Аннунциаты в Риме. Я пришел к ней проститься. Она была очень тронута вчерашними овациями и говорила, что уже заранее радуется возможности опять вернуться сюда после Пасхи, хотя и Флоренция, со своею чудной природой и великолепными картинными галереями, очень привлекает ее. Несколькими беглыми штрихами она так хорошо обрисовала мне город и все его окрестности, что я как бы воочию увидел пред собою и покрытые лесами Аппенины, с разбросанными по ним виллами, и площадь дель Грандука, и роскошные, старинные палаццо.

— Я опять увижу великолепную галерею, — радовалась Аннунциата, — где впервые научилась любить скульптуру и познала величие человеческого духа, властного, подобно Прометею, вдохнуть жизнь в мертвый камень! Ах, если бы я могла сейчас ввести вас в одну из зал, самую маленькую, но самую дорогую мне, я знаю, вы были бы так же счастливы, как была счастлива я, увидев ее впервые, как счастлива и теперь, только вспоминая о ней! В этой небольшой восьмиугольной зале находятся одни шедевры искусства; но все они меркнут пред статуей Венеры Медицейской! Никогда не видела я подобного выражения, подобной жизненности в статуе! Даже обыкновенно мертвые мраморные глаза — здесь как живые! Художник сумел вложить в ее взгляд столько жизни, что при известном освещении он как будто заглядывает вам прямо в душу. Да, вы видите перед собою живую богиню, родившуюся из пены морской! На стене, позади статуи, висят две великолепных Венеры Тициана; это тоже богини красоты, но красоты земной, тогда как мраморная богиня дышит красотой небесной. Рафаэлевские Форнарина и неземные Мадонны также много говорят моей душе и сердцу, но больше всего влечет меня все-таки к статуе Венеры; она для меня не только художественное произведение, но светлое, живое создание, заглядывающее мне своим мраморным взором прямо в

душу. Ни одна статуя, ни одна группа в мире не нравится мне так — даже группа Лаокоона, хотя в последней самый камень, кажется, вздыхает от боли! Одного ватиканского Аполлона — вы ведь знаете его? — считаю я достойным стоять рядом с Венерою Медицейской. Но сила и духовное величие, которые придал художник изображению бога поэзии, в богине красоты еще облагорожены женственностью!

— Я видел гипсовую копию этой дивной статуи! Приходилось мне видеть также и хорошие слепки.

— Да, но что может быть несовершеннее их! — сказала она. — В мертвом гипсе и выражение мертво. Мрамор же сообщает изображению жизнь, одухотворяет его; камень превращается в плоть! Так и кажется, что под тонкой кожей струится живая кровь!.. Ах, если бы вы были со мною во Флоренции! Мы бы вместе восхищались этими дивными произведениями искусства! Там я была бы вашим гидом, как вы будете моим здесь, когда я опять вернусь в Рим.

Я низко поклонился, обрадованный и польщенный выраженным ей желанием.

— Так мы увидим вас опять только после Пасхи?

— Да, я вернусь к иллюминации собора святого Петра! — ответила она. — Но вы вспоминайте обо мне, как и я в Флорентийской галерее буду вспоминать о вас! Я буду жалеть, что вы не можете вместе со мною любоваться этими сокровищами! Я всегда так: любуюсь чем-нибудь, я жалею, что тут нет моих друзей, желаю, чтобы и они разделяли со мною мое наслаждение! Чувство это несколько сродни тоске по родине!

Аннунциата протянула мне руку; я поцеловал ее и позволил себе сказать полушутя:

— Смею просить вас передать этот поцелуй Венере Медицейской?

— Так он не мне предназначался? — сказала она. — Ну, я свято исполню поручение! — Она ласково кивнула мне и поблагодарила за те приятные часы, которые доставили ей мое пение и импровизация. — Мы еще увидимся! — прибавила она.

Я простился и вышел от нее, не чувствуя под собой ног.

В коридоре я встретил пожилую еврейку; она раскланялась со мною приветливее обыкновенного, и я в порыве умиления поцеловал ей руку; тогда она потрепала меня по плечу и сказала:

— Вы славный, хороший человек!

Затем я очутился на улице, все еще под обаянием дружеского обращения, ума и красоты Аннунциаты.

Я был теперь как нельзя больше расположен веселиться вовсю в этот последний день карнавала; я как-то не мог хорошенько освоиться с мыслью, что Аннунциата уезжала; уж чересчур просто мы с ней распростились, как будто нам предстояло опять свидеться завтра! Без всякой маски на лице вмешался я в веселую войну конфетти. Все стулья, расставленные вдоль

тротуаров, были заняты, все подмостки и окна тоже. Экипажи разъезжали взад и вперед, а в промежутках между ними волновалась пестрая толпа людей. Если хотелось перевести дух свободнее, приходилось забегать вперед какого-нибудь экипажа, — между двумя следовавшими один за другим экипажами все-таки оставалось маленькое пространство, где можно было двигаться свободнее. Музыка так и гремела, веселые маски распевали песни, а в одном из экипажей ехал, спиной к кучеру, какой-то капитан и трубил о своих великих подвигах на суше и на море. Шалуны-мальчишки, верхом на деревянных лошадках, покрытых пестрыми попонами, из-под которых виднелись лишь голова да хвост, а ноги всадника, заменявшие четыре ноги животного, были скрыты, разъезжали между экипажами и еще более увеличивали суматоху. Я не мог двинуться ни взад, ни вперед; пена со взмыленных лошадей клочьями летела мне в лицо. Наконец мне не осталось ничего другого, как вскочить на подножку одной из колясок, в которой ехали двое замаскированных: какой-то старый толстяк в халате и ночном колпаке и прелестная цветочница. Последняя сейчас заметила, что я вскочил к ним не из шалости, а скорее по нужде, погладила мою руку и предложила пару конфетти. Старик же принялся осыпать меня целым градом конфетти, и, как только около нас стало попросторнее, цветочница последовала примеру своего кавалера. Защищаться с пустыми руками я не мог и, весь осыпанный с головы до пят мукою, обратился в бегство. Два арлекина весело принялись чистить меня своими складными палками, но вот та же самая коляска повернула обратно, и на меня опять посыпался град конфетти. Я было решил для защиты и сам запастись конфетти, но раздался пушечный выстрел — сигнал к удалению экипажей в боковые улицы, и мои неприятели скрылись. Они, по-видимому, знали меня. Кто же они? В этот день я ни разу не встретил на Корсо Бернардо, и меня осенила мысль: старик в халате и колпаке — он, а цветочница — его «ручная птичка». Вот бы заглянуть им в лицо! Я достал местечко на одном из стульев возле самого угла площади. Скоро опять прогремела пушка — сигнал к бегу, и лошади стремглав помчались по Корсо по направлению к Венецианской площади. Вслед за тем улицу опять запрудил народ. Я тоже собирался было сойти на тротуар, как вдруг раздались испуганные крики: «Cavallo!» (Лошадь!) Одна из лошадей, прежде всех достигшая цели, не была остановлена там и немедленно повернула назад по Корсо. При виде этой густой толпы, спокойно разгуливавшей по улице, легко было представить себе, какая могла произойти беда! Как молния блеснуло у меня в уме воспоминание о смерти моей матери; я как будто вновь пережил тот ужасный момент, когда мы с нею очутились под лошадьми... Я неподвижно глядел перед собою: толпа, как бы по мановению волшебного жезла, разом отхлынула с середины улицы в стороны, словно как-то сжалась вся; как ветер пронеслась мимо меня, вся покрытая пеной, с окровавленными боками и развевающейся гривой, одичавшая лошадь; из-под копыт ее так и сыпа-

лись искры; и вдруг она, точно пораженная внезапным выстрелом, растянулась на земле мертвой. Все испуганно спрашивали друг друга, не случилось ли какого-нибудь несчастья, но Мадонна взяла народ свой под свою защиту — ничего не случилось, и сознание миновавшей опасности только настроило всех еще веселее.

Снова был подан знак, экипажи опять запрудили Корсо; скоро должен был начаться блестящий финал карнавала — праздник мокколи¹. Экипажи разъезжали теперь как хотели, давка и теснота еще увеличились, мрак с каждой минутой густел, но вот всюду замелькали огоньки; не было человека без зажженной свечки в руках; некоторые же держали целые пучки мокколи. Во всех окнах тоже сияли огоньки; вечер стоял чудный, тихий; и дома, и экипажи казались усеянными блестящими звездочками. В воздухе колебались прикрепленные к палкам бумажные фонарики и целые пирамиды из мокколи. Каждый старался оградить свой огонек и потушить свечку у другого; все громче и громче раздавались крики: «*Sia ammazato, chi non porta mocoli!*» (Смерть тому, у кого нет мокколи!). Тщетно защищал я свою свечку, ее каждую минуту гасили; тогда я бросил ее, и все окружающие должны были последовать моему примеру. Дамы, стоявшие вдоль тротуаров возле самых стен домов, просовывали свои свечи в окна подвальных этажей и насмешливо кричали мне: «*Senza mocoli!*» (Без свечки!) Они думали, что их-то свечи в безопасности, но ребяташки, ютившиеся в подвалах, взбирались на столы и тушили огоньки. Из окон верхних этажей свешивались бумажные шары и фонарики со свечками, а на подоконниках сидели люди с целыми пучками зажженных мокколи, прикрепленных к длинным палкам, и помахивали ими в воздухе, выкрикивая: «Смерть тому, у кого нет мокколи!» Но находились смельчаки, которые, держа в руках длинные палки с привязанными к их концам носовыми платками, карабкались по водосточным желобам на крыши и тушили свечки сидевших у открытых окон, а сами высоко подымали в воздух свои, крича: «*Senza mocoli!*» Не видевший этого зрелища не может составить себе и понятия обо всем этом оглушительном шуме, об этой толкотне и суматохе. В воздухе становилось душно и жарко от человеческого дыхания и горящих свеч. Несколько экипажей свернули в неосвещенную боковую улицу, и я вдруг увидел перед собою моих двух масок. У кавалера мокколи все были потушены, но у цветочницы остался еще целый букет горящих восковых свечек, прикрепленный к палке аршина в четыре длиною; красавица высоко подымала ее над головою и громко смеялась от радости, видя, что ни одна палка с платком не могла достать до ее свечей; старый же кавалер ее осыпал градом конфетти всякого, кто осмеливался подойти к ним слишком близко. Но я не струсил, в одно мгновение вскочил в коляску и крепко ухватился за палку, не

¹ Тоненькие восковые свечки.



обращая внимания на умоляющее восклицание цветочницы и отчаянную бомбардировку конфетти со стороны ее защитника. Палка вдруг переломилась, и пылающий букет, при криках ликующей толпы, упал на землю.

— Стыдно, Антонио! — крикнула цветочница.

Меня так и кольнуло в сердце — я узнал голос Аннунциаты! Она бросила мне в лицо весь свой запас конфетти вместе с корзинкой. Я смутился и прыгнул вниз; коляска помчалась дальше, но мне в знак примирения был брошен из нее букет цветов. Я поймал его на лету, хотел было броситься за коляской вдогонку, но где! Не было никакой возможности пробраться между экипажами, разъезжавшими взад и вперед в величайшем беспорядке. Я свернул в одну из боковых улиц и там только перевел дух свободнее, но зато на сердце у меня стало еще тяжелее. «Кто же это был с Аннунциатой?» Конечно, вполне естественно, что и она захотела повеселиться в последний день карнавала; меня беспокоил только господин в халате. Ах! Мое первое предположение, верно, было справедливо! Это Бернардо! Но мне все-таки хотелось убедиться в этом. Поспешно бросился я боковыми улицами на площадь Колонна и притаился у ворот дома Аннунциаты, ожидая ее возвращения. Коляска скоро подъехала; я, будто привратник, подскочил открыть дверцу; Аннунциата выпрыгнула, даже не взглянув на меня; за нею медленно вылез и ее грузный спутник... Нет, это не Бернардо! «Спасибо, любезный!» — услышал я и узнал по голосу старую воспитательницу Аннунциаты; увидев к тому же из-под халата коричневое платье, я окончательно убедился в ошибочности моего первого предположения.

— *Felissima notte, signora!* — радостно воскликнул я. Аннунциата засмеялась и сказала, что я злой человек и что она желает поскорее уехать от меня во Флоренцию, но в то же время крепко пожала мою руку. На сердце у меня опять стало легко, и я, возвращаясь домой, в порыве восторга принялся громко выкрикивать: «Смерть тому, у кого нет свечки!» — а у меня и у самого-то ее не было. Мысли мои продолжали заниматься Аннунциатой и доброй старушкой, которая, разумеется, только из желания порадовать свою питомицу облеклась в халат и ночной колпак и приняла участие в таком неподходящем ей по возрасту увеселении. Но как это было мило со стороны Аннунциаты, что она не поехала с кем-нибудь посторонним, не позволила сопровождать себя ни Бернардо, ни даже своему капельмейстеру! Теперь мне самому себе не хотелось признаться, что я мог ревновать ее к ночному колпаку! Веселый и счастливый, я не хотел упустить и тех нескольких часов, которые еще оставались до конца готового промелькнуть, как сон, карнавала и отправился в театр Фестино. Все здание и снаружи, и внутри было убрано гирляндами из лампочек и фонариков; все ложи были переполнены масками и иностранцами без масок. Высокая и широкая лестница вела из партера на сцену, превращенную в эстраду для танцев. Два оркестра играли по очереди, целая толпа квакеров и вет-

турино водили веселый хоровод вокруг Вакха и Ариадны; они прихватили в свой круг и меня, и я, попробовав только плясать, так увлекся, что, и возвращаясь ночью домой, опять вмешался в хоровод веселых масок на улице и от души вторил им всякий раз, как они кричали: «Счастливейшая ночь прекраснейшего карнавала!»

Спал я очень недолго; проснувшись рано утром, я сейчас же вспомнил об Аннунциате, которая, быть может, в эту самую минуту уезжала из Рима, вспомнил и о веселом карнавале, с которого для меня началась как бы новая жизнь и который теперь со всем своим шумом и блеском канул в вечность. Меня потянуло на улицу. Как все изменилось! Все лавочки, все двери заперты, улицы почти пусты; по Корсо, еще вчера только кишевшей веселой толпой, сквозь которую едва можно было пробиться, расхаживали только метельщики улиц, в своих белых балахонах с широкими синими полосами, и сметали с мостовой конфетти, усыпавшие ее точно снегом; жалкая кляча, пощипывая связку сена, которая была подвешена у нее сбоку, тащила тележку с сором. Перед одним из домов стоял веттурино, занятый укладкой на крышу кареты разных сундуков и ящиков; уставив вещи, он прикрыл их сверху циновкой и прикрепил железной цепью. Из боковой улицы показался другой веттурино с такой же нагруженной каретой. Все разъезжались из Рима: кто в Неаполь, кто во Флоренцию; Рим как бы вымирал на целые пять недель — от чистой среды до Пасхи.

ПОСТ. «MISERERE ALLEGRI»
В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ.
В ГОСТЯХ У БЕРНАРДО. АННУНЦИАТА

Тихо, убийственно медленно прошел этот день; мысли постоянно возвращались к карнавалу и к сопровождавшим его событиям, в которых главную роль играла Аннунциата. День ото дня однообразная могильная тишина и пустота вокруг меня все возрастали и просто давили меня. Книги мои уже не занимали меня по-прежнему всецело. До сих пор Бернардо был для меня всем в жизни, теперь же я чувствовал, что между нами легла какая-то пропасть; я испытывал в его присутствии неловкость и все яснее и яснее сознавал, что все мысли мои занимала одна Аннунциата. Были минуты, когда это сознание наполняло мою душу блаженством, но выдавались часы, даже целые ночи, когда я не мог освободиться от угрызений совести. Бернардо ведь полюбил ее раньше моего, он же и познакомил меня с нею! И я еще уверял его, что не чувствую к ней ничего, кроме восхищения ее талантом! Я, значит, обманывал моего лучшего друга, которого так часто уверял в своей сердечной неизменной привязанности! Раскаяние начинало жечь мне сердце, но мысли все не хотели оторваться от Аннунциаты. Воспоминания о ней

и о счастливейших минутах моей жизни возбуждали в моей душе глубочайшую грусть. Так созерцаем мы прекрасный живой образ дорогого нам умершего существа, и чем живее, ласковее он нам улыбается, тем сильнее охватывает нас грусть. Великая жизненная борьба, о которой я столько слышался еще на школьной скамье, но которую представлял себе тогда лишь в виде затруднения справиться с уроками или перенести неприятность от бестолкового учителя, только начиналась для меня теперь. Не следовало ли мне победить вспыхнувшую во мне страсть и таким образом вернуть себе утраченное спокойствие? Да и к чему могла привести меня эта любовь? Аннунциата — великая артистка, но тем не менее все осудили бы меня, если бы я ради нее оставил избранное мною поприще; сама Мадонна прогневалась бы на меня — я ведь с самого рождения был предназначен для служения ей! Бернардо также никогда не простил бы мне моего вероломства, да и — кто знает — любит ли еще меня Аннунциата? Вот эта-то неизвестность больше всего и сокрушала меня. Тщетно прибегал я к Мадонне, падал ниц перед ее образом и молил укрепить мою душу. Я только грешил в эти минуты: лицо Мадонны напоминало мне Аннунциату! Увы, мне казалось, что и каждое красивое женское лицо старалось усвоить себе то же выражение духовной красоты, которым отличалось лицо Аннунциаты! «Нет, надо вырвать из сердца все эти чувства! — говорил я самому себе. — Я не стану больше видаться с ней!»

Теперь-то я понял то, чего никак не мог понять прежде: потребность истязать свою плоть ради укрепления духа. Мои горящие уста целовали мраморные ноги Мадонны, и мир на мгновение осенял мою душу. Я вспоминал свое детство, дорогую матушку, свою счастливую жизнь с нею и радости, какие приносил мне с собою даже этот тихий пост. А между тем все вокруг было ведь по-старому: на углах улиц и теперь красовались такие же маленькие зеленые беседки, украшенные золотыми и серебряными звездами, пестрели такие же вывески, на которых в стихах восхвалялись прекрасные постные кушанья, а по вечерам, среди зелени, горели такие же пестрые бумажные фонарики. Как любовался я ими в детстве, как восхищался, заглядывая в роскошную бакалейную лавку, представлявшую для меня постом какой-то волшебный мир! Какие там были прелестные ангелочки из масла, плясавшие в храме с колоннами из обвитых серебряной бумагой колбас и куполом из золотистого пармезана! Эта лавка ведь вдохновила меня когда-то! Я воспел ее в первом моем поэтическом произведении, которое синьора лавочница назвала второй «Божественной комедией!» Тогда еще я не знал ее дивного певца, но не знал и никакой певицы! Ах, если б я мог забыть Аннунциату!

Я посетил с процессией семь святых церквей римских, пел вместе с пилигримами и был проникнут искренним глубоким чувством, но вот подошел Бернардо и с демонской насмешкой во взоре шепнул мне:

— Ты ли это, веселый адвокат и смелый импровизатор? С раскаянием во взоре, с главой, посыпанной пеплом?! Какой же ты мастер играть разные роли, Антонио! Мне за тобой не угнаться!

Колкая насмешка огорчила меня тем сильнее, что в ней скрывалась истина!

Настала последняя неделя поста; иностранцы начали мало-помалу возвращаться в Рим. Карета за каретою въезжала в ворота дель Пополо и в ворота дель Джiovани. В среду после полудня началась обедня в Сикстинской капелле. Моя душа жаждала музыки; в мире звуков я надеялся найти облегчение и утешение. Давка была ужасная даже в самой капелле; переднее отделение ее все было занято женщинами. Для приезжих особ царской крови были устроены великолепные, задрапированные бархатом с золотой бахромой ложи на такой высоте, что из них видно было даже отделение, переполненное женщинами и отгороженное от внутренней части капеллы искусной резьбы решеткой. Папская швейцарская гвардия щеголяла своими праздничными пестрыми мундирами; офицеры были в легких кирасах и касках, украшенных развевающимися султанами. Как шел этот наряд к Бернардо, то и дело раскланивавшегося со знакомыми ему красивыми молодыми дамами.

Я достал себе место возле самых перил, недалеко от хор, где помещались папские певчие. Позади меня сидела группа англичан; я видел их во время карнавала в неимоверно пестрых маскарадных костюмах, но и теперь они были одеты чуть ли не по-маскарадному. По-видимому, им всем, даже десятилетним мальчикам, хотелось изображать из себя офицеров! На всех были дорогие мундиры из самых ярких, бьющих в глаза материй, с такими же украшениями. Один, например, был одет в светло-голубой сюртук, расшитый серебром; сапоги его были изукрашены золотом, а на голове красовалось что-то вроде тюрбана с перьями и жемчугом. В Риме, где мундир помогает всюду занимать лучшие места, такие костюмы, впрочем, не в диковинку; окружающие смеялись над ними, меня же они недолго занимали.

Вот явились старые кардиналы в своих великолепных фиолетовых бархатных мантиях с белыми пелеринами и уселись большим полукругом по ту сторону перил; каноники, несшие шлейфы кардиналов, расположились у их ног. Из маленькой боковой двери, ведущей в алтарь, показался сам святой отец в пурпурной мантии и серебряной тиаре. Он взошел на трон; епископы с кадильницами обступили его, а молодые каноники в красных стихарях и с зажженными факелами в руках преклоняли колени впереди его, против главного алтаря.

Начались часы; но взор мой положительно отказывался следить за мертвыми буквами и увлекал мои мысли к украшавшему потолок и стены великому изображению вселенной, работы Микеланджело. Я не мог оторваться от его могучих сивилл и дивных пророков; каждое изображение

могло послужить темой для целого трактата об искусстве. Я восхищался их величественными чертами, восхищался и группами прекрасных ангелов; я смотрел на них не только как на картины, нет, все эти сцены дышали жизнью. Вот древо познания добра и зла; Ева протягивает Адаму запретный плод; вот Иегова, носящийся над пучиной морской; не Его носят сонмы ангелов, как на картинах старых мастеров, а Он Сам носит их на Своих развевающихся одеждах. Я, конечно, видел все эти картины и прежде, но никогда еще не производили они на меня такого сильного впечатления; мое возбужденное состояние, толпа людей, может быть, даже самое настроение моей души придавали всему окружающему какой-то особый поэтический отпечаток. Я не мог смотреть на все это иначе, да и всякая другая поэтическая натура испытывала, вероятно, в данную минуту то же самое.

Смелость и сила рисунка в этих фигурах так поразительна, что от них нельзя оторваться! Это как бы духовная нагорная проповедь в красках и образах! Нельзя не благоговеть вместе с Рафаэлем пред могучей силой кисти Микеланджело. Каждый из его пророков — Моисей, как тот, которого он создал из мрамора. Какие могучие образы! Они приковывают ваш взор, едва вы вступите в капеллу, но затем он, как бы освященный этим созерцанием, обращается к задней стене капеллы — тут священный алтарь искусства и мысли. Всю стену, от самого пола до потолка, занимает огромная хаотическая картина, которой все остальные служат только как бы рамой. Это картина Страшного суда.

Судья-Христос стоит на облаке; апостолы и Божия Матерь простирают к нему руки, моля за бедный грешный род людской. Мертвые встают из своих могил; блаженные души возносятся к Богу, между тем как преисподняя поглощает свои жертвы. Вот здесь возносящаяся на небо душа хочет спасти своего осужденного брата, которого уж обвивают адские змеи; здесь грешники, в отчаянии ударяя себя кулаком по лбу, погружаются в бездну. Целые легионы духов носятся между небом и адом. Участие на лицах ангелов, восторг встречающихся на небе влюбленных, радость ребенка, прижимающегося, восстав из могилы, к груди матери, — все это изображено дивно прекрасно и правдиво; так вот и кажется, что сам присутствуешь на суде в числе тех, кто слышит свой приговор. Микеланджело изобразил красками то, что воспел в стихах Данте.

Заходящее солнце как раз светило в верхние окна капеллы, так что Христос и окружающие его блаженные духи были ярко освещены, а нижняя часть картины, где встают из гробов умершие и демоны отталкивают от берегов барку с осужденными, утопала в полумраке. Часы кончились, и в ту же минуту погас последний луч солнца; всю картину заволокло мраком, но в тот же момент начались музыка и пение. То, что я видел сейчас в красках, выливалось теперь в звуках: над нами гремел суд, раздавались ликования праведных и стенания грешных.

Глава церкви, сложив с себя свое папское убранство, стоял перед алтарем и молился святому кресту. Мощные звуки труб, как на крылах, возносили к небу потрясающий гимн: «*Populus meus, quid feci tibi?*» Из мощного хора выделялись нежные ангельские звуки, выходившие, казалось, не из человеческой груди; так не могли петь люди; это плакали и жаловались сами ангелы.

Душа моя упивалась этими звуками, черпая в них силу и обновление. Давно уже я не был так бодр и ясен духом. Но Аннунциата, Бернардо и все другие дорогие, милые моему сердцу люди не выходили у меня из головы, и только блаженные души могут так любить друг друга, как я их всех в данную минуту. Мир, о ниспослании которого я тщетно молился, осенил теперь мою душу, упоенную дивной музыкой.

Когда «*Miserere*» кончилось и все разошлись, я отправился к Бернардо. От всего сердца пожал я ему руку и излил перед ним всю свою душу. Да и было о чем поговорить: «*Miserere Allegri*», наша дружба, самая история моей жизни, исполненная столь диковинных событий, — все это могло дать богатый материал для беседы. Я рассказал Бернардо, как музыка укрепила мой дух, как тяжело было у меня на душе незадолго перед тем, как я томился, страдал и грустил весь долгий пост, но не обмолвился ни словом о том, какую роль играли во всем этом он сам и Аннунциата. Да, этого заветного уголка сердца я открыть ему не мог. Но Бернардо только посмеялся надо мною, говоря, что я плохой мужчина, что пастушеская жизнь у Доменики да влияние синьоры — словом, бабье воспитание и, наконец, Иезуитская коллегия страшно испортили меня! Моя горячая итальянская кровь была, по его словам, разбавлена козьим молоком, и я просто-напросто хворал от своей траппистской воздержанности. Мне следовало обзавестись «ручной птичкой», которая бы сумела своим пением выманить меня из мира снов и мечтаний, следовало стать человеком, как и все, и тогда я буду здоров и телом, и духом!

— Мы очень не похожи друг на друга, Бернардо! — сказал я. — И все-таки я так привязан к тебе, что мне часто хочется век не разлучаться с тобою!

— Ну, это бы повредило нашей дружбе! — ответил он. — Она порвалась бы прежде, чем мы сами успели заметить это. Дружба, что любовь: разлука только укрепляет и ту, и другую. Я часто представляю себе, как скучно, в самом деле, быть женатым! Видеть друг друга постоянно при всяких обстоятельствах! Зато большинство супругов и тяготеют друг другом, и связь их держится только в силу известного рода чувства приличия или добродушия. Я же чувствую заранее, что как бы ни горело мое сердце любовью, встретить оно такую же пламенную взаимность — скоро оба сердца потухли бы: любовь — желание; раз оно удовлетворено — оно умирает!

— Но если бы жена твоя, — сказал я, — была хороша и умна, как...

— Как Аннунциата! — подхватил он, так как я приостановился, подыскивая сравнение. — Да, Антонио, я бы любовался прекрасной розой, пока она была бы свежа; но едва бы ее лепестки увяли, аромат пропал, я... Да, Бог весть какие желания пробудились бы во мне тогда! В настоящую же минуту я чувствую одно довольно странное желание... Правда, мне и раньше приходило в голову нечто подобное... Я бы хотел посмотреть, красна ли у тебя кровь, Антонио?.. Но ведь я человек благоразумный, ты мой друг, истинный друг, и мы не стали бы драться с тобою, если бы даже встретились на одном и том же любовном свидании! — Тут он громко засмеялся, горячо прижал меня к своей груди и полушутя сказал: — Я уступаю тебе мою ручную птичку — она становится чересчур чувствительной и тебе, верно, понравится! Пойдем к ней сегодня вечером; истинные друзья ничего не должны скрывать друг от друга. Мы весело проведем вечер! А в воскресенье святой отец даст нам всем отпущение грехов.

— Нет, я не пойду! — ответил я.

— Ты трус, Антонио! — сказал он. — Не давай же козьему молоку испортить в тебе всю кровь! И твое сердце может гореть такой же пламенной, чувственной любовью, как мое! Я убедился в этом! Твои страдания, страх, твое умерщвление плоти во время поста, все это — сказать ли тебе начистоту? — не что иное, как тоска по свежим устам, прекрасным формам! Меня-то уж не проведешь, Антонио; я хорошо знаю все это. Так зачем же дело стало? Прижми красотку к своему сердцу! Что же, боишься? Эх, трус ты, Антонио!

— Твои слова оскорбляют меня, Бернардо!

— И все же ты снесешь их! — ответил он.

Кровь бросилась мне в голову, но в то же время на глазах выступили слезы.

— Как ты можешь так шутить с моей привязанностью к тебе! — воскликнул я. — Ты думаешь, что я стою между тобой и Аннунциатой, что она относится ко мне благосклоннее, чем к тебе?..

— О нет! — прервал он. — Ты знаешь, что я не страдаю такой пылкой фантазией. Но не будем говорить об Аннунциате! Что же до твоей привязанности ко мне, о которой ты беспрестанно толкуешь, то я не понимаю ее. Мы, конечно, протягиваем друг другу руки, мы друзья, благоразумные друзья, но твои понятия о дружбе чересчур выпренни; меня же ты должен брать таким, каким я уродился.

Вот приблизительно главное содержание нашего разговора; я привожу из него только то, что, так сказать, врезалось мне в сердце, заставило его облиться кровью. Я был оскорблен, но дружеские чувства мои все-таки взяли верх, и я на прощание крепко пожал Бернардо руку.

На другой день благовест призвал меня в собор святого Петра. В притворе, который по величине своей был, говорят, принят одним ино-

странцем за самый собор, была такая же давка, как на улицах и на мосту святого Ангела. Казалось, сюда собрался весь Рим, чтобы вместе с иностранцами удивляться колоссальности собора, который словно все увеличивался по мере того, как переполнялся народом.

Вот раздалось пение; два могучих хора отвечали один другому из различных углов собора. Все теснились вперед, чтобы видеть обряд омовения ног, который только что начался. Из-за перегородки, за которой помещались дамы-иностранки, кто-то дружески кивнул мне. Это была Аннунциата! Она вернулась, была тут, в церкви! Сердце мое так и забилося в груди. Я стоял от нее так близко, что мог приветствовать ее.

Оказалось, что она приехала еще вчера, но так поздно, что ей пришлось пропустить «*Miserere Allegri*»; она успела только к «*Ave Maria*» в собор святого Петра.

— Вчерашний таинственный полумрак, — сказала она, — производил как-то большее впечатление, нежели это дневное освещение. Не горело ни единой свечи, кроме лампад у гроба святого Петра; они окружали его лучезарным венцом, но освещали только ближайшие колонны. Все стояли на коленях; я тоже пала ниц, и вот когда я живо почувствовала, какая сила в унижении, в благоговейном безмолвии!..

Ее старая воспитательница, которую я сразу не узнал под густой вуалью, также ласково кивнула мне. Торжественная церемония окончилась; дамы стали собираться домой, но никак не могли отыскать своего слугу, который должен был проводить их до кареты. Группа молодых людей между тем заметила Аннунциату, и она заволновалась, желая поскорее выбраться отсюда. Я осмелился предложить ей проводить их до кареты. Старуха сейчас же взяла меня под руку, но Аннунциата пошла рядом одна. Я бы так и не решился попросить ее опереться на меня, но в дверях нас так стиснуло и понесло вперед общим потоком, что она сама взяла меня под руку. Прикосновение ее руки заставило вспыхнуть во мне всю кровь.

Я отыскал карету, и, когда дамы уселись, Аннунциата пригласила меня запросто отобедать у них сегодня.

— Но обещаю вам только скудный обед, как оно и подобает постом! — прибавила она.

Я был в восторге; старуха же, верно, не расслышала хорошенько слов своей воспитанницы, но догадалась по выражению ее лица, что дело идет о приглашении, и, вообразив, что Аннунциата приглашает меня ехать с ними, живо очистила для меня от платков и шалей место на переднем сиденье и сказала:

— Да, да, сделайте одолжение, синьор аббат! Места хватит!

Аннунциата не рассчитывала на это; щеки ее покрылись легким румянцем, но я уже сидел перед нею, и карета тронулась.

Вместо «скудного обеда» нас ожидал маленький пир. Аннунциата рассказывала о своем пребывании во Флоренции, о сегодняшнем торжестве,

расспрашивала меня, как прошел пост у нас, в Риме, и как я сам провел его. На последний вопрос я отвечал не вполне откровенно.

— Вы пойдете в субботу смотреть крещение евреев? — спросил я и вдруг посмотрел на старую еврейку; я совсем было забыл о ней.

— Она не расслышала! — сказала Аннунциата. — Да если бы и слышала, вряд ли смутилась бы! Но я бываю только там, куда она может сопровождать меня; присутствовать же на этой церемонии ей некстати¹. Да и меня она не занимает — редко ведь случается, чтобы еврей или турок переменял веру по внутреннему убеждению. И у меня еще с детства сохранилось от этого зрелища самое неприятное впечатление. Я видела крещение шести- или семилетнего еврейского мальчика; он явился в грязных чулках и башмаках, с пухом в нечесанных волосах и, словно для пущего контраста, в великолепной белой шелковой рубашке, которую подарила ему Церковь. С ним явились и его родители, одетые так же неряшливо. Они продали душу его ради блаженства, в которое сами не верили.

— Вы видели этот обряд в Риме? Так вы бывали здесь в детстве? — спросил я.

— Да! — ответила она и покраснела. — Но я не римлянка.

— В первый же раз, как я увидел и услышал вас, мне показалось, что я уже видел вас раньше. И теперь, сам не знаю почему, я продолжаю думать то же. Если бы мы верили в переселение душ, я подумал бы, что мы с вами были когда-то птицами, сидели на одной ветке и давно-давно знаем друг друга! А в вас не пробуждается никаких таких воспоминаний? Вам ничто не говорит, что мы встречались раньше?

— Нет! — ответила Аннунциата, глядя мне прямо в глаза.

— Сейчас, когда я услышал от вас, что вы бывали ребенком в Риме, а не провели, как я думал, все ваше детство в Испании, воспоминание, которое возникло в моей душе в первый же раз, как я увидел вас в роли Дидоны, ожило вновь. Не случилось ли вам ребенком, в числе других детей, говорить рождественскую проповедь перед образом младенца Иисуса в церкви Арачели?

— Да, да! — живо подхватила она. — А вы, значит, Антонио, тот самый мальчик, которым все так восхищались тогда?

— И которого вы затмили! — ответил я.

— Так это были вы! — воскликнула она и, схватив меня за руки, ласково поглядела мне в глаза. Старуха придвинула свой стул поближе и серьезно посмотрела на нас. Аннунциата рассказала ей, в чем дело, и старуха сама улыбнулась такому обновлению старого знакомства.

¹ В Риме ежегодно в Великую субботу крестят нескольких евреев или турок. В «Diario romano» (римском календаре) день этот поэтому и называется «si af il battesimo di Ebrei e Turchi».

— Матушка моя и все другие просто наговориться не могли о вас! — сказал я. — Ваша нежная, почти эфирная фигурка, мягкий голосок — все восхищало их, и я завидовал вам. Мое тщеславие не допускало, чтобы кто-нибудь мог затмить меня!.. Как, однако, странно переплетаются жизненные пути людей!

— Я хорошо помню вас! — сказала она. — На вас была надета коротенькая жакетка с блестящими пуговицами; они-то больше всего и заинтересовали меня тогда.

— А у вас, — подхватил я, — на груди красовался великолепный красный бантик! Но меня-то занимал главным образом не он, а ваши глаза и черные как смоль волосы! Да, как мне было не узнать вас! Вы и не изменились почти, только черты лица стали еще выразительнее! Впрочем, я узнал бы вас, если бы вы изменились и куда больше. Я сейчас же высказал свои предположения Бернардо, а он-то спорил со мною, воображая совсем другое...

— Бернардо! — произнесла она, как мне показалось, дрожащим голосом.

— Да, — продолжал я, несколько смутившись, — ему тоже показалось, что он знает вас, то есть видел вас раньше, совсем при иных обстоятельствах, противоречивших моему предположению! Ваши черные волосы, ваши глаза... Только не рассердитесь за это, он теперь и сам переменял мнение!.. При первом взгляде на вас он принял вас за... — тут я остановился, — за... не католичку! И, значит, я не мог слышать вас в церкви Арачели.

— Он думал, может быть, что я одной веры с моей воспитательницей? — сказала Аннунциата, указывая на старуху.

Я невольно кивнул головой, но сейчас же схватил ее за руку и спросил:

— Вы не сердитесь на меня?

— За то, что ваш друг принял меня за еврейку? — улыбаясь, спросила она. — Какой вы забавный!

Я чувствовал, что наше детское знакомство сблизило нас, и совсем забыл все свои прежние печальные мысли, а также решение — не видеться с нею, не любить ее! Я весь горел любовью к ней.

Художественные галереи были закрыты в эти два последних дня поста, но Аннунциата заметила, что теперь-то вот и хорошо было бы побродить по какой-нибудь из них на свободе. Желание Аннунциаты было для меня законом, и, к счастью, я мог удовлетворить его: я ведь хорошо знал всех смотрителей и сторожей палаццо Боргезе, где находится одна из интереснейших римских художественных галерей, та самая, по которой расхаживал ребенком с моей благотельницей, рассматривая амурчиков Франческо Альбани.

Я предложил Аннунциате свести туда ее и ее старую воспитательницу; она с благодарностью согласилась, и я не помнил себя от радости.

Дома, наедине с самим собою, я, однако, невольно стал думать о Бернардо. Нет, он не любит ее, утешал я себя самого. Его любовь только чувственное влечение, тогда как моя велика и чиста! Последний наш разговор с ним стал мне теперь казаться гораздо оскорбительнее для меня, нежели он был на самом деле. Теперь я помнил только выказанную Бернардо гордость, чувствовал себя оскорбленным ею и вскипел против него таким негодованием, о каком прежде не имел и понятия. Конечно, его гордость возмущена тем, что Аннунциата относится ко мне лучше, чем к нему! Правда, он сам познакомил меня с нею, но, может быть, именно из желания нарядить меня в шуты! Вот почему его так и поразили мое пение и импровизация; ему и в голову не приходило, что я могу чем-либо соперничать с его красотой, его развязностью и ловкостью!.. Теперь он хотел своими речами отбить у меня охоту посещать ее! Но добрый гений мой решил иначе. Ее ласковое обращение, ее взгляды — все говорит мне, что она меня любит, что она относится ко мне благосклонно, даже более чем благосклонно! Не может же она не чувствовать, что я люблю ее!

И в порыве восторга я осыпал горячими поцелуями свою подушку; но любовный восторг только еще более усиливал чувство досады против Бернардо. Я упрекал себя самого в том, что не выказал в разговоре с ним более характера, более желчи. Теперь на языке у меня вертелись сотни великолепных ответов, которыми я мог срезать его, когда он третировал меня, словно мальчишку! Теперь я живо чувствовал малейшую его насмешку надо мной. В первый раз в жизни кровь во мне кипела от гнева, и это раздражение, смешанное с чувством высокой, чистой любви, окончательно отняло у меня сон. Я забылся только под утро, но и этот короткий сон укрепил и успокоил меня. Предупредив смотрителя, что я приду сегодня осматривать галерею вместе с двумя иностранками, я зашел за Аннунциатой, и затем мы все трое отправились в палаццо Боргезе.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ. ПАСХА. ПЕРЕВОРОТ В МОЕЙ СУДЬБЕ

Я испытывал какое-то особенное ощущение, войдя Аннунциату по тем самым залам, где играл в детстве и слушал объяснения картин из уст Франчески, забавлявшейся моими наивными вопросами и выражениями. Я знал здесь каждую картину, но Аннунциата знала и понимала их еще лучше. Суждения ее были поразительно метки; от ее зоркого взгляда и тонкого эстетического чутья не ускользало ни одной истинно прекрасной подробности.

Мы остановились перед знаменитой картиной Джерардо дель Нотти «Лот и его дочери». Я стал восхвалять яркость и живость, с какими изображены Лот и его жизнерадостная дочь, а также яркое вечернее небо, просвечивающее сквозь темную зелень деревьев.

— Кистью художника водило пламенное вдохновение! — сказала Аннунциата. — Я восхищаюсь сочностью красок и выражением лиц, но сюжет мне не нравится. Я даже в картине прежде всего ищу известного рода благопристойности, целомудрия сюжета. Вот почему мне не нравится и «Даная» Корреджо; сама она хороша, амурчик с пестрыми крыльями, что сидит у нее на постели и помогает ей собирать золото, божественно прекрасен, но самый сюжет меня отталкивает, оскорбляет, если можно так выразиться, мое чувство прекрасного. Потому-то я так высоко ставлю Рафаэля: он во всех своих картинах — по крайней мере, известных мне — является апостолом невинности. Да иначе бы ему и не удалось дать нам Мадонну!

— Но совершенство исполнения может же заставить нас примириться с вольностью сюжета! — сказал я.

— Никогда! — ответила она. — Искусство во всех своих отраслях слишком возвышенно и священно! И чистота замысла куда более захватывает зрителя, нежели совершенство исполнения. Потому-то нас и могут так глубоко трогать наивные изображения Мадонн старых мастеров, хотя зачастую они напоминают китайские картинки: те же угловатые контуры, те же жесткие, прямые линии! Духовная чистота должна стоять на первом плане как в живописи, так и в поэзии. Некоторые отступления можно еще допустить; они хотя и режут глаз, но не мешают все-таки любоваться всем произведением в его целостности.

— Но ведь нужно же разнообразие сюжетов! Ведь не интересно вечно...

— Вы меня не так поняли! Я не хочу сказать, что надо вечно рисовать одну Мадонну. Нет, я восхищаюсь и прекрасными ландшафтами, и жанровыми картинками, и морскими видами, и разбойниками Сальваторе Розы. Но я не допускаю ничего безнравственного в области искусства, а я называю безнравственной даже прекрасно написанную картину Шидони в палаццо Шиариа. Вы, верно, помните ее? Двое крестьян на ослах проезжают мимо каменной стены, на которой лежит череп, а на нем сидят мышь, червь и оса; на стене же надпись: «Et ego in Arcadia».

— Я знаю ее! — сказал я. — Она висит рядом с прекрасным скрипачом Рафаэля.

— Да! — ответила Аннунциата. — И упомянутая надпись гораздо более подходила бы к картине Рафаэля, чем к той, отвратительной!

Очутившись с нею перед «Временами года» Франческо Альбани, я рассказал ей, как нравились мне эти маленькие амурчики, когда я был ребенком, и как весело я проводил время в этой галерее.

— У вас были счастливые минуты в детстве! — сказала она, подавляя вздох, вызванный, может быть, воспоминаниями о ее собственном детстве.

— Так же, как и у вас, конечно? — сказал я. — В первый раз я видел вас веселым, счастливым ребенком, предметом общего восхищения,

а во второй раз встретил знаменитой артисткой, сводившей с ума весь Рим! Вы казались тогда счастливой, и, надеюсь, что оно так и было?

Я слегка наклонился к ней; она посмотрела на меня грустным взглядом и сказала:

— Счастливое, осыпаемое похвалами дитя скоро стало круглой сиротой, бесприютной птичкой на голой ветке; она умерла бы с голоду, если бы не всеми презираемый еврей! Он заботился о ней до тех пор, пока она не смогла подняться на собственных крылышках над бурным морем житейским. — Она умолкла, покачала головой и затем продолжала: — Но такие истории вовсе не занимательны для посторонних, и я не знаю, зачем завела разговор об этом!

Тут она хотела встать, но я схватил ее руку и спросил:

— Разве я для вас совсем посторонний?

Она молча поглядела перед собой и сказала с грустной улыбкой.

— Да, и я видела хорошие минуты в жизни и... — добавила она с обычной веселостью, — только их и буду помнить! Наша встреча в детстве и ваши воспоминания заставили и меня углубиться в прошлое и созерцать его картины, вместо того чтобы любоваться окружающими нас.

Вернувшись в отель Аннунциаты, мы узнали, что без нас был Бернардо; ему сказали, что Аннунциата со своей старой воспитательницей и со мной куда-то уехали. Я мог представить себе его досаду, но вместо того, чтобы опечалиться за него, как прежде, продолжал питать к нему вызванные во мне моею любовью к Аннунциате неприязненные чувства. Что ж, он сам так часто желал, чтобы я, наконец, выказал характер, хотя бы даже против него самого! Ну вот, пусть теперь полюбуется!

В ушах моих не переставали раздаваться слова Аннунциаты, сказавшей, что бесприютную птичку приютил всеми презираемый еврей. В таком случае Бернардо не ошибался! Это ее он видел у старика Ганноха! Обстоятельство это бесконечно интересовало меня, но как завязать с ней об этом разговор?

Явившись к ней опять на другой день, я узнал, что она разучивает в своей комнате новую партию. Пришлось вступить в беседу со старухой, которая оказалась еще более глухой, нежели я предполагал. Она, по-видимому, была мне очень благодарна за то, что я занялся ею. Мне вспомнилось, как ласково она посмотрела на меня после моей импровизации, — значит, она поняла ее?

— Да! — ответила она. — Я поняла все, отчасти из выражения вашего лица, отчасти из некоторых отдельных слов, долетевших до меня. Ваша импровизация была прекрасна! Так же вот, исключительно благодаря мимике Аннунциаты, понимаю я и ее пение. Зрение мое стало лучше с тех пор, как слух ослабел.

Затем она начала расспрашивать меня о Бернардо, который приходил вчера без нас, и очень жалела, что ему не удалось сопровождать нас в галерею. Вообще она проявила к нему необычайный интерес и сочувствие.

— Да! — сказала она, когда я заметил ей это. — Он благородный человек! Я знаю о нем кое-что! Да наградит его за это Бог христиан и евреев!

Мало-помалу старуха разговорила; любовь ее к Аннунциате высказывалась просто трогательно; из отрывочных и не вполне ясных рассказов ее я успел узнать, что Аннунциата испанка родом, ребенком была привезена в Рим, здесь осиротела и была взята на попечение старым Ганнохом, который когда-то бывал в Испании и знал ее родителей. Спустя несколько времени ее опять отправили на родину, и она воспитывалась там у одной дамы, которой и была обязана обработкой своего голоса и драматического таланта. Когда Аннунциата подросла, в нее влюбился какой-то знатный вельможа, но равнодушие красавицы ожесточило его, и любовь его перешла в ненависть. Старуха, видимо, не хотела приподнимать завесы, скрывающей какие-то ужасные подробности; я узнал только, что жизни Аннунциаты угрожала опасность, что она бежала в Италию, в Рим, и скрылась у Ганноха, в гетто, где ее едва ли стали бы искать. Происходило все это только полтора года тому назад. Тогда-то Аннунциата, вероятно, и видела Бернардо и угощала его вином, о чем он столько раз рассказывал. Разумеется, с ее стороны было очень неосторожно показываться постороннему, ведь она во всех должна была видеть подосланных к ней убийц! Впрочем, она знала, что Бернардо не из таких; она ведь слышала одни похвалы его мужеству и благородству. Скоро они узнали, что гонитель Аннунциаты умер; она уехала, поступила на сцену и стала разъезжать по разным городам, восхищая всех своим дивным голосом и красотой. Старуха сопровождала свою питомицу в Неаполь, где та пожала первые лавры, и с тех пор не покидала ее.

— Да, она сущий ангел! — прибавила словоохотливая еврейка. — Благочестивая, как и следует быть женщине, и умница вдобавок! Дай Бог всякому быть такою!

Только что я вышел из отеля Аннунциаты, грянул пушечный выстрел, за ним другой, третий — без конца. По всем улицам и площадям, из всех окон, со всех балконов палили из ружей и маленьких пушек в знак того, что пост кончился. В это же время были убраны и черные занавеси, скрывавшие в течение пяти долгих недель в церквах и часовнях все картины; все сияло пасхальной радостью. Время скорби миновало, завтра начиналась Пасха, день всеобщей радости, вдвойне радостный для меня: Аннунциата пригласила меня сопровождать ее на торжественное богослужение и иллюминацию собора.

Звонили во все колокола; кардиналы мчались в своих пестрых каретах с лакеями на запятках; экипажи богатых иностранцев и толпы пешеходов переполняли узкие улицы. На замке святого Ангела развевались флаги с папским гербом и изображением Мадонны. На площади святого Петра играла музыка, а вокруг расположились продавцы четок и лубочных картин,

на которых был изображен папа, благословляющий народ. Фонтаны били ввысь радужными струями; вокруг всей площади шли логи и скамьи для зрителей, и все эти места, так же, как и самая площадь, были уже почти переполнены народом. Скоро едва ли не такая же огромная толпа хлынула на площадь из собора, где благочестивые люди усладили свои души пением, церковной церемонией и зрелищем священных реликвий — кусочков копья и гвоздей, служивших при распятии Христа. На площади словно волновалось море: несметные толпы народа, ряды экипажей, двигавшихся непрерывными рядами, крестьяне и мальчики, взбиравшиеся на пьедесталы статуй святых, — все это двигалось, колыхалось, шумело. Казалось, что в данную минуту здесь был налицо весь Рим. Вот шесть священников в лиловых облачениях торжественно вынесли из церкви на драгоценном троне папу; двое младших каноников обмахивали его колоссальными опахалами из павлиньих перьев; другие каноники кадили, а кардиналы шли сзади, распевая священные гимны. Навстречу процессии понеслись ликующие звуки музыки. Папу внесли по мраморной лестнице на галерею, и он показался с балкона народу, окруженный свитой кардиналов. Все пали на колени: и ряды солдат, и старики, и дети; одни иностранцы-протестанты стояли неподвижно, не желая преклониться пред благословением старца. Аннунциата стала на колени в карете и смотрела на святого отца растроганным взглядом; глубокая тишина царила на площади, благословение папы витало над головами присутствующих невидимыми огненными языками. Затем с балкона, где стоял папа, полетели в народ два листка: один с отпущением грехов, другой с проклятием против врагов церкви. Среди черни началась свалка: всякому хотелось получить хоть клочок их. Снова зазвонили колокола, сливаясь с звуками музыки. Я был счастлив, как и Аннунциата. Карета наша двинулась; вдруг мимо проскакал Бернардо; он раскланялся с дамами, но меня как будто и не заметил.

— Какой он бледный! — сказала Аннунциата. — Не болен ли он?

— Не думаю! — ответил я, отлично зная, что именно согнало с его щек живой румянец. И тут-то в душе моей созрело новое решение: я почувствовал, как искренно я люблю Аннунциату, сознал, что готов на все, если только она отвечает мне взаимностью, и решил бросить свое поприще, чтобы всюду следовать за нею. Я не сомневался в своем драматическом таланте, знал также, какое впечатление производит на всех мое пение, и мог надеяться с честью выступить на любой сцене, раз только отважусь на этот шаг. Ведь если Аннунциата любит меня, то какие же претензии может заявить Бернардо? Он и сам может посвататься за нее, если его любовь так же сильна, как моя! И если окажется, что Аннунциата любит его, я немедленно уступлю ему место! Все это, придя домой, я и изложил в письме к Бернардо. Думаю, что оно вышло сердечным и теплым, — я пролил над ним немало слез, напоминая Бернардо о нашей прежней дружбе и о моих чувствах к нему. Отослав письмо, я значительно успокоился, хотя

одна мысль о том, что я могу лишиться Аннунциаты, терзала мое сердце, как коршун печень Прометея. Но печальные мысли сменялись надеждой всюду следовать за Аннунциатой, пожинать лавры вместе с нею, и я опять ликовал! Да, теперь мне предстояло выступить на жизненных подмостках уже в качестве певца и импровизатора!

После «Ave Maria» я отправился вместе с Аннунциатой и ее воспитательницей на иллюминацию. Весь фасад собора святого Петра, главный купол и оба боковые были изукрашены прозрачными бумажными фонариками, обрисовывавшими все контуры здания огненными линиями. Давка на площади, кажется, еще увеличилась против утренней; мы могли двигаться вперед только шагом. С моста святого Ангела перед нами развернулась полная картина иллюминации; гигантское здание, все залитое огнями, отражалось в мутных волнах Тибра, по которым скользили лодки, переполненные людьми и очень оживлявшие всю картину. Только что мы добрались до самой площади, где играла музыка, раздавался звон колоколов и шло всеобщее ликование, как был подан сигнал к фейерверку. Несколько сотен людей, облепывавших крышу и купола собора, по данному знаку вдруг зажгли смоляные венки, лежавшие на железных сковородах, и все здание было как будто охвачено пламенем, засветилось над Римом, как звезда над Вифлеемом! Ликования толпы еще усилились. Аннунциата вся ушла в созерцание дивного зрелища.

— Но все-таки это ужасно! — произнесла она. — Этот несчастный, который должен зажечь самый верхний огонек на кресте главного купола!.. У меня просто голова кружится при одной мысли об этом!

— Да, крест этот находится на одной высоте с вершинами высочайших египетских пирамид. Надо обладать большой отвагой, чтобы взобраться туда и укрепить там веревки. Зато святой отец и дает ему наперед отпущение всех грехов!

— Рисковать жизнью человека только ради минутного блеска! — вздохнула она.

— И также ради прославления Господа! — возразил я. — А как часто рискуют жизнью из-за меньшего!

Экипажи так и мчались мимо; большинство стремилось на холм Пинчио, чтобы оттуда полюбоваться иллюминацией собора и общим видом города, утопавшего в этом сиянии.

— Это, однако, прекрасная мысль, — сказал я, — осветить весь город сиянием, льющим от святого храма! Может быть, обычай этот и подал Корреджо идею его бессмертной «Ночи»!

— Извините! — ответила она. — Вы разве не помните, что картина была написана ранее, чем воздвигнут самый собор? Идею эту он, наверное, почерпнул в собственной душе, и это, по-моему, еще лучше. Но надо полюбоваться иллюминацией издали. Что, если поехать на холм Марио? Там нет такой давки, как на Пинчио. И мы как раз недалеко от ворот.

Мы обогнули колоннаду и скоро очутились за городом. Карета остановилась у маленькой гостиницы, расположенной на вершине холма; вид отсюда открывался чудесный. Купол собора казался отлитым из солнечного сияния. Фасада, конечно, не было видно, но и это обстоятельство производило свое впечатление: составленный как бы из сияющих звезд купол словно плавал в сияющем воздухе. До нас доносились из города звон колоколов и музыка, кругом же царила темная ночь; даже звезды как будто померкли пред ослепительным пасхальным блеском Рима и мелькали на синем небе какими-то беловатыми точками. Я вышел из кареты и пошел в гостиницу, чтобы достать для дам вина и фруктов. Очутившись опять в узком проходе, где горела перед образом Мадонны лампада, я вдруг столкнулся лицом к лицу с Бернардо. Он был бледен, как и в тот раз, когда на него надели венок после декламации моих стихов. Глаза его горели лихорадочным огнем; он схватил меня за руку, словно бешеный.

— Я не убийца, Антонио! — воскликнул он каким-то странным, глухим голосом. — Не то бы я вонзил свою шпагу прямо в твое вероломное сердце! Но ты должен драться со мной, хочешь ты или не хочешь, трус этакий! Иди за мной!

— Бернардо, ты с ума сошел?! — вскрикнул я, вырываясь от него.

— Кричи, кричи громче! — продолжал он все тем же глухим голосом. — Пусть к тебе прибегут на помощь! Один на один ты не осмелишься драться! Но я убью тебя прежде, чем мне свяжут руки! — Тут он протянул мне пистолет. — Стреляйся со мной, или я просто убью тебя! — И он потащил меня к выходу. Я, защищаясь, направил пистолет прямо на него.

— Она любит тебя! И ты хвастаешься этим перед всеми римлянами, передо мною! Ты обманывал меня своими лукавыми, сладкими речами, хотя я и не подавал тебе к тому никакого повода!

— Ты болен, Бернардо! Сумасшедший, не подходи ко мне!

Но он бросился на меня, я оттолкнул его, раздался выстрел... Рука моя дрогнула, все заволело дымом, но слух мой, мое сердце были поражены каким-то странным вздохом — криком его назвать было нельзя. Бернардо лежал на земле, плавая в крови. Я, как лунатик, стоял неподвижно, сжимая в руках пистолет. Испуганные голоса людей, выбежавших из гостиницы, и восклицание Аннунциаты: «Иисус! Мария!» — привели меня в себя, и тут только я почувствовал всю глубину случившегося несчастья.

— Бернардо! — отчаянно воскликнул я и хотел припасть к его трупу, но возле него стояла на коленях Аннунциата, стараясь остановить лившуюся из раны кровь. Я еще вижу перед собою ее бледное лицо и твердый взгляд, который она вперила в меня. Меня точно пригвоздили к месту.

— Бегите, бегите! — кричала между тем старуха, таща меня за рукав.

В приливе невыразимой скорби я воскликнул:

— Я невинен! Клянусь вам, я невинен! Он хотел убить меня, сам дал мне пистолет, и все вышло случайно. — И то, чего я при других обстоятельствах не осмелился бы высказать громко, сорвалось у меня теперь с языка в припадке отчаянья: — Аннунциата! Мы оба любили тебя! За тебя и я бы умер, как он! Кто же из нас двух был тебе дороже? Скажи мне! Если ты любишь меня, я попытаюсь спастись!

— Уходите! — сказала она, махая мне рукой и продолжая хлопотать над убитым.

— Бегите! — кричала старуха.

— Аннунциата! Кого же любишь ты? — спросил я, изнемогая от горя. Тогда она склонилась к мертвому, и я услышал ее плач, увидел, что она прижимается устами ко лбу Бернардо!

— Жандармы! — раздались голоса. — Бегите! Бегите! — и словно чьи-то невидимые руки повлекли меня оттуда.

КРЕСТЬЯНЕ ИЗ РОККА-ДЕЛЬ-ПАПА. РАЗБОЙНИЧЬЯ ПЕЩЕРА. ПАРКА МОЕЙ ЖИЗНИ

«Она любит Бернардо!» — вот что пронзило мое сердце смертельной стрелой, разлилось ядом по моим жилам, гнало меня вперед и даже заглушало голос, твердивший мне: ты убил твоего друга и брата! Я инстинктивно продирался сквозь кусты и перелезал через заборы, которыми были обнесены виноградники на горе. Купол собора святого Петра ярко горел в вышине; так же ярко пылали огни на жертвенниках Каина и Авеля в ту минуту, когда бежал убийца.

Несколько часов кряду шел я вперед безостановочно; остановил меня только мутный Тибр, перерезавший мне путь. От Рима до самого Средиземного моря мне не найти было ни моста, ни даже лодки для переправы. Это неожиданное препятствие поразило меня, как ударом ножа, и на минуту как бы перерезало червя, точившего мое сердце, но скоро червь этот ожил опять, и я вдвойне живо осознал все свое несчастье.

В нескольких шагах от меня лежали развалины старой гробницы, куда более обширной, но и еще более обветшавшей, нежели та, в которой я жил ребенком со старой Доменикой. К обрушившейся каменной плите были привязаны три лошади, пожевывавшие сено, подвешенное им под морды.

В гробницу вел спуск в несколько ступенек; внутри виднелся огонь. Вокруг костра лежали врастяжку, покуривая коротенькие трубки, два коренастых крестьянина в овчинных тулупах, огромных сапогах и остроконечных шляпах, украшенных образками Мадонны. Человек поменьше ростом, закутанный в большой серый плащ и в широкополой, нахлобученной на лицо шляпе, стоял, прислонясь к стене, и потягивал из бутылки



вино. Я не успел еще хорошенько разглядеть эту группу, как они заметили меня, схватились за ружья, словно опасаясь нападения, и быстро выступили мне навстречу.

— Что вы ищете тут? — спросили они.

— Лодку, чтобы переправиться через Тибр! — ответил я.

— Долго же будете искать! Тут ни мостов, ни плотов — разве с собой притащишь!

— Но, — продолжал один из них, оглядывая меня с головы до ног, — синьор сбился с прямой дороги, а здесь-таки небезопасно ночью. У разбойничьей шайки все еще длинные корни, хотя святой отец и действовал заступом так усердно, что у него, пожалуй, заломило руки!

— Вам бы следовало запастись хоть оружием! — подхватил другой. — Как мы! У нас у всех по трехстволке да по пистолету за поясом на случай, если ружье даст осечку.

— А у меня еще добрый складной нож! — прибавил первый, вытащил из-за пояса острый блестящий нож и начал играть им.

— Спрячь свой нож, Эмилио! Синьор-то побледнел весь! Молод он еще больно, где ж ему было свыкнуться с таким острым оружием! Разбойники как раз обернут его! С нами же им не так-то легко справиться! Знаете что? — продолжал он, обращаясь ко мне: — Давайте-ка ваши деньги на сохранение нам — целее будут!

— Берите все, что у меня есть! — ответил я равнодушно, как человек, удрученный горем и не дорожающий жизнью. — Особенно поживиться вам не придется! — Я понял, в какую компанию попал, поспешно сунул руку в карман, где, как я знал, лежали всего два скудо, но, к своему удивлению, нащупал там кошелек. Я вынул его; он был ручной работы; недавно еще я видел его в руках старой воспитательницы Аннунциаты; это она, значит, сунула мне его в карман на случай нужды! Все трое потянулись к туго набитому кошельку; я высыпал все деньги на каменную плиту перед костром.

— Золото, серебро! — вскричали они, глядя на блестящие луидоры и пиастры. — Грех был бы, если бы эти красавчики достались разбойникам!

— А теперь убейте меня, коли хотите! — сказал я. — По крайней мере, будет конец моим страданиям!

— Madonna mia! — воскликнул первый. — За кого вы нас принимаете? Мы честные крестьяне из Рокка-дель-Папа. Мы не убиваем ближних. Выпейте-ка с нами стаканчик да расскажите, зачем вас сюда занесло?

— Ну, до этого вам нет дела! — ответил я и быстро схватил протянутый мне стакан вина; я умирал от жажды.

Они пошептались между собою. Потом человек в широкополой шляпе встал, кивнул головой остальным двум, насмешливо поглядел на меня и сказал:

— Придется вам провести холодную ночь после теплого, веселого вечера! — Затем он ушел, и скоро мы услышали топот его лошади, на которой он помчался через Кампанью.

— Вы ведь хотели перебраться через Тибр? — спросил меня один из оставшихся. — Если не присоединитесь к нам, вам долго придется ждать переправы! Садитесь-ка на круп моей лошади — пуститься через реку вплавь, держась за лошадиный хвост, вам, вероятно, еще меньше будет по вкусу!

Я знал, что здесь оставаться мне было небезопасно, чувствовал, что мое место теперь между бесприютными скитальцами, и поспешил с помощью парня взобраться на его сильную, горячую лошадь; сам он уселся на нее впереди меня.

— Теперь дайте привязать вас! — продолжал он. — Не то вы не удержитесь. — И он опутал веревкой мой стан и руки, а затем обвязал ее вокруг себя самого. Мы сидели друг к другу спиной, и мне нельзя было шевельнуть ни одной рукой. Осторожно и медленно стала лошадь переходить реку вброд; местами было так глубоко, что она погружалась в воду по самые бока; но она сильно работала ногами и скоро вынесла нас на другой берег. Когда мы выбрались туда, парень отвязал меня от себя, но зато еще крепче прикрутил мне руки к подпруге. — Не то вы можете свалиться и сломать себе шею! — сказал он. — Держитесь же! Теперь мы понесемся через Кампанью вскачь. — Он сжал ногами бока лошади, спутник его сделал то же, и мы понеслись, словно опытные наездники. Я крепко держался руками и ногами. Ветер развевал длинные, черные кудри парня, и они били меня по щекам. Мы проезжали мимо разрушенных гробниц и водопроводов; на горизонте сиял кроваво-красный месяц; по небу скользили легкие белые облачка.

Все случившееся со мною сегодня: убийство Бернардо, разлука с Аннунциатой, бегство из родного города и эта дикая скачка по Кампанье привязанным к разбойничьей лошади — все казалось мне сном, страшным сном. Ах, если бы я мог поскорее проснуться, если бы все эти ужасные картины исчезли бесследно! Я зажмурил глаза и чувствовал только, как освежал мое лицо холодный ветер, дувший с гор.

— Ну, скоро мы опять будем под крылышком у нашей старухи! — сказали парни, когда мы въехали в горы. — А что, лихие у нас кони? Моя лошадь вчера ведь только получила благословение святого Антония! Мальчишка мой разубрал ее кистями и лентами, ее окропили святой водой, и теперь ей уж целый год нечего бояться ни самого лукавого, ни дурного глаза!

Начинало светать.

— Светленько становится! — сказал другой парень. — У синьора еще глаза заболят, пожалуй! Дай-ка я навяжу ему глазной зонтик! — С этими словами он крепко завязал мне глаза платком; теперь я ничего не видел,

руки мои были связаны, словом, я находился в полной власти разбойников, но мне теперь было уж все равно. Я был слишком несчастен и без того. Я заметил, что мы поднимаемся в гору; затем стали опять спускаться; ветви кустарников хлестали меня по лицу; должно быть, мы ехали не по дороге, а просто продирались сквозь чащу. Наконец меня заставили слезть с лошади и повели; спутники мои не обменивались ни словом; пришлось спуститься по какой-то лестнице, затем пролезть в какое-то узкое отверстие. Я слишком был занят самим собою и своими мыслями, чтобы замечать направление, по которому меня вели, но мне казалось, что мы не особенно сильно углубились в горы. Впоследствии, несколько лет спустя, я познакомился с этой местностью, которую посещают любопытные иностранцы и изображают на полотне художники; местность эта находится у древнего Тускулума. От него еще до сих пор сохранились развалины, находящиеся за Фраскати, где склоны гор покрыты каштановыми лесами и лавровыми рощами. Ступени амфитеатра обросли белым терном и дикими розами. Местами встречаются глубокие пещеры и каменные своды, почти совсем скрытые сочной зеленью трав и кустов. Над долиной виднеются высокие Абруцкие горы, составляющие границу болот; они придают всему ландшафту мрачный и суровый, но величественный вид; древние же развалины еще усиливают впечатление. Меня провели через узкий проход, почти незаметный за густо нависшим над ним плющом и другими ползучими растениями; затем мы приостановились. Послышался тихий свист и скрип отворявшегося люка или двери. Мы спустились еще на несколько ступеней вниз; тут я услышал говор людей; платок с меня сняли — я стоял под низким сводом; вокруг деревянного стола сидели рослые, мускулистые люди, в таких же длинных овчинных тулупах, как и мои спутники, и играли в карты. Над столом висели две зажженные медные лампы о нескольких светильнях, ярко освещавшие мрачные, выразительные лица игроков. Перед ними стояло несколько бутылок вина. Появление мое никого не удивило; для меня только очистили место за столом да придвинули ко мне стакан и кусок колбасы. Разговор шел на каком-то особом, непонятном мне жаргоне и, по-видимому, нисколько не касался меня. Голода я не ощущал, зато пить хотел страшно и принялся за вино. Взгляд мой скользил между тем по стенам; всюду были развешены ружья и разная одежда; в одном углу, под сводом, было углубление, и там висели два полубодранных зайца; под ними же я увидел еще одну фигуру. В углу неподвижно сидела занятая пряжею худощавая старуха, удивительно стройная и прямая. Седые волосы ее распустились и падали прядями вдоль щек и на бронзовую шею; черные глаза не отрывались от веретена. Старуха была живым изображением одной из парок. У ног ее лежала куча горящих угольев, отделявших ее от всего остального мира как бы магическим кругом.

Я недолго был предоставлен самому себе; меня подвергли некоторого рода допросу относительно моего положения в обществе, моих матери-

альных средств и семейных обстоятельств. Я ответил им, что взятые у меня деньги составляли все мое имущество, что в случае, если они будут требовать выкупа, ни одна душа в Риме не даст за меня и одного скудо, что я бедный сирота и давно уже собирался отправиться в Неаполь, чтобы попытаться там счастья в качестве импровизатора. Не скрыл я также и настоящей причины моего бегства — нечаянного и несчастного выстрела, не входя, однако, в подробности происшествия.

— Единственный выкуп, — прибавил я, — даст вам за меня полиция, если вы выдадите меня ей! И в настоящую минуту я ничего лучшего не желаю!

— Славное желание, нечего сказать! — сказал один из людей. — У вас, конечно, найдется в Риме зазнобушка, которая отдаст за ваше освобождение свои золотые побрякушки. И вам еще удастся импровизировать в Неаполе. Мы-то сумеем перевести вас через границу. Или же выкуп может быть заменен вашим вступлением в товарищество, и тогда вот вам моя рука! Вы попали к честным людям, как видите! Но теперь засните-ка — утро вечера мудренее! Вот постель, найдется и одеяло, испытанное и в холод, и в дождь — мой коричневый плащ, что висит на гвозде. — Он бросил его мне, указал на соломенную циновку, лежавшую по другую сторону стола, и вышел, напевая народную песенку «Discendi, o mia bettina!»

Я бросился на свое ложе, не надеясь, однако, заснуть. События последнего дня носились передо мною какими-то страшными призраками. Но все-таки скоро глаза мои сомкнулись, — физические силы мои были истощены вконец; я заснул и проспал целый день.

Проснувшись, я почувствовал себя удивительно свежим и бодрым; все, что вчера так потрясло мою душу, казалось мне теперь только сном, но место, где я находился, и окружавшие меня мрачные лица скоро убедили меня в действительности всего произошедшего.

Какой-то незнакомец с длинным, серым плащом через плечо и двумя пистолетами за поясом сидел верхом на скамье и вел горячую беседу с остальными разбойниками. В углу по-прежнему сидела смуглая старуха, занятая своею пряжею и до того неподвижная, что ее можно было принять за картину, нарисованную на темном фоне стены. На плитах перед нею по-прежнему лежали горящие уголья, распространявшие вокруг теплоту.

— У него прострелен бок! — услышал я слова незнакомца. — Он потерял много крови, но через месяц все заживет.

— Эй, вы, синьор! — крикнул мне мой вчерашний проводник, увидав, что я проснулся. — За двенадцать часов можно-таки было выспаться! Ну вот, Грегорио принес нам новости из Рима, которые, наверно, обрадуют вас. Это ведь вы наступили на сенаторский шлейф? Конечно, вы! Все обстоятельства сходны! Так вы испортили шкурку сенаторскому племяннику! Молодецкий выстрел!

— Он умер? — вот все, что я мог выговорить.

— Не совсем! — ответил незнакомец. — Да и вряд ли умрет на этот раз. По крайней мере, доктор ручается за него. Красавица синьора, что поет как соловей, всю ночь просидела у постели молодчика, пока, наконец, доктор не убедил ее, что она может быть спокойна, — опасности никакой.

— Вы промахнулись оба раза — ваши выстрелы не попали ни в его, ни в ее сердце! Так пусть эта парочка летит себе куда хочет, а вы оставайтесь с нами! Живется нам весело и вольготно! Вы заживете просто царьком, и опасности вам будет грозить не больше, чем вообще всем коронованным особам. Вина вдоволь, приключений и красавиц вместо одной, которая улетела, тоже! Лучше ведь пить из чаши жизни большими глотками, чем тянуть по капелькам!

«Бернардо жив! Я не убийца! Эта мысль вдохнула в мою душу новую жизнь, но не могла утешить меня в потере Аннунциаты. Спокойно и твердо ответил я незнакомцу, что они могут делать со мной, что хотят, но ни воспитание, ни воззрения мои не позволяют мне вступить с ними в иные отношения, кроме тех, к которым принудил меня случай.

— Ваше освобождение будет стоить по меньшей мере шестьсот скудо! — ответил он мрачно. — Они должны быть доставлены в течение шести дней, иначе вы наш — живой или мертвый! Ничто не поможет: ни ваше хорошенькое личико, ни моя симпатия к вам. Или мы получим за вас шестьсот скудо, или вам останется выбрать одно из двух: вступить в товарищество с нами или с теми, что целуются друг с другом вон там, в колодце. Напишите вашему другу или красавице певице! В сущности, они ведь обязаны вам: благодаря вам они объяснились! И они, конечно, с удовольствием внесут за вас этот ничтожный выкуп. Так дешево не отделялся от нас еще ни один наш постоялец! Подумайте! — прибавил он, смеясь. — Мы на свой счет доставили вас сюда, да будем кормить и поить целых шесть дней! Никто не скажет, что мы берем лишнее! — Я оставался непреклонным. — Упрямая голова! — сказал он. — Вот это я люблю и скажу это даже тогда, когда мне придется всадить тебе пулю в сердце! Но дивлюсь я тебе! Наша беззаботная жизнь должна привести в восхищение любого юношу, а ты еще вдобавок поэт, импровизатор — и вдруг не увлекаешься ею! Ну, а если бы я попросил тебя воспеть удаль и силу, гнездящиеся здесь, в скалах, разве ты не стал бы восхвалять эту самую жизнь, которую теперь отвергаешь? На! Выпей вина и покажи нам свое искусство, воспой удаль и силу! Коли угодишь нам, я накину тебе еще лишний денек сроку!

С этими словами он снял со стены гитару и протянул ее мне; все остальные разбойники приступили ко мне с той же просьбой. Я призадумался. Мне приходилось воспевать лес и горы, которых я, в сущности, совсем не знал; вчерашнее путешествие я совершил с завязанными глазами, а живя в Риме, я бывал только в пиниевых рощах, окружавших

виллу Боргезе да виллу Памфили. В детстве, правда, горы живо интересовали меня, но я видел их только издали, из хижины Доменики. Побывать же в них мне довелось только раз в жизни — в ту несчастную поездку на праздник цветов в Дженцано. В памяти моей живо воскресли лесной мрак и тишина, наш спуск к озеру Неми и плетение венков в тени высоких платанов. Душа моя прониклась этими картинами в одно мгновение, тогда как, чтобы только перечислить их, надобно вдвое больше времени. Я взял несколько аккордов, и мысли стали облекаться в слова, слова складываться в звучные стихи.

«В глубокой котловине лежит озеро, окруженное лесом и горами, поднимающими свои вершины к самым облакам. Высоко-высоко лепится орлиное гнездо. В гнезде сидит орлица и учит птенцов, как надо пользоваться мощными крыльями, как упражнять гордый взор, заставляя его смотреть прямо на солнце. «Вы цари птиц, взор ваш остер, когти мощны! Летите же из гнезда матери, мой взор будет следить за вами, и я воспою предсмертной лебединой песнью вашу удадь и силу!» Птенцы взвились из гнезда. Один уселся на ближайший выступ скалы и устремил гордый взор на солнце, словно желая вдохнуть в себя его пламя. Другой же смело взвился ввысь и принялся описывать большие круги над озером, отражавшим в себе, как в зеркале, лес и голубое небо. Почти на самой поверхности воды лежала неподвижно, словно камыш, огромная рыба. Как молния упал орел на добычу, вонзил ей в спину острые когти, и орлица-мать вся затрепетала от радости. Но силы птицы и рыбы были равны, острые же когти вонзились так глубоко, что выдернуть их было невозможно, и вот началась борьба. По тихому озеру заходили большие круги; на мгновение все успокоилось, широкие крылья неподвижно распростерлись на поверхности озера, точно лепестки лотоса, затем орел высоко взмахнул ими, раздался хруст, одно крыло погрузилось в воду, другое все еще бороздило и вспенивало ее; наконец, исчезло и оно: и рыба, и птица вместе пошли ко дну. Орлица испустила стенание и обратила взор на острый выступ скалы, куда сел другой птенец. Его уже там не было, но высоко-высоко в поднебесье увидела она черную точку, взвивавшуюся к самому солнцу; скоро точка потонула в сиянии его лучей. И сердце матери затрепетало от радости, и она воспела удадь и силу, достигшие величия лишь благодаря цели своего стремления».

Я кончил; меня приветствовали громкие рукоплескания, я же не мог оторвать взгляда от старухи, сидевшей в углу. В середине моей импровизации она вдруг бросила пряжу и устремила на меня свой пронзительный взор. Эти-то темные, огненные глаза еще живее и воскресили в моей памяти ту сцену из моего детства, которую я описывал. Когда я кончил, она встала и быстро подошла ко мне со словами:

— Ты выкупил себя своим пением! Звуки песни звонче бряцания золота! Я видела в твоём взоре звезду счастья еще тогда, когда рыба

и птица пошли вместе ко дну! Воспарь же к солнцу, смелый орел мой! Старуха останется в своем гнезде и будет радоваться за тебя! Никто не свяжет тебе крыльев!

— Мудрая Фульвия! — сказал, почтительно кланяясь старухе, разбойник, заставивший меня импровизировать. — Ты знаешь синьора? Ты уже раньше слышала его импровизацию?

— Я видела звезду в его взоре! — сказала она. — Видела невидимый луч, горящий в очах избранников счастья! Он плел венок, сплетет и еще более прекрасный, но не связанными руками!.. Через шесть дней ты хочешь застрелить моего орленка за то, что он не желает вонзить своих когтей в спину рыбы! Шесть дней он отдохнет здесь в гнезде, а затем взойдет к солнцу! — Она открыла маленький шкаф, вынула оттуда бумагу и собралась писать. — Чернила загустели, что сухая глина, но этой черной влаги и у тебя найдется вдоволь. Царапни-ка себе руку, Космо! Старая Фульвия заботится и о твоём счастье!

Разбойник молча взял нож, слегка надрезал кожу на руке и обмакнул перо в выступившую кровь. Старуха вручила перо мне и велела написать: «Я еду в Неаполь». — Подпишись внизу! — прибавила она.

— К чему все это? — услышал я недовольный шепот одного из младших разбойников.

— Что? Червяк подает голос? — сказала она. — Берегись, я раздавлю тебя пятой!

— Мы полагаемся на твою мудрость, матушка! — сказал старший. — Твоя воля — закон; в нем наше счастье!

Больше об этом не было и разговора. Опять началась веселая беседа, бутылка с вином заходила по рукам. Меня дружески потрепали по плечу и предоставили мне лучший кусок жареной дичи. Старуха опять уселась в угол и принялась за свою пряжу, а младший из разбойников начал раскладывать вокруг нее новый запас горящих углей, приговаривая: «Бабушка зазябла!» Как речи, так и имя ее подтвердили мне, что это та самая старуха, которая предсказала мне мою судьбу еще в детстве, когда я вместе с матушкой и Мариучией плел венки на берегу озера Неми. Я чувствовал, что моя судьба всецело в ее руках. Она заставила меня написать: «Я еду в Неаполь». Лучшего я и не желал, но как же я переберусь через границу без паспорта? Как я устроюсь в чужом городе, где никого не знаю? Беглецу из соседнего города рискованно ведь было выступать публично! Впрочем, я надеялся на мое знание языков и детски верил в благосклонность ко мне Мадонны. Даже мысль об Аннунциате возбуждала во мне теперь только какую-то тихую грусть, похожую на ту, что испытывает после крушения корабля шкипер, несущийся в утлом челноке к неведомому берегу.

День шел за днем; разбойники уходили и приходили; сама Фульвия уходила раз на целый день, и я оставался один на один с моим стра-

жем — молодым разбойником. Ему вряд ли было больше двадцати лет; черты лица его были грубы, но взгляд поражал своим грустным выражением, хотя порою и загорался диким огнем, как у зверя; длинные прекрасные волосы его падали на плечи. Долго сидел он молча, подперев голову рукой, потом обернулся ко мне и сказал:

— Ты умеешь читать; прочти мне какую-нибудь молитву из этой книги! — И он подал мне маленький молитвенник. Я начал читать; он внимательно слушал меня, и в его больших темных глазах светилось искреннее благоговейное чувство. — Отчего ты уходишь от нас? — сказал он затем, дружески протягивая мне руку. — И в городах царят обман и вероломство, как в лесу, но в лесу по крайней мере воздух чище — меньше людей!

Я, видимо, внушил ему некоторое доверие, и он разговорился со мною. Рассказ его не раз заставил меня и содрогнуться от негодования, и пожалеть молодого человека — он был так несчастен!

— Тебе, верно, знакомо сказание о князе Савелли? — начал он. — О веселой свадьбе в Ариччиа? Жених был простой бедняк, невеста тоже бедная девушка, но чудно хороша собою — вот и сыграли свадьбу. Знатный вельможа осчастливил невесту приглашением на танец, а потом назначил ей свидание в саду. Она открылась жениху; тот надел ее платье и венчальную фату и вышел на свидание. Когда же вельможа захотел прижать красавицу к своему сердцу, жених вонзил ему в грудь кинжал. Я тоже знавал такого вельможу и такого жениха, только невеста-то не была так откровенна: вельможа справил с нею свадьбу, а жених справил по ней поминки. Острый нож нашел дорогу к ее сердцу, трепетавшему в белой как снег груди!

Я молча смотрел ему в глаза, не находя слов сочувствия.

— Ты думаешь, что я никогда не знавал любви? Никогда не впивал в себя, как пчела, ее душистого меда? — продолжал он. — Однажды в Неаполь ехала знатная англичанка с красавицей дочерью; на щеках ее цвели розы, в глазах горел живой огонь. Товарищи мои заставили их выйти из кареты и смирно лежать на земле, пока шел грабеж их пожитков. Затем мы увели к себе в горы обеих женщин и молодого человека — возлюбленного девушки, как я полагаю. Его мы привязали к дереву. Молодая девушка была хороша собою, была невеста... я тоже мог разыграть роль князя Савелли!.. Когда был прислан выкуп за всех троих — румянец уже не играл на щеках девушки, огонь в очах потух!.. Должно быть, оттого, что в горах мало света! — Я отвернулся от него, а он прибавил полуоправдывающимся тоном: — Девушка была ведь не христианка, а протестантка, дочь Сатаны!.. Долго сидели мы оба молча. — Прочтите мне еще молитву! — сказал он наконец. Я исполнил его просьбу.

Под вечер вернулась Фульвия и вручила мне письмо, но не позволила прочесть его сейчас же.

— Горы закутались в свой мокрый плащ; пора тебе улететь отсюда. Ешь и пей; нам предстоит долгий путь, а на голых скалах не растет лепешек! — прибавила она.

Молодой разбойник поспешно поставил на стол кушанье; я поел. Фульвия набросила на себя плащ и повлекла меня за собою по темным узким переходам пещеры.

— В письме этом твои крылья! — сказала она. — Ни один солдат пограничной стражи не помнет тебе перышков, мой орленок! У тебя в руках очутится и волшебный жезл, который снабдит тебя золотом и серебром, пока у тебя не будет своих собственных сокровищ! — Она раздвинула голыми худыми руками густую завесу плюща, и мы вышли на волю; кругом стояла непроницаемая тьма; горы были окутаны сырým туманом. Я крепко держался за плащ старухи и едва поспевал за нею; несмотря на почти непроходимую дорогу и темноту, она неслась вперед словно дух. Кусты, шурша, раздвигались на обе стороны. Так шли мы несколько часов кряду и, наконец, очутились в узкой лощине между горами; тут стоял соломенный шалаш, какие часто попадаются в болотах: стен нет, одна крыша из тростника и соломы, спускающаяся до самой земли. Сквозь щель в низенькой двери виднелся свет. Мы вошли в шалаш, напоминавший большой улей; все внутри было закопчено дымом — ему был один выход в дверь. Столбы, балки и самая солома лоснились от покрывавшей их сажи. Посреди пола был небольшой глиняный очаг; на нем варилось кушанье, он же служил и для отопления шалаша. В задней стене виднелось отверстие, которое вело в следующий шалаш, поменьше, словно приросший к большому, как маленькая луковка к более крупной. Во втором шалаше спала на полу женщина с ребятами; возле них стоял осел и глазел на нас. К нам вышел полуголый старик в одних разорванных штанах из козьей шкуры. Он поцеловал руку Фульвии и, не обменявшись с нами ни словом, набросил на голые плечи тулуп, подвел ко мне осла и знаком пригласил меня сесть на него.

— Конь счастья понесет тебя впоследствии быстрее, чем осел Кампаньи! — сказала мне Фульвия.

Старик вывел осла из хижины. Сердце мое было переполнено благодарностью к этой странной старухе; я хотел было поцеловать у нее руку, но она отрицательно покачала головой и, откинув мне со лба волосы, приложилась к нему холодными устами. Потом она махнула нам рукой, и скоро мы скрылись от нее за кустами. Старик погонял осла кнутом и сам бежал взапуски рядом. Я заговорил с ним; он издал какой-то тихий звук и знаками объяснил мне, что он немой. Мне не терпелось узнать содержание письма, которое дала мне Фульвия; я достал его и вскрыл конверт. В нем было несколько листков, но, как я ни напрягал зрение, не мог разобрать ни единого слова — было совсем еще темно. На рассвете мы достигли вершины горного хребта; кругом был один голый



гранит, кое-где обвитый ползучими растениями. В ясном небе горели звезды; под нами плавал какой-то призрачный мир тумана. Он подымался с Понтийских болот, которые тянутся от самых Альбанских гор между Веллетри и Террачиной и ограничены Аbruццкими горами с одной и Средиземным морем с другой стороны. Вот плывшие внизу облака засияли, и скоро голубое небо приняло фиолетовую окраску, перешедшую затем в розовую; горы стали отливать светло-голубым бархатом; я был просто ослеплен этой роскошью красок. На скате горы светился, словно звездочка, огонек. Я сложил руки на молитву; моя душа обратилась к Богу в этом великом храме природы, и я тихо прошептал:

— Да будет воля Твоя надо мною!

Теперь было уже довольно светло, и я мог приняться за письмо. В конверте оказался паспорт, выданный на мое имя римской полицией и завизированный неаполитанским посланником, затем чек на пятьсот скудо на неаполитанский банкирский дом Фальконета и, наконец, записочка, содержащая всего несколько слов: «Бернардо вне опасности, но не возвращайтесь в Рим по крайней мере несколько месяцев».

Фульвия была права: в этом письме были и крылья, и волшебный жезл. Я был свободен! Вдох облегчения и признательности вырвался из моей груди. Скоро мы выехали на более сносную дорогу и увидели нескольких завтракавших в поле пастухов. Проводник мой остановил осла; пастухи, казалось, знали старика; он объяснился с ними знаками, и они пригласили нас разделить их трапезу — хлеб и сыр, которые они запивали ослиным молоком. Я закусил немножко и почувствовал себя уже достаточно подкрепленным, чтобы продолжать путь. Затем старик указал мне тропинку, а пастухи объяснили, что она идет до городка Террачина, куда я мог добраться сегодня же к вечеру. Мне следовало только держаться этой тропинки, оставляя горы влево; через несколько часов я должен был увидеть канал, который идет от гор к большой дороге, обсаженной деревьями; их я увижу еще раньше, как только рассеется туман. Держась же канала, я выйду на дорогу, к бывшему монастырю, который теперь превращен в гостиницу «Torre di tre Ponte».

Охотно одарил бы я чем-нибудь своего проводника за его услугу, но у меня ничего не было. Вдруг я вспомнил о своих двух скудо, бывших у меня в кармане, когда я бежал из Рима; я ведь отдал разбойникам только кошелек с деньгами, сунутый мне в карман воспитательницей Аннунциаты. Один из двух скудо я хотел отдать проводнику, а другой решил сохранить на свои надобности; ведь только в Неаполе могу я воспользоваться своим чеком. Я полез в карман, но тщетно шарил в нем: его давно уже очистили! Итак, у меня не было ни гроша. Я снял с шеи шелковый платок, отдал его старику, пожал руки остальным и один направился по указанной мне тропинке к болотам.

Часть вторая

ПОНТИЙСКИЕ БОЛОТА. ТЕРРАЧИНА. СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. РОДИНА ФРА-ДИЯВОЛО. АПЕЛЬСИНОВАЯ РОЩА У МОЛА-ДИ-ГАЭТА. НЕАПОЛИТАНКА. НЕАПОЛЬ

Многие представляют себе Понтийские болота сырой, грязной пустыней, покрытой стоячей водой, словом, крайне печальною дорогой. Напротив, они скорее похожи на роскошные долины Ломбардии и даже еще превосходят последние своей богатой растительностью; подобной не сыщешь во всей Северной Италии. Вообще трудно даже представить себе дорогу удобнее той, что пролегает через болота; это чудесная аллея, обсаженная липами, дающими густую тень. По обе же стороны ее расстилается бесконечная равнина, поросшая высокой травой и сочными болотными растениями. Ее изрезывают каналы, впивающие в себя воду из множества раскиданных по равнине болот, прудов и озер, поросших тростником и широколиственными кувшинками. Налево — если едешь из Рима — возвышаются Аbruцкие горы, на которых раскинулись маленькие города; белые стены домов резко выделяются на сером фоне скал, будто горные замки. Направо же зеленая равнина простирается до самого моря, и в той стороне виднеется утес Цицелло — прежний остров Цирцеи, возле которого, согласно преданию, потерпел крушение Одиссей.

Туман мало-помалу редел и открывал зеленую равнину, на которой блестяли, точно холсты, разостланные по лугам для беленья серебристые каналы. Солнце так и палило, хотя и было только начало марта. В высокой траве бродили стада буйволов, бегали табуны лошадей; резвые кони то и дело брыкались задними ногами, так что из топкой почвы высоко летели вверх водяные брызги. Забавные позы и шаловливые прыжки животных так и просились на полотно художника. Налево от меня подымался целый столб густого черного дыма; это пастухи зажгли костер, чтобы очистить воздух

возле своих хижин. Мне встретился крестьянин; желтое, болезненное лицо его составляло резкий контраст с окружающей пышной растительностью. На своем черном коне он казался просто мертвецом; в руках у него было что-то вроде копья, которым он сгонял в кучу рассыпавшихся по болоту буйволов. Некоторые из них лежали прямо в грязи, высунув из нее только безобразные морды со злыми глазами. По краям дороги попадались также трех- и четырехэтажные дома — почтовые станции; их стены тоже свидетельствовали о ядовитости болотных испарений: все они сплошь были покрыты густой плесенью. И на зданиях, как и на людях, лежал тот же отпечаток гнилости, что представляло такой резкий контраст с богатой, свежей растительностью и живительной теплотой солнца. Мое болезненное настроение заставило меня увидеть в этой картине живое изображение лживости и бренности земного счастья на земле. Да, человек почти всегда смотрит на жизнь и природу сквозь очки душевного настроения; если очки из черного стекла — все рисуется ему в черном свете, если из розового — в розовом. Приблизительно за час до «Ave Maria» я, наконец, оставил болота позади себя. Желтоватые кряжи гор становились все ближе и ближе, а как раз перед ними лежал и городок Террачина, отличающийся чудной, богатой природой. Недалеко от дороги росли три высокие пальмы, покрытые плодами; огромные фруктовые сады покрывали скаты гор, словно бесконечные зеленые ковры, усеянные миллионами золотых блесток; это были апельсины и лимоны, под тяжестью которых ветви деревьев пригибались к самой земле. Перед крестьянским домиком, стоявшим у дороги, была навалена целая груда лимонов, точно сбитых с деревьев каштанов. В ущельях росли дикие темно-красные левкой и розмарин; ими же была одета вершина скалы, где находятся великолепные развалины замка короля остготов Теодориха.

Развернувшаяся предо мною картина просто ослепила меня, и я вошел в Террачину молча, в самом созерцательном настроении духа. Тут я впервые увидал море, чудное Средиземное море. Это было само небо, только чистейшего ультрамаринового цвета; ему, казалось, не было границ. Вдали виднелись островки, напоминавшие чудеснейшие фиолетовые облачка. Увидел я вдали и Везувий, испускавший синеватые клубы дыма, стелившегося над горизонтом. Поверхность моря была недвижна и гладка, как зеркало; только у берега, где я стоял, был замечен сильный прибой; большие волны, прозрачные и чистые, как самый эфир, с шумом набегали на берег и будили эхо в горах.

Я стоял как вкопанный, не в силах оторвать взгляда от чудного зрелища. Казалось, и плоть, и кровь мои — все физическое в моем существе перешло в духовное, я как будто отделился от земли и витал в пространстве между этими двумя небесами: безграничным морем снизу и небом сверху. Слезы бежали по моим щекам.

Неподалеку от того места, где я стоял, находилось большое белое здание; морской прибой достигал до его фундамента. Нижний этаж фа-

сада, выходявшего на улицу, представлял один свод, под который ставились экипажи проезжих. Это была гостиница, самая большая и лучшая на всем пути от Рима до Неаполя.

В горах слышалось эхо от шелканья бичом; скоро к гостинице подкатила карета, запряженная четверкой лошадей. На заднем сиденье, за каретой, помещалось несколько вооруженных слуг. Внутри же, развалясь, восседал бледный, худой господин в широком пестром халате. Кучер соскочил с козел, шелкнул бичом еще раза два и запряг в карету свежих лошадей. Проезжий иностранец хотел немедленно продолжать путь, но так как он требовал конвоя, без которого небезопасно было ехать через горы, укрывавшие немало смелых последователей Фра-Диаволо и других разбойников, то ему пришлось подождать с четверть часа. Он принялся браниться, перемешивая английские слова с итальянскими, и проклинать леность народа и мытарства, выпадающие на долю путешественника; затем свернул из своего носового платка ночной колпак, напялил его на голову, развалился к углу кареты, закрыл глаза и, казалось, примирился со своею участью.

Я узнал, что это был англичанин, который в десять дней объехал всю Северную и Среднюю Италию и таким образом ознакомился со страной, в один день изучил Рим и теперь направлялся в Неаполь, чтобы побывать на Везувии и затем уехать на пароходе в Марсель, — он собирался также познакомиться с Южной Францией, но в еще более краткий срок, нежели с Италией. Наконец явились восемь вооруженных всадников, кучер защелкал бичом, и карета и всадники исчезли за воротами.

— И все-таки он, со всем своим конвоем и вооружением, далеко не так безопасен, как мои иностранцы! — сказал, похлопывая бичом, стоявший возле гостиницы невысокий, коренастый веттурино. — Эти англичане страсть любят разъезжать. И вечно в галоп! Редкостные птицы! Santa Philomena di Napoli!

— А у вас много иностранцев в карете? — спросил я.

— По одному в каждом углу! — ответил он. — Значит, четверо! А в кабриолете только один. Коли синьору хочется в Неаполь, так вы можете быть там послезавтра, когда солнышко еще будет освещать верхушки Сан-Эльмо.

Мы сговорились, и я тут же был выведен из неловкого положения, в которое ставило меня полное неимение наличных денег.

— Вы, конечно, хотите взять с меня задаток, синьор?¹ — спросил веттурино, вертя в руках монету в пять паоло.

¹ Веттурино не платят вперед за проезд, а напротив, с него берут задаток, чтобы быть уверенным в его честности; он же заботится и о продовольствии, и о приюте на ночь для своих пассажиров. Все эти расходы оговариваются заранее и затем включаются в общую плату.

— Нет, только позаботься для меня о хорошем столе и ночлеге! — ответил я. — Так мы едем завтра?

— Да, если это будет угодно святому Антонио и моим лошадам! — сказал он. — Выедем мы часов около трех утра. Нам ведь придется проехать через две таможни и три раза предъявлять бумаги, завтрашний путь самый тяжелый! — С этими словами он приложился к козырьку фуражки, кивнул мне и ушел.

Мне отвели комнатку, выходящую в сад; в окна врывался свежий ветерок и доносился гул морского прибоя. Как вся эта картина ни была не похожа на Кампанью, необъятная равнина морская невольно заставила меня вспомнить огромную пустыню, в которой я жил со старой Доменикой. Теперь я очень сожалел, что редко навещал старушку, сердечно любившую меня. По правде-то сказать, она одна и любила меня искренно. Конечно, меня любили и Есселенза и Франческа, но совсем иначе. С ними связывали меня их благодеяния, но в тех случаях, когда облагодетельствованный не может воздать благодетелю, между ними всегда образуется как бы пропасть, которая хотя и может с годами слегка прикрыться вереском признательности, все-таки никогда не зарастает совершенно. При воспоминании о Бернардо и Аннунциате я почувствовал на губах соленую влагу, но откуда она взялась — из глаз ли моих, или ее принес ветер с моря? Прибой осыпал брызгами даже стены дома.

На следующее утро, еще до зари, я сел в карету веттурино и вместе с остальными пассажирами покинул Террачину. На рассвете нас остановили у границы. Все вышли из кареты; наши паспорта подверглись проверке. Теперь только я мог разглядеть своих спутников. Один из них, белокурый, голубоглазый господин лет тридцати с небольшим, привлек мое внимание. Где-то я видел его раньше, но где именно, как ни старался, припомнить не мог. По разговору его я заключил, что он иностранец.

Проверка паспортов сильно задержала нас, и немудрено: большинство паспортов были иностранные, и солдаты не могли ничего разобрать в них. Интересовавший меня иностранец вынул в это время альбом с чистыми страницами и принялся набрасывать туда карандашом вид окружавшей нас местности: две высокие башни, ворота, через которые проходила столбовая дорога, живописные пещеры, находившиеся неподалеку, и на заднем плане маленький городок. Я подошел к художнику, и он обратил мое внимание на коз, живописно сгруппировавшихся в одной из самых больших пещер. Вдруг все они встрепенулись. Связка сухих прутьев, затыкавшая одно из меньших отверстий, служившее выходом, была вынута, и козочки попарно стали выпрыгивать оттуда, — живая картина выхода животных из Ноева ковчега! Пастушок был совсем еще маленький крестьянский мальчик в очень живописном наряде: маленькая остроконечная шляпа, обвитая шерстяной лентой, разорванные чулки, сандалии и коротенький коричневый плащ, красиво переброшенный через плечо. Козы принялись прыгать меж-

ду невысокими кустами, а мальчик остановился на выступе скалы, торчавшем над пещерой, и посматривал на нас всех и на художника, который в это время срисовывал его и всю картину.

— Maledetto! — донесся до нас возглас веттурино, и затем мы увидели его самого, бежавшего к нам со всех ног. Оказалось, что в одном из паспортов «что-то неладно». Верно, в моем! И вся кровь хлынула мне в лицо. Иностранец же принялся бранить бестолковых солдат, не умеющих читать, и затем мы все трое отправились в одну из башен, где нашли шестерых солдат, чуть не лежавших на столе, на котором были разложены наши паспорта. Солдаты разбирали их по складам.

— Кого из вас зовут Фредериком? — спросил старший из солдат.

— Меня! — ответил иностранец. — Меня зовут Фредерик, а по-итальянски Федерико.

— Значит, Федерико Six?

— Да нет же! Это имя моего государя!

— А, вот что! — сказал солдат и медленно стал читать: «Frederic Six par la grace de Dieu Roi de Danemark, des Vandales, des Gothes etc...» Что? Что? — прервал он сам себя. — Разве вы вандал? Ведь это же варварский народ?

— Да! — смеясь, отвечал иностранец. — Я варвар и приехал в Италию цивилизоваться. Внизу написано и мое имя. Меня, как и моего государя, зовут Фредерик, или Федерико.

— Это англичанин! — сказал один из писцов.

— Нет! — возразил другой. — Ты вечно путаешь нации. Читай — он с севера; значит — русский!

Федерико, Дания — эти имена осветили мою память, как молнией. Да ведь это же друг моего детства, матушкин жилец, который водил меня в катакомбы, подарил мне свои прекрасные серебряные часы и рисовал мне чудесные картинки!

Паспорт оказался в порядке; солдаты вполне убедились в этом, получив от художника паоло, который он сунул им, чтобы они поскорее отпустили нас.

Выйдя из башни, я сейчас же объяснился с иностранцем. Да, я не ошибся, это был тот самый датчанин, Федерико, который квартировал у нас с матушкой. Он очень обрадовался нашей встрече и назвал меня «своим маленьким Антонио». Мы оба осыпали друг друга вопросами, нам столько надо было сообщить друг другу, и Федерико попросил моего соседа поменаться с ним местами. Усевшись рядом со мной, он еще раз пожал мне руку и затем принялся расспрашивать меня.

Я вкратце рассказал ему о моем житье-бытье с самого водворения моего в Кампанию и до поступления в аббаты, а затем, обходя молчанием последние события, прибавил:

— Теперь же я еду в Неаполь.

Федерико хорошо помнил данное мне им в последнее наше свидание слово свезти меня в Рим на денек. Не сдержал же он его потому, что вскоре получил письмо с родины, принудившее его к немедленному отъезду. Во время пребывания на родине любовь его к Италии разгоралась между тем с каждым годом все сильнее и сильнее и, наконец, заставила его опять направиться сюда.

— И вот только теперь я воистину наслаждаюсь жизнью! — прибавил он. — Я упиваюсь этим дивным воздухом и радостно приветствую каждое знакомое мне местечко! Здесь моя истинная родина, здесь все блещет красками, пластичностью форм! Италия в этом смысле — благодатный рог изобилия!

Быстро летело время в обществе Федерико; я даже не заметил долгой остановки в таможне в Фонди. Федерико был мастер ловить штрихи прекрасного во всем и был для меня вдвойне дорогим и интересным товарищем; мое наболевшее сердце нашло в нем ангела-утешителя.

— Вон лежит мой грязный Итри! — вдруг вскричал он, указывая на расстилавшийся перед нами городок. — Ты, пожалуй, не согласишься, Антонио, что у себя, на севере, где улицы так чисты, правильно расположены, я иногда просто скучал по такому вот грязному итальянскому городишке! Они так характерны, так милы сердцу художника! Эти узкие, грязные улицы, серые закопченные каменные галереи, завешанные чулками и нижними юбками, окошки — одно повыше, другое пониже, одно маленькое, другое большое, лестницы в четыре, пять аршин высоты, ведущие к дверям, на пороге которых сидит какая-нибудь матрона с веретеном, лимонные деревья, перекидывающие через стену свои большие золотые плоды, — все это так и просится на полотно! А наши образцовые улицы, где дома стоят в струнку, словно солдаты, где каждая лестница, каждый выступ сделаны по линейке, — куда они годятся!

— Вот родина Фра-Диаволо! — закричали другие пассажиры, когда мы проезжали по узкому, грязному Итри, который так нравился Федерико. Городок этот расположен высоко на скале, возвышающейся над глубокой пропастью. Главная улица была местами до того узка, что двум повозкам и не разъехаться было. В большинстве домов первые этажи были совсем без окон; вместо последних в стенах были пробиты огромные широкие ворота, через которые виднелся двор, напоминавший какой-то темный погреб. Всюду попадались грязные ребятишки и женщины, протягивавшие руки за подающим. Женщины смеялись, а ребятишки визжали и передразнивали нас. Нечего было и думать высунуть голову из окна кареты — живо прищемил бы ее между экипажем и выступавшими вперед стенами домов. Некоторые балконы выдавались на самую середину улицы и помещались так высоко, что мы как будто проезжали по сводчатой галерее. По обе стороны виднелись только черные стены, закопченные дымом.

— Чудесный городок! — говорил Федерико, хлопая в ладоши.

— Разбойничье гнездо! — сказал веттурино, когда мы выехали за город. — Половину населения полиция перевела в другой город, а сюда переселила новых жителей, да толку не вышло. На этой почве только и растут одни плевелы. Впрочем, и этим беднякам надо ведь жить чем-нибудь!

Расположение городка на большой дороге между Римом и Неаполем в самом деле располагало к развитию в жителях хищнических наклонностей — было где устраивать засады: кругом оливковые рощи, горные пещеры, остатки каменных стен и другие руины. Федерико обратил мое внимание на одиноко возвышавшуюся в поле гигантскую гробницу, обросшую ползучими растениями. Это была могила Цицерона; здесь настиг беглеца кинжал убийцы, здесь замолкли навек красноречивые уста.

— Веттурино свезет нас в его виллу в Мола-ди-Гаэта! — сказал Федерико. — Там теперь лучшая гостиница, а вид из нее открывается такой, что поспорит с панорамой Неаполя.

Очертания гор были удивительно живописны; растительность роскошна. Теперь мы ехали по густой липовой аллее и, наконец, остановились перед упомянутой гостиницей. Официант с салфеткой в руках уже ожидал нас на широкой лестнице, уставленной статуями и цветами.

— Eccellenza, вы ли это! — воскликнул он, помогая выйти из кареты какой-то полной даме. Я посмотрел на нее: красивое, очень красивое лицо, черные как смоль волосы и огненные глаза ясно обнаруживали неаполитанку.

— Увы! Я! — ответила она. — Я только с одной горничной вместо провожатого. Ни одного из слуг я не взяла с собою. Что вы скажете о подобной храбрости? — С усталым, страдальческим видом бросилась она на диван, подперла щеку беленькой, пухленькой ручкой и принялась пробегать глазами карту кушаний. — Brodetto, Cipolette, Facioli... Вы ведь знаете, что мне не нужно супа. Не то я наживу себе фигуру, что твой Castello dell' ovo!»¹ Кусочек animelle dorate² и немножко салата — вот и довольно с меня. Мы ведь успеем к ужину в Санта-Агата. Ах, теперь мне дышится легче! — продолжала она, развязывая ленты своего чепчика. — Здесь уже веет неаполитанским воздухом! О, bella Napoli! — С этими словами она распахнула дверь на балкон, выходивший в сад, широко распростерла руки и стала жадно впивать в себя воздух.

— Разве уже виден Неаполь? — спросил я.

— Нет еще! — ответил Федерико. — Но отсюда видно царство Гесперид, волшебный сад Армиды.

Мы вышли на каменный балкон. Что за роскошь, превосходящая всякую фантазию! Под нами расстилалась роща из апельсиновых и лимонных деревьев, осыпанных плодами; ветви деревьев склонялись под

¹ Один из неаполитанских замков.

² Баранина, приготовленная особым образом. — Примеч. перев.

тяжестью своей золотой ноши к самой земле. Вокруг всего сада шли кипарисы, спорившие высотой с тополями Северной Италии; зелень их казалась еще темнее в сравнении с ясным, небесно-голубым морем, растилавшимся позади них. Прибой достигал развалин древних терм и храмов, находившихся по ту сторону низенькой каменной ограды сада. Корабли и лодки, окрыленные белыми парусами, скользили по спокойному заливу, возле которого раскинулась Гаэта¹. Из-за города виднелся небольшой утес с развалинами на самой вершине. Взор мой был ослеплен этою очаровательной картиной.

— А видишь, вон там курится Везувий! — прибавил Федерико, указывая налево, где горы группировались словно облака, отдыхавшие на дивно прекрасном море.

Я, как дитя, восхищался чудным зрелищем; Федерико разделял мой восторг. Нас потянуло сойти вниз, под тень апельсиновых деревьев, и там я принялся целовать висевшие на ветвях золотые плоды, подбирая с земли упавшие и подбрасывал их кверху, любуясь игрою этих золотистых шариков, мелькавших в темно-голубом воздухе над лазурным морем.

— Чудная Италия! — восторгался Федерико. — Да, вот такую именно ты и рисовалась мне на дальнем севере. Я ежеминутно вспоминал твой аромат, который теперь впиваю при каждом дуновении ветерка!.. Глядя на наши ивы, я думал о твоих оливковых рощах, любуясь золотистыми яблоками в саду датского крестьянина, близ благоухающего клеверного поля, мечтал о твоих апельсиновых рощах! Но зеленоватые волны нашего моря никогда не играют такую лазурью, как Средиземное море! Северное небо никогда не стоит так высоко, никогда не тешит глаз такой роскошью красок, как дивное теплое южное небо. — Радость его переходила в вдохновение, речь дышала поэзией. — Как я тосковал на родине! — продолжал он. — Да, тот, кто никогда не видел рая, куда счастливее того, кто побывал там и затем удалился из него навсегда! Моя родина прекрасна. Дания — цветущий сад, который может поспорить красотой со всем, что есть по ту сторону Альп. В ней есть буковые леса и море. Но что значит земная красота в сравнении с небесной! Италия — страна фантазии, царство красоты. Вдвойне счастлив тот, кто приветствует тебя во второй раз! — И он, как и я, целовал золотистые апельсины, а слезы так и текли у него по щекам. Он крепко обнял меня, и его горячие губы прикоснулись к моему лбу.

Тут мое сердце открылось для него; он ведь был не чужой мне, был другом моего детства. Я и рассказал ему о последних событиях моей жизни, и на сердце у меня стало как-то легче, когда я громко назвал имя Аннунциаты, излил все горе, тяготившее мою душу. Федерико выслушал меня с сердечным, истинно дружеским участием. Я рассказал ему также и о моем

¹ Город, названный по имени похороненной здесь Энеем кормилицы его.

бегстве, о приключении в разбойничьей пещере, о Фульвии и о том, что я знал о здоровье Бернардо. Он протянул мне руку, и его голубые глаза с таким участием заглянули мне, казалось, в самую душу. Вдруг до нас долетел из ближайших кустов подавленный вздох. Мы оглянулись, но за высокими лавровыми деревьями и отягощенными плодами апельсиновыми ветками ничего не было видно. Можно было отлично притаиться за ними и подслушать все, что я рассказывал, — об этом я и не подумал. Мы раздвинули ветви и увидели на скамье, у самого входа в развалины купальни Цицерона, прекрасную неаполитанку, всю в слезах.

— Ах, молодой человек! — произнесла она. — Я, право, не виновата! Я уже сидела тут, когда вы пришли сюда с вашим другом. Здесь так свежо, прохладно, вы говорили так громко, что я и не заметила, как прослушала почти весь ваш разговор. Тогда только я сообразила, что он не предназначался для ушей посторонних... Вы глубоко тронули меня!.. Не сердитесь же на непрошеную свидетельницу! Я буду нема, как мертвая!

Я смущенно поклонился незнакомой даме, которая таким неожиданным образом оказалась посвященной в тайну моего сердца. Когда мы остались одни, Федерико принялся успокаивать меня, говоря, что никто не может знать, к чему этот случай поведет.

— Что же до меня, то я фаталист, настоящий турок! — прибавил он. — Да и кроме того, ты поверял мне ведь не какую-нибудь государственную тайну! В тайнике каждого человеческого сердца найдутся подобные печальные воспоминания. Может быть, в твоей истории синьора слышала историю собственной молодости. Я по крайней мере так думаю; люди редко бывают тронуты до слез страданиями ближнего, если они не задевают подобных же струн их собственного сердца. Все мы эгоисты, даже в величайших своих страданиях и скорбях.

Мы опять уселись в карету и покатили. Природа вокруг становилась все роскошнее; широколиственные алоэ в рост человека окаймляли дорогу густой изгородью. Большие плакучие ивы, казалось, целовали низко опущенными колеблющимися ветвями свою собственную тень на земле.

Незадолго до солнечного заката мы переправились через реку Гарильяно, на которой прежде лежал город Минтурна; увидел я и желтую Лири¹, поросшую тростником, как и в те времена, когда Марий скрывался здесь от жестокого Суллы. Но до деревушки Санта-Агата было еще далеко. Стемнело; синьора начала опасаться нападения разбойников и беспрестанно выглядывала в окно — не собирается ли кто-нибудь отрезать наши чемоданы, привязанные позади кареты. Тщетно хлестал лошадей и бранился наш веттурино; темнота надвигалась быстрее, чем бежали лошади. Наконец мы завидели перед собою свет — мы были в Санта-Агата.

¹ Название реки. — *Примеч. перев.*

За ужином синьора была удивительно молчалива, но от меня не ускользнуло, что взор ее не отрывался от меня. На следующее утро, когда я спустился в общую залу, чтобы напиться кофе, она приветливо направилась мне навстречу. Мы были одни. Она протянула мне руку и ласково сказала:

— Вы не сердитесь на меня? Мне просто стыдно перед вами, а между тем все это вышло с моей стороны совершенно нечаянно. — Я поспешил успокоить ее, заверяя, что питаю неограниченное доверие к ее скромности. — Да ведь вы меня совсем еще не знаете! — сказала она. — Но мы, конечно, можем познакомиться. Может быть, муж мой будет вам чем-нибудь полезен в этом большом, чужом для вас городе. Вы должны навестить нас! У вас, вероятно, нет здесь знакомых, а молодому человеку так легко наделать промахов, вступая в новое общество. — Я от всего сердца поблагодарил ее за ее участие, которое трогало меня. Да, повсюду можно встретить добрых людей! — Неаполь опасный город! — продолжала она, но тут вошел Федерико, и наша беседа прервалась.

Скоро мы опять сидели в карете; стекла были опущены; все мы успели ближе познакомиться друг с другом и теперь радовались, приближаясь к общей цели наших стремлений, к Неаполю. Федерико восхищался живописными группами поселян, то и дело попадавшимися нам навстречу: верхом на ослах ехали крестьянки, накинув на головы подолы своих красных юбок и придерживая у груди малюток; некоторые же везли ребятишек постарше в корзинках, подвешенных сбоку осла; встречались и целые семейства на одной лошади. Особенно хороша была одна группа, будто сошедшая с одной из чудных жанровых картинок Пиньяли: жена сидела позади мужа, положив руку и голову на его плечо и, казалось, спала, а впереди мужа сидел их маленький сын и играл кнутиком. Небо было серо; накрапывал дождичек; не видно было ни Везувия, ни Капри. На поле, обсаженном высокими фруктовыми деревьями и тополями, вокруг которых обвивались виноградные лозы, пышно зеленели хлеба.

— Видите? — сказала мне синьора. — Наша Кампанья — накрытый стол, уставленный и хлебом, и вином, и фруктами. А скоро вы увидите и наш веселый город, и чудное море.

К вечеру мы прибыли в Неаполь. Вот и роскошная улица Тоledo; точно наша Корсо: ярко освещенные магазины, столы на тротуарах, заваленные апельсинами и финиками и освещенные лампами и разноцветными фонариками. Вся улица, с ее бесчисленными огоньками, казалась усыпанною звездами. По обе стороны шли высокие дома с балконами перед каждым окошком. На балконах стояли дамы и мужчины, как будто здесь все еще шел веселый карнавал. Одна карета пересекала дорогу другой. Вот лошади застучали подковами по мостовой, вымощенной кусками лавы. Навстречу стали попадаться маленькие двухколесные кабриолетки; пять-шесть человек помещались в тесном кузовке экипажа, сзади прицепились несколько

оборванных мальчишек, а внизу, в сетке, привольно покачивался полунагой лаццарони; и всю эту компанию везла одна лошадь, да еще вдобавок вскачь. Перед домом на углу был разложен костер; двое полунагих парней в одних купальных панталонах и застегнутых на груди на одну пуговицу куртках лежали у огня и играли в карты. Раздавались звуки шарманок, женщины напевали, все кричали, все бегали и суетились — и военные, и греки, и турки, и «инглези». Меня как будто перенесли в совершенно иной мир. Тут жизнь кипела южным весельем, какого я еще не знал. Синьора хлопала в ладоши, приветствуя свой веселый Неаполь. Да, Рим был могилою в сравнении с ее смеющимся городом!

Мы свернули на площадь Ларго дель Кастелло; тот же шум, то же оживление. Кругом освещенные театры; у входов разноцветные афиши и картины, изображавшие главные сцены дававшихся здесь пьес. На высоких подмостках шумело целое семейство паяцев: жена зазывала публику, муж трубил, а меньшой ребенок хлестал обоих большим кнутом; маленькая же лошадка сидела на задних ногах и «читала» раскрытую перед нею книгу. Посреди толпы сидевших на корточках матросов стоял какой-то человек, размахивавший руками. Это был импровизатор. Высокий старик читал вслух обступившей его толпе «Неистового Орланда», — как мне сказали. В то время как мы проезжали мимо, слушатели принялись шумно аплодировать ему.

— Везувий! — вскричала синьора, и я увидел в конце площади, за маяком, Везувий, подымавший к небу свою дымящуюся вершину. Из боковой расщелины кратера струилась, словно поток крови, огненная лава. Над вершиной горы стояло облако, освещенное заревом лавы. Но все это я видел лишь одну минуту: карета пересекла площадь и подъехала к гостинице «Каза Тедеска». Неподалеку стоял театр марионеток; напротив возвышался другой, поменьше, перед которым прыгал, свистел, хныкал и произносил забавные речи пульчинель. Кругом стон стоял от смеха. Мало кто обращал внимание на монаха, проповедовавшего со ступеней каменной лестницы на другом углу. Коренастый старик, похожий с виду на шкипера, стоял подле него с распятием в руках. Монах сверкающими глазами смотрел на деревянных марионеток, которые отвлекали внимание толпы от его речи.

— Разве так проводят дни, посвященные Богу! — восклицал он. — Нам следует истязать свою плоть, посыпать главы пеплом! А вы словно справляете карнавал! Вечно справляете карнавал — и днем и ночью, изо дня в день, из года в год, пока вас не пожрет преисподняя! Там вы будете ныть, там вы будете зубоскалить, плясать и праздновать, терзаемые вечными муками!

Он возвышал голос все сильнее и сильнее; мягкое неаполитанское наречие ласкало мой слух, как звучные стихи; слова лились мелодической волной. Но по мере того как возвышал свой голос монах, кричал все громче и пульчинель, удваивая старания насмешить толпу. Тогда пропо-

ведник, в порыве бешенства, выхватил из рук старика распятие и ринулся с ним в толпу, восклицая:

— Вот вам настоящий пульчинель! На Него смотрите! Его слушайте, если у вас есть глаза и уши! Кирие элейсон! — Победенная видом святыни толпа сразу поверглась на колени с криком: «Кирие элейсон!» Сам содержатель театра марионеток спрятал своего петрушку. Пораженный всей этой сценой, я стоял возле кареты как вкопанный.

Федерико отыскал для синьоры экипаж, она протянула ему в знак благодарности руку, меня же крепко обняла и обожгла поцелуем, прошептав: «Добро пожаловать в Неаполь!» Когда экипаж ее тронулся, она послала мне еще воздушный поцелуй. Мы с Федерико поднялись в наши комнаты, которые указал нам слуга.

ГОРЕ И УТЕШЕНИЕ. ЗНАКОМСТВО С СИНЬОРОЙ. ПРОФЕССОР. ПИСЬМО. ТАК ЛИ Я ПОНЯЛ ЕЕ?

Федерико улегся спать, а я все еще сидел на открытом балконе, выходящем на площадь; с него открывался вид на Везувий. Мне не давал спать этот новый мир, в который меня перенесли как бы волшебством. Мало-помалу на улице подо мною водворилась тишина, огоньки один за другим погасали; было уже за полночь.

Взор мой не отрывался от Везувия, над которым подымался к окрашенным багрянцем небесам огненный столб; казалось, из кратера выросла мощная пиния, вся из огня и пламени; потоки лавы служили ей корнями, которыми она крепко вросла в гору. Душа моя была потрясена этим величественным зрелищем; из вулкана и с тихого ночного неба мне слышался голос самого Бога. Это была одна из тех минут, когда, если можно так выразиться, душа человеческая созерцает лицом к лицу Бога. В эту минуту я ясно постигал всемогущество, мудрость и благость Того, Кому служат и повинуются молния и ураган, без Чьей воли не упадет на землю и воробышек. На меня снизошло просветление, и, созерцая свою жизнь, я ясно видел в ней перст Божий: ведь всякое, даже несчастное, событие служило лишь к лучшему! Несчастливая смерть моей матери, задавленной бешеными лошадьми и оставившей меня обездоленным сиротой, грозила отрезать у меня всякую надежду на лучшее будущее. Но не это же ли событие послужило настоящей и благороднейшей причиной, побудившей Есселенза позаботиться о моем образовании, чтобы таким образом загладить свой грех передо мною. Затем схватка Мариучии с Пеппо и несколько ужасных мгновений, которые мне пришлось пережить в его жилище, толкнули меня в водоворот жизни; но не попади я в Кампанию, к Доменике, Есселенза, может быть, никогда бы и не обратил на меня особенного внимания. Таким образом, я перебирал в памяти все

главные события моей жизни и находил между всеми ими ясную и мудрую связь. И только перед последними событиями она как будто обрывалась. Знакомство с Аннунциатой озарило мою жизнь весенним солнышком, заставившим распуститься в моей душе каждый бутон; ради нее я бы сделался всем, ее любовь осчастливила бы меня вполне. Любовь Бернардо была лишь чувственным порывом, и в случае потери Аннунциаты он скоро утешился бы. Но, увы! Аннунциата любила его, и это разрушало все мое земное счастье! В этом случае я переставал понимать премудрые цели Провидения и только горевал о своих несбывшихся мечтах. Вдруг под балконом зазвучала гитара; какой-то человек в плаще перебирал струны и тихо напевал песнь любви. Немного погодя соседняя дверь открылась, и певец скрылся за нею. Счастливец! Его ждут поцелуи и объятия!.. А я все сидел и смотрел то на прозрачное звездное небо, то на блестящее темно-голубое море, на котором играли огненные отблески лавы, извергаемой Везувием. «Чудная природа! — воскликнул я мысленно. — Ты моя возлюбленная! Ты прижимаешь меня к своему сердцу, открываешь для меня небо и целуешь меня каждым дыханием ветерка! Я и буду воспевать тебя, твою красоту, твое величие! Я стану громко пересказывать народу то, что ты тихо шепчешь моему сердцу! Так пусть же оно истекает кровью! Бабочка, трепещущая на булавке, блестит еще ярче, поток, низвергающийся со скалы и разбивающийся в пену, смотрится еще прекраснее — такова же и участь поэта. К тому же жизнь ведь лишь краткий сон, мечта! Когда мы встретимся с Аннунциатой в ином мире, она ответит на мою любовь взаимностью; все чистые души любят друг друга; рука об руку летят блаженные духи к Богу!»

Вот какие мысли и чувства зрели в моей душе, и она мало-помалу ободрилась и окрепла; я твердо решил попытать счастья на поприще импровизатора; ведь к этому давно влекло меня мое сердце. Одно только еще смущало меня: что скажут Есселенза и Франческа о моем бегстве из Рима и об избранном мною новом поприще? Они-то думают, что я прилежно занят своими книгами!.. Мысль эта не давала мне покоя, и я сейчас же, ночью, принялся за письмо. С сыновней доверчивостью подробно изложил я в нем все, что случилось со мною, описал свою любовь к Аннунциате, прибавил, что единственную отраду я нахожу теперь в природе и искусстве, и закончил мольбой о добром ответе, который могло продиктовать им их любящее сердце. Не получив его, я не сделаю ни шагу, не выступлю публично. Я рассчитывал, что они не заставят меня протомиться больше месяца. Слезы так и капали из моих глаз на письмо, но, окончив его, я почувствовал, что с сердца у меня как будто свалился камень. Скоро я заснул крепким, спокойным сном, какого не знавал уже давно.

На следующий день мы с Федерико устроили наши дела. Он переехал на квартиру в одну из боковых улиц, а я остался в «Каза Тедеска», откуда мог любоваться Везувием и морем, двумя новыми для меня чу-

десами мира. Я ревностно посещал также музей Борбонико, театры и гулянья и через три дня совсем освоился с чужим городом.

На четвертый день нам с Федерико было прислано приглашение от профессора Маретти и его супруги Санты. В первую минуту я было подумал, что это ошибка: я ведь не знал этих лиц, а между тем приглашение относилось главным образом ко мне, и я уже должен был ввести в дом Федерико. Из расспросов я, однако, узнал, что Маретти — ученый археолог и что синьора Санта только что вернулась из поездки в Рим, — вероятно, мы познакомились с нею в пути. Значит, это была наша неаполитанка!

Вечером мы с Федерико отправились по приглашению. В ярко освещенном салоне мы нашли уже довольно большое и веселое общество; блестящий мраморный пол отражал яркие огни канделябров; огромный камин, огороженный решеткой, распространял вокруг приятную теплоту.

Хозяйка дома, синьора Санта, — мы ведь уже знаем ее имя, — встретила нас с распростертыми объятиями. Светло-голубое шелковое платье очень шло к ней; не будь она так полна, ее бы можно было назвать красавицей. Она представила нас обществу и просила быть как дома.

— У меня собираются лишь одни мои друзья! И вы скоро познакомитесь со всеми! — Тут она принялась называть нам имена всех гостей по порядку. — Мы болтаем, танцуем, занимаемся музыкой, и часы летят незаметно. — Она указала нам место. Затем какая-то молодая дама села за фортепиано и запела ту самую арию из оперы «Дидона», которую пела Аннунциата. Но впечатление получалось уже совсем не то, ария не хватала меня за душу. Пришлось все-таки вместе с другими поаплодировать певице, которая вслед за тем принялась играть веселый вальс. Трое, четверо из кавалеров пригласили дам и пошли кружиться по гладкому, блестящему полу. Я отошел к окну, где стоял маленький, подвижный человечек с какими-то стеклянными глазами; он низко поклонился мне; я уже и раньше обратил на него внимание — он, словно гном, беспрерывно шмыгал из двери в дверь. Чтобы завязать разговор, я заговорил об извержении Везувия и об эффектном зрелище огненной лавы.

— Все это ничто, друг мой, — ответил он, — ничто в сравнении с извержением девяносто шестого года, которое описывает Плиний. Тогда пепел долетал до Константинополя. Да и в мое время в Неаполе ходили с зонтиками в защиту от пепла, но Неаполь и Константинополь — большая разница. Классическое время во всем выше нашего! В то время приходилось молиться: «*Serus in coelum redeas!*»

Я заговорил о театре Карлино, а собеседник мой свернул на колесницу Фесписа и прочел мне целую лекцию о трагических и комических масках. Я упомянул о смотре войск, а он сейчас же принялся рассматривать древний способ ведения войны и командования целой фалангой. Единственный вопрос, который он сам задал мне, был — не занимаюсь ли я

историей искусств и археологией? Я ответил, что меня интересует мировая жизнь вообще, но что особенное призвание я чувствую к поэзии. Собеседник мой захлопал в ладоши и продекламировал.

O decus Phoebi, et dapibus supremi
Grata testudo Jovis!

— Ну, уж он поймал вас! — сказала, смеясь, Санта. — Теперь вы, наверно, с головой ушли во времена Сезостриса. Но наше время предъявляет к вам свои требования, — вас ожидают дамы, вы должны танцевать!

— Но я не танцую! Никогда не танцевал! — ответил я.

— А если сама хозяйка дома попросит вас, разве вы откажетесь?

— Да, потому что я со своею неловкостью упал бы сам и уронил свою даму!

— То-то бы хорошо было! — сказала она, порхнула к Федерико и скоро закружилась с ним в вальсе.

— Веселая женщина! — сказал мой собеседник и прибавил: — И красивая, очень красивая, господин аббат!

— Да, очень! — вежливо ответил я, и затем мы, Бог весть как, съехали на этрусские вазы. Он предложил мне быть моим гидом в музее Борбонико и затем пустился в объяснение искусства древних мастеров, которые расписывали эти хрупкие сокровища: рисовать приходилось еще на мокрой глине, и ни одной черты уже нельзя было стереть; стоило провести штрих, и он должен был остаться!

— Вы все еще блуждаете во мраке истории? — спросила Санта, опять подходя к нам. — Продолжение следует! — шутливо крикнула она и, отведя меня в сторону, прибавила вполголоса: — Не стесняйтесь же с моим мужем!.. Вам надо повеселиться! Я хочу вылечить вас! Вы должны рассказать мне обо всем, что вы видели и слышали, что вам понравилось!

Я дал ей отчет о том впечатлении, которое произвел на меня Неаполь, затем рассказал о своей сегодняшней прогулке к гроту Позилиппо; в густом винограднике возле него я нашел развалины маленькой церкви, превращенной теперь в жилище. Хозяйка его, прекрасная молодая женщина, мать двух славных ребятишек, угостила меня вином, и эта встреча придала моей прогулке еще более романтический характер.

— Так вы уж завязываете знакомства? — сказала Санта, улыбаясь и грозя пальчиком. — Ну, ну, нечего конфузиться! В ваши годы сердце не может довольствоваться постными проповедями.

Вот чем на этот раз ограничилось мое знакомство с синьорой и ее мужем. В ее манере выражаться и держать себя проглядывало что-то такое свободное, естественное, свойственное только неаполитанкам, какая-то сердечность, которые и привлекали меня к ней. Муж ее был ученый, и это было нехудо: я надеялся найти в нем прекрасного гида

по музеям. И я не ошибся. Санта же, которую я стал навещать очень часто, занимала меня все больше и больше; мне льстило внимание, которое она оказывала мне, а ее участие заставляло меня раскрывать перед ней всю свою душу. Я еще мало знал свет, был во многих отношениях сущим ребенком и поэтому ухватился за первую дружески протянутую мне руку, а за пожатие платил полным доверием.

Однажды Санта затронула важнейший момент моей жизни, разлуку с Аннунциатой, и мне доставило истинную отраду и утешение излить перед сочувствующей душой всю свою душу. У меня как-то легче становилось на сердце, слушая, как Санта осуждала Бернардо и отыскивала в его характере разные темные стороны. Но с тем, что она отыскивала недостатки и у Аннунциаты, я примириться не мог.

— Вы должны согласиться, что она слишком миниатюрна для сцены! — говорила Санта. — Слишком эфирна! А на этом свете надо все-таки иметь плоть! Знаю, что и здешняя молодежь с ума сходила по ней, но это все творил ее голос, дивный, неподобный голос! Он уносил их из этого мира в заоблачные сферы, где только и место такому эфирному созданию. Будь я мужчиной, я бы никогда не влюбилась в нее! Я бы боялась, что она переломится пополам, как только я обойму ее покрепче! — Она заставила меня улыбнуться и, может быть, этого только и добивалась. Впрочем, она отдавала справедливость таланту, уму и чистому сердцу Аннунциаты.

В последние вечера я, вдохновленный красотой окружавшей меня природы, написал несколько небольших стихотворений: «Тассо в темнице», «Нищий монах» и еще одну небольшую элегию, в которой вылилась моя несчастная любовь. Я стал читать их Санте, но едва успел дочитать до середины, как не совладал с нахлынувшими чувствами и залился слезами. Санта сжала мою руку и стала плакать вместе со мною; этими слезами она приковала меня к себе навеки. Дом ее стал для меня родным домом; меня постоянно тянуло к ней; ее веселость и забавные выходки часто заставляли меня смеяться, хотя я и чувствовал, насколько чище, благороднее были остроумие и резвость Аннунциаты. Но так как Аннунциата была уже не для меня, то я был доволен и приятнью Санты.

— Что, вы виделись опять с той красавицей у грота Позилиппо, обительницей романтического жилища? — спросила она меня однажды.

— Всего один раз еще! — ответил я.

— Она была очень ласкова с вами? — продолжала расспрашивать Санта. — Ребятишки, наверно, ушли с туристами, а муж был на море? Берегитесь, синьор! По ту сторону Неаполя лежит преисподняя!

Я чистосердечно заверил ее, что меня привлекала к гроту Позилиппо одна лишь романтичность местности.

— Милый друг! — сказала она задушевым тоном. — Я понимаю все лучше вас! Ваше сердце было полно любовью, первой сильной лю-

бовью к женщине, не скажу — недостойной, но все-таки бывшей с вами не вполне искренней! Не возражайте! Затем, как вы сами уверяли меня, вам пришлось вырвать из сердца ее образ; следовательно — в вашем сердце образовалась пустота, которую надо заполнить! Прежде вы жили только своими книгами да мечтами, певица низвела вас в настоящий человеческий мир, вы стали человеком, как и все, и теперь плоть и кровь предъявляют свои права! И почему же нет? Я вообще не сужу молодых людей строго... Да и к тому же мужчины вольны делать, что хотят!

Я стал возражать на ее последние слова; что же касается той пустоты, которая воцарилась в моей душе с тех пор, как я лишился Аннунциаты, то я чувствовал, что Санта была права. Чем, однако, мог я заменить утраченный образ?

— Вы не похожи на других людей! Вы — поэтическая фигура, а видите, даже ваша идеальная Аннунциата предпочла настоящего человека, этого Бернардо, хотя он и стоит во всех отношениях ниже вас!.. Но, — продолжала она, — вы вынуждаете меня затрагивать предметы, которых я, как женщина, вообще не должна бы касаться. Право, кажется, ваша удивительная невинность, неопытность и наивность заразительны! — Тут она громко засмеялась и потрепала меня по щеке.

Однажды вечером я сидел с Федериго; он был в хорошем расположении духа и рассказывал мне о счастливых днях, проведенных им в Риме. В любовных приключениях его играла немалую роль Мариучия. В доме Санты собиралось много молодых людей; они были отличными танцорами, умели заинтересовать собою, и дамы бросали на них умильные взгляды, а мужчины относились к ним с уважением. Я знал их всех лишь очень недавно, но они уже успели поверить мне свои сердечные дела того же рода, какими так пугал меня когда-то Бернардо и которые я извинял ему только в силу своей особой привязанности к нему. Да, все мужчины были так не похожи на меня! Неужели Санта права, неужели я только «поэтическая фигура»? Любовь Аннунциаты к Бернардо служила уже, впрочем, некоторым подтверждением. Может быть, мое духовное «я» и было ей дорого, но сам я покорить ее сердца все-таки не мог.

Вот уже целый месяц прожил я в Неаполе, а все еще ничего не слышал ни о ней, ни о Бернардо. Вдруг мне принесли с почты письмо; сердце у меня забилося; я старался по почерку и печати узнать, от кого оно и какие вести приносит. А, герб Боргезе и почерк Есселенза! Я едва осмелился вскрыть конверт. «Матерь Божия, будь милостива ко мне! — прошептал я. — Воля Твоя все направляет к лучшему!» Вот что я прочел в письме:

«Синьор!

Я думал, что вы воспользуетесь данной мной вам возможностью научиться чему-нибудь и сделаетесь полезным членом общества, но вы предпочли пойти совсем другой дорогой. Я, сознавая себя невольным

виновником смерти вашей матери, сделал для вас все, что мог, и теперь мы квиты. Выступайте импровизатором, поэтом, чем хотите, но дайте мне единственное доказательство вашей столь часто упоминаемой благодарности — никогда не связывайте моего имени, моего участия к вам с вашей публичной деятельностью. Оказать мне большую услугу — научиться чему-нибудь вы — не захотели, в такой же маленькой, как именование меня вашим благодетелем, я не только не нуждаюсь, но даже считаю ее оскорблением».

Сердце мое сжалось от боли, руки беспомощно упали на колени, но плакать я не мог, хотя это и облегчило бы меня. «Иисус, Мария!» — прошептал я; голова моя упала на стол, и я так и застыл, не думая ни о чем, не ощущая даже горя. Слова молитвы не шли мне на ум; мне казалось, что и сам Бог, и все святые отступились от меня, как весь свет. Тут вошел ко мне Федерико.

— Ты болен, Антонио? — спросил он, пожимая мне руку. — Нельзя же так замуровываться со своим горем! Кто знает, был ли бы ты счастлив с Аннунциатой? Все к лучшему! Так всегда бывает! Мне самому приходилось убеждаться в этом не раз, хоть и не всегда приятным путем.

Я молча протянул ему письмо; он стал читать его. В то же время слезы неудержимо хлынули у меня из глаз. Я, однако, стыдился их и отвернулся, чтобы скрыть их от Федерико, но он обнял меня и сказал:

— Плачь, плачь! Выплачь свое горе, легче будет! — Когда же я несколько успокоился, он спросил меня, принял ли я какое-нибудь решение. Тут как молния озарила меня мысль: «Я оскорбил Мадонну, на служение которой был призван с детства, у нее же должен я и искать защиты!»

— Лучше всего будет мне пойти в монастырь! — сказал я. — К этому ведь и готовила меня судьба! И что мне осталось теперь в мире? Я ведь только поэтическая фигура, а не человек, как все! Да, только в лоне церкви обрету я приют и мир!

— Ну, будь же благоразумнее, Антонио! — сказал Федерико. — Покажи Есселенза и всему свету, что у тебя есть сила характера, пусть удары судьбы возвысят тебя, а не сломят. Впрочем, я думаю и надеюсь, что это только сегодня вечером ты хочешь пойти в монастырь. Завтра, когда солнышко заглянет в твое сердце, ты переменишь взгляд. Ты ведь импровизатор, поэт, у тебя есть талант, познания, и все еще может устроиться для тебя прекрасно. Завтра мы найдем кабриолет и покатаем осматривать Геркуланум и Помпею, а потом взберемся на Везувий! Мы еще не были там. Тебе нужно развлечься! Вот когда хандра твоя пройдет, тогда мы и поговорим серьезно о твоём будущем. Теперь же марш со мной! Погуляем по Толедо! Жизнь мчится галопом, и у всех нас, как у улиток, своя ноша на спине, — из свинца или из погремушек — все равно, если она гнетет всех одинаково!

Его участие ко мне растрогало меня — у меня еще оставался хоть один друг на земле! Молча взял я шляпу и последовал за ним. Из маленьких балаганчиков на площади неслась музыка; мы остановились перед одним из них, вмешавшись в толпу народа. Вся семья балаганных артистов стояла, по обыкновению, на подмостках; муж и жена, оба в пестрых одеяниях, охрипли от зазываний; маленький бледный мальчик с унылым личиком, одетый в белый балахон Пьеро, играл на скрипке, а две его сестренки плясали. Но от всей этой сцены веяло трагизмом. «Несчастные! — думал я. — И их будущее так же темно, неопределенно, как мое!» Я крепко прижался к Федерико и не мог подавить невольного вздоха.

— Ну, успокойся же, будь благоразумнее! Теперь мы погуляем немножко, глаза твои не будут так красны, а затем пойдем к синьоре Маретти! Она или развеселит тебя, или поплачет с тобою, пока ты сам не устанешь плакать. Она на все мастерица! — И вот мы поплелись к дому Маретти.

— Наконец-то вы хоть раз зашли запросто! — ласково приветствовала нас Санта.

— Синьор Антонио находится в элегическом настроении! Его надо подбодрить, так куда же было привести его, как не к вам! Завтра мы поедем в Геркуланум и Помпею, а потом взберемся на Везувий! То-то хорошо бы попасть на извержение!

— *Carpe diem!* — сказал Маретти. — Мне тоже хочется с вами. Только не на Везувий, а посмотреть, как идут раскопки в Помпее. Я только что получил оттуда несколько украшений из разноцветного стекла; я разместил их, согласно их цвету, и написал по этому поводу *opusculum*. Надо показать эти сокровища вам! — обратился он к Федерико. — Вы дадите мне некоторые указания относительно красок. А вы, — сказал он мне, трепля меня по плечу, — глядите веселее! Потом мы все выпьем по стаканчику фалернского и споем:

*Ornatus viridi tempora pampino,
Liber vota bonos ducit ad exitus!*

Я остался один с Сантой.

— Не написали ли вы чего-нибудь новенького? — спросила она. — У вас сегодня такой вид, как будто вы опять написали какие-нибудь красивые стихи вроде тех, которые так тронули меня. Я не раз вспоминала вас и вашего «Тассо», и мне становилось так грустно, хотя я, как вы знаете, вообще не принадлежу к «плачущим сестрам»! Ну, развеселитесь же теперь! Поглядите на меня! Расскажите мне что-нибудь хорошенькое!.. Ничего не знаете? Ну, скажите что-нибудь о моем новом платье! Видите, как оно сидит? Поэт должен быть чуток ко всему!.. Я стройна, как пиния! Довольно тонка, не правда ли?

— Еще бы! — ответил я.

— Лыстец! — сказала она. — Разве я не такая, как всегда? Платье сидит на мне совсем свободно! Ну, что же тут краснеть! Вот так мужчина! Нет, вас надо приучить к женскому обществу, воспитать! На это мы, женщины, мастерицы! Теперь муж мой и Федерико по уши ушли в древность, а мы будем жить настоящим — это веселее! Вы сейчас же должны попробовать нашего превосходного фалернского, а потом можно выпить опять и с ними.

Я отказался и попытался завязать обыкновенный разговор о мелочах дня, но — увы! — я сам признавал, что был ужасно рассеян.

— Я вам в тягость! — сказал я наконец, встал и взялся за шляпу. — Извините меня, синьора! Я не совсем хорошо чувствую себя и не гожусь для общества!

— Нет, не уходите от меня! — сказала она, опять усадила меня на стул и поглядела мне в глаза задушевым, соболезнующим взглядом. — Что с вами? Откройтесь мне! Я так расположена к вам! Не оскорбляйтесь моими шутками — такая уж у меня натура! Скажите мне, что с вами? Не получили ли вы писем? Не умер ли Бернардо?

— Нет! Сохрани Бог! — ответил я. — Дело совсем не в этом! — Я не хотел было говорить о письме Есселенза, но все-таки чистосердечно рассказал ей все. Она со слезами стала упрашивать меня не огорчаться так. — Теперь я брошен всеми! — сказал я. — Никто, никто больше не любит меня!

— Любит, Антонио! — сказала она, глядя меня по голове и прижимаясь к моему лбу горячими устами. — Вас любят! Вы хороши, вы добры! Я люблю вас, люблю вас, Антонио! — И она страстно обняла меня; щека ее прильнула к моей. В крови моей вспыхнул огонь, трепет пробежал по телу, дух захватило... Никогда еще не испытывал я ничего подобного. Вдруг дверь заскрипела и отворилась. Вошли Маретти и Федерико. — У вашего друга лихорадка! — сказала Санта своим обычным, ровным тоном. — Он было напугал меня! Я думала, что он упадет мне на руки! Но теперь ему лучше. Не правда ли, Антонио? — И она как ни в чем не бывало принялась подшучивать надо мною. А у меня сердце так и колотилось в груди; мне было и стыдно, и досадно, и я отвернулся от этой прекрасной дочери соблазна.

— *Quae sit hiems Veliae, quod coelum Vala Salerni!* — сказал Маретти. — Ну, как ваша голова и сердце, синьор? Что сделал с вами купидон, который вечно точит свои ядовитые стрелы на раскаленном точиле?

В бокалах заискрилось фалернское. Санта чокнулась со мною и сказала, как-то странно глядя на меня:

— За лучшие времена!

— За лучшие времена! — повторил Федерико. — И они придут! Никогда не надо отчаиваться!

Маретти тоже чокнулся со мною и сказал:

— За лучшие времена!

А Санта громко засмеялась и потрепала меня по щеке.

ПОЕЗДКА В ГЕРКУЛАНУМ И ПОМПЕЮ. ВЕЧЕР НА ВЕЗУВИИ

На следующее утро Федерико явился за мною. Маретти тоже уселся с нами в экипаж; с моря тянул свежий ветерок; мы поехали берегом.

— Дым-то как валит из Везувия! — сказал Федерико, указывая на гору. — То-то зрелище ждет нас вечером!

— Не такой еще дым валил в семьдесят девятом году по Рождеству Христову, — сказал Маретти. — Тогда над всей окрестностью стояло густое облако! Тогда-то и были залиты лавой оба города, в которые мы теперь едем.

Сейчас за предместьем Неаполя начинаются города Сан-Джиовани, Портичи и Резина, которые, собственно, можно принять и за один город, так тесно они примыкают один к другому. Не успел я опомниться, как мы уже были у цели нашей поездки. Остановились мы у одного из домов в Резине. Под этим городом лежит другой, Геркуланум. Лава и пепел погребли его под собою в несколько часов; о существовании его забыли, и над ним возник новый город. Мы зашли в первый же дом; во дворе находился глубокий колодезь; в глубину его вела витая лестница.

— Видите, синьоры? — сказал Маретти. — Колодезь этот выкопан в сто семьдесят втором году по приказанию принца Эльбефского. Но едва углубились в землю на несколько футов, нашли статуи, и дальнейшие раскопки были воспрещены. И — *mirable distu* — в течение тридцати лет никто не принимался за эту работу, пока не явился Карл Испанский и не велел копать глубже. Тогда-то и отрыли эту роскошную мраморную лестницу, которую видно отсюда.

Дневной свет проникал в колодезь и освещал ступени лестницы — вернее, скамьи большого амфитеатра. Проводник наш дал каждому из нас по зажженной свечке; мы спустились вглубь и остановились на ступенях, где тысячу семьсот лет тому назад сиживала огромная толпа смеявшихся и ликовавших зрителей.

Маленькая, низенькая дверь вела в длинный, просторный проход; мы спустились в оркестр, осмотрели помещения для музыкантов, уборные и самую сцену. Все поражало своими грандиозными размерами, хотя мы и могли видеть зараз лишь небольшую освещенную часть пространства. Пустынно и мрачно было вокруг, а над головами нашими кипела жизнь. Подобно духам исчезнувших поколений, которые, по народному поверью, появляются и бродят по нашей земле, бродили теперь по древнему городу

мы, словно привидения нашего времени. Меня скоро потянуло на свет Божий; мы вышли, и я с наслаждением вдохнул в себя свежий воздух. Затем мы повернули по улице направо и опять наткнулись на взрытую площадь, но меньших размеров. Тут мы увидели целую улицу, застроенную небольшими домиками; стены тесных, узких комнат были окрашены в яркие голубые и красные цвета. Вот все, что осталось от целого города; более величественное зрелище ожидало нас в Помпее. Резина осталась позади нас, и теперь кругом расстиралось застывшее неровными буграми море из черной как смоль лавы. Но здесь уже было возведено много новых зданий, зеленели небольшие виноградники; только маленькая полуразрушенная церковь напоминала еще о погребенной под лавою местности.

— Я сам был свидетелем ее гибели! — сказал Маретти. — Я был тогда еще ребенком, но никогда не забуду этого ужасного дня. Этот черный шлак лился тогда с горы на Торре дель Греко раскаленным потоком. Отец мой — *beati sunt mortui!* — сам рвал для меня спелый виноград тут, где теперь одна черная, твердая, как камень, кора; в этой церкви ярко сияли тогда свечи, а на стенах горело зарево извержения. Виноградник залило лавой, но церковь уцелела в этом огненном море, словно Ноев ковчег.

Я всегда воображал, что Помпея лежит под землей, как и Геркуланум, но оказалось, что я ошибался. Она смотрит на виноградники и на голубое море с горы. Мы поднялись по крутой тропинке и достигли полуразрушенного вала из темно-серой золы; зеленые растения и кусты хлопчатника пытались кое-где одеть его наготу. Пройдя мимо часовых, мы вошли в предместье Помпеи.

— Вы, верно, читали письма к Тациту? — спросил Маретти. — Читали Плиния Младшего? Сейчас вы увидите комментарии к его труду, каких не может дать вам никто!

Мы пошли по длинной улице Гробниц; тут памятник на памятнике. Перед двумя из них стояли круглые скамьи с красивой резьбой. На них отдыхали когда-то помпейцы и помпеянки, любясь цветущей природой вокруг и суетой, кипевшей на проезжей дороге и в гавани. Затем по обеим сторонам потянулись ряды домов, все с лавочками; они казались мне человеческими скелетами, устремившими на нас свои пустые глазницы.

Кругом были видны следы землетрясения, которое постигло город еще до разрушения. Видно было, что многие дома только строились, когда их залило огненной лавой; на земле лежали недоконченные мраморные карнизы, а рядом с ними терракотовые модели их.

Наконец мы добрались и до стен города. К ним вели широкие ступени, как в амфитеатре; перед нами развернулась длинная, узкая улица, вымощенная, как и неаполитанские, широкими плитами лавы, говорившей о еще более раннем извержении, нежели разрушившее Помпею. На мостовой виднелись глубокие колеи от колес, на домах можно еще было прочесть имена их владельцев; кое-где уцелели даже вывески; одна из

них гласила, что в этом домике изготовлялись мозаичные изделия. Все комнатки были маленькие, свет падал сверху, через отверстие в потолке или в дверях. Четырехугольные дворики, обнесенные портиками, были так малы, что в них помещалась только какая-нибудь цветочная грядка или бассейн с фонтаном. Зато и дворик и все полы были изукрашены чудной мозаикой. Стены были пестро раскрашены в белый, голубой и красный цвета. На пурпурном фоне порхали танцовщицы, гении и другие причудливые воздушные образы, такие яркие и живые, словно они были нарисованы только вчера. Федерико и Маретти вступили в жаркую беседу о дивной композиции и яркости красок рисунков, которые так удивительно сохранились, и, прежде чем я успел опомниться, оба с головой ушли в десятитомный каталог античных памятников Байярди. Они, как и многие, забыли поэтическую действительность ради критических комментариев к ней; сама Помпея была забыта ради сухих исследований ее. Я же, не посвященный в эти ученые мистерии, чувствовал себя среди этой поэтической обстановки как дома; здесь столетия как бы сливались для меня в годы, годы в минуты. Скорбь моя утихла, душа вновь обрела покой и прониклась восторгом.

Мы остановились перед домом Саллюстия.

— Саллюстий! — воскликнул Маретти, снимая шляпу. — *Corpus sine animo!* Душа отлетела, но и мертвому телу воздают почтение!

Всю переднюю стену занимала большая картина «Диана и Актеон». Любуясь ею, мы вдруг слышали радостные восклицания: рабочие отрыли великолепный стол из белоснежного каррарского мрамора; вместо ножек служили два превосходных мраморных сфинкса. Но еще больше поразили меня отрытые тут же пожелтевшие человеческие кости и ясно сохранившийся в пепле отпечаток прекрасной женской груди.

Мы перешли через форум в храм Юпитера; солнце освещало белые мраморные колонны; за ними виднелся Везувий. Из кратера валил густой черный дым; от огненной же лавы, вытекавшей из бокового отверстия, подымались белоснежные клубы пара.

Осмотрели мы и амфитеатр и посидели на ступенях, служивших скамьями. Сцена со своими колоннами, каменная задняя стена с главной выходной дверью — все выглядело так, как будто здесь вчера еще только давалось представление. Но давным-давно из оркестра не раздавалось никаких звуков, давным-давно никакой Росциус не ожидал рукоплесканий от ликующей толпы; все было мертво; дышала жизнью только природа вокруг. Густые зеленые виноградники, проезжая дорога в Салерно и рисовавшиеся вдали резкими контурами на светлом фоне неба темно-голубые горы — все образовывало сцену, на которой роль хора в трагедии исполняла сама Помпея, певшая о могуществе ангела смерти. И я видел его пред собою словно воочию: грозно простирал он над городами и местечками свои крылья из черного пепла и огненной лавы.

Мы решили взойти на Везувий только вечером, когда сочетание огненного блеска лавы с кротким сиянием луны производит особый эффект. В Резине мы наняли ослов и стали взбираться на гору. Дорога шла сначала мимо виноградников и одиноких домиков, но затем растительность изменилась, пошли чахлые кусты и какие-то сухие тростникообразные стебли. Дул сильный холодный ветер, но вечер все-таки выдался прекрасный. Солнце садилось раскаленным шаром, небо сияло золотом, море было синего цвета, а острова казались голубоватыми облачками. Глазам моим представлялся чисто волшебный мир. Очертания Неаполя таяли во мраке; вдали виднелись горы со снежными вершинами, сиявшими, словно альпийские глетчеры, а направо, близехонько от нас, струилась из Везувия огненная лава.

Вот мы выехали на равнину, покрытую черной лавой; нигде ни дороги, ни тропинки. Ослы наши, прежде чем твердо ступить на почву, осторожно пробовали ее ногами. Таким образом, мы поднимались очень медленно, пока не достигли той части горы, которая выдается уступом над этим мертвым, окаменелым морем. Тут мы пустились по узенькой тропинке, на которой пробивались только сухие тростникообразные стебли, и вскоре увидели хижину пустытника. Около нее, вокруг разведенного костра, расположились солдаты, распивавшие «*Lacrimae Christi*». Из них набирался конвой для туристов, необходимый на случай нападения разбойников. Зажгли факелы, резкий порыв ветра налетел на огни, точно собираясь потушить их и разметать по ветру все искры до единой. При этом неровном, дрожащем свете мы и отправились в темноте по узенькой тропинке, проложенной между нагроможденными кусками лавы; по обеим сторонам тропинки шли глубокие обрывы. Наконец перед нами выросла, словно новая гора, черная вершина из пепла; тут пришлось слезть с ослов и взбираться пешком, оставив животных под присмотром мальчишек-погонщиков. Проводник наш шел впереди с факелом, мы за ним, но не по прямой линии: подъем был крутой, мы увязали в мягкой золе по колени, и из-под ног наших то и дело сыпались камни и обломки лавы. Сделав два шага вперед, мы соскальзывали на шаг вниз, ежеминутно падали, ноги у нас как будто были налиты свинцом.

— Courage! — покрикивал наш проводник. — Скоро будем наверху!

Но вершина, казалось, была все так же далека от нас. Ожидание и любопытство окрыляли меня; наконец, после часового подъема, мы достигли вершины; я — первый.

Перед нами расстилалась большая площадь, беспорядочно загроможденная глыбами застывшей лавы. Посреди же возвышался еще целый холм из пепла, с конусообразным углублением-кратером. В вышине, словно какой-то огненный плод, висела луна. Она взошла уже давно, но мы-то увидели ее только теперь, да и то на одну минуту. Затем из кратера вдруг повалил густой черный дым, кругом воцарилась непроглядная тьма, из недр горы раздались глухие громовые раскаты, почва заколебалась под нашими ногами, мы должны были крепко ухватиться

друг за друга, чтобы не упасть, и вот раздался такой грохот, что с ним не мог бы сравниться и залп из ста орудий. Столб дыма раздвоился, и из кратера взвился огненный столб высотой чуть не в милю. В белом пламени мелькали, словно кровавые рубины, раскаленные камни; они взлетали в воздух точно ракеты и, казалось, сыпались нам прямо на головы. Но они или падали назад в кратер, или градом катились вниз по пепельному склону его. «Всемогущий Боже!» — простонал я, едва смея дышать.

— Везувий сегодня разгулялся! — сказал проводник и сделал нам знак следовать за ним дальше. Я было думал, что нашему странствованию конец, но проводник указал рукою вперед, в ту сторону, где на горизонте пылало зарево и на огненном фоне вырисовывались гигантские черные тени. Это были другие туристы. Чтобы обойти отделявший нас от них огненный поток лавы, мы обогнули гору и стали взбираться на нее с восточной стороны. Извержение не позволяло нам подойти к самому кратеру, но мы решили приблизиться к тому месту, откуда вытекал, словно ручей, свежий поток лавы, и, оставив кратер слева, пошли напрямик по равнине, перелезая через огромные глыбы. Ни дороги, ни даже тропинки! Благодаря бледному свету луны и красноватому отблеску факелов, каждая тень, каждая трещина на неровном грунте казалась нам пропастью. Вновь раздались глухие подземные раскаты, опять воцарился непроницаемый мрак, и засверкало новое извержение. Медленно, цепляясь ногами и руками, карабкались мы к нашей цели, но скоро почувствовали, что все, до чего мы ни дотрагивались, пышет жаром. Перед нами лежала более ровная площадка, покрытая еще не совсем успевшей застыть лавой, извергнутой всего двое суток тому назад. Под влиянием воздуха успел почернеть и затвердеть только самый верхний слой ее, и образовалась корка, но толщина ее не превышала пол-аршина, под нею же текла расплавленная лава. Огненное море только подернулось сверху тонкой пленкой, как озеро зимой льдом. Через это-то море нам и надо было перейти. По ту сторону его опять громоздились неровные глыбы, на которых стояли туристы-иностранцы и смотрели вниз на поток лавы. Мы гуськом потянулись за проводником; горячая кора жгла наши подошвы; во многих местах лава прорвала ее, и в эти трещины виднелась расплавленная огненная масса. Провались под нами кора, мы бы погрузились в море пламени. Мы шагали осторожно и все-таки возможно быстро — ноги так и жгло. Железо, остывая, чернеет, но, стоит прикоснуться к нему — мгновенно раскаляется опять; то же самое происходило и здесь; как на снегу от ног человека остаются черные следы, так здесь за нами оставались дымящиеся. Никто из нас не произносил ни слова. Пускаясь в путь, мы и не представляли себе такой опасности. Навстречу нам попался англичанин, возвращавшийся со своим проводником обратно.

— Нет ли между вами англичан? — спросил он, поравнявшись с нами.

— Итальянцы и один датчанин! — ответил я.

— А Diavolo! — тем и окончилась наша беседа.

Мы достигли огромных глыб, на которых стояли иностранцы, и тоже вскарабкались; перед нами вниз по склону горы медленно лился свежий поток лавы, словно струя огненной гущи или расплавленного металла, вытекающего из горнила. Поток этот разливался внизу на огромное пространство. Ни словами, ни красками не передать грозного величия этой картины. Самый воздух над потоком был как будто пропитан серою и огнем; кверху подымались густые клубы дыма, освещенные кровавым отблеском лавы, вокруг же все тонуло во мраке. В подземной глубине раздавался грохот, а над нашими головами взвивался столб огня, в котором мелькали раскаленные камни. Никогда еще не чувствовал я так близко присутствия Бога. Сознание Его силы и величие наполнили мою душу; окружающее пламя как будто выжгло из нее все слабости; она окрепла, прониклась мужеством и развернула свои мощные крылья. «Великий Боже! Я буду Твоим апостолом! Я буду воспевать среди мирового хаоса Твое имя, Твою силу, Твое величие! И песнь моя зазвучит громче славословия монаха-отшельника! Я поэт! Даруй же мне силу, сохрани во мне чистую душу, какою должен обладать жрец природы и служитель Твой!» Я сложил руки, и мысли мои вместе с пламенем и облаками дыма вознеслись к Тому, Чьи чудеса и величие внушали мне такое благоговение.

Мы сошли с высоких глыб, и вдруг, всего в нескольких шагах от нас, большой обломок застывшей лавы с треском провалился сквозь верхнюю корку; из трещины брызнули тучи искр и вырвались облака пара. Я не дрогнул: я ощущал близость Бога, и в душе моей не было места страху. Из маленьких кратеров горы летели искры, из большого каждую минуту извергались новые потоки лавы. В воздухе слышался свист, словно над нами проносились несметные стаи птиц. Федерико был в таком же восторге, как и я. Спуск с горы по мягкому пеплу как нельзя более соответствовал нашему душевному настроению. Мы как будто неслись по воздуху, скользили, бежали и падали на пепел, мягкий, как только что выпавший снег. Всего десять минут понадобилось нам, чтобы пройти то расстояние, на которое при подъеме был потрачен целый час. Ветер улегся; у хижины пустынного дожидались нас ослы, а в хижине сидел наш ученый, который отказался от утомительного восхождения на гору. Меня же оно словно возродило к новой жизни, и взор мой все обращался назад, лава светилась издали колоссальными огненными звездами; от лучей месяца было светло как днем. Мы направились вдоль залива, любуясь двумя длинными — голубоватой и красноватой — полосами, дрожавшими на его зеркальной поверхности; это отражались в воде лучи луны и лавы. Дух мой обрел силу, понятия и мысли — необыкновенную ясность; со мною, если позволено будет сравнить ничтожное с великим, произошло то же, что с Боккаччо, посетившим могилу Вергилия: впечатления данного

места и обстановки наложили свою печать на всю мою умственную деятельность в будущем. Боккаччо заплакал на могиле великого поэта, и мир обрел нового; грозное величие Везувия уничтожило во мне чувства малодушия и сомнения, заставило меня воспрянуть духом; вот почему этот день так крепко и запечатлелся в моей памяти, вот почему я так подробно и описал свое восхождение на вулкан, стараясь показать, как все эти впечатления отразились в моей душе.

Маретти пригласил нас к себе; на мгновение я как-то смутился и испугался при мысли опять увидеться с Сантой после того, что произошло в последний раз, но чувство это было побеждено общим моим душевным настроением. Санта дружески протянула мне руку, налила нам в бокалы вина, была так весела и проста, что я, наконец, стал упрекать себя за свое резкое осуждение ее. Это мои мысли были нечисты, оттого-то я и принял ее сердечное участие, высказанное, правда, с увлечением южанки, за порыв чувственной страсти. И я старался загладить свою вину шутками и дружески-непринужденным обращением. Во взгляде Санты я прочел, что она поняла меня и питает ко мне те же истинно сестринские участие и любовь.

Супруги Маретти еще ни разу не слышали моей импровизации и попросили меня доставить им это удовольствие. Я воспел наше восхождение на Везувий, и меня наградили восторженными рукоплесканиями. То, что Аннунциата выражала молча одним своим взором, выливалось красноречивым потоком из уст Санты, и красноречие еще возвышало ее красоту; выразительные взгляды ее глубоко западали мне в душу.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА. МОЙ ДЕБЮТ В ТЕАТРЕ САН-КАРЛО

Я решился выступить публично, и день ото дня решение мое крепло. В доме Маретти и во всех других семействах, с которыми я успел познакомиться здесь, везде, где я ни выступал импровизатором, меня награждали шумными похвалами. Успех мой проливал утешительный бальзам на мою больную душу; я был счастлив и признателен Провидению. Но никто, прочитав мои мысли, не назвал бы огня, горевшего в моих глазах, огнем тщеславия; нет, это было пламя чистой радости. Вместе с тем все эти похвалы как будто и пугали меня немножко: я боялся, что был недостойн или что не всегда буду достоин их. Между тем я глубоко чувствовал и смело выскажу это, хотя дело и касается так близко меня самого, что похвалы и одобрение — лучшая школа для хорошо направленной души и что, напротив, строгость и несправедливые порицания угнетают или ожесточают ее. Все это я знаю по собственному опыту. Маретти был ко мне чрезвычайно внимателен, выходил ради меня из сферы исключительно интересовавших его предметов и знакомил меня с разными лицами, которые

могли быть мне полезными на избранном мною новом поприще. Санта также была со мною бесконечно мила и любезна, но меня все-таки что-то отталкивало от нее, и я являлся к ней всегда или с Федерико, или в такое время, когда знал, что у нее гости. Я боялся повторения последней сцены. И все же я часто заглядывался на нее, когда думал, что она этого не замечает, и невольно любовался ею. Со мной происходило то, что вообще нередко случается с людьми: стоит подразнить человека, уверяя его, что он влюблен в такую-то особу, и он, хотя до сих пор и не думал о ней, не замечал ее, невольно начинает приглядываться к ней, желая узнать, что же в ней такого особенного, благодаря чему он должен был остановиться на ней свой выбор. Простое любопытство мало-помалу переходит в чувство особого интереса, а это зачастую и в любовь. Мое чувство к Санте ограничивалось пока только интересом; это было что-то вроде чувственного созерцания, какого я не знавал раньше; тем не менее оно смущало и пугало меня, а вместе с тем и удерживало от сближения с нею.

Я прожил в Неаполе целых два месяца, прежде чем дебют мой был, наконец, назначен в ближайшее воскресенье. Я должен был выступить под именем Ченчи в большом театре Сан-Карло; настоящей своей фамилии я выставить на афише не решился. Я нетерпеливо ждал дня дебюта, который должен был положить основание моей будущей славе, но вместе с тем испытывал и какой-то болезненный, лихорадочный трепет. Федерико успокаивал меня, сваливая все на влияние воздуха, — и он сам, и почти все окружающие испытывали подобное же возбуждение. Везувий уж очень расхотелся, извержение следовало за извержением, и потоки лавы угрожали даже Торре-дель-Аннунциата¹. По вечерам слышались глухие громовые раскаты, пепел так и летал в воздухе и густыми слоями садился на цветы и деревья; вершина вулкана вся была окутана черными грозовыми тучами; при каждом извержении из них сверкали зигзагами ослепительные молнии. Санте тоже нездоровилось.

— Это лихорадка! — говорила она; глаза ее горели, лицо было бледно. Она очень досадовала на свое нездоровье, говоря, что ей непременно хочется присутствовать на моем дебюте. — Ну, да я все-таки буду в театре, хотя бы потом и пришлось поплатиться еще сильнейшей лихорадкой! — прибавляла она. — Надо жертвовать для друзей даже жизнью, даром что они не ценят этого!

Я то рыскал по гуляньям, по кофейням и разным театрам, то искал успокоения в церкви перед образом Мадонны, исповедовался перед Нею во всех своих греховных помыслах и просил Ее подать мне мужество и силу последовать своему призванию. «Bella ragazza!» (Прекрасная девушка!) — нашептывал мне голос искушителя, и щеки мои загорались огнем, но я старался не слушать этого голоса. Между духом и плотью завязывалась борьба;

¹ Маленький городок между Неаполем и Помпеей. — Примеч. перев.

я чувствовал, что во мне совершается какой-то переворот, и ждал, что к воскресенью возбуждение мое достигнет высшей своей точки. «Надо нам побывать с тобою в игорном доме! — не раз говаривал мне Федерико. — Поэту надобно знать и испытать все!» Но нам все как-то не удавалось побывать там вместе, одному же мне идти туда казалось неловко. Да, прав, пожалуй, был Бернардо, говоря, что воспитание у доброй Доменики и монастырская жизнь в Иезуитской коллегии разбавили мою кровь козьим молоком и сделали из меня какого-то труса. Мне в самом деле не доставало решительности и твердости характера. Между тем мне нужно было ближе познакомиться с светом, а не избегать его, раз я хочу быть поэтом! Вот эти-то мысли и бродили у меня в голове, когда я поздним вечером направлялся к игорному дому. «Я пойду туда именно потому, что боюсь! — сказал я себе самому. — Играть же мне нет надобности. Федерико и другие мои друзья, наверно, похвалили бы меня за мое благоразумие!» Какое, однако, слабое существо человек! Сердце мое билось, словно я шел на дурное дело, хотя рассудок и успокаивал меня. У входа стояли швейцары, лестница была великолепно освещена, в передней толпились слуги, которые взяли у меня шляпу и трость, распахнули передо мною двери, и я увидел целую анфиладу ярко освещенных комнат. Народу было много — и мужчин, и дам. Я не хотел обнаружить своей робости и быстро прошел в первую залу; никто не обратил на меня внимания. По всей зале были расставлены столы для игроков, перед которыми лежали целые кучи золота. За одним столом сидела пожилая дама, видно, бывшая когда-то красавицей, разрумяненная и разряженная в пух и прах; глаза ее так и пожирали кучи золота, а костлявые руки крепко впились в карты. Молодые, красивые девушки непринужденно болтали с мужчинами. Все эти красавицы были дочери соблазна; и старуха с алчным взором когда-то, как и они, покоряла сердца, а теперь одерживала победы только на зеленом поле.

В одной из зал поменьше стоял стол с красными и зелеными кружками; я видел, как ставили на эти кружки по одной или по несколько монет, как пускали шарик, и, если он останавливался на избранном игроком цвете, счастливец получал двойную ставку. Серебро и золото перекатывались с одного конца стола на другой с быстротой молнии. Я вынул из кармана серебряную монету и бросил на стол; она угодила на красный кружок; человек, стоявший возле, поглядел на меня, словно спрашивая, оставить ли ее там, куда она упала. Я невольно кивнул головой; шарик покатился, и я выиграл вдвое против того, что поставил. Я смутился и не взял денег; они остались на том же месте, шарик пустили еще раз, потом еще и еще. Мне везло, я все выигрывал; кровь во мне заиграла, но я продолжал рисковать только выигранными деньгами. Скоро передо мною лежала целая куча серебра, а на противоположной ставке сверкали луидоры. Я выпил залпом стакан вина — в горле у меня пересохло. Двойная куча золота и серебра все росла, но вот шарик пустили

еще раз, и крупье хладнокровно сгреб весь мой выигрыш. Золотой сон мой развеялся, и я проснулся, перестал играть, потеряв, в сущности, лишь первую ставку. Утешая себя этим, я перешел в следующую залу. Одна из молодых женщин обратила на себя мое внимание сходством с Аннунциатой; она была только выше ростом и полнее последней. Мой пристальный взгляд не ускользнул от нее, она подошла ко мне и, показывая на один из маленьких столиков, предложила сыграть с нею партию. Но я извинился и вернулся в первую залу; красавица проводила меня взглядом. В задней комнате группа молодых людей играла на бильярде; они поснимали с себя сюртуки, несмотря на то что в игре участвовали и дамы. Меня это удивило; я и забыл о царствовавшей здесь свободе. У дверей, спиной ко мне, стоял рослый, стройный молодой человек. Он приставил к шару кий и сделал такой мастерский удар, что вокруг раздались рукоплескания. Дама, привлекавшая мое внимание, дружески кивнула ему и, вероятно, сказала что-нибудь забавное. Он обернулся и поцеловал ее в щеку; она шутя ударила его по плечу. Сердце мое затрепетало — это был Бернардо! У меня не хватило духа подойти к нему поближе, а между тем мне необходимо было убедиться, он ли это. Я прошел вдоль стены к открытой двери в большую полуосвещенную залу, чтобы оттуда присмотреться к молодому человеку, не привлекая к себе его внимания. В этой полутемной зале, слабо освещенной красными и белыми фонариками, был устроен искусственный сад с беседками из раскрашенных жестяных листьев, апельсиновыми деревцами в кадках и чучелами пестрых попугаев на ветках. Из-за зелени раздавались тихие, мягкие звуки гармоніума, наигрывавшего прелестные мелодии, лившиеся прямо в душу. Из полуотворенной двери на галерею веяло прохладой. Я едва успел оглядеться, как в сад вбежал Бернардо; я машинально укрылся в ближайшую беседку; он заглянул туда, смеясь, кивнул мне головой, словно увидал знакомого, шмыгнул в следующую беседку и, бросившись на диван, принялся напевать вполголоса какой-то мотив. Тысячи чувств волновали мою душу. Он здесь! Так близко от меня! Я дрожал всем телом и принужден был сесть. Благоухание цветов, тихие звуки музыки, полумрак, даже мягкий эластичный диван — все это вместе перенесло меня в какой-то волшебный мир; да, только там я и мог надеяться встретиться с Бернардо! Вдруг в мою беседку впорхнула та самая красавица, на которую я обратил внимание; я взволновался еще больше, но в эту минуту Бернардо возвысил голос, она узнала его и убежала к нему. Раздался звук поцелуя... Меня так и кольнуло в сердце!..

И этого-то вероломного, легкомысленного человека предпочла мне Аннунциата! А он мог так скоро забыть ее и оскверняет свои уста, прикасаясь ими к образу красоты, запятнанному пороком! Я выбежал из комнаты и из самого дома. Сердце мое сжималось от гнева и боли; я успокоился лишь под утро.



Но вот настал и день моего публичного дебюта в театре Сан-Карло. Никогда еще я так искренно не молился Мадонне и всем святым, как в это утро. Я побывал у обедни, причастился и почувствовал себя подкрепленным и очищенным святым таинством. Одна только мысль нарушала мое спокойствие, столь нужное мне теперь: что, если и Аннунциата здесь, что, если Бернардо приехал с нею? Но Федерико справился и узнал, что ее не было в городе; зато Бернардо, согласно газетным известиям о приезжающих, находился здесь уже четыре дня. У Санты лихорадка все продолжалась, но я знал, что она будет в театре. Афиши, извещавшие о моем дебюте, были уже вывешены; Федерико развлекал меня рассказами; Везувий извергал огонь и пепел сильнее обыкновенного; все как будто волновалось вместе со мною.

Я должен был выступить по окончании оперы «Севильский цирюльник», но экипаж за мною послали гораздо раньше, едва опера началась. Если бы в эту минуту в карету рядом со мною села парка, готовясь перерезать своими ножницами нить моей жизни, я бы, кажется, сказал ей: «Режь скорее!» «Боже, устрой все к лучшему!» — вот о чем я молился дорогой.

В фойе артистов я встретил певцов и актеров труппы, нескольких любителей искусства и одного импровизатора, профессора французского языка, Сантини. Я был хорошо знаком с ним через Маретти. Завязался непринужденный разговор, все смеялись, шутили. Участвовавшие в опере приходили и уходили, словно на балу, — они чувствовали себя на сцене как дома.

— Уж мы зададим вам тему! — сказал Сантини. — Такой орех, что и не разгрызть! Но ничего, сойдет! Я помню, как я дрожал, выступая в первый раз. Однако все обошлось благополучно. Я, конечно, прибегнул к кое-каким маленьким уловкам: выучил наизусть несколько небольших стишков на темы о любви, о старине, о красоте Италии, о поэзии и об искусстве, которые всегда можно применить к делу, а кроме того, у меня были в запасе и два-три цельных стихотворения. — Я стал уверять его, что и не подумал о таких приготовлениях. — Да, да, так всегда говорят! — ответил он, смеясь. — Ну, ну, ладно! Мы знаем, что вы человек умный и выйдете из испытания с честью.

Опера кончилась; я стоял один посреди пустой сцены.

— Эшафот воздвигнут! — сказал, улыбаясь, режиссер и подал знак машинисту. Занавес взвился.

Я видел перед собою только какую-то черную бездну и с трудом различил лишь несколько ближайших голов возле самого оркестра да в крайних ложах; из этой бездны меня обдавало густым, теплым воздухом. Я чувствовал в себе мужество, которое удивляло меня самого. Правда, я был сильно взволнован, но так и следовало: для восприятия идей и впечатлений нужна известная нервная чуткость, гибкость души. Как зимою во время самых жестоких морозов воздух бывает всего чище и

яснее, так и в этом случае душевное напряжение обуславливало ясность мыслей. Все мои духовные способности пробудились, я был как нельзя более расположен импровизировать.

Каждый мог подать записочку с предложением темы; бумажки шли сначала на рассмотрение секретаря полиции, который наблюдал за тем, чтобы не пропустить какой-нибудь противозаконной темы, а после того предоставлялись на выбор мне. Первая попавшаяся мне записочка гласила: «Il cavalier servente». К сожалению, я имел об этой должности довольно смутное понятие, знал только, что cavalier servente, или чичисбей, — что-то вроде средневекового рыцаря, который хоть и не ломает за свою даму копий на арене, все-таки является ее верным слугою, заступающим в некоторых случаях место ее супруга. Я вспомнил знакомый сонет: «Femina di costume di maniere»¹, но не в силах был сразу связать с ним ни одной мысли. Я с любопытством развернул другую бумажку; на ней было написано: «Капри». И эта тема привела меня в смущение: я ни разу не был на упомянутом островке, видел его красивые очертания лишь из Неаполя, а то, чего не знаешь, мудрено и воспеть. Лучше уж было взять первую тему. На третьей бумажке было написано: «Неаполитанские катакомбы». В них я тоже не бывал никогда, но самое слово катакомбы напомнило мне римские катакомбы, в которых мы с Федерико заблудились, когда я был ребенком. Все это приключение разом воскресло в моей памяти, я взял несколько аккордов, и стихи сами собою полились из моих уст. Я рассказал в них то, что пережил сам, перенеся только действие из римских в неаполитанские катакомбы. И в этот вечер я во второй раз поймал нить счастья: меня приветствовал гром рукоплесканий, ударивший мне в голову, как шампанское. Затем мне задали новую тему: «Фата-моргана». Я не был знаком с этим воздушным явлением, которое наблюдается в Неаполе и Сицилии, но хорошо знал прекрасную фею Фантазию, обитающую в этих ослепительных воздушных замках. Я мог описать мир собственных грез; в нем также витали волшебные сады и замки: в моей душе жила ведь прекраснейшая Фата-Моргана!

Я быстро обдумал тему, и у меня сложился в голове небольшой рассказ; по мере же того, как я пел, рождались все новые и новые идеи.

¹ Обычай приставлять к дамам чичисбея ведет свое начало из Генуи. Тамошние купцы, часто отлучаясь по делам из дому и не желая запираить своих жен, вынуждены были вверять их попечению одного из своих друзей (обыкновенно из духовного звания), который и становился неизменным спутником и покровителем вверенной ему дамы. Впоследствии обычай этот вошел в моду, которой следовали уж все и каждый. Отношения между дамой и ее чичисбеем бывали зачастую истинно благородны и чисты, и известны даже случаи, что в надгробной речи умершему чичисбею воздавалась хвала именно за честное исполнение им своих обязанностей. Чичисбей оставался при своей даме безотлучно с той минуты, как она встанет, и до позднего вечера. Ему вменялось в долг выказывать ей величайшее внимание и предупредительность и относиться равнодушно ко всем остальным дамам.

Я описал местность — не называя ее, впрочем, по имени — возле маленькой покинутой церкви и грота Позилиппо, производшую на меня такое сильное впечатление своею романтичностью, а затем и самую церковь, обращенную теперь в жилище семьи рыбака. У окна, на стекле которого выжжено изображение святого Георгия, стоит постелька. В ней спит маленький мальчик. К нему является в ясную лунную ночь прелестная девочка, легкая, как эфир, с большими пестрыми крылышками за плечами. Она выводит мальчика из дому в зеленый виноградник, показывает ему тысячи невиданных чудес и играет с ним; потом они идут вместе в раскрывающуюся перед ними гору, видят там блестящие церкви с дивными образами и алтарями, переплывают через чудное голубое море на тот берег, где возвышается дымящийся Везувий; вулкан становится прозрачным, как стекло, и они видят, как кипит и бурлит в нем огненная лава. Посещают они и погребенные под землей города, о которых мальчик столько слышал. Народ, некогда населявший эти города, вновь оживает, и мальчик видит жизнь древних во всей ее роскоши и блеске, о каких не дают людям понятия отрытые ныне руины. Затем девочка привязывает свои крылья к плечам мальчика, сама она легка, как воздух, и не нуждается в них, и вот они летят над апельсиновыми рощами, над горами, над сочной зеленью болот, над мертвой Кампаньей, над древним Римом, пролетают над чудным голубым морем, далеко оставляют позади себя Капри и отдыхают на розовых облаках. Девочка целует мальчика и говорит, что ее зовут Фантазией, показывает ему дивный замок своей матери, построенный из воздуха и солнечных лучей, и они играют в этом замке, оба такие радостные, счастливые! Но по мере того как мальчик подрастает, девочка навещает его все реже и реже. Только в лунные ночи выглядывает она иногда из-за зелени виноградных лоз и ветвей апельсиновых деревьев, кивает ему головкой и исчезает. И он становится все грустнее и задумчивее. Вот он вырос и должен помогать своему отцу в его промысле, должен учиться грести, обращаться с парусами и править лодкой в бурю. Но чем старше он становился, тем сильнее тосковал о подруге детства, которая больше не являлась к нему. Часто, плывя лунной ночью по зеркальной поверхности моря, он опускал весла и смотрел в ясную прозрачную воду: он видел сквозь нее дно, покрытое песком и водяными растениями, а из-за них выглядывала своими чудными черными очами Фантазия! Она кивала ему и как будто манила к себе. Однажды утром рыбаки столпились на берегу: в лучах восходящего солнца, близехонько от Капри, сиял новый чудный остров, отливавший всеми цветами радуги, с светлыми башнями, звездами и ясными пурпурными облаками. «Фата-моргана!» — воскликнули все, восхищаясь дивным зрелищем, но молодому рыбаку оно было не в диковинку: он ведь сам играл в этом замке ребенком вместе с прекрасной Фантазией. Грусть и тоска охватили его, слезы затуманили его глаза, и знакомая картина сначала потускнела,

а затем исчезла бесследно. Ясным лунным вечером вновь возник над морем чудный замок из лучей и воздуха. И рыбаки, стоявшие на мысе, увидели лодку, несшуюся к диковинному плавучему острову с быстротой стрелы. Вдруг лодка исчезла, померкло и все сияющее видение; на море спустилось черное облако, поднялся и закружился смерч, заходили темно-зеленые волны... Смерч пронесся, море опять успокоилось, луна по-прежнему отражалась в голубой воде, но лодки уже не было видно; молодой рыбак исчез вместе с прекрасной Фата-Морганой!

Меня опять приветствовали рукоплесканиями; мужество и воодушевление мои все росли; каждая тема воскрешала во мне какое-нибудь воспоминание из моей собственной жизни, и мне оставалось только рассказать его. Импровизируя на тему «Тассо», я тоже говорил о самом себе; Леонорой была Аннунциата; мы виделись с нею при феррарском дворе; я вместе с Тассо страдал в темнице, вместе с ним наслаждался свободой, чуя смерть в груди, вместе с ним смотрел из Сорренто через волнующееся море на Неаполь, вместе с ним сидел под дубом у монастыря святого Онуфрия... Вот зазвонили в честь Тассо капитольские колокола, но ангел смерти уже венчал его венцом бессмертия! Сердце мое усиленно билось; мысли уносили меня в заоблачный мир. Наконец я начал последнюю импровизацию — «Смерть Сафо». Думая о Бернардо, я сам испытывал такие же муки ревности; поцелуй, который запечатлела на его лбу Аннунциата, жег мою душу. Красотой Сафо напоминала Аннунциату, любовными же страданиями — меня. И вот волны сомкнулись над головой Сафо.

Слушатели мои были тронуты до слез; со всех сторон раздались шумные аплодисменты. Занавес упал, но меня вызвали еще два раза. Я не помнил себя от радости, сердце мое разрывалось от избытка чувств. Меня обнимали и поздравляли, а я вдруг залился слезами. Остаток вечера я, впрочем, провел очень весело в обществе Сантини, Федерико и некоторых из певцов; все они пили за мое здоровье; я был счастлив, но уста мои словно сковал кто.

— Он — душа-человек! — шутливо сказал про меня Федерико. — Единственный недостаток его — он второй Иосиф! Наслаждайся жизнью, Антонио! Рви розы, пока они не увяли!

Поздно вернулся я домой, возблагодарил Мадонну и Иисуса и скоро заснул крепким сном.

САНТА. ИЗВЕРЖЕНИЕ. СТАРЫЕ СВЯЗИ

Утром я пошел к Федерико. Я чувствовал себя как бы совсем новым человеком, вновь обрел дар слова и мог высказать свою радость; вместе с тем я стал отзывчивее и к окружающей жизни, чувствовал себя как бы старше, зрелее, и все это благодаря росе поощрения, окропившей

вчера дерево моей жизни! Надо было сегодня же навестить Санту; она ведь вчера слушала меня, и я жаждал упиться ее похвалами. Маретти принял меня восторженно, но сказал, что Санта всю ночь провела в сильной лихорадке и теперь спит. Он надеялся, что сон подкрепит ее, и просил меня опять зайти к ним вечером.

Обедал я с Федерико и моими новыми друзьями; тосты следовали за тостами, пили то «*Lacrime Christi*», то калабрийское вино. Наконец я отказался пить, чувствуя, что кровь во мне разгорелась, хотя друзья и уговаривали меня прохладиться шампанским. Расстались мы в самом веселом расположении духа. Выйдя на улицу, мы увидели зарево сильного извержения. Многие уже спешили в экипажах на место катастрофы, чтобы полюбоваться этим грозным, но прекрасным зрелищем вблизи. Я же поспешил к Санте. Было это вскоре после «*Ave Maria*». Санта была дома одна и, по словам горничной, чувствовала себя лучше; сон подкрепил ее, и я мог войти к ней; кроме меня, она не велела принимать никого.

Я вошел в прелестную, уютную комнату; окна были завешаны длинными плотными занавесями; в углу красовалась чудная мраморная статуя Амура, точившего стрелы; причудливой конструкции лампа бросала на все какой-то волшебный отблеск; Санта в пеньюаре лежала на мягкой шелковой кушетке. Увидя меня, она полуприподнялась, придерживая одной рукой одеяло, а другую протянула мне.

— Антонио! — сказала она. — Как это было великолепно! Счастливцев! Вы всех привели в восторг! Ах, вы не знаете, как я боялась за вас, как билось мое сердце и как я была счастлива, убедившись, что вы превзошли все мои ожидания! — Я низко поклонился и спросил о ее здоровье. Она протянула мне руку, говоря, что ей лучше. — Даже гораздо лучше! — повторила она. — Вы тоже как будто переродились! Как вы были хороши вчера! Вдохновение преобразило вас в какое-то идеальное существо! И в каждом стихотворении я узнавала вас! Слушая о маленьком мальчике и художнике, заблудившихся в катакомбах, я представляла себе вас и Федерико.

— Так оно и было! — сказал я. — Я сам пережил все, о чем пел вчера.

— Да! — сказала она. — Вы сами пережили все, пережили и блаженство, и муки любви! Дай же вам Бог изведать то счастье, которого вы достойны!

Я заговорил о том превращении, которое испытывал во всем своем существе и которое заставляло меня смотреть на жизнь совсем иными глазами. Санта слушала меня, не выпуская моей руки и не сводя с меня своих темных выразительных глаз. Она была сегодня еще прекраснее обыкновенного; легкий румянец играл на ее щеках, длинные блестящие волосы были гладко зачесаны назад и открывали прекрасно сформированный лоб; она напоминала Юнону, изваянную Фидием.

— Да, вы должны жить для света! — сказала она. — Вы его достойны! Вы можете радовать и восхищать своим талантом миллионы людей, так не давайте же себе мучиться мыслью о каком-нибудь одном существе! Вы достойны любви, вы восхищаете своей душой, своим талантом. — С этими словами она притянула меня к себе на кушетку. — Надо нам поговорить серьезно. Мы еще не беседовали с вами как следует с того самого вечера, когда вы были так удручены горем... Вы, кажется... как бы это сказать?... не поняли меня тогда!..

Да, так оно и было, и я много раз уже упрекал себя за это.

— Я недостоин вашей доброты! — сказал я, целуя ее руку и прямо и просто глядя в ее темные глаза, смотревшие на меня как-то особенно пристально, словно прожигавшие меня насквозь. Погляди на нас в эту минуту кто-нибудь посторонний, он, наверное, нашел бы тени там, где я видел один свет; я смотрел в эту минуту на Санту, как на сестру. Она и сама, видимо, была тронута; грудь ее высоко вздымалась, и она развязала пояс, чтобы дышать свободнее.

— Вы достойны меня! — сказала она. — Ум и красота делают вас достойным каждой женщины! — Она положила мне руку на плечо, посмотрела мне в глаза и с какой-то многозначительной улыбкой добавила: — И я могла думать, что вы живете только в мире идеалов! Ваш ум, ваше образование даруют вам победу! Вот почему лихорадочный жар горел у меня в крови, вот почему я была больна!.. Вы можете сделать со мной все, Антонио! Я день и ночь думаю, мечтаю о вашей любви, жажду ваших поцелуев! — Она крепко прижала меня к своей груди; губы ее горели, и поцелуй ее зажег во мне всю кровь... Матерь Божия! Со стены упало на меня в эту минуту Твое святое изображение! Да, это была не случайность! Нет, Ты сама дотронулась до моего чела, Ты не дала мне пасть в бездну пагубной страсти!

— Нет! Нет! — вскричал я и вскочил с кушетки. Кровь во мне горела, словно расплавленная лава.

— Антонио! — воскликнула она. — Убей меня, но не уходи! — Ее щеки, ее глаза, все лицо ее дышало страстью, и она была в эту минуту дивно хороша! Это было живое изображение красоты, набросанное пламенными чертами. Трепет пробежал у меня по телу, и я, не говоря ни слова, выбежал из комнаты и помчался вниз по лестнице, словно за мной гнался злой дух.

В воздухе было разлито такое же пламя, как и в моей крови. Везувий стоял весь в огне; извержение освещало и город, и все окрестности. «Воздуха! Воздуха!» Я просто задыхался, поспешил на набережную и спустился к самой воде. От прилива крови к голове у меня горели даже глаза. Я освежил свой лоб соленой водой, расстегнул жилет, чтобы было прохладнее, но самый воздух пылал от жара, а в море играл багровый отблеск огненной лавы, мощным потоком струившейся из кратера. Предо мною же как живая



все стояла Санта, смотревшая на меня умоляющим, пламенным взором. Слова ее: «Убей меня, но не уходи!» — не переставали звучать у меня в ушах. Я закрыл глаза и вознес мысли к Богу, но пламя греха словно опалило им крылья, и они бессильно опустились. Немудрено, что человек изнемогает под бременем дурной совести, если одна мысль о грехе так удручает и обессиливает его!

— Не желает ли Есселенза переехать к Торре-дель-Аннунциата? — раздался возле меня чей-то голос, и имя Аннунциаты вновь взволновало мою душу.

— Лава протекает три аршина в минуту! — продолжал перевозчик, причаливая к берегу. — В полчаса мы будем на месте.

«На море прохладнее!» — подумал я и вскочил в лодку. Перевозчик отчалил, поднял парус, и мы понеслись по багровой воде на крыльях ветра. Прохладный ветерок обдувал мои щеки, я стал дышать свободнее и, когда мы пристали к противоположному берегу залива, уже чувствовал себя значительно лучше, спокойнее. «Никогда больше не пойду к Санте! — твердо решил я. — Я убегу от прекрасной змеи, показывающей мне плод познания добра и зла! Пусть смеются надо мною: мне легче перенести насмешки людские, нежели отчаянные вопли моего собственного сердца. Мадонна уронила со стены Свое святое изображение, чтобы помешать моему падению!» Я глубоко чувствовал Ее милость ко мне, и душа моя прониклась несказанной радостью — сердце мое воспевало победу добрых, благородных стремлений, я опять был чист душой и помыслами, как дитя! «Отец, устрой все к лучшему!» — прошептал я, и радостно, словно счастье мое уже было упрочено, побежал по улицам маленького городка, направляясь к большой дороге. Здесь царила страшная суматоха. Кареты и кабриолеты, переполненные людьми, безостановочно мчались мимо; слышались вопли отчаяния, восклицания восторга и пение; вся окрестность была как бы объята пламенем. Поток лавы уже достиг одного из маленьких городков, расположенных на склоне горы, и жители торопились спасти свою жизнь и имущество. Навстречу мне то и дело попадались женщины с грудными детьми на руках и с узелками под мышками. Все они плакали и вопили; я разделил между первыми же попавшимися мне навстречу бывшую при мне небольшую сумму денег. Затем я последовал за общим потоком народа, стремившимся к месту катастрофы, по дороге между двумя рядами виноградников. Вот между вулканом и нами остался лишь небольшой виноградник. Поток лавы, низвергавшийся с вершины горы, заливал строения и стены. Стоны и вопли беглецов, восторженные возгласы иностранцев, любовавшихся величественным зрелищем, крики кучеров и торговцев, толпы подвыпивших крестьян, толпившихся возле продавцов водки, всадники и экипажи — все это, освещенное огненным заревом, представляло картину, которую во всей ее целостности и не описать, не передать словами. Можно было

подойти почти к самому потоку лавы, текущему по одному определенному направлению. Многие обмакивали в нее палки или монеты и вытаскивали их обратно покрытыми лавой. Но что за грозно-прекрасное зрелище представлялось нашим глазам, когда от огненной массы, катившейся с высоты, отрывался словно морской вал! Оторвавшийся кусок сиял лучезарной звездой, затем, под влиянием воздуха, края его охлаждались и чернели, и огненная середина казалась куском золота в черной оправе. На одно из деревьев в винограднике повесили образ Мадонны в надежде, что пламя остановится пред святыней, но оно продолжало разливаться. Листья на высоких деревьях свертывались от жары в трубочки, а вершины пригибались к земле, словно прося пощады. Взоры толпы с упованием смотрели на святое изображение, но дерево склонялось к огненному потоку все ниже и ниже. Возле меня стоял капуцин; он воздел руки к небу и громко воскликнул: «Образ Мадонны сгорит! Спасите его, и Она спасет вас всех от огня и пламени!» Никто не трогался с места; все словно оцепенело от ужаса. Вдруг сквозь толпу пробилась женщина и, призывая Мадонну, хотела броситься навстречу огненной смерти. Но в ту же минуту возле нее очутился какой-то офицер верхом на лошади и преградил женщине дорогу своим обнаженным мечом.

— Безумная! — воскликнул он. — Мадонна не нуждается в твоей помощи! Она хочет, чтобы ее дурно написанное изображение, оскверненное руками грешников, сгорело в огне! — Это был Бернардо; я узнал его по голосу. Его находчивость спасла человеческую жизнь, не оскорбляя религиозного чувства народа. Я проникся уважением к нему и от души пожелал, чтобы ничто не разлучало нас с ним. Но как ни влекло меня к нему мое сердце, я не решился подойти.

Огненный поток уже покрыл и дерево, и образ Мадонны. Я стоял неподалеку от того места, прислонясь к стене, близ которой сидела за столом группа иностранцев.

— Антонио! Ты ли это? — услышал я вдруг позади себя чей-то голос. Я обернулся, думая, что это заговорил со мной Бернардо; в ту же минуту кто-то пожал мне руку; это был Фабиани, муж Франчески, знававший меня еще ребенком! А я-то, судя по письму Есселенца, думал, что и он тоже сердится на меня! — Так вот где мы встретились! — продолжал он. — Франческа будет рада видеть тебя. Но с твоей стороны нехорошо, что ты до сих пор не отыскал нас здесь. Мы ведь уже целую неделю живем в Кастелламаре.

— Я не знал! — ответил я. — А кроме того...

— Да, да, ты ведь вдруг стал другим человеком, влюбился даже, — прибавил он более серьезным тоном, — дрался на дуэли, потом бежал, чего уж я никак не могу одобрить. Мы были очень поражены, узнав обо всем этом от Есселенца. Он, конечно, писал тебе и, вероятно, не особенно ласково!

Сердце мое сильно билось; я опять почувствовал себя опутанным цепью благодеяний и с прискорбием выразил сожаление о том, что благодетели мои отвернулись от меня.

— Полно, полно, Антонио! — сказал Фабиани. — Ничего такого нет! Садись со мной в карету; для Франчески твое появление будет приятным сюрпризом. Мы живо будем в Кастелламаре, а в гостинице найдется место и для тебя. Ты должен рассказать мне обо всем. Глупо отчаиваться! Есселенза горяч, ты его знаешь, но все еще обойдется!

— Нет, я не могу! — вполголоса ответил я, опять впадая в уныние.

— Можешь и должен! — сказал Фабиани твердо и повлек меня к карете. Я должен был рассказать ему все. — Надеюсь, что ты не импровизируешь? — спросил он с улыбкой, когда я дошел до приключения в разбойничьей пещере. — Все это до того романтично, что рассказ твой кажется скорее продиктованным фантазией, нежели памятью!.. Ну, это чересчур сурово! — отозвался он, узнав содержание письма Есселенза. — Но видишь ли, он оттого так строго и отнесся к тебе, что любит тебя. Ты, однако, надеюсь, не выступал еще на театральных подмостках?

— Вчера вечером! — ответил я.

— Смело! Ну и что же?

— Я имел огромный успех! Меня вызвали два раза!

— Вот как! — В тоне его звучало сомнение, которое больно уязвило меня, но чувство благодарности, которой я был обязан его семье, сковало мои уста. Мне было неловко предстать перед Франческой; я ведь знал ее строгие принципы. Но Фабиани шутливо успокаивал меня, говоря, что на этот раз дело обойдется без грозной проповеди, маленькой же головомойки я заслуживал.

Мы подъехали к гостинице.

— А, Фабиани! — воскликнул молодой, щегольски одетый и завитой господин, бросаясь ему навстречу. — Хорошо, что ты приехал! Твоя синьора ждет тебя не дождется. А! — прибавил он, увидев меня. — Ты привез с собой молодого импровизатора!.. Ченчи, не так ли?

— Ченчи? — повторил Фабиани, удивленно глядя на меня.

— Я выставил это имя на афише! — ответил я.

— Вот как! — сказал он. — Что же, это умно!

— Вот кто мастерски воспевает любовь! — продолжал незнакомец. — Жаль, что тебя не было вчера в Сан-Карло! Это такой талант! — Тут он любезно протянул мне руку и выразил свое удовольствие познакомиться со мною. — Я ужинаю с вами! — обратился он затем к Фабиани. — Я сам напрашиваюсь, чтобы иметь удовольствие насладиться обществом нашего превосходного певца! Ты и твоя супруга, надеюсь, не закроете передо мною дверей?..

— Ты всегда желанный гость! Сам знаешь! — ответил Фабиани.

— Ну, так представь же меня господину импровизатору!

— Что за церемонии! — сказал Фабиани. — Мы с ним так близко знакомы, что моим друзьям нет надобности представляться ему. Он, конечно, за честь почтет познакомиться с тобой. — Я поклонился, хотя и не особенно был доволен тоном и выражениями Фабиани.

— Ну, так я представляюсь сам! — сказал незнакомец. — Вас я уже имею честь знать, меня же зовут Джена́ро. Я офицер королевской гвардии и из хорошей, многие говорят даже — первой, неаполитанской фамилии! Может статься, это и правда! Особенно любят утверждать это мои тетушки!.. Но я несказанно рад познакомиться с таким даровитым молодым человеком, который...

— Довольно, довольно! — перебил Фабиани. — Он не привык к подобному обращению. Ну, теперь вы знаете друг друга. Франческа ждет нас. Предстоит сцена примирения между нею и твоим импровизатором. Может быть, тогда тебе и выпадет случай вновь блеснуть своим красноречием.

Последняя фраза тоже была мне не по сердцу, но Фабиани и Джена́ро были ведь друзьями, да и как мог Фабиани войти в мое положение? Он ввел нас к Франческе; я невольно отступил на несколько шагов назад.

— Наконец-то, милый мой Фабиани! — сказала она.

— Наконец! — повторил он. — Да и не один, а с двумя гостями!

— Антонио! — громко вырвалось у нее, но затем она понизила голос: — Синьор Антонио! — И она устремила на нас с Фабиани строгий, серьезный взгляд. Я поклонился, хотел было поцеловать ее руку, но она как будто не заметила этого и протянула руку Джена́ро, выражая свое удовольствие видеть его у себя за ужином. — Расскажи же мне об извержении! — обратилась она затем к мужу. — Что, поток лавы переменил направление?

Фабиани удовлетворил ее любопытство, а затем рассказал о нашей встрече и прибавил, что я теперь у нее в гостях и что она поэтому должна сменить гнев на милость.

— Да, да, хоть я и не знаю, в чем он провинился! — подхватил Джена́ро. — Но гению прощается все!

— Вы сегодня в превосходном расположении духа! — сказала ему Франческа и, милостиво кивнув мне, стала уверять Джена́ро, что ей не за что прощать меня. — Ну, что у вас нового сегодня? — спросила она его затем. — Что говорят французские газеты? Как вы провели вчерашний вечер?

На первые вопросы он ответил вскользь, последний же, видимо, интересовал его, и он пустился в подробности.

— Я был в театре, слушал последний акт «Цирюльника». Жозефина пела, как ангел, но после Аннунциаты никто ведь не может удовлетворить. Я, впрочем, зашел главным образом ради дебюта нового импровизатора.

— Что же, остались довольны? — спросила Франческа.

— Он превзошел мои ожидания, да и не мои одни! Я не желаю льстить ему, да он и не нуждается в моей ничтожной критике, но скажу я вам, вот это так импровизатор! Он увлек нас всех! Сколько чувства, какая богатая фантазия. Он пел и о Тассо, и о Сафо, и о катакомбах! Стоило бы записать и сохранить все эти стихи!

— Да, такому счастливому таланту нельзя не удивляться! — сказала Франческа. — Хотелось бы мне быть там вчера!

— Да ведь импровизатор-то здесь налицо! — сказал Джена́ро, указывая на меня.

— Антонио?! — вопросительно протянула она. — Разве он импровизировал?

— И еще как! Мастерски! — ответил Джена́ро. — Но ведь вы же знаете синьора и должны были слышать его раньше?

— Слышали, слышали, и даже часто! — сказала она, смеясь. — Он еще мальчиком удивлял нас.

— Я даже увенчал его в первый раз лаврами! — так же шутливо прибавил Фабиани. — Он воспел мою жену — тогда еще невесту. Вот я как влюбленный и почтил ее в лице ее певца. Но теперь за стол! Ты поведешь Франческу, а так как дам больше нет, то мы пойдем с импровизатором. Синьор Антонио! Предлагаю вам свою руку! — И он ввел меня вслед за другими в столовую.

— Но почему ты никогда не говорил мне о Ченчи, или как там настоящее имя нашего молодого импровизатора? — спросил Джена́ро, обращаясь к Фабиани.

— Мы зовем его Антонио! — сказал Фабиани. — И мы даже не знали, что он выступил в качестве импровизатора. Вот отчего я и говорил о примирении. Надо сказать тебе, что он как бы член нашей семьи. Не правда ли, Антонио? — Я поклонился и поблагодарил его взглядом. — Он отличный малый, про характер его тоже нельзя сказать ничего дурного; одно — серьезно учиться не хочет!

— Ну, если он предпочитает учиться всему из великой книги природы, так беды еще нет!

— Вы не должны захваливать его! — шутливо прервала его Франческа. — Мы-то думали, что он весь ушел в своих классиков, в физику и математику, а он себе сгорал в это время от любви к молодой певице!

— Значит, в нем заговорило чувство! — сказал Джена́ро. — А она красива? Как ее зовут?

— Аннунциата! — ответила Франческа. — Дивный талант! Удивительная женщина!

— О, в нее я и сам был влюблен! У него есть вкус! За здоровье Аннунциаты, господин импровизатор! — Он чокнулся со мной. Я не мог вымолвить ни слова. Мне было больно, что Фабиани так легко

относился к моему чувству и бередил мою рану в присутствии постороннего. Но ведь он смотрел на все совсем иными глазами, нежели я.

— Да! — продолжал между тем Фабiani. — Он даже дрался из-за нее на дуэли, прострелил своему сопернику, племяннику сенатора, бок, ну и должен был бежать из Рима. Бог знает, как он перебрался через границу. А вот теперь взял да выступил в Сан-Карло. Право, я и не ожидал от него такой прыти!

— Племяннику сенатора? — повторил Джена ро. — Вот интересно! А он как раз прибыл сюда на днях и поступил на королевскую службу. Я провел с ним вечер. Красивый, интересный молодой человек... А! Теперь я понял все! Аннунциата скоро приедет сюда, и возлюбленный поспешил вперед. Скоро, вероятно, мы прочтем на афише, что певица поет в последний раз!

— Вы думаете, он женится на ней? — спросила Франческа. — Но ведь это вызвало бы семейный скандал!

— Бывали примеры, — сказал я дрожащим голосом, — что люди благородного звания считали за честь для себя и за счастье получить руку артистки!

— За счастье, может быть, но за честь — никогда! — сказала она.

— И за честь, синьора! — вмешался Джена ро. — Я бы сам почел за честь, если бы она остановила свой выбор на мне! Думаю, что и другие тоже. — И они долго, долго еще говорили об Аннунциате и Бернардо, забывая, какой тяжестью ложилось мне на сердце каждое их слово — Но вы должны доставить нам удовольствие своей импровизацией! Синьора задаст вам тему! — вдруг сказал Джена ро.

— Хорошо! — сказала, улыбаясь, Франческа. — Воспой нам любовь. Это самая интересная тема для Джена ро, да и твоему сердцу она очень близка.

— Да, да, любовь и Аннунциату! — повторил Джена ро.

— В другой раз я готов на все, чего вы потребуете! — сказал я. — Но сегодня я не могу — я не совсем здоров. Я без плаща проехался по морю, от потоков лавы разливался такой жар, а потом я опять ехал по вечернему холоду...

Джена ро продолжал настаивать, но я не мог принудить себя петь в этом месте и на эту тему.

— Он уже усвоил себе замашки артистов! — сказала Франческа. — Он хочет, чтобы его упрашивали. Ты, пожалуй, не захочешь и поехать с нами завтра в Пестум? А там ты мог бы запастись впечатлениями для своих импровизаций! Но, конечно, надо заставить просить себя, хоть и вряд ли что может задерживать тебя в Неаполе. — Я смущенно поклонился, не находя предлога для отказа.

— Да, да, он должен ехать с нами! — воскликнул Джена ро. — Там, в греческих храмах, на него снизойдет вдохновение, и он запое т, как сам Пиндар.

— Мы едем завтра! — сказал Фабиани. — Вся поездка займет четыре дня. На обратном пути мы посетим Амальфи и Капри. Так ты с нами?

Скажи я «нет», это, как видно из последствий, может быть, изменило бы все мое будущее. Эта короткая четырехдневная поездка стоила мне шести лет жизни. И еще говорят, что человек свободен в своих поступках! Да, мы свободны ухватиться за нити, которые лежат перед нами, но мы не видим, к чему они прикреплены. Я поблагодарил за приглашение и согласился — схватился за нить и плотнее затянул завесой свое будущее.

— Завтра мы еще поговорим! — сказала Франческа, прощаясь со мною после ужина и протягивая мне для поцелуя руку.

— Я сегодня же напишу Eccellenza! — сказал Фабиани. — Я хочу подготовить примирение.

— А я постараюсь увидеть во сне Аннунциату! — сказал Джена-ро. — Вы ведь не вызовете меня за это на дуэль! — прибавил он, смеясь и пожимая мне руку.

Я написал несколько слов Федеригио, сообщая ему о встрече с родственниками Eccellenza и о моем отъезде на несколько дней. Окончив письмо, я отдался волновавшим меня чувствам. Сколько принес мне с собою сегодняшний вечер! Какое неожиданное стечение обстоятельств! Я вспоминал Санту, Бернардо перед пылавшим образом Мадонны и эти последние часы, обновившие для меня прежние отношения. Вчера совсем чужая для меня публика восторженно рукоплескала мне, еще сегодня вечером прекрасная женщина молила меня об одном ласковом взгляде, а час спустя я сидел среди друзей, которым был обязан всем, и опять превратился в бедняка, первым долгом которого была благодарность!

Но ведь Франческа и Фабиани были любезны со мною! Они приняли блудного сына, посадили меня с собою за стол, пригласили участвовать в их поездке — благодеяние за благодеянием, они любили меня!.. Но небрежно швыряемый дар богача тяжелым камнем ложится на сердце бедняка!

ПОЕЗДКА В ПЕСТУМ. ГРЕЧЕСКИЕ ХРАМЫ. СЛЕПАЯ

Красот Италии нечего искать в Кампанье или в Риме; я наслаждался ими мельком только в поездку на озеро Неми да на пути в Неаполь. Поэтому красоты, открывшиеся мне во время четырехдневного путешествия с Фабиани и Франческой, действовали на меня еще сильнее, нежели на туристов-иностранцев, знакомых с красотами других стран и, таким образом, имеющих возможность сравнивать. В памяти моей эта поездка представляется мне путешествием в волшебное царство, в мир фантазии, но как передать, как описать картины, которыми упивались тогда мой взор, вся

моя душа! Красот природы нельзя передать словами. Слова примыкают к словам, как кусочки мозаики, и вся картина создается лишь по частям, постепенно, а не предстает взору сразу во всей своей величавой целости, как в действительности. Рассказчик рисует отдельные ее части, и слушатель уже сам должен составить из них целое; но скольким бы лицам ее ни описывали, все представят ее себе различно. Одним словом, в данном случае происходит то же, что бывает, если говорят о каком-нибудь красивом лице: описывая отдельные черты его, вы все-таки не дадите о нем настоящего цельного представления; только посредством сравнения с другими, известными вашему собеседнику предметами, да еще подробно перечислив все мельчайшие уклонения от этого сходства, можете вы дать ему о данном лице мало-мальски удовлетворительное представление.

Если бы меня заставили импровизировать на тему «Красоты Гесперийского царства», я бы только нарисовал верную картину того, что видел в это краткое путешествие. Тот же, кто никогда не бывал в Южной Италии, не может и создать себе о ней верного понятия, как ни напрягай он свою фантазию! Природа богаче всякой человеческой фантазии!

Мы выехали из Кастелламаре ранним утром. Погода была чудная. Я теперь еще вижу перед собой дымящийся Везувий, прекрасную долину, покрытую густыми виноградниками, стены гордых замков, белеющие на открытых зеленых скалах или выглядывающие из темных оливковых рощ, и древний храм Весты с его мраморными колоннами и куполом — ныне церковь Санта-Мария Маджоре. Часть стены обрушилась, отверстие заткнуто человеческими черепами и костями, но их обвивают зеленые лозы дикого винограда, словно желающие скрыть силу и могущество смерти. Вижу я еще и причудливые очертания гор, и одинокие башни, на которых были развешаны сети для ловли морских птиц. Глубоко под нами лежал Салерно, раскинувшийся на берегу темно-голубого моря. Нам попалась навстречу телега, запряженная двумя белыми длиннорогими быками; в ней лежали четверо скованных разбойников; злые глаза их так и сверкали, из уст вырывались безобразные насмешки. Черноглазые красивые калабрийцы с ружьями на плечах конвоировали телегу. Благодаря этой встрече только что описанная картина еще сильнее врезалась в мою память.

Салерно — средоточие науки в средние века, был первой целью моего путешествия.

— Фолианты рассыпаются в прах! — сказал Дженао. — Позолота учености сходит с Салерно, но книга природы ежегодно выходит новым изданием, и Антонио, как и я, думает, что из нее можно научиться большему, нежели из прочего ученого хлама!

— Нельзя пренебрегать ни тем, ни другим; это — как хлеб и вино; одно не заменяет другого! — возразил я. Франческа нашла, что я прав.

— Да, говорить-то он мастер! — заметил Фабиани. — А вот докажи-ка нам это на деле, когда вернешься в Рим!

В Рим? Я должен вернуться в Рим? Этого мне и в голову не приходило. Я молчал, но в душе живо сознавал, что не могу, не должен возвращаться в Рим, в прежнюю обстановку. Фабиани продолжал разговор с другими, и не успели мы оглянуться, как уже прибыли в Салерно. Прежде всего мы отправились в церковь.

— Здесь я могу служить вам чичероне! — сказал Дженао. — Это капелла святого отца Григория VII, умершего в Салерно. Вот его памятник пред алтарем. А вот тут покойся Александр Великий! — продолжал он, указывая на величественный саркофаг.

— Александр Великий? — вопросительно протянул Фабиани.

— Конечно! Не так ли? — спросил Дженао церковного сторожа.

— *Esceienza* прав! — ответил он.

— Это недоразумение! — возразил я, поближе присмотревшись к саркофагу. — Александр не может быть погребен здесь; это противоречит всем историческим данным. На гробнице только изображено триумфальное шествие Александра, вот отчего, вероятно, ее и прозвали Александровой! — При самом входе в церковь нам уже показывали подобный же саркофаг с изображением триумфа Вакха; он был взят из одного из древних храмов в Пестуме и теперь украшал могилу какого-то князя; на древнем саркофаге помещалась и мраморная статуя князя, изваянная современным художником. Рассматривая так называемый саркофаг Александра, я вспомнил о первом саркофаге, и мне пришло в голову, что оба одинакового происхождения. Соображение это показалось мне довольно остроумным, и я принялся горячо развивать свою мысль, но Дженао отозвался на это только сухим «может быть», Франческа же шепнула, что мне некстати воображать себя умнее и знающее Дженао. Я почтительно замолчал и стушевался.

Вечером, незадолго до «*Ave Maria*», мы сидели с Франческой на балконе гостиницы. Фабиани гулял с Дженао, и мне было предоставлено занимать синьору.

— Что за дивная игра красок, — начал я, указывая на молочно-белое море, начинавшееся у конца улицы, вымощенной широкими плитами лавы, и уходившее в пурпурную сияющую даль. Горы были окрашены в темно-синий цвет; такого богатства красок я не видывал в Риме.

— Облако уже пожелало нам *felissima notte*! — сказала Франческа, указывая на облачко, отдыхавшее на горе выше разбросанных по ней вилл и оливковых лесов, но гораздо ниже древнего замка, достигавшего зубцами своих башен почти до самой вершины горы.

— Вот где хотел бы я жить! — сказал я. — Обитать высоко над облаками и оттуда любоваться вечно изменчивой красой моря!

— Да, там бы ты мог импровизировать на просторе! — улыбаясь, ответила Франческа. — Только никто не услышал бы тебя там, а это ведь было бы для тебя большим лишением, Антонио!

— О да! — так же шутливо сказал я. — Если уж быть откровенным, то, по-моему, импровизатору не обойтись без рукоплесканий, как дереву без лучей солнца! Это лишение, мне кажется, и угнетало Тассо в темнице не меньше, чем его несчастная любовь.

— Милый мой! — прервала она меня серьезным тоном. — Мы говорим о тебе, а не о Тассо. При чем тут он?

— Я взял его для примера! Тассо был поэт и...

— И ты тоже воображаешь себя поэтом? Милый Антонио, ради Бога, не впутывай ты имен бессмертных поэтов, когда дело идет о тебе самом! Не воображай себя поэтом и импровизатором потому только, что у тебя восприимчивая натура и ты в состоянии увлекаться творениями великих поэтов! Таких, как ты, тысяча! Не губи же себя таким самомнением!

— Но ведь тысячи же и аплодировали мне недавно! — возразил я, весь вспыхнув. — Что же мудреного, если я вообразил себя... И я знаю людей, которые радуются моему счастью и признают за мной кое-что хорошее!

— Я первая! Мы все отдаем должное твоему прекрасному сердцу, твоему благородному характеру! И я ручаюсь, что за них-то и Есселенза простит тебе все! Кроме того, у тебя прекрасные способности, которые могут еще развиться, но их непременно надо развивать, Антонио! Ничто не дается нам само собою! Надо трудиться! У тебя есть талант, симпатичный талант, ты можешь радовать им своих друзей, но мирового значения он иметь не может, слишком он невелик!

— Но ведь Джена́ро, совершенно посторонний мне человек, был в восторге от моего первого дебюта!

— Джена́ро! — ответила она. — Я уважаю его, но как ценителя искусства ставлю очень невысоко. Что же касается до одобрения большой публики, то артисты зачастую перетолковывают его по-своему, придают ему совсем не то значение, какое оно имеет на самом деле. Но хорошо, конечно, что тебя не освистали; это огорчило бы меня. Слава Богу, что все обошлось благополучно; теперь можно надеяться, что скоро и ты, и импровизации твои будут забыты. К счастью, ты и выступил под чужим именем. Через три дня мы вернемся в Неаполь, а еще через день уедем в Рим. Смотри тогда на случившееся с тобою в Неаполе, как на сон, чем все это, в сущности, и было, и докажи нам своим прилежанием и благоразумием, что ты окончательно пробудился! Не возражай! Я желаю тебе добра, и я одна говорю тебе правду. — Она протянула мне руку и позволила поцеловать ее.

На следующий день нам предстояло выехать в путь на заре, чтобы успеть провести несколько часов в Пестуме и в тот же день вернуться обратно в Салерно: ночевать в Пестуме нельзя, да и дорога туда небезопасна. Нас поэтому сопровождал вооруженный конвой. По обе стороны дороги шли апельсиновые сады, вернее — ро́щи; мы переправились через реку Селу, отражающую в зеркале своих вод плакучие ивы и лавровые

деревья. Тучные хлебные поля были окаймлены цепью гор. По дороге росли алоэ и кактусы; вообще растительность поражала своим богатством. Наконец мы завидели и воздвигнутые две тысячи лет тому назад величественные храмы, поражающие красотой и чистотой стиля. Они-то, жалкий постоялый двор, три бедных домика да несколько соломенных шалашей и составляли теперь весь некогда знаменитый город. Мы не нашли здесь ни одного розового куста, а в древности Пестум славился розами; в те времена окрестности его алели пурпуром, а теперь отливали той же синевой, как и цепи гор. Между репейником и другими кустами массаами пробивались душистые фиалки. Да, растительность здесь поражала своей роскошью, храмы красотой, а жители бедностью. Нас обступили целые толпы нищих, напоминавших дикарей с островов южного океана. Мужчины ходили в длинных, вывернутых шерстью наружу овчинных тулупах, но с голыми ногами; густые черные волосы космами висели вокруг бронзовых лиц. Стройные, прекрасно сложенные девушки тоже ходили полунагие, в одних коротеньких рваных юбках; голые плечи были прикрыты темными плащами из грубой материи, а длинные черные волосы связаны на затылке в узел; глаза горели огнем. Между ними я заметил девушку лет одиннадцати; она не была похожа ни на Аннунциату, ни на Санту, но могла назваться самой богиней красоты. Глядя на нее, я вспомнил Венеру Медицейскую, которую описывала мне Аннунциата. Я не мог бы влюбиться в нее, но готов был преклониться перед ее красотой. Она стояла несколько поодаль от остальных нищих; четырехугольный кусок какой-то темной материи свободно висел на одном плече; другое же плечо, грудь, руки и ноги были обнажены. Видно было, однако, что и она заботится о своей внешности: на гладко причесанных волосах красовался венок из фиалок, обрамлявший ее прекрасный, чистый лоб. Лицо девушки выражало ум, стыдливость и какую-то затаенную скорбь; глаза были опущены вниз, словно она чего-то искала на земле.

Дженаро первый заметил ее и, хотя она не говорила ни слова, дал ей монету; потом взял ее за подбородок и заявил, что она чересчур красива, чтобы ходить по миру. Франческа и Фабиани были с ним вполне согласны. Нежный румянец разлился по смуглому лицу девушки; она подняла глаза, и я увидел, что она слепа. Мне тоже хотелось дать ей денег, но я не смел. Когда же остальное общество, преследуемое толпой нищих, направилось в гостиницу, я быстро вернулся назад и вложил в руку девушки скудо. Она осязанием узнала стоимость монеты, щеки ее вспыхнули, она наклонилась, и ее прекрасные свежие уста коснулись моей руки. Я весь вздрогнул, вырвал у нее руку и поспешил догнать остальных.

В большом камине, занимавшем чуть не всю стену комнаты, пылал огонь. Дым клубами взвивался к закопченному потолку; пришлось выйти на воздух. Нам стали накрывать стол в тени высоких плакучих ив, но мы, прежде чем позавтракать, решили осмотреть храмы. Пришлось пробираться

сквозь густую чащу кустов. Фабиани и Джена́ро сложили руки наподобие носилок и понесли Франческу.

— Ужасное путешествие! — говорила она, смеясь.

— Помилуйте, Eccellenza! — сказал один из наших проводников. — Теперь здесь превосходно! А вот года три тому назад так и впрямь прохода не было — один терн! Когда же я был ребенком, самые колонны были покрыты землей и песком. — Остальные проводники подтвердили его слова. Мы продолжали идти вперед в сопровождении толпы нищих, молча поглядывавших на нас. Стоило же нам встретиться с одним из них глазами, он тотчас же машинально протягивал руку и затыгивал свое «*miserabile*». Слепой девушки между ними, однако, не было; она, вероятно, осталась сидеть у дороги. Мы прошли мимо развалин театра и храма Мира.

— Храм Мира и театр! — сказал Джена́ро. — Как они могли очутиться в соседстве?

Вот мы добрались и до развалин храма Нептуна, который вместе с так называемой базиликой и храмом Цереры восстал в наше время из мрака забвения, как новая Помпея. Целые века лежали эти храмы в прахе, скрытые в чаще растений, пока один художник-иностранец, в поисках сюжетов для своих эскизов, не набрел на это место и не заметил вершин колонн. Восхищенный их красотой, он срисовал их, и они получили известность. Чашу расчистили, и мощные колоннады восстали в прежнем своем великолепии. Они из желтого травертинского камня; их обвивают лозы дикого винограда, пол в храмах порос фиговыми деревьями, а из всех трещин и щелей пробиваются фиалки и темно-красные левкой.

Мы присели на подножие сломанной колонны, и Джена́ро отогнал докучливых нищих, чтобы дать нам возможность спокойно насладиться видом роскошной природы. Голубые горы, море, красота самой местности произвели на меня чарующее впечатление.

— Ну, дай же нам теперь послушать тебя! — сказал Фабиани; Франческа выразила то же желание. Я оперся о ближайшую колонну и стал воспевать, на мотив одной знакомой мне с детства песни, красоту окружающей нас природы и дивных памятников искусства. Затем мне вспомнилась слепая девушка, от которой все это великолепие было скрыто, и я стал петь о ее убожестве. Она была вдвойне бедна, вдвойне несчастна! На глазах у меня навернулись слезы. Джена́ро принялся аплодировать, а Фабиани и Франческа согласились, что у меня есть чувство. Затем они спустились по ступеням вовнутрь храма; я медленно поплелся за ними и вдруг за колонной, на которую сейчас опирался, увидел какую-то человеческую фигуру; она сидела или, вернее, лежала под благоухающим миртовым кустом, уткнув голову в колени и крепко охватив руками затылок. Это была слепая красавица.

Она слышала мою импровизацию, слышала, что я пел о ее тоске и желаниях. Меня так и резнуло ножом по сердцу. Я наклонился над нею;

она услышала шорох листьев и подняла голову. Лицо ее показалось мне еще бледнее прежнего. Я не смел шевельнуться; она продолжала прислушиваться.

— Анджелло! — вполголоса позвала она. Не знаю зачем, но я притаил дыхание. Передо мною было изображение самой греческой богини красоты с ее невидящим и в то же время проникающим в душу взором, как описывала ее Аннунциата. Она сидела на одном из камней, служивших фундаментом храма, между дикими фиговыми деревьями и душистой миртой. Вдруг я увидел, что она, улыбаясь, прижимает к губам какую-то вещицу. Это была монета, которую я дал ей. Меня это сильно тронуло, я невольно наклонился к ней, и... мои горячие уста обожгли ее лоб.

Она вскрикнула. Этот отчаянный крик оледенил мое сердце. Как испуганная лань вскочила она с места и исчезла из моих глаз. Я кинулся бежать в другую сторону, ничего не видя перед собою, не разбирая дороги, через кусты и терн. «Антонио! Антонио!» — услышал я далеко позади себя голос Фабиани и тут только опомнился.

— Что ты, за зайцами гонялся? — спросил он меня. — Или, может быть, это был поэтический полет?

— Он хочет показать нам, что может летать, тогда как мы можем только ходить! — сказал Дженааро. — Я, однако, готов поспорить с ним! — И он стал рядом со мною, готовясь пуститься бежать.

— Вы думаете, мне угнаться за вами с моей синьорой на руках? — сказал Фабиани. Дженааро остановился.

Когда мы вернулись к гостинице, я все озирался, ища бедную слепую, но напрасно. Крик ее не переставал раздаваться у меня в ушах и надирать мне сердце. Мне все казалось, что я совершил какой-то грех. В самом деле, я, хотя и невольно, пробудил в ее душе все горестные чувства, описывая ее несчастье, и затем еще испугал ее своим поцелуем. Это был первый поцелуй, который я дал женщине. Если бы девушка могла видеть меня, я бы никогда не решился на это; значит — ее несчастье, ее беззащитность ободрили меня! И я мог так строго осуждать Бернардо! Я такой же грешник, как и он, как и все. Я готов был пасть перед девушкой на колени и просить у нее прощения, но ее нигде не было видно.

Мы сели в коляску, чтобы вернуться в Салерно; еще раз окинул я взором окрестность, ища слепую, но не посмел спросить о ней.

— А где же слепая красавица? — спросил вдруг Дженааро.

— Лара? — сказал наш проводник. — Она, верно, по обыкновению, сидит в храме Нептуна!

— *Bella divina!* — воскликнул Дженааро, посылая по направлению к храму воздушный поцелуй. Мы тронулись в путь.

Итак, ее звали Ларой! Я сидел спиной к кучеру и смотрел, как все больше и больше удаляются от нас колонны храма, а сердце все мучилось воспоминанием о крике слепой. На дороге расположился табор цыган; в

канаве пылал большой костер, на котором они варили себе пищу. Старая цыганка ударила в тамбурин и предложила погадать нам, но мы проехали мимо. Две черноглазые девушки долго бежали за нами. Они были очень хороши собою, и Дженао любовался их легкостью, быстротой и жгучими черными глазами. Они были очень хороши собою, но какое же сравнение со слепой красавицей!

К вечеру мы прибыли в Салерно, на следующее утро решено было отправиться в Амальфи, а оттуда на Капри.

— В Неаполе мы пробудем еще один день! — сказал Фабиани. — В конце же этой недели мы уже должны быть в Риме. Тебе ведь не много надо времени, чтобы привести свои дела в порядок, Антонио? — Я не мог и не хотел возвращаться в Рим, но чувство робости и страха, внушаемое мне моим зависимым положением и признательностью, позволило мне только возразить, что Есселенза, вероятно, рассердится за мое самовольное возвращение. — Ну, это-то уж мы все устроим! — прервал меня Фабиани.

— Простите меня, но я не могу ехать! — настаивал я и схватил руку Франчески. — Я и так чувствую, чем обязан вам!..

— Об этом ни слова! — ответила она, прижимая свою руку к моим губам. В ту же минуту доложили о каких-то гостях, и я молча отошел в сторону, глубоко сознавая, до какой степени я слаб. Всего два дня тому назад я был свободен, независим, как птица, и Тот, без Чьего соизволения не упадет на землю и воробей, позаботился бы также и обо мне, а я дал тонкой нити, опутавшей мои ноги, разрастись в якорный канат! «В Риме у тебя истинные друзья, — думал я, — истинные, если и не такие вежливые, как в Неаполе!» Я вспомнил Санту, с которой решил больше не видеться, Бернардо и Аннунциату, с которыми мне пришлось бы встретиться здесь, в Неаполе, вспомнил их взаимную любовь и счастье... «Нет, скорее в Рим! Там лучше!» — шептало мне мое сердце, в то время как душа тосковала о свободе и независимости.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АМАЛЬФИ. ЛАЗУРНЫЙ ГРОТ НА КАПРИ

Как хорош был вид на Салерно с моря в то прекрасное утро, когда мы отплыли из него! Шесть мускулистых гребцов усердно работали веслами; на руле же сидел прелестный мальчик, так и просившийся на картину. Звали его Альфонсо. Вода была прозрачно-зеленая. Весь правый берег был, казалось, покрыт роскошными садами, какие могла создать лишь фантазия Семирамиды. Из воды выглядывали своды глубоких пещер, в которые плескали волны. На выдающемся уступе одной скалы стоял замок; под каменной башней его плыло облачко. Мы проехали мимо Майорки и Ми-

норки, а вскоре затем достигли и родины Мазаниелло и Флавио Джiovанна¹, городка Амальфи, выглядывавшего из зелени виноградников.

Красота здешней природы произвела на меня глубокое впечатление. Ах, если бы все народы земные могли насладиться этим чудным зрелищем! Ни с севера, ни с запада не дышит холодом на этот цветущий сад, среди которого расположен Амальфи; сюда достигает лишь ветерок с юга и востока, из страны апельсиновых деревьев и пальм, проносящийся через дивное море. Город со светлыми белыми домиками расположен на склоне горы; выше идут виноградники; кое-где поднимают к голубому небу свои зеленые вершины одинокие пинии, а на самом верху стоит окруженный зубчатой стеной старый замок — приют облаков.

Рыбаки на руках перенесли нас через буруны на берег. Под самым городом в скалах находятся глубокие пещеры; в некоторых плещет вода, другие пусты; на берегу лежали рыбачьи лодки; в них играли беззаботные ребятишки, большинство в одних рубашонках или курточках. На горячем песке потягивались полуголые лаццарони; единственной защитой от палящих лучей солнца служили им надвинутые на самые уши темные шапки. Громко звонили церковные колокола; мимо нас двигалась, с пением псалмов, процессия священников в лиловых облачениях. Распятие, которое несли впереди, было украшено венком из цветов.

На горе, высоко над городом, стоит великолепное здание; это монастырь и вместе с тем гостиница для путешественников. Против него глубокая пещера. Франческу несли на носилках, а мы следовали за нею по высеченной в скале тропинке пешком; глубоко под нами лежало голубое море. Наконец мы достигли монастырских ворот; прямо против нас зияла пещера. В глубине виднелись три креста с распятыми на них Спасителем и двумя разбойниками. Повыше над ними, на камне, стояли коленопреклоненные ангелы с большими белыми крыльями и в пестрых одеяниях. Изображения были самой грубой работы, все из крашеного дерева, но благочестивые души умеют вдохнуть красоту и в самые простые, грубые изображения.

Мы прошли по маленькому дворику и поднялись в отведенные нам комнаты. Из окна моего видна была бесконечная синева моря вплоть до самой Сицилии; вдали на горизонте блестели серебряными точками корабли.

— Господин импровизатор! — сказал Дженао. — Не спуститься ли нам в более низменные сферы — поглядеть, не найдется ли и там таких же красот, как здесь? Я говорю о красоте женской. Наверно, мы найдем что-нибудь получше англичанок, наших соседок! Они чересчур уж холодны и бледны. А вы ведь друг женщин? Ах, извините! Ведь это они-то как раз и вернули вас свету и доставили мне приятный вечер в театре и ваше интересное знакомство! — Мы спустились по тропин-

¹ Изобретатель компаса.

ке. — А слепая-то в Пестуме была хороша! — продолжал он. — Я, пожалуй, выпишу ее вместе с калабрийским вином к себе, в Неаполь. Она не хуже вина заставляет волноваться мою кровь!

Мы вошли в город; здания и улицы были в нем как-то скученны; даже тесное римское гетто могло показаться в сравнении с Амальфи обширной Корсо. Улицы здесь не что иное, как узенькие проходы между высокими домами, а частью проложены даже через самые дома. Мы то проходили по длинным коридорам, мимо дверей, в которые виднелись темные, узкие комнаты, то по узким переулкам, между глухими стенами и скалами, то поднимались, то спускались по лестницам, словом, путались в каком-то грязном лабиринте. Часто и не разобрать было, идешь ли по комнате или по улице. Во многих местах в коридорах горели лампы, а то, несмотря на дневную пору, в них было бы темно как ночью. Наконец мы вздохнули свободнее, выйдя на большой каменный мост, соединявший две скалы. Перед мостом оказалась небольшая площадь, пожалуй, самая обширная во всем городе. На ней плясали сальтарелло две девочки; на них любовался маленький, прелестный, как амурчик, смуглокожий и совсем голенький мальчуган. Здесь не боятся озябнуть! Самый страшный холод в Амальфи — это восемь градусов тепла.

Близехонько от небольшой башни, воздвигнутой на скалистом выступе, с которого виден красивый залив и Майорка и Минорка, вьется между кустами алоэ и мирт узенькая тропинка. Мы пошли по ней и скоро очутились под сводом из переплетающихся виноградных лоз. Мы умирали от жажды и направились к беленькому домику, приветливо выглядывавшему из свежей зелени. Мягкий теплый воздух был напоен ароматом, вокруг нас жужжали массы пестрых насекомых. Домик был очень живописен; в стены, ради красы, были вделаны мраморные украшения от колонн и прекрасные рука и нога, найденные среди развалин. На самой крыше был разведен чудный садик из апельсиновых деревьев и пышных ползучих растений, свешивавшихся по стене зеленым бархатным ковром. Перед домом был целый кустарник месячных роз. Здесь играли и плели венки две прелестные девочки лет шести-семи. Еще прекраснее была молодая женщина с белым покрывалом на голове, встретившая нас у дверей. Выразительные глаза с длинными черными ресницами, пышная грудь и стройный стан — да, она была очень хороша! Зато мы и отвесили ей по глубокому поклону.

— Итак, в этом доме обитает прекраснейшая дева! — сказал Джено. — Не утолит ли она жажду двух истомленных путников?

— С удовольствием! — ответила она, смеясь и показывая между свежими пунцовыми губами два ряда белых как снег зубов. — Я принесу вам вина, но у меня только один сорт.

— Если вы сами нальете его, оно будет превосходно! — сказал Джено. — Из рук прекрасной девушки я выпью его с особенным удовольствием!

— Увы, Eccellenza! На этот раз к услугам вашим только женщина!

— Вы замужем? Такая молоденькая? — засмеялся Джена́ро.

— О, я уж не молода! — также со смехом ответила красавица.

— А сколько же вам лет? — спросил я.

— Она насмешливо посмотрела на меня и ответила:

— Двадцать восемь! — Ей, однако, нельзя был дать больше пятнадцати, хотя она и выглядела вполне сформировавшейся. Сама Геба не могла быть сложена лучше.

— Двадцать восемь! — повторил Джена́ро. — Прекрасный возраст! И как он идет вам! А давно ли вы замужем?

— Двадцать лет! — ответила она. — Спросите моих дочерей! — И она кивнула на двух девочек, которые в это время подбежали к нам.

— Это ваша мама? — спросил я, хотя и знал, что этого быть не могло. Они, смеясь, посмотрели на нее, потом кивнули головками и прижались к ней. Она вынесла нам вина, чудного вина, и мы выпили за ее здоровье.

— Вот это поэт, импровизатор! — сказал Джена́ро, указывая на меня. — Он вскружил головы всем дамам в Неаполе, но сам холоден как лед! Он чудак! Подумайте, он ненавидит женщин и ни разу еще не целовал ни одной!

— Быть не может! — сказала она и засмеялась.

— А вот я, так совсем иного сорта! Я поклонник красоты и целую все прекрасные уста! Я его верный спутник и искупаю его вину перед женщинами и целым светом! Ни одна красавица еще не отказывала мне в законной пошлине, я жду ее и здесь. — Тут он схватил ее за руку!

— Мне не нужно выкупа! Я освобождаю от него и вас, и другого господина. Пошлин же я никаких знать не знаю! Это дело моего мужа!

— А где он?

— Не очень далеко!

— Такой хорошенькой ручки я еще не видывал в Неаполе! — сказал Джена́ро. — Что стоит поцеловать ее?

— Скудо! — ответила красавица.

— А если в губки, то вдвое?

— Этого совсем нельзя! Губы — собственность моего мужа! — Она опять налила нам крепкого вина, смеялась и шутила с нами, и, наконец, мы выведали от нее, что ей всего четырнадцать лет, что замужем она лишь с прошлого года и что муж ее, красивый молодой малый, находится теперь в Неаполе и вернется только завтра. Девочки были ее сестры, гостившие у нее в отсутствие мужа. Джена́ро попросил их нарвать нам букет роз, обещая им за него карлино; они побежали в кусты. Напрасно, однако, уговаривал он красавицу поцеловать его, напрасно говорил ей любезности и обнимал ее стан. Она вырывалась от него, бранилась, убегала, но потом опять возвращалась; ее, видимо, забавляли эти шутки. Тогда Джена́ро взял



в руку золотой и стал говорить ей, сколько красивых лент она может купить на него, как они украсят ее черные косы!.. И все это будет стоить ей лишь одного поцелуя!

— Другой господин лучше вас! — сказала она ему, указывая на меня. Я вспыхнул, взял ее за руку и сказал, что ей не следует слушать Дженао и соблазняться его золотом, что он дурной человек и что она в отместку ему должна поцеловать меня! — Она слушала, пристально глядя на меня. — Из всего, что он сказал, одно лишь правда! — продолжал я. — Я действительно не целовал еще ни одной женщины, уста мои чисты, я берег их для самой первой красавицы и надеюсь, что вы вознаградите меня за мою добродетель!

— Однако вы завзятый обольститель! — сказал Дженао. — И меня за пояс заткнете, даром что я не новичок!

— Вы злой человек! Подите вы с вашим золотом! — сказала она ему. — А вот чтобы показать вам, как мало я нуждаюсь в нем и в вашем поцелуе, я поцелую импровизатора! — Она обвила меня руками за шею и дотронулась губами до моих губ, а затем исчезла за дверями дома.

После заката солнца я сидел в монастыре, в своей каморке наверху, и смотрел из окна на равнину морскую, отливавшую пурпуром. По морю ходили широкие волны. Рыбаки вытаскивали на берег лодки. Когда совсем стемнело, огоньки заблестели ярче, волны засветились фосфорическим блеском. Стояла невозмутимая тишина. Вдруг раздалось пение; это запели хором рыбаки со своими женами и детьми. Детские сопрано сливались с могучими басами. Какая-то грусть охватила мою душу. С неба скатилась звездочка и, казалось, упала позади того виноградника, где меня целовала красавица. Я стал вспоминать, как она была хороша, вспомнил и слепую девушку, стоявшую в руинах храма как живое изваяние красоты, но скоро и ту и другую затмил образ Аннунциаты. Она была вдвойне прекрасна: в ней слились две красоты — духовная и физическая! Грудь моя вздымалась, душа горела любовью, тоской желанья. Аннунциата зажгла в моем сердце чистое пламя любви, но затем покинула свой храм, и теперь жертвенник в нем был опрокинут, огонь охватил все здание! «Вечная Матерь Божия! — взмолился я. — Душа моя полна любовью, сердце рвется от тоски и желанья!» Я выхватил из стакана букет роз и, думая об Аннунциате, горячо прижал к своим устам прекраснейшую из них. Мне стало невмочь, и я сошел к морю, плескавшему на берег, где пели рыбаки и веял прохладный ветер. Я взошел на каменный мост, на котором уже стоял сегодня. Мимо меня мелькнул человек, закутанный в широкий плащ; это был Дженао. Он пустился по тропинке к беленькому домику; я за ним. Он прошел мимо окна, в котором светился огонек. Я же спрятался в винограднике против самого окна, так что мне видно было всю комнату. Такое же окно находилось и на противоположной стороне дома; высокая лестница вела из большой комнаты в мезонин. Обе маленькие девочки, полураздетые, мо-

лились на коленях перед столиком, на котором горела лампа и стояло рас-
пятие. Старшая сестра их стояла на коленях между ними. Это была сама
Мадонна с двумя ангелами, живая картина для алтаря, написанная самим
Рафаэлем! Черные глаза красавицы были подняты к небу, волосы роскош-
ной волной падали на обнаженные плечи, прекрасные руки были скрещены
на пышной груди. Пульс мой забился ускореннее, я едва смел дышать. Вот
все трое поднялись с колен; молодая женщина проводила девочек по лест-
нице в мезонин, заперла дверь, вернулась в первую комнату и стала при-
бирать ее. Вот она вынула из ящика красную книжечку, повертела ее в
руках, улыбнулась, хотела было раскрыть ее, да вдруг, словно испугавшись
чего-то, покачала головой и поспешно бросила ее обратно в ящик. Минуту
спустя я услышал тихий стук в противоположное окно. Молодая женщина
испуганно поглядела в ту сторону и прислушалась. Стук повторился. Я
слышал чей-то голос, но не мог разобрать ни слова.

— *Esceienza!* — вскрикнула она. — Что вам надо? Зачем вы при-
ходите в такую пору? Ради Бога! Я сердита, очень сердита на вас! —
Он заговорил опять. — Да, да, правда! — ответила она. — Вы забыли
вашу записную книжку! Сестренка моя бегала с нею в гостиницу, но
вы, кажется, живете наверху, в самом монастыре! Она искала вас там
поутру! Вот книжка! — Она вынула ее; он что-то проговорил опять;
она энергично покачала головой. — Нет, нет! Что вы выдумали! Двери
не открою! Вы не войдете! — Она подошла к окну и открыла его,
чтобы отдать книжку. Он схватил ее руку, и она уронила книжку на
подоконник. Затем Джена́ро просунул голову в отворенное окно, а мо-
лодая женщина быстро отскочила к тому, которое было ближе ко мне.
Теперь мне было слышно каждое слово Джена́ро.

— И вы не хотите позволить мне поцеловать в знак благодарности
вашу прекрасную ручку? Не хотите никакой награды за находку? Даже
не хотите дать мне стакана вина? А я умираю от жажды! Что же в
этом дурного? Почему мне нельзя войти?

— Нет! — ответила она. — Нам не о чем говорить с вами в такую
пору. Возьмите вашу книжку и дайте мне закрыть окно!

— Я не уйду, — сказал Джена́ро, — пока вы не протянете мне
руки, пока не поцелуете меня, — вы обманули меня сегодня, поцеловав
этого дурака!

— Нет, нет! — сказала она, но, несмотря на свой гнев, рассмея-
лась. — Вы хотите силой добиться своего! Ну, а я не хочу и не хочу!

— Ведь мы же видимся с вами, наверно, в последний раз! — про-
должал Джена́ро мягким, умоляющим тоном. — И вы можете отказывать
мне, не хотите даже протянуть мне на прощанье руки! Большого я не
требую, хотя сердце мое и хотело бы высказать вам много, много! Сама
Мадонна желает, чтобы люди любили друг друга, как братья и сестры!
Я и хочу по-братски поделиться с вами моим золотом! Сколько нарядов

вы купите себе на эти деньги! Вы будете еще вдвое красивее, все подружки станут завидовать вам, и никто, никто не узнает о нашем счастье! — И он одним прыжком очутился в комнате. Молодая женщина вскрикнула: — Иисус, Мария!

Я с такой силой ухватился за раму окна, что стекла задрезбужали. Затем, точно подталкиваемый невидимой силой, я перебежал к открытому окну и вырвал из виноградника жердь, чтобы иметь хоть какое-нибудь оружие.

— Это ты, Николо? — громко вскричала молодая женщина.

— Я! — ответил я грубым, твердым голосом. Джена ро живо выскочил в окно; плащ его вздуло ветром, лампа погасла, и в комнате стало темно.

— Николо! — дрожащим голосом закричала красавица, высовываясь из окна. — Ты вернулся? Слава Мадонне!

— Синьора! — сказал я.

— Святители! — вскрикнула она. Затем окно захлопнулось. Я стоял как вкопанный. Прошло несколько мгновений, и я услышал, что она тихо идет по комнате; вот отворилась и опять захлопнулась дверь, и послышались удары, точно вбивали молотком гвозди. «Теперь она в безопасности! — подумал я и тихо отошел, радостный и довольный как нельзя более. — Теперь я поквитался с нею за ее поцелуй! Знай она, что я явился сейчас ее ангелом хранителем, она, пожалуй, подарила бы мне еще один!»

Едва я успел вернуться в монастырь, меня позвали к ужину; раньше же никто не хватился меня. Джена ро к ужину не явился; Франческа стала беспокоиться, и Фабиани посылал за ним гонца за гонцом во все стороны, пока он, наконец, не отыскался — Джена ро рассказал нам, что заблудился, гуляя в горах, да, к счастью, встретил крестьянина, который и вывел его на дорогу.

— Да, одежда ваша вся в клочьях! — заметила Франческа. Джена ро схватился за полу сюртука.

— Этот клоч я оставил на терновом кусту! И Бог знает, как это я заблудился! Вечер был такой прекрасный, но стемнело как-то вдруг, я хотел сократить себе дорогу, да и совсем сбился с нее.

Франческа и Фабиани посмеялись над его приключением; я тоже; ведь мне-то оно было известно лучше, чем другим; затем мы все выпили за его здоровье. Вино было превосходное и привело нас в самое веселое расположение духа. Когда мы разошлись по своим комнатам, ко мне вошел полураздетый Джена ро; его комната приходилась рядом с моей. Он, смеясь, положил мне руку на плечо и дружески посоветовал не слишком мечтать о молодой красавице, виденной нами утром.

— Поцелуй-то все-таки достался мне! — шутливо сказал я.

— Да, да! — ответил он, смеясь. — И вы думаете, что она обделила меня своей благосклонностью?

— Кажется!

— Ну, нет, этого еще со мной не случилось! — сухо возразил он, словно его обидели. Но вот на губах его снова заиграла улыбка, и он шепнул мне: — Я бы рассказал вам кое-что, да будете ли вы скромны?

— Расскажите, расскажите! — попросил я. — У меня не вырвут ни словечка! — И я приготовился слушать его сетованья по поводу неудачного похождения.

— Я нарочно забыл сегодня в саду красавицы мою записную книжку, чтобы иметь предлог вернуться туда вечером. В эту пору женщины не так строги. Так вот где я был! И платье я разорвал, перелезая через забор в ее сад.

— Ну, а красавица-то что же? — спросил я.

— Она была еще прекраснее, — сказал он, многозначительно кивая головою, — и вовсе не так строга, когда мы очутились с нею наедине! Да так я и думал! Вам она дала один поцелуй, а мне тысячу, да и свое сердце в придачу! Всю ночь буду мечтать о своем счастье! — Он послал мне воздушный поцелуй и выбежал из комнаты.

Потру, когда мы вышли из монастыря, небо было точно задернуто сероватой пеленой. На берегу дожидались нас наши brave гребцы, опять перенесли нас через буруны и усадили в лодку. Мы направились к Капри; вот пелена разорвалась на клочки — легкие облачка, и небо стало как будто вдвое выше, вдвое синее. На море стояла тишина, не было даже ряби. Чудный Амальфи скрылся за скалою. Дженао послал в ту сторону воздушный поцелуй и сказал мне:

— Там мы рвали розы!

«Ты-то, по крайней мере, наколосся на шипы!» — подумал я, утвердительно кивая ему головой.

Перед нами расстилалась безграничная синева моря, уходившая к берегам Сицилии и Африки; налево лежал гористый берег итальянского полуострова, изрытый причудливыми пещерами; перед некоторыми из них были расположены маленькие города, словно выползшие из мрачных пещер погреться на солнышке; в других сидели рыбаки, жарившие себе на кострах пищу или смолившие лодки. Вода морская была похожа на голубое масло; мы погружали в нее руки, и они принимали в ней тот же оттенок. Тень лодки на воде была чистейшего синего цвета, а тени весел представлялись змейками всех оттенков голубого. «Чудное море! — восторгался я в душе. — Ничто в природе, исключая неба, не может сравниться с тобой красотой!» Я вспомнил, как любил в детстве лежать на спине и, глядя ввысь, мечтать, что ношусь в голубом эфире; теперь мне казалось, что мечта моя сбылась. Мы проплыли мимо трех скалистых островков «I galli»; они состоят из мощных каменных глыб, нагроможденных одна на другую и похожих на выросшие со дна морского гигантские башни. Голубые волны омывали зеленоватые камни. В бурю тут, должно быть, образовывалась

настоящая Сцилла с ее воющими собаками. Волны сонно плескались о дикий, голый мыс Минервы, служивший в древности пристанищем сирен; перед ним же лежал романтический Капри, откуда Тиверий, утопая в сладострастии, любовался на Неаполитанский залив. Гребцы наши натянули паруса; ветер и течение несли нас к острову. Вода была здесь необычайно чиста и прозрачна; мы как будто плыли по воздуху; каждый камешек, каждая тростинка, находившиеся на саженой глубине, виднелись под водою так явственно, что у меня просто кружилась голова, когда я глядел из лодки в эту прозрачную бездну, над которою скользил. К острову можно пристать лишь с одной стороны; окружающие его кольцом отвесные и гладкие, как стены, скалы спускаются со стороны Неаполя уступами вроде амфитеатра; уступы покрыты виноградниками, апельсиновыми и оливковыми рощами; внизу же, у самой воды, разбросаны рыбацьи хижинки и стоит сторожевая будка. Пovyше выглядывает из зелени садов городок Анна-Капри, в который ведет крошечный подъемный мостик и ворота. Мы остановились отдохнуть в гостинице «Пагани», построенной в тени высоких пальм. После обеда мы решили отправиться верхом на ослах к развалинам виллы Тиверия; время же между завтраком и обедом Франческа и Фабиани хотели посвятить на отдых перед предстоявшей прогулкой. Но мы с Джена́ро в этом совсем не нуждались. Островок казался мне таким маленьким; что его, по-моему, можно было объехать на лодке часа в два и рассмотреть высокие скалистые своды, возвышающиеся из воды с южной стороны острова. Мы наняли лодку с двумя гребцами; дул ветерок, так что полпути мы сделали под парусами. Волны разбивались в пену о низкие рифы, между которыми были протянуты рыбацьи сети. Пришлось объехать их. Прогулка была превеселая. Скоро мы видели перед собою только море, небо да отвесные скалы. В трещинах этих серых каменных громад кое-где мелькали кусты алоэ и дикие левкой; скалы были до того неприступно круты, что на них не отыскал бы точки опоры для ног и каменный козел. Внизу, под бурунами, разбивавшимися в мелкие, сверкавшие голубыми искрами брызги, виднелись приросшие к скалам кроваво-красные морские яблоки; скалы как будто сочились кровью от ударов волн. Вот, наконец, открытое море осталось справа, остров же лежал слева, и мы увидели в скалах глубокие пещеры, слегка выставлявшие из воды свои каменные своды. В этих-то пещерах и жили сирены; цветущий Капри служил только крышей их скалистого замка!

— Да, здесь живут злые духи! — сказал мне один из гребцов, седой старик. — Чудесно, говорят, у них, но они уж никогда не выпускают своих жертв обратно; если же кто-нибудь и вырвется от них, то не человеком! — Немного погодя старик указал нам на вход в одну пещеру, несколько шире и выше других, но все-таки недостаточно просторный, чтобы мы могли вплыть в пещеру, даже если бы спустили паруса и сами растянулись на дне лодки.

— Это заколдованная пещера!¹ — шепнул молодой гребец, сидевший на руле, и повернул лодку прочь от скалы. — Там хранятся сокровища: золото и драгоценные камни, но войди-ка туда — сгоришь! Санта-Лючия, моли Бога о нас!

— Ах, если бы у нас в лодке очутилась сирена! — сказал Джена-ро. — Только красивая! Мы бы с ней живо поладили!

— Ваш обычный успех у женщин не изменил бы вам и тут! — сказал я, смеясь.

— Волны морские вечно ласкаются к берегам, вечно целуют их, поневоле взманят к поцелуям и людей. Ах! — вздохнул он. — Будь с нами та красавица из Амальфи! Что за женщина! Не правда ли? Ведь и вы лизнули с ее уст каплю нектара! С виду такая недотрога, а посмотрели бы вы на нее вчера вечером! Сама страсть, огонь!

— Неправда! — невольно вырвалось у меня; меня взорвало его бесстыдное хвастовство. — Я лучше знаю! Ничего такого не было.

— То есть как это? — спросил он, удивленно глядя на меня.

— Я сам видел все! Случай привел меня туда. Я вообще не сомневаюсь в ваших успехах у женщин, но на этот раз вы только шутите со мною! — Он продолжал молча смотреть на меня. — «Я не уйду, — повторил я, смеясь, его слова, — пока вы не поцелуете меня! Вы обманули меня сегодня, поцеловав того дурака!»

— Синьор! Вы подслушали меня! — сказал он, весь побледнев от гнева. — Как смее вы оскорблять меня? Вы будете драться со мною, или я стану презирать вас!

Этого я не ожидал.

— Джена-ро, вы не серьезно же говорите? — сказал я и взял его за руку. Он выдернул ее, не отвечая мне ни слова, велел гребцам пристать к берегу.

— Придется опять огибать остров! — сказал старик. — Надо вернуться туда, откуда мы отчалили. — Они принялись работать веслами, и скоро мы приблизились к высоким скалистым сводам, высовывавшимся из голубых волн. Досада во мне сменилась грустью; я смотрел на Джена-ро, бывшего по воде своей тростью.

— Una tromba! — вскричал вдруг младший из гребцов, указывая на черный косой смерч, подымавшийся из воды к облакам. Вода кругом него клокотала, как кипяток. Гребцы быстро спустили паруса.

— Куда же мы теперь? — спросил Джена-ро.

— Назад! Назад! — ответил младший гребец.

— Опять вокруг всего острова? — спросил я.

¹ Под этим названием известен был у неаполитанцев нынешний Лазурный грот, открытый, если не ошибаюсь, в 1831 г. немцами-путешественниками Фрисом и Копишем.



— Укроемся в скалах! Смерч уходит в открытое море!

— Но волнение разобьет лодку о скалы! — сказал старик и быстро принялся грести.

— Боже милосердный! — простонал я, видя, с какой быстротой подвигался по воде смерч. — Он или подымет и закрутит нашу лодку в воздухе, или придавит нас к отвесной скале! — Я схватился за весло старика, Джена́ро стал помогать молодому; мы гребли изо всех сил, но уже слышали за собою свист ветра и клочотанье воды — смерч как будто сам отталкивал нас от себя.

— Санта-Лючия, спаси нас! — вскричали оба гребца, бросили весла и пали на колени.

— Да гребите же! — закричал Джена́ро, но они оба, бледные как смерть, не сводили глаз с неба. Вот над головами нашими пронесся ураган, а слева надвинулась на лодку черная стена волн; нас высоко подбросило кверху, лодку обдало брызгами и пеной, воздух сгустился до того, что у меня кровь готова была брызнуть из глаз. Затем все померкло вокруг, но я еще успел почувствовать, как над головой моей сомкнулись волны, понять, что мы все обречены смерти, и после того лишился чувств.

Зрелище, открывшееся моим глазам, когда я пришел в себя, действовало на меня еще сильнее, нежели величественная картина извержения Везувия, так же сильно, как разлука с Аннунциатой. Со всех сторон, снизу и сверху меня окружал голубой эфир. Я шевельнул рукой, и вокруг меня, словно электрические искры, засверкали миллионы голубых звездочек. Да, я несея по воздуху! Я, конечно, умер и летел теперь на небо. Но какая-то тяжесть давила мою голову; это были земные грехи мои. Они гнули меня вниз. Над головой моей проносилось холодное дуновение ветра. Машинально вытянул я руку, коснулся какого-то твердого предмета и ухватился за него. Но тут мною опять овладела смертельная слабость; я совсем не ощущал своего тела. Конечно, тело мое лежит на дне морском, а я, то есть душа моя, возносится к небу. «Аннунциата!» — простонал я, и веки мои опять сомкнулись. Это бессознательное состояние продолжалось, вероятно, долго. Но вот я вздохнул свободнее, почувствовал себя сильнее, и сознание мое прояснилось. Я лежал на холодной и твердой, как камень, поверхности, возносившейся в бесконечную небесную синеву. Надо мною расстилался свод небесный с причудливыми и синими, как само небо, облаками. Не было ни малейшего ветерка, но я ощущал во всем теле ледяющий озноб. Медленно приподнял я голову. Платье мое было как бы из голубого пламени, руки блестели, точно серебряные. Но все же я чувствовал, что они телесные. Я тщетно напрягал мысли, стараясь решить, жив я или мертв? Я погрузил руку в струившийся подо мною блестящий эфир и захватил горстью воду, горевшую голубым пламенем, как спирт, и все-таки холодную. Близехонько от меня возвышался, похожий на смерч, только меньших размеров и блестящего голубого цвета, столб. Или это только чудилось мне

со страху? Немного погодя я решился дотронуться до него. Столб был тверд и холоден, как камень. Я протянул руку в полутемное пространство, оказавшееся за ним, и ощупал твердую, гладкую стену темно-голубого цвета, как ночное небо. Где же я? То, что я принял за воздух подо мною, была блестящая, горевшая фосфорным пламенем, но холодная вода. Она ли это бросала на все лазурный отблеск, или своды и скалистые стены светились сами? Не находился ли я в обители мертвых, в той обители, которая уготована была моей душе? Во всяком случае, я был не на земле. Все предметы вокруг меня отливали различными голубыми оттенками, сам я тоже был окружен голубым сиянием, как будто светился весь. Неподалеку от меня поднималась ввысь вырубленная в скале лестница; ступени ее были как будто из громадных цельных сапфиров. Я взобрался по ней, но передо мной очутилась глухая стена. Или я недостойн приблизиться к самой обители небесной? Да, я покинул свет, навлекши на себя гнев ближнего! Где же Дженоаро, где гребцы? Я был здесь один, совсем один. Я вспомнил о матушке, Доменике, о Франческе, о всех близких моему сердцу и ясно чувствовал, что представлявшееся моим глазам зрелище не было миражом. Окружавший меня блеск существовал на самом деле, как и я сам — живой или мертвый. В расселине скалы стоял какой-то предмет. Я дотронулся до него. Это была массивная ваза, наполненная золотыми и серебряными монетами. Я ощупал отдельные монеты, и место, где я находился, стало для меня еще загадочнее. Вдруг я увидел над водой, недалеко от того места, где я стоял, блестящую голубую звезду, бросавшую на воду длинный дрожащий луч. Но вот звезду закрыл от меня какой-то темный предмет — по ярко горевшей голубой воде медленно скользила лодочка, как будто вынырнувшая из самой глубины вод. Гребцом был старик. Вода при каждом ударе весел загоралась пурпуром. Кроме гребца в лодке сидела еще девушка. Оба были до того молчаливы и неподвижны, что, не шевели старик веслами, обоих можно было бы принять за каменные изваяния. До слуха моего долетел глубокий скорбный вздох; где-то я слышал его прежде? Лодка описывала полукруг, приближаясь к тому месту, где я стоял. Старик сложил весла; девушка встала, воздела руки к небу и с отчаянной мольбой в голосе произнесла:

— Матерь Божия, не оставь меня! Ты повелела мне явиться сюда, и я здесь!

— Лара! — громко вскрикнул я. Это была она. Я узнал голос и лицо слепой девушки из Пестума.

— Открой мне очи! Дай мне видеть чудный мир Божий! — сказала она. Мне показалось, что я слышу голос выходца с того света, и я весь затрепетал. Слепая требовала от меня того мира, существование которого я открыл ей своим пением. Уста мои онемели, я молча простер к ней руки. Она еще раз воздела к небу свои руки. — Дай мне!.. — простонала она и затем упала в лодку.

Вода заплескалась вокруг нее огненными кругами. Старик на мгновение склонился к девушке, затем вышел на берег, долго смотрел на меня, потом начертил в воздухе знамение креста, схватил массивную вазу и, поставив ее в лодку, опять занял свое место. Я инстинктивно шагнул за ним. Он вперил в меня какой-то странный взор, взялся за весла, и мы поплыли по направлению к лучезарной звезде. Холодный ветер дул нам навстречу. Я наклонился над Ларой. Вот мы проплыли через узкое ущелье и минуту спустя увидели перед собою бесконечную равнину морскую; позади же нас вздымались к небу отвесными стенами скалы. Почти рядом с ущельем находился невысокий и отлогий склон, поросший кустами и темно-красными цветами. Молодая луна ярко сияла на небе. Лара поднялась. Я не смел коснуться ее руки; она представлялась мне неземным существом. Мне казалось, что я нахожусь в царстве духов, и все, что я вижу, — не мираж, а неземная действительность.

— Дай мне трав! — сказала Лара, протягивая руку, и слова ее раздались для меня велением духа. Я посмотрел на зеленые кусты, на красные цветы, вышел из лодки, нарвал цветов, испускавших какой-то особый аромат, и протянул букет Ларе. Тут мною опять овладела смертельная слабость, я опустился на колени, но еще видел, как старик, сотворив крестное знамение, взял из рук моих цветы, перенес Лару в другую лодку, побольше, привязал к ней маленькую, поставил паруса и отплыл. Я протянул им вслед руки, но сердце мое сжала холодная рука смерти, и оно словно разорвалось...

— Он жив! — вот первые слова, которые я услышал, придя в себя. Я открыл глаза и увидел Фабиани и Франческу. Кроме них возле меня стоял еще какой-то незнакомец; он держал меня за руку и серьезно смотрел на меня. Я лежал в красивой, просторной комнате; был день. Где же я находился? Я весь горел в жару, и только мало-помалу мысли мои прояснились, и я мог узнать подробности своего спасения.

Не дождавшись вчера вечером нас с Дженаро, Фабиани и Франческа очень обеспокоились, тем более что и рыбаков, гребцов наших, не находили нигде; узнав же о бывшем на море смерче, все сочли нас погибшими. Немедленно были высланы на поиски две рыбачьи лодки; они объехали весь островок, но не нашли ни малейших следов нашего крушения. Франческа плакала; она все-таки любила меня! Жалела она также и Дженаро и бедных гребцов. Фабиани не мог успокоиться и решил сам отправиться на поиски, обшарить все малейшие ущелья в скалах, — может быть, кто-нибудь из нас спасся и теперь умирает еще худшей смертью, от голода и страха: ожидать человеческой помощи было ведь неоткуда. Ранним утром он отплыл на лодке с четырьмя бравыми гребцами и осмотрел все расщелины и пещеры, свободные от воды. Гребцы не хотели было подплывать к заколдованной пещере, но Фабиани приказал им пристать к зеленому склону и, приблизившись к нему, увидел в траве

распростертого, безжизненного человека. Это был я. Платье мое уже успело высохнуть на ветру. Они взяли меня в лодку. Фабиани прикрыл меня своим плащом, стал растирать мне грудь и руки и скоро заметил, что я еще слабо дышу. Меня доставили на берег, пригласили доктора, и я ожил, а Дженаро и оба гребца так и исчезли без следа. Я должен был рассказать все, что осталось у меня в памяти о случившемся с нами несчастье, но, когда дошел до описания диковинной блестящей пещеры, лодки со стариком и слепой девушкой, все сказали, что это одна фантазия, бред. Мне и самому пришлось наконец согласиться с этим, а между тем видение врезалось мне в память с яркостью действительности.

— Вы нашли его возле заколдованной пещеры? — спросил врач и покачал головой.

— Да разве, по-вашему, это место обладает какою-нибудь особой силой? — спросил Фабиани.

— Природа полна загадок! — ответил врач. — Труднейших мы еще не разгадали.

На мои мысли пролился внезапный свет. Так меня нашли возле заколдованной пещеры, в которой, по рассказам гребцов, все горит огнем? Значит, волны забросили меня туда? Я вспомнил узкое ущелье, через которое мы проплыли. Во сне это было или наяву? Не заглянул ли я в мир духов? Мадонна вновь явила мне свою милость, спасла меня! И мысли мои вернулись к прекрасной сияющей пещере, где ангелом-хранителем моим явилась Лара. Да, все это была правда, а не мираж! Я видел то, что было открыто другими лишь годы спустя и что считается теперь в числе прекраснейших чудес Италии — Лазурный грот. Девушка была действительно слепая из Пестума, но все это выяснилось лишь впоследствии, тогда же оставалось для меня загадкой. Я сложил руки и с умилением стал думать о моем прекрасном ангеле-хранителе — Ларе.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РИМ

Франческа и Фабиани пробыли ради меня в Капри два лишних дня. Если прежде мне иногда и случалось страдать от их обращения со мной, то теперь они окружали меня такой заботливостью и любовью, что я привязался к ним всем сердцем.

— Тебе надо вернуться с нами в Рим! — говорили они мне. — Это будет благоразумнее всего! — Мое чудесное спасение и видение в пещере так сильно подействовали на мою экзальтированную натуру, я почувствовал себя до того всецело в руках невидимого Промысла, Который заботливо устраивает все к лучшему для меня, что стал принимать все, даже случайное, за указание свыше. Поэтому, когда Франческа ласково пожала мне руку и спросила, не предпочитаю ли я остаться в

Неаполе вместе с Бернардо, я стал уверять ее, что непременно хочу вернуться в Рим.

— Мы пролили бы о тебе немало слез, Антонио! — сказала она, горячо пожимая мою руку. — Доброе ты наше дитя! Мадонна простерла над тобой Свою спасительную десницу!

— Есселенза узнает, — сказал Фабиани, — что тот Антонио, на которого он сердился, утонул в Средиземном море! Мы же привезем ему нашего прежнего, милого Антонио!

— Бедный Дженаро! — вздохнула Франческа. — У него было прекрасное сердце! Вообще образцовый был юноша!

Врач провел возле меня немало часов. Он жил, собственно, в Неаполе и только проездом был в Капри. На третий день он и отправился в Неаполь вместе с нами. Я, по его словам, уже вполне оправился, то есть физически, а не душевно. Я заглянул в царство мертвых, ощутил на своем челе поцелуй ангела смерти, и юная душа моя, как мимоза, свернула свои листья. Когда мы вошли в лодку и я опять увидел эту прозрачную водяную глубину, воспоминания разом хлынули в мою душу. Я вспомнил, как близок я был к смерти, вспомнил свое чудесное спасение, взглянул на солнышко, так ласково светившее, на голубое море, жизнь показалась мне такою прекрасною, и — слезы брызнули из моих глаз. Все трое — и Фабиани, и Франческа, и доктор — были заняты только мною; Франческа даже заговорила о моем прекрасном даровании и назвала меня поэтом. Доктор же, узнав, что я и импровизатор Ченчи — одно лицо, стал рассказывать, в каком восторге были все слышавшие меня друзья его. Ветер дул попутный, и мы, вместо того чтобы выйти в Сорренто и затем сухим путем направиться в Неаполь, как решено было сначала, поплыли прямо в Неаполь.

У себя дома я нашел три письма. Одно было от Федерико; он вчера уехал дня на три в Искию; это меня огорчило, — я не мог даже проститься с ним, так как отъезд наш был назначен на завтра. Второе письмо было принесено мне, по словам швейцара, на другой же день после моего отъезда. Я прочел его: «Преданное вам сердце, желающее вам всего хорошего, ожидает вас сегодня вечером». Внизу были обозначены улица и номер дома, и затем подписано: «Ваша старая подруга». Третье письмо было написано тем же почерком и пришло только вчера. «Приходите, Антонио! Потрясение, вызванное нашей последней несчастной встречей, теперь прошло. Приходите скорее! Смотрите на все, как на недоразумение. Все может еще устроиться прекрасно, только не медлите, приходите!» Подпись была та же. Я сразу решил, что оба письма были от Санты, хотя свидание и было назначено ею не в своем доме. Я не хотел больше видеться с нею и сейчас же написал ее мужу коротенькое вежливое письмецо, в котором извещал его о своем поспешном отъезде из Неаполя, не позволяющем мне зайти к ним проститься, благодарил его и супругу его за доброе отношение ко мне и просил не забывать меня. Федерико я тоже оставил записочку, пообещав

в ней сообщить ему обо всем подробно из Рима, так как теперь я не в таком настроении, чтобы писать. Я решил никуда не ходить, не желая встретиться с Бернардо или с кем-нибудь из моих новых друзей, и навестил только своего доктора. Мы поехали к нему вместе с Фабиани. Жил доктор очень уютно и мило; хозяйством заведовала его старшая сестра, старая девушка. Она сразу понравилась мне своей прямоотой и сердечностью; глядя на нее, я вспоминал старую Доменику, но эта, конечно, стояла куда ниже сестры доктора и по уму, и по образованию.

На следующее утро, последнее утро моего пребывания в Неаполе, я тоскливо устремил взоры на Везувий. Увы! Густые облака окутывали его вершину; вулкан не сказал мне ожидаемого последнего прости! Море было спокойно и гладко, как зеркало. Я вспомнил свое видение — Лару в сияющей голубой пещере. Скоро и все мое пребывание в Неаполе превратится в какое-то видение, канувшее в вечность!.. Я схватился за газету. Мне бросилось в глаза мое имя. Это был критический отчет о моем дебюте. Я жадно принялся читать его. Критик восторженно отзывался о моей богатой фантазии и о поэтическом даровании; я, по его мнению, принадлежал к школе Пангетти, и он жалел только, что я уж чересчур рабски следовал образцу своего учителя. А я вовсе и не знал его, не имел о нем ни малейшего представления! Моими учителями были одна природа да мое непосредственное чувство. Но сами-то критики так редко проявляют в своих суждениях оригинальные взгляды, что и всех критикуемых считают копиями. Публика оценила мое дарование гораздо горячее господина критика, хотя он и прибавлял в конце статьи, что со временем из меня выработается самостоятельный художник, так как во мне и теперь уже заметны необычайный талант, богатая фантазия, чувство и вдохновение. Я спрятал газету: когда-нибудь она послужит мне вещественным доказательством, что не все случившееся со мною в Неаполе было сном. Итак, я побывал в Неаполе, много пережил за это время, во многом выиграл и во многом проиграл. Неужели тут и конец блестящей будущности, предсказанной мне Фульвией?

Мы выехали из Неаполя, и скоро он скрылся от наших взоров за густыми виноградниками. Четыре дня ехали мы в Рим по той же самой дороге, по которой два месяца тому назад я ехал с Федерико и Сантой. Опять увидел я Мола-ди-Гаэта с ее апельсиновыми рощами. Теперь деревья были осыпаны душистыми цветами. Я прошел в аллею, где Санта подслушала историю моей жизни. Сколько событий совершилось за этот краткий промежуток времени! Мы проехали и через узкий Итри, и я вспомнил о Федерико. На границе, где от нас потребовали паспорта, по-прежнему теснились в глубокой пещере козы, которых срисовывал Федерико, но маленького пастушка я на этот раз уже не видел. Ночью мы прибыли в городок Террачина, а утром выехали из него. Утренний воздух был необычайно прозрачен и ясен. Я простился с морем, которое ласково прижало меня к груди своей, убаюкало меня чудными грезами и показало мне образ

красоты — Лару. Вдали, на эфирно-прозрачном горизонте, виднелась еще синеватая дымящаяся вершина Везувия. «Прощай! Прощай! Домой, в Рим! Там ждет меня моя могила!» — вздохнул я, и карета покатила через зеленые болота в Веллетри. Я приветствовал горы, по которым проходил вместе с Фульвией, вновь увидел Дженцано, проехал по площади, на которой нашла свою смерть моя матушка. Да, тогда я остался бедным, лишенным всего на свете сиротою, теперь же — ехал в карете знатным барином, нищие называли меня *Esselenza*! Но был ли я теперь счастливее, чем тогда?.. Мы проехали через Альбани, и перед нами развернулась Кампанья; у дороги возвышалась могила Аскания, поросшая густым плющом, дальше же виднелись гробницы, купол храма святого Петра и Рим.

— Гляди веселее, Антонио! — сказал Фабиани, когда мы въехали в ворота Сан-Джiovани. Лютеранская церковь, высокий обелиск, Колизей и площадь Траяна — все говорило мне, что я на родине. События последнего времени остались позади меня, мелькнули, как сон, и в то же время как будто унесли из моей жизни целый год. Как здесь было тихо, мертво в сравнении с Неаполем; как не похожа длинная Корсо на Толедо! Вот замелькали знакомые лица. Навстречу нам попался Аббас Дада; он узнал карету и поклонился нам. На углу улицы Кондотти сидел Пеппо с дощечками на руках.

— Вот мы и дома! — сказала Франческа.

— Да, дома! — повторил я взволнованно. Через несколько минут я должен был, как школьник, выслушать наставления *Esselenza*. Встреча эта пугала меня, и все-таки мне казалось, что лошади еле двигаются. Но вот и палаццо Боргезе. Мне отвели две маленькие комнатки наверху. Я еще не виделся с *Esselenza*. Наконец меня позвали к столу. Я низко поклонился *Esselenza*.

— Антонио сядет между мной и Франческой! — вот первые слова, которые я услышал от него.

Завязался живой и непринужденный разговор. Я каждую минуту ожидал какого-нибудь упрека, но нет, ни слова, ни малейшего намека ни на мое бегство, ни на гнев, высказанный *Esselenza* в письме ко мне. Такая доброта трогала меня, я вдвойне чувствовал всю их любовь ко мне, но в иные минуты гордость моя все-таки возмущалась: меня даже не удостоивали упрека!

ВОСПИТАНИЕ. МАЛЕНЬКАЯ ИГУМЕНЬЯ

Палаццо Боргезе сделался теперь моим родным домом; со мною обращались уже гораздо мягче и ласковее прежнего, но иногда и теперь еще меня больно задевал старый оскорбительный тон и манера третировать меня; впрочем, я ведь знал, что в сущности-то благодетели мои

любят меня. Они скоро уехали из Рима, и я остался в огромном палаццо один. К зиме они вернулись, и все пошло по-старому. Они как-то забывали, что я стал старше, что я уже не ребенок из Кампаньи, жадно внимающий каждому слову, как самой истине, и не воспитанник Иезуитской коллегии, которого постоянно надо учить, как вести себя.

Эти шесть лет моей жизни представляются мне бурным морем. Благодарение Богу, что я переплыл через него! Живо за мною, читатель! Я в кратких чертах нарисую тебе общую картину этих шести лет. Это был период духовной борьбы, воспитательной ломки; подмастерье третировали, как мальчишку, чтобы сделать из него мастера. Меня считали прекрасным молодым человеком, довольно талантливым и многообещающим, а поэтому все так охотно и брались воспитывать меня. Благодетелям моим давало на это право мое зависимое положение, другие же просто пользовались моим добродушием. Я глубоко чувствовал всю горечь своего положения, но терпеливо нес его. Да, вот это так было воспитание! *Esceienza* жаловался на недостаток основательности во мне; нужды нет, что я много читал: я ведь высасывал из книг лишь мед, воспринимал только то, что было мне на руку. Друзья дома и мои доброжелатели беспрестанно сравнивали меня с созданным ими самими идеалом человека, и мое настоящее «я», конечно, не выдерживало сравнения! Математик находил, что я страдаю излишком фантазии и недостатком рассудка. Ученый филолог упрекал меня за то, что я недостаточно занимался латинским языком. Политический деятель постоянно спрашивал меня в присутствии других о политических новостях, мало интересовавших меня, и спрашивал лишь для того, чтобы оскорбить бедняка. Молодой дворянчик, интересовавшийся только своей верховой лошадью, жаловался на скудость моих познаний в этой области и досадовал на меня, заодно с прочими, за то, что я больше интересуюсь собственной особой, нежели его лошадьми. Одна благородная дама, приятельница дома Боргезе, сумевшая благодаря своему знатному имени и необыкновенному апломбу прослыть тонким критиком, но в сущности-то не имевшая на это звание никаких прав, вызывалась просматривать мои стихи и требовала от меня, чтобы я доставлял ей их переписанными на бумаге с большими полями для отметок. Аббас Дада смотрел на меня как на человека, некогда подававшего надежды, но не оправдавшего их. Первый танцор общества презирал меня за то, что я не умел держать себя в бальной зале; ученый педант за то, что я ставил точку там, где он — точку с запятой, а Франческа твердила, что меня избаловали чрезмерным вниманием и что поэтому она должна быть со мною вдвойне строга. Словом, каждый проливал свою каплю яда на мое сердце, и я чувствовал, что оно в конце концов или зачерствеет, или изойдет кровью.

Меня восхищало и увлекало все истинно прекрасное и возвышенное. В спокойные минуты я часто думал о своих воспитателях, и мне казалось тогда, что они в природе и мировой жизни, которыми я только и жил и

дышал, изображали что-то вроде суетливых ремесленников. Самый мир представлялся мне девушкой-красавицей, которая приковывала к себе мое внимание своим умом, красотой, грацией, словом, всеми своими и внутренними, и внешними достоинствами. Но вот сапожник кричит мне: «Обратите же внимание на ее башмаки! Какова работа! Это ведь главное!» Модистка же настаивает: «Нет, главное — это платье! Взгляните только на покрой! Займитесь одним платьем! Вникните в его цвет, изучите его основательно!» — «Не то! — перебивает парикмахер. — Вы должны разобрать ее прическу!» — «Главное, однако, ее речь!» — вопит в свою очередь филолог. «Нет — манеры!» — не соглашается танцмейстер. «Господи Боже мой! — вздыхал я. — Да меня привлекает в ней все вместе! Я вижу все эти отдельные красоты, но не могу же я в угоду вам сделаться сапожником или портным! Мое призвание — чувствовать и познавать красоту в целом! Не сердитесь же на меня за это и не осуждайте меня, люди добрые!» — «А, наша точка зрения для вас слишком низка! Не довольно высока для вашего поэтического гения!» — слышу я в ответ язвительные насмешки. Да, нет такого жестокого животного, как человек! Будь я богат и независим, дело живо приняло бы совсем иной оборот. Теперь же все были умнее, основательнее и благоразумнее меня! И вот я научился вежливо улыбаться, когда меня душили слезы, почтительно кланяться, когда мне хотелось презрительно отвернуться, и со вниманием выслушивать пустую болтовню глупцов. Притворство, горечь и отвращение к жизни — вот каковы были плоды того воспитания, которое навязали мне обстоятельства и люди. Мне постоянно указывали на мои недостатки; но разве во мне так-таки и не было ничего хорошего? Приходилось самому отыскивать это хорошее и ставить его на вид людям, но те, сами же заставляя меня углубляться в самого себя, упрекали меня за то, что я слишком ношусь с самим собою! Государственный деятель называл меня эгоистом за то, что я не посвящал всего себя тому, что составляло его конек. Молодой дилетант, любитель искусств, родственник семейства Боргезе, поучал меня, как мне следует мыслить, судить и писать, и в наставлениях его всегда проглядывало желание выказать в присутствии других свое превосходство над бедным пастишонком, который был обязан сугубой благодарностью за то, что такой знатный господин снисходит до него. Дворянчик, интересовавшийся только своей конюшней, считал меня препустым созданием за то, что я не обращал внимания на его лошадей. Не сами ли все эти господа были эгоистами? Или, может быть, они были правы? Что ж, я ведь был бедный сирота, всеми благодетельствованный! Но если у меня и не было благородного имени, то была благородная душа, живо чувствовавшая малейшее унижение. И вот я, готовый прежде привязываться к людям всею душою, превращался мало-помалу, как жена Лота, в горький соляной столб. Я ожесточался, вооружался упорством; минутами просыпалось во мне и сознание моего духовного превосходства, но, скованное цепями рабства, оно

превращалось в демона высокомерия, который уже свысока смотрел на нелепые выходки моих умных учителей и нашептывал мне: «Имя твое будет жить и тогда, когда их имена давно будут забыты или же будут вспоминаться только в связи с твоим, как гуща и капли горечи, попавшие в твою жизненную чашу». Я вспоминал Тассо и тщеславную Леонору, гордый герцогский двор, память о котором живет еще единственно благодаря Тассо. Замок герцогов Феррарских стал мусором, а темница поэта — местом поклонения. Я сам признавал все тщеславие таких рассуждений, но при подобной обстановке и методе воспитания сердце мое или должно было проникнуться тщеславием, или истечь кровью. Снисходительность и ободрение сохранили бы чистоту моих помыслов и мягкость души; каждая ласковая улыбка, каждое приветливое слово были бы солнечными лучами, растопляющими ледяную кору тщеславия, но на сердце мне чаще капал яд, нежели падали солнечные лучи.

Я уже перестал быть таким добрым, как прежде, но меня называли превосходным молодым человеком; я ревностно изучал литературу, природу, мир, самого себя, а между тем обо мне все-таки говорили: он ничему не хочет учиться! И такое воспитание продолжалось шесть, даже семь лет! Но в конце шестого года в жизни моей произошла некоторая перемена. В эти шесть долгих лет, разумеется, произошло много событий, гораздо более значительных, нежели те, на которых я останавливался до сих пор, но все они слились в одну каплю горечи, какой отравляется существование каждого талантливой человека, если он не богат или не имеет связей.

Я был аббатом, приобрел себе в Риме как импровизатор некоторое имя, так как не раз импровизировал в Академии Тиберина и всегда удостоивался бурных одобрений. Но, как справедливо говорила Франческа, академики осыпали похвалами все, что только читалось в их кругу. Аббас Дада играл в академии выдающуюся роль благодаря своей болтливости и плодовитости своего пера. Коллеги находили его односторонним, ворчливым и несправедливым и все же терпели его в своей среде, а он знай себе писал да писал. Он просматривал мои — как он выражался — писанные водяными красками произведения, но уже не находил во мне и следа того дарования, какое видел в те времена, когда я еще смиренно преклонялся перед его суждениями. Оно, по его мнению, умерло в самом зародыше, и друзьям моим следовало бы не допускать появления в свет моих якобы поэтических произведений, а в сущности-то лишь поэтических уродов.

— Вся беда в том, — говорил он, — что великие поэты писали иногда в очень молодые годы, ну, и он туда же за ними!

Об Аннунциате я ничего не слышал; она точно умерла для меня, наложив перед смертью свою холодную руку на мое сердце, чтобы оно стало еще отзывчивее ко всяким болезненным ощущениям. Мое пребывание в Неаполе и все вынесенные оттуда впечатления являлись теперь в моей памяти чем-то вроде прекрасной окаменелой головы Медузы. Ког-

да дул удушливый сирокко, я вспоминал морской воздух Пестума, Лару и сияющую пещеру. Стоя, как школьник, перед своими учителями и воспитателями мужского и женского пола, я вспоминал рукоплескания разбойников в горах и публики в театре Сан-Карло. Забившись в уголок, чувствуя себя одиноким и чужим для всех, я вспоминал о Санте, простиравшей ко мне руки и молившей: «Убей меня, но не уходи!» Так прошли шесть долгих лет воспитательного искуса; мне исполнилось двадцать шесть лет.

За все это время я ни разу не видел малютки Фламинии, «маленькой игуменьи», как прозвали дочь Франчески и Фабиани, которую я носил крошкой на руках и потешал разными смешными картинками собственного изделия. Она с колыбели была посвящена святым отцом в невесты Христа и воспитывалась в женском монастыре у Кватро-Фонтане, откуда ее никогда не выпускали. Сам Фабиани не видел ее уже шесть лет; только Франческа, как мать и женщина, могла навещать девочку. Фламиния, как рассказывали мне, сильно выросла и развилась и физически, и духовно под руководством благочестивых сестер. Согласно обычаям, маленькая игуменья должна была на несколько месяцев вернуться к своим родителям и наслаждаться светскими удовольствиями, прежде чем проститься с ними навеки. Таким образом, выбор между шумным светом и тихим монастырем зависел как будто от самой девушки, но ведь все ее воспитание, начиная с детских игр в куклы, одетые монахинями, и кончая безвыходным пребыванием в монастыре в течение шести лет, было направлено к тому, чтобы она всеми своими помыслами отдалась монашеской обители. Проходя по Кватро-Фонтане, где находился монастырь, я часто думал о милой девочке, которую носил на руках. Как она, должно быть, переменилась с тех пор, как тихо текла ее жизнь за стенами монастыря! Раз я побывал и в самой монастырской церкви и слышал пение монахинь, стоявших за решеткой. «Там же стоит, может быть, и маленькая игуменья!» — думал я, но не посмел спросить, принимают ли пансионерки участие в церковном пении. Из хора особенно выделялся один удивительно высокий, чистый и звонкий, но какой-то грустный голос. Как он напоминал голос Аннунциаты! Я как будто слышал ее самое, и воспоминания переполнили мою душу.

— В следующий понедельник приедет наша маленькая игуменья! — сказал Есселенза, и я нетерпеливо стал ожидать свидания с нею. Она представлялась мне такой же пойманной птичкой, как и я сам; пусть насладится свободой! Я встретился с девушкой в первый раз за обеденным столом. Она была высока ростом, довольно бледная и на первый взгляд далеко не могла показаться красивой, но все лицо ее дышало какой-то особенной искренней добротой и кротостью. За обедом присутствовали лишь некоторые близкие родственники. Никто не представил меня Фламинии, и сама она, по-видимому, не узнала меня, но отзывалась на мои редкие замечания с такой приветливостью, к какой я вообще не привык. Ей удалось поэтому

втянуть меня в общий разговор. Я чувствовал, что она не делала никакой разницы между мною и всем остальным обществом, — видно, она не знала, кто я был такой! Все были веселы, рассказывали анекдоты и комические приключения, и маленькая игуменья много смеялась. Это ободрило меня, и я решился пустить в ход несколько каламбуров, имевших в то время большой успех в светских гостиных Рима. Но каламбуры эти насмешили только Фламинию, все же остальные даже не улыбнулись и заявили, что таких плоских острот не стоит и повторять. Напрасно я уверял, что над ними смеются во всех светских кружках.

— Ну, это уж ты хватил через край! — ответила Франческа. — И как могут забавлять тебя такие глупости? Чем только не занимаются люди! — Не скажу, чтобы эти каламбуры особенно занимали меня; я привел их только, желая внести в веселую беседу и свою лепту. Замечание Франчески смутило меня, и я замолчал.

Вечером собрались гости, и я скромно держался в стороне. Вокруг весельчака Перини образовался большой кружок. Перини был моих лет, но знатного рода, очень веселый и находчивый молодой человек, обладавший всеми светскими талантами; он слыл за остряка и потому все, что он ни рассказывал, находили необыкновенно забавным и острым. Я, хоть и стоял в отдалении, слышал, как все громко смеялись чему-то, особенно Есселенза. Я подошел поближе и услышал те же самые каламбуры, с которыми я так неудачно выступил сегодня за обедом. Перини передавал их точь-в-точь теми же словами и с теми же оттенками, как я, но теперь все смеялись.

— Это презабавно! — вскричал Есселенза, хлопая в ладоши. — Не правда ли? — обратился он к маленькой игуменье, стоявшей рядом с ним и тоже от души смеявшейся.

— Да, я уж посмеялась над этим и за обедом, когда это рассказывал Антонио! — отозвалась она; в тоне ее не было ни малейшей колкости; она сказала это так просто, со своей обычной мягкостью, но я был готов упасть перед нею на колени.

— Да, да! Это просто прелесть! — подтвердила и Франческа. Сердце мое так и билось в груди; я отошел к окну и, скрывшись за длинными драпри, жадно вдохнул в себя свежий воздух.

Я рассказал этот маленький эпизод для примера; подобные случаи бывали чуть ли не каждый день. Маленькая же игуменья продолжала быть со мною такой же милой и приветливой; ее ласковый взор как будто постоянно просил у меня прощения за вины передо мною других. Я, впрочем, должен признаться в своей слабости — я был тщеславен, но недостаточно горд. Причиной были, вероятно, мое низкое происхождение, мое первоначальное воспитание и несчастная зависимость, принуждавшая меня вечно чувствовать себя признательным и благодарным моим благодетелям. Я постоянно вспоминал, чем я им обязан, и эта

мысль сковывала мои уста, смиряла мою гордость. Это, конечно, показывало известное благородство, но и слабость моей души. При таких обстоятельствах мне нечего было и думать завоевать себе самостоятельное положение в жизни. Все признавали мою добросовестность, присущее мне чувство долга, но все в один голос твердили, что гений не способен к серьезному труду; многие, желая быть вежливыми ко мне, прибавляли, что и я для этого слишком талантлив. Говори они это искренно, во что же они ставили талантливого человека? Итак, выходило, что без помощи *Esceienza* я бы умер с голоду; как же мне было не ценить его благодеяний!

Около этого времени я кончил большую поэму «Давид», в которую вложил всю свою душу. Под влиянием воспитательной ломки и воспоминаний о моем бегстве в Неаполь, о событиях, пережитых там, и о моей несчастной любви все мое существо еще сильнее прониклось склонностью к поэзии; минутами вся моя жизнь казалась мне поэмой, героем которой был я сам; никакое событие не казалось мне ничтожным или обыкновенным, даже в страданиях моих и в несправедливостях, которые я терпел от других, я находил своего рода поэзию.

Я чувствовал потребность излить свою душу и нашел подходящий сюжет в описании жизни Давида. Я живо чувствовал, что в моей поэме было много хорошего, и душа моя была полна благодарности и любви к Богу; я не написал ни одной хорошей строфы без того, чтобы с детской искренностью не вознести Ему своей благодарности за милостиво ниспосланный Им мне поэтический дар. Я был до того счастлив своей поэмой, что уже легче переносил обиды окружающих, заранее представляя себе, что, услышав ее, они почувствуют, как были несправедливы ко мне, и вознаградят меня двойной любовью. Поэма была окончена; ничей глаз, кроме моего, не видел еще этого сокровища, на которое я смотрел, как на своего рода ватиканского Аполлона, на чистый, девственный образец красоты, известный только Богу да мне. Я не мог дожидаться дня, когда прочту ее в Академии Тиберина. Никто из домашних не должен был знать о ней до того времени. Но вот однажды, вскоре после прибытия маленькой игуменьи, Фабиани и Франческа были со мною так ласковы, что я не мог не открыть им своей тайны. Они заявили, что первые желают познакомиться с моей поэмой.

— Кто же стоит к тебе ближе, чем мы? — сказали они. Я согласился, хотя и не без некоторого страха и трепета. В тот вечер, когда было назначено чтение, как нарочно, явился Аббас Дада, и Франческа пригласила его сделать мне честь своим присутствием. Ничто не могло быть мне неприятнее: я знал его придиричивость, ворчливость и раздражительность; другие тоже не особенно увлекались моим талантом, но вера в поэтические достоинства моего труда ободряла меня. Маленькая игуменья не скрывала своего удовольствия и любопытства. Право, сердце мое не билось сильнее даже в ту минуту, когда я выступал перед публикой

в театре Сан-Карло. Дело в том, что я надеялся своей поэмой заставить близких мне людей переменить свое мнение обо мне, заставить их относиться ко мне иначе, собирался, так сказать, подвергнуть их некоторой духовной операции, вот почему я и волновался так. Мое непосредственное чувство заставляло меня описывать только то, что я пережил сам. Материалы для описания пастушеской жизни Давида дала мне моя собственная жизнь в Кампанье.

— Да ведь это ты сам! — воскликнула Франческа. — Ты описал самого себя в Кампанье!

— Это можно было знать заранее! — сказал Есселенза. — Без него самого дело никогда не обойдется! Да, вот уж своеобразный дар у этого человека — вечно выдвигать вперед собственную особу!

— Стихи нуждаются в отделке! — заметил Аббас Дада. — Я бы посоветовал держаться Горациева правила: «Пусть лежат, лежат, пока не созреют!»

Мне показалось, что у изваянной мною прекрасной статуи отбили руку. Я прочел еще несколько строф, но услышал лишь одни холодные поверхностные замечания. Места, в которых непосредственно вылились мои заветные чувства, были признаны заимствованными у других поэтов; вместо ожидаемого восторга меня встретило одно равнодушие. Я прервал чтение на второй песне; больше читать я был не в силах: мое творение, казавшееся мне таким прекрасным и вдохновенным, валялось теперь передо мной безобразной куклой со стеклянными глазами и искаженными чертами лица. На образ красоты как будто брызнули ядом.

— Этот Давид не побьет филистимлян! — сказал Аббас Дада. Другие отозвались, однако, что в поэме есть кое-что хорошее, что я недурно описываю детские непосредственные чувства. Я молча поклонился, как преступник милостивым судьям. Аббас Дада еще раз напомнил мне Горациево правило, но все-таки дружески пожал мне руку и назвал поэтом. Спустя же несколько минут, сидя вконец уничтоженный и расстроенный в углу, я услышал, как он в разговоре с Фабиани назвал мое произведение невозможной чепухой. Я не мог вынести такого отношения ко мне и моему труду и, судорожно сжимая его в руках, направился в смежную залу, где топился камин. Все мои мечты были разрушены в одно мгновение; я чувствовал себя таким ничтожным, таким неудачным отражением Того, по Чьему образу и подобию был создан. И вот мое возлюбленное создание, в которое я вложил свою душу, свои живые мысли, полетело в огонь.

— Антонио! — вскричала очутившаяся возле меня маленькая игуменья и бросилась было к отверстию камина, чтобы выхватить загоревшиеся листы, но впопыхах поскользнулась и упала возле самого огня. Я пережил ужасное мгновение! Она громко вскрикнула, я бросился к ней и поднял ее. Когда в комнату испуганно вбежали другие, от моей поэмы уже ничего не осталось.

— Иисус, Мария! — вскричала Фрanchesка, увидев лежавшую на моих руках смертельно бледную маленькую игуменью. Фламиния сейчас же подняла голову, улыбнулась и сказала матери:

— Я поскользнулась! Но ничего, я только обожгла руку! Не случись тут Антонио, могло бы быть гораздо хуже! — Я стоял, как преступник, не в состоянии вымолвить ни слова. Фламиния сильно обожгла себе левую руку; весь дом переполошился. Никто не узнал, что поэма моя сгорела, и я все ждал, что вот-вот кто-нибудь да спросит о ней, но ошибся. Сам я не напоминал о ней, и другие не вспоминали. Так-таки никто? Никто, кроме Фламинии, доброго гения всей семьи. Ее доброта, ее участие пробуждали во мне иногда мое прежнее детское доверие к людям. Я сильно привязался к ней. Рука ее болела больше двух недель, бедняжка очень страдала от ожога, но не меньше страдал за нее и я.

— Фламиния! Это я виноват во всем! — сказал я однажды, когда мы сидели с ней вдвоем. — Из-за меня вы теперь страдаете.

— Антонио! Ради Бога, ни слова об этом! — ответила она. — Ты несправедливо обвиняешь себя: я поскользнулась, и, не будь тут тебя, действительно могло случиться несчастье! Я должна благодарить тебя! То же думают и отец с матерью. Они очень любят тебя, Антонио; больше, чем ты думаешь!

— Я знаю, что я всем обязан им! — ответил я. — И благодеяния их с каждым днем еще возрастают!

— Не говори об этом, Антонио! Правда, они обращаются с тобою по-своему, но так, по их мнению, и следует. Ты не знаешь, сколько хорошего рассказывала мне о тебе матушка! У всех у нас есть недостатки, Антонио! Ты сам... — тут она остановилась. — Да как у тебя хватило духу бросить в огонь свою прекрасную поэму?

— Туда ей и дорога! — ответил я. — Ее давно следовало сжечь!

Фламиния покачала головой.

— Какой же свет недобрый! В моем милом, тихом монастыре, у сестер, было куда лучше!

— Да, — сказал я. — Я не так добр и невинен, как вы; мое сердце дольше помнит поднесенные ему капли горечи, нежели сладкий нектар!

— В моем милом монастыре было куда лучше, чем здесь, хотя вы все так любите меня! — часто повторяла мне Фламиния, когда мы были с нею одни. Я просто благоговел перед нею, видя и чувствуя в ней ангела-хранителя моей невинности, всех добрых свойств моей души. И если мне казалось, что теперь и другие домашние обходятся со мною мягче, бережнее прежнего, то я приписывал это единственно ее влиянию. Она охотно беседовала со мною о том, что меня больше всего занимало — о поэзии, божественной поэзии! Я рассказывал ей о великих поэтах и, увлекаясь сам, часто увлекал своим красноречием и ее. Она слушала меня, сложив руки и не сводя с меня глаз, — истое изображение ангела невинности.

— Какой же ты счастливеец, Антонио! — говорила она мне. — Ты счастливейший из тысяч смертных, но все-таки страшно, по-моему, до такой степени принадлежать этому миру, как ты, как каждый поэт! Сколько добра можешь ты сделать своим словом, но и сколько зла! — Она удивлялась также, что поэты постоянно воспевают земные страсти и борьбу. Ей казалось, что пророк Божий, каким является поэт, должен славить только вечного Творца и небесные радости.

— Но поэт и славит Творца в Его творениях! — ответил я. — Поэт прославляет Господа, воспевая то, что Он сотворил для Своего прославления!

— Нет, это мне непонятно! — сказала Фламиния. — Я ясно чувствую то, что хочу сказать, но не могу выразить этого. Видишь ли, поэт должен, по-моему, воспевать только вечного Бога, то есть все божественное, что вложено в самого человека и во все мирозданье, должен направлять наши мысли на небесное, а не на земное! — Затем она спросила меня, каково быть поэтом и что я чувствую, когда импровизирую. Я, как мог, объяснил ей это душевное состояние. — Да, возникновение идей, мыслей я еще понимаю! — сказала она. — Они рождаются в душе, ниспосылаются Богом; это мы знаем все. Но я не понимаю, каким образом они выливаются в форму звучных стихов!

— Вам случалось, конечно, — сказал я, — заучивать в монастыре какой-нибудь красивый псалом или священную легенду в стихах. И вот часто, когда вы меньше всего думаете о том, какой-нибудь случай пробуждает в вас идею, имеющую связь с тем или другим стихотворением, которое разом и воскресает в вашей памяти. Вы можете в такую минуту сказать или написать его слово в слово; один стих, одна рифма ведет за собою следующие, раз только вы ясно представите себе заранее самую идею, смысл стихотворения. То же самое бывает и с поэтом, и с импровизатором. По крайней мере — со мною. Часто мне кажется, что я вспоминаю что-то давно знакомое мне с детства, как колыбельная песня, и я только повторяю это.

— Как часто испытывала нечто вроде этого я сама! — вскричала Фламиния. — Но я никогда не могла ни уяснить себе, ни выразить своих чувств! Мною часто овладевает какая-то странная, необъяснимая тоска!.. Поэтому-то мне и кажется, что мое место совсем не здесь, в этом шумном свете. Вся окружающая жизнь кажется мне только каким-то странным сном. Вот почему я так и скучаю по моему монастырю, по моей тихой келейке. Не знаю, отчего это, Антонио, но там я так часто видела во сне своего Божественного жениха и святую Деву, а здесь так редко. Здесь я много думаю о земных радостях и блеске, о многом дурном. Я совсем уж не так добра, как была прежде, когда жила у сестер. И зачем меня так долго держат здесь? Знаешь что, Антонио, — тебе я могу открыться, — я уже не так невинна помыслами, как была

прежде; я любила наряды и радуюсь, когда меня находят красивою! А в монастыре меня учили, что это занимает только порочных людей!

— Ах, если бы я был так невинен, как вы! — вздохнул я, целуя ее руку.

Она рассказала мне также, что помнит еще, как я танцевал с ней на руках и рисовал ей картинки.

— Которые вы, поглядев на них, рвали в клочки! — подхватил я.

— Да, это было нехорошо! Ты не сердился на меня за это?

— Люди разрывали в клочья лучшие создания моей души, да я и то не сердился! — сказал я, и она ласково погладила меня по щеке. Я привязывался к ней все больше и больше; ведь все, кроме нее, отталкивали меня от себя, она одна принимала во мне сердечное участие.

Вся семья переехала на два летних месяца в Тиволи. Взяли и меня; вероятно, это устроила Фламиния. Чудная природа, роскошные оливковые рощи и шумные водопады произвели на меня такое же сильное впечатление, как море, когда я увидел его впервые из Террачины. Я как будто ожил вдали от Рима и сожженной зноем Кампаньи; свежий воздух и вид гор, покрытых темными оливковыми рощами, обновили в моей душе впечатления, вынесенные мною из Неаполя. Фламиния охотно каталась со своей горничной на мулах по долине близ Тиволи; мне было позволено сопровождать их. Фламиния очень любила природу, и мне пришлось набрасывать для нее на бумагу виды живописной местности: бесконечную Кампанью с вырисовывающимся на горизонте куполом храма святого Петра, горные склоны, покрытые оливковыми рощами и виноградниками, и городок Тиволи, расположенный на высокой скале, из-под которой с шумом и пеной низвергались в бездну водопады.

— Глядеть отсюда — весь город кажется построенным на отдельных каменных глыбах, которые вода скоро снесет! — сказала Фламиния. — А в городе-то и не думаешь об этом, а прыгаешь себе над открытой могилой!

— Так всегда! — ответил я. — Да и счастье, что наша могила, скрыта от нашего взора. Эти шумящие водопады, конечно, грозны на вид, но куда ужаснее положение Неаполя, под которым клоочет огонь, как здесь вода! — И я рассказал Фламинии о Везувии, о своем восхождении на него, о Геркулануме и Помпее. Она жадно ловила каждое мое слово и дома заставила меня подробнее описать все чудеса, виденные мною по ту сторону Понтийских болот. Моря она, однако, никак представить себе не могла; она видела его только издали, с высоты гор, откуда оно казалось узкой серебряной полосой на горизонте. Тогда я сказал ей, что оно похоже на безграничное Божие небо, раскинувшееся по земле. Девушка сложила руки и сказала:

— Как бесконечно прекрасен мир Божий!

«Вот потому-то и не надо запираяться от него в мрачных стенах монастыря!» — подумал я, но не посмел сказать.

Однажды мы стояли с нею у древнего храма и смотрели вниз на два огромных водопада, низвергавшихся в бездну, словно два светлых облака. Серебристая водяная пыль образовывала между темно-зелеными деревьями высокий столб, стремившийся к голубому небу и отливавший на солнце всеми цветами радуги. В расщелине скалы над другим водопадом, поменьше, свила себе гнезда стая голубей, и они большими кругами летали над нами и водяной массой, шумно разбивавшейся о камни.

— Какая красота! — промолвила Фламиния. — Мне бы хотелось послушать, как ты импровизируешь, Антонио! Воспой, что видишь вокруг!

Я вспомнил о своих заветных мечтах, разбившихся о людское равнодушие, как разбивались эти водяные потоки о камни, и запел: «Жизнь похожа на этот шумный поток, но не в каждой ее капле отражается солнышко; его сияние разлито только, как сияние красоты, над всем мирозданием!»

— Нет, это слишком печально! — прервала меня Фламиния. — Спой лучше в другой раз, когда сам почувствуешь влечение. Не знаю, Антонио, отчего, но я смотрю на тебя совсем не так, как на других мужчин! Тебе я могу высказать все, что думаю, все равно как отцу или матери.

Она, видно, доверяла мне так же, как и я ей. А многое хотелось мне ей доверить! Однажды вечером я и рассказал ей кое-что из своих детских воспоминаний: о приключении в катакомбах, о празднике цветов в Дженцано и о смерти моей матери, попавшей под карету Есселенза. Фламиния никогда не слыхала об этом.

— Господи! — вскричала она. — Значит, мы виноваты в твоём несчастье, бедный Антонио! — Она взяла меня за руку и с состраданием поглядела на меня. Старая Доменика очень заинтересовала ее, и она спросила, часто ли я навещаю старушку. Я со стыдом признался, что в последние годы едва ли побывал у нее больше двух раз; зато я часто виделся с ней в Риме и всякий раз делился с нею своими маленькими средствами, но об этом, конечно, не стоило и упоминать.

Фламиния ежедневно просила меня рассказать ей что-нибудь еще, и я, наконец, рассказал ей историю всей своей жизни, рассказал и о Бернардо, и об Аннунциате. Она слушала меня, не сводя с меня своего кроткого, невинного взгляда, проникавшего мне прямо в душу и напоминавшего мне, что меня слушает сама невинность. Поэтому, передавая ей историю своего пребывания в Неаполе, я лишь слегка коснулся теневых его сторон. Но, как ни осторожно рассказал я ей о Санте, этой змее-искусительнице, встреченной мною в раю, девушка все-таки содрогнулась от ужаса.

— Нет, нет, туда бы я не желала попасть! Ни чудное море, ни эта огнедышащая гора не могут искупить всей греховности и порочности этого города. Ты добр и благочестив, потому Мадонна и защитила тебя!

Я вспомнил об изображении Божьей Матери, упавшем на меня со стены в ту минуту, когда уста мои слились с устами Санты. Но этого

я не мог рассказать Фламинии; назвала ли бы она меня добрым и благочестивым, если бы узнала об этом? Да, я был так же грешен, как и все люди; обстоятельства и милость Божьей Матери спасли меня, сам же я в минуту искушения был слаб, как и все, кого я знал. Лара, напротив, очень понравилась Фламинии по моему описанию.

— Да, — сказала она, — только Лара и могла явиться тебе в том чудном месте! Я так хорошо представляю себе и ее, и эту сияющую пещеру, где ты в последний раз видел ее! — Аннунциате же она как-то не хотела отдать должного. — Как она могла полюбить этого гадкого Бернардо? Я бы и не хотела, впрочем, чтобы она сделалась твоей женой. Женщина, выступающая перед толпой, женщина... Нет, я не могу хорошенько высказать того, что чувствую!.. Но как она там ни хороша, ни умна, ни талантлива в сравнении с другими женщинами, мне бы не хотелось, чтобы она вышла за тебя! Вот Лара, та была бы для тебя ангелом-хранителем!

Я должен был рассказать Фламинии и о своем дебюте в Сан-Карло, и она нашла, что импровизировать перед многотысячной театральной публикой было куда страшнее, нежели перед разбойниками в пещере. Я показал ей газету, в которой был помещен критический отчет о моем первом дебюте. Как часто я перечитывал его сам! Эта газета из другого города очень заинтересовала Фламинию, и она принялась проглядывать ее столбцы. Вдруг она взглянула на меня и сказала:

— А ты и не сказал мне, что Аннунциата была в Неаполе в одно время с тобою! Здесь напечатано, что она должна была выступить как раз в день твоего отъезда.

— Аннунциата! — прошептал я, впиваясь глазами в газету, которую столько раз брал в руки, но всякий раз прочитывал лишь ту статью, где говорилось обо мне. — Этого я не видел! — пробормотал я, и мы молча поглядели друг на друга. — Да и слава Богу, что я не встретил, не видел ее, — она ведь уже не могла принадлежать мне!

— А если бы ты увиделся с нею теперь? — спросила Фламиния. — Ты бы обрадовался?

— Нет! Кроме боли и горя, я ничего бы не испытал! Той Аннунциаты, которая пленила меня, идеальный образ которой я еще ношу в душе, я бы уже не нашел в ней! Она явилась бы для меня новым существом, пробудила бы во мне одни горькие воспоминания. Нет! Мне надо забыть ее, смотреть на нее, как на умершую!

Однажды после обеда, в жаркую пору дня, я вошел в большую залу, окна которой были густо увиты зелеными ползучими растениями. Фламиния сидела у окна, опершись щекой на руку, и дремала. Сон ее был так легок, что она, казалось, закрыла глаза только шутя. Грудь ее тихо поднималась. «Лара!» — вдруг прошептала она. Ей, вероятно, приснилось мое видение в сияющей пещере. На губах ее заиграла улыбка, и она открыла глаза.

— Антонио! — сказала она. — А я заснула, и знаешь, кого видела во сне?

— Лару! — ответил я; сама Фламиния с закрытыми глазами невольно напомнила мне слепую красавицу.

— Да! — подтвердила она. — Мы летели вместе с нею над огромным чудным морем, о котором ты мне рассказывал. Из середины его поднималась гора, и на ней сидел ты, такой грустный, каким часто бываешь. «Слетим к нему!» — сказала Лара и стала опускаться. Я хотела последовать за нею, но воздух не давал мне опуститься, и каждый взмах крыльев, вместо того чтобы приблизить меня к ней, только удалял от нее еще больше. Но вот когда я думала, что мы удалены друг от друга на тысячу миль, она вдруг очутилась возле меня, и ты тоже!

— Так мы все соединимся после смерти! — сказал я. — Смерть богата! Она может дать нам все, что дорого нашему сердцу! — И я заговорил о своих дорогих умерших — как умерших в действительности, так и умерших для моей любви. И не раз возвращался я в разговоре с Фламинией к этим воспоминаниям, а она однажды спросила меня, буду ли я вспоминать и ее, когда мы расстанемся? Скоро ведь она удалится в монастырь, делается монахиней, невестой Христа, и мы уже никогда не увидимся больше! При одной мысли об этом сердце мое мучительно сжалось, и я живо почувствовал, насколько дорога мне Фламиния. Раз мы гуляли с ней и ее матерью по саду виллы д'Эсте. Проходя по аллее из темных кипарисов, украшенной фонтанами, мы увидели оборванного нищего, половшего дорожку. Он попросил у нас байоко. Я дал ему паоло, Фламиния с ласковой улыбкой подала ему такую же монету. «Да благословит Мадонна молодого барина и его прекрасную невесту!» — закричал он нам вслед. Франческа громко засмеялась, а меня как будто варом обварило; я боялся даже взглянуть на Фламинию. В душе моей невольно пробудилась мысль, в которой я не смел признаться даже самому себе. Привязанность к Фламинии медленно, но прочно пустила корни в моем сердце, и я чувствовал, что оно истечет кровью при разлуке с нею. Она была теперь единственной моей земной привязанностью. Не любовью ли? Может быть, я любил ее? Но чувство, которое я питал к ней, не походило ни на то, которое пробудила в душе моей Аннунциата, ни на то, которое внушила мне красота Лары, оба же эти последние чувства были сродни между собою. Аннунциата пленила меня своим умом и наружностью, Лара с первого же взгляда ослепила своей красотой; совсем иначе любил я Фламинию. Я питал к ней не дикую, жгучую страсть, а дружбу, живейшую братскую любовь. Припоминая свои отношения к ее родным и их намерения относительно ее судьбы, я приходил в отчаянье: я должен был расстаться с нею, а она была для меня дороже всего на свете! Но я не чувствовал ни желания прижать ее к своему сердцу, ни поцеловать, как Аннунциату или как совсем чужую мне слепую девушку. «Да благословит Мадонна молодого барина и его прекрасную невесту!» —

эти слова не переставали раздаваться в моих ушах; я старался прочесть в глазах Фламинии малейшее ее желание, ходил за ней по пятам, как тень. В присутствии других я чувствовал себя расстроенным, грустным, скованным тысячью цепей, становился молчалив и рассеян и только наедине с Фламинией вновь обретал дар слова. Я так любил ее и должен был лишиться ее!

— Антонио! Что с тобой? — спрашивала она меня. — Болен ты, или что-нибудь случилось с тобой, чего я не должна знать? Почему? — Она привязалась ко мне всею душой, видела во мне верного, любящего брата, а я-то всегда всеми силами старался пробудить в ней любовь к этому миру! Я рассказал ей, как сам когда-то хотел поступить в монастырь и как несчастен был бы я теперь, если бы выполнил свое намерение: рано или поздно сердце ведь должно заговорить.

— Ну, а я буду так счастлива, когда вернусь к моим благочестивым сестрам! — сказала она. — Только там я опять буду чувствовать себя как дома! Но я часто стану вспоминать о времени, проведенном в мире, и обо всем том, что рассказывал мне ты, о тебе самом и о твоей дружбе ко мне. Я уже заранее утешаюсь этими прекрасными мечтами! Я буду молиться за тебя, молиться о твоём счастье и о том, чтобы этот дурной свет не испортил тебя, о том, чтобы ты радовал людей своим талантом и никогда не переставал чувствовать доброту и милость Господа к тебе и ко всем людям!

Тут слезы брызнули у меня из глаз, я глубоко вздохнул и сказал:

— Так мы никогда, никогда не увидимся больше?

— Увидимся на небе! — ответила она с кроткой улыбкой. — Там ты покажешь мне Лару! Там она вновь обретет свет очей! Да, на небе у Мадонны лучше всего!

Мы опять переехали в Рим; прошло еще несколько недель, и домашние стали поговаривать о том, что скоро Фламиния вернется в монастырь и примет пострижение. Сердце мое ныло от боли, но я должен был скрывать свои чувства. Как пусто, печально будет в доме, когда она уедет, каким одиноким, чужим для всех останусь я опять! Какое горе! Я старался, однако, скрывать его и казаться веселым. Родные говорили о пышной церемонии пострижения девушки, словно дело шло о каком-то радостном событии. Но как она сама могла решиться покинуть нас? Увы! Они околдовали ее, овладели ее чувствами, ее разумом! И вот прекрасные длинные волосы ее падут под ножницами, на нее на живую наденут саван, колокола зазвонят к погребению, и затем она восстанет из гроба уже невестою Христа. Я нарисовал эту картину самой Фламинии и заклинал ее подумать хорошенько о том, что она собирается сделать — зарыть себя живой в могилу.

— Смотри, не скажи этого при других, Антонио! — сказала она таким серьезным, строгим тоном, какого я еще не слыхал от нее. — Ты

чересчур привязан к земле! Обращай почаще взоры к небу! — Тут она покраснела и схватила меня за руку, будто испугавшись, что говорила со мною чересчур резко, затем ласково прибавила: — Ты ведь не станешь огорчать меня, Антонио?

Я упал к ее ногам, преклонился перед нею, как перед святою; вся моя душа льнула к ней. Сколько слез пролил я в ту ночь! Мое чувство к ней казалось мне грехом; она ведь была невестой Христа. День за днем смотрел я на нее и открывал в ней все новые и новые достоинства. А она беседовала со мной, как сестра с братом, доверчиво смотрела мне в глаза, протягивала мне руку и говорила, что соскучилась без меня, что очень любит меня... Я всеми силами старался скрыть от нее свою скорбь, и мне это удавалось. Лучше было бы мне умереть, чем страдать так, как я страдал тогда!

Предстоящая разлука с Фламинией так пугала меня, что злой дух нашептывал мне на ухо: «Ты любишь ее!» И все же я не любил ее так, как любил Аннунциату; мое сердце не билось в ее присутствии так, как в ту минуту, когда я коснулся губами чела Лары. «Скажи Фламинии, что ты не можешь жить без нее, — она ведь любит тебя, как брата! Скажи, что любишь ее! Есселепза и вся семья проклянут тебя, выгонят тебя на все четыре стороны, но ведь, теряя ее, ты все равно теряешь все! Выбор не труден!» И как часто признание готово было сорваться с моих уст, но сердце замирало, и я безмолвствовал. Лихорадочное возбуждение волновало мою кровь, мой мозг.

В палаццо уже приготовились к блестящему балу, празднику цветов, в честь ведомого на заклание агнца! Я увидел Фламинию в богатом наряде; она была бесконечно мила.

— Веселись же теперь вместе со всеми! — шепнула она мне. — Мне больно видеть тебя таким печальным! Ты будешь причиной того, что я буду жалеть о мире, когда сделаюсь монахиней, а это грех, Антонио! Обещай мне преодолеть свою грусть, обещай простить моих родителей за то, что они иногда обращаются с тобой несколько жестко! Они желают тебе только добра! Обещай мне, что ты не будешь слишком много думать о людских обидах и всегда останешься таким же добрым и благочестивым, как теперь. Тогда я буду иметь право думать о тебе и молиться за тебя, а Мадонна ведь так добра и милостива!

— Слова ее разрывали мне сердце. Я увиделся с ней еще раз, вечером накануне ее отъезда. Она была спокойна; поцеловала отца, мать и старого Есселепза и говорила о разлуке с ними так, как будто уезжала всего на несколько дней.

— Простись же и с Антонио! — сказал ей Фабиани, который один из всех казался растроганным. Я поспешно подошел к ней и наклонился поцеловать ее руку.

— Будь счастлив, Антонио! — сказала она. Ее нежный, мягкий голос вызвал у меня на глазах слезы; я не помнил себя от горя. Я ведь видел

ее милое, кроткое личико в последний раз! — Прощай! — сказала она как-то беззвучно, наклонилась, поцеловала меня в лоб и прибавила: — Благодарю тебя за твою любовь ко мне, милый брат! — Больше я уж ничего не помню. Я выбежал из залы, кинулся в свою комнату и залился слезами. Весь свет как будто померк для меня.

И я увидел ее еще раз! Солнышко светило так весело, так ярко, когда родители вели ее, разубранную, как невесту, к алтарю. Я слышал пение, видел толпу народа, но ясно помню лишь одно бледное милое личико Фламинии. Это сам ангел стоял на коленях перед алтарем! Я видел, как сняли с ее головы драгоценную вуаль, как захватили ножницами ее роскошные волосы, слышал лязг ножниц... С девушки сняли богатые одеяния, и она завернулась в саван, затем ее накрыли черным покровом с изображением черепов... Раздался погребальный звон, монахини стали отпевать умершую. Да, Фламиния умерла для этого мира! Вот отворилась черная решетка хоров, показались сестры в белых одеяниях и запели новой сестре приветствие. Епископ протянул ей руку, мертвая восстала невестою Христа. Ее нарекли Елизаветою. Я видел, как она бросила на толпу прощальный взгляд, протянула руку ближайшей сестре и переступила за порог жизни и света; черная решетка затворилась! Еще раз мелькнула за решеткой ее тень, край ее платья... потом она скрылась от меня навсегда.

ДОМЕНИКА. ОТКРЫТИЕ. ВЕЧЕР В НЕПИ. ТЕРНИ. ПЕСНЯ МАТРОСА. ВЕНЕЦИЯ

В палаццо Боргезе шел прием поздравлений: Фламиния-Елизавета стала ведь невестой Христа. Принужденная улыбка на устах Франчески не скрывала ее печали, в сердце ее не было того спокойствия, которое выражало ее лицо. Фабиани сказал мне растроганным голосом:

— Ты лишился своей заступницы! Тебе есть о чем печалиться!.. Фламиния просила меня передать от нее несколько скудо старой Доменике. Ты, верно, рассказывал ей о старушке? Возьми же эти деньги, это дар Фламинии! — Смерть, как змея, обвилась вокруг моего сердца, мною овладело отвращение к жизни, я падал под этим бременем, и самоубийство казалось мне лучшим исходом. Пустынно, мертво было в больших залах. «На свежий воздух! — думал я. — На родину детства, где слух мой ласкали колыбельные песни Доменики, где я играл и мечтал ребенком!» И вот предо мною опять раскинулась выжженная солнцем Кампанья; ни кустика, ни зеленой былинки, говорившей о жизни и надежде. Желтый Тибр катил свои волны, стремясь исчезнуть в море. Я вновь увидел старую гробницу, густо обросшую плющом, этот маленький мирок, который я в детстве звал своим. Дверь стояла открытою; сладкая грусть овладела мною при мысли о любви ко мне Доменики и о радости, с которою она встретит

меня. Прошел уже целый год с тех пор, как я был здесь, и почти восемь месяцев минуло со времени нашего последнего свидания с Доменикой в Риме. Она просила меня поскорее навестить ее, я часто думал и говорил о ней с Фламинией, но наш отъезд в Тиволи, а по возвращении оттуда мое взволнованное душевное состояние помешало мне добраться в Кампанию. Я уже слышал мысленно радостные восклицания Доменики, когда она увидит меня, и ускорил шаги, но, подойдя ближе, стал подкрадываться к гробнице потихоньку, чтобы старушка не услышала моих шагов заранее. Вот я заглянул в жилое помещение; на полу был разведен огонь, и на нем стоял большой железный котел; огонь раздувал молодой парень. Заслышав мои шаги, он повернул ко мне голову. Это был Пьетро, которого я качал малюткой в колыбели.

— Святой Иосиф! — вскричал он радостно и вскочил. — Вы ли это, Есселенза? Давно-давно вы не изволили заглядывать к нам!

Я протянул ему руку. Он хотел поцеловать ее.

— Не надо, не надо, Пьетро! — сказал я. — Да, можно подумать, что я забыл старых друзей, но нет!

— Нет! И бабушка то же говорила! — подхватил он. — Мадонна! Как бы она обрадовалась, увидя вас!

— А где же она? — спросил я.

— Ах! — вздохнул он. — Она уже полгода как лежит в сырой земле! Она умерла в то время, как вы, Есселенза, были в Тиволи. Она хворала всего несколько дней, но все время не переставала говорить о своем милом Антонио! Простите, Есселенза, что я называю вас так! Она так любила вас! «Ах, удалось бы мне еще разочек взглянуть на него перед смертью!» — говорила она и так тосковала о вас. Видя, что ей не пережить ночи, я побежал после обеда в Рим. Я знал, что вы не рассердитесь на меня за мою просьбу прийти к умирающей. Но в Риме я узнал, что вы с господами уехали в Тиволи. Печально побрел я домой и, вернувшись, нашел ее уж заснувшей навеки. — Тут Пьетро закрыл глаза руками и заплакал. Каждое его слово камнем ложилось мне на сердце. Доменика думала обо мне даже на смертном одре, а мои мысли блуждали в это время далеко, далеко от нее! Хоть бы я, по крайней мере, простился с ней перед отъездом в Тиволи! Нет, недобрый я был человек! Я отдал Пьетро деньги, посланные Фламинией, и все, что было в моем собственном кошельке. Он упал передо мною на колени и назвал меня своим ангелом-благодетелем. Это название отозвалось в моем сердце горькой насмешкой. В еще более грустном настроении, нравственно уничтоженный и разбитый, оставил я Кампанию и сам не помню, как добрался домой.

Три дня пролежал я без сознания в жесточайшем жару. Бог знает, что я говорил в бреду, но Фабиани стал часто навещать меня, а в сиделки ко мне приставили глухую Фенеллу. Никогда при мне не упоминали о Фламинии. Больным вернулся я из Кампании и сейчас же слег

в постель. Выздоровление шло медленно. Напрасно старался я вернуть себе утраченные бодрость и веселость. Прошло уже почти шесть недель с того времени, как Фламинию постригли, и тогда только доктор позволил мне выходить. Сам не знаю, как я очутился у ворот Пия и устремил взор вниз на Кватро-Фонтане, но пройти мимо монастыря не решался. Спустя несколько дней меня опять потянуло туда. Это было вечером, в новолуние; я увидел серые стены и огороженные решеткой окна монастыря — могилы Фламинии. Отчего ж бы мне и не посетить ее могилу?» — сказал я самому себе и нашел в этой мысли оправдание себе. Каждый вечер проходил я мимо монастыря, говоря случайно встречавшимся мне по дороге знакомым, что я люблю прогуливаться в виллу Альбани. «Бог знает, чем это кончится! — вздыхал я внутренне. — Но долго мне не выдержать!» Раз в один темный вечер я опять стоял возле монастыря; из окна одной кельи мерцал луч света; я прислонился к углу соседнего дома и, не сводя глаз с этого светлого луча, думал о Фламинии.

— Антонио! — вдруг раздался за мною чей-то голос. — Что ты делаешь здесь? — Это был Фабиани. — Иди за мною! — прибавил он. Я последовал за ним; мы не обменялись за все время пути ни одним словом. Фабиани знал теперь все, как и я сам. Я чувствовал себя неблагодарным и не смел взглянуть на него. Вот мы очутились одни в комнате. — Ты все еще болен, Антонио! — заговорил Фабиани каким-то особенным, серьезным тоном. — Тебе нужно развлечься, рассеяться, окунуться в море жизни. Раз ты уже попробовал свои крылья на свободе, и, может быть, с моей стороны неправильно было вновь засадить птичку в клетку. Человеку, в сущности, следует всегда предоставлять свободу: погибнет он, так, по крайней мере, может винить лишь самого себя! Ты уже в таких летах, что можешь зажить самостоятельно. Тебе полезно было бы проехаться; это и доктор говорит. Ты видел только Неаполь, поезжай теперь в Северную Италию. О средствах я позабочусь. Так-то будет лучше!.. Это даже необходимо! И, — прибавил он серьезным, даже строгим тоном, какого я еще не слышал от него, — я убежден, что ты никогда не забудешь, сколько мы сделали для тебя, никогда не причинишь нам горя и стыда, повинуюсь внушениям слепой страсти. Человек способен на все, если хочет, если хочет только хорошего! — Его слова сразили меня, как ударом молнии; колени мои подогнулись, и я поцеловал его руку. — Я знаю, — прибавил он полунасмешливо, — что мы всегда были несправедливы к тебе, слишком строги! Но никто не относился к тебе честнее, чистосердечнее, чем мы! От других ты услышишь более ласковые речи, льстивые слова, но не услышишь правды, которую мы говорили тебе. С год ты можешь провести в путешествии, а затем покажи нам, на что ты способен, докажи, что мы были несправедливы к тебе! — С этими словами он оставил меня.

«Неужели судьба готовит мне еще новые горести, готовится отравить мою жизнь новым ядом? Единственный бальзам — свобода, возможность

вырваться на волю, облететь Божий мир, и тот пролился на мою глубокую рану, как яд! Прочь из Рима, подальше от юга, где все будит во мне воспоминания, туда, за Апеннины, на север, к снежным горам. С них повеет холодом в мою разгоряченную кровь. На север, в плавучую царицу морей — Венецию! Дай мне Бог никогда не возвращаться больше в Рим, к могиле моих воспоминаний! Прощай, моя родина!..» Карета покатила по пустынной Кампанье; вот купол храма святого Петра скрылся за горами, мы миновали холм Соракте и, перевалив через горы, прибыли в узкий Непи. Вечер был ясный, лунный; перед дверями остерии проповедовал монах. Толпа набожно повторяла за ним слова молитвы и затем с пением проводила его по улицам. Но теперь толпа пугала меня и отталкивала от себя. Старые водопроводы, обвитые густыми ползучими растениями, и темные оливковые рощи вокруг придавали всей местности мрачный колорит, соответствовавший моему душевному настроению. Я вышел из тех же ворот, в которые въехал; сейчас же за ними начинались величественные развалины какого-то замка или монастыря; через них пролегла теперь большая проезжая дорога. Маленькая тропинка вела в глубину развалин. Я прошел мимо небольшой кельи, обросшей плющом и венериными волосами, и вступил в обширную залу; из щебня, из-под подножий колонн пробивалась высокая трава; вокруг больших готических окон с кое-где уцелевшими осколками разноцветных стекол шевелились широкие виноградные листья. Высокие стены поросли местами кустиками. Лучи месяца освещали фреску, изображавшую святого Себастиана, пронзенного стрелами и истекающего кровью. В зале беспрерывно гудело мощное эхо; я пошел на гул и, выйдя из узких дверей, очутился среди миртовых кустов и густых лоз винограда; тут же зияла глубокая пропасть, в которую с шумом низвергался пенистый водопад; лучи месяца играли в его брызгах. Романтичность этой местности поразила бы воображение любого прохожего, но я, под впечатлением угнетавшей меня скорби, может быть, скоро позабыл бы ее, если бы вслед за тем не наткнулся на зрелище, при виде которого сердце мое облилось кровью. Я пошел по узенькой, полузаглохшей дорожке, тянувшейся возле пропасти и выходившей на большую дорогу. Возле самой дороги шла высокая белая стена, освещенная лучами месяца, и на ней, в железной клетке, торчали три бледные головы казненных разбойников, выставленные, как это делалось и в Риме, на воротах дель Анджело, в остростку другим. В былые времена вид этих голов ужаснул бы меня, но теперь я остался спокоен; страдания делают человека философом. Удалая головушка, замышлявшая грабежи и убийства, смелый горный орел сидел теперь тихо и степенно в тесной клетке, как пойманная птица. Я подошел поближе. Разбойники, видимо, были казнены очень недавно; черты лица еще не успели измениться. Вглядываясь пристальнее в среднюю голову, я почувствовал, как забилося мое сердце. Это была голова старухи с бронзовым цветом лица; глаза были полуоткрыты; длинные седые волосы вы-

бились из-за решетки и развевались по ветру. Я невольно взглянул на прибитые к стене дощечки, на которых, согласно обычаю, обозначались имена и преступления казненных. Да, на одной из них было написано: «Фульвия из Фраскати»! Потрясенный до глубины души, я отступил на несколько шагов назад. Так вот где мне было суждено вновь увидеть Фульвию, эту странную старуху, спасшую мне однажды жизнь и доставившую мне средства бежать в Неаполь, моего доброго гения! Эти бледные, посиневшие губы, когда-то прикасавшиеся к моему лбу и пророчески возвещавшие толпе жизнь и смерть, теперь умолкли навеки, и безмолвие их наводило ужас. «Ты предсказала мне блестящую будущность. А вот орел твой лежит с перебитыми крыльями, не достигнув солнца! В борьбе с несчастьем он утонул со сломанным крылом в глубоком озере жизни!» Я залился слезами и с именем Фульвии на устах медленно побрел обратно. Никогда не забыть мне этого вечера в Непи!

На следующее утро мы уехали оттуда в Терни, где находится величайший и прекраснейший водопад во всей Италии. Я верхом поехал через густую, темную оливковую рощу, тянувшуюся за городом. На вершинах гор висели мокрые облака; весь путь из Рима к северу казался мне мрачным; тут не было ни улыбающихся картин природы, как в Понтийских болотах, ни апельсиновых рощ и цветущих пальм, как в Террачине. Впрочем, может быть, мое собственное душевное настроение придавало всему мрачный колорит.

Мы проехали рощу; между скалами и быстрой рекой шла чудная аллея из апельсиновых деревьев. Я уже видел между деревьями висевшее в воздухе облако водяной пыли, переливавшееся всеми цветами радуги. Мы стали взбираться на гору, продираясь сквозь чащу розмариновых и миртовых кустов. С вершины горы по отвесным скалам низвергалась огромная масса воды. Рядом извивался серебряною лентой меньший рукав той же реки, и оба, слившись внизу под скалами в широкий молочный поток, устремлялись в черную бездну. Я вспомнил водопады близ Тиволи, где я импровизировал раз по просьбе Фламинии. Шум этого гигантского водопада мощными звуками органа пробуждал во мне воспоминания о моей потере, о моем горе; разбиваться, умирать, превращаться в ничто — вот удел детей природы!

— Здесь разбойники недавно убили одного англичанина! — сказал наш проводник. — Это было дело так называемой Сабинской шайки, хотя эти черти и рассеяны по всем горам от самого Рима до Терни. Полиция все гоняется за ними, ну, и поймали троих из них. Я видел, как их везли в город закованных в цепи. У ворот сидела мудрая Фульвия из Сабинских гор, как мы прозвали ее; она была стара и все-таки вечно молода, знала много такого, за что любому монаху досталась бы кардинальская шапка. Она предсказала людям их судьбу загадочными словами. После сказывали, что это у нее был свой особый, тайный язык, что она была с разбойниками заодно. Ну вот теперь схватили и старуху, и еще многих разбойников. Час

ее пробил! Теперь ее голова скалит зубы на воротах в Непи! — Право, и природа, и люди как будто сговорились набрасывать на мою душу черную тень! Мне так и хотелось пронестись через все страны на крыльях ветра. Эти мрачные оливковые рощи наводили на меня тоску, горы давили меня. «Туда, к морю, где веет свежий ветер! К морю, где одно небо носит нас на себе, другое расстилается над нашими головами!» Моя кровь была распалена любовью и желанием; дважды вспыхивало в моей груди это чистое священное пламя. В Аннунциату я влюбился с первого взгляда, но она полюбила другого. К Фламинии я привязался медленно, она не ослепляла, не поработила меня, но заставила меня оценить ее мало-помалу, как настоящий драгоценный камень. И каждый раз, когда она дружески протягивала мне для поцелуя руку, ласково успокаивала меня и просила не поддаваться губительным искушениям света, она все глубже вонзала стрелу в мое сердце. Я любил ее не как невесту и все-таки чувствовал, что не мог бы равнодушно видеть ее в объятиях другого. Теперь она умерла, умерла для света, никто другой не прижмет ее к своему сердцу, не поцелует ее, не будет обладать ею. От такого адского мучения я был все-таки избавлен. И я старался найти утешение в этих мыслях — теперь я уже считал свое чувство к Фламинии настоящей любовью, страстью. А что, если бы мне пришлось увидеть ее невестой какого-нибудь молодого вельможи, быть ежедневным свидетелем их взаимного счастья и замечать, что она обходится с бедным пастушонком из Кампаньи хотя и по-прежнему ласково, но уже без прежней любви! Вот была бы пытка! Нет, пусть лучше она принадлежит монастырю, где никто не смеет поднять на нее глаз, никто не видит ее! Да, так было лучше, утешительнее. Итак, мне еще можно было позабавоваться! Другим приходится куда горше.

«К морю, к полному чудес морю! Вот где откроется мне новый мир! В Венецию, в этот диковинный плавающий город, царствующий над Адриатикой! В Венецию, но не через эти мрачные леса и грозно сдвинутые горы, а на крыльях ветра по мощным волнам!» Вот о чем я мечтал.

Сначала я предполагал прежде всего побывать во Флоренции и оттуда проехать в Болонью и Феррару, но потом изменил план, оставил своего веттурино в Сполето, взял место в почтовой карете и ночью перевалил через Апеннины и миновал Лоретто, не завернув — да простит мне это Мадонна — в Ее святой храм. Еще с высоты гор я видел Адриатическое море, блестевшее на горизонте серебряной полосой, но тогда подо мною, словно гигантские застывшие волны, лежали горы; теперь же взорам моим представилось голубое открытое море; по волнам неслись украшенные флагами корабли всех стран и наций. Мне вспомнился при виде этой картины Неаполь, но здесь не было ни дымящейся вершины Везувия, ни чудного Капри. Я переночевал тут и видел во сне Фульвию и Фламинию. «Пальма твоего счастья скоро зазеленеет!» — сказали мне они обе, улыбаясь, и я проснулся; занималась заря.

— Синьор! — крикнул мне слуга гостиницы, где я ночевал. — Корабль готов отплыть в Венецию, но вы, верно, захотите сначала осмотреть наш город?

— В Венецию? — воскликнул я. — О нет, сейчас же, сейчас же туда! — Меня влекло туда какое-то необъяснимое чувство. Я взошел на корабль, положил возле себя свой дорожный мешок и стал любоваться бесконечным морем. «Прощай, моя родина!» Теперь только, когда моя нога уже не касалась земли, я чувствовал, что действительно готовлюсь облететь мир Божий. Я знал, что в Северной Италии увижу новые картины природы. Сама Венеция, эта богато убранная невеста моря, не походит ни на один из других городов Италии. Надо мною уже веял флаг с изображением крылатого льва Венеции — корабль был венецианский. Вот паруса надулись от ветра, и берег скрылся из виду. Я сидел у правого борта и не сводил глаз с голубых волн. Неподалеку от меня сидел молодой матрос и пел венецианскую песню о счастье любви и кратковременности земных радостей.

«Целуй пунцовые уста, завтра ты уже будешь добычей смерти! Люби, пока сердце твое молодо, пока в крови горит огонь желаний! Седые волосы — цветы старости, а в старости кровь леденеет, огонь страстей потухает. Садись в легкую гондолу! Никто не увидит нас, моя красавица! Мы закроем двери и окна! Никто не увидит нашего счастья! Нас убаюкают волны! Они обнимаются, как и мы. Люби, пока кровь горит огнем юности! О твоём счастье узнает лишь немая ночь да волны! Старость несет с собой мертвящий мороз и снег!»

Матрос пел, улыбаясь и кивая головою окружающим, и те хором подхватили припев, зовущий к любви и поцелуям, пока сердце молодо. Песня была веселая, но для меня она звучала погребальной песнью. Да, годы бегут, юность уходит! Я дал священному елею любви пролиться на землю, не дал ему возжечься в моем сердце. Правда, пламя его не погубило никого, но и не осветило, и не согрело никого! Холодным, темным сойдет мое сердце в могилу. А меня ведь не связывали никакие обеты; почему же мои жаждущие уста не прильнули к нектару любви? И меня охватило чувство какого-то недовольства самим собою. Не дикий ли огонь страстей, горевший в моей груди, иссушил мой рассудок? Мне было горько вспомнить о своем бегстве от Санты. «На меня упало изображение Мадонны!.. Что ж, перержавел гвоздь, а во мне сейчас уж и заговорило мое иезуитское воспитание, козье молоко в моих жилах заставило меня бежать, как мальчишку от розог! А как хороша была Санта!» Я вспомнил ее жгучий, полный страсти взор и злился на себя все больше и больше. Ах, зачем я не был похож на Бернардо, на тысячи других мужчин, на моих молодых знакомых! Никто, никто из них не разыгрывал из себя такого дурака, как я! Теперь сердце мое жаждало упиться любовью, чувством, вложенным в нас самим Творцом!.. Что ж, я еще молод, Венеция город веселый, там чудные жен-

щины!.. А чем вознаградит меня за мою добродетель и детскую непорочность свет? Насмешками! Время же несет с собою разочарование и седые волосы! Вот какие мысли пробудила во мне венецианская песня, и я подхватил припев, запел вместе с другими о любви и поцелуях! Ясно, что во мне говорило лихорадочное возбуждение крови, и Тот, Кто вдохнул в меня жизнь и чувства, руководил всей моей судьбой, верно, милостиво простит мне эту минутную слабость! Каждый из нас переживает минуты внутренней борьбы, наплыв мыслей, в которых он не смеет даже признаться; ведь грех силен, сильнее бодрствующего над душой человека ангела невинности. Люди, следовавшие влечениям своего сердца, могут, конечно, относиться к таким порывам философски, но «не осуждайте и не будете осуждены»!.. Да, я чувствовал, что в меня вселился злой дух. Я не мог молиться, но скоро заснул, убаюканный качкой корабля, несшегося к северу, к роскошной Венеции.

Утром я завидел ее белые дома и башни, казавшиеся издали стаей кораблей с распушенными парусами. Налево простиралась Ломбардия с ее плоскими берегами; Альпы казались бледно-голубым туманом, заволакивавшим горизонт. Вот где небо являлось необъятным!

Утренний ветерок смягчил мое волнение; я был уже спокойнее и думал о судьбе Венеции, о ее прошлом величии и богатстве, о ее самостоятельности и могуществе, о дожах и обручении их с морем. Мы приближались к городу все ближе и ближе, и я уже различал за лагунами отдельные строения с желто-серыми стенами, не то старыми, не то новыми, смотревшими крайне неприветливо. Башню святого Марка я представлял себе гораздо выше. Мы плыли между твердой землей и лагунами. Как все здесь было плоско, самый берег, казалось, возвышался над водяной поверхностью всего на какой-нибудь вершок! Группа жалких домиков шла уже за целый город; там и сям росли кусты, а где и ничего, — одна ровная плоскость. Я думал, что мы уже возле самой Венеции, но она находилась еще на расстоянии целой мили, и нас отделяла от нее широкая полоса гладкой мутной воды с островами из тины, на которых не пробивалось и былинки, не могла бы отыскать себе точки опоры для ног никакая птица. Повсюду были проведены глубокие каналы, обозначенные рядом столбов. Вот я увидел и первые гондолы, узкие, длинные, быстрые на ходу, как стрелы, и все черного цвета; посреди каждой возвышалась каютка, обитая черной же материей; гондолы быстро проносились мимо, словно плавучие погребальные колесницы. Вода здесь уже не была голубого цвета, как в открытом море или близ берегов Неаполя, но грязно-зеленого. Мы проплыли мимо острова; дома, казалось, вырастали здесь прямо из воды или лепились на обломках кораблей. С высоты стены взирал на эту пустыню образ Мадонны с младенцем на руках. Местами водяная поверхность представляла подвижные зеленые лужайки из болотных трав. Солнце освещало Венецию, колокола звонили,

но на всем лежал отпечаток смерти, всеобщего затишья. В верфи стоял лишь один корабль, людей же я еще не видал ни души.

Я сел в черную гондолу и поплыл по пустынной водяной улице. По обеим сторонам тянулись высокие здания; лестницы спускались в самую воду, которая прямо вливалась в широкие ворота домов, так что дворы казались какими-то четырехугольными колодцами; гондола могла всплыть в них, но повернуться там было уже крайне затруднительно. На нижней части стен осела зеленая тина. Огромные мраморные дворцы, казалось, готовы были обрушиться: широкие окна были заколочены досками, прибитыми к вызолоченным полусгнившим карнизам. Да, все исполинское тело города как будто готово было распасться на части! Жутко было глядеть! Колокола умолкли, и воцарилась мертвая тишина; слышались только всплески воды под веслами; до сих пор я еще не видел живой души; великолепная Венеция лежала на волнах, как мертвый лебедь. Мы свернули в другую улицу; здесь через канал были переброшены узенькие каменные мостики; здесь, наконец, я увидел и людей, шмыгавших над нашими головами между домами или сквозь самые дома, так как улиц тут я не видал.

— Где же здесь ходят? — спросил я своего гондольера, и он указал рукой на узенькие проходы между домами. Люди, живущие визави, в шестом этаже, могли протянуть из окон друг другу руки; по самым же проходам внизу едва могли пробираться в ряд двое-трое; ни один солнечный луч не проникал в эти лазейки. Но вот мы проехали это место, и дальше все опять погрузилось в мертвую тишину. Так вот какова, Венеция, невеста моря, владычица мира! Я увидел роскошную площадь святого Марка. «Вот где оживление!» — говорили мне. Но какое же сравнение с Неаполем, даже с Римом и его многолюдной Корсо! А между тем площадь святого Марка все же сердце Венеции, которое еще бьется. Книжные и эстампные магазины и галантерейные лавки украшали длинные сводчатые галереи, но особенного оживления в них не было заметно. Несколько греков и турок в пестрых одеяниях и с длинными трубками во рту молча сидели у дверей кофеен. Солнечные лучи играли на золотых куполах храма святого Марка и на великолепных бронзовых конях над порталом. На красных мачтах Кипра, Кандии и Мореи висели без движения флаги. На большой площади кишмя кишели голуби. Я побывал и на мосту Риадельто, главной артерии города, говорящей, что в нем еще есть жизнь. Скоро я понял сердцем величавую картину печали Венеции; в ней как будто отражалась моя собственная печаль. Мне казалось, что я все еще на море, только пересел с маленького корабля на большой, вроде ковчега. Когда настал вечер, вошла луна и от домов потянулись длинные дрожащие тени, я почувствовал себя как-то более освоившимся с окружающей обстановкой; только в полночный час появления привидений мог я наконец приглядеться к мертвой невесте моря. Я стоял у открытого окна, черная гондола быстро скользила по темной воде, освещенной кое-где лучами месяца. Я вспомнил песню матроса



о любви и поцелуях, и в душе у меня поднялось горькое чувство против Аннунциаты, которая могла предпочесть мне легкомысленного Бернардо. И за что? Может быть, именно за его пикантное легкомыслие! Вот каковы женщины! Я сердился даже на кроткую, невинную Фламинию. Тишина и спокойствие монастырской кельи были ей дороже моей сильной братской любви! Нет, нет, я не люблю больше ни ту, ни другую. Не хочу и думать ни о той, ни о другой! И, как падший дух, мысль моя витала возле образов чистейшей красоты — Лары и дочери соблазна — Санты. Я сел в гондолу, и мы поплыли по городу. Гребцы затаили свои песни, но уже не из «Освобожденного Иерусалима»; венецианцы забыли даже свои излюбленные старинные мелодии с тех пор, как вымерли дожи, и чужеземцы, связав венецианскому льву крылья, впрягли его в свою триумфальную колесницу. «Я хочу жить! Наслаждаться жизнью, осушить чашу наслаждений до дна!» — сказал я самому себе, и гондола остановилась. Мы причалили к гостинице, где я жил. Я вышел из гондолы и поднялся к себе в комнату. Так прошел первый день моего пребывания в Венеции.

БУРЯ. ВЕЧЕР У МОЕГО БАНКИРА. ПЛЕМЯННИЦА ПОДЕСТЫ

Рекомендательные письма, привезенные мною из Рима, доставили мне в Венеции и знакомых, и так называемых друзей. Величали меня здесь синьором аббатом; никто не вызывался поучать меня; все охотно слушали меня и признавали за мной таланты. От Eccellenza и Франчески мне все больше приходилось выслушивать неприятные и оскорбительные отзывы обо мне других лиц; благодетелям моим так будто приятно было доказывать мне, что у меня столько недоброжелателей. Здесь уже ничего подобного не было, но, значит, здесь у меня и не было искренних друзей — ведь это их привилегия говорить неприятности. Зато я больше не чувствовал здесь на себе и цепей зависимости, тяжесть которых не в силах была облегчить мне даже доброта Фламинии.

Я посетил роскошный дворец дожей, побродил по пустынным великолепным залам и осмотрел залу заседаний инквизиторов, в которой висела ужасная картина, изображавшая мучения грешников в аду. Потом я прошел по узкой галерее на закрытый мост, помещавшийся под самой крышей здания и переброшенный через канал, по которому скользили гондолы. Этот мост, мост Вздохов, соединял дворец дожей с венецианскими темницами. Верхние темницы с толстыми железными решетками, слабо освещаемые лампой, висящей в коридоре, кажутся все-таки просторными и светлыми покоем в сравнении с нижними, находившимися за покрытыми плесенью подъемными дверями, глубоко под землею, ниже уровня воды в

каналах. Вот где должны были томиться несчастные пленники, царапавшие на мокрых стенах свои жалобы! На воздух, на воздух скорее! И я сел в гондолу, стрелой умчавшую меня от этого ужасного бледно-красного старого дворца к лагунам и Лидо, где я мог вдохнуть в себя свежий морской воздух. Скоро я очутился возле кладбища. Здесь, на узкой полоске земли, хоронили иностранцев-протестантов, умиравших вдали от родины; волны омывали кладбище и мало-помалу уносили в море последние остатки земли. Из песка торчали белые кости покойников, которых оплакивал здесь только прибой. Тут часто сидят, дожидаясь с ловли рыбаков, их жены и невесты. В бурю женщины поют песнь из «Освобожденного Иерусалима», прислушиваясь, не откликаются ли им с моря мужские голоса. И пока не заслышит издали ответной любовной песни, сидит жена или невеста одна и глядит на немое море. Наконец смолкают и ее уста, взор видит только белые кости мертвецов на берегу, слух внемлет лишь глухому рокоту волн, а ночь все ниже и ниже спускается над мертвой, молчаливой Венецией... Вот какую картину рисовал я себе, проплывая мимо кладбища; мое душевное настроение сообщало всему мрачный колорит. Вся природа казалась мне теперь мрачным величественным храмом, в котором можно было мыслить лишь о смерти и мире невидимых святых духов. В ушах моих раздавались слова Фламинии, говорившей, что пророк Божий, каким является поэт, должен стремиться воспевать только славу и величие Творца — вот наивысшая тема! Да, бессмертная душа должна и воспевать бессмертное; блески же минуты, переливающиеся разными красками, и исчезают вместе с породившей их минутой! И я ощутил в душе бывшее вдохновение, она как будто снова готова была воспарить к небу, но скоро опять беспомощно опустила крылья. Молча сидел я в гондоле, направлявшейся к острову Лидо. Передо мной уже расстилалось открытое море; по морю ходили большие волны; мне вспомнился залив у берегов Амальфи.

Я вышел на берег. Здесь, между камнями, опутанными водорослями, сидел молодой человек и набрасывал на бумагу эскиз. Вероятно, это был художник-иностранец, но он показался мне знакомым, и я подошел к нему поближе. Он встал; оказалось, что я не ошибся: это был Поджио, молодой венецианский дворянин, которого я не раз встречал в обществе.

— Синьор! — вскричал он. — Вы на Лидо! Красота ли моря или... другие красоты привлекли вас сюда, на самый берег сердитого Адриатического моря?

Мы поздоровались. Я знал, что Поджио был небогат, но очень талантлив; на вид он был счастливый, беззаботный человек, почти весельчак, но мне передавали по секрету, что в душе он был величайшим мизантропом. По речам можно было принять его за человека легкомысленного, а на самом-то деле он был олицетворенным целомудрием; из разговоров его можно было заключить, что он избрал себе образцом Дон Жуана, а на деле он боролся со всяким искушением, как святой Антоний. По-

говаривали, что он таил в душе глубокое горе, но что было причиною — недостаток ли средств или несчастная любовь? Этого никто наверное не знал, хотя он, казалось, и был со всеми вполне откровенен, не мог утаить в себе ни одной мысли, словом, на вид он был болтливое, простодушное дитя, а на деле все-таки оставался для всех загадкой. Немудрено, что он очень интересовал меня, и встреча с ним разогнала мрачные облака, заволакивавшие мою душу.

— Да, такой вот голубой, волнующейся равнины нет у вас, в Риме! — сказал он, указывая на море. — Море — краса земли! Оно же и мать Венеры, и... неутешная вдова венецианских дождей! — прибавил он, улыбаясь.

— Венецианец должен особенно любить море! — сказал я. — Смотришь на него, как на бабушку, которая баюкает его и играет с ним ради своей прекрасной дочери — Венеции.

— Она уже более не прекрасна! Она склонила голову под ярмо! — возразил Поджио.

— Но ведь она же счастлива под скипетром императора Франца?

— Почетнее быть королевой на море, нежели кариатидой на суше! Однако венецианцам, кажется, не на что жаловаться. Впрочем, я мало смыслю в политике; другое дело — в красоте! И если вы — в чем я не сомневаюсь — такой же поклонник ее, как я, то полюбуйтесь вот на дочь моей хозяйки! Она идет просить вас разделить со мною мою скромную трапезу. — Мы вошли в маленький домик на берегу. Вино нам подали хорошее, и сам Поджио был так мил и непринужденно весел, что никто бы не поверил, будто его сердце истекает втайне кровью. Я просидел у него часа два, пока не пришел мой гребец спросить меня, поеду ли я сейчас обратно, — на море собиралась буря, и между Лидо и Венецией уже ходили огромные волны, которые легко могли опрокинуть легкую гондолу.

— Буря! — воскликнул Поджио. — Давненько я жажду полюбиться бурей! И вам не следует упускать такого случая. А к вечеру она уляжется. Если же нет, вы переночуете у меня, и пусть себе волны поют нам колыбельные песни!

— Я без труда найду здесь себе другую гондолу! — сказал я гребцу и отпустил его.

Буря громко застучала в окно. Мы вышли. Заходящее солнце освещало темно-зеленое взволнованное море; пенистые гребни волн то взлетали к облакам, то опять ныряли в бездну. Вдали, на горизонте, где грозные облака громоздились, как вулканы, извергавшие пламя, виднелись корабли; скоро, однако, они скрылись из виду. Волны стеной лезли на высокий берег и обдавали нас дождем соленых брызг. Чем выше вздымались волны, тем громче смеялся Поджио, хлопал в ладоши и кричал «браво». Пример его заразил и меня; мое больное сердце как-то ожило среди этой смятенной природы. Свечерело. Мы вернулись домой. Я велел хозяйке подать нам

лучшего вина, и мы стали провозглашать тосты в честь моря и бури. Поджио запел песню о любви, ту самую, которую я слышал на корабле.

— За здоровье венецианских красавиц! — сказал я, а Поджио ответил мне тостом в честь римлянок. Посторонний принял бы нас в эту минуту за двух беззаботных юношей.

— Римлянки славут первыми красавицами! — сказал Поджио. — А вы что скажете о них? Только будьте искренни!

— Я того же мнения! — ответил я.

— Пусть так! А все же царица красоты живет в Венеции! — продолжал он. — Вы еще не видели племянницы Подесты. Более совершенной красавицы нет на свете! Знай Марию Канова, он взял бы ее моделью для младшей из трех Граций. Я видел ее всего два раза: раз в церкви да раз в театре. Все молодые венецианцы в таком же восторге от нее, как и я; разница лишь в том, что они смертельно влюблены в нее, а я только поклоняюсь ее красоте. Она слишком идеальна, небесна для моей чувственной, земной натуры. Но поклоняться-то небесному ведь можно; не правда ли, господин аббат? — Я вспомнил о Фламинии, и моя веселость мгновенно испарилась. — А, вы задумались! — продолжал он. — Почему? Вино превосходно, а волны и поют, и пляшут, вторя нашему веселью!

— Разве у Подесты не бывает приемных вечеров? — спросил я, чтобы сказать что-нибудь.

— Очень редко! — ответил Поджио. — Он принимает у себя только избранных. Красавица пуглива и дика, как газель. Такой стыдливой женщины я еще не знавал. Но, — продолжал он с насмешливой улыбкой, — это ведь тоже способ заинтересовать собою! Бог знает, какова она на самом деле. Видите ли, у Подесты было две сестры, с которыми он много лет не видался. Младшая была замужем в Греции; она-то, говорят, и есть мать красавицы. Другая же до сих пор девица, и старая девица. Это она привезла сюда Марию года четыре тому назад. — Внезапно наступивший мрак заставил его прервать речь. Вслед за тем над нами блеснула молния и загредел гром. Мне вспомнилось извержение Везувия. Мы невольно склонили головы и сотворили крестное знамение.

— Иисус, Мария! — вскричала вошедшая к нам хозяйка. — Вот ужас-то! Шестеро из лучших наших рыбаков теперь в море! Защити их Мадонна! У бедной Агнессы пятеро ребят! Вот будет несчастье! — Сквозь завывания бури прорывались напевы псалмов. На берегу стояла толпа женщин и детей с крестом в руках. Одна молодая женщина сидела молча, устремив взоры на море; у груди ее лежал ребенок; другой, постарше, прислонился головкой к ее коленям. Блеснуло еще несколько сильных молний; затем гроза как будто удалилась; горизонт просветлел.

— Вот они! — вскричала вдруг женщина, вскочила и указала на черную точку вдали, которая становилась все виднее и виднее.

— Смилуйся над ними, Мадонна! — вырвалось у старого рыбака, стоявшего возле, и он молитвенно сложил руки. В то же мгновение точка исчезла в черной бездне моря; старик не ошибся. Раздались вопли отчаяния и, по мере того как море утихало, небо прояснялось и уверенность в гибели рыбаков возрастала, становились все громче и громче. Ребятишки уронили святой крест на песок и с плачем прижались к матерям. Старый рыбак поднял крест и, поцеловав ноги Спасителя, высоко поднял распятие к небу, призывая Мадонну. К полуночи небо совсем очистилось, море успокоилось, и лучи месяца озарили зеркальную поверхность пролива, отделявшего Лидо от Венеции. Поджио сел со мною в гондолу, и мы покинули несчастных, которым не могли ничем помочь.

На другой день мы встретились с Поджио на вечере у моего банкира, одного из первых богачей Венеции. Общество собралось большое, но из дам я не знал никого, да и не интересовался никем. Разговор зашел о вчерашней буре. Поджио начал рассказывать о гибели рыбаков, о несчастных сиротах и довольно ясно намекнул, как легко было бы обществу смягчить горе бедняков: стоило каждому внести посильную лепту, и составила бы довольно значительная сумма для помощи им. Никто как будто не понял его; все ограничились сожалениями, пожиманием плеч, и затем разговор перешел на другое. Некоторые из гостей, обладавшие разными приятными талантами, любезно взялись развлечь общество. Поджио спел веселую баркаролу, но мне казалось, что в его вежливой улыбке проглядывала какая-то горечь и порицание этого знатного общества, не поддавшегося его красноречию.

— А вы не поете? — спросила меня хозяйка дома, когда Поджио кончил.

— Я буду иметь честь импровизировать! — сказал я, осененный внезапной мыслью.

«Он — импровизатор!» — зашептались вокруг меня; глаза дам засияли, мужчины приготовились слушать; я взял гитару и попросил задать мне тему.

— Венеция! — вскричала одна дама, вызываясь глядя мне в глаза.

— Венеция! — подхватили и мужчины.

Дама была хороша собою. Я взял несколько аккордов и стал описывать красоту и блеск Венеции в дни ее счастья. Глаза у всех блестели, словно я описывал настоящее. Думая о Санте и о Ларе, я воспел красавицу, стоящую на балконе в ясную лунную ночь, а каждая дама принимала это на свой счет и усердно аплодировала мне. Сам Сгриччи¹ не имел такого успеха.

— Племянница Подесты здесь! — шепнул мне Поджио. Дальнейшей нашей беседе помешали просьбы доставить обществу удовольствие новой импровизацией. Ко мне подошла целая депутация из дам, сопровождаемая старым вельможей. Я охотно согласился, желая воспользоваться случаем

¹ Импровизатор, современная знаменитость.

описать вчерашнюю бурю и нужду несчастных сирот; кто знает, может быть, сила песни сломит равнодушие, с которым не могло справиться красноречие Поджио. Мне задали новую тему: «Слава Тициана». Будь он маринистом, я бы заставил его выступить ходатаем за бедняков, но, восхваляя его, я никак не мог перейти на задуманную мною тему. Сюжет между тем был богатый, и разработка его удалась мне сверх ожидания. Все были в восторге; я как будто воспел славу себе самому.

— Вы счастливейший из счастливых! — сказала хозяйка дома. — Вот, должно быть, блаженство сознавать в себе такой талант, как ваш, и восхищать им всех окружающих!

— Да, это большое счастье! — ответил я.

— Ну, так воспойте его нам в новой прекрасной поэме! — попросила она. — Вам это так легко, что просто забываешь, как нехорошо не давать вам отдыха своими просьбами!

— Но я знаю иное чувство, — прибавил я, — которое не сравнится ни с каким другим. Оно каждого делает равным поэту по испытываемому им блаженству. И мне дана волшебная сила пробуждать его в сердцах. Но даром оно никому не дается, за это надо платить!

— Дайте же нам испытать его! — вскричали все.

— Кладите деньги сюда, на стол. Кто даст больше всех, испытает наивысшее блаженство!

— Я положу свое золотое кольцо! — живо сказала одна из дам и шутя положила кольцо на стол.

— А я весь свой сегодняшний выигрыш! — подхватила другая, подсмеиваясь над моею затеей.

— Да ведь это серьезно! — сказал я. — Вы уже не получите своих вкладов обратно.

— Пусть! — сказали некоторые из положивших на стол деньги, кольца и цепочки, хотя и видно было, что они сомневались в моем искусстве.

— Ну, а если я не испытаю обещанного счастья, я тоже не получу моих двух червонцев обратно? — спросил какой-то пожилой военный.

— Да ведь дело вольное: хотите — рискуйте, хотите — нет! — сказал Поджио. Я утвердительно кивнул головой. Все улыбались и с нетерпением ожидали результатов; и вот я начал свою импровизацию. Мною руководило святое вдохновение, я пел о гордом море, женихе Венеции, о сынах моря, отважных моряках, и о рыбаках, носящихся по волнам в утлых челноках. Затем я описал бурю, тоску и страх жен и невест рыбаков, описал, что видел вчера сам: детей, уронивших из рук святой крест и в отчаянии прижавшихся к матерям, старого рыбака, поцеловавшего брошенную святыню... Я чувствовал в себе присутствие Бога, моими устами говорил Он Сам! Глубокая тишина царствовала в зале; многие плакали. И вот я повел своих слушателей в хижины бедняков; каждый принес посильную лепту, и души несчастных были согреты надеждою и утешением! Я пел о блаженстве

помогать ближнему, о том, что «лучше давать, нежели брать», пел о радости, наполняющей сердце дающего. С этим чувством не может сравниться никакое другое! В такие минуты каждый чует в своем сердце присутствие Бога, как и вдохновенный пророк Божий — поэт! Я пел, и голос мой все креп, становился все звучнее. Все были увлечены; громкое «браво» огласило залу, когда я, окончив импровизацию, вручил Поджио богатые дары для передачи их несчастным.

Вдруг какая-то молодая девушка упала к моим ногам, схватила меня за руку и устремила на меня умиленный и восторженный взгляд; в дивных, темных глазах ее стояли слезы. Высшего триумфа талант мой стяжать себе не мог! Взгляд девушки сильно поразил меня; я как будто уже видел это дивное выражение во сне.

— Награди вас Матерь Божия! — произнесла она и вся вспыхнула, закрыла лицо руками и поспешно удалилась, испугавшись своего порыва. Но у кого хватило бы духа посмеяться над чистым порывом невинного сердца! Меня окружили, похвалы сыпались на меня со всех сторон. Все говорили о несчастных семьях и называли меня их благодетелем. «Лучше давать, нежели брать!» Да, и я познал в тот вечер эту истину. Поджио горячо обнял меня.

— Славный вы человек! — сказал он. — Не могу не любить и не уважать вас! Сама красота почтила вас! Один взгляд ее может осчастливить тысячи, а она склонилась перед вами в прах!

— Кто она? — спросил я тихо.

— Первая красавица Венеции! Племянница Подесты! — ответил он. Дивный взгляд ее и прекрасное лицо навеки запечатлелись в моей душе и будили в ней какие-то смутные воспоминания.

— Да, она прекрасна! — невольно сказал я как бы самому себе.

— Вы не узнаете меня, синьор? — спросила, подходя ко мне, какая-то пожилая дама. — Прошло уже несколько лет с тех пор, как я имела честь познакомиться с вами. — Она улыбнулась, протянула мне руку и поблагодарила за прекрасную импровизацию. Я вежливо поклонился; черты ее лица показались мне знакомыми, но где, когда я видел ее, оставалось для меня загадкой. Пришлось признаться в этом. — Да это и понятно! — ответила она. — Мы виделись с вами всего один раз. Это было в Неаполе, в доме моего брата, врача; вы посетили нас однажды с родственником князя Боргезе.

— Помню, помню! — сказал я. — Теперь и я узнал вас. Вот уж никак не ожидал встретить вас в Венеции!

— Брат мой, доктор, умер четыре года тому назад! Теперь я живу у старшего брата. Слуга передаст вам нашу карточку. Племянница моя еще чистое дитя, и странное дитя! Она непременно хочет сейчас же уехать домой! Приходится уступить ей! — Старушка простилась со мной и ушла.

— Счастливец! — сказал мне Поджио. — Ведь это сестра Подесты! Вы ее знаете, она пригласила вас бывать у них, полгорода будет завидовать вам. Смотрите только, наглухо застегните ваш фрак, когда пойдете туда! Надо защитить свое сердце: редко ведь, кто уцелеет под выстрелами неприятельской батареи!

Красавица уехала. В порыве увлечения она склонилась к моим ногам, но в ту же минуту в ней проснулись ее стыдливость и скромность, она почувствовала себя предметом всеобщего внимания и поспешила удалиться. Вслед ей раздавались одни восторженные похвалы. Она разделила в этот вечер мое торжество! Царица красоты пленяла всех. Сердце ее было так же благородно, как и черты лица.

Сознание сделанного мною доброго дела осветило всю мою душу. Я и гордился, и радовался, сознавая свой поэтический дар. Похвалы и сердечные приветствия, наградившие меня за мою импровизацию, растопили ледяную кору, облекавшую мое сердце, и самая душа моя стала как будто чище и лучше, когда сердце очистилось от этой скорлупы горечи и недоверия к людям. Теперь я мог думать о Фламинии уже без всякой горечи; да, теперь и она горячо пожала бы мне руку! Памятные слова ее, что поэт должен воспевать лишь божественное, прославлять Господа, будили во мне самые светлые чувства. Я опять чувствовал себя бодрым, сильным, спокойным и — после многих, многих лет — опять счастливым! В тот же вечер я приобрел нового верного друга: мы с Поджио заключили союз дружбы и выпили на ты. Домой я вернулся поздно, но спать мне не хотелось; лучи месяца ярко отражались в каналах; небо сияло лазурью. Я сложил руки и с детским умилением прошептал: «Отец, отпусти мне грехи мои! Дай мне силу быть добрым и честным, достойным вспоминать о моей дорогой сестре Фламинии! Укрепи также и ее душу; пусть она и не подозревает о моем горе! Будь к нам добр и милостив, Господи!» На сердце у меня стало так легко. Венеция со своими пустынными каналами и старинными дворцами стала казаться мне прекрасным плавучим островом фей.

На следующее утро, все еще под впечатлением вчерашнего прекрасного вечера, я сел в гондолу и поехал с визитом к сестре Подесты. Говоря откровенно, мне хотелось поскорее увидеть молодую девушку, которая вчера оказала мне такую честь и слыла царицей красоты.

— Это дворец Отелло! — сказал мой гондольер, когда мы подплыли к старинному зданию, и повторил историю его первого владельца, венецианского мавра, задушившего свою прекрасную жену Дездемону. Гребец прибавил, что все туристы-англичане обязательно посещают этот дворец, словно храм святого Марка или арсенал.

У Подесты меня приняли точно родного. Роза, сестра Подесты, заговорила о своем дорогом умершем брате и о веселом Неаполе, которого она не видела вот уж четыре года.

— Да, — сказала она, — Мария тоже соскучилась, и вот в один прекрасный день мы возьмем да и уедем с ней туда. Я хочу еще раз перед смертью увидеть Везувий и чудный Капри.

Вошла Мария и как-то застенчиво протянула мне руку. Как она была хороша! Сегодня она показалась мне еще прекраснее, чем вчера. Поджио был прав: она действительно могла послужить олицетворением младшей из Граций. Кто мог сравниться с ней красотой? Может быть, Лара? Да! Слепая девушка в лохмотьях, с маленьким венком из фиалок на голове, красотой не уступала Марии в ее богатом наряде. А закрытые глаза говорили моему сердцу даже больше, нежели чудный взгляд этих темных очей. На лице Марии лежал такой же отпечаток грусти, как и у Лары, но темные глаза светились такой ясной, спокойной радостью, какой, конечно, не знавала слепая. Многие в Марии напоминало мне совершенно незнакомую ей слепую нищую, и я даже испытывал, глядя на племянницу Подесты, то же чувство какого-то особого благоговения, которое внушила мне Лара. Я был оживлен, разговорчив и, видимо, произвел на всю семью самое благоприятное впечатление. Мария же, кажется, увлеклась моим красноречием не меньше, чем я ее красотой. Я любовался ею, как влюбленный любит дивной статуей, похожей на его возлюбленную. В Марии я, почти как в зеркале, видел красавицу Лару; душою же она напоминала мне Фламинию, внушала мне такое же доверие; мне казалось, что мы с нею давно, давно знакомы.

ПЕВИЦА

Теперь я подхожу к описанию события, почти заслонившего собою все остальные близкие к нему. Так заслоняет собой от взоров путника могучая пиния растущие возле нее мелкие деревца. Поэтому я коснусь остальных событий этого периода моей жизни лишь мимоходом. Я часто бывал в доме Подесты, стал, по их словам, душой их семейного кружка. Роза беседовала со мною о своем милом Неаполе, а я читал ей «Божественную комедию», Альфьери и Николини и восхищался умом и душой Марии. Поджио оставался моим лучшим другом; семья Подесты узнала об этом, и его также пригласили бывать у них. Он не знал, как выразить мне свою признательность, говоря, что только благодаря нашей дружбе, а не своим собственным заслугам он удостоился чести быть принятым в доме Подесты и стал, таким образом, предметом зависти для всей венецианской молодежи. Слухи о моем импровизаторском таланте облетели между тем весь город, и меня положительно не выпускали из знакомых мне домов, пока я не удовлетворял общему желанию — послушать мои импровизации. Все восхищались ими, даже первые художники Венеции признавали во мне собрата и все советовали мне выступить публично.

Отказаться я не мог и выступил раз вечером перед членами Академии художеств. Импровизации на темы «Поход Дандоло на Константинополь» и «Бронзовые кони над порталом собора святого Марка» стяжали мне почетное звание члена академии. Но еще большая радость ждала меня в доме Подесты. В один прекрасный день Мария подала мне ящичек, в котором лежало чудное ожерелье из маленьких, удивительно изящных и пестрых раковин, нанизанных на шелковую нить. Это был подарок от несчастных сирот на Лидо, которые считали меня своим благодетелем.

— Что за прелесть! — сказала Мария.

— Спрячьте и подарите своей невесте! — сказала Роза. — Это будет прекрасный подарок; его и дали вам для этой цели.

— Невесте! — серьезно повторил я. — У меня нет ее!

— Ну, будет! — сказала Роза. — И еще какая! Красавица из красавиц!

— Никогда! — грустно повторил я, потупив глаза под впечатлением воспоминаний о своих утратах. Мария утихла при виде моего уныния. Она с такой радостью взялась поднести мне этот подарок, переданный ей от бедняков через Поджио, и вот теперь я стоял такой расстроенный! Видно было, что я не в силах превозмочь свои чувства. Ожерелье я продолжал держать в руках. Я охотно подарил бы его Марии, но слова Розы удерживали меня. Мария, верно, отгадала мою мысль: когда я взглянул на нее, она слегка покраснела.

— Редко вы навещаете нас! — сказала мне жена моего банкира в один из следующих моих визитов. — Зато вы часто бываете у Подесты! Да, там веселее! Мария ведь первая красавица во всей Венеции, а вы наш первый импровизатор! Итак, партия подходящая! У девушки прекрасное имение в Калабрии; оно досталось ей по наследству или куплено на унаследованный капитал. Смелее, и вы найдете свое счастье! Вам будет завидовать вся Венеция!

— Неужели вы считаете меня способным преследовать такие корыстные цели! — сказал я. — Я как нельзя более далек от того, чтобы позволить себе влюбиться в Марию! Красота ее пленяет меня, как и всякая красота, но любить ее я и не думаю! И до денег ее мне нет дела!

— Ну, и ими не следует пренебрегать! — сказала хозяйка. — Любовь тогда только высшее блаженство жизни, если она хорошо обставлена материально! Надо же чем-нибудь жить! — Она засмеялась и протянула мне руку.

Меня зло взяло, что могли так думать обо мне, и я решил пореже бывать у Подесты, как ни нравился мне он сам и его домашние. Я было рассчитывал провести у них и этот вечер, но теперь переменял намерение. Я был очень взволнован. «Впрочем, стоит ли волноваться? — мелькнуло у меня вслед за тем. — Нет, не хочу сердиться! Хочу быть веселым! Жизнь прекрасна, только не портить ее себе сам. Я свободен и

не дам никому портить мне кровь! Силы и воли во мне довольно!» Был уже вечер; я блуждал по темным узким улицам один-одинешенек. Дома здесь как будто хотели сойтись друг с другом вплотную, и тесные проходы между ними, запруженные народом, были ярко освещены огнями из окон. Длинные лучи этих огней дрожали и на воде каналов; быстро проносились под мостом гондолы. Зазвучала песня — песня о любви и поцелуях и, как змея под деревом познания добра и зла, показала мне соблазнительный образ греха. Я свернул в темный боковой переулок и наткнулся на дом, освещенный ярче других. В двери его так и валил народ. Это был, если не ошибаюсь, театр Сан-Лука, один из небольших театров Венеции. В нем давались оперы; труппа была маленькая, и одна и та же опера шла ежедневно два раза, как в театре Фенизе, в Неаполе. Первое представление начиналось в четыре часа пополудни и оканчивалось в шесть, а второе начиналось в восемь. Вход стоил очень дешево, но зато и нечего было рассчитывать на что-нибудь особенное. Тем не менее любовь к музыке низших классов общества и любопытство наезжих иностранцев обеспечивали импресарию хороший сбор даже два раза в вечер. Афиша гласила: «Сегодня «Донна Каритея, королева Испанская»; музыка Меркаданте». «Можно ведь и уйти, если соскучишься! — подумал я. — А мне хочется посмотреть на красивых женщин. И во мне кипит такая же кровь, как у Бернардо, как у Федерико! Полно насмехаться над мальчишкой из Кампаньи, у которого-де в жилах течет козье молоко! Да, смотри я на жизнь всегда так легко, как сейчас, мне бы повезло не так! А жизнь так коротка! Старость несет с собою леденящий мороз!»

Я вошел; мне вручили грязный билетик и указали на ложу, ближайшую к сцене. В театре было всего два яруса; зрительная зала была довольно глубока, но сцена с блюдечко, а между тем дававшаяся опера требовала сложной постановки и большого числа участвующих лиц. Внутренняя обивка лож была грязна и потрепана; низкий потолок просто давил залу. Какой-то человек, в одном жилете, без фрака, вышел зажигать лампы. В партере шли громкие разговоры. Вот появились музыканты — всего четверо. По всему видно было, что обещало самое представление, но я все-таки решил прослушать первое действие и стал оглядывать дам в ложах. Ни одна мне не понравилась. В соседнюю ложу вошел молодой человек, с которым я встречался в обществе. Он поздоровался со мною, улыбаясь и выражая свое удивление по поводу нашей встречи в таком театрике.

— Впрочем, — прибавил он, — здесь часто можно очутиться в очень приятном соседстве, да и знакомства при этом мягком полусвете завязываются очень легко! — Он говорил так громко, что ему зашикали, — увертюра уже началась. Музыка была плачевная. Весь хор состоял из двух женщин и трех мужчин, взятых как будто прямо от сохи и облаченных в рыцарские наряды. — Да, неважно! — сказал мой сосед. — Но солисты здесь иногда очень приличны. Комик, например, годился бы

на сцену любого большого театра. О Господи! — вздохнул он вдруг при виде выступившей на сцену, в сопровождении двух дам, королевы. — Так сегодня поет она! Ну, тогда я не дам и гроша за все представление. Жанетта была бы куда лучше!

Королеву пела маленькая, невзрачная особа с тонким, острым профилем и впалыми глазами. Костюм сидел на ней плохо; королевой явилась сама нищета; и все-таки меня удивило какое-то особое благородство ее манер, так мало вязавшееся со всем остальным; молоденькой, хорошенькой девушке оно было бы как нельзя более к лицу. Вот певица подошла к самой рампе... Сердце мое забилося, и я, отказываясь верить собственным глазам, едва посмел спросить соседа об ее имени.

— Ее зовут Аннунциатой! — ответил он. — У нее ни голоса, ни наружности, — просто сосулька какая-то! — Каждое его слово ядом разливалось у меня по сердцу. Я сидел, как пригвожденный к месту, и глаз не мог оторвать от певицы. Она запела. Нет, это не ее голос, не моей Аннунциаты! Глухой, усталый, дрожащий! — Заметны все-таки следы хорошей школы! — сказал мой сосед. — Но голоса нет.

— Да, она не похожа на свою соименницу Аннунциату, молодую испанку, которая блистала когда-то в Риме и Неаполе! — заметил я.

— Да ведь это она сама! — ответил он. — Лет семь-восемь тому назад она играла блестящую роль. Тогда она была молода и пела, говорят, как Малибран, но теперь песенка ее спета! Это ведь общая судьба подобных талантов! Несколько лет они находятся в зените своей славы и, ослепленные успехом, не замечают, как мало-помалу голос их идет на убыль, не покидают благоразумно сцены в самом разгаре своей славы, и публика первая замечает печальную перемену. Вот что грустно! К тому же и живут-то эти дамы обыкновенно очень весело и спускают все, что приобретают, а потом уж, конечно, быстро катятся под гору. Вы, верно, слышали ее прежде в Риме?

— Да, несколько раз! — ответил я.

— Воображаю, какую перемену вы нашли в ней! Да, нельзя не пожалеть ее. Говорят, она потеряла голос после тяжелой болезни, всего четыре года тому назад. Но публика ведь в этом не виновата! Что же, похлопаете ей ради старого знакомства? Я помогу! Порадуем старушку! — Он громко зааплодировал, кое-кто в партере последовал его примеру, но затем вслед гордо уходившей со сцены королеве раздалось шиканье. Да, это была Аннунциата! — *Fuimus Troes!* — шепнул мне мой сосед.

Затем выступила в мужской роли примадонна труппы, молодая, красивая, прекрасно сложенная девушка с жгучими черными глазами. Ее встретили криками «браво» и шумными аплодисментами.

В моей душе поднялась целая буря воспоминаний: восторг римской публики и чествование Аннунциаты, ее триумфы и моя любовь к ней!.. Итак, Бернардо бросил ее! Или она не любила его? Но ведь я сам

видел, как она склонилась над ним и поцеловала его в лоб. Да, он бросил ее, бросил, когда она заболела, когда красота ее увяла; он любил в ней только красоту!

Она опять показалась на сцене. Какой у нее был страдальческий вид! Как она постарела! Это был нарумяненный труп! Вид ее пугал меня. Я негодовал на Бернардо за то, что он бросил ее, когда пропала ее красота, и не это ли обстоятельство так больно уязвляло теперь меня самого? Душой Аннунциата ведь, наверное, осталась та же!

— Вам нездоровится? — спросил меня мой сосед, видя, что я бледнею.

— Тут такая духота! — сказал я, встал, вышел из ложи и из театра и опрометью бросился по узким улицам. Обуреваемый чувствами, я сам не знал, куда иду, и спустя несколько времени опять вышел к театру. Как раз в это время человек срывал с дверей афишу, чтобы наклеить новую.

— Где живет Аннунциата? — спросил я у него шепотом. Он обернулся ко мне, поглядел на меня и переспросил:

— Аннунциата? Не Аврелия ли? Та, что играла мужскую роль? Я укажу вам, где она живет, но теперь она еще не освободилась.

— Нет, нет! Мне надо Аннунциату, которая пела королеву! — ответил я.

Слуга смерил меня взглядом.

— Эту худышку? — спросил он. — Ну, она, я думаю, отвыкла принимать гостей! Оно ведь и понятно! Впрочем, я покажу, где она живет, — синьор, верно, не заставит меня трудиться даром! Но раньше как через час опера не кончится и она не будет дома!

— Так подожди меня здесь! — сказал я, сел в гондолу и велел везти себя, куда хотят. Я был глубоко опечален, но непременно хотел увидаться и поговорить с Аннунциатой. Она была несчастна! Но что я мог сделать для нее? И все-таки печаль и сострадание влекли меня к ней неудержимо. Ровно через час гондола доставила меня обратно к театру, где ждал меня человек. Узкими, грязными переходами провел он меня к старому, ветхому дому. В каморке под самую крышей светился огонек. Человек указал мне на него.

— Она живет там! — воскликнул я.

— Я провожу Eccellenza! — сказал он и дернул звонок.

— Кто там? — раздался сверху женский голос.

— Марко Лугано! — ответил он, и дверь отворилась. В коридоре было совсем темно; масло в лампадке перед образом Мадонны все выгорело, и только кончик фитиля светился кровавой точкой. Я держался за слугу. Вот наверху отворилась дверь, и блеснул луч света. — Она сама идет! — сказал слуга. Я сунул ему в руку деньги, он поблагодарил и шмыгнул назад, а я стал взбираться по лестнице.

— Что, Марко Лугано? Какие-нибудь перемены на завтра? — услышал я голос Аннунциаты, стоявшей в дверях. Голова ее была прикрыта

шелковым платочком, на плечи наброшена накидка. — Не упадите, Марко Лугано! — продолжала она и вошла в комнату; я за нею.

— Кто вы, что вам надо? — испуганно спросила она, увидев меня.

— Аннунциата! — горестно воскликнул я.

Она впилась в меня взором, затем вскрикнула:

— Иисус, Мария! — И закрыла лицо руками.

— Старый знакомый, друг ваш, которому вы когда-то доставили столько радости, столько счастья, пришел навестить вас, пожать вашу руку! — сказал я.

Она отняла руки от лица и стояла передо мною бледная как смерть; выразительные черные глаза ее так и горели. Аннунциата постарела, вид у нее был страдальческий, но лицо хранило еще следы былой красоты, взгляд был так же выразителен и задумчиво-грустен.

— Антонио! — произнесла она, и я заметил слезы в ее взоре. — Вот где мы встретились! Оставьте меня! Наши дороги разошлись. Ваша повела вас в гору, к счастью, моя вниз... тоже к счастью! — болезненно вздохнула она.

— Не гоните меня! — сказал я. — Я пришел к вам как друг, как брат! Сердце мое влечет меня к вам! Вы несчастны, вы, доставлявшая радости тысячам, боготворимая тысячами!

— Счастье переменчиво! — ответила она. — Оно сопутствует только молодости и красоте, и люди окружают их триумфальную колесницу. Ум же и сердце не ценятся ни во что; их забывают ради молодости и красоты, и люди всегда правы!

— Вы были больны, Аннунциата! — сказал я нетвердым голосом.

— Очень больна! Почти целый год! Но не умерла! — сказала она с горькой улыбкой. — Умерла только моя молодость, умер мой голос, и публика умолкла, увидев двух мертвецов в одном теле! Врачи говорили, что они умерли не навсегда, что они еще оживут, и тело верило! Тело нуждалось в одежде и в пище и истратило на это в два года последние средства! Потом пришлось румяниться и выступать, как будто мертвецы воскресли, но выступать в тени, чтобы не испугать людей своим видом, выступать в маленьком, плохо освещенном театре! Но и там заметили, что молодость и голос умерли, погребены навеки! Аннунциата умерла, вон висит ее портрет! — И она указала на стену.

В убогой каморке висела картина, поясной портрет, в богатой золоченой раме, представлявшей такой резкий контраст с окружавшей обстановкой. Это был портрет Аннунциаты, писанный Дидо; с него глядела на меня та самая Аннунциата, чистая, гордая красавица, которая жила в моей душе! Я перевел взгляд на живую Аннунциату; она закрыла лицо руками и заплакала.

— Оставьте меня! Забудьте о моем существовании, как все другие! — молила она, махая мне рукой.

— Не могу! — сказал я. — Не могу я так оставить вас! Мадонна добра и милостива! Она поможет нам всем!

— Антонио! — сказала она серьезно. — Вы не можете глумиться над несчастною! Нет, вы не похожи на прочих, я всегда думала это. Но я не понимаю вас! Когда все еще осыпали меня похвалами и лестью, вы оставили, покинули меня, а теперь, когда все, чем я пленяла людей, исчезло без следа, когда все равнодушны ко мне, вы приходите ко мне, отыскиваете меня.

— Вы сами оттолкнули меня! — воскликнул я. — Вы заставили меня кинуться в свет очертя голову!.. Конечно, то была воля судьбы! — прибавил я мягче.

Она молчала, но как-то странно смотрела на меня, словно собиралась сказать что-то. Затем губы ее зашевелились, но она все-таки не издала ни звука, только глубоко вздохнула и закрыла глаза. Спустя минуту она открыла их, провела рукою по лбу, как будто у нее мелькнула мысль, известная только Богу да ей, и сказала:

— Так я увидела вас еще раз! Я чувствую, что вы добрый, благородный человек! Вы будете счастливее, чем я! Я спела свою лебединую песню. Красота увяла, я одинока! От счастливицы Аннунциаты остался лишь вот этот портрет на стене... У меня к вам одна просьба. Вы не откажете мне! Вас просит Аннунциата, которая когда-то радовала вас!..

— Я на все готов для вас! — ответил я, целуя ее руку.

— Смотрите на все, что вы видели сегодня, как на сон! Если мы встретимся с вами еще раз — мы встретимся как незнакомые! А теперь прощайте! — Она протянула мне руку и добавила: — Теперь дороги наши расходятся, но мы встретимся в лучшем мире! Прощайте, Антонио, будьте счастливы!

— Подавленный горем, я упал перед нею на колени. Не знаю, что я говорил еще, знаю только, что она тихо вывела меня из комнаты; я не сопротивлялся и только плакал, как дитя, повторяя:

— Я вернусь, вернусь!

— Прощайте! — услышал я еще раз ее голос, и она скрылась. Меня окружил беспросветный мрак; на улице тоже было темно. «Боже, как несчастны могут быть твои создания!» — стонал я; сон бежал от моих глаз. Печальная выдалась ночь!

Весь следующий день я только и делал, что составлял и вновь отвергал разные планы. Я чувствовал свою бедность! Я был всего-навсего бедный сирота, взятый из Кампаньи богатыми благодетелями, и самые дарования мои только еще способствовали увеличению моей зависимости. Впрочем, теперь талант мой, кажется, готов был вывести меня на блестящий путь. Но может ли он быть блестящее пути Аннунциаты, а даже этот как кончился? Мощный поток, переливавшийся всеми цветами радуги, впал в конце концов в понтийские болота бедствий!

Я непременно хотел еще раз увидеть Аннунциату и через день вновь поднимался к ней по узкой темной лестнице. Дверь была заперта. Я постучался. Из боковой двери выглянула какая-то старуха и спросила:

— Вы, верно, пришли посмотреть комнату? Она слишком мала для вас!

— А где же певица? — спросил я.

— Переехала вчера вечером; кажется, даже совсем уехала! И так поспешно! — ответила старуха.

— Не знаете ли куда? — спросил я.

— Нет! Она и не заикнулась об этом. Но вся труппа отправилась в Падую или, кажется, в Триест, а может быть, и в Феррару или еще куда-нибудь! — Она открыла дверь и показала мне опустевшую комнату.

Я направился в театр; труппа действительно дала вчера последнее представление, и теперь театр был закрыт. Так она уехала! Несчастливая Аннунциата! И виною всех ее несчастий Бернардо! Он же виноват и во всем, что касалось меня! Не будь его, люби Аннунциата меня, талант мой развернулся бы в полном блеске, и вся моя жизнь сложилась бы иначе! Последуй я тогда за нею, избери себе поприще импровизатора, я разделил бы ее триумфы, все было бы иначе, и скорбь не оставила бы на ее челе своих глубоких следов!

ПОДЖИО. АННУНЦИАТА. МАРИЯ

Поджио навестил меня и принялся подшучивать над внезапной переменой во мне. Но я не мог открыться ни ему, ни кому бы то ни было.

— У тебя такой вид, точно на тебя повеял сирокко! — сказал он. — Не из сердца ли дует этот знойный ветер? Маленькая птичка, что живет там, может сгореть, а она ведь не Феникс, вновь не возродится! Ее надо время от времени выпускать на волю! Пусть поклюет спелые ягоды в поле и пощиплет нежные розы на балконе, словом, пусть кушает на здоровье! Так делаю я, и моя птичка здорова, весела, поет и веселит меня! Вот и объяснение моего веселого нрава! И тебе надо следовать моему примеру! Уж кому другому, а поэту-то необходимо иметь в груди настоящую живую птичку, знакомую со вкусом и роз, и ягод, и кислого, и сладкого, и гуши, и нектара!

— Прекрасные у тебя понятия о поэте! — сказал я.

— Христос же принял на себя человеческий образ, сходил даже в ад к грешникам! Божественное должно смешиваться с земным, чтобы произвести нечто совершенное! Но, однако, я начинаю читать лекцию! Я, правда, и обещал прочесть тебе проповедь, но, кажется, на иную тему. С чего это вы, ваша милость, вдруг бросили своих друзей? Три дня не заглядывали к Подесте? Нехорошо, очень плохо! Вся семья сердится на вас. Сегодня же изволь отправиться к ним и на коленях

просить прощения! Три дня не заглядывать в дом Подесты! Это мне сказала синьора Роза. Что случилось с тобою?

— Я был нездоров и не выходил из дома!

— Ну, уж нет, дружище, это мы знаем получше! Третьего дня вечером ты слушал оперу «Королева Испанская», в которой рыцаря поет красotka Аврелия, настоящий неистовый Орланд в миниатюре! Но из-за такого завоевания нечего, кажется, голову терять! Я думаю, не Бог весть какого труда оно стоило. Ну да как бы там ни было, изволь теперь вместе со мною отправиться обедать к Подесте. Нас пригласили, и я дал слово привести тебя.

— Поджио! — сказал я серьезно. — Тебе я скажу причину, почему я не был у них так долго и впредь буду бывать реже! — И я передал ему свой разговор с женою банкира.

— Ну! — сказал Поджио. — А по мне, пусть бы говорили, что хотели! Неужели ты только из-за этого не хочешь идти туда? И что мудреного в этих толках? Я и сам того же мнения! Это ведь так естественно! Но так ли оно или нет, тебе все-таки не следует быть неучтивым! Мария хороша собою, даже очень хороша, умна и добра, и ты любишь ее; это ясно видно.

— Нет, нет! — воскликнул я. — И не думаю! Мария только напоминает мне одну слепую девочку, которую я раз видел и которая пленила меня, как может пленить ребенок. Сходство с нею поразило меня в Марии и невольно влечет к ней.

— Мария тоже была слепа! — сказал Поджио серьезно. — Она приехала из Греции слепой, но дядя ее, неаполитанский врач, сделал ей операцию.

— Мою слепую звали не Марией! — ответил я.

— Твою слепую! — весело повторил Поджио. — Должно быть, эта слепая девочка необыкновенное существо, что ты ищешь в Марии только сходства с нею. Но, конечно, это одна аллегория: это был сам слепой божок любви! Он-то и заставляет тебя любоваться Марией! Ты ведь сам теперь признался! И не успеем мы оглянуться, как вы обвенчаетесь и уедете из Венеции!

— Ты просто оскорбляешь меня, Поджио! — сказал я. — Я никогда не женюсь! Моя мечта о любви рассеялась, и я уже больше не буду обольщать себя новой! Клянусь тебе, что я никогда...

— Ну, ну, только не клянись! — прервал он меня. — Я верю тебе и стану разуберять всех, кто скажет, что вы — парочка! Но не клянись, что никогда не женишься! Может быть, ты ближе к браку, чем сам думаешь! Не пройдет и года, как сыграем свадьбу!

— Твою, может быть, но не мою!

— Так ты думаешь, я могу жениться! — воскликнул он. — Нет, друг мой, у меня нет средств содержать жену. Это удовольствие обходится слишком дорого!

— Твоя свадьба наверно будет раньше моей! — повторил я. — Может быть, даже тебе достанется сама красавица Мария. В городе говорят, что я готов предложить ей свою руку, а она между тем отдаст свою тебе!

— И плохо сделает! — сказал он, смеясь. — Я желаю ей лучшего мужа! Вот что, побьемся об заклад: я говорю, что ты женишься, на Марии ли или на ком другом — все равно, но женишься; я же останусь старым холостяком. Заклад — две бутылки шампанского! Мы разопьем их в день твоей свадьбы!

— Идет! — сказал я, тоже смеясь. Затем мне пришлось отправиться с ним к Подесте. Роза побранила меня, Подеста тоже. Мария молчала, а я не сводил с нее глаз, — говорили ведь, что она моя невеста! Роза чокнулась со мною.

— Ни одна женщина не должна пить за его здоровье! — заявил Поджио. — Он поклялся в вечной ненависти к женщинам, сказал, что никогда не женится!

— В вечной ненависти? — повторил я. — Нет! Мое решение не жениться ничуть не мешает мне высоко ценить и уважать прекрасную половину рода человеческого, созданную для улады нашей жизни.

— Вы решили не жениться! — воскликнул Подеста. — Ну, такая идея не делает чести вашему гению. И друзьям не годится разглашать о ней! — добавил он шутливо, обращаясь к Поджио.

— Мне хочется скомпрометировать его! — ответил Поджио. — А то он, чего доброго, еще влюбится в свою единственную дурную идею и останется при ней ради ее блестящей оригинальности! — Все принялись подтрунивать надо мною и стараться развеселить меня. Вино и кушанья были превосходны, и мне невольно вспомнилось бедственное положение Аннунциаты — она, может быть, голодает теперь!

— Вы обещали почитать нам сочинения Сильвио Пеллико! — сказала мне Роза, когда я прощался с нею. — Не забудьте же, приходите к нам по-прежнему каждый день! Вы избаловали нас, и мы ценим ваше внимание больше, чем кто-либо в Венеции.

И я опять стал ходить к ним ежедневно, видя, как они все любят меня. Прошло уже около месяца со времени моего свидания с Аннунциатой, а мне так-таки ничего и не удалось узнать о ней. Приходилось рассчитывать только на случай. Однажды вечером Мария показалась мне особенно задумчивой и печальной. Я читал им вслух, но она слушала крайне рассеянно. Вдруг Роза зачем-то вышла из комнаты, и я в первый раз остался наедине с Марией. Предчувствие чего-то дурного сжало мне сердце. Я попытался было завязать разговор о Сильвио Пеллико и о влиянии политических событий на его поэтическое дарование.

— Синьор аббат! — сказала она, как будто не слышала моих слов, занятая какой-то мыслью. — Антонио! — продолжала она дрожащим

голосом и покраснела. — Мне надо поговорить с вами! Я дала слово умирающей и хочу сдержать его! — Тут она остановилась. Я молчал, пораженный ее словами. — Мы ведь не совсем чужие друг другу, а мне все-таки так страшно в эту минуту! — И она побледнела.

— Ради Бога, скажите мне, что случилось? — не выдержал я.

— Неисповедимая воля Провидения вмешивает меня в вашу жизнь, делает меня поверенною тайны, о которой не должен бы ведать никто посторонний. Но я сдержу слово, данное умершей, и не скажу об этом никому, даже добрейшей Розе. — Тут Мария вынула маленький пакет. — Возьмите, я обещала передать это вам! Тут, верно, объяснение всего. Я два дня носила этот пакет при себе, не зная, как исполнить свое обещание. Теперь оно исполнено! Не говорите об этом никому. Я тоже буду молчать.

— Но от кого он? — спросил я. — Я не должен знать этого?

— О Господи! — воскликнула она и выбежала из комнаты. Я поспешил домой и вскрыл пакет. В нем лежало несколько бумажек. Я взглянул на первую: моя собственная рука, стихи, написанные карандашом! Внизу же, словно в надгробной надписи, были поставлены чернилами три креста. Это было то самое стихотворение, которое я бросил к ногам Аннунциаты в ее первый дебют в Риме.

— Аннунциата! — тяжело вздохнул я. — О, Матерь Божия, это от нее! — Между бумагами было еще запечатанное письмо с надписью: «Антонио». Я разорвал конверт. Да, это она писала мне! Половина письма была написана, как я понял, в ночь после моего посещения; остальное же приписано позже слабой, дрожащей рукой.

Вот что я прочел: «Я видела тебя, Антонио, видела еще раз! Это было моим единственным желанием, хотя я и боялась минуты этого свидания, как боятся смерти, даже если она несет с собою счастье. Прошло всего несколько часов с минуты нашей встречи; когда же ты прочтешь эти строки, пройдут уже месяцы, но не больше. Говорят, кто увидел самого себя, скоро умрет. Ты был половиной моей души, моей постоянной мыслью, и я увидела тебя. Ты видел меня и в дни счастья, и в дни бедствия! Ты один захотел узнать бедную, всеми забытую Аннунциату! Но я и заслуживала этого, Антонио! Теперь я смею открыться тебе: когда ты прочтешь это, меня уже не будет в живых. Я любила тебя, любила с того счастливого времени и до последней минуты. Но Мадонне не угодно было соединить нас на этом свете. Я знала, что ты любишь меня, еще прежде того несчастного вечера, когда ты выстрелил в Бернардо и открылся мне. Ужас и горе в первую минуту после случившегося несчастья, которое, я знала, могло разлучить нас, сковали мой язык и заставили меня прикинуться к телу убитого. А ты исчез, и я больше не видела тебя! Бернардо был ранен не смертельно; я не отходила от него, пока не убедилась в этом. Неужели это заставило тебя сомневаться в моей любви к тебе? Я не знала, где ты, и не могла

узнать. Через несколько дней ко мне явилась какая-то странная старуха и подала мне записку от тебя. Ты писал: «Еду в Неаполь». Старуха сказала, что тебе нужны паспорт и деньги. Я заставила Бернардо выпросить паспорт у его дяди, сенатора. В то время мое желание было еще законом, слово мое имело силу, и я добилась, чего хотела. Бернардо тоже был огорчен за тебя. Он оправился и любил меня по-прежнему, любил, я думаю, искренно, но я любила одного тебя! Бернардо оставил Рим. Я хотела немедленно отправиться в Неаполь, но болезнь моей старой воспитательницы задержала меня на целый месяц в Мола-ди-Гаэта. Когда мы затем приехали в Неаполь, я услышала о молодом импровизаторе Ченчи, выступившем впервые в самый вечер моего приезда. Я догадалась, что это был ты. Сейчас же моя воспитательница написала тебе. Она не подписалась, но назвала тебе улицу и дом, где мы жили. Ты не пришел. Она написала еще раз, правда, опять не подписалась, но ты должен был знать, от кого этот призыв: «Приходите, Антонио! Потрясение, вызванное нашей последней несчастной встречей, теперь прошло. Приходите скорее! Смотрите на все как на недоразумение. Все еще может устроиться прекрасно, только не медлите, приходите!» Но ты не пришел! Между тем я узнала, что ты прочел письма. Ты сейчас же уехал в Рим. Что должна была я подумать? Что ты разлюбил меня? Я тоже была горда, Антонио! Свет сделал меня тщеславной! Я не забыла тебя, я только отказалась от тебя и страдала от этого. Моя старая воспитательница умерла, брат ее тоже. Они заменяли мне родителей; после их смерти я осталась одна, одна в целом свете! Но я была его любимицей, была молода, красива, восхищала всех своим пением. Это был последний счастливый год моей жизни! Я заболела на пути в Болонью и слегла; сердце мое страдало все так же. Я ведь не знала, Антонио, что ты еще любишь меня, что ты, даже когда счастье отвернется от меня, захочешь поцеловать мою руку! Целый год пролежала я больная и прожила за это время все свое состояние. И я обеднела вдвойне: кроме средств, я потеряла еще и голос; болезнь отняла у меня последние силы. Прошел год, прошли семь долгих тяжелых лет, и — мы встретились! Ты видел мою нищету! Ты слышал, как шикали той Аннунциате, которую когда-то с таким ликованием везла в карете римская молодежь! Мысли мои становятся горьки, как и самая судьба моя! Ты пришел ко мне! С моих глаз как будто спала пелена, я почувствовала, что ты всегда любил меня. Ты сказал мне, что я оттолкнула тебя, заставила броситься в свет очертя голову. Ах, ты не знал, как я любила тебя, как хотела заключить тебя в свои объятия! Я увидела тебя еще раз, твой поцелуй опять обжег мою руку, как в былые счастливые времена... Мы расстались, теперь я опять сижу в своей каморке одна... Завтра я покину ее, покину, может быть, и Венецию. Не жалею обо мне, Антонио! Мадонна добра и милостива! Вспоминай меня добром! Тебя просит об этом умершая Аннунциата, которая так любила тебя, а теперь... молится за тебя на небе!»

Слезы так и бежали из моих глаз, пока я читал письмо. Вторая часть письма была написана всего несколько дней тому назад. Это было последнее прощанье Аннунциаты.

«Страдания мои близки к концу! Да будет благословенна Мадонна за все радости, которые она даровала мне в жизни, и за все страдания! Я умираю! Еще один вздох, и все будет кончено. Мне сказали, что красивейшая, благороднейшая девушка в Венеции твоя невеста. Будьте счастливы! Это последнее желание умирающей! Кроме этой девушки, я не знаю никого в свете, кому бы я могла вручить для передачи тебе эти строки, мое последнее прощанье. И сердце говорит мне, что она придет ко мне! Благородное женское сердце не откажет умирающей в последнем утешении. Она придет ко мне! Будь счастлив, Антонио! Моя последняя молитва на земле и первая на небе — за тебя и за нее, которая будет для тебя тем, чем не могла быть я! Душа моя была заражена тщеславием; свет испортил ее своими похвалами. Быть может, ты никогда не был бы счастлив со мною! Иначе бы Мадонна и не разлучила нас! Прощай! Прощай! Я чувствую такое спокойствие в сердце, боль прошла, смерть приближается! Молись за меня вместе с Марией!

Аннунциата».

Глубокое горе безмолвно. Пораженный, сломленный им, сидел я, не сводя глаз с письма, омоченного моими слезами. Аннунциата любила меня! Она была тем невидимым добрым гением, который помог мне пробраться в Неаполь! И письма были от нее, а не от Санты! Аннунциата была больна, ввергнута в нищету и бедствия, а теперь умерла, наверно, умерла! В конверте лежала также записочка: «Я еду в Неаполь» с моей подписью, переданная Аннунциате Фульвией, и распечатанное письмо от Бернардо, в котором он прощался с Аннунциатой и возвещал о своем намерении поступить на иностранную службу. Аннунциата посылала мне все это через Марию, называла Марию моей невестой! Пустые слухи дошли и до Аннунциаты, и она поверила им, призвала Марию к себе. Что она сказала ей? Я вспомнил, с каким страхом приступила Мария к разговору со мною. Итак, и она теперь знала, что говорят о нас с нею в Венеции! У меня не хватало духу заговорить с нею после этого, а между тем надо было — она ведь была добрым гением Аннунциаты и моим.

Я сел в гондолу и скоро вернулся в комнату, где сидели за рукоделием Роза и Мария. Мария, видимо, была смущена. Я не смел сказать ни слова о том, что наполняло теперь все мои мысли, и рассеянно отвечал на вопросы Розы. Горе давило меня. Вдруг Роза взяла меня за руку и сказала:

— У вас, видно, большое горе! Доверьтесь нам! Если мы не сумеем утешить вас, так хоть погорюем с вами, как истинные друзья.

— Вы знаете все! — воскликнул я в порыве отчаяния.

— Мария, может быть, но я ничего не знаю! — ответила старушка.

— Роза! — умоляюще произнесла Мария и схватила тетку за руку.

— Нет, от вас я не могу иметь тайн! — сказал я. — Я расскажу вам все. Это облегчит мое горе! — И я рассказал им о своем бедном детстве, об Аннунциате, о бегстве в Неаполь, но, заметив, что Мария слушает меня, сложив руки, как, бывало, Фламиния и еще одно существо, я замолчал. У меня не хватило духа заговорить в ее присутствии о Ларе и о видении в пещере, да это и не относилось к истории Аннунциаты, поэтому я прямо перешел к моей встрече с Аннунциатой в Венеции и нашему последнему свиданию. Мария закрыла лицо руками и заплакала. Роза молчала.

— Вот уж не думала-то, не подозревала ничего такого! — сказала она наконец. — Мария получила письмо из госпиталя сестер милосердия; какая-то умирающая заклинала ее прийти к ней. Я поехала с нею, но к умирающей Мария должна была войти одна; я оставалась с сестрами.

— Я видела Аннунциату! — сказала Мария. — И вы получили то, что она просила меня передать вам.

— А что она сказала при этом? — спросил я.

— «Отдайте это Антонио, импровизатору, но так, чтобы никто не видел!» Она говорила о вас как любящая сестра, как чистая благородная душа!.. Я видела на ее губах кровь... Она закрыла глаза при мне!.. — Тут Мария опять заплакала. Я молча поцеловал руку кроткой, милой девушки в знак благодарности за ее доброту к умершей, потом простился с Розой и пошел в церковь помолиться за упокой Аннунциаты.

Никогда и нигде еще меня не окружали таким вниманием и заботами, как с того дня в семье Подесты. Я стал для Розы и Марии как бы братом; они старались удовлетворить малейшему моему желанию; заботливость их обо мне и любовь проявлялись даже в мелочах.

Я посетил могилу Аннунциаты. Кладбище со своими высокими стенами походило на плавающий ковчег; это был остров мертвых, окруженный водою. Передо мною расстилалась зеленая лужайка, усеянная черными крестами. Я отыскал могилу. Надпись на кресте — одно слово: «Аннунциата». Крест был украшен свежим, красивым венком из зеленых лавровых ветвей; верно, его прислали Роза с Марией. Я потом поблагодарил их обеих. Как прекрасна была Мария, как походила она на олицетворение богини красоты — Лару, особенно когда опускала глаза! И мне невольно казалось, как это ни было неправдоподобно, что Лара и Мария одно лицо.

В это время я получил письмо от Фабиани. Я уже четвертый месяц проживал в Венеции; это удивляло его; ему казалось, что мне следовало посетить Милан или Геную, а не сидеть на одном месте. Впрочем, он предоставлял это моему собственному усмотрению. Но что же, в самом деле, удерживало меня в Венеции, в этом городе печали, каким он представился мне сразу, в городе, где разбилась вконец лучшая мечта моей жизни? Правда, здесь я нашел двух добрых сестер, Розу и Марию, и верного друга, Поджио, каких мне не найти уже нигде; но ведь когда-

нибудь да нам придется расстаться! И все здесь только растравляет мою печаль. Нет, прочь, прочь отсюда! Надо поскорее подготовить к предстоящей разлуке Розу и Марию. В тот же вечер я сидел с ними в большой зале с балконом, выходящим на канал. Мария велела слуге зажечь лампу, но Роза нашла, что приятнее посидеть при свете луны. Апельсиновые деревья на балконе струили сладкий аромат.

— Спой, Мария! — сказала Роза. — Спой ту красивую песню о пещере Троглодитов! Пусть Антонио послушает!

Мария запела удивительно нежным и мягким голосом тихую колыбельную песню. Текст и мелодия поразительно соответствовали друг другу, ласкали слух и уносили сердце и душу в страну красоты, баюкали их на прозрачных, как эфир, волнах.

— Эта песня как будто проникнута каким-то внутренним светом, дышит чем-то неземным! — сказала Роза.

— Таким проявляется бестелесный дух! — сказал я.

— Таким представляется прекрасный Божий мир слепому! — вздохнула Мария.

— Ну, а разве не таким является он прозревшему? — спросила Роза.

— Не таким, и все-таки еще прекраснее! — ответила Мария.

Роза рассказала мне то, что я уже слышал от Поджио — о слепоте и исцелении Марии благодаря операции ее дяди. Мария вспоминала о дяде с любовью и благодарностью и с детской простотой рассказала мне, каким представлялся ей прежде весь свет, теплое солнышко, люди, широкие листья кактусов и огромные храмы.

— В Греции их больше, чем здесь! — вдруг заметила она и приостановилась на минуту. — Я представляла себе цвета и краски в виде звуков! — продолжала она затем. — Мне говорили, что фиалки голубого цвета, море и небо тоже, и запах фиалок говорил мне, как прекрасны море и небо. Когда телесный взор мертв, духовный тем зорче. Слепой верит в духовный мир. Все, что он видит, открывается ему только посредством этого мира.

Я вспомнил о Ларе в венке из голубых фиалок; аромат апельсиновых деревьев также переносил меня в Пестум, где среди развалин храмов росли фиалки и красные левкой. Мы заговорили о величественной красоте природы, о море и горах, и Розе опять взгрустнулось при мысли о Неаполе. Тут я сказал им, что скоро уезжаю из Венеции.

— Вы покидаете нас? — грустно сказала Роза. — Вот уж не ждала-то!

— И вы больше не вернетесь в Венецию? — спросила Мария. — Не вернетесь к вашим друзьям?

— Конечно, непременно! — ответил я и, хотя это вовсе не входило в мои планы, стал уверять их, что, возвращаясь из Милана в Рим, проеду через Венецию. Но я и сам не верил тому, что говорил, и, отправившись на могилу Аннунциаты, взял на память листочек из

венка, как будто уже не рассчитывал когда-либо вернуться сюда. Действительно, я пришел сюда в последний раз. Могила скрывала в себе лишь прах; в моем же сердце жила память о прекрасном существе, а обитавший в нем дух находился теперь на небе у Мадонны! Могила Аннунциаты да маленькая гостиная, где я прощался с Марией и Розой, одни видели мои слезы и горе.

— Пошли вам Бог женщину, которая бы вознаградила вас за вашу сердечную утрату! — сказала мне Роза. — Приведите ее ко мне в объятия! Я знаю, что полюблю ее, как вы научили меня любить Аннунциату.

— Вернитесь к нам счастливым! — сказала Мария, печально подавая мне руку, которую я поцеловал. Подеста поднял бокал с пенящимся шампанским, а Поджио спел веселую напутственную песнь, в которой говорилось о вертящемся колесе счастья и пении птиц на воле. Затем он сел со мною в гондолу, чтобы проводить меня до Фузины. Дамы махали с балкона платками. «Кто знает, какие совершатся события, прежде чем я снова увижусь с ними?» Поджио во время пути был оживлен и весел, как школьник, но веселость его, видимо, была напускная. Он крепко обнял меня и взял с меня слово почаще переписываться с ним.

— Смотри же, поскорее сообщи мне о своей прекрасной невесте, да не забудь о закладе! — прибавил он.

— До шуток ли теперь! — сказал я. — Ты ведь знаешь мое решение! — И мы расстались.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВЕРОНЫ. МИЛАНСКИЙ СОБОР.

ВСТРЕЧА У ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ НАПОЛЕОНА. МЕЧТА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. ЛАЗУРНЫЙ ГРОТ

Карета покатила. Я увидел зеленые берега Brentы, поросшие плакучими ивами, прекрасные виллы и далекие горы. К вечеру я прибыл в Падую. Первое, что приветствовало меня здесь, были облитые лунным сиянием семь горделивых куполов церкви святого Антония. На улицах царило большое оживление, но я чувствовал себя здесь таким одиноким, всем чужим. Утром, при свете солнца, город показался мне еще не приветливее. «Дальше, дальше! Путешествие рассеет мою скорбь!» — думал я и покатил дальше.

Кругом расстилалась зеленая равнина, покрытая сочной зеленью, как Понтийские болота. Над канавами склонялись, словно белые водяные каскады, плакучие ивы, всюду виднелись часовенки с образами Мадонны; некоторые уже совсем потускнели и выцвели от времени, и самые часовни готовы были разрушиться. Но попадались и новые, только что отстроенные часовни, украшенные новыми образами. Я заметил, что наш веттурино сни-

мал шляпу лишь перед новыми, а старых, выцветших образов как будто не замечал. Меня это сильно поразило. Может быть, впрочем, я придавал этому обстоятельству большее значение, нежели следовало. «Даже святыня, изображение самой Божией Матери, предается забвению и уничтожению за утрату земной свежести и привлекательности!» — с горечью думал я.

Побывав в Виченце, где искусство Палладио не осветило моего сердца ни единым светлым лучом, я прибыл, наконец, в Верону, первый город, который мне понравился. Амфитеатр перенес меня в Рим, напомнив Колизей: он был прекрасной копией с римского Колизея, но сохранился лучше, так как его не касалась разрушающая рука варваров. Обширные галереи были превращены в товарные склады, а посреди арены стоял сколоченный из досок балаган, в котором давала представления какая-то заезжая оперная труппа. Я пошел туда вечером. Веронцы сидели на тех же самых ступенях амфитеатра, где сиживали их предки. Давали «La Cenerentola». Это была та же самая труппа, к которой недавно принадлежала Аннунциата. Главную партию пела Аврелия. Жалкое было зрелище. Балаганчик совсем терялся среди этой исполинской арены. Контрабас заглушал прочие немногочисленные инструменты в оркестре. А публика неистово аплодировала и вызывала Аврелию! Я поспешил уйти. На улице стояла тишина; ночь была лунная; от величественного здания падала гигантская тень.

Мне рассказали историю вражды Монтекки и Капулетти, разлучившей двух влюбленных, которых затем соединила смерть, и показали мне дворец Капулетти, где Ромео впервые увидел Юлию на балу. Теперь дворец был превращен в постоялый двор. Я поднялся по лестнице, по которой прокрадывался некогда навстречу любви и смерти молодой Ромео. Большая балльная зала еще сохранилась, но фрески на стенах выцвели; большие окна были еще целы, но всюду лежали кучи сора и грязи, вдоль стен тянулись бочки с известью, а по углам валялись сбруя и разные хозяйственные орудия. И здесь-то некогда кружились под звуки сладостной музыки знатнейшие веронцы, здесь-то Ромео и Юлия пережили короткий миг упоения любовью! Да, вот где я еще глубже проникнулся сознанием ничтожества и тщеты всякого земного блеска, почувствовал, что Фламиния избрала благую участь, что и Аннунциата, наконец, удостоилась того же! Мои дорогие умершие были теперь счастливы! Сердце мое ускоренно билось, меня снедало какое-то лихорадочное беспокойство, и я нигде не находил себе покоя. «В Милан! Там ты найдешь приют!» — подумал я и поехал в Милан. Прибыл я туда почти через месяц после моего отъезда из Венеции. Нет, в Венеции было гораздо лучше. Там я чувствовал себя как дома, а здесь я был одинок и даже не желал заводить знакомств, не воспользовался ни одним из данных мне рекомендательных писем.

Огромный шестиярусный театр со своими зияющими, как пещеры, ложами и огромной залой, которая едва ли часто бывает полна, произ-

водил впечатление пустыни и в то же время как будто давил меня. Я был там всего раз; давалась опера Доницетти «Торквато Тассо». Примадонну, любимицу публики, вызывали без конца; она выходила, сияя улыбкой, но я смотрел на нее с глубоким сожалением и желал ей умереть в этот момент высшего своего торжества. Кто знает, что ждет ее в будущем? Пусть лучше теперь свет оплакивает ее, нежели она потом утраченное благоволение света! В балете участвовали и прелестные дети, но мое сердце обливалось кровью при виде их красоты. Больше я и не заглядывал в La Scala.

Один бродил я по тенистым улицам большого города, один сидел в своей комнате и работал над трагедией «Леонардо да Винчи». Здесь ведь он жил, здесь я видел его бессмертную «Вечерю». История его несчастной любви так походила на мою: его возлюбленная тоже удалилась в монастырь! И я думал о Фламинии, об Аннунциате и писал, писал под диктовку сердца. Но мне сильно не доставало Поджио, Марии и Розы. Мое больное сердце так нуждалось в их любви и заботах. Я написал в Венецию, но ответа не получил. Даже Поджио не сдержал своего слова писать мне, не забывать друга! И он оказался таким же, как все так называемые друзья! Я ежедневно посещал Миланский собор, эту дивную мраморную глыбу, словно вырубленную из Каррарских скал. В первый раз я увидел его вечером, при свете луны. Ослепительно белая верхняя часть собора ярко вырисовывалась на голубом небе. Отовсюду, куда ни взглянешь, из каждого угла, из каждой ниши выступали мраморные изваяния. Внутренность собора ослепляла даже больше, чем внутренность собора святого Петра. Этот таинственный полумрак, лучи света, пробиравшиеся через разноцветные стекла окон, переносили меня в какой-то неземной мир. Да, вот воистину храм Божий! Я прожил в Милане целый месяц и тогда только собрался в первый раз взглянуть на него с высоты собора. Солнце горело на его ослепительно белой крыше, на которой, словно на обширной мраморной площади, возвышались, будто отдельные церкви и капеллы, башни собора. Глубоко-глубоко внизу раскинулся Милан, а вокруг взору моему открывались все новые и новые статуи, которых не видно было снизу, с улицы. Я достиг самой высшей точки и остановился у мощной статуи Христа, венчающей все здание. На севере виднелись высокие темные Альпы, на юге низкие бледно-голубые Апеннины, а между теми и другими растянулась безграничная зеленая равнина. Я обратил взор на восток, где лежала Венеция. По направлению к ней тянулась в поднебесье длинной лентой стая перелетных птиц. Я вспомнил оставленных мною там дорогих мне людей: Поджио, Розу, Марию, и мною овладела такая тоска! Мне вспомнился рассказ, слышанный мною в детстве, когда я с матушкой, Мариучией и Анджелиной возвращался с прогулки на озеро Неми. Анджелина рассказывала нам о бедной Терезе из Олевано, которая изводилась с тоски по Джузеппе, ушедшем на север за горы; старая Фульвия положила в

горшок разных трав и поставила снадобье на огонь; оно закипело, и Джузеппе охватила такая тоска по родине, что он без оглядки, без отдыха, не останавливаясь нигде ни днем, ни ночью, заспешил домой, где кипело снадобье из трав с локонами волос его и Терезы. Я тоже чувствовал неодолимое беспокойство и странную тоску, но то не была тоска по родине — Венеция ведь не была моею родиной! Мне стало настолько не по себе, что я поспешил спуститься вниз. Дома я нашел письмо от Поджио. Наконец-то! Оказывалось, что он уже писал мне раз, но письмо не дошло до меня. В Венеции было по-прежнему весело, только Мария была серьезно больна; боялись даже за ее жизнь, но теперь опасность миновала, и девушка поправлялась, хотя еще и не выходила из дома. Затем Поджио шутливо спрашивал меня, не пленился ли я какой-нибудь красавицей в Милане, и напоминал о закладе. Письмо дышало таким беззаботным весельем, что, как ни мало вообще соответствовало моему душевному настроению, все-таки обрадовало меня. Я как будто увидел перед собою самого милого, живого, веселого Поджио! «Вот вам и людские толки! — думал я. — Говорят, что он таит в сердце глубокое горе, что веселость его напускная, а он таков и есть по натуре! Говорят, что Мария моя невеста, а я и не думаю любить ее! Я скучаю по ней, как и по Розе, а ведь не говорят же, что я влюблен в Розу. Ах, скорее бы назад в Венецию! Тут я не выдержу!» Но потом я опять осмеивал себя за свое странное влечение. Чтобы рассеяться, я вышел из ворот на площадь д'Арми к триумфальной арке Наполеона, или Порта Чемпиони, как ее называют. Тут кипела работа. Я вошел в калитку низкого забора, окружавшего великолепное сооружение; на земле стояли два новых мраморных коня; кругом были разбросаны мраморные глыбы и колонны. Какой-то приезжий стоял и записывал в книжку то, что рассказывал ему гид. На вид ему было лет тридцать. Я прошел мимо него и заметил у него на груди два неаполитанских ордена. Вот он поднял глаза на арку, и я узнал его. Это был Бернардо. Он тоже увидел меня, кинулся ко мне, обнял меня и весело воскликнул:

— Антонио! Давненько не видались! И простились-то мы с шумом и треском! Но ведь мы все еще друзья, надеюсь?

Кровь застыла у меня в жилах.

— Бернардо! — воскликнул я. — Вот где довелось нам встретиться, на севере, под самыми Альпами!

— Я так даже с самых Альп! С глетчеров! Видел там, на холодных горах, край света! — И он рассказал мне, что путешествовал все лето по Швейцарии. Немецкие офицеры, состоявшие на неаполитанской службе, столько нарасказали ему о величии Швейцарии, что он взял да и порхнул на пароходе из Неаполя в Геную, а оттуда и дальше, побывал в долине Шамуни и даже взбирался на Монблан и на Юнгфрау, на «la bella ragazza», как он называл ее. — И прехолодная эта красавица! — добавил он. Мы пошли вместе к новому амфитеатру, затем назад, в

город. Он рассказал мне, что едет теперь в Геную, к своей невесте, что собирается остепениться и жениться, звал меня на свадьбу, а потом лукаво шепнул мне на ухо: — А что ж ты молчишь о моей ручной птичке, о нашей певичке и обо всех прочих историях! Теперь ты сам узнал, что юному сердцу не обойтись без них. Впрочем, узнай о них моя невеста, у нее, пожалуй, разболелась бы голова, а это было бы жаль, я так люблю ее! — Я не мог решиться заговорить с ним об Аннунциате; я чувствовал, что он никогда не любил ее так, как я. — Поедем со мной! — продолжал он. — В Генуе много красавиц, и ты ведь теперь стал старше и умнее, знаешь в них толк! Неаполь просветил тебя! Не правда ли? Через три дня я отправляюсь туда. Едем со мною!

— Но я уезжаю завтра утром! — невольно вырвалось у меня, хотя я и не думал еще уезжать. Но теперь слово было сказано.

— Куда? — спросил Бернардо.

— В Венецию! — ответил я.

— Ну, ты должен переменить свой план! — сказал он и принялся уговаривать меня, а я, в свою очередь, так горячо стал убеждать его в том, что мне необходимо завтра же уехать в Венецию, что и сам поверил этому. Без всяких проволочек я сейчас же устроил все свои дела, как будто и в самом деле отъезд мой был решен давно.

Меня увлекал из Милана невидимый Промысел. О сие нечего было и думать, я прилег всего на какой-нибудь час, да и тот провел в каком-то лихорадочном забытии, не то спал, не то бодрствовал. «В Венецию! В Венецию!» — раздавался в моем сердце неумолчный голос.

Я зашел к Бернардо проститься, попросил его передать мой привет его невесте и полетел туда, откуда уехал два месяца тому назад. Минутами мне казалось, что я принял отравы, разливавшейся теперь по моим жилам. Какой-то необъяснимый страх гнал меня вперед. Что-то ожидало меня в Венеции?

Вот я и опять в Фузине, вот и Венеция с ее серыми стенами, башней святого Марка и лагунами, и — мое странное беспокойство, моя тоска и страх исчезли мгновенно. Их сменило совсем иное чувство. Как бы назвать его? Мне как будто стыдно было самого себя, я был недоволен самим собою! Теперь я не понимал, что, собственно, меня тянуло сюда, чувствовал все безрассудство своих поступков, и мне казалось, что все будут спрашивать меня: «Зачем это тебя опять принесло сюда?» Я занял номер в гостинице и поспешно принялся переодеваться; я хотел сейчас же отправиться к Розе и Марии, несмотря на то что мне сильно нездоровилось. Что-то они скажут, увидя меня?

Гондола пристала к берегу. Какие только странные мысли не приходят в голову человеку! «А что, если я приехал на веселый пир? Что, если Мария невеста? Что, если готовятся сыграть свадьбу?.. Ну и что ж? Ведь я не люблю ее! Разве я не повторял этого тысячу раз и самому

себе, и Поджио, и каждому, кто высказывал подобное предположение!» Вот я опять увидел перед собою зеленовато-серые стены и высокие окна палатцо Подесты, и сердце мое тоскливо забилося. Я вошел. Слуга молча распахнул передо мной двери, не выражая никакого удивления по поводу моего прихода; его как будто занимало что-то совсем другое.

— Подеста всегда дома для вас, синьор! — вот все, что он сказал мне. В большой зале стояла мертвая тишина; все занавеси были спущены. «Здесь жила Дездемона, — подумал я, — здесь она страдала, и все же Отелло страдал еще ужаснее». И с чего пришла мне на ум эта старая история! Я прошел в комнату Розы; и здесь занавеси были спущены, стоял полумрак. Я опять почувствовал тот необъяснимый страх, который преследовал меня во все время пути и гнал в Венецию. Дрожь пробежала по моему телу; пришлось ухватиться за стул, чтобы не упасть. В эту минуту вошел Подеста, обнял меня и выразил свою радость по поводу моего приезда. Я спросил о Розе и Марии, и мне показалось, что взгляд его вдруг принял серьезное выражение.

— Они уехали! — ответил он. — Они вздумали прокатиться в Падую вместе с одним знакомым семейством. Вернутся они завтра или послезавтра. — Не знаю почему, но я не поверил его словам. Может быть, причиной было все то же болезненное состояние мое, порожденное печалью и угнетенным состоянием духа, достигшее теперь своего высшего напряжения и готовое разразиться настоящей болезнью. Чем бы иначе и объяснить душевное возбуждение, понудившее меня вернуться в Венецию?

За ужином я живо почувствовал отсутствие Розы и Марии; Подеста тоже был что-то не весел, но объяснял это какой-то затянувшейся тяжбой, не представлявшей, впрочем, особенной важности.

— И Поджио тоже нигде не видать! — вздохнул он. — Все несчастья зараз, да и вы больны! Веселый вечер, нечего сказать! Может быть, вино подбодрит нас!.. Но вы бледны как смерть! — вскричал он вдруг, а я почувствовал в эту минуту, что все вокруг меня заплясало, завертелось, и затем я потерял сознание. У меня открылась нервная горячка.

Когда я пришел в себя, я увидел, что лежу в уютной полутемной комнате. Возле меня сидел Подеста. Он сказал мне, что я должен остаться у него в доме, — тогда я живо поправляюсь; Роза будет ухаживать за мною. О Марии он не упомянул.

Я лежал в полузабытьи; спустя несколько времени я услышал, что дамы вернулись и что я скоро увижу их. Я и увидел Розу; она была печальна, мне даже показалось, что она плакала. Не из-за меня же — я чувствовал себя уже гораздо лучше. Наступил вечер, и мне показалось, что в доме вдруг воцарилась какая-то зловещая тишина и в то же время началось усиленное движение. На мои вопросы отвечали уклончиво; но слух мой стал так болезненно-чуток, что я слышал не только шаги людей, расхаживавших в нижней зале под моей комнатой, но и их разговоры, и даже всплески воды в канале:

то подплывали к палаццо одна за другою гондолы. И вот в то время, как все думали, что я сплю, а я только лежал в легком забытии, я и понял из перешептываний окружающих, что Мария умерла! Поджио сообщал мне о ее болезни, но писал также, что она выздоровела. Видно, однако, болезнь возобновилась, и девушки не стало. В этот самый вечер ее хоронили, но хотели скрыть это от меня. «Так Мария умерла! Вот что означал тот страх, который гнал меня сюда, но я явился слишком поздно и уже не увижу ее больше! Теперь она переселилась в мир бесплотных духов, которому всегда принадлежала. Роза, верно, украсила ее гроб фиалками! Она так любила эти голубые, благоухающие цветочки, и теперь спит, осыпанная ими!» Я лежал неподвижно, словно мною овладел смертный сон, и слышал, как Роза благодарила за это Бога. Наконец она оставила меня; в комнате не было ни души; было темно; я вдруг почувствовал необыкновенный прилив сил. Семейная усыпальница Подесты была в церкви дел Фрари; я это знал. Гроб с умершей, согласно обычаям, должен был простоять всю ночь перед алтарем. Я хотел видеть ее! Я встал; лихорадка моя прошла, я чувствовал себя сильнее, набросил на себя плащ и вышел... Никто не видел меня... Я сел в гондолу. Все мои мысли были заняты умершею... Церковная дверь была уже заперта; «Ave Maria» давно кончилась. Я постучался в сторожку. Сторож узнал меня, так как не раз видел меня в церкви с семейством Подесты и показывал мне могилы Тициана и Кановы.

— Вы хотите видеть умершую? — спросил он, отгадав мою мысль. — Гроб открыт и стоит перед алтарем; завтра его поставят в склеп!

— Он зажег фонарь, взял связку ключей и отпер маленькую боковую дверь. Я вошел. Гулко раздались под высокими немymi сводами мои шаги. Перед образом Мадонны горела лампада, бросавшая на окружающее бледный свет. Белые мраморные статуи на гробнице Кановы вырисовывались небесными тенями и походили на мертвецов в саванах. Перед главным алтарем горели три большие лампы. Я не ощущал ни страха, ни горя; я как будто сам уже принадлежал к этому царству мертвых, был здесь между своими. Я приблизился к алтарю. Как здесь пахло фиалками! Луч лампы падал на открытый гроб и умершую. Это была Мария! Она как будто спала. Бледная и прекрасная, как мраморное изваяние, лежала она, вся усыпанная фиалками. Черные волосы были связаны в узел; на челе красовался венок из фиалок. Эти закрытые глаза, это спокойствие, застывшее на прекрасном лице, глубоко потрясли меня: передо мною лежала Лара! Такою вот видел я ее и в храме, когда поцеловал ее в лоб. Но тогда я целовал ее живую, а теперь она была безжизненной мраморной статуей, трупом.

— Лара! — вздохнул я и упал перед гробом на колени. — Лара! Даже после смерти твои закрытые глаза, твои немые уста говорят моему сердцу! Я узнал тебя, узнал в Марии! И я хочу умереть с тобою! — Тут я разразился слезами. Они падали на лицо умершей, и я осушал их своими поцелуями. — Все покинули меня! — стонал я. — Даже ты, последняя мечта моего

сердца! Душа моя не горела к тебе такой любовью, как к Аннунциате или к Фламинии, но я просто молился на тебя! Я питал к тебе ту чистую духовную любовь, какую знают одни ангелы! Я и сам не знал, что любил тебя, так чисто, далеко от всякой чувственной страсти было мое чувство! Я не понимал его сам, как же я мог решиться высказать его тебе!.. Прощай, моя последняя любовь, моя невеста! Блажен твой сон! — Я поцеловал чело умершей. — Моя духовная невеста! Я не протяну руки другой женщине! Прощай! Прощай! — Я снял с своего пальца кольцо, надел его на палец Лары и поднял глаза к небу, призывая в свидетели невидимого Бога. Вдруг я затрепетал: мне почудилось, что умершая прижала свою руку к моей. Не может быть! Я устремил на нее взор... Да, губы ее шевелились! Голова моя закружилась, волосы встали дыбом, я не мог шевельнуться от ужаса.

— Мне холодно! — прошептала умершая.

— Лара! Лара! — воскликнул я, и свет померк в моих глазах, в ушах загудели мягкие, чарующие звуки органа... Но вот чья-то рука нежно коснулась моего лба, блеснул луч света, и я опять открыл глаза.

— Антонио! — услышал я голос склонившейся надо мною Розы. На столе горела лампа, на коленях возле моей постели стояла плачущая девушка. Я узнал ее и понял, что пережил те страшные минуты не наяву, а в горячечном бреду.

— Лара! Лара! — воскликнул я. Она закрыла глаза руками. Что такое я говорил в бреду? Видение мое живо воскресло в моей памяти, и я прочел во взгляде Марии, что она слышала признание моего сердца.

— Горячка прошла! — прошептала Роза.

— Да, я чувствую себя хорошо, так хорошо! — сказал я, глядя на Марию. Она поднялась с колен и хотела выйти из комнаты.

— Не уходите! — взмолился я, протягивая к ней руки. Она осталась и подошла ко мне, краснея от волнения.

— А мне приснилось, что вы умерли! — сказал я.

— Это был горячечный бред! — ответила Роза и подала мне лекарство.

— Лара-Мария! Выслушайте меня! — сказал я. — Это уже не бред! Я чувствую, как в мою кровь вливается струя новой жизни! Мы давно знаем друг друга. Если же это не так, то вся моя жизнь — причудливый сон. Вы уже слышали мой голос, близ Пестума, близ Капри, и вы узнали его! Лара! Жизнь так коротка, отчего бы нам не подать друг другу руки и не пройти этот краткий путь вместе! — Я протянул ей руку, она прижала ее к своим губам. — Я люблю тебя, всегда любил тебя! — продолжал я, обращаясь к милой девушке, безмолвно стоявшей возле меня на коленях.

«Любовь, — говорит миф, — привела в порядок хаос, создала мир». И каждому любящему сердцу приходится вновь убедиться в этом. Во взорах Марии я черпал жизнь и здоровье. Она любила меня. Несколько дней спустя мы стояли с нею вдвоем в маленькой комнатке с балконом, где благоухали апельсиновые деревья и где она однажды пела для меня.

Но еще мягче, еще слаще звуков той песни прозвучало теперь для меня признание ее сердца! Я не ошибся: Лара и Мария были одно лицо.

— Я всегда любила тебя! — сказала она. — Твое пение пробудило в моей душе тоску и желание познать прекрасный мир Божий, в котором я знала лишь душистые фиалки да теплое солнышко. Твой поцелуй обжег меня, согрел мое сердце, как солнечный луч! Слепой доступен лишь мир духовный, и в нем я видела тебя. Ночью, после того как я слышала твою импровизацию в храме Нептуна, мне приснился странный сон, который как-то сливался с действительностью. Одна цыганка предсказала мне, что я прозрею. Она-то и приснилась мне во сне и велела мне отправиться с моим старым воспитателем в заколдованную пещеру, что близ Капри. Там будто бы вернется ко мне зрение, — ангел жизни даст мне трав, и я, как Товия, увижу мир Божий. Тот же сон приснился мне в эту ночь еще раз. Я рассказала его Анджело, но он отнесся к нему с недоверием. На другое утро сон приснился ему самому, и тогда он сказал:

— Да будет благословенна Мадонна! Даже злые духи должны повиноваться ей!

— Мы сели в лодку, он натянул паруса, и мы поплыли по морю. Прошел день, вечер и ночь, и я все это время жила в каком-то дивном неземном мире!.. Потом я услышала, как ангел жизни назвал меня по имени. Голос его походил на твой. Он дал мне трав и груды золота, сокровища, собранные в разных странах мира. Мы сварили травы, но они не помогли мне, слепота моя не проходила. Скоро нашу хижину посетил брат Розы, доктор. Он был тронут моим желанием увидеть прекрасный мир Божий, пообещал вылечить меня и увез меня с собою в Неаполь. И вот я узрела прекрасный мир Божий! Доктор и Роза полюбили меня, занялись моим воспитанием и открыли мне еще новый мир духовных радостей. Я осталась у них, они называли меня Марией в память своей умершей сестры. Однажды Анджело принес мне все сокровища, говоря, что они мои и что он, чувствуя близость смерти, собрал последние силы, чтобы доставить их мне. Вскоре этот единственный защитник и покровитель мой с самого детства действительно умер. Тогда брат Розы стал серьезно допрашивать меня о нем и о сокровищах. Я могла повторить лишь то, что знала от Анджело. Он сказал мне, что сокровища вручил ему дух заколдованной пещеры. Я же со своей стороны могла только прибавить, что мы всегда жили в бедности и что Анджело не мог быть разбойником: он всегда отличался набожностью и добротой, делился со мною последним.

Тогда я рассказал Ларе о странных событиях, благодаря которым нить ее жизни так загадочно переплелась с нитью моей, и сказал, что видел ее вместе с Анджело в пещере. О том, что старик сам взял вазу с золотом, я не упомянул, но прибавил, что травы дал ей я.

— Но ведь дух, протянув мне травы, ушел в землю! Так рассказывал мне Анджело! — возразила она.

— Это ему только показалось! Ноги мои подкосились, и я, обессиленный, сначала опустился на колени, а потом и совсем упал в высокую траву. Да, встреча в том чудном лазурном мире и связала наши жизни таинственным неразрывным узлом! Наша любовь, — продолжал я, — началась в мире духов! Туда уходят после смерти все милые нашему сердцу, туда влечет нас самих даже при жизни, как же нам не верить в него! — И я прижал Лару к своему сердцу. Она была так же прекрасна, как и в первый раз, когда я встретил ее.

— Я узнала тебя здесь, в Венеции, по голосу! — сказала она. — Сердце мое так и рвалось к тебе! Я думаю, что, встретить я тебя даже в храме, перед лицом самой Божией Матери, я и там упала бы к твоим ногам! Потом мы стали видеться, и я с каждым днем открывала в тебе все новые и новые достоинства! Вторично я вторглась в твою жизнь, когда Аннунциата благословила меня как твою невесту... Но ты оттолкнул меня, сказав, что никогда не полюбишь больше никого, не женишься ни на ком! И, рассказывая об удивительных приключениях своей жизни, ты никогда не упоминал о Ларе, о Пестуме или о Капри! Я и думала, что ты не любишь меня, что ты забыл меня, что я никогда не была дорога твоему сердцу!

Я поцеловал ее руку и объяснил ей, что взор ее всегда сковывал мои уста. Только когда тело лежало на смертном одре, а дух парил в ином мире, с которым так удивительно была связана наша любовь, осмелился я высказать заветные чувства сердца.

Никто, кроме Розы и Подесты, не знал о нашем счастье. Но как охотно открылся бы я Поджио! Он ежедневно навещал меня во время моей болезни. Когда я, наконец, оправился и увидел его при ярком дневном свете, мне показалось, что он как-то сильно побледнел и похудел за это время.

— Поджио, приходите к нам сегодня вечером! — сказал Подеста. — Непременно! Будут только свои, Антонио и еще трое друзей. — Поджио явился. Весь дом был разубран по-праздничному. — Что у вас, именины сегодня? — спросил Поджио. Вместо ответа, Подеста повел его и остальных друзей в домовую капеллу. Там Лара подала мне руку, и я повел ее к алтарю. В темных волосах ее красовался букет голубых фиалок. Со мною рядом стояла слепая девушка из Пестума, но теперь она была вдвое прекраснее! Она стала моей! Все поздравляли нас, все радовались нашему счастью. Поджио пел веселые песни и осушал за наше здоровье бокал за бокалом.

— Я проиграл заклад, — сказал я. — Но не жалею! Этот проигрыш выиграл мне счастье! — И я поцеловал свою жену. Радость окружающих выражалась шумно; наша с Ларою была тиха и молчалива, как ночь, укрывшая наше счастье, когда все разошлись.

— Жизнь — не сон! — сказал я. — Счастье любви — действительность! — И мы в объятиях друг друга вкусили блаженство, которое мог вдохнуть в человеческую грудь лишь сам Предвечный Творец.

Два дня спустя мы уехали из Венеции в имение моей жены. Роза поехала с нами. Поджио я не видел с самого дня свадьбы. Теперь от него пришло письмо; вот что я прочел в нем: «Я выиграл заклад, но проиграл все!» Он исчез из Венеции, и подозрение мое скоро перешло в уверенность: он любил Лару. Бедный Поджио! Уста твои пели радостные песни, в то время как сердце разрывалось от горя.

Франческе Лара очень понравилась, да и сам я, по ее мнению, значительно выиграл за время путешествия. *Essellenza* и Фабиани тоже одобрили мой выбор, и даже лицо Аббаса Дада озарилось улыбкой, когда он поздравлял меня.

Из старых знакомых до сих пор жив еще дядюшка Пеппо¹. Он по-прежнему сидит на Испанской лестнице и, верно, много лет еще будет приветствовать прохожих своим «*bon giorno!*».

Шестого марта 1834 г. в гостинице «Пагани», на острове Капри, было большое стечение иностранцев. Все заглядывались на молодую красавицу из Калабрии, прогуливавшуюся под руку со своим мужем. Это были мы с Ларой. Мы уже были женаты три года и вот вздумали, на пути из своего имения в Венецию, посетить остров Капри, где произошла завязка диковинной сказки нашей жизни. В углу комнаты стояла старушка с ребенком на руках. Какой-то иностранец, высокого роста, бледный, с выразительными чертами лица, одетый в голубой сюртук, подошел к девочке и стал играть с нею, восхищаясь ее красотой. Он говорил по-французски, но знал несколько слов и по-итальянски; его шутки снискали ему благосклонность девочки, и она даже потянулась поцеловать его. Он спросил, как ее зовут.

— Аннунциатой! — ответила старушка, наша дорогая Роза.

— Прелестное имя! — сказал он и поцеловал ребенка, дочку, которую подарила мне Лара. Я подошел к нему; он оказался датчанином. Тут же, в комнате, находился и еще один его земляк, человек небольшого роста, с серьезным и умным взглядом. Я раскланялся с обоими; они ведь были соотечественниками Федерико и великого Торвальдсена. Первый, как я узнал от них, был теперь в Дании, второй еще в Риме; он больше ведь принадлежал Италии, нежели своему холодному, мрачному северу.

Мы пошли на берег моря и сели в маленькие лодочки, на которых перевозили иностранцев на другую сторону острова. В каждую лодочку брали только двоих; один садился на одном конце лодки, другой на другом, а гребец помещался посередине.

Я смотрел в прозрачную водяную глубину, и воспоминания слетались ко мне светлым роем. Гребец сильно отталкивался веслами, и лодочка наша летела с быстротою стрелы. Мы далеко опередили остальных. Скоро

¹ Он был жив еще в 1846 г.

отлогий берег Капри скрылся из виду, и мы видели перед собою только отвесные крутые скалы. Вода была голубая, цвета горящей серы. Голубые волны бились о скалы, обросшие красными морскими яблоками. Мы были уже возле противоположной стороны острова, и вот между отвесными скалами открылось небольшое отверстие; наша лодочка едва-едва могла проскользнуть в него.

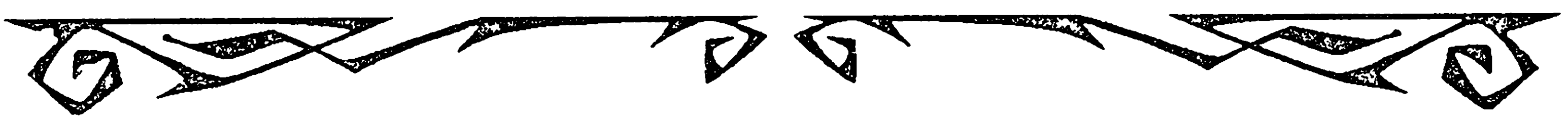
— Заколдованная пещера! — воскликнул я, и воспоминания разом хлынули мне в душу.

— Да! — сказал гребец. — Так ее звали прежде! Теперь же разужнали, что это такое! — И он рассказал нам о двух немцах-художниках, Фрисе и Копише, которые три года тому назад отважились вплыть в пещеру и открыли там красоты, на которые теперь считает долгом полюбоваться каждый приезжий. Мы приблизились к ущелью; свод подымался над водою не больше чем на какой-нибудь аршин. Гребец сложил весла, все мы легли на дно лодки, и она, направляемая его рукою, скользнула в темное отверстие. Я услышал глубокий вздох Лары; было в самом деле жутко, но всего одну минуту. Затем мы очутились под обширными сводами пещеры, где все сияло лазурью. Вода под нами горела голубым огнем. Из пещеры не было другого выхода, кроме того маленького отверстия, через которое мы только что проплыли. Яркий солнечный свет, проникавший в него, превращал воду в голубой пламень, который, в свою очередь, бросал сияющий отблеск на стены пещеры. Вот почему все здесь сияло небесной лазурью, вот почему отовсюду как будто струился прозрачный голубой эфир. Капли же, стекавшие с весел, поднятых кверху, сверкали рубинами. Здесь воистину был волшебный мир, царство духов! Лара сложила руки, и я прочел в ее взорах те же мысли, что бродили в эту минуту и у меня. Да, здесь мы встретились с нею когда-то, здесь прятали морские разбойники свои сокровища, зная, что никто не отважится пристать к этому месту! Теперь все сверхъестественное выяснилось, стало действительностью; действительность ведь вообще тесно граничит с сверхъестественным, духовным миром, и наш собственный земной мир со всеми своими явлениями, начиная с произрастания семени цветка и кончая проявлением нашей бессмертной души, лишь ряд чудес. Один человек не хочет признавать этого!

Маленькое отверстие, через которое мы проплыли, светилось яркой звездой; но вот ее заволокло мраком; это вплывали остальные лодки. Скоро иностранцы присоединились к нам. Все были в немом восторге. Протестанты и католики одинаково чувствовали здесь, что в мире есть чудеса.

— Вода прибывает! — сказал один из гребцов. — Надо торопиться, иначе вода запрет выход, и нам придется просидеть здесь, пока опять не наступит отлив.

Лодки наши снова скользнули в темное отверстие, затем вышли в открытое море, и скоро сияющий Лазурный грот остался далеко позади.



ПЕТЬКА-СЧАСТЛИВЕЦ

I

На одной из самых аристократических улиц города стоял роскошный старинный дом. Известка, прежде чем оштукатурить ею стены дома, была смешана с битым стеклом, вот стены теперь и блестели, словно их посыпали алмазами. То-то богатый вид! Да богачи и жили в этом доме. Поговаривали, что коммерсант, владелец его, мог выставить в своей парадной зале хоть две бочки золота. А уж поставить перед дверями комнаты, где родился его маленький сынок, бочонок с золотом вместо копилки, ему и подавно было нипочем. Да, в богатом доме родился наследник, и весь дом, от подвала до чердака, был полон радости. На чердаке-то, впрочем, радовались больше всего: там, часа два спустя, у крючника и его жены тоже появился малютка. Послал его на свет Господь Бог, принес в дом аист, а добрым людям представила мамаша. Здесь тоже перед дверью стоял бочонок, только не с золотом, а с сором.

Богатый коммерсант был человек благомыслящий, честный; жена его, изящная нарядная барыня, была набожна и добра к бедным; поэтому все радовались их счастьем и поздравляли их с сынком, которому теперь оставалось только расти, умнеть да богатеть, как папаша. Малютку называли при крещении Феликсом; это латинское имя и значит оно «счастливый». Что ж, он и впрямь был счастлив, а родители его и еще того больше.

Крючник был славный малый, жена его честная, работающая женщина, и все, кто только знал их, любили их. А уж как они радовались на своего новорожденного малютку — Петьку!

Обоим мальчикам — и жильцу бельэтажа, и обитателю чердака выпало на долю одинаковое число материнских поцелуев; одинаково же любовно целовало обоих и Божье солнышко. Зато положение их в свете было неодинаково: один сидел пониже, другой повыше. Выше-то сидел Петька — под самую крышей. Петьку кормила грудью сама мать, а Феликса чужая, впрочем, очень честная и добрая женщина, как значилось в ее аттестате. Наследника богача катала в роскошной колясочке разря-

женная мамка, а Петьку носила на руках его собственная мать, не разбирая, в каком была платье — в будничном или в праздничном, и Петьке было ничуть не хуже.

Скоро оба мальчика начали немножко понимать, подросли, выучились показывать ручонками, какие они большие, а потом стали и лепетать. Оба были премилые мальчуганы, оба лакомки и оба избалованы. Когда они стали побольше, обоим доставлял большую радость экипаж коммерсанта. Феликсу и его няне разрешалось садиться рядом с кучером на козлы и смотреть на лошадок, — мальчик при этом воображал, что сам правит ими, — Петьке разрешалось садиться на подоконник и смотреть вниз во двор, когда господа собирались выехать. Когда они скрывались за воротами, он слезал с окна, ставил рядом два стула, запрягал их и отправлялся в путь сам. Вот он так в самом деле был кучером, а это получше, чем только воображать себя им! Словом, обоим мальчуганам жилось отлично, но и тому, и другому пошел уже третий год, прежде чем им удалось в первый раз заговорить друг с другом. Феликса одевали нарядно, в шелк и бархат, в коротенькие панталончики до колен, на английский манер. «У бедняжки, верно, зябнут коленки!» — говорили чердачные обитатели. Петька носил панталоны до самых ступней, но вот как-то они лопнули как раз на коленках, и Петькиным ногам стало так же прохладно, как ножкам разряженного барчука.

Однажды Феликс со своей мамашей собирался выйти за ворота и в самых воротах столкнулся с Петькой и его матерью. «Дай Пете ручку! — сказала сынку барыня. — Ничего, можешь поговорить с ним!» И один сказал: «Петя!», другой: «Феликс!» Да, больше на этот раз они не сказали ничего.

Жена коммерсанта баловала своего сына, а Петьку еще больше баловала его бабушка. Она была уже слаба глазами, но видела в Петьке много такого, чего не видели ни отец, ни мать, ни кто-либо из посторонних. «Голубчик мой пробьет себе дорожку в свете! — говаривала бабушка. — Он ведь родился с золотым яблочком в руке! Я-то разглядела, даром что слаба глазами! Оно и теперь еще блестит тут!» И она целовала пухленькую ладонь внука. Родители ничего такого не видели, сам Петька тоже, но, подрастая, он все охотнее верил этому. «Полно тебе! — говорили ему отец с матерью. — Ведь это бабушка все сказки тебе рассказывает!» Она таки и мастерица была рассказывать! И Петьке никогда не надоедало слушать все одно и то же. Бабушка выучила его также псалмам и молитве «Отче наш». Он заучил ее не как попугай, а со смыслом; бабушка растолковала ему каждое прошение. Особенно заставляли его задумываться слова «хлеб наш насущный даждь нам днесь!» По бабушкиному толкованию для одного «хлеб насущный» означало непременно мягкий, белый хлеб, для другого же — простой черный; одному нужен целый дом с помещениями для служащих, другой живет себе —

не тужит и в маленькой каморке на чердаке. Так-то! Всякий понимает «насущенный хлеб» по-своему!

Петька в хлебе насущном недостатка не знал; жилось ему припеваючи; только не все же быть красным денькам! Пришел тяжелый год войны; потянули сначала молодежь, а там вызвали из запаса и людей постарше. Ушел на войну и Петькин отец, да одним из первых и пал в борьбе с сильнейшим врагом. То-то горя, то-то слез было в чердачной каморке под крышей! Плакала и мать, плакали и бабушка с Петькой, плакали и все соседи, приходившие погоревать со вдовой и вспомнить покойника. Хозяева разрешили вдове остаться в ее жилище первый год даром, а потом за самую ничтожную плату. Бабушка осталась жить с невесткой, которая занялась стиркой на «одиноких шикарных господ», как она выражалась. Петьке и теперь ни в чем не пришлось нуждаться; ел и пил он вволю, а бабушка продолжала угощать его такими удивительными сказками и историями, что он в один прекрасный день сам предложил ей отправиться с ним по белу свету, чтобы потом вернуться домой уже принцем и принцессой в золотых коронах. «Ну, я для этого больно стара! — сказала она. — А тебе надо сначала много-много учиться, вырасти, сделаться большим и крепким и все-таки остаться таким же добрым и милым ребенком, как теперь!»

Петька гарцевал по комнате на палочке с лошадиной головкой; таких лошадок у него была целая пара, но сынку хозяина подарили настоящую живую лошадку, такую маленькую, что ее можно было принять за жеребенка. Петька так и звал ее жеребенком, но она уж вырасти не могла. Феликс катался на ней по двору, а иногда выезжал в сопровождении отца и королевского берейтора и на улицу. Увидав в первый раз эту лошадку, Петька с полчаса и глядеть не хотел на своих: они ведь были не живые. Потом он спросил мать, почему у него нет настоящей лошадки, как у Феликса. Мать ответила: «Феликс живет внизу, возле самой конюшни, а ты высоко под крышей. Нельзя таскать лошадей на чердак! Здесь можно держать только таких, как твои! Ну, и катайся на них!» Петька и принялся кататься — от сундука к печке, от печки к сундуку. Сундук был «большой горой с сокровищами» — там ведь хранились праздничные наряды Петьки и его матери и серебряные монетки, которые мать копила на уплату за квартиру; печка же была «большим черным медведем». Летом он спал, а зимою должен был приносить пользу — согревать комнату и варить обед.

У Петьки был крестный, который навещал их зимой каждое воскресенье. Дела его шли все под гору, говорили о нем мать и бабушка. Сначала он служил в кучерах, но начал выпивать и засыпать на своем посту, а этого не полагается ни часовому, ни кучеру. Потом он сделался извозчиком, возил в карете или на дрожках даже самых шикарных господ, но в конце концов стал мусорщиком и разъезжал от ворот к воротам,

помахивая своею трещоткой: «Тр-тр-тр!» Из домов выходили женщины и девушки с мусорными бочонками и вываливали мусор к нему в телегу. То-то было трескотни, шума, сора и всякой дряни!

Раз Петька сошел вниз во двор; мать его ушла куда-то по делу. Он остановился в воротах и увидел на улице крестного. «Хочешь прокатиться?» — спросил тот. Петька, конечно, хотел, но только до угла. Глаза его так и сияли: он сидел на козлах, и крестный дал ему в руки кнут! Петька проехался на настоящих, живых лошадях, проехался до самого угла! Там его встретила мать; ее эта встреча как будто озадачила: не очень-то ведь приятно увидеть своего сынка на козлах мусорной телеги! Петьке сейчас же пришлось слезть; мать не преминула поблагодарить крестного, но, придя домой, строго запретила Петьке подобные поездки.

Но вот случилось ему опять выйти за ворота. На этот раз на улице не было крестного, который бы соблазнил его прокатиться, но были другие соблазны. Трое уличных мальчишек копались в проточной канавке, отыскивая себе поживу. Частенько им попадалась под руку пуговица или медный грош, но частенько случалось и порезать руки об осколки стекол или наколоться на булавку, как, например, сейчас. Ну, как отстать от других? Петька присоединился к мальчишкам и только что сунулся в канаву, нашел серебряную монетку. На другой день он опять принялся копать вместе с мальчишками, но те-то только перепачкали себе руки, а он нашел золотое кольцо! Когда он, сияя от радости, показал им свою находку, они принялись швырять в него грязью, прозвали его Петькой-Счастливецem и запретили ему впредь рыться в их компании.

За двором дома коммерсанта находилось порожнее место. Почва была сырая, и, чтобы осушить ее и сделать годною для постройки, хозяева разрешили свозить туда сухой мусор. Там его и лежали целые кучи. Крестный часто ездил сюда, но Петька уже не смел кататься с ним. Уличные мальчишки рылись в мусоре, раскапывая кучи кто щепкою, кто прямо голой рукой, — иной раз попадалось и что-нибудь путное! Петьку тоже потянуло сюда, но мальчишки, едва завидели его, закричали: «Убейся, Петька-Счастливец!» Он не послушался, и один из них пустил в него комком земли. Комок ударился об носок деревянного башмака Петьки, рассыпался, и из него выкатилось что-то светленькое. Петька поднял; это было янтарное сердечко. Мальчик побежал с ним домой, а другие и не заметили, что он при всяких обстоятельствах, даже когда в него швыряли грязью, оставался баловнем счастья.

Серебряную монетку, которую он нашел в канаве, спустили в его копилку, а кольцо и сердечко мать решила показать жене коммерсанта, — может быть, их следовало представить в полицию, как найденные вещи? Как обрадовалась барыня, увидев кольцо! Это ведь было ее обручальное кольцо, которое она потеряла три года тому назад. Вот как долго лежало оно в канаве. Петьку щедро наградили за находку; зазвенело у него в

копилке! О янтарном же сердечке барыня отозвалась как о безделушке, которую Петька мог оставить у себя.

Ночью сердечко лежало на комоде, а бабушка лежала в постели. «Что это там горит огоньком, ровно свечка?» — сказала она, встала и увидела, что это светится янтарное сердечко. Да, бабушка хоть и слаба была глазами, а видела-то иногда побольше других! У нее было свое на уме, и утром она продернула в ушко янтарного сердечка крепкий шнурок, а потом повесила сердечко внуку на шейку. «Никогда не снимай его, разве надо будет переменить шнурок! — сказала она мальчику. — И не показывай его другим мальчикам, а то они отнимут его у тебя, и у тебя заболит животик!» Это была единственная болезнь, знакомая Петьке. А в сердечке-то и впрямь была чудесная сила! Бабушка потерла его рукою, потом поднесла к нему соломинку, и та так и прильнула к нему, словно живая!

II

К барчуку приставили гувернера, который учил только его одного, гулял только с ним одним. Петьке тоже не след было оставаться неучем, и его стали посылать в школу. Но там вместе с ним училось множество ребятишек, все они играли вместе, а это куда веселее, чем вечно ходить с одним гувернером. Нет, Петька не поменялся бы с Феликсом.

Петька, как известно, уродился счастливецом, но оказалось, что и крестный его — тоже, хоть его и звали не Петькой. Он выиграл на лотерейный билет, купленный в складчину с одиннадцатью товарищами, целых двести риксдалеров. Конечно, он сейчас же обзавелся приличной одеждой и чувствовал себя в ней отлично. Но счастье коли уж повалит кому, так повалит валом! Крестный вслед за тем получил и новую должность, бросил свою мусорную колесницу и поступил в театр. «Как? Что? — удивилась бабушка. — В театр? Да чем же он там будет?» Подручным машиниста! Да, вот так повышение в чине! Он как будто стал другим человеком. А уж какое удовольствие доставляли ему театральные представления, хоть он и мог глядеть на них только сверху или из-за боковых кулис. Лучше всего были балетные, но они зато и обходились всего дороже, и возни с ними было всего больше, и пожаром они грозили не на шутку: пляска шла ведь и на небе, и на земле. Вот бы поглядеть на все это Петьке! Крестный и пообещал взять его с собою в театр, когда пойдет генеральная репетиция нового балета. Тогда все будут разодеты, все равно как на настоящем представлении, когда уж приходится платить деньги, чтобы полюбоваться на все это великолепие. Балет назывался «Самсон»; филистимляне плясали вокруг него, а он разрушал весь дом, и все вместе с ним погибали. Настоящей беды

от этого произойти, однако, не могло: в театре всегда находились наготове пожарные со всеми своими снарядами.

Петька сроду не видал никакого представления, не то что балета. Его нарядили в праздничное платье, и он отправился с крестным в театр за кулисы. Тут был ни дать ни взять огромный чердак, с какими-то занавесками, ширмами и щелями в полу; всюду горели лампы и свечи, всюду были какие-то узенькие лазейки и ходы, а от них подымались кверху как будто церковные pulpитры; пол был покатый. Петьку усадили, куда следовало, и велели сидеть там, пока все не кончится и за ним не придут. У него было с собою три бутерброда — не проголодается!

Вот вокруг разом посветлело, и откуда ни возьмись появилось множество музыкантов с флейтами и скрипками. На боковые места, где сидел Петька, стали усаживаться люди, одетые, как ходят на улице, а также рыцари в золотых шлемах, прелестные барышни в кисее и в цветах и даже ангелы с крылышками за плечами. Все они усаживались кто вверху, кто внизу. Это были танцовщики и танцовщицы, но Петька-то думал, что это те самые сказочные люди, о которых рассказывала ему бабушка. Потом явилась дама в золотом шлеме и с копьем в руке. Эта была лучше всех! Она зато и глядела на всех свысока и уселась между ангелом и троллем. У Петьки просто глаза разбегались, а самый-то балет еще и не начинался! Вдруг все стихло. Какой-то человек, весь в черном, замахнулся на музыкантов волшебной палочкой, и те заиграли так, что вокруг загудело, и вся стена поднялась кверху. Открылся чудесный сад с цветами, освещенный солнцем. В саду танцевали и прыгали люди. Такого великолепия Петьке и во сне не снилось. Вот явились солдаты, началась война, а потом пир; видел Петька и Самсона, и его невесту. Красивая-то она была красивая, да уж и злая же! Она предала Самсона, филистимляне выкололи ему глаза и заставили вертеть жернов на мельнице, а потом привели его на пир и стали глумиться над ним. Но вот он ухватился за тяжелые столбы, на которых держался потолок, потряс их, и весь дом развалился. Все смешалось в кучу и загорелось чудесными красными и зелеными огнями! Петька просидел бы тут, кажется, всю жизнь, даже если бы съел все свои бутерброды! Он таки и съел их.

Вот было рассказов, когда он пришел домой! Уложить его спать нечего было и думать. Он становился на одну ногу, вскидывал другую на стол («так делала невеста Самсона и все другие барышни»), ходил вокруг бабушкиного кресла, вертя жернов, и наконец опрокинул на себя два стула и подушку, чтобы показать разрушение дома. Изображая действие, он изображал и музыку — разговоров в балете не полагается. Он пел и высоким и низким голосом, и со словами и без слов, не заботясь ни о какой связи, и вышла ни дать ни взять целая опера. Всего замечательнее-то был чудесный, звонкий, как колокольчик, голосок Петьки, но его-то как раз никто и не замечал.

Прежде Петьке хотелось поступить в мальчики в мелочную лавочку, чтобы распоряжаться черносливом и сахарным песком, но теперь он узнал, что есть на свете кое-что получше. То ли дело участвовать в истории Самсона и плясать по-балетному! Что ж, бабушка против этого ничего не имела; многие бедные дети шли этой дорогой и делались честными, уважаемыми людьми. Девочке из своей семьи она бы не позволила пойти этой дорогой, ну а мальчик стоит на ногах тверже, не упадет! «Да там никто и не падал, — сказал Петька, — пока не рухнул весь дом, — тогда уж все попадали!»

III

Петька решил поступить в балет. «Он мне покоя не дает!» — говорила мать. Наконец бабушка пообещала внуку свести его к балетмейстеру, прекрасному господину, владельцу собственного дома, как и коммерсант. Удастся ли и Петьке когда-нибудь добиться того же? Для Господа Бога нет ничего невозможного! А Петька вдобавок родился с золотым яблочком в руке. Счастье, так сказать, было вложено ему прямо в руки; отчего ж бы также и не в ноги? Петька явился к балетмейстеру и сразу узнал его: это ведь был Самсон! Но глаза его ничуть не пострадали от филистимлян. Впрочем, Петька знал, что то была лишь комедия. Самсон ласково поглядел на мальчика, велел ему выпрямиться, вытянуть ногу и показать подъем. Петька показал даже колено. «Ну, вот его и приняли в балет!» — рассказывала бабушка.

Дело было слажено скоро, но еще до того, как свести мальчика к балетмейстеру, мать и бабушка посоветовались с разными сведущими людьми; прежде всего с женой коммерсанта, и та нашла, что это прекрасная дорога для красивого, славного мальчика «без будущего». Потом обратились к девице Франсен; эта знала толк в балете, сама в дни бабушкиной молодости была прелестной танцовщицей, изображала богинь и принцесс и пользовалась почетом всюду, где только бывала. Но вот она состарилась — это ведь наша общая судьба, — и ей перестали давать главные роли; молодежь оттеснила ее, пришлось ей танцевать на заднем плане, а потом и вовсе стушеваться, перейти в уборную наряжать других богинями и принцессами. «Так-то оно идет на свете! — говаривала девица Франсен. — Дорожка актера веселая, но поросла терниями и интригами! Ух какими интригами!» Этого слова Петька еще не понимал, но скоро просветился на этот счет.

— Он во что бы то ни стало хочет в балет! — сказала мать.

— Он набожный, честный мальчик! — добавила бабушка.

— И прекрасно сложен! — подхватила девица Франсен. — Прекрасного сложения и хорошей нравственности! Да, поблистала в свое время и я!

Петька стал ходить в школу учиться танцевать по-балетному. Ему выдали особое легкое летнее платье и башмаки на тонких подошвах, чтобы легче было двигаться и прыгать. Старые танцовщицы целовали его и говорили, что он просто сахарный мальчик.

И вот заставили Петьку держаться в струнку, вывертывать носки наружу, стоять на одной ноге и размахивать другою, держась за палку, чтобы не упасть. Все это давалось ему легче, чем многим из его товарищей; балетмейстер трепал его по плечу и обещал скоро выпустить на сцену. Петька должен был изображать принца: на него наденут золотую корону, и солдаты поднимут его на щит. Балет сначала репетировали в школе, а потом и на сцене.

Как было матери и бабушке не пойти в театр полюбоваться на Петьку во всем его блеске! Они и пошли, видели его, и обе прослезились, хотя зрелище было самое веселое. Петька с высоты своего величия и не видел их, зато видел коммерсанта с его семьей. Они сидели в крайней ложе у самой сцены. Феликса тоже взяли в театр; он был такой нарядный, в перчатках на пуговках, как у взрослых, и с биноклем в руках. Он весь вечер смотрел в него, точно большой, хотя и без того видел отлично. Петька смотрел на Феликса, Феликс на Петьку, а Петька-то сегодня был принцем, в короне! Благодаря этому вечеру мальчики несколько сблизились.

Дня через два-три они встретились у себя на дворе; Феликс подошел к Петьке и сказал ему, что видел его, когда он был принцем. Феликс знал, конечно, что теперь-то Петька не принц больше, но все-таки он был принцем, носил корону! «В воскресенье я опять ее надену!» — сказал Петька. Этого представления Феликс уже не видел, но продумал о нем весь вечер. Хотелось бы ему быть на Петькином месте! У него ведь еще не было за плечами жизненного опыта девицы Франсен, знавшей, что на дороге артиста растут интриги. Не знал еще этого и Петька, но ему-то скоро пришлось узнать. Маленькие его товарищи, ученики и ученицы балетной школы, не отличались добротой, даром что часто носили за плечами ангельские крылья. Одна маленькая девочка, Малле Кналлеруп, играя пажа, вечно наступала пажу Петьке на ногу и пачкала чулок, а один злой мальчик постоянно колол его сзади булавкой и раз даже съел его бутерброд — будто бы по ошибке. А какая тут могла быть ошибка, если Петька принес бутерброд с котлеткой, а тот один хлеб без всего? Да и не перечесть всех обид, что пришились на Петькину долю за эти два года! Но самое-то худшее было все-таки впереди.

Поставили балет «Вампир»; участвовавшие в нем дети были одеты летучими мышами — в серых трико, плотно облегавших тело, и с черными бархатными крылышками за плечами. Детям велено было подражать полету летучих мышей, бегая на цыпочках или кружась волчком на месте. У Петьки это выходило особенно хорошо. Но трико, что досталось ему,

было уже старо и ветхо, не выдержало и лопнуло на нем как раз в то время, когда он кружился изо всех сил; образовалась прореха от самой шеи до того места, где у человека прикреплены ноги. Из прорехи выставлялся кончик куцей Петькиной рубашки. Зрители покатались со смеху. Петька понял почему, почувствовал, что лопнул сзади, но не остановился, а продолжал кружиться. Дело, однако, шло все хуже и хуже, зрители хохотали все громче и громче, другие вампиры тоже. В голове у Петьки кружилось, сам он кружился, а публика аплодировала и кричала «браво». «Это они вызывают вампира с прорехой!» — сказали другие дети и с тех пор так и прозвали Петьку — Петькой с прорехой. Петька плакал, девица Франсен утешала его. «Это все интриги!» — говорила она. Теперь Петька узнал, что такое интриги.

Кроме танцкласса, ученики театральной школы посещали еще научные классы, где их учили письму, счету, истории, географии и Закону Божию: на одних танцах да топтании балетных башмаков далеко ведь не уйдешь! Петька и тут учился прилежно, прилежнее всех, и его хвалили, но товарищи продолжали звать его Петькой с прорехой. Конечно, это была шутка, но под конец Петька не вытерпел, стал отражать насмешки кулаками и раз поставил одному из мальчиков такой синяк под глазом, что шалуну пришлось замазывать его мелом, когда надо было выступать вечером в балете. Учитель сильно рассердился на Петьку, а еще пуще рассердилась на него метельщица полов: Петька ведь отмел этак именно ее сынка.

IV

Голова у Петьки все работала да работала, и вот в одно прекрасное воскресное утро, разряженный в лучшее свое платье, не сказавшись ни матери, ни бабушке, ни даже девице Франсен, которая вообще всегда снабжала его хорошими советами, он отправился прямо к капельмейстеру. Петька думал, что тот самый главный после балетмейстера. Смело вошел Петька и заговорил:

— Я учусь в балетной школе, но там столько интриг, что мне бы лучше хотелось в актеры или в певцы — как вам будет угодно.

— А есть у тебя голос? — спросил капельмейстер, ласково глядя на него. — Лицо твое что-то знакомо мне. Где же это я видел тебя? Постой, это не ты ли тогда лопнул? — И капельмейстер рассмеялся. Петька покраснел, что маков цвет. Нет, право, он уж больше не Петька-Счастливец, как прозвала его бабушка! Он потупился, разглядывая свои собственные ноги и желая одного — поскорее убраться отсюда. — Ну, спой же что-нибудь! — продолжал капельмейстер. — Да смелее! — Он взял мальчика за подбородок, Петька взглянул в его ласковые глаза



и запел арию из оперы «Роберт», слышанную им в театре: «Сжался надо мною!» — Это трудненько, но ничего, идет! — сказал капельмейстер. — У тебя прелестный голос, только бы и он не лопнул! — Тут он опять засмеялся и позвал свою жену; послушала и она Петьку, покачала головой и сказала мужу что-то на иностранном языке. Как раз в это время в комнату вошел хормейстер. Вот к кому следовало обратиться Петьке, раз он хотел в певцы. К счастью, хормейстер пришел сюда сам, случайно, как говорится. Он тоже послушал «Сжался надо мною!», но не засмеялся и не смотрел на Петьку так ласково, как капельмейстер и его жена. Тем не менее было решено, что Петька будет учиться пению.

— Ну, теперь он на верной дороге! — сказала девица Франсен. — Голос вывезет лучше, чем ноги! Будь-ка у меня в свое время голос, я бы стала знаменитой певицей и, пожалуй, даже баронессой!

— Или переплетчицей! — вставила бабушка. — Будь вы богаты, вы бы все-таки вышли за переплетчика! — Нам-то этот намек непонятен, но девица Франсен его поняла.

Петьке пришлось петь и перед нею, и перед семейными коммерсанта, когда те узнали о новой дороге, на которую он попал. Петьку позвали к господам вечером, когда у них были гости. Он спел много песен, спел и «Сжался надо мною!». Гости аплодировали. Феликс тоже. Он уже слышал Петьку раньше: раз в конюшне Петька спел ему весь балет «Самсон», и это было лучше всего! «Балет нельзя спеть!» — заметила мать. «А вот Петька спел!» — настаивал Феликс. Петьку попросили показать свое искусство, и уж он и пел, и говорил, и барабанил, и гудел!.. Все это выходило по-детски, но из общего сумбура то и дело выделялись отрывки знакомых мотивов, которые недурно объясняли содержание балета. Гости были очень довольны, смеялись и наперерыв хвалили Петьку. Хозяйка дала Петьке большой кусок торта и серебряный далер.

Как счастлив был Петька, пока ему не попался на глаза господин, стоявший несколько поодаль и серьезно наблюдавший за ним. Его черные глаза смотрели на Петьку так жестко, сурово; он не смеялся, не аплодировал. И это был как раз сам хормейстер! На следующее утро Петька должен был явиться к нему на первый урок; учитель посмотрел на Петьку так же строго и сурово, как вчера.

— Что это с тобой сделалось вчера? — сказал он мальчику. — Ты не понимал разве, что играл там шута? Не делай этого больше, не ходи петь по чужим дворам! Теперь ступай! Сегодня я не стану заниматься с тобой!

Петька пошел как в воду опущенный — учитель рассердился на него! Напротив, никогда еще тот не был так расположен к нему: в мальчишке, пожалуй, таился гений; как ни сумбурно было все, что он вчера там нес, в общем все-таки был какой-то смысл, что-то необыкновенное. Бесспорно,

у него большие способности к музыке, а голос его чист и звонок, как колокольчик, и большого объема. Не изменит он Петьке, счастье маленького человечка упрочено.

Начались уроки пения. Петька старался, у Петьки был талант. А сколько надо было учиться, сколько надо было знать! Мать работала не покладая рук, стараясь прилично содержать и одевать сына, чтобы он не смотрелся замарашкой в обществе, где стал теперь бывать. А он вечно был весел, вечно пел. «И канарейки держать не надо», — говорила мать. По воскресеньям он пел с бабушкой псалмы. Как чудесно покрывал его свежий голосок ее старческий голос! «Вот это не то что петь без толку!» — говорила бабушка. А без толку он пел, по ее мнению, когда выделял голосом разные трели, заливался на все лады, словно птица, словом, давал звукам, вырывавшимся из груди, полную волю. И что за переливы слышались тогда в его маленьком горлышке, что за звуки лились из его груди! Да, он мог изобразить хоть целый оркестр! Голос его напоминал и флейту, и фагот, и скрипку, и валторну, мог он петь и как птицы, но голос самого человека, хотя бы даже такого маленького, если только он поет, как Петька, все-таки лучше всего.

Но вот зимою Петька стал ходить к священнику готовиться к конфирмации и простудился. Птичка, что сидела в его груди, пискнула и умолкла, голос лопнул, как трико вампира. «Беда не велика! — сказали мать с бабушкой. — Перестанет петь без толку и лучше займется у священника». Учитель объяснил, что теперь у Петьки голос ломается и что ему поэтому совсем не следует петь. Долго ли? Год, пожалуй, два, а пожалуй, голос и не вернется вовсе. То-то горе! «Теперь надо думать только о конфирмации!» — твердили мать и бабушка. «Продолжай заниматься музыкой, но держи рот на запоре!» — твердил учитель пения. И Петька думал о конфирмации и занимался музыкой. А внутри у него так и пело, так и звучало! И он стал записывать эти мелодии на нотную бумагу; сначала одни мелодии, без слов, а потом стал сочинять к ним и слова. «Да ты поэт, Петруша!» — сказала жена коммерсанта, когда он однажды поднес ей сочиненные им текст и музыку. Самому коммерсанту Петька посвятил песню без слов; того же удостоился и Феликс, и даже девица Франсен. Произведение Петьки заняло место в ее альбоме, где были и стихотворные, и музыкальные произведения, посвященные ей двумя некогда молодыми лейтенантами, а ныне старыми отставными майорами. Самый альбом был подарен «другом», который даже собственноручно и переплел его. На Пасхе Петька конфирмовался. Феликс подарил ему серебряные часы. Это были первые Петькины часы, и он, получив их, сразу почувствовал себя большим: полно теперь узнавать время по чужим часам! Феликс сам поднялся на чердак поздравить Петьку и подарить часы; его собственная конфирмация была отложена до осени. Мальчики протянули друг другу руки. Оба выросли под одной крышей,

оба были ровесниками, родились в один и тот же день и в одном и том же доме. Феликса угостили пирожным, испеченным на чердаке по случаю Петькиной конфирмации. «Это радостный и важный день!» — сказала бабушка. «И еще какой важный! — подтвердила мать. — Вот бы дожил до этого отец!»

В следующее воскресенье все трое пошли к причастию. Когда они вернулись, им сказали, что за Петькой присылал учитель пения; Петька сейчас же поспешил к нему. Веселые и в то же время важные новости ждали его там. Пением ему было запрещено заниматься целый год, голос надо было оставить «под паром», как выражается крестьянин о пашне, и за этот год Петька должен был научиться многому, но не здесь в столице, где он каждый вечер бегал бы в театр, а в провинции, в тридцати милях отсюда. Его хотели поместить на полный пансион к одному учителю, у которого было еще несколько таких же учеников-пансионеров. У него Петька будет учиться языкам и наукам, которые ему впоследствии пригодятся. Годовая плата за учение и содержание равнялась тремстам долларам, и ее взялся вносить «неизвестный благодетель». «Это коммерсант!» — сказали мать и бабушка.

Настал день отъезда. Пролито было много слез, роздано и получено много поцелуев и благословений, и вот Петька покатил по железной дороге далеко-далеко, за тридцать миль от родины! Время было около Троицы. Солнышко сияло, лес стоял в свежем зеленом уборе; поезд промчался через лес, потом замелькали поля, деревни, барские усадьбы и пастбища со скотом. Вот, наконец, и станция, за ней другая, город за городом. На каждой станции толкотня и суматоха встречающих и провожающих пассажиров; шум, говор. В вагоне, где сидел Петька, не умолкала трескотня одной вдовушки в трауре. Она все говорила о «своей могиле», о «своем гробе», о «своем теле», то есть о могиле, гробе и теле своего ребенка. Он, по ее словам, был такой хилый, несчастненький, что мало было бы радости, если бы он выжил. Своею смертью бедный ягненок прямо развязал ей руки — и ему, и ей теперь лучше!

— Уж я не пожалела для такой okazji цветов! — тараторила она. — А ведь умер-то он в самую дорогую пору! Их приходилось доставать из оранжерей! Каждое воскресенье я отвозила на свою могилу свежий венок с большой шелковой лентой. Ленту-то сейчас же похищали девчонки на косоплетки. Еще бы не соблазниться! Но вот прихожу это я раз и гляжу — моя могила направо, а я знаю, что она всегда была налево от главной аллеи! «Это что? — говорю я сторожу. — Разве моя могила не налево?» — «Никак нет! — отвечает он. — Тело-то ваше, сударыня, лежит налево, но насыпь перенесена направо; место-то оказалось чужое». — «Но я хочу, чтобы мое тело лежало в моей могиле! — говорю я, и я имела полное право говорить так. — Что ж я буду ходить и украшать одну насыпь, а мое тело будет лежать по другую сторону без всякого знака? Не хочу я этого!» —

«Так извольте, сударыня, поговорить с пробстом!» — говорит мне сторож. Ну, пробст оказался премилым господином! Он разрешил перенести мое тело направо, если я заплачу за это пять риксдалеров. Я заплатила с удовольствием и опять обрела свою могилу. «Но могу я быть уверена, что вы перенесли именно мой гроб и мое тело?» — спрашиваю я у могильщиков. «Можете, можете, сударыня!» — сказали мне они, и я дала каждому еще по марке за труды. Ну, потратив столько, я решила, что надо предпринять что-нибудь и для украшения могилы, и заказала памятник с надписью. И представьте себе, получаю его и вижу: на самом верху изображена бабочка! «Да ведь это знак легкомыслия!» — говорю я. — Я не хочу ничего такого на своей могиле!» — «Нет, сударыня, это знак бессмертия!» — говорят мне. «Сроду не слыхивала!» — говорю я. Ну, а из вас, господа, слыхал кто-нибудь, что бабочка означает что-либо кроме легкомыслия? Ну, однако, я замолчала, — я не люблю много разговаривать, а взяла да и велела поставить памятник в чулан. Там он и стоял, пока не вернулся домой мой жилец-студент. У него пропасть книг! Он подтвердил, что бабочка — бессмертие, и памятник отправился на свое место!

Под такие-то разговоры Петька доехал до места назначения, где ему следовало сделаться таким же умным, как студент, у которого было пропасть книг.

V

Господин Габриэль, уважаемый ученый, принявший Петьку к себе пансионером, лично встретил мальчика на станции. Это был худой, как скелет, господин, с большими блестящими глазами навывкате; когда он чихал, за них просто страшно становилось: того и гляди выскочат. Господина Габриэля сопровождали трое маленьких сыновей его. Один все спотыкался о свои собственные ноги и падал, а двое других наступили на ноги Петьке, чтобы лучше рассмотреть его. Кроме того, с господином Габриэлем пришли еще двое мальчиков; старшему, бледному, веснушчатому и прыщавому, было на вид лет четырнадцать.

— Это юный Массен, через три года студент, если займется! А это Примус, сын пробста! — отрекомендовал их господин Габриэль. Примус был похож на сдобную пышку. — Оба они мои пансионеры! А это — домашний скарб! — закончил он, указывая на сыновей. — Трина, поставь чемодан вновь прибывшего на тачку! Обед вам оставлен дома!

— Фаршированная индейка! — закричали оба пансионера.

— Фаршированная индейка! — подхватил «домашний скарб», и один из них опять растянулся, запнувшись о собственные ноги.

— Цезарь, гляди себе под ноги! — изрек господин Габриэль, и все пошли сначала в город, а потом дальше за город. У дороги стоял большой

ветхий дом, перед которым красовалась беседка из жасмина. В беседке поджидала мужа сама госпожа Габриэль с остальным «домашним скарбом», двумя маленькими девочками. — Вот новый ученик! — сказал господин Габриэль.

— Добро пожаловать! — отозвалась его супруга, моложавая, полная, белая, румяная и обильно напмаженная женщина, с колечками из волос на висках. — Господи, да вы совсем взрослый! — прибавила она. — Настоящий мужчина! А я думала, что вы вроде Примуса или Массена. Голубчик Габриэль, ведь хорошо, что мы забили среднюю дверь. Ты знаешь мои взгляды!

— Чепуха! — сказал господин Габриэль, и все они вошли в комнату. На столе лежал раскрытый роман, а на нем, поперек страницы, словно вместо закладки, бутерброд.

— Теперь позвольте мне быть хозяйкой! — С этими словами госпожа Габриэль, в сопровождении своих пятерых ребят и двух пансионеров, повела Петьку через кухню и коридор в маленькую комнатку с окном в сад. В этой комнатке Петька должен был спать и учиться; она примыкала к комнате госпожи Габриэль, где та спала вместе с детьми, но дверь, соединявшая эту комнату с Петькиной, была сегодня утром заколочена самим господином Габриэлем; этого потребовала во избежание сплетен, которые никого не щадят, его супруга. — Здесь вы заживете, как у своих родителей! Театр у нас в городе тоже есть. Аптекарь наш стоит во главе общества актеров-любителей; заезжают к нам и настоящие артисты. Но теперь пора вам приняться за свою индейку! — И хозяйка повела Петьку в столовую, где сушилось на протянутых веревках мокрое белье. — Это ведь никому не мешает! — сказала она. — И делается это только ради чистоты, а вы к ней, конечно, привыкли. — Петька принялся за индейку, двое пансионеров удалились, а дети хозяйки, ради удовольствия приезжего и своего собственного, стали давать драматическое представление.

В городе недавно играла заезжая труппа. Давали между прочим «Разбойников» Шиллера. Двое старших мальчиков до того увлеклись пьесой, что сейчас же разыграли ее дома всю целиком, хотя и запомнили из всех ролей только слова: «Сны зависят от желудка». Слова эти каждый из детей повторял на свой лад и со всевозможными интонациями. Амалия мечтательно подымала глаза к небу и говорила: «Сны зависят от желудка!», а затем закрывала лицо руками; Карл Моор выступал геройскими шагами и мужественно восклицал: «Сны зависят от желудка!», затем вбегали все пятеро детей зараз и принимались избивать друг друга, в качестве разбойников, крича: «Сны зависят от желудка!» Вот так было представление! Итак, вступление Петьки в дом господина Габриэля было ознаменовано фаршированной индейкой и представлением «Разбойников». Затем Петька отправился в свою комнатку; окошко с выжженными сол-

нцем стеклами было обращено в сад. Петька подсел к окну и стал смотреть в него. По саду разгуливал господин Габриэль, углубленный в чтение какой-то книги. Вдруг он подошел к окну и, казалось, пристально посмотрел на Петьку. Мальчик почтительно поклонился, а господин Габриэль широко разинул рот, высунул язык и стал повертывать им во все стороны прямо перед носом перепуганного Петьки. Мальчик в толк не мог взять, за что так с ним обращаются. Наконец господин Габриэль отошел было, но затем опять вернулся к окну и опять высунул язык. Зачем он это проделывал? Да он и не думал дразнить Петьку, а еще меньше думал о том, что стекла прозрачны; он только пользовался тем, что они отражают, как зеркало, и старался рассмотреть свой язык; господин Габриэль страдал желудком. Петька же ничего этого не знал.

Господин Габриэль рано вернулся в свою комнату. Петька сидел в своей. Вот уж и поздний вечер. Вдруг он услышал в комнате госпожи Габриэль женскую перебранку.

— Я пойду и скажу господину Габриэлю, какие вы дуры!

— А мы пойдем и скажем ему, какова сама барыня!

— Ах, со мной истерика сделается!

— Кому охота поглядеть на барынину истерику? Четыре гроша за вход!

Тон хозяйки понизился, но слова стали раздаваться явственнее:

— И что подумает о нашем доме молодой человек? Этакая неотесанность! — И перебранка стихла, но затем опять возобновилась. — *Punctum funalis!* — закричала хозяйка. — Ступайте готовить пунш! Худой мир лучше доброй ссоры! — Все смолкло; хлопнула дверь; девушки ушли, а хозяйка постучала в дверь к Петьке. — Молодой человек! Теперь вы имеете понятие о том, каково быть хозяйкой! Благодарите Бога, что вы не держите прислуги. Я желаю мира и спокойствия и вот угощаю их пуншем! Я бы с удовольствием угостила и вас — после этого так хорошо спится! Но позже десяти часов никто не смеет ходить по коридору; так желает Габриэль. Ну да пунш-то вы все-таки получите! В двери большая заткнутая дырка; я ототкну ее и просуну в нее конец воронки, вы поставите под него свой стакан, и я налью вам пунша. Но это надо держать в строгом секрете даже от Габриэля, его нельзя будировать домашними дразгмами. — И Петька угостился пуншем; в комнате хозяйки водворилась тишина, во всем доме тоже. Петька улегся, вспомнил про мать и бабушку, прочел вечернюю молитву и заснул.

Бабушка говорила, что первый сон на новом месте имеет особенное значение, а Петьке снилось, что он взял свое янтарное сердечко, которое все еще носил на груди, посадил его в цветочный горшок, и из него выросло высокое дерево, которое затем проросло через потолок и через крышу. На нем росли тысячи золотых и серебряных сердец. Наконец горшок лопнул, и в нем уже не оказалось никакого сердечка — одна

земля, прах. Тут Петька проснулся. Сердечко по-прежнему висело у него на груди, такое тепленькое-тепленькое, согретое теплотою его собственного сердца.

VI

Первый урок у господина Габриэля начинался рано утром; занимались французским языком. За завтраком сидели только пансионеры, дети и сама хозяйка. Она пила в это время свой «второй» кофе; первый ей всегда подавали в постель.

— Это так здорово — пить кофе в постели, если имеешь расположение к истерике! — говорила она. Она спросила у Петьки, какой у него был сегодня урок.

— Французский! — ответил он.

— О, это дорогой язык! — сказала она. — Это язык дипломатов и аристократов. Я не училась ему в детстве, но в сожителстве с ученым мужем многому научишься так же хорошо, как будто училась этому с малолетства. Все необходимые слова я знаю и думаю, что сумею *скомпрометировать* себя в любом обществе!

Замужество с ученым мужем доставило госпоже Габриэль еще иностранное имя. Крестили ее Меттой в честь одной тетки, все богатства которой должны были перейти к ней по наследству. Ну, имя-то перешло, а наследство-то нет, и господин Габриэль стал звать свою супругу «Мета», что значит по-латыни «цель». На всем ее белье красовалась метка М. Г., т. е. Мета Габриэль, но остроумный пансионер Массен принял их за отметку «*meget godt*» («очень хорошо») и добавил к ним чернилами большой вопросительный знак на всех скатертях, носовых платках и простынях¹.

— Вы разве хозяйку нашу не любите? — спросил Петька, когда юный Массен посвятил его в свою остроумную выдумку. — Она такая ласковая, а господин Габриэль такой ученый.

— Она лгунья, — сказал юный Массен, — а господин Габриэль негодяй! Был бы я капралом, а он рекрутом, я бы так отстегал его! — И лицо юного Массена приняло какое-то кровожадное выражение, губы стали еще тоньше, а все лицо обратилось как бы в одну сплошную веснушку.

Петьку дрожь пробрала от таких ужасных слов, а юный Массен считал себя правее правого, рассуждая: «Разве не жестоко со стороны

¹ В датских школах отметки выражаются не цифрами, а буквами, как-то: *ug.* (*udmerket godt*, т. е. отлично), *mg.* (*meget godt*, т. е. очень хорошо) и т. д. Вопросительный же знак соответствует минусу. — *Примеч. перев.*

родителей и учителей заставляя человека терять свои лучшие годы, свою золотую молодость, зубря грамматику и никому не нужные имена и числа вместо того, чтобы наслаждаться свободой, дышать полной грудью, бродить с ружьем за плечами, как настоящий охотник! То-то было бы раздолье! Так нет, знай сиди взаперти и зевай над книгой по приказу господина Габриэля, терпи упреки в лениности и получай дурные отметки, о которых еще отписывают родителям! Как же после этого господин Габриэль не негодай?!»

— И он дерется линейкой! — подхватил Примус, по-видимому, вполне согласный с Массеном. Невесело было Петьке слушать такие речи. Но ему не пришлось отведавать линейки — он был почти мужчина на вид, как сказала хозяйка; не бранили его и за лень — он не ленился. С ним стали заниматься отдельно, и скоро он перегнал и Массена и Примуса.

— У него есть способности! — говорил господин Габриэль.

— И видно, что он прошел балетную школу! — прибавляла хозяйка.

— Надо залучить его в наше общество! — сказал аптекарь, который больше интересовался любительским кружком города, нежели своей аптекой. Злые языки повторяли про него старую, избитую остроту: «Его укусил бешеный актер, оттого он с ума и сходит по театру!» — Он просто рожден «первым любовником»! — продолжал аптекарь. — Года через два из него выйдет такой Ромео! Да я думаю, если хорошенько загримировать его да приделать ему усики, он и нынешней зимой отлично сыграет Ромео.

Юлию должна была играть дочка аптекаря, большой драматический талант, по словам отца, писаная красавица, по словам матери. Госпожа Габриэль могла сыграть кормилицу, а сам аптекарь, исполнявший обязанности и директора и режиссера, хотел взять на себя роль аптекаря; она хоть и маленькая, но первой важности. Все зависело теперь от позволения господина Габриэля. Разрешит ли он Петьке играть? Надо было постараться «обойти» его через госпожу Габриэль, а для этого требовалось сначала умаслить ее. Ну, на это-то аптекаря было взять!

— Вы просто рождены для роли кормилицы! — говорил он, искренно воображая, что этим страсть как льстит ей. — Это, собственно говоря, самая здоровая роль в пьесе! И веселая роль! Без нее нельзя было бы досмотреть пьесу — такая она печальная! А в вас, madame Габриэль, так и бьют ключом нужные живость и веселость!

В глазах госпожи Габриэль аптекарь был вполне прав, но она сильно сомневалась, чтобы муж ее позволил своему воспитаннику потратить хоть чуточку времени на разучивание роли и участие в спектакле. Тем не менее она обещала постараться «обойти» мужа, и аптекарь немедленно принялся за изучение своей роли. Особенно озабочивал его грим; он хотел явиться настоящим скелетом, олицетворенной нищетой и убожеством

и все-таки порядочным человеком. Задача трудная! Но куда труднее было госпоже Габриэль «обойти» мужа. В самом деле, как ему было оправдаться перед лицами, поместившими к нему Петьку и платившими за его ученье, если он позволит мальчику играть в трагедии? Не скроем, впрочем, что сам-то Петька сгорал желанием играть.

— Но господин Габриэль не позволит! — говорил он.

— Позволит! — утешала его хозяйка. — Погодите, я обойду его! — Она бы охотно прибегла к пуншу, да вот беда, господин Габриэль недолюбливал пунша! Супруги часто не сходятся вкусами, не в обиду будь сказано госпоже Габриэль. «Один стаканчик, не больше! — говаривала она. — Это подымает дух, веселит человека, а таким ему и велел быть Господь Бог!»

Петька должен был играть Ромео; хозяйке таки удалось «обойти» супруга. У аптекаря состоялась считка, был подан шоколад и «гении», то есть чайное печенье особого сорта. Эти крендельки продаются в булочных по скиллингу за дюжину. Они такие крохотные и подаются обыкновенно в таком изобилии, что название их «гениями» стало ходячей остротой.

— Насмехаться-то легко! — замечал господин Габриэль, а сам раздавал насмешливые прозвища направо и налево. Дом аптекаря он прозвал «Ноевым ковчегом с чистыми и нечистыми животными». И это за то только, что там очень любили домашних животных, принятых как бы в состав семьи. У барышни была прелестная кошечка Грациоза, с пушистой, мягкой шерсткой. Киска располагалась отдыхать то на подоконнике, то на коленях, то на чем-нибудь рукоделии, а то так бегала по накрытому обеденному столу. У самой аптекарши был птичий двор с утками и курами, канарейки и попугай. Попка мог перекричать всех остальных птиц вместе. Кроме того, по комнатам расхаживали две собаки, Флик и Флок, и, хотя от них совсем не благоухало, валялись и по дивану, и по супружеской постели.

Считка началась и шла вполне благополучно, если не считать маленького перерыва, вызванного тем, что одна из собак ослюнявила новое платье госпожи Габриэль. Но, конечно, она хотела только приласкаться к гостю, да и пятен на платье не осталось! Кошка тоже несколько мешала чтению; ей непременно хотелось подать лапку исполнительнице роли Юлии, усесться ей на голову и помахивать хвостиком. И Юлия делила свои нежные речи между кошкой и Ромео. А Петьке по своей роли приходилось говорить дочке аптекаря как раз то, что он бы и желал сказать ей. Как она была мила, трогательна, «истое дитя природы», и «вполне шла рядом со своею ролью», как выражалась госпожа Габриэль. Петьку просто в жар бросало от всего этого. Кошка же проявила кое-что даже повыше инстинкта, усевшись на плечо Петьке и таким образом наглядно изображая симпатию между Ромео и Юлией. С каждой репетицией сердечность

отношений становилась яснее и полнее, кошка доверчивее, попка и канарейки крикливее; Флик и Флок носились как угорелые.

Настал и день спектакля; Петька был вылитым Ромео и поцеловал Юлию в самые губки.

— Как нельзя более естественно! — заявила госпожа Габриэль.

— Бесстыдник! — проворчал советник, господин Свенсен, первый богач и первый толстяк в городе. От жары в комнате и от внутреннего жара пот лил с него градом. Петька не приглянулся ему. — Этакый щенок! — отозвался про него толстяк. — Да еще такой длинный, что, переломи его пополам, выйдут два щенка!

Итак, большой успех и только один враг! Петька и тут оказался Петькой-Счастливецем!

Усталый, ошеломленный массой новых впечатлений, добрался он до своей комнатки. Было уже за полночь. Госпожа Габриэль постучала в стену:

— Ромео! У меня есть пунш! — В дырку просунулась воронка, и Петька-Ромео подставил под нее стакан.

— Покойной ночи, госпожа Габриэль! — Но сам-то Петька заснуть не мог. В ушах у него не переставали раздаваться слова, сказанные им сегодня Юлии, в особенности же — услышанные от нее. Во сне ему даже приснилось, что он женится... на девице Франсен! Чего-чего только не приснится иной раз человеку!

VII

— Теперь все эти театральные представления побоку! Надо приналечь на науку! — сказал на следующее утро господин Габриэль, и Петька уже готов был согласиться с юным Массеном, негодовавшим на необходимость терять золотую юность, сидя взаперти за книжкой. Но когда он уселся за нее, он нашел в ней столько нового и хорошего, что весь ушел в нее. Сколько интересного узнал он о великих людях, об их подвигах! А ведь многие из них родились в бедности! Герой Фемистокл был сыном горшечника; Шекспир, бедный ученик ткача, молодым человеком сторожил лошадей перед дверьми театра, где впоследствии стал могущественным повелителем, царем поэтов и драматургов всех стран и времен! Узнал Петька и о состязаниях певцов в Вартбурге, и о состязаниях древнегреческих поэтов на больших народных празднествах. О последних господин Габриэль рассказывал особенно охотно. Софокл написал лучшую свою трагедию на старости лет, завоевал пальму первенства, и сердце его разорвалось от радости под гром восторженных рукоплесканий. Какая блаженная смерть! Умереть в момент высшего торжества, упоения славой, что может быть лучше? Мечты, одна смелее другой,

увлекали нашего молодого друга, но ему не с кем было поделиться ими. Ведь ни юный Массен, ни Примус, ни даже сама госпожа Габриэль не поняли бы его. Последняя вечно переходила из одного настроения в другое: или была бесконечно весела, или заливалась горячими слезами. Девчурки ее удивленно таращились на нее; ни они, ни Петька ума приложить не могли, с чего бы это она так убивалась? А она говорила: «Бедные девочки! Мать только и думает о вашем будущем. Мальчики, те пробьются сами! Цезарь, правда, все падает, но опять встает! Двое старших вечно плещутся в лохани, верно, будут моряками и тогда, конечно, сделают хорошие партии, но с бедными девочками что станется? Войдут в возраст, сердечко заговорит, и я уверена, что выбор их не придется по вкусу Габриэлю! Он захочет выдать их за таких женихов, на каких они и глядеть не захотят, и вот они будут несчастны. Вот о чем сокрушается материнское сердце! Бедные мои девочки! Вы будете такие несчастненькие!» И она опять заливалась слезами. Девочки глядели на нее, Петька тоже — и мало-помалу сам настраивался на грустный лад; не зная, однако, что сказать ей в ответ, он скоро уходил в свою комнатку, садился за старые клавикорды и уносился в мир музыкальных фантазий, выливавшихся у него прямо из души.

Ранним утром со свежей головой он принимался за свои занятия, исполняя свой долг перед теми, кто платил за него. Он был добросовестный, благоразумный мальчик; изо дня в день вел он в своем дневнике запись о пройденных уроках, обо всем прочитанном и о том, как поздно засиделся накануне за клавикордами, наигрывая как можно тише, чтобы не разбудить госпожу Габриэль. И только по воскресеньям, в дни отдыха, в дневнике попадались такие заметки: «думал о Юлии», «был у аптекаря», «проходил мимо аптеки», «писал матери и бабушке». Петька все еще оставался и Ромео, и добрым сыном. «Удивительное прилежание! — говорил господин Габриэль. — Берите с него пример, юный Массен. Вы ведь провалитесь!» «Негодяй!» — мысленно аттестовал своего учителя юный Массен.

Примус, сын пробста, страдал сонливостью. «Это болезнь! — уверяла его мамаша. — С ним нельзя быть строгим!» Пробст с семьей жил всего в двух милях от господина Габриэля; дом у них был полная чаша; жили они широко. «Вот помяните мое слово, пробст умрет епископом! — говорила госпожа Габриэль. — У него такие союзы при дворе, да и жена его из знатного рода, знает наизусть всю герольдику!»

Опять пришла Троица; прошел целый год с тех пор, как Петька поселился в доме господина Габриэля. За это время он приобрел много познаний, но голос его все еще не вернулся, да и вернется ли когда-нибудь?

Господин Габриэль со всем семейством и пансионерами был приглашен к пробсту на обед и затем на бал. Созвано было множество гостей из

города и из окрестных усадеб. Семейство аптекаря тоже было приглашено. Ромео предстояло увидеться с Юлией и, может быть, даже протанцевать с ней первый танец!

Двор и дом пробста содержались в строгом порядке; дом был весь оштукатурен, а во дворе никто бы не нашел ни одной навозной кучи; зато там возвышалась выкрашенная в зеленый цвет голубятня, увитая плющом. Жена пробста была высокая, плотная женщина, «*glaukoris Athene*», как называл ее господин Габриэль, «голубоокая, но не волоокая Юнона», как мысленно называл ее Петька. Она отличалась какой-то важной кротостью и все жаловалась на свое слабое здоровье; вернее, она страдала той же болезнью, что и сынок — сонливостью. Одета она была в шелковое платье василькового цвета; завитые волосы были высоко взбиты и с правой стороны придерживались большим медальоном с портретом ее прабабушки-генеральши, а с левой — большой кистью винограда из белого фарфора.

У пробста были красное подвижное лицо и блестящие белые зубы, отлично справлявшиеся с жарким из дичи. Разговор его весь был пересыпан анекдотами; он мог найти тему для беседы с любым человеком, но зато сам-то этот человек уж никак не мог сказать, что беседовал с пробстом. Среди гостей находился и советник, а в числе наехавших из усадеб и Феликс, сын коммерсанта. Он уже конфирмовался и был теперь элегантнейшим молодым человеком и по платью, и по манерам. Поговаривали, что он миллионер, и госпожа Габриэль даже побоялась заговорить с ним. Петька же был несказанно рад встрече с Феликсом; тот сам приветливо подошел к нему и передал ему поклон от своих родителей; они читали все письма, которые писал Петька матери и бабушке.

Начался бал. Дочка аптекаря танцевала первый танец с советником, — так уж она обещала заранее своей матери и самому советнику. Второй танец был обещан Петьке, но явился Феликс и перебил у него даму, ограничившись лишь приветливым кивком и словами: «Вы позволите? *Mademoiselle* согласна, если вы позволите!» Петька соорудил вежливую мину, но не сказал ни слова, и Феликс умчал дочку аптекаря, бывшую царицей бала. Следующий танец опять танцевал с нею он.

— А grosfater вы подарите мне? — спросил Петька, бледный от волнения.

— Да, да! — ответила она, очаровательно улыбаясь.

— Ну, не захотите же вы отбивать у меня даму! — сказал Феликс, стоявший тут же. — Это не по-дружески, а мы с вами ведь старые друзья. Вы сказали, что очень довольны нашей встречей, так не отнимайте же у меня удовольствия вести *mademoiselle* к столу! — С этими словами он обнял Петьку за талию и, смеясь, прикоснулся лбом к его лбу. — Уступаете? Не правда ли?

— Нет! — ответил Петька, гневно сверкая глазами.

Феликс шутливо приподнял плечи и закруглил локти, словно желая изобразить лягушку, готовую прыгнуть, и сказал:

— Вы вполне правы, молодой человек! То же самое сказал бы и я, если бы танец был обещан мне! — И он, отвесив своей даме изящный поклон, отошел в сторону. Но немного погодя, когда Петька стоял в углу, поправляя свой бантик, Феликс опять подошел к нему, обнял его за шею и с самым заискивающим взглядом сказал: — Ну, будьте умницей! И моя мать, и ваша матушка, и ваша бабушка — все скажут, что так могли поступить только вы! Я уезжаю завтра и умру сегодня от скуки, если не буду сидеть за столом рядом с молодой барышней! Мой милый, единственный друг, уступите! — Тут уж единственный друг не устоял и сам подвел Феликса к красавице.

Занялся день, когда гости пробста стали разъезжаться. Вся семья господина Габриэля ехала в одной повозке, и все дремали, кроме Петьки и хозяйки. Она говорила о молодом сынке богатого коммерсанта, друге Петьки. Она ведь слышала, как тот сказал, чокаясь с Петькой: «Выпьем, дружище, за здоровье вашей матушки и бабки!»

— В этих словах было столько галантной небрежности! — восхищалась госпожа Габриэль. — Сразу видно, что он из богатого, знатного семейства! Куда нам всем до него! Сторонись, да и все тут!

Петька ничего не сказал на это, но слова ее легли ему на сердце тяжелым камнем. Вечером, улегшись в постель, он не мог заснуть; в ушах у него все раздавалось: «Сторонись, да и все тут!» Он так и сделал, посторонился перед богачом! И все потому, что сам родился в бедности, обязан всем милости одного из таких богачей. А разве они лучше бедных? И почему бы им быть лучше? И из глубины его души поднялось нехорошее чувство, которое бы очень огорчило бабушку. Она и вспомнилась ему. «Бедная бабушка! Ты тоже век свой прожила в бедности! Бог допустил это!» При этой мысли в нем закипело негодование, но вслед за тем проснулось и сознание греховности таких чувств и мыслей. Он с сокрушением вздохнул об утраченной детской душевной невинности, а на самом-то деле был в эту минуту так же невинен, как и прежде, если не больше. Счастливый Петька!

Неделю спустя пришло письмо от бабушки. Она писала, как умела, где большими, где маленькими буквами, но все письмо ее дышало бес-предельной любовью к внуку.

«Мой милый, дорогой мальчик! Я день и ночь думаю о тебе, скучаю по тебе; мать твоя тоже. Ее дела идут хорошо; она стирает. А вчера был у нас Феликс с поклоном от тебя. Вы были вместе на балу у пробста, и ты вел себя благородно! Ты и всегда останешься таким, будешь радовать свою старую бабушку и работающую мать. Она сообщит тебе о девице Франсен».

Затем следовала приписка от матери.

«Девушка Франсен выходит замуж. Старушка-то! Переплетчик Гоф стал по прошению придворным переплетчиком и обзавелся большой вывеской. Теперь она будет госпожой Гоф. Это старая любовь, а она не ржавеет, милый мой мальчик!

Мать твоя».

Вторая приписка гласила:

«Бабушка связала тебе полдюжины шерстяных носков. Перешлем их тебе при случае. Я вложила в них хлеба с салом — твоего любимого кушанья. Я знаю, что у господина Габриэля тебя не угостят салом: твоя хозяйка, верно, боится «трихнинов». Мне даже и не выговорить этого слова! Но ты о них не думай, а ешь себе на здоровье.

Мать».

Петька прочел письмо и повеселел. Феликс все-таки был славный малый! Петька поступил нехорошо, не простившись с ним после бала. «Нет, Феликс лучше меня!» — решил Петька.

VIII

Дни тихо шли за днями, месяцы за месяцами. Петька проживал у господина Габриэль уже второй год. Учитель с строгой последовательностью, называемой госпожой Габриэль упрямством, не позволял больше Петьке появляться на сцене. Сам Петька получил от своего бывшего учителя пения, который ежемесячно платил за его учение и содержание, строгий наказ не думать о сцене, пока находится в школе. Петька не желал слушаться, но мысли его сами собою обращались к театру в столице. Там ведь он надеялся когда-нибудь выступить уже знаменитым певцом. Но — увы! — голос его все еще не возвращался, и это сильно огорчало Петьку. Кто мог утешить его? Ни господин Габриэль и ни его супруга; один Господь Бог. Он ниспосылает людям утешение по-разному; Петьке оно было ниспослано во сне; недаром же он был счастливцем!

Однажды ночью ему приснилось, что настала Троица и что он гуляет в чудесном зеленом лесу; сквозь листву деревьев светит солнышко; на земле ковер из анемонов и скороспелок. Вот закуковала кукушка. «Сколько лет мне жить?» — спросил Петька. Это всегда спрашивают, когда в первый раз услышат кукушку весною. «Ку-ку!» — прокуковала птичка и смолкла. «Что же это, мне осталось жить один год?» — сказал Петька. — Маловато! Не угодно ли начать снова?» И кукушка принялась куковать без счета! Кончилось тем, что закуковал с нею и Петька, да так хорошо, словно и впрямь был кукушкой, только его «ку-ку» звучали еще громче, еще чище. Запели птички; Петька стал подражать и птичкам, и перещеголял и их. Его звонкий детский голосок вернулся к нему, и он ликовал. Проснувшись, Петька себя не помнил от радости: теперь он

был уверен, что голос его не пропал, что в одно прекрасное весеннее утро он вернется к нему такой же свежий, чистый, как и прежде! И Петька, убаюканный этой радостной надеждой, заснул опять. Голос, однако, не вернулся к нему ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. В ожидании Петька жил весточками о театре родного города. Они были для него манной небесной, духовным хлебом; «крошки ведь тот же хлеб», и Петька рад был и крошкам — самым пустяшным известиям.

У господина Габриэля был сосед — мелочной торговец. Жена его, почтенная, живая и веселая женщина, но полнейшая невежда в искусстве, побывала первый раз в столице и вернулась оттуда в полном восторге от всего виденного, даже от людей. Они, по ее рассказам, смеялись каждому ее слову; в этом, впрочем, не было ничего невероятного.

— А были ли вы в театре? — спросил ее Петька.

— Как же! — ответила она. — И упарилась же я там! Поглядели бы вы на меня! Пот лил градом!

— А что же вы видели? Какую пьесу?

— Сейчас расскажу все! Я была там два раза. В первый раз представление было с разговорами. Сначала пришла принцесса и давай тараторить: «Та-та-та! Та-та-та!» Потом явился мужчина, и оба затараторили наперебой: «Та-та-та! Та-та-та!» После того барыня шлепнулась! Она в этот вечер целых пять раз шлепалась. В другой раз я попала на пение. Ну, пропели: «Тра-ла-ла, тра-ла-ла!» — и барыня тоже шлепнулась. Рядом со мной сидела приличная женщина, провинциалка. Она сроду не бывала в театре и думала, что тут и конец всему, ну а я-то уж знала, в чем дело, и объяснила ей, что в последний раз, как я была в театре, барыня шлепалась целых пять раз. В этот вечер она, впрочем, шлепнулась всего три раза. Да, так вот что я видела!

Что же это за пьесы видела лавочница? Не попала ли она в трагедию, что барыня все шлепалась? И вдруг Петьку осенило: на театральном занавесе была изображена большая женская фигура — муза с двумя масками, трагической и комической. Занавес, разумеется, падал в антрактах, вот вам и барыня, которая все шлепалась! И это-то шлепанье больше всего и занимало почтенную лавочницу, все же, что говорили и пели артисты, было для нее только «та-та-та, тра-ла-ла!». Тем не менее она осталась вполне довольна, да и Петька с госпожой Габриэль были довольны не меньше ее. Госпожа Габриэль слушала ее повествование с выражением изумления и умственного превосходства на лице; еще бы! она ведь, по словам аптекаря, вынесла, в роли кормилицы, на своих плечах всю шекспировскую трагедию! Выражение «барыня шлепнулась», объясненное Петькой, скоро сделалось в доме Габриэля ходячей остротой: стоило упасть ребенку, полоскательной чашке или какой-нибудь мебели, сейчас раздавалось: «Барыня шлепнулась!» «Так-то создаются пословицы

и поговорки!» — сказал господин Габриэль, который на все смотрел с научной точки зрения. В вечер под Новый год вся семья Габриэля стояла со стаканами пунша в руках; это был единственный стакан, выпиваемый в году господином Габриэлем, — пунш был вреден для его желудка. Вот часы начали бить, все выпили в честь наступающего Нового года, сосчитали удары часов и после двенадцатого весело прокричали: «Барыня шлепнулась!» Затем опять пошли дни за днями. На Троице Петькиному пребыванию в доме Габриэля должно было исполниться два года.

IX

Два года минули, а голос к Петьке не вернулся. Что же ожидало нашего юного друга в будущем? Господин Габриэль предполагал, что из него мог выйти отличный школьный учитель; это все-таки карьера, хотя, конечно, и не для женатого человека. Но Петька и не думал еще жениться, как ни интересовала его дочка аптекаря. «Школьным учителем! — сказала госпожа Габриэль. — Это значит сделаться таким же скучнейшим созданием, как мой Габриэль! А вы рождены артистом! Вы можете стать величайшим актером в мире! Это не то что быть учителем!»

Да, быть артистом — вот это цель! И Петька написал учителю пения письмо, в котором открыл ему всю свою душу, свои заветные мечты, надежды и тоску по столице, где жили его мать и бабушка. Он не видался с ними вот уже два года! А ведь их разделяли всего какие-нибудь тридцать миль, шесть часов пути! Так почему же они не повидались? Да потому, что с Петьки при отъезде было взято слово оставаться на месте и не помышлять ни о какой поездке, у матери же были полны руки дела. Несмотря на это, она частенько мечтала о поездке, не пугаясь даже страшных расходов, но мечты так и остались мечтами. Бабушка могла бы, конечно, навестить внука, да смерть боялась железных дорог; пуститься в такой путь значило, по ее понятиям, искушать Господа. Нет, уж ее на машину и калачом не заманят! Стара она больно, чтобы разъезжать! Ее ждет иной путь по призыву Господа Бога. Все это она говорила в мае, а в июне одна-одинешенька отправилась за тридцать миль в чужой город, к чужим людям! Принудило ее к этому очень важное и печальное событие.

Кукушка в ответ на вторичный вопрос Петьки, сколько лет ему жить, прокуковала несчетное число раз. Цветущее здоровье его и в самом деле обещало ему долгую жизнь, освещенную, как солнышком, веселым расположением духа. И как ему было не веселиться, не радоваться! Покровитель его, учитель пения, прислал ему такое ласковое письмо, разрешил ему вернуться в столицу! Он желал посмотреть, что может выйти из Петьки, раз голос его пропал. «Выступайте в роли Ромео! —

твердила Петьке госпожа Габриэль. — Теперь вы как раз в таком возрасте! Да и возмужали вы так, что даже гримироваться не надо!» «Будьте Ромео!» — твердили и аптекарь с дочкой. У самого Петьки просто голова кругом шла от наплыва мыслей. Но «никто не знает, что случится завтра».

Петька сидел в саду, прилегавшем к лугу. Был вечер; луна так и сияла. Щеки юноши горели, кровь кипела, и холодный ветер так приятно освежал его. Над лугом клубился туман; Петьке невольно пришли на ум рассказы о пляске лесных дев и старинная песня о рыцаре Олуфе, ехавшем сзывать гостей на свою свадьбу и перехваченном на пути лесными девами. Они увлекли его в свой хоровод и закружили до смерти. И вот этот туман, освещенный бледными лучами луны, рисовал теперь картины к старой народной песне. Скоро Петька совсем ушел в мир фантазии, стал грезить наяву. Кусты мало-помалу приняли очертания человеческих и звериных фигур; они стояли неподвижно, а туман, напротив, беспрерывно клубился, колебался в воздухе, как кисея. Нечто подобное видел Петька в балете; там лесных дев изображали танцовщицы, порхавшие и кружившиеся по сцене, размахивая кисейными шарфами. Но это зрелище было куда прекраснее, диковиннее! Такой большой сцены не было ни в одном театре, такого ясного прозрачного воздуха, такого яркого лунного света тоже!.. Вот из тумана выделилась женская фигура, из одной сделались три, потом много... Рука об руку закружились они в пляске. Ветер нес их к изгороди, за которой сидел Петька. Они манили его к себе, говорили с ним. Голоса их звенели серебряными колокольчиками. Скоро они очутились в саду, окружили Петьку, и он, сам того не сознавая, стал плясать вместе с ними, но по-своему. Он кружился вихрем, словно в тот памятный вечер, когда изображал вампира. Но теперь он и не думал об этом, да и ни о чем вообще не думал, упоенный чудным зрелищем. Луг был, собственно, болотом, а в одном месте раскинулось и настоящее озеро, глубокое, темно-синее, поросшее кувшинками. Лесные девы перенесли Петьку на своих шарфах на другой берег озера, где богатырский курган, сбросив с себя дерновый покров, тянулся к замку из облаков. Облака эти были, однако, мраморные; цветущие растения из золота и драгоценных камней обвивали мощные мраморные глыбы; каждый цветок был сияющей разноцветной птицей, распевавшей человеческим голосом. Слышался как будто хор тысяч радостных детских голосов. Куда попал Петька — на небо или в лесной холм?.. Стены замка раздвинулись, потом сошлись опять и замкнули Петьку; он был отрезан от человеческого мира! Его охватил страх, какого он еще не испытывал в жизни. Выхода не было, но с полу, с потолка, со всех стен глядели на него улыбающиеся девичьи лица. Они выглядели живыми, и все-таки Петьке чудилось, что они только нарисованы. Он хотел заговорить с ними, но язык его не ворочался, голос пропал. Тогда он в отчаянии бросился на землю. Никогда еще не чувствовал он себя таким несчастным.

Одна из лесных дев приблизилась к нему; она по-своему желала ему добра и приняла на себя наиболее приятный ему облик дочки аптекаря. Он сначала и поверил было, что это она сама, но скоро заметил, что у нее нет спины, что она хороша только спереди, а сзади и внутри ее одна пустота. «Один час здесь — век там! — сказала она. — А ты пробыл здесь уже целый час. Все, кого ты знал и любил там, умерли! Оставайся же с нами! Да ты и останешься поневоле! Иначе стены сойдутся и стиснут тебя так, что из твоего лба брызнет кровь!» И стены зашевелились, воздух сперся, стало душно, как в раскаленной печи. Тут к Петьке вернулся голос. «Господи! Неужели Ты покинул меня!» — вскричал он, полный смертельного отчаяния. Глядь, перед ним его бабушка! Она обняла его и принялась целовать в лоб и в губы. «Мой милый, дорогой мальчик! — сказала она. — Господь не покинет тебя, Он никого не покидает, даже величайших грешников. Слава ему во веки веков!» И она вынула молитвенник, тот самый, по которому она и Петька пели каждое воскресенье псалмы. Громко зазвучал ее голос, воздавая хвалу Творцу. Лесные девы склонили усталые головы, прилегли отдохнуть, а Петька запел вместе с бабушкой, как он, бывало, певал прежде. Как громко, сильно и в то же время нежно зазвучал его голос! Стены замка зашевелились и растаяли, как туман. Бабушка вышла с ним из холма, и они пошли, озаряемые яркой луной, по густой траве, в которой блестели ивановы червячки. Но Петька был так слаб, ноги не держали его больше, и он опустился в траву, как в мягкую постель. Славно отдохнул он и проснулся от пения псалмов.

Возле него в самом деле сидела бабушка; он лежал в своей комнатке, в доме господина Габриэля. Горячка прошла, жизнь и здоровье возвращались к нему. А болен он был серьезно. Его нашли в тот вечер лежащим без чувств в саду. Началась сильная горячка. Доктор сказал, что он вряд ли выживет. Дали знать матери. Обеим вместе — и матери и бабушке — нельзя было ехать, и поехала одна бабушка, поехала по железной дороге. «Это только ради Петьки! — говорила она. — И ехала я с именем Божиим на устах, а то бы я все думала, что лечу на помеле на шабаш ведьм в Иванову ночь».

Х

Весело собралась бабушка в обратный путь, от всего сердца благодаря Создателя за исцеление Петьки. Все-таки он еще переживет ее! В вагоне у нее оказались премилые соседи: аптекарь с дочкой. Они говорили о Петьке с такою любовью, словно он был им родной. Аптекарь объявил, что из юноши выйдет великий артист: голос ведь вернулся к нему, а в таком горле лежат миллионы! Как не радоваться, слушая такие речи! И бабушка слепо

верила им, упивалась ими и даже не заметила, как доехала до столицы. Невестка встретила ее на вокзале. «Благодарение Господу за железную дорогу! — сказала бабушка. — Благодарение Ему и за то, что я и не заметила, как доехала по ней! Этим я обязана милейшим соседям своим! — И она крепко пожала руки аптекарю и его дочке. — Машина — благодатная выдумка! Особенно ценишь ее, когда сойдешь с нее!» Затем пошли рассказы о дорогом мальчике. Мать узнала, что он теперь вне опасности и что живет ему очень хорошо. Хозяева его люди состоятельные, держат троих людей: двух девушек и одного парня, и обращаются с Петькой, как с сыном. Вместе с ним учатся два мальчика из важных семейств; один, шутка ли, сын пробста! Бабушка остановилась было на почтовой станции, но там так дерут! Хорошо, что госпожа Габриэль пригласила ее переехать к ним; она и прожила у них пять дней. То-то добрые люди, сущие ангелы, особенно сама хозяйка! Она угощала бабушку пуншем, превкусным, но прекрепким! Через месяц Петька оправится и вернется в столицу. «Он, верно, стал важным, избаловался там! — сказала мать. — Не понравилось бы ему здесь на чердаке! Я рада, что учитель пения пригласил его жить к себе, а все-таки... — Тут мать заплакала. — Все-таки ужасно жить в такой бедности, что даже собственного ребенка нельзя как следует устроить у себя дома!» — «Смотри, не говори ничего такого Петьке! — сказала бабушка. — Ты не знаешь его так, как я». — «Есть и пить-то ему все-таки надо, как он там ни важен! — продолжала мать. — Ну и что ж, голодать не будет, пока у меня работа из рук не валится. Да и госпожа Гоф предлагает ему обедать у нее два раза в неделю; теперь ведь она живет в достатке. Да, отведала она в своей жизни и сладкого, и горького! Сама же рассказывала мне, что раз с ней сделалось дурно в ложе, где сидят старые танцовщицы: во весь день у нее не было во рту ничего, кроме воды да сухого кренделя. «Воды! воды!» — закричали другие танцовщицы. «Булки, булки!» — взмолилась она. Ей нужно было что-нибудь попитательнее воды! Зато теперь у нее дом полная чаша!»

А Петька все еще сидел в тридцати милях от столицы, но уже заранее блаженствовал при мысли, что скоро увидит родной город, театр и все, что дорого и мило его сердцу. Теперь он научился ценить все это! И в душе его и вокруг все как будто пело, все ликовало, все было залито солнцем, полно юного веселья, ожидания! С каждым днем силы его прибывали, цвет лица становился здоровее, расположение духа улучшалось. Зато госпожа Габриэль, по мере приближения разлуки, волновалась все больше и больше.

— Теперь вы вступаете на путь славы и соблазнов. Вы очень красивы, — а похорошели-то вы в нашем доме, — но вы дитя природы, как и я, а это предохраняет от соблазнов. Не надо быть слишком чувствительным, не надо быть и ломакой! Вот как, например, королева Дагмара! Затягивала себе шелковые рукава по воскресеньям — экая беда!

Стоило сокрушаться из-за таких пустяков! Или вот Лукреция! Я бы никогда не подняла такого шума! И с чего она закололась? Она была честна, невинна, это знала и она, и весь город. Так если с ней и случилась беда... Я не буду говорить какая, вы в ваши годы и так понимаете, в чем было дело!.. Словом, она была ни при чем! Так нет, давай вопить и цап за кинжал! А и нужды-то никакой не было! Я бы никогда так не поступила, и вы тоже. Мы с вами дети природы и должны оставаться ими при всяких обстоятельствах. Советую вам держаться этого правила во всю вашу артистическую карьеру. То-то радость будет прочесть о вас в газете! Когда-нибудь вы заедете в наш городишко и опять, может быть, выступите в роли Ромео, но я тогда уже не буду кормилицей! Я буду сидеть в партере и наслаждаться.

А что ей было хлопот и забот со стиркой и глаженьем! Надо было отпустить Петьку домой с таким же запасом чистого белья, с каким он приехал. Она продела также в его янтарное сердечко новую черную ленточку. Кроме этого сердечка, ей бы ничего не хотелось получить от Петьки на память, но сердечка она не получила. Сам Петька получил от господина Габриэля на память французский словарь, служивший им при занятиях и весь испещренный на полях собственноручными примечаниями господина Габриэля. Хозяйка же поднесла юноше букет из роз и сердечной травки. Розы, конечно, скоро увянут, но травка могла перезимовать, если ее не ставить в воду. Кроме того, госпожа Габриэль написала на листочке для альбома изречение Гете: «Umgang mit Frauen ist das Element guter Sitten», но не в подлиннике, а в собственном переводе: «Общение с дамами — условие хороших нравов. Гете».

— Он был великий человек! — прибавила она. — Жаль только, что он написал Фауста, — я его совсем не понимаю. И Габриэль говорит то же.

Юный Массен преподнес Петьке не совсем неудачный рисунок, изображавший висевшего на виселице господина Габриэля с розгой в руках. Подпись внизу гласила: «Первый путеводитель великого артиста на пути науки». Примус подарил Петьке пару новых туфель, вышитых самой женой пробста; они были так велики, что Примус еще несколько лет не мог бы пользоваться ими. На подошвах было написано чернилами: «На память от горюющего друга. Примус».

На вокзал провожал Петьку весь дом. «Никто не скажет, что вы уезжаете без *sans adieu!* — сказала госпожа Габриэль, целуя Петьку на прощание. — Я не стесняюсь! — заявила она. — Открыто все можно, лишь бы не тайком!» Вот раздался свисток, юный Массен и Примус прокричали «ура», «домашний скарб» подхватил, госпожа Габриэль отерла глаза и замахала платком; супруг ее ограничился одним словом: «*Vale!*»

Мимо окон вагона замелькали деревни и местечки. Было ли их обитателям так же весело, как Петьке? Он думал об этом, думал о своем

счастье, о золотом яблоке, которое видела у него в руке бабушка, когда он был ребенком, вспоминал о своей счастливой находке в канавке, но больше всего думал о своем вновь обретенном голосе и о познаниях, которыми он запасся за эти два года. Он стал ведь совсем иным человеком! Внутри его все ликовало и пело от радости, и много ему надо было иметь над собою власти, чтобы не запеть во всеуслышание в вагоне.

Вот показались башни столицы, вот и строения. Поезд подошел к вокзалу. Тут ждали Петьку мать с бабушкой и еще кто-то — госпожа Гоф, супруга придворного переплетчика, урожденная девица Франсен. Она не забывала своих друзей ни в горе, ни в радости и не преминула расцеловать Петьку так же сердечно, как мать и бабушка. «Гоф не мог прийти со мною! — сказала она. — Он сидит за переплетом разных сочинений для библиотеки Его Величества. Тебе повезло, и мне тоже. Теперь у меня есть муж, собственный уютный уголок и кресло-качалка. Два раза в неделю ты обедаешь у нас. Вот посмотришь на мое житье-бытье. Настоящий балет!»

Матери и бабушке почти и не удалось поговорить с Петькой, зато они смотрели на него, и глаза их так и сияли радостью. Петька сел на извозчика и поехал к учителю пения, а мать с бабушкой смотрели ему вслед, смеясь и плача.

— Какой же он красавчик! — сказала бабушка.

— А выражение у него все такое же хорошее, честное, как и прежде! — заметила мать. — Таким он и останется всю жизнь!

Извозчик остановился перед дверями квартиры учителя пения; хозяина не оказалось дома. Петьку встретил и проводил в отведенную ему комнату старый слуга. По стенам комнатки висели портреты композиторов, а на печке стоял ослепительно белый гипсовый бюст. Старик, немножко тугой на смекалку, но донельзя преданный своему господину, показал Петьке, куда уложить белье, куда развесить платье, и обещал свое содействие по части чистки сапог. Тут явился и сам хозяин и сердечно приветствовал Петьку на новоселье.

— Вот и все помещение! — сказал он Петьке. — Не побрезгуй! Клавикорды в зале к твоим услугам. Завтра испробуем твой голос! А это наш кастелян, наш домоправитель! — прибавил он, кивая на старика. — Ну, все в порядке! Даже Карл-Мария Вебер выбелен к твоему приезду заново! Он непозволительно закоптел!.. Да ведь это вовсе не Вебер! Это Моцарт! Откуда он взялся?

— Это старик Вебер! — ответил слуга. — Я сам снес его к мастеру белить и сегодня утром принес обратно.

— Но это же бюст Моцарта, а не Вебера!

— Извините, сударь! — стоял на своем слуга. — Это старик Вебер, только он стал почище, вот вы и не узнали его! Спросите хоть у мастера! — Спросили, и оказалось, что бюст Вебера нечаянно разбили в

мастерской и вместо него дали слуге бюст Моцарта, — все равно ведь, чей бюст стоит на печке!

В первый день решено было не петь и не играть, но, когда наш юный друг вошел в залу, где стояли клавикорды, а на пюпитре лежала раскрытая опера «Иосиф», он запел своим звонким, как колокольчик, голосом: «Пришла моя весна». Сколько чувства, сколько души, детской невинности и в то же время мужественной силы было в его пении. Учитель даже прослезился.

— Вот как надо петь! — сказал он. — А со временем пойдет и еще лучше! Ну, закроем теперь клавикорды! Тебе нужен отдых!

— Мне еще надо побывать у матери и у бабушки! Я обещал! — И Петька поспешил туда.

Лучи заходящего солнца освещали знакомый ему с детства двор. Стены дома так и блестели. Ни дать ни взять алмазный дворец! Мать и бабушка жили наверху, под самой крышей, но Петька живо взлетел по лестницам, шагая через три ступеньки зараз. Его встретили горячими поцелуями и объятиями.

Как чисто, как уютно было в этой каморке. Вот и печка, «старый медведь», вот и сундук — «гора с сокровищами!» Здесь он гарцевал когда-то на своей деревянной лошадке! На стене по-прежнему висели знакомые картины: портрет короля и два силуэта — один Спасителя, другой покойного отца Петьки, вырезанные из черной бумаги. По словам матери, силуэт очень напоминал отца сбоку, но, конечно, сходство было бы еще полнее, если бы бумага была белая и красная, — отец-то был белый, румяный, красавец! А Петька был вылитый отец. Разговорам и рассказам не было конца. На ужин были приготовлены разварные пороссячи ножки — кроме Петьки поджидали еще госпожу Гоф.

— Но как вздумалось этим двум старичкам пожениться? — спросил Петька.

— Думали-то они об этом многие годы! — сказала мать. — Но ты ведь знаешь, Гоф был женат. Он женился, как говорил, в отместку девице Франсен! Она ведь страсть как важничала в дни своей славы! За женою он взял большое приданое, но она была уж больно стара да и на костылях, а умирать все не хотела! Ему и пришлось ждать так долго, что я ничуть бы не удивилась, если бы он, как человек в сказке, потерял терпение и стал каждое воскресенье выносить старуху на солнышко, чтобы Господь увидел и вспомнил ее поскорее!

— Девица Франсен тоже ждала терпеливо! — сказала бабушка. — Но не думала я, что она дождется! Однако в прошлом году старуха умерла, и девица Франсен стала госпожой Гоф! — Госпожа Гоф оказалась легка на помине. — А мы только что говорили о вас! — приветствовала ее бабушка. — Говорили о вашем долготерпении и награде.

— Да! — сказала госпожа Гоф. — Не удалось нам пожениться в дни нашей молодости, так возьмем свое хоть теперь! К тому же «пока не калека, все еще молод!» — говорит мой Гоф. У него все такие меткие выражения! Мы с ним, по его выражению, хоть и старые, да хорошие сочинения, переплетенные в один том с золотым обрезом. И я так счастлива, так довольна и своим мужем, и своим уголком у печки — изразцовой печки! Как затопишь ее вечером, так тепло держится до вечера другого дня. Просто благодать! Словно в балете «Остров Цирцей». Помните вы меня в роли Цирцей?

— Вы были восхитительны! — сказала бабушка. — Как, однако, человек меняется с годами! — Сказано это было не в обиду гостю, и она и не обиделась. Приступили к пороссячьим ножкам и чаепитию.

На другой день Петька отправился с визитом к коммерсанту. Приняла его сама хозяйка, пожала ему руку и усадила возле себя. В разговоре он выразил ей свою искреннюю благодарность — он знал, что неизвестным благодетелем его был коммерсант. Жена последнего, однако, ничего об этом не знала. «Впрочем, это так на него похоже! — сказала она. — Не стоит и говорить об этом». Сам же коммерсант чуть не рассердился, когда Петька завел об этом речь и при нем. «Вы сильно ошибаетесь!» — сказал он Петьке, прервал беседу и ушел.

Феликс был уже студентом и готовился к дипломатической карьере. «Муж мой называет это сумасбродством! — заметила хозяйка. — У меня же на этот счет нет собственного мнения. Все в руках Божиих!» Феликс не вышел к Петьке; у него был урок фехтования.

Вернувшись домой, Петька рассказал учителю о своей неудачной попытке поблагодарить коммерсанта.

— Да кто же сказал тебе, что именно он твой так называемый благодетель? — спросил учитель.

— Мать и бабушка! — ответил Петька.

— Ну, верно, так оно и есть.

— А вы знаете, кто настоящий благодетель? — спросил Петька.

— Знаю, да не скажу кто!.. Итак, мы каждое утро будем с тобой заниматься пением.

XI

Раз в неделю к учителю приходили его знакомые артисты-музыканты, и составлялся квартет. Петька упивался дивными звуками бетховенских и моцартовских композиций. Давно уже он не слышал хорошей и хорошо исполненной музыки, и она действовала на него теперь тем сильнее: словно огненные искры пробежали у него по спине и по всем нервам, на глазах навертывались слезы. Каждый такой музыкальный вечер был для него ис-

тинным праздником. Он предпочитал эти концерты оперным спектаклям — в театре всегда что-нибудь мешает полноте и цельности впечатления. То артисты не отдают должного внимания тексту и глотают слова так, что их одинаково поймет и китаец, и гренландец, то страдают недостатком драматического таланта, то отсутствием голоса, то хрипят, как шарманки, то терзают слух фальшивыми нотами... А фальшь в декорациях и костюмах?! В концерте же не приходится страдать ни от чего подобного. Звуки льются свободно и достигают полной своей мощи и красоты, убирают голые стены залы драгоценными гобеленами, рисуя картины, задуманные великими композиторами. Однажды Петька попал и на концерт, данный в зале Музыкального общества. Была исполнена «Symfonie pastoral» Бетховена. Особенно сильное впечатление произвело на нашего юного друга *andante* «Сцена у ручья». Эти звуки несли его на лоно природы, в свежий зеленый лес, где раздается пение жаворонка и соловья, кукованье кукушки. Что за роскошь, что за свежесть! С этого вечера Петька понял, что ему больше всего по душе именно такого рода музыкальные картины, рисующие природу и пробуждающие соответственные настроения в душе. Любимыми композиторами его стали Бетховен и Гайдн.

Петька часто беседовал о музыке со своим учителем, и каждая беседа сближала их все больше и больше. Ученик не мог надивиться обширным познаниям учителя и с такой же жадностью слушал его объяснения, с какой, бывало, внимал сказкам бабушки. Мир звуков стал ему теперь таким знакомым, родным; теперь он уже понимал, о чем шепчет лес, шумит море, гудит богатырский курган, щебечет каждая птичка, говорит своим ароматом безмолвный цветок.

Уроки пения доставляли истинное удовольствие и учителю, и ученику. Голос Петьки всегда поражал своей свежестью и чистотою, каждую песенку он исполнял с удивительным чувством и выражением, но лучше всего выходили у него все-таки шубертовские «Песни мельника». Молодой человек уделял одинаковое внимание и мелодии, и тексту; они составляли в его исполнении одно целое, дополняли и освещали друг друга, как это и следует. Из него вырабатывался настоящий драматический певец, и он совершенствовался в этом отношении с каждым месяцем, даже с каждым днем.

Без нужды, без горя жилось нашему юному другу; он был здоров, весел, будущее сулило ему всевозможные блага. Он еще не успел разочароваться в людях; по невинности и чистоте душевной он мог назваться ребенком, а по выдержке в труде — зрелым мужем. Все, кто знал его, любили его, всюду он встречал ласковые взгляды и радушный прием. Отношения же между ним и его учителем день ото дня становились сердечнее. Учитель и ученик были как будто братьями; младший относился к старшему со всею горячностью и искренностью юного сердца, и старший на свой лад платил ему тем же.

Натура у старого учителя была горячая, как у южанина. Сразу видно было, что он умел «и ненавидеть крепко, и любить». К счастью, в нем вообще преобладало последнее чувство. Он унаследовал от отца порядочное состояние и не имел нужды браться за труд, который бы был ему не по душе. Втайне он делал много добра, но не терпел, чтобы его благодарили или говорили об этом. «Если я и сделал что-нибудь, то сделал только возможное и должное!» — говаривал он в таких случаях.

Старый слуга, или кастелян, как называл его сам учитель, говоря о добрых делах своего господина, всегда как-то понижал голос: «Я-то знаю, какие дела он иногда творит, но знаю из них лишь половину. Вот бы кому следовало повесить на грудь звезду! Впрочем, он не стал бы носить ее! Он бы из себя вышел, если бы захотели отметить его за его честность. Знаю я его! Вот уж он-то прежде всех нас попадет в рай, какой бы там ни был веры! Он воистину живет по писанию!» Последние слова старик произносил с особенным ударением, точно Петька питал на этот счет какое-нибудь сомнение. Напротив, Петька и сам чувствовал и сознавал, что учитель его истый христианин по делам своим и может послужить образцом для всякого. Но в церкви он никогда не бывал, и, когда Петька, собираясь однажды идти с матерью и бабушкой к причастию, спросил, не пойдет ли с ними и учитель, тот ответил: «Нет!» Петьке показалось, что он хотел сказать еще что-то, но так ничего и не сказал.

Вечером учитель прочел между прочим в газете о добрых делах каких-то известных благотворителей. Зашел разговор о добрых делах вообще и о награде за них.

— О ней никто не должен помышлять! — сказал учитель. — «Награда за добрые дела подобна финикам — они поздно созревают и становятся сладкими!» — сказано в Талмуде.

— В Талмуде? — переспросил Петька. — Что это за книга?

— Книга, из которойросло в христианство много добрых семян! — был ответ.

— Кто написал ее?

— Мудрецы древних веков! Мудрецы разных народностей и религий! Мудрость скрыта в ней в кратких изречениях, подобных изречениям Соломона. Глубочайшие истины содержатся в этой книге! Она учит, что люди всегда остаются теми же людьми, где бы и когда бы ни жили. «У твоего друга есть друг — будь осторожен в своих речах!», «Никому не перепрыгнуть через собственную тень!», «Топчи терн, пока ты обут!» Вот что говорится в этой книге! Тебе надо почитать ее! Ты найдешь в ней более ясные отпечатки всех культур, нежели в земных пластах. Я, как еврей, чту в ней также наследие отцов моих!

— Вы разве еврей? — спросил Петька.

— А ты и не знал? Странно, что мы до сих пор не договорились до этого!

Ни мать, ни бабушка Петьки тоже не знали этого, но они отлично знали, какой честный и прекрасный человек Петькин учитель. Надо было благодарить Бога за то, что Петька встретил его на своем пути; после Господа Бога мальчик был обязан всем своим счастьем именно ему. Вскоре мать сообщила Петьке тайну, с которой носилась вот уже несколько дней. Эту тайну доверила ей по секрету жена коммерсанта. Боже сохрани, если бы это дошло до самого учителя пения! Это он ведь платил за Петькино учение и содержание у господина Габриэля! Он стал единственным истинным другом и покровителем Петьки с того самого вечера, когда услышал, как мальчик пел у коммерсанта балет «Самсон».

XII

Госпожа Гоф все поджидала к себе Петьку. Наконец он пришел.

— Ну вот, познакомься с моим Гофом! — сказала она. — Познакомься и с моим уголком! Да, и не мечтала я о таком, танцуя «Цирцею» да «Сильфиду Прованса». Кто-то теперь помнит эти балеты и хорошенькую балерину Франсен! «*Sic transit gloria!*» — всегда говорит мой муж, когда я вспоминаю время своей славы. Он любит посмеяться, но от доброго сердца!

«Уголок» госпожи Гоф оказался уютной невысокой комнаткой, устланной ковром; по стенам висели портреты, подходящие к жилищу переплетчика: Гутенберга, Франклина, Шекспира, Сервантеса, Мольера и двух слепых поэтов — Гомера и Оссиана. Пониже, в рамке под стеклом, висела вырезанная из бумаги танцовщица в платье из кисеи; правая ножка ее была поднята к небу. Подпись гласила:

Кто всех покоряет,
По сцене порхает,
Лицом всех милее?
То Франсен-Цирцея!

Это было произведение самого Гофа. Он, по словам супруги, мастер был сочинять стихи; особенно удавались ему смешные. Он сам и вырезал эту танцовщицу, сам и наклеил ее, сам и сшил ей платье, но было это давно, еще до его первого брака. Долго лежала танцовщица в ящике стола, пока, наконец, не заняла почетное место в «уголке» новой госпожи Гоф. Она представила Петьке господина Гофа.

— Ну разве он у меня не прелесть! — сказала она юноше, указывая на мужа. — По мне, так он красивее всех в свете!

— Особенно по воскресеньям, в праздничном переплете! — сказал господин Гоф.

— Ты чудесен и без всякого переплета! — брякнула она и, спохватившись, потупила глаза.

— Старая любовь не ржавеет! — сказал господин Гоф. — Старый дом, если уж займется, так сгорит дотла!

— Старая любовь возрождается из пепла, как птица Феникс! — подхватила его супруга. — Да, вот где мой рай! Меня и не тянет отсюда никуда! Разве забежишь на часок к твоим матери и бабушке.

— Или к своей сестре! — заметил господин Гоф.

— Нет, голубчик Гоф, там уж больше не рай для меня! У них мало средств и много претензий! Не знаешь, право, о чем и говорить в этом доме. Спаси Боже упомянуть о неграх — старшая дочка невеста потомка негра; нельзя заговорить и о горбатых — один из сыновей горбат; о проворовавшихся кассирах тоже лучше не упоминать — зять мой был кассиром, и в кассе случился недочет; а уж обронишь слово «шрам», так и вовсе беда — господин Шрам оставил ведь младшую дочку с носом! А что же за сласть сидеть, не раскрывая рта? Коли нельзя говорить, так я лучше буду сидеть дома в своем уголке. Право, не будь это грешно, я бы стала просить Бога продлить мой век до тех пор, пока простоят мой уголок. Я так привязалась к нему! Здесь мой рай, и обязана я им Гофу!

— У тебя во рту золотая мельница! — сказал он.

— А у тебя золотое сердце! — ответила она.

— Мели, золото, мели, моя женка Emili! — сказал он, а она в ответ пощекотала его под подбородком и сказала Петьке:

— Это ведь он сейчас сочинил! И как хорошо, хоть печатай!

— И переплетай! — подхватил муж. Так-то благодумствовали счастливые старички.

Прошел целый год, прежде чем Петька приступил наконец к разучиванию партии для своего дебюта. Сначала он выбрал оперу «Иосиф», но потом решил остановиться на партии Георга Брауна в «Белой даме». Слова и музыка дались ему легко, а из романа Вальтера Скотта он составил себе ясное представление и о самой личности героя, молодого офицера, являющегося на родину и нечаянно попадающего в замок своих предков. Старая песня пробуждает в нем воспоминания детства, счастье благоприятствует ему, и он возвращает себе и наследие предков, и невесту.

Скоро Петька до того сжился со своим героем, что приключения Георга стали казаться ему чем-то пережитым им самим. Мелодичная музыка еще более помогала ему проникнуться нужным настроением. Прошло, однако, немало времени, прежде чем приступили к репетициям. Учитель не торопился с дебютом Петьки. Но вот и генеральная репетиция. Петька оказался не только превосходным певцом, но и таким же актером; партия была как будто написана специально для него; и хор, и оркестр приветствовали его шумными аплодисментами. Немудрено, что самого дебюта ожидали с величайшим нетерпением. «Можно быть великим арти-

стом, сидя у себя дома в халате! — выразился один доброжелатель. — Можно быть великим при дневном свете и весьма посредственным при свете театральных ламп, в переполненном театре! Поживем — увидим!»

Петька ничуть не боялся и волновался только от нетерпения. Учителя его, напротив, была лихорадка. У матери не хватало духу присутствовать на спектакле; ей бы сделалось дурно от страха за своего дорогого мальчика. Бабушке нездоровилось, и ей велено было сидеть дома. Но верный друг их, госпожа Гоф, обещала принести им известия о дебюте в тот же вечер. Она-то уж пойдет в театр, хоть бы лежала на смертном одре!

Как бесконечно тянулось в этот вечер время! Как медленно ползли эти три-четыре часа! Бабушка то пела псалмы, то молилась вместе с матерью за Петьку. Дай-то Господи ему и в этот вечер оправдать свое прозвище! Стрелки на циферблате еле двигались! «Вот теперь Петька начинает! — говорили старухи. — Теперь он как раз распелся!.. Теперь все кончилось!» Тут мать и бабушка посмотрели друг на друга и смолкли. С улицы доносился грохот экипажей; народ возвращался из театра. Женщины стали смотреть в окно; люди шли мимо, громко разговаривая. Они возвращались из театра, они знали, следовало ли этим двум бедным женщинам на чердаке радоваться или печалиться! Наконец на лестнице послышались шаги, и в комнату ворвалась госпожа Гоф. За нею вошел и муж ее. Она бросилась обнимать обеих женщин, но не говорила ни слова: слезы душили ее.

— Господи! — вскричали мать и бабушка. — Как сошло у Петьки?

— Дайте мне выплакаться! — еле выговорила госпожа Гоф. Она была в таком волнении. — Ох, мне не вынести этого! Милые вы мои! И вам не вынести этого! — И она опять залилась слезами.

— Освистали его, что ли? — вскричала мать.

— Нет, нет! — был ответ. — Его... И мне было суждено дожить до этого!

Тут уж заплакали и мать с бабушкой.

— Ну, полно тебе, Эмилия! — вмешался господин Гоф. — Сын ваш победил! Полный триумф! Весь театр от партера до галереи дрожал от рукоплесканий! У меня самого еще руки болят! Такая буря поднялась! Аплодировали даже из королевской ложи! Вот это, что называется, памятный вечер в летописях театра! Сын ваш не просто талантливый певец, а гений!

— Да, да, гений! — подхватила госпожа Гоф. — Я именно это и хотела сказать! Спасибо тебе, душа Гоф, что ты высказал мою мысль! Ах, вы милые мои! Вот уж не думала-то я, что можно так петь и играть на сцене, а я ведь пережила целую театральную эпоху! — И она опять заплакала. Мать и бабушка смеялись сквозь слезы.

— Ну, теперь спите с Богом! — сказал господин Гоф. — Пойдем, Эмилия. Спокойной ночи! Спокойной ночи! — И супруги оставили двух

счастливых женщин. Недолго, однако, пробыли они одни: дверь отворилась, и в комнату влетел Петька. Он не обещал быть у них раньше завтрашнего утра, но, зная, как беспокоятся за него старушки, и заметив, проезжая мимо дома, что в каморке их еще светится огонек, остановил извозчика и поднялся на чердак.

— Великолепно, превосходно, отлично! Все сошло прекрасно! — радостно воскликнул он, целуя мать и бабушку. За ним вошел и весь сияющий от радости учитель его и крепко пожал обеим женщинам руки.

— А теперь ему пора на покой! — сказал он и увел Петьку.

— Велика милость Твоя к нам, Господи! — сказали обе бедные женщины. Долго за полночь проговорили они о своем любимце. Да и по всему городу в этот вечер только и разговоров было что о молодом, красивом, бесподобном певце.

Вот как далеко шагнул Петька-Счастливец!

XIII

Утренние газеты шумно приветствовали необыкновенный успех дебютанта, более же подробный отчет о спектакле был отложен до следующего номера. Коммерсант дал в честь Петьки и его учителя большой званый обед. Это было со стороны его и его супруги знаком особенного внимания к молодому человеку, родившемуся у них в доме, да еще в один день с их собственным сыном. За столом коммерсант провозгласил тост в честь учителя Петьки — это он ведь отыскал и отшлифовал «драгоценный алмаз», как назвала Петьку одна из влиятельных газет. Феликс сидел со своим сверстником рядом, был очень весел и выказывал ему всевозможное внимание. После обеда молодой человек предложил гостю свои сигары; они были лучше отцовских. «Что ж, он-то может позволить себе такую роскошь! — отозвался сам коммерсант. — Он сын богатого отца!» Оказалось, однако, что Петька не курит. Большой недостаток, от которого, впрочем, ничего не стоит исправиться!

— Будем друзьями! — предложил ему Феликс. — Вы сделаетесь львом сезона! Вы одним натиском покорили сердца всех дам столицы — и молодых, и старых! Я завидую вам; особенно тому, что вы имеете свободный доступ за кулисы, ко всем этим хорошеньким девчуркам!

«Есть чему завидовать!» — подумал Петька.

Вскоре он получил письмо от госпожи Габриэль. Она была в таком восторге от газетных отзывов о Петькином дебюте и его таланте, что выпила по этому случаю со своими девушками по стакану пунша. Господин Габриэль тоже поздравлял Петьку и выражал уверенность, что он, не в пример прочим артистам, правильно выговаривает все иностранные слова. Аптекарь обегал весь город, напоминая всем о том, что они видели этот

дивный талант на сцене своего маленького городского театра еще раньше, нежели он был признан гением в столице! В конце письма госпожа Габриэль прибавляла, что дочке аптекаря остается теперь только кусать локти — Петька может ведь присвататься к любой баронессе или графине! Дочка же аптекаря поторопилась: вот уже месяц, как она невеста толстого советника. Свадьба состоится двадцатого числа этого месяца.

И Петька получил это письмо как раз двадцатого! Его так и резнуло ножом по сердцу; ему вдруг стало ясно, что дочка аптекаря даже среди всех волнений последнего времени была его постоянной мыслью. Он любил ее больше всего на свете! Слезы брызнули у него из глаз, руки нервно скомкали письмо. Это было первое его большое горе после испытанного в детстве, при первом известии о смерти отца на войне. Нет для него теперь радости, будущее сулит ему одно горе, одну печаль! Исчезло с лица Петьки светлое выражение, померк свет в его глазах. «Он что-то нехорошо выглядит! — сказали мать и бабушка. — Вот они, театральные-то заботы!» Обе видели, что ему не по себе; видел это и учитель.

— Что случилось? — спросил он Петьку. — Не могу ли я узнать, в чем дело?

Щеки юноши вспыхнули, он дал волю слезам и затем открыл учителю свое горе.

— Я так искренно любил ее! — сказал он. — И понял это только теперь, когда уже поздно!

— Бедный друг! Я понимаю твое горе! Выплачь же его и утешайся мыслью: «Все к лучшему!» И мне в свое время довелось испытать подобное. И я когда-то любил, как ты, одну девушку, умную, добрую, очаровательную!.. Она должна была стать моею женой. У меня были хорошие средства, я мог окружить ее полным довольством, и она любила меня. Но родители ее и она сама поставили непременно условием нашего брака мой переход в христианство.

— А вы не хотели?

— Я не мог! Нельзя со спокойной совестью перебежать из одной религии в другую! Или согрешишь перед той, которой изменил, или перед той, которую принял!

— У вас нет веры! — сказал Петька.

— У меня есть Бог отцов моих! Он освещает и направляет мои стопы, мой разум!

Несколько минут прошли в глубоком молчании, потом учитель подсел к клавикордам и заиграл мотив старинной народной песни; слова ее не шли, однако, с языка ни у того, ни у другого; каждый при этом думал свое.

Петька не стал перечитывать письма госпожи Габриэль, а та и не подозревала, какое горе причинила своим посланием. Спустя несколько

дней пришло письмо и от самого господина Габриэля. Он также пожелал поздравить своего бывшего ученика, да к тому же имел к нему маленькую просьбу; она-то, собственно, и подала повод к письму. Господин Габриэль просил Петьку купить небольшую группу из фарфора, изображающую Амура и Гименея, любовь и брак. «У нас в городе она распродана, — писал он, — а в столице ее, я думаю, легко достать. Деньги прилагаю и прошу выслать вещицу поскорее. Она нужна для свадебного подарка советнику; мы с супругою были на его свадьбе». Затем он сообщал, что «юному Массену никогда не бывать студентом! Он бросил наш дом, испачкав все стены непристойностями по адресу семейства. Испорченный субъект! Впрочем, «*Sunt pueri pueri, pueri puerilla tractant*», то есть «мальчики — мальчики, а мальчики выкидывают и мальчишеские штуки!» Я перевожу это тебе, так как ты не классик». Этим и заканчивалось письмо господина Габриэля.

XIV

Часто, сидя за клавирами, Петька наигрывал то, что звучало у него в душе, и из-под пальцев его лились звучные мелодии; иногда подбирал к ним и слова, удивительно соответствовавшие музыке. Так создалось несколько поэтичных и мелодичных песенок. Петька напевал их только вполголоса, как будто тая от ушей посторонних.

Все земное, как ветер, уносится вдаль,
Все на свете минует, как грезы.
Гонит бледность румянец, а радость печаль,
За улыбкою следуют слезы!
Так зачем понапрасну грустить и страдать?
Мимолетны и горе и радость!
Как листва, поколенья должны опадать,
И сменяется старостью младость!

Все исчезнуть, исчезнуть должно без следа:
И надежды, и юность, и силы!
То, что минуло, отжило, вновь никогда
Не восстанет из тлена могилы!

— Откуда ты взял этот текст и мелодию? — спросил учитель, случайно увидев ноты и текст песенки.

— Они вылились у меня сами собой! И дальше они не пойдут!

— Печаль тоже приносит свои плоды! — сказал учитель. — Но печаль не должна властвовать над душой. Теперь мы на всех парусах полетим к следующему дебюту! Что ты скажешь о партии Гамлета, датского принца?

— Я знаю трагедию Шекспира, но не знаком с оперою Тома! — ответил Петька.

— Вернее было бы назвать эту оперу «Офелией!» — сказал учитель. — Шекспир в своей трагедии заставляет рассказывать о смерти Офелии королеву, в опере же эта смерть является одним из главных моментов. Теперь мы воочию видим и слышим на сцене ту драму, о которой прежде знали лишь из рассказа королевы:

Где над водой растет, склонившись, ива,
Глядит в волну серебряной листвою,
Туда пришла Офелия с цветами,
Вся в лилиях, фиалках и крапиве, —
Она хотела пестрые венки
Развесить средь ветвей на этой иве,
Но ветвь сломилась — в плачущий поток
Попадали душистые гирлянды,
Она сама упала вслед за ними...
Широко распустившись по воде,
Ее держало платье, как русалку...
Она, свою не замечая гибель,
Обрывки пела из старинных песен, —
Казалось, что с водой она сроднилась...
Но долго это длиться не могло:
Намокло платье; пение замолкло, —
И ложе из подводных трав объятая
Раскрыло ей¹.

В опере, как сказано, все это совершается перед нашими глазами. Мы видим Офелию; она является, играя, танцуя и напевая старинную народную песню о водяном, который заманивает к себе людей. Она рвет цветы и слышит вдруг из глубины реки манящие звуки. Она прислушивается, подходит к реке, хватается рукою за ветвь ивы, наклоняется над водой, чтобы сорвать белую кувшинку, и тихо соскальзывает на широкие листья цветов, качается на них, уносится потоком, как сорванный цветок, и погружается в глубину под звуки чарующей мелодии. Все остальные сцены оперы служат лишь как бы богатой рамкой для этой сцены. Опера Тома не дает нам шекспировского Гамлета, как и опера Гуно — гетевского Фауста. Философские рассуждения не могут послужить сюжетом для оперы, и в обеих названных операх главное место отведено любви.

«Гамлета» поставили. Исполнительница партии Офелии была очаровательна. Сцена смерти произвела глубокое впечатление. Но главный интерес был все-таки сосредоточен на самом Гамлете; он завоевал симпатии всех слушателей, и они росли с каждой сценой. Все были поражены объемом и свежестью голоса певца, звучавшего одинаково прекрасно и

¹ Перевод П. П. Гнедича.

на высоких и на низких нотах. «Спеть с одинаковым успехом и Гамлета и Георга Брауна?!» — удивлялась публика.

Большинство партий в итальянских операх дают артисту полную свободу; создать из данного материала живое лицо предоставляется ему самому; но образы, продуманные и прочувствованные самими композиторами, являются в исполнении талантливых артистов куда выразительнее, прекраснее. Гуно и Тома понимали это и дали в своих операх именно такие образы.

Датский принц, вышедший в исполнении нашего юного друга вполне живым лицом, сосредоточил на себе весь интерес спектакля. Какое сильное, потрясающее впечатление произвели ночная сцена на бастионе, где Гамлет впервые видит тень своего отца, сцена со вставной пьесой и встреча с матерью! А какую силу проявил он в сцене смерти Офелии! Гамлет оказался настоящим героем вечера. Торжество было полное.

— И откуда у него такие дарования? — недоумевала жена коммерсанта, припоминая бедных родителей и бабушку Петьки, живших на чердаке. — Отец простой крючник, — правда, честный, работающий и храбрый малый, павший на поле чести, — а мать прачка! Учился он в приютской школе и, я думаю, не Бог весть какие познания приобрел в два года у какого-то провинциального учителя!

— Гений! — отозвался коммерсант. — Природный гений! Для Господа Бога все возможно!

— Разумеется! — согласилась супруга и однажды, набожно сложив руки, обратилась к Петьке с таким вопросом: — А вы цените ли как следует дары Божии? Сознаете ли, как бесконечно милостив был к вам Господь? Вам все дано! Ах, вы не знаете, до чего хватает за душу ваш Гамлет! Едва ли вы имеете об этом понятие. Я слышала, например, что многие великие поэты сами не знают, какие творят прекрасные вещи, пока им не растолкуют этого философы! Какими чарами открыли вы вашего Гамлета?

— Я вдумался в характер героя, прочел кое-что из того, что написано по поводу шекспировской трагедии, и приложил все старания, чтобы создать на сцене живое лицо, а Господь Бог довершил остальное!

— Господь Бог! — сказала она с некоторою укоризною. — Не употребляйте Его имени всуе! Он наградил вас талантом, но не думаете же вы, что Ему есть дело до театра, до оперы!

— Даже уверен в этом! — смело ответил молодой человек. — Сцена так же служит местом проповеди, как и церковная кафедра! И люди часто внимательнее слушают артиста, чем пастора!

— Господь, конечно, принимает участие во всем, что служит добру и красоте, но остережемся злоупотреблять Его именем! Хорошо быть великим артистом, но еще лучше быть хорошим христианином! — сказала

барыня. Нет, Феликс никогда бы так не выразился при ней, не сравнил бы театра с церковью! В этой мысли было столько отрадного!

— Ну, теперь вы попали в немилость к моей маме! — сказал Петьке Феликс.

— Очень жаль!

— Беда, впрочем, невелика. Она вернет вам свою милость в следующее же воскресенье, стоит ей увидеть вас у обедни! А вы встаньте за стулом мамы и посмотрите направо: там сидит такая красotka! Это дочка вдовы-баронессы. Я даю вам хороший совет! И вот еще один: перемените квартиру. Вам неудобно теперь оставаться на прежней! Надо взять квартиру побольше и с приличным ходом! Если же вы не хотите расстаться со своим учителем, уговорите его устроиться получше! Средств у него на это хватит, да и у вас теперь доходы хорошие. Затем вам следовало бы устроить для своих друзей праздник! Я тоже могу сделать это и, пожалуй, дам ужин, а вы со своей стороны приведите парочку хорошеньких танцовщиц! Счастливцев вы, право! Только сдается мне, что вы до сих пор еще не понимаете жизни, не понимаете, что значит быть молодым человеком!

Петька понимал, но на свой лад. Он со всем пылом молодого невинного сердца любил искусство; оно было его возлюбленной, радовало его, озаряло всю его жизнь солнечным светом. Уныние и печаль, угнетавшие его одно время, он скоро поборол. Все знавшие его так любили его, относились к нему с такой сердечной теплотой. Право, его янтарное сердечко было талисманом! Петька не был свободен от некоторого суеверия, вернее, детской веры в чудесное. Ни одна гениальная натура не чужда этой веры; все талантливые люди верят в свою звезду. Да и недаром же бабушка показывала ему, какой притягательной силой обладает янтарь; кроме того, он сам видел во сне, как из этого янтарного сердечка выросло дерево, проросло через потолок и крышу и обросло тысячами золотых и серебряных сердец. Это означало, конечно, что и его собственное сердце, как сердце служителя искусства, притянет к нему тысячи и тысячи сердец!

Несмотря на различие характеров, между Петькой и Феликсом установились самые дружеские отношения. Петька объяснял это различие тем, что Феликс, как сын богатых родителей, вырос среди соблазнов, он же вырос в бедности и был поэтому поставлен в более счастливые условия. Оба ровесника быстро подвигались вперед по пути почестей: Феликс ожидал пожалования в камер-юнкеры, а это ведь первый шаг к камергерству, к золотому ключу на мундире! Петька же, как баловень счастья, уже носил золотой ключ в сердце, ключ, отпиривший ему как все людские сердца, так и сокровищницу искусства.

Стояла еще зима; ездили на санях; раздавался звон упряжных бубенчиков; порошил снежок; но стоило прорваться сквозь облака солнечному лучу, и ясно чуялось приближение весны. Она уже пела свои песни и в душе нашего юного друга:

Земля еще устлана снежным ковром,
Алмазами блещут деревья кругом,
Резвятся на льду ребятишки толпою,
Но скоро простимся с зимой мы седою!
Небес синева станет снова ясна,
Над миром опять воцарится весна!
Пуховые варсжки, ивы, снимайте,
А вы, музыканты, играть начинайте!
К вам пташки лесные все хором примкнут
И звучно весну нам красну воспоют!
Глядит на нас яркое солнце с небес,
Дыханье в груди затаил голый лес
И ждет, не шелохнется... Ночь миновала,
И солнце зеленый уж лес увидало!
Чу! где-то далеко кукушка кричит,
Несчетные жить тебе годы сулит.
Средь юной природы сам юн будь душою
И громко приветствуй ты песною живою
Весну-чаровницу, что нам говорит:
«Веселая юность над миром царит!»

Веселая юность над миром царит,
Мир солнечным ярким весь светом залит,
И сказка волшебная — жизнь вся земная!
Таится в нас вечная сила живая;
Она не исчезнет с земли без следа,
Как с неба порою ночью звезда.
Так пусть же поет и ликует природа,
А с ней и царица прекрасная года,
Весна-чаровница, что нам говорит:
«Веселая юность над миром царит!»

— Да это целая музыкальная картина! — сказал учитель. — И мелодия, и оркестровка очень удачны! Это самый лучший из твоих музыкальных набросков. Тебе надо серьезно приняться за изучение генерал-баса, хоть судьба и не предназначила тебя в композиторы.

Молодые артисты, друзья Петьки, не преминули исполнить эту музыкальную картинку в одном из больших концертов; она обратила на себя некоторое внимание, но не вызвала особенных надежд. Нашему герою была открыта иная торная дорога: он выделялся не только своим прекрасным, симпатичным голосом, но и замечательным драматическим

талантом, который он так ярко обнаружил в Гамлете и в Георге Брауне. Сам Петька предпочитал настоящие оперы смешанным пьесам, в которых пение чередуется с разговорами. Ему казались неестественными эти переходы от пения к разговорной речи и наоборот. «Это все равно, — говаривал он, — что с мраморной лестницы перейти на деревянную или веревочную, а потом опять на мраморную! Гораздо лучше, если все произведение составляет одну цельную музыкальную эпопею!»

«Музыка будущего» и проповедник ее Вагнер нашли в молодом певце горячего поклонника. Он говорил, что в операх этого композитора характеры очерчены удивительно рельефно, речитативы строго обдуманно, а ход драматического действия необыкновенно жив и естествен, его не тормозят вечно повторяющиеся мотивы. «Эти большие вставные арии сильно вредят впечатлению!» — говорил он.

— Да, да, вставные! — возражал учитель. — А я скажу тебе, что в операх великих композиторов они составляют нераздельную существенную часть целого! Да и вообще, если есть где место лирическим излиниям, так это именно в операх! — И он приводил в пример арию из «Дон Жуана», которую поет дон Оттавио: «Остановитесь, слезы!» — Это ведь точно чудное лесное озеро, на берегу которого можно отдохнуть, отдаваясь очарованию лесных звуков! Я преклоняюсь перед всеми талантливыми проповедниками «музыки будущего», но не стану делать себе из них кумиров, как ты! Да и ты-то не совсем искренен в своем увлечении, если же и искренен, то лишь оттого, что не совсем ясно понимаешь эту музыку!

— А вот я выступлю в какой-нибудь из опер Вагнера и докажу своим пением и игрою то, чего не могу доказать словами! — сказал молодой артист. Скоро он и выступил в «Лоэнгрине». Нет, положительно никто еще не передавал так сцену первой встречи с Эльзой, когда молодой таинственный рыцарь приплывает в лодке, которую влечет лебедь! Никто не увлекал так слушателей и в сцене душевной беседы с молодой женой в брачном покое, и в сцене прощания с нею, когда над рыцарем, который явился, победил и должен опять исчезнуть, парит белый голубь Грааля!

В этот вечер наш молодой друг сделал еще шаг вперед к совершенству в области искусства, а учитель его — шаг вперед к признанию «музыки будущего». «С некоторыми ограничениями!» — прибавил он, однако.

XVI

Однажды молодой певец и Феликс встретились на ежегодной выставке картин перед портретом молодой красавицы, дочери вдовы-баронессы, — как обыкновенно называли последнюю. В салоне вдовы-баронессы соби-рался весь цвет аристократии и артистического мира, а также все вы-

дающиеся представители науки. Молодая баронесса была еще прелестным невинным ребенком; ей было всего шестнадцать лет. Портрет поражал сходством с оригиналом и мастерством исполнения. «Пойдем в следующую залу! — сказал Феликс. — Там стоит сама молодая красавица со своей матерью».

Дамы были погружены в созерцание оригинальной картины, изображавшей окрестность Рима, Кампанию: молодая чета — видно, муж с женою — ехала верхом на одной лошади; центральной фигурой картины являлся молодой монах; он грустно смотрел вслед счастливой чете, и на лице его ясно можно было прочесть его мысли, грустную повесть его жизни — несбывшиеся мечты, погибшие надежды на счастье взаимной любви!

Баронесса заметила Феликса, и он почтительно раскланялся с обеими дамами. То же сделал и молодой певец. Баронесса сейчас же узнала его и, обменявшись сначала несколькими словами с Феликсом, протянула ему руку и сказала:

— И я, и дочь моя принадлежим к почитательницам вашего таланта! — Как хороша была в эту минуту молодая девушка! Ее кроткий ясный взгляд как будто благодарил талантливую певицу. — У меня собираются многие из выдающихся артистов! — продолжала баронесса. — Мы, простые смертные, нуждаемся в освежающем веянии искусства! Вы также будете у нас желанным гостем! Наш молодой дипломат, — прибавила она, указывая на Феликса, — будет вашим путеводителем на первый раз, а затем, я надеюсь, вы и сами найдете к нам дорогу! — И она приветливо улыбнулась молодому человеку, а дочь ее мило и просто пожала ему руку, точно старому знакомому.

Поздняя осень; холодный, ненастный вечер. Погода такая, что ни пройти, ни проехать, и, несмотря на это, по улице шагают двое молодых людей, двое ровесников: сын богача и первый певец оперы, оба в плащах, в башлыках и в калошах. Переход от сырого мглистого воздуха улицы к свету и теплу уютного помещения баронессы просто ослепил их и напомнил волшебные превращения в балете. Лестница была вся устлана коврами и уставлена роскошными растениями; на площадке журчал фонтан; струйки воды ниспадали в бассейн, обсаженный цветами. Огромная зала сияла огнями; нарядные гости все прибывали; скоро стало почти тесно; дамы волочили за собой длинные шлейфы, на которые то и дело наступали гости, шедшие позади; шуршанье шелковых платьев, смех, пестрая мозаика разговоров... Последние-то, впрочем, из всего окружающего представляли наименьший интерес. Будь молодой певец потщеславнее, он бы мог вообразить себя героем вечера — так сердечно приняли его и мать, и дочь, так осыпали его комплиментами все гости: и дамы, и даже

мужчины. В продолжение вечера общество развлекалось музыкой, пением и декламацией; один молодой поэт прочел свое новое и весьма удачное стихотворение, кое-кто из гостей-артистов сыграл, кое-кто спел. По отношению же к нашему герою и гости, и хозяйка проявили особенную деликатность: никто не решился приставать к нему с обычными просьбами достойно завершить музыкальную часть вечера. Хозяйка дома вообще была воплощенной любезностью и душой всего общества.

Так состоялось первое вступление нашего друга в большой свет, а вскоре за тем он, в числе немногих избранных, был допущен и в интимный кружок баронессы. Учитель смеялся и покачивал головой.

— Как ты еще юн, друг мой! — сказал он однажды ученику. — Тебя еще могут забавлять сношения с такими людьми! И среди них, конечно, есть люди почтенные, но все они смотрят на нас, простых людей, свысока! Они принимают в свой кружок артистов, баловней минуты, лишь из тщеславия, из желания развлечься или прослыть меценатами. Артисты играют в их салонах роль цветов в вазах; они тешат глаз, пока свежи, а увянут — их выбросят вон!

— Какой желчный и несправедливый взгляд! — возразил молодой человек. — Вы не знаете и не хотите узнать этих людей.

— Не хочу! — ответил учитель. — Я чужой им! И ты тоже! И все они знают и помнят это! Они любят тебя, ласкают тебя, как ласкают скаковую лошадь, обещающую взять первый приз! Ты иной породы, нежели они, и они отвернутся от тебя, когда пройдет на тебя мода. Если же ты не понимаешь этого сам — в тебе нет настоящей гордости! Ты тщеславен, вот почему и гоняешься за ласками их сиятельств.

— Знай вы баронессу и еще кое-кого из моих новых друзей, вы бы заговорили не так! — сказал молодой человек.

— Да я и знать их не хочу! — стоял на своем учитель.

— Ну-с, так когда же вас объявят женихом? — спросил однажды молодого певца Феликс. — И чьим — маменьки или дочки? — И он рассмеялся. — Смотрите не присватайтесь к дочке! Вы вооружите против себя всю нашу золотую молодежь, приобретете врага и во мне, да еще какого лютого!

— Как это понять? — спросил наш друг.

— Да ведь вы теперь самый желанный гость в доме баронессы! Вам рады во всякое время и во всякий час! Что ж, женившись на маменьке, вы разбогатеете и вступите в одну из лучших фамилий.

— Перестаньте шутить! Это выходит вовсе не забавно!

— Да я и не претендую на это! Я говорю совсем серьезно! Не захотите же вы, в самом деле, огорчить ее сиятельство, оставить ее вторично вдовою!

— Оставьте, пожалуйста, баронессу в покое! Смейтесь, если хотите, надо мною, но только надо мною, и я сумею ответить вам!

— Никто, конечно, не поверит, что с вашей стороны это будет брак по страсти! — продолжал Феликс. — Красавица немного увяла — нельзя же безнаказанно жить ради одного духа и пренебрегать плотью!

— Я ожидал, что вы проявите более такта, говоря о даме, которую должны уважать, раз вы бываете в ее доме! Одним словом, я больше этого не потерплю! — твердо сказал наш друг.

— А что же вы сделаете? Вызовете меня на дуэль?

— Я знаю, что вы учились фехтовать, а я нет, но выучиться мне недолго! — с этими словами молодой человек отошел от Феликса.

Несколько дней спустя молодые люди, родившиеся под одной крышей, один в бельэтаже, а другой на чердаке, снова встретились, и Феликс заговорил с нашим другом как ни в чем не бывало; этот отвечал ему вежливо, но коротко.

— Это еще что? — сказал Феликс. — Мы оба немножко погорячились в последний раз! Но нельзя же обижаться на шутки! Ну, да я не злопамятен! Кто старое помянет, тому глаз вон! Надо прощать друг другу!

— А вы сами-то можете простить себе свои выходки по адресу дамы, которую мы оба должны уважать?

— Я не сказал ничего неприличного! — ответил Феликс. — В свете дозволяется точить язычок насчет ближнего! Никто не видит в этом ничего дурного! Это «пряная приправа» к пресной обыденной жизни, как говорит поэт. Все мы склонны злословить. И вам, в свою очередь, не возбраняется пустить камешек в чужой огород!

Скоро их опять увидели на прогулке рука об руку. Феликс знал, что не одна молодая красавица, которая в другое время и не взглянула бы на него, теперь обратит на него свое внимание, как на близкого друга модного певца. От света рампы вокруг чела героев сцены образуется радужный ореол, который иногда не меркнет и при дневном свете. Большинство артистов надо, однако, любоваться, как и лебедями, когда они среди их родной стихии, а не на мостовой или на публичном гулянье! Наш молодой друг принадлежал, впрочем, к счастливым исключениям: идеальное представление о нем, как о Гамлете, Георге Брауне или Лоренгине, не исчезало и при ближайшем знакомстве с ним. Он сознавал это, и такое сознание не могло не доставлять ему известного удовольствия. Да, счастье во всем благоприятствовало своему любимцу; чего бы, казалось, желать ему еще? И все-таки по юному, дышащему оживлением, лицу его иногда пробегали тени, а пальцы наигрывали на клавикордах грустный мотив песенки:

Все исчезнуть, исчезнуть должно без следа:
И надежды, и юность, и силы!

То, что минуло, отжило, вновь никогда
Не восстанет из тлена могилы!

— Какая грустная мелодия! — сказала, услышав ее, баронесса. — А вам ли грустить? Вы баловень счастья! Счастливее вас я не знаю никого!

— «Не называй никого счастливым, пока он не сойдет в могилу!» — повторил молодой человек слова Солона и печально улыбнулся. — Но, конечно, с моей стороны было бы грехом, неблагодарностью не чувствовать себя счастливым. Я и счастлив, и благодарен за дарованные мне блага, но смотрю на них несколько иначе, нежели посторонние люди. Все это не более как красивый фейерверк, который сгорит и погаснет! Сценическое искусство недолговечно! Вечно горящие звезды меркнут, пожалуй, перед мимолетными метеорами, но стоит этим метеорам исчезнуть, и от них не остается и воспоминания, кроме разве заметок в старых газетах! Внуки и правнуки не будут иметь и представления об артистах, восхищавших со сцены их дедов и прадедов. Молодежь, может быть, так же искренно и шумно увлечется блеском меди, как старики увлекались блеском настоящего золота. Куда завиднее доля поэта, ваятеля, художника или композитора, хотя при жизни-то они и зачастую терпят нужду, прозябают в безвестности, тогда как истолкователи их, посредники между ними и публикой, утопают в роскоши, осыпаются почестями! Но пусть люди забывают солнышко ради блестящего облака — облако испарится, а солнце будет светить и сиять миллионам грядущих поколений! — Он опять сел за клавикорды и излил свою душу в такой задумчивой и могучей импровизации, какой еще от него не слышали.

— Дивно хорошо! — сказала баронесса. — Эти звуки как будто рассказали мне историю целой жизни! Вы сыграли нам «песнь песней» сердца!

— А мне показалось, что это была импровизация на тему из «Тысячи и одной ночи!» — сказала молодая баронесса. — Помните Алладина? — и взор ее, в котором блестели слезы, задумчиво устремился вдаль.

— Алладин! — невольно повторил молодой человек.

В этот вечер в нашем герое как будто совершился какой-то перелом; с той поры для него началась новая эра. Быстро промелькнул год. Какая же перемена произошла за это время с молодым человеком? Щеки его потеряли свой свежий румянец, глаза стали светиться лихорадочным блеском, пошли бессонные ночи. Но он не проводил их в кутежах и оргиях, как многие великие артисты. Он стал молчаливее, но на душе у него было еще светлее, еще радостнее прежнего.

— Что с тобой? О чем ты постоянно думаешь? — спрашивал его учитель. — Ты не все доверяешь мне!

— Я думаю о своем счастье! — отвечал он. — Я думаю о бедном мальчике... об Алладине!

Потребности у нашего юного друга были самые скромные, и он, как и многие люди, выросшие в бедности и затем достигшие некоторого достатка, находил, что живет припеваючи. В самом деле, материальное положение его было теперь настолько хорошо, что он вполне мог последовать совету Феликса — устроить для своих друзей праздник. Он и вспомнил о своих друзьях, о вернейших и старейших друзьях своих — матери и бабушке. Вот для кого, а вместе с тем и для себя самого, он и решил устроить праздник.

Стояла чудная весенняя погода; молодой человек, еще накануне пригласивший мать и бабушку прокатиться с ним сегодня за город на новую дачу, купленную его учителем, уже собирался сесть в экипаж, как его перехватила на дороге какая-то бедно одетая женщина лет тридцати на вид. Она подала ему памятную записку с собственноручной припиской госпожи Гоф.

— Вы не узнаете меня? — сказала она. — Меня когда-то звали «кудрявой головкой». Теперь локонов уже нет, много чего нет, но добрые люди на свете еще есть! Одно время я танцевала вместе с вами в балете! Но с тех пор вы далеко опередили меня! Вы достигли известности, а я развелась с двумя мужьями и больше уже не танцую! — В памятной записке говорилось о желании просительницы обзавестись швейной машиной.

— В каком же балете мы танцевали вместе? — спросил молодой человек.

— В «Падуанском тиране!» — ответила она. — Мы оба были пажам, в голубых бархатных плащах и беретах. Неужели вы не помните Малле Кналлеруп? Я шла в процессии как раз за вами!..

— И все наступали мне на ногу!

— Разве? — спросила она. — Ну, значит, я далеко шагала! Вы, однако, шагнули еще дальше! — И грустное выражение ее лица быстро сменилось заигрывающим, как будто она и не весть какой комплимент сказала ему. Он выразил полную готовность помочь ей приобрести швейную машину и простился с нею. Как-никак, а Малле Кналлеруп тоже на свой лад посодействовала тому, чтобы он бросил балет и попал на лучшую дорогу!.. Скоро экипаж остановился перед домом коммерсанта, и молодой человек поднялся вверх. Мать и бабушка уже ждали его, обе такие разряженные. В эту же минуту счастливый случай привел к ним госпожу Гоф, и ее сейчас же пригласили участвовать в прогулке. Она сначала не знала, как ей быть, но наконец решилась ехать, известив супруга о неожиданном приглашении записочкой.

Вот и покатили. Молодой человек то и дело раскланивался со знакомыми. «Сколько у него шикарных приятелей!» — дивилась госпожа

Гоф. «Едем, точно знатные барыни!» — восхищалась мать. «Чудесный экипаж!» — прибавляла бабушка.

Сейчас же за городом, близехонько от королевского парка, стоял маленький приветливый домик; по стенам вился дикий виноград, а в палисаднике росли розы, кусты орешника и фруктовые деревья. Экипаж остановился; гостей встретила пожилая девушка, старая знакомая матери и бабушки, часто помогавшая им в стирке и глаженье. Осмотрели сад, потом дом. Ах, что за прелесть! Гостиная соединялась с маленькой стеклянной галерейкой, уставленной чудесными цветами. Дверь была выдвижная.

— Точно кулиса! — сказала госпожа Гоф. — Вдвинь ее рукой и сиди себе, словно в птичьей клетке, среди свежей травки! Это называется зимним садом.

Спальня тоже была чудесная, хотя и в другом роде: длинные, плотные занавеси на окнах, мягкий ковер и два мягких кресла. Чудо просто! Мать и бабушка не преминули испробовать, удобны ли они.

— Ну, сидя на таких креслах, недолго и облениться! — сказала мать.

— Так мягко, что и не чувствуешь собственной тяжести! — воскликнула госпожа Гоф. — Да, тут вам, музыкантам, будет полное раздолье! Отдыхайте себе всласть от театральной сутолоки! Знаю я ее! Да, подумайте, я еще иногда вижу во сне, что танцую в балете и Гоф рядом со мной! Ну не чудесно ли это? «Две души, а мысль одна!»

— Да, тут будет просторнее, чем у вас на чердаке! — сказал молодой человек, весь сияя от радости.

— Еще бы! — согласилась мать. — Но и у нас недурно! Там я жила с твоим отцом, там родился и ты, мой милый сынок!

— Ну, здесь все-таки лучше! — решила бабушка. — Прямо барское помещенье! От души поздравляю с новосельем и тебя, и твоего бесподобного учителя!

— А я поздравляю с новосельем тебя, бабушка, и тебя, дорогая матушка! Теперь вы поселитесь здесь! Полно вам лазить по высокой лестнице на чердак! Будет у вас и помощница по хозяйству! А я стану навещать вас здесь так же часто, как и в городе. Ну, что же, вы рады, довольны?

— Что с мальчиком? Что это он говорит! — сказала мать.

— Я говорю, что этот дом ваш! Твой и бабушкин! Наконец-то моя мечта сбылась! Большое спасибо моему дорогому учителю: это он помог мне устроить все как следует!

— Да ты шутишь, сынок! — прервала его мать. — Ты хочешь подарить нам этот барский дом? Да ты бы и рад был, кабы только мог!

— Я вовсе не шучу! Дом этот теперь ваш! — И он расцеловал их обеих, а они заплакали от радости. Заплакала и госпожа Гоф.

— Это счастливейшая минута в моей жизни! — продолжал молодой человек и принялся обнимать и целовать всех трех женщин одну за

другую. Теперь, разумеется, матери и бабушке нужно было начать осмотр сначала — все это было ведь их собственное! Вместо нескольких горшков с цветами, выставленных за окошко на крышу, у них был теперь прекрасный зимний садик, вместо одного шкафчика для провизии — целая кладовая, а уж кухня какая!.. Теплая, светлая, с печкой и плитой, светлой и блестящей, как утюжная плитка!

— Ну, теперь и у вас свой уголок, как у меня! — сказала госпожа Гоф. — Заживете по-царски! Теперь вы достигли всего, чего только может желать человек на земле! И ты тоже, мой милый дружок!

— Нет, не всего еще! — возразил он.

— Ну, молодая женка не заставит себя ждать! — сказала госпожа Гоф. — И я уж знаю ее! Предчувствую! Но пока молчок! Ах, ты милый мой! Право, все это точно в балете! — И она засмеялась сквозь слезы; мать и бабушка тоже.

XVIII

Создать оперу, написать самому и либретто, и музыку, и самому же ознакомить с нею со сцены публику — да, вот это задача! Герой наш, подобно Вагнеру, обладал даром драматического творчества, но был ли присущ ему и музыкальный гений? Он то верил, то не верил в свои силы, но отделаться от заполонившей все его мысли идеи не мог. Год тому назад она еще только мелькала перед ним фантастической мечтой, теперь он уже смотрел на нее как на достижимую цель жизни и приветствовал свои музыкальные импровизации как крылатых вестников надежды! Маленькие романсы и характерная весенняя песня тоже указывали ему на таившуюся в его душе, не открытую еще «страну мелодий»; да и не ему одному; баронессе эти композиции тоже напоминали те свежие ветви деревьев, которые возвестили Колумбу близость еще не видимого на горизонте берега. И баловню счастья суждено было достигнуть этого берега! Случайно оброненное прекрасной молодой девушкой слово запало ему в душу и пустило там ростки, точно зерно. Слово это было — «Алладин».

Наш молодой друг был таким же баловнем счастья, как Алладин. Он сам сознавал это. И вот он с увлечением принялся читать и перечитывать прекрасную восточную сказку об Алладине, а затем мысленно перерабатывать ее в драму. В воображении его уже возникали сцена за сценой, создавались целые монологи и даже рождались мелодии, одна богаче другой. К тому же времени, как он покончил с либретто, он открыл у себя в душе целый источник, неиссякаемый родник звуков и мелодий; они так и били из нее ключом! Он разработал и либретто, и музыку, и несколько месяцев спустя опера была окончена вполне.

Никто не знал о ней, никто не слышал из новой оперы ни единой ноты; никто, даже ближайший друг молодого композитора — учитель его. Никому из сидевших в театре и восхищавшихся пением и игрою любимого артиста и в голову не приходило, что молодой певец, так горячо отдававшийся на сцене своей роли, еще горячее отдавался дома новому труду, прислушиваясь к звукам, рождавшимся в его собственной душе.

Как сказано, сам учитель пения не подозревал ничего, пока новая опера не очутилась у него на столе для просмотра. Какой-то приговор ожидал ее? Конечно, старый учитель будет строг и справедлив! Молодой композитор то предавался самым радужным надеждам, то впадал в сомнение и даже прямо отчаивался в своем таланте. Прошло два дня; за все это время ни учитель, ни ученик не обмолвились о занимавшем их обоих предмете ни словом. Наконец учитель, вполне ознакомившись с партитурой, позвал к себе ученика. Лицо его было необыкновенно серьезно; что означала эта серьезность?

— Я никак не ожидал этого! — начал он. — Ты порастил меня! И я еще не в состоянии высказаться вполне определенно. Есть кое-какие погрешности в инструментовке, но их можно исправить. Есть затем кое-что и новое, совсем оригинальное, смелое, но об этом можно будет судить как следует лишь на репетициях. Как на Вагнере заметно отразилось влияние Карла-Мари Вебера, так на тебе — влияние Гайдна. Твои новаторские попытки еще слишком чужды моему пониманию, а сам ты слишком близок моему сердцу, так что в настоящие судьи тебе я не гожусь!.. Да и не хочу я судить тебя, а просто обниму да расцелую. — И он в неудержимом порыве чувства горячо обнял своего ученика. — Счастливцев ты! — прибавил он.

Скоро по городу разнесся слух, проникший даже в газеты, слух о новой опере, произведении певца, любимца публики. «Что ж, плох тот портной, что не сумеет выкроить из обрезков хоть детской курточки!» — говорили одни. «Быть и либреттистом, и композитором, и певцом — вот это, можно сказать, трехэтажный гений! — говорили другие. — Впрочем, он родился-то еще выше — на чердаке!» «Это он вместе с учителем состряпал! — говорили третьи. — И теперь пойдут трубить оба друг о друге!»

Приступили к разучиванию партий. Участвовавшие в опере артисты не хотели раньше времени высказывать своего мнения: «Пусть не говорят, что успех или неуспех оперы подготавливается за кулисами!» И, говоря это, все они смотрели чрезвычайно серьезно, не желая, чтобы на их лицах прочли хоть малейший намек на блестящие надежды. «Уж больно он часто прибегает к рожку! — сетовал горнист, тоже композитор. — Как бы только он со своей оперой не наскочил на рожон». «Гениальная вещь! Мелодичная характерная музыка!» — были и такие отзывы.

— Завтра в этот час эшафот будет уже воздвигнут! — сказал молодой человек. — А приговор, может быть, уже произнесен сегодня!

— Кто называет твою оперу шедевром, кто говорит, что она никуда не годится! — сказал учитель.

— А где же правда?

— Да, вот где правда? Это и я у тебя спрошу! Взгляни вон на звезду да и скажи, где ее настоящее место! Погляди сначала одним глазом, а другой закрой! Ну, видишь? Теперь погляди другим глазом, а этот закрой! Что? Звезда переместилась! Так если и у человека глаза видят различно, как же различно должна смотреть на вещи толпа?

— Будь что будет! — сказал молодой человек. — Мне все-таки надо было узнать себе цену, узнать, на что я способен и что мне не по силам!

Настал и знаменательный вечер, когда вопрос этот должен был решиться. Певцу, любимцу публики, предстояло или еще возвыситься в ее мнении, или же пасть. Да, или пан, или пропал! На первое представление оперы смотрели в городе как на своего рода событие, и желающие попасть на него всю ночь продежурили у театральной кассы. Вечером театр был переполнен сверху донизу. Дамы явились с роскошными букетами. Унесут ли они эти цветы обратно или засыпят ими победителя?

Баронесса с дочерью заняли ближайшую к сцене ложу бельэтажа. В театральной зале стоял гул, публика с трудом сдерживала свое нетерпение. Вдруг все разом смолкло, превратилось в слух: капельмейстер занял свое место, и увертюра началась. Кто не помнит музыкального этюда Гензельта «Si l'oiseau j'étais»? В нем как будто слышится ликующее щебетанье птичек; нечто подобное слышалось и в этой увертюре; звонкие ликующие детские голоса сливались с кукованьем кукушки и пением дрозда. Наивная, веселая, ликующая музыка прекрасно обрисовывала характер Алладина, этого взрослого ребенка. И вдруг в эти дышащие наивным весельем звуки ворвался глухой удар грома — это являл свою силу волшебник Нурредин. Еще удар — скала расселась, и полились нежные чарующие звуки, увлекавшие Алладина в пещеру, где скрывалась лампа, охраняемая невидимыми духами; в оркестре как будто слышался шелест их крыл. Затем валторны запели тихую, детски искреннюю молитву; все тише, тише... вот она почти замерла... и вдруг опять зазвучала с новой силой, разрослась в мощные аккорды, напоминавшие призыв архангела в день судный. Алладин схватил лампу. Широкой волной хлынули могучие, торжествующие звуки!.. Занавес поднялся при восторженных восклицаниях, звучавших под аккомпанемент оркестра заздравным приветствием. На сцене играл с ребятишками долговязый красивый юноша. С каким наивным увлечением отдавался он игре! Вот бы увидела его бабушка! Она бы, наверное, воскликнула: «Да ведь это наш Петька! Так вот резвился он и у нас на чердаке, гарцуя от печки к сундуку! Он ни чуточки не изменился с тех пор!» А с какой искренней детской верой пропел он, по приказанию Нурредина, молитву перед тем, как

спуститься в подземелье! Что именно — чистая, проникнутая глубоким религиозным настроением музыка или артистическое исполнение певца — так увлекло слушателей? Восторгам не было конца. Повторение этой молитвы было бы просто профанацией, и ее и не повторили, несмотря на настойчивые требования публики. Занавес опустился; первое действие кончилось. Всякая критика смолкла; слышались лишь возгласы удивления и восторга. Затем занавес опять поднялся; из оркестра снова полились дивные звуки, родственные чарующим нас в «Армиде» Глюка и в «Волшебной флейте» Моцарта. Алладин стоял в волшебном саду. Камни, цветы, источники, глубокие ущелья — все как будто пело, отовсюду неслись нежные тихие звуки, сливавшиеся в один величественный хор. Ему аккомпанировал то как будто приближавшийся, то удалявшийся шум крыл паривших в воздухе невидимых духов. На фоне же этих звуков ярко выступала ария — монолог самого Алладина, — написанная по обычному образцу больших оперных арий, но являвшаяся по ходу действия живой, необходимой частью целого. Чистый прелестный голос и задушевное исполнение артиста хватало за сердце; восторг слушателей все возрастал и достиг высшего своего предела, когда Алладин схватил лампу и раздался могучий хор побежденных духов. Букеты дождем посыпались к ногам Алладина, и скоро он стоял на настоящем ковре из цветов. Какое торжество! Какая блаженная минута. Выше, блаженнее ее у него уже не будет в жизни! Молодой артист чувствовал это. Лавровый венок, коснувшись его груди, упал к ногам его. Он видел, кто бросил этот венок, видел, как молодая баронесса встала в своей ложе и громко рукоплескала его торжеству. Словно огненная струя пробежала по его телу, сердце расширилось в груди до боли, он выпрямился, прижал венок к сердцу и упал навзничь. Что это? Обморок, смерть?.. Занавес опустился.

«Смерть!» — пронеслось по зрительной зале. Молодой артист умер в момент высшего своего торжества, вкусил такую же блаженную смерть, как Софокл на Олимпийских играх, как Торвальдсен в театре под звуки бетховенской симфонии. Лопнул кровеносный сосуд в сердце, и певец упал, как сраженный молнией, отошел в вечность без боли, без страданий, сопровождаемый громом восторженных аплодисментов. Петька-Счастливец свершил свою жизненную миссию!



КАРТИНКИ-НЕВИДИМКИ¹

Странное дело! Всякий раз, как чувства во мне разгорятся с особенной силой и так вот и просятся наружу — точно кто свяжет мне и руки и язык! Ни передать, ни высказать того, что у меня на сердце! А ведь я художник; я и сам это вижу, и от других слышу, ото всех, кто только видел мои рисунки и наброски.

Человек я бедный и живу в узеньком переулке; светом я, впрочем, богат: каморка моя в самом верху, и я пользуюсь видом на все соседние крыши. Первые дни по переезде в город мне было как-то не по себе: тесно, скучно, вместо леса и зеленых холмов на горизонте — одни закоптелые трубы. Ни одной знакомой души, ни одного дружеского, приветливого лица!

Но раз вечером подхожу я в грустном раздумье к окошку, растворяю его и выглядываю... Вот радость-то! На меня приветливо глядит знакомый круглый лик, мой лучший, давнишний друг — месяц! Он ничуть не переменялся, все такой же, как и в то время, когда светил, бывало, ко мне из-за ветвей ив, росших у болота. Я послал ему воздушный поцелуй, а он заглянул в мою каморку и пообещал навещать ко мне каждый вечер, когда выйдет на прогулку. Он и сдержал слово; жаль только, что визиты его обыкновенно так коротки! Он всякий раз что-нибудь рассказывает мне о том, что видел или накануне, или в этот же вечер. «Набрасывай эти картинки в тетрадь, и выйдет целая книжка с картинками!» — сказал он мне в первое же свое посещение. Я так и делал вечер за вечером и мог бы теперь предложить вам своего рода новую «Тысячу и одну ночь» в картинах, да это, пожалуй, было бы уж слишком! Даю поэтому лишь несколько картинок; я не выбирал их, они являются здесь в том же порядке, в каком набросаны у меня. Гениальный художник, поэт или композитор сумел бы воспользоваться этим материалом лучше, я же могу дать

¹ Заглавие датского подлинника «Billedbog uden Billeder», по-немецки «Bilderbuch ohne Bilder», в дословном переводе: «Книжка с картинками без картин». — *Примеч. перев.*

только одни бледные наброски вперемешку с собственными размышлениями — месяц навещал меня ведь не каждый вечер: случалось, что его заволакивали облака.

ВЕЧЕР I

«Прошлою ночью, — говорю словами самого месяца, — я скользил по ясному небу Индии, глядясь в воды Ганга. Лучи мои тщетно силились проникнуть сквозь чащу старых платанов; густолиственные ветви их переплелись и образовали стену, непроницаемую, как броня черепахи. Вдруг из чащи вышла молодая девушка, легкая, как газель, прекрасная, как сама Ева, истая дочь Индии, поражающая какою-то воздушной прелестью и в то же время пышной роскошью форм. Сквозь тонкую кожу, казалось, просвечивали самые мысли девушки. Колючие лианы рвали ее сандалии, но она быстро шла вперед. Хищный зверь, только что утоливший в реке свою жажду, пугливо отпрянул в сторону: в руках у девушки сияла лампада. Я видел, как переливалась алая кровь в нежных пальчиках, прикрывавших пламя от ветра. Вот она подошла к реке и пустила лампаду по течению. Огонек заколебался; вот-вот он погаснет, но нет! Девушка провожала его сияющим взором; все силы ее души сосредоточились в сверкающих огнем глазах, опущенных шелковой бахромой длинных ресниц. Ведь если огонек будет гореть, пока лампада не скроется из виду — милый ее жив; погаснет — значит, он умер! Лампада плыла, огонек горел, то вспыхивая, то замирая, а с ним вместе то вспыхивало надеждой, то замирало и сердце девушки. Вот она опустилась на колени, и уста ее зашептали молитву. Невдалеке притаилась в густой траве холодная скользкая змея, но девушка не думает о ней; мысли ее несутся к Бrame и к милому. «Он жив!» — радостно восклицает она, и горы шлют отклик: «Он жив!»

ВЕЧЕР II

«Вчера, — рассказывал месяц, — я заглянул во дворик, стиснутый со всех сторон высокими стенами домов. Вокруг наседки с целым выводком цыплят прыгала прехорошенькая маленькая девочка, а наседка отчаянно кудахтала и топорщила крылья, стараясь укрыть своих деток. На шум явился отец девочки и принялся бранить шалунью. Я скрылся и скоро забыл про эту историю, но сегодня, всего несколько минут тому назад, я опять заглянул во двор. Сначала все было тихо, но скоро явилась девочка, подкралась к курятнику, отодвинула задвижку

и шмыгнула в угол, где сидела наседка с цыплятами. Курица закудала, цыплята запищали и принялись метаться из угла в угол; девочка гонялась за ними. Я видел все это в щелочку курятника, и мне было очень досадно на злую шалунью. То-то обрадовался я, когда в курятник вошел ее отец! Он схватил девочку за руку и напустился на нее еще сердитее, чем вчера. Она откинула головку назад; большие голубые глаза ее были полны слез. «Зачем ты забралась сюда?» — спросил отец. Она заплакала: «Я... я хотела поцеловать курицу и попросить у нее прощения за вчерашнее, да боялась сказать тебе!..» И отец поцеловал невинную малютку в лоб, а я — в глазки и в губки!»

ВЕЧЕР III

«Недалеко есть переулок до того узкий, что я могу заглянуть в него мимоходом лишь на минуту, но мне довольно и этого беглого взгляда, чтобы рассмотреть, какие люди там ютятся. Сегодня я видел там женщину. Шестнадцать лет тому назад она была ребенком и беззаботно играла в саду старого пасторского дома, за городом. Старые кусты роз, доживавшие свой век, росли вкривь и вкось, а свежие дикие побеги их перекидывались через дорожку и переплетались с ветвями яблонь. На кустах, однако, виднелись еще кое-где розы. Они, хоть и не отличались уже обычной красотой цариц цветов, все-таки украшали кусты и разливали вокруг благоухание. Куда прекраснее их была, по-моему, дочка пастора. Она притащила под кусты маленькую скамеечку и сидела тут, баюкая и целуя свою куклу с провалившимися щеками. Прошло десять лет, и я увидел девушку в великолепно убранной бальной зале. Она была невестой богатого купца. Я порадовался ее счастью и часто потом следил за нею тихими вечерами. Увы! Мало кто думает о моем ясном, всевидящем оке! Прекрасная роза моя тоже росла вкривь и вкось, пускала дикие побеги, как розовые кусты в пасторском саду! И среди будничной жизни разыгрываются своего рода трагедии; вчера вечером я видел в узком переулке последнее действие одной из таких трагедий. Девушка лежала на постели при смерти, но злой хозяин, единственный ее покровитель, безжалостно отдернул занавеску. «Вставай, принарядись, пугало ты этакое! — грубо крикнул он на нее. — Добывай деньги, или я вышвырну тебя на улицу! Ну, живо!» — «Я умираю! Дайте мне отойти с миром!» — молила она. Но он поднял ее силой, сам наругивая ее щеки, убрал голову цветами и, посадив ее у открытого окна, близ ярко горящей свечи, ушел. Я смотрел на нее. Она сидела неподвижно, уронив руки на колени. Ветер порывисто захлопнул окно; одно из стекол вылетело, занавеска взвилась над головой девушки, но она не шевельнулась: она умерла! Из открытого окна глядело немое нравоучение — моя роза из пасторского сада».

ВЕЧЕР IV

«Вчера вечером я побывал в немецком театре, в одном провинциальном городке! — начал месяц. — Театром служила конюшня: стойла были переделаны в ложи, деревянные перегородки обиты разноцветной бумагою. С низкого потолка спускалась небольшая железная люстра; как раз над нею в потолок вделали опрокинутый вверх дном бочонок, чтобы люстру можно было поднимать кверху, как это делается в больших театрах. «Динь-динь!» — зазвонил суфлер, и люстра — прыг в бочонок; теперь уж все знали, что представление сейчас начнется! На представлении присутствовала проезжая княжеская чета; театр поэтому был набит битком, только под самой люстрой образовалось что-то вроде маленького кратера. Тут не сидело ни души, — свечи оплывали, и сало то и дело капало на пол: «кап-кап!» Я видел все это, — в театре стояла такая жара, что пришлось открыть люки, заменявшие окна. С улицы в них заглядывали мальчишки и девчонки, даром что в театре сидела полиция и грозила им палкой. Перед самым оркестром восседала на двух старых креслах княжеская чета. Обыкновенно эти места занимали бургомистр и его супруга, но сегодня им пришлось сесть на простые скамьи наряду с прочими горожанами. «То-то! И над нашими господами, знать, есть господа», — шушукались между собою кумушки, и все кругом приобретало в их глазах еще более праздничный вид. Люстра ушла в потолок, уличным зевакам попало по рукам палкой, а мне... мне удалось посмотреть комедию!»

ВЕЧЕР V

«Вчера, — рассказывал месяц, — я плыл над неугомонным Парижем и заглянул в луврские покои. Сторож ввел в огромную пустынную тронную залу какую-то бедно одетую старушку из простонародья. Она так добивалась увидеть эту залу! И сколько это стоило ей хлопот и денег, сколько упрасиваний! Теперь она стояла посреди залы, сложив руки и благоговейно озираясь вокруг, точно попала в церковь. «Так вот где это было! Вот где! — промолвила она и подошла к трону, драпированному дорогим бархатом с золотою бахромой. — Тут! — продолжала она. — Тут!» И, опустившись перед троном на колени, она поцеловала бархатную драпировку. Мне почудилось, что она плакала. «Это уж не тот бархат!» — сказал сторож, и на губах его заиграла улыбка. «Но все-таки это было здесь! — сказала старушка. — И все осталось здесь по-прежнему!» — «Осталось, да не совсем! — ответил он. — Окна тогда были выбиты, двери выломаны, а на полу стояли кровавые лужи! Но все же это верно: ваш внук умер на троне Франции!» — «Умер!» — прошептала



старуха. Больше, кажется, не было сказано ни слова, и они скоро ушли. Вечерние сумерки сгустились, и на дорогом бархате трона легли от моих лучей еще более яркие блики. Как ты думаешь, кто была эта старуха? Я расскажу тебе историю. Дело было во время Июльской революции, под вечер, в день блистательной победы, когда каждый дом служил крепостью, каждое окно бойницею. Народ атаковал дворец; в толпу осаждающих вмешались и женщины и дети. Скоро они ворвались в роскошные покои дворца. Бедный оборванный мальчуган-подросток храбро дрался в рядах взрослых и пал, смертельно раненный штыками. Случилось это в тронной зале. Его подняли и положили на трон Франции; из ран струилась кровь, и их пытались заткнуть дорогим бархатом, но кровь скоро просочилась сквозь него. Вот была картина! Роскошная зала, группы сражающихся, на полу разорванное знамя, над штыками трехцветные значки, и на троне Франции бедный мальчуган с обнаженной грудью, помертвевшим, но ясным лицом и устремленным к небу взором! Жалкие лохмотья и рядом роскошный пурпурный бархат, затканый серебряными лилиями! Предсказал ли кто этому мальчику еще в колыбели: «Он умрёт на троне Франции?» Мать, может быть, мечтала о новом Наполеоне! Я целовал венок из иммортелей, украшавший его могилу, целовал ночью в лоб и старуху бабушку, когда ей грезилась во сне картина, что я сейчас нарисовал тебе: бедный мальчик на троне Франции!

ВЕЧЕР VI

«Я был в Упсале! — сказал месяц. Там есть обширная равнина, а по ней разбросаны чахлые пастбища и истощенные поля. Я плыл над нею и гляделся в воды реки Фири; по реке скользил пароход, загоня испуганных рыб в осоку. Подо мною неслись облака, бросавшие длинные тени на холмы, или могилы Одина, Тора и Фрейи, как их прозвали. Холмы одеты тонким дерном, и на нем вырезано множество имен. Тут нет ни памятников, ни скал, на которых бы можно было выцарапать или написать свои имена, так путники и пользуются дерном. Обнаженные полосы земли, образующие буквы и целые имена, испещряют холмы вдоль и поперек. Увы, эти пути к бессмертию скоро зарастают травой!.. На вершине одного из холмов стоял певец. Он поднес к устам налитый медом рог, охваченный широким серебряным кольцом, и осушил его до дна, прошептав при этом чье-то имя. Он просил ветер не выдавать его, но я-то слышал, чье это было имя! Над ним сияет графская корона, потому певец и не осмелился произнести его вслух. Я улыбнулся: над его именем сияет ведь корона поэта, а если имя знатной Элеоноры Эсте и живет еще до сих пор, то лишь благодаря тому, что связано с именем Тассо! И я знаю, где цветет роза поэта!..»

Тут облака заволокли месяц и скрыли его от меня. Ничего! Лишь бы они не становились между поэтом и розой!

ВЕЧЕР VII

«Вдоль морского берега тянется густой лес — дубы да буки. Как славно пахнет там весною! Каждую весну он оглашается также трелями сотен соловьев. Поблизости, как сказано, море, вечно изменчивое море, а между ним и лесом бежит проезжая дорога. По ней то и дело катятся телеги. Я не слежу за ними; лучи мои больше любят отдыхать на древнем кургане. Серые камни опутаны побегами ежевики и дикого терна. Вся природа дышит здесь поэзией! А знаешь, как относятся к ней люди? Я расскажу тебе, что я слышал там вчера вечером и ночью. Проехали двое богатых крестьян. «Чудесные деревья!» — сказал один. «Да, из каждого выйдет возов по десяти дров! — отозвался другой. — Зима нынче будет суровая, а мы и прошлый год брали по четырнадцати риксдалеров за сажень!» И они проехали. «Какая тут скверная дорога!» — сказал следующий проезжий. «Это все проклятые деревья виноваты! — ответил ему товарищ. — Этакая сырость! Ветер только с одной стороны — с моря!» И эти тоже проехали. Затем прокатил дилижанс. Пассажиры проспали самое живописное местечко во всей окрестности. Не спал один кучер; он трубил в рог, и, верно, думал про себя: «Каков я трубач! И как здесь славно раздаётся!» Потом проскакали верхом двое парней. «Ну что-то эти скачут? В них молодость бьет ключом, кровь играет как шампанское!» — подумал я. Они с улыбкой поглядели на одетый мхом курган и на темную чащу кустов. «Вот бы прогуляться тут с мельниковой Христиной!» — сказал один из парней, и оба промчались. А в сонном воздухе струилось такое благоухание, море, казалось, сливалось с небом, опрокинувшись над глубокой долиной!.. Мимо проехал еще экипаж. В нем сидело шесть человек; четверо спали, пятый размышлял о своем новом летнем пальто: «Должно быть, идет!» Шестой же нагнулся к кучеру и спросил: «Что это за куча камней? Чем-нибудь замечательна?» — «Нет! — ответил парень. — Куча как куча, а вот деревья, те примечательны!» — «Ну, ну, расскажи!» — «Да вот зимой, когда всю дорогу заносит снегом, они служат мне приметой! Держись, значит, их, не то как раз угодишь в море! Вот какие они примечательные!» Проехали и эти. На смену им явился художник; глаза его так и сияли, но он не говорил ни слова, а только посвистывал. Соловьи заливались один громче другого. «Заткните глотки! — заворчал он, тщательно отмечая в своей записной книжке оттенки и тона. — Голубой, лиловый, темно-коричневый... То-то выйдет картина!» Он, как зеркало, воспринимал в себя картину окружающей природы, ни на минуту не переставая насвистывать

какой-то марш Россини. После него пришла сюда бедная девушка. Она сложила свою ношу у подножия кургана и присела возле нее сама, склонившись бледным, прекрасным личиком в сторону леса, откуда неслись соловьиные трели. Как сияли ее глаза при виде безграничного простора неба и моря, слившихся вместе! Она сложила руки и, видимо, погрузилась в тихую молитву. Она и сама не ведала, какие чувства волновали ее душу, но я знаю, что и многие, многие годы спустя поразившая ее в эту минуту своею дивною красотой природа будет отражаться в ее воспоминании куда прекраснее, куда правдивее, нежели в картине художника, как бы точно ни отметил он все краски! Я следил за девушкой до тех пор, пока чела ее не коснулся приветственный поцелуй утренней зари».

ВЕЧЕР VIII

Все небо было покрыто тучами, месяц не показывался, и чувство сиротливого одиночества давило меня еще сильнее обыкновенного. Взор мой невольно направлялся в ту сторону, откуда должен был появиться месяц, мысли тоже неудержимо неслись к моему дорогому другу; он так мило утешал меня каждый вечер своими рассказами, рисовал мне такие чудные картинки!.. Да, чего-чего не перевидал он на своем веку! Он видел и картину всемирного потопа, приветливо заглядывал, как теперь в мою каморку, и в ковчег, утешая его узников надеждой на обновление мира. Грустно глядел он и на евреев, плакавших на реках вавилонских, под сенью плакучих ив, на ветвях которых висели замолкшие арфы. Полускрытый ветвями кипарисов, рисовавшихся темными тенями в прозрачном воздухе, следил мой круглолицый друг и за Ромео, видел, как юноша пробирался на балкон, слышал, как прозвучал в тиши ночной страстный поцелуй, унесшийся в небо, как мысль херувима! Видел месяц и героя на острове Святой Елены: одиноко стоял он на скале, устремив взор на море, и думал великую думу. Да, о чем только не может рассказать месяц! Всемирная история для него одна сказка. Сегодня я уже не увижу тебя, мой старый друг, не сделаю в тетради на память о твоём посещении нового наброска! И вдруг из-за туч блеснул на мгновение луч света; блеснул и погас, тучи снова сгустились, но все же месяц успел послать мне свой привет, пожелать спокойной ночи.

ВЕЧЕР IX

Прошло несколько вечеров; небо опять было ясно, месяц появился в первой своей четверти и подал мне идею новой картинки. Послушайте, что он рассказал мне!

«Я смотрел вслед полярной птице и плывущему киту; они направились к восточным берегам Гренландии. Голые скалы, увенчанные льдинами и облаками, окружали долину, покрытую ковром из мха и цветущей черники. Душистые гвоздички струили свое сладкое благоухание. Я разливал вокруг матовый свет; диск мой был бледен, как долго носившийся по воде, оторванный лепесток кувшинки. На небе горело северное сияние. Из середины гигантского сияющего венца подымались бесконечные огненные снопы, переливавшиеся зелеными и красными огнями. Но окрестные жители, собравшиеся в долину на празднество, не дивились на это зрелище; они привыкли к нему. «Пусть себе души умерших играют в лапту головами моржей!» — думали они, занятые своей пляской и пением. Посредине круга стоял человек без шубы, бил в барабан и воспевал охоту за тюленями. Остальные, одетые в белые шубы, хором подхватывали: «Эйа, эйа-а!» — прыгали и плясали, дико поводя глазами и крутя головами. Медвежий бал, да и только! Потом началось судьбище. Противники выступали на середину круга, и обиженный затягивал под аккомпанемент барабана песню, в которой высмеивал своего обидчика. Тот отвечал такой же остроумной импровизацией. Толпа хохотала и затем произносила свое решение. Со скал слышался грохот: это скатывались вниз и дробились в пыль лавины; над равниной стояла чудная летняя гренландская ночь. Шагах в ста от сборища, в открытой юрте из звериных шкур, лежал больной. Кровь еще не застыла в его жилах, но смерть была уже близка; он и сам этому верил, и все окружающие, и жена уже наглухо зашила его в шкуры, чтобы потом не прикасаться к мертвому телу. «Где тебя похоронить?» — спросила она его. — «Хочешь, зарою тебя в снег на вершине скалы и украшу твою могилу каяком твоим и стрелами? Или тебе хочется лежать в море?» — «В море!» — прошептал, грустно улыбаясь, умирающий. «То-то славная летняя палатка! — сказала жена. — Там скачут тысячи тюленей, там спит морж, там ждет тебя веселая счастливая охота!» И дети с воем сорвали затягивавший окно олений пузырь, чтобы можно было вынести умершего из юрты и погрузить его в волны моря; оно давало ему пищу при жизни, оно же даст ему и приют по смерти! Надгробным памятником ему будут служить плавучие, вечно сменяющие одна другую льдины; на них будут дремать тюлени, а над ними реять буревестники».

ВЕЧЕР X

«Знавал я одну старую деву! — рассказывал месяц. — Зимой она постоянно носила один и тот же желтый атласный салоп; он как будто не изнашивался, не выходил из моды. Летом же она ходила в одной и той же соломенной шляпе и, кажется, все в одном и том же голубом

платье. Из дома она выходила только в гости к старой приятельнице, жившей в доме напротив. В последние годы она, впрочем, не ходила и туда — приятельница ее умерла. Я постоянно видел старую деву в ее каморке одну-одинешеньку. Летом окно каморки было заставлено чудесными цветами, а зимою на нем красовалось доньшко от старой шляпы, в котором зеленел кресс-салат. Весь последний месяц старушка уже не присаживалась к окошку, но я знал, что она еще жива: я бы увидел, как она отправилась в тот «дальний путь», о котором так часто беседовала со своей приятельницей. «Да! — говаривала она тогда, — по смерти мне предстоит такой путь, какого я не сделала за всю свою жизнь! Наша семейная могила в шести милях от города; меня отвезут туда и положат рядом с моими родными!..» Вчера вечером я увидел перед домом телегу; скоро из дома вынесли и поставили на нее гроб; значит, старая дева умерла! Гроб прикрыли рогожами, и телега тронулась. В гробу тихо спала старая дева. Во весь последний год своей жизни она ни разу не переступила порога своей каморки, а вот теперь после смерти отправилась в дальний путь! Телега направилась за город, да еще вскачь, словно везла кого на гулянье, а очутившись за городом, парень погнал лошадей еще шибче, то и дело боязливо оглядываясь назад. Право, кажется, он трусил: а вдруг дескать покойница-то встала да сидит теперь в своем желтом атласном салопе на крышке гроба?! Вот почему он так безрассудно и гнал лошадей, не отпуская в то же время поводья, так что удила покрылись пеною. Лошади были молодые, горячие; заяц перебежал дорогу, и они понесли. Тихая скромная старушка, едва бродившая и у себя-то по каморке, мчалась теперь во всю прыть через пни и кочки. Наконец обернутый рогожею гроб так подпрыгнул, что выскочил из телеги и остался лежать на дороге, а телеги, парня и лошадей и след простыл. Сыпля звонкие трели, взвился с поля жаворонок, пропел над гробом свою утреннюю песенку, потом сел на него и принялся теревить клювом рогожу, словно желая сорвать с кокона оболочку. Затем птичка опять взвилась к небу с звонкой песенкой, а я спрятался за румяные утренние облачка».

ВЕЧЕР XI

«Был свадебный пир! — рассказывал месяц. — Пропели задравные песни, осушили задравные кубки, и гости оставили богатые покои. Было уже за полночь. Матери поцеловали молодых, и они остались одни. Оконные занавеси были задернуты не совсем плотно, и я мог заглянуть к ним. В уютной опочивальне горела лампа. «Слава Богу! Наконец-то все разошлись!» — сказал муж, покрывая поцелуями руки и губки жены. А она улыбалась ему сквозь слезы, покоясь на его груди и вся трепеща

от волнения, как цветок лотоса на зыбкой поверхности потока. Полились тихие задушевные речи... «Спи с Богом!» — наконец сказал он, но она подошла к окну и откинула занавеску. «Как чудно сияет месяц! — промолвила она. — Гляди, как тихо, как светло!» — И она погасила лампу. В уютной комнатке стало темно, и в этой темноте сияли только мои лучи да глаза молодого мужа. Женственность! Целуй лиру поэта, когда он воспекает мистерии жизни!»

ВЕЧЕР XII

«А вот тебе еще картинка! — начал месяц. — Я плыл над предместьем Помпеи, над улицею Гробниц, где стоят ряды прекрасных памятников, где некогда плясали увенчанные розами жизнерадостные юноши с девушками, сестрами Лайсы по красоте. Теперь там царит мертвая тишина! Часовые, наемные неаполитанские солдаты из немцев, играли в карты и в кости. В город направлялась целая толпа иностранцев в сопровождении конвоя. Иностранцам хотелось осмотреть восставший из могилы город при свете моих лучей. Я и показал им следы колес, оставшиеся на вымощенной широкими плитами лавы улице, надписи над дверями домов и уцелевшие кое-где вывески. Увидели они и узенькие дворики с бассейнами посредине, украшенными раковинами. Но давно уже умолкло журчание фонтанов, не раздавалось больше из богато расписанных покоев, охраняемых у входов бронзовыми псами, ни песен, ни звуков. Город давно умер! Все смолкло! Не смолкал только вечный громовый гимн Везувия; отдельные строфы этого гимна именуются на человеческом языке извержениями. Я последовал за иностранцами к беломраморному храму Венеры; к алтарю по-прежнему вели широкие ступени, но между колоннами выросли плакучие ивы. На ясном лазурном небе рисовались черные, как уголь, очертания Везувия. Из кратера его как будто выросла гигантская пиния: пламя служило ей стволом, а багровые, словно пропитанные кровью клубы дыма — кроною. В числе путешественников была одна певица. Я не раз был свидетелем ее триумфов на сценах первых театров Европы. Добравшись до древнего театра, общество разместилось на мраморных ступенях. Да, на них опять сидели зрители, как и тысячелетия тому назад! Сцена была все та же: каменные кулисы и на заднем плане две арки, через которые виднелась та же декорация — сама природа: горная цепь, идущая от Сорренто к Амальфи. Певица шутя поднялась на сцену и запела. Место и обстановка вдохновили ее; казалось, дикий аравийский скакун мчится по степи, раздув ноздри и распустив по ветру пышную гриву, — та же легкость, та же смелость; казалось, скорбящая мать рыдает у подножия креста — та же глубокая, за душу хватающая скорбь!.. И со ступеней амфитеатра раздались, как и в былые времена,

восторженные рукоплескания. «Счастливица! Любимица богов!» — ликовали слушатели. Через минуту театр опустел; все ушли; ни звука, ни шороха! Общество удалилось, но развалины стоят по-прежнему и простоят так еще столетия, о том же, что произошло тут сейчас, скоро не будет и помину; забудутся и шумные рукоплескания, и прекрасная певица, и ее пение, и ее улыбки. Забвение, полное забвение! Даже у меня сохранится об этих минутах лишь смутное воспоминание!»

ВЕЧЕР XIII

«Я заглянул в окно редакторского кабинета! — рассказывал месяц. Было это где-то в Германии. Богатая обстановка, множество книг и видимо-невидимо газет. В кабинете сидели несколько молодых людей. Сам редактор стоял у конторки; перед ним лежали две небольшие книжки, ожидавшие рецензии. «Вот эту мне прислали! — сказал редактор. — Но я еще не успел познакомиться с нею! Издание красивое, а что вы скажете о самом содержании?» «Оно недурно! — отозвался один из присутствовавших, собрат автора. — Немножко растянуто, но ведь автор еще так молод! Стихосложение тоже хромает, зато мысли он высказывает весьма здравые, хотя, конечно, и довольно избитые! Но что ж? Где же набраться новых! Сказать по правде, вряд ли из него выйдет что-нибудь особенное, но похвалить его все же следует: он довольно начитан, прекрасный знаток восточных наречий и сам судит весьма здраво. Это он ведь написал такую прекрасную рецензию о моей книге «Фантазии на будничные темы». Надо поощрить молодой талант!» — «Но ведь он настоящий олух! — сказал другой из присутствовавших. — Кто же и губит поэзию, как не эти посредственные талантики, а он век останется посредственностью!» — «Бедняга! — вмешался третий. — А тетушка-то его не наладуется на него! Вы знаете ее, господин редактор. Это она ведь завербовала вам столько подписчиков на ваш последний перевод!» — «Да, да! Премилая женщина! — подхватил редактор. — Ну так вот, я написал коротенькую рецензию: «Несомненный талант... желанный подарок... новый цветок в саду поэзии... прекрасное издание и т. д.». Но вот еще книжка! Автор, видно, думает, что я куплю ее! Я слышал, впрочем, что ее хвалят! Говорят — большой талант! Как по-вашему?» — «Да, все прокричали о нем, — сказал поэт. — Но тут что-то неладно. Гениальнее всего у него знаки препинания». — «Его не мешало бы слегка пробрать, не то он уж чересчур возомнит о себе!» — сказал третий. «Но это будет несправедливо! — вмешался четвертый. — К чему придирааться к маленьким оплошностям, вместо того чтобы радоваться хорошему, а хорошего в этой книжке много! Все же он головой выше всех прочих!» — «То-то и есть! Коли он такой гений — к нему и надо

отнестись как можно строже! И без того его хвалят довольно! Нельзя же вконец вскружить ему голову?!» — «Несомненный талант! — строчил между тем редактор. — Обычные небрежности... Как пример неудачных стихов укажем на страницу двадцать шестую, где есть два зияния... Советуем ему изучать классиков... и т. д.».

Я отвернулся, — продолжал месяц, — и заглянул в окно тетушкиного дома; в гостиной сидела ручная птица — автор первой книжки; он принимал похвалы и поклонение собравшихся гостей и был вполне счастлив. Отыскал я затем и вольную птицу, другого поэта. Он тоже находился среди большого общества, в доме одного покровителя талантов. Разговор шел о книге первого поэта. «Я прочту и вашу! — обратился меценат к присутствовавшему поэту. — Но признаюсь — вы знаете, я всегда искренен, — я не ожидаю найти в ней что-нибудь особенное. Ваша муза чересчур вольна, фантастична! Но как человек вы, я знаю, достойны всякого уважения!» В углу сидела молодая девушка и читала в какой-то книге:

Встречает суд гений суровый,
И громкое пошлость «ура»!
История эта стара,
Но вечно останется новой!»

ВЕЧЕР XIV

Вот что еще рассказывал мне месяц: «У дороги, ведущей в лес, стоят два крестьянских домика; низкие двери, окошки посажены вкривь и вкось; зато оба домика утопают в зелени терновых и барбарисовых кустов. Крыши поросли мхом, какими-то желтыми цветочками и диким чесноком. В маленьких садах растут только капуста да картошка, но к забору прислонилась кудрявая цветущая бузина. Под ней сидела вчера девочка и глаз не сводила со старого дуба, что растет между домиками. От дуба остался, собственно, один сухой ствол, самая же крона спилена. На круглой верхушке ствола гнездо; хозяин его, аист, стоял там на одной ноге и щелкал клювом. К девочке подошел братишка ее и уселся рядом. «На кого это ты смотришь?» — спросил он. «На аиста! — ответила девочка. — Соседка сказала, что сегодня вечером аист прилетит к нам с новым братишкой или сестренкой, вот я и караулю их!» — «Аист никого не принесет! — возразил мальчик. — Соседка и мне то же говорила, да смеялась, я и сказал ей: «А ну, побожись!» Она не посмела, значит, это все сказки!» — «Но откуда же тогда берутся дети?» — спросила девочка. «Их приносит сам Боженька! — пояснил мальчуган. — Они спрятаны у него под кафтаном! Только Бога никто видеть не может, значит, мы и не увидим, как Он принесет нам крошку!» В эту минуту

в ветвях бузины зашелестело; дети сложили ручонки и поглядели друг на друга — это, верно, Боженька прилетел с малюткой! И они взялись за руки. Дверь домика отворилась, вышла соседка и сказала детям: «Ну, идите теперь! Знаете? Аист принес вам братишку!» Дети кивнули головами — они уже знали».

ВЕЧЕР XV

«Я плыл над Люнебургской степью! — начал месяц. — У дороги стояла одинокая хижинка; возле росло несколько обнаженных кустов, а в кустах пел свою лебединую песнь соловей: он отстал от своих, заблудился и теперь должен был замерзнуть холодной ночью! Занималась заря; по дороге двигалась толпа крестьян-переселенцев. Они направлялись в Бремен или в Гамбург, а оттуда собирались отплыть за океан, в Америку, — не найдут ли они там счастья, желанного счастья! Женщины несли маленьких детей на спинах; ребятишки постарше бежали вприпрыжку рядом; жалкая кляча везла тележку с домашним скарбом. Дул холодный ветер, и маленькая девочка плотнее прижималась к матери, а мать, глядя на мой круглый лик, думала о горькой нужде, что выгнала их из-под родной кровли, и о тяжелых, непосильных налогах. Те же мысли бродили и в головах остальных переселенцев, но вот вспыхнула утренняя зорька и, прогнав ночной сумрак, оживила и сердца бедняков надеждой на новое солнце счастья, которое займется для них там, за океаном. Услышали они и песнь умирающего соловья, а соловей ведь тоже считается вестником счастья. Ветер, правда, тянул свою песню, но переселенцы не понимали ее. А он пел: «Переправляйтесь, переправляйтесь через океан! Вы заплатили за этот переезд последним, что было у вас! Нищими, беспомощными нищими достигнете вы земли обетованной! Придется вам продаться в рабство самим, продать своих жен и детей! Недолго, впрочем, доведется вам страдать! В чашечке благоухающего тропического цветка скрывается богиня смерти, ее приветственный поцелуй отравит вашу кровь лихорадочным ядом. Пронеситесь же, пронеситесь через бурные воды океана!» Но переселенцы прислушивались только к песне соловья — она пророчила им счастье! Легкие облака зарумянились от лучей зари. По степи шли в церковь поселяне; женщины в черных платьях и в белых головных покрывалах, казалось, сошли со старых портретов, что висят по стенам церкви. Мертвой, безжизненной смотрела окружающая природа: темный сухой вереск и черные выжженные лужайки вперемежку с белыми песками. В руках у женщин были молитвенники; они шли в церковь. О, помолитесь же за тех, кто отправляется искать себе могилу за океаном!»

«Я знаю одного пульчинеля! — сказал мне месяц. — Публика ликует, едва завидит его на сцене. Каждое его движение дышит таким комизмом, что все надрываются от смеха, а ведь он и не думает ломаться — он природный комик. Роль пульчинеля навязана ему с детства самою природой; она снабдила его при рождении двумя горбами: спереди и сзади. Зато она одарила его и необыкновенно чувствительной, восприимчивой душой! Сцена была его заветной мечтой. Будь он хорошо сложен, из него бы вышел первоклассный трагик: душу его волновали самые высокие чувства, самые благородные порывы. И с такою-то душой он был обречен на всю жизнь оставаться шутом! Самая тоска, самая печаль, которые он носил в душе, только делали его еще смешнее; эта резко очерченная, вытянутая, печальная физиономия заставляла публику покатываться со смеху и восторженно рукоплескать своему любимцу. Прелестная Коломбина обходилась с ним очень ласково, но замуж выйти предпочла за Арлекина. В самом деле, было бы уж чересчур комично, если бы «красота» сочеталась с «безобразием». Когда на пульчинеля находили минуты черной тоски, одна Коломбина могла заставить его улыбнуться и даже хохотать. У нее была своя манера: сначала она как будто тоже настраивалась на грустный лад, затем успокаивалась и, наконец, начинала шалить напропалую. «Знаю, знаю, чего вам недостает, — говорила она ему. — Вы жаждете взаимной любви!» Тут-то он и принимался хохотать. «Я и взаимная любовь! — восклицал он. — То-то бы вышла картинка! Похлопала бы публика!» — «Да, да, вы жаждете взаимности! — продолжала Коломбина и прибавляла с комическим пафосом: — И любите вы меня». Отчего же и не пошутить, раз знаешь, что о любви тут не может быть и речи? И пульчинель в припадке смеха подпрыгивал кверху на целый аршин; тоску его как будто рукой снимало. И все же Коломбина говорила правду. Он любил ее, боготворил не меньше, чем самое искусство. В день ее свадьбы он был веселее всех, ночью же неутешно плакал. Вот бы увидела публика это искаженное горем лицо! Как бы она зааплодировала! На днях Коломбина умерла. В день похорон Арлекин был уволен от участия в спектакле — все-таки ведь вдовец! Потребовалось, однако, угостить публику чем-нибудь особенно забавным, чтобы заставить ее позабыть об отсутствии прекрасной Коломбины и грациозного арлекина, и вот пульчинелю приказано было стараться за двоих! Сердце его разрывалось от горя, а он прыгал и плясал по сцене, публика кричала: «Браво! брависсимо!» Пульчинеля вызывали без конца, он был неподражаем!.. Вчера ночью, когда представление окончилось, уродец тайком побрел за город на кладбище. Венок на могиле Коломбины уже завял. Пульчинель присел на могильный холм. Картина достойная кисти! Он сидел неподвижно, подперев щеку рукой и глядя мне в лицо, — оригина-

нальный и комичный надгробный памятник! Как заплодировала бы публика, увидев своего любимца в такой позе! Долго бы не смолкали крики: «Браво, пульчинель, бис!»

ВЕЧЕР XVII

Послушайте, что еще рассказывал мне месяц. «Я видел только что произведенного из кадетов офицера, когда он впервые надел на себя блестящий мундир, видел молодую девушку в ее первом бальном платье, видел и счастливую невесту молодого князя во всем блеске ее венчального наряда, но никто из них не сиял таким счастьем, как четырехлетняя девочка, которую я видел сегодня вечером. Ей подарили новое голубое платье и новую розовую шляпку. Я застал ее как раз в полном параде. Все кричали: «Давайте свечку!» Моих лучей, как видно, было мало, требовалось более яркое освещение! Малютка держалась в струнку, как кукла, далеко отставив от платья ручонки с растопыренными пальчиками. Каким блаженством сияли ее глазки, все ее личико! «Завтра я выпущу тебя так на улицу!» — сказала ей мать. Малютка подняла глаза на шляпку, потом перевела их вниз на платье, блаженно улыбнулась и проговорила: «Мама! А что скажут собачки, когда увидят меня такой нарядной?!»

ВЕЧЕР XVIII

«Я уже рассказывал тебе, — начал месяц, — о Помпее, этом городе-трупе в ряду других городов. Знаю я и еще один, но уже не труп, а призрак города. В журчании фонтанов, мечущих свои струи в мраморные водоемы, мне всегда слышится сказка о плавучем городе. О нем и должны рассказывать водяные струи, петь морские волны! Над морем часто клубится туман; это вдовья вуаль: жених моря умер, дворец и город его стали мавзолеем. Знаешь ты этот город? Никогда не слышно на его улицах грохота экипажей или топота лошадиных копыт; по этим улицам плавают рыбы и, как привидения, скользят черные гондолы. Сейчас я перенесу тебя на главную площадь города, и ты подумаешь, что очутился в сказочном царстве. Между широкими плитами мостовой пробивается трава; вокруг одиноко стоящей башни вьются на заре тысячи ручных голубей. С трех сторон площадь окружена аркадами. Под аркадами спокойно сидит турок, посасывая свою длинную трубку; у колонны стоит красивый юноша-грек и смотрит на высокие мачты, памятники бывшего могущества. Флаги на мачтах повисли, как траурные вуали. К одной из мачт прислонилась отдохнуть молодая девушка; тяжелые ведра с водой

она поставила возле себя на землю; коромысло осталось на плечах. А вот это прямо перед тобою не замок фей, а церковь! Ярko сияют вызолоченные купола и золотые шары, облитые моими лучами. Прекрасные бронзовые кони, что красуются наверху, странствовали, как настоящие сказочные кони: они побывали далеко-далеко и опять вернулись назад. Взгляни на эту роскошь пестрых узоров, выведенных на стенах и стеклах окон! Гений художника, украшая этот храм, как будто руководился прихотью ребенка! Видишь на колонне крылатого льва? Он все еще блещет золотом, но крылья его связаны, лев умер, сам король моря умер, дворцовые залы опустели, роскошные картины уже не прикрывают наготы стен. Под этой аркой прежде могли проходить только патриции, теперь под ней спит лаццарони! Из глубоких колодцев или из свинцовых камер, что близ моста Вздохов, словно и теперь еще слышатся вздохи, как в те времена, когда с разубранных гондол раздавалась музыка, а с роскошного Буцентавра летело в Адрию, царицу морей, обручальное кольцо! Адрия, окутайся туманом! Прикрой свою грудь вдовьей вуалью! Пусть она развеивается и над мавзолеем твоего жениха, над мраморной призрачной Венецией!»

ВЕЧЕР XIX

«Я заглянул в театр! — рассказывал месяц. — Огромная зала была набита битком: дебютировал новый артист. Луч мой скользнул в маленькое окошечко в стене; к стеклу прижалось размалеванное человеческое лицо. Это был сам герой вечера. На подбородке курчавилась рыцарская борода, а глаза были полны слез: артиста освистали, и не напрасно. Бедняга был жалок! Но жалким не место в храме искусства! Душу его волновали высокие чувства, он пламенно любил искусство, без взаимности! Раздался звонок режиссера, и герой смело и торжественно — как значилось в ремарках — выступил на сцену, снова предстал перед публикой, смотревшей на него как на шута. По окончании спектакля я увидел какую-то закутанную в плащ фигуру, торопливо сбегавшую по лестнице. Это был он, развенчанный герой вечера! Плотники перешептывались, пропуская его мимо себя. Луч мой проводил беднягу до самого его жилища. Повеситься? Некрасивая смерть! А яд не всегда под рукою! Я знаю, что ему на ум приходило и то, и другое. Я видел, как он подошел к зеркалу и полузакрыв глаза, чтобы посмотреть, красив ли он будет в гробу. Да, человек может быть глубоко несчастен и все-таки... ломаться! Освистанный артист подумывал о смерти, о самоубийстве и, пожалуй, оплакивал теперь самого себя! Плакал он горько, но если человек плачет, то какое уж тут самоубийство! Прошел целый год. Шло представление в каком-то театрикe, играла бедная заезжая труппа, и я опять увидел

знакомое размалеванное лицо и курчавую бородку. Лицедей опять смотрел на меня из окна, но смотрел улыбаясь, а ведь его опять освистали! Да, всего какую-нибудь минуту тому назад его освистала жалкая публика жалкого театра!.. Сегодня вечером из городских ворот выехали бедные погребальные дроги. Ни одна душа не провожала покойника-самоубийцу, нашего размалеванного, освистанного героя. Единственным провожатым был кучер. Никто не следовал за гробом, никто, кроме меня. Самоубийцу зарыли где-то в углу кладбища. Скоро могила его зарастет крапивой; сторож станет сваливать туда сор и негодную траву с других могил».

ВЕЧЕР XX

«Я из Рима! — начал месяц. — Там в центре города, на одном из семи его холмов, лежит в развалинах дворец Цезарей. Из трещин стен выглядывают дикие фиговые деревья, прикрывая наготу их своими широкими серо-зелеными листьями. Между кучами мусора пробирается осел и любовно косится на кусты колючего репейника. Отсюда некогда вылетали победоносные римские орлы, а теперь здесь ютится между двумя разбитыми мраморными колоннами бедная глиняная мазанка. Покосившееся окошко обвито диким виноградом, словно траурной гирляндой. В мазанке живет старуха с внучкой. Они теперь единственные обитательницы дворца Цезарей и показывают иностранцам печальные остатки сокровищ искусства. От роскошной тронной залы осталась одна голая стена; темный кипарис указывает своей длинной тенью на то место, где некогда стоял трон. Истрескавшийся пол покрыт слоем земли толщиной в аршин. На пороге часто сидит на своей скамеечке, прислушиваясь к звону вечерних колоколов, маленькая девочка, нынешняя обитательница дворца Цезарей. Замочную скважинку в одной из дверей дворца она зовет своим балконом: в нее она видит пол-Рима вплоть до мощного купола собора святого Петра. Сегодня вечером подле развалин царила, по обыкновению, полная тишина; девочка возвращалась домой; лучи мои освещали ей путь. На голове она несла полный воды античный глиняный кувшин. Девочка была боса, в коротенькой, разорванной на плечах рубашке, и я целовал нежные кругленькие плечики малютки, ее черные глазки и блестящие кудри. Она поднялась по крутой лесенке, сложенной из мраморных обломков и разбитых капителей колонн. Возле самых ног ее пугливо шныряли пестрые ящерицы, но девочка не пугалась. Вот она уже потянулась рукою к звонку, — а ручкой звонка во дворце Цезарей служила ныне висевшая на веревке заячья лапка, — да вдруг задумалась. О чем? Может быть, о прекрасном, разодетом в золото и серебро младенце Иисусе, Которого она видела в часовне, где теплятся серебряные лампы и где подружки ее поют знакомые и ей молитвы? Не знаю; только вдруг она оступилась, кувшин слетел с ее головы

и разбился вдребезги о твердые мраморные ступени. Девочка залилась слезами. Обитательница дворца Цезарей плакала о разбитом глиняном кувшине! Босая стояла она на холодных ступенях и плакала, плакала, не смея дернуть за веревку, за заячью лапку, служившую ручкой звонка во дворце Цезарей!»

ВЕЧЕР XXI

Целые две недели не заглядывал ко мне месяц, но вот, наконец, я вновь увидел его круглый светлый лик над медленно плывущими облаками. Послушайте же, что он рассказал мне.

«Из одного феццанского города вышел караван; я долго следил за ним. Он остановился на ночь среди блестящей, словно покрытой льдом, солончаковой площадки; лишь небольшая часть ее была покрыта наносным песком. У старшины каравана был привязан к поясу мех с водой; изголовьем ему служил мешок с пресными лепешками. Поутру он начертил на песке своим посохом четырехугольник, вписал в него несколько слов из Корана, и весь караван прошел через это освященное место. На белом горячем коне задумчиво ехал молодой купец, сын знойной пустыни; об этом говорили и глаза его, и прекрасные формы тела, точно вылитого из бронзы. О чем он задумался? Не о молодой ли красавице жене? Всего два дня тому назад разубранный дорогими мехами и шальями верблюдов обнес его прекрасную невесту вокруг городских стен. Гремела музыка, раздавалось пение женщин, приветственная пальба. Громче, чаще всех палил сам счастливый жених. А теперь... теперь он ехал с караваном по пустыне. Много ночей следил я за ними, видел, как они располагались на отдых у колодцев, в жалкой тени чахлых пальм, видел, как вонзали нож в грудь верблюда и жарили его мясо на углях костра. Лучи мои охлаждали раскаленный солнцем песок и показывали путникам черные обломки скал, мертвые острова в безграничном море песков. Странствие было из счастливых: не пришлось каравану пострадать ни от нападений вражьих племен, ни от бича пустыни — смерча. Дома молилась за мужа и отца красавица новобрачная. «Живы ли они?» — спрашивала она мой двурогий серп. «Живы ли они?» — спрашивала она мой сияющий круглый диск. Теперь они уже миновали пустыню и сегодня вечером расположились на ночлег под высокими пальмами; над ними кружатся длиннокрылые журавли, из-за ветвей мимоз глядят пеликаны. Слон мнет неуклюжими ногами пышную траву и кусты; подходит караван негров; они возвращаются с ярмарки из глубины страны. На черных волосах женщин, одетых в синие бумажные юбки, сияют медные бляхи. Женщины гонят нагруженных быков; на спинах их спят нагие черные ребятишки. Один из негров ведет на веревке купленного им на ярмарке львенка.

Вот они подходят к каравану. Молодой купец сидит неподвижно, весь погруженный в мечты о своей молодой жене. В стране черных он мечтает об оставленном им по ту сторону пустыни белоснежном душистом цветке! Вот он поднял голову!..»

Тут месяц заволокло облаком, потом другим, третьим... Так я ничего больше и не услышал от него в этот вечер.

ВЕЧЕР XXII

«Я видел одну маленькую девочку! — начал месяц. — Злые люди заставили ее плакать горькими слезами. Ей только что подарили чудную куклу; ах, какую куклу! Но эта нежная, изящная кукла вовсе не была создана для горя, а между тем братья девочки, эти долговязые мальчишки, схватили ее, посадили высоко-высоко на дерево и убежали! Сама девочка не могла ни достать с дерева куклу, ни помочь ей сойти оттуда — как тут не плакать! Кукла, должно быть, тоже плакала! Она с таким жалким видом простирала к девочке руки! Да, вот какие приходится иногда испытывать превратности судьбы, как часто говорит мама. Бедная, бедная кукла! Уже темнело, приближалась ночь. Неужели же оставить ее тут одну на всю ночь? Нет, нет! Сердечко малютки сжималось при одной мысли об этом. «Я останусь с тобой!» — сказала она кукле, а была ведь вовсе не из храбрых! Она уже явственно различала между кустами маленьких домовых в высоких остроконечных шапочках... А там, в темной аллее, плясали длинные призраки!.. Вот они уже под деревом, поднимают руки и указывают пальцами на куклу! Ах, как страшно!.. «Но ведь нечистой силы нечего бояться, если у тебя совесть чиста! — рассудила девочка. — А у меня чиста? Я ничего дурного не сделала?.. Ах, да, — вдруг вскрикнула она, — я смеялась над бедной уткой с красной тряпкой на ножке! Она так забавно хромает! А грешно ведь смеяться над животными! — И она подняла личико к кукле. — А ты тоже смеялась над животными?» — спросила она, и кукла как будто недовольно качнула головой».

ВЕЧЕР XXIII

«Я глядел на Тирольские горы! — рассказывал месяц. — От темных сосен ложились на скалы резкие мрачные тени. Я освещал нарисованные на стенах домов гигантские изображения святого Христофора с младенцем Иисусом на плечах и святого Флориана, льющего воду на пылающий дом, освещал и воздвигнутый у дороги большой крест с распятым на нем, истекающим кровью Спасителем. Для молодого поколения все эти

изображения — памятники глубокой старины; я же видел, как они возникали одно за другим. Высоко-высоко, над самым обрывом, лепится, словно гнездо ласточки, женский монастырь. На колокольне стояли и звонили в колокола две молоденькие послушницы. Взоры обеих невольно устремлялись вдаль... за горы! Внизу показалась почтовая карета; почтальон затрубил в рог, и бедные послушницы долго провожали экипаж взглядом. Невеселые, видно, думы бродили у них в голове; у младшей на глазах навернулись слезы. Все слабее и слабее звучал почтовый рожок, пока наконец совсем не замер, заглушенный звоном колоколов».

ВЕЧЕР XXIV

Слушайте, что еще рассказал мне месяц. «Тому минуло уже много лет; было это в Копенгагене. Я заглянул в окно бедной каморки; отец и мать спали; не спал только их маленький сынок. Вот пестрый полог его кровати зашевелился, и он выглянул оттуда. Я подумал сначала, что он хотел посмотреть на старые часы: они были так пестро раскрашены, наверху сидела кукушка, на цепях висели тяжелые свинцовые гири, а блестящий медный маятник качался и тикал: «тик-так!» Но нет! Мальчик смотрел не на них, а на стоявшую под ними прялку матери. Прялка занимала все его мысли, но он не смел и притронуться к ней — сейчас по рукам попадет! Целыми часами просиживал мальчик возле матери, не сводя глаз с жужжащего веретена и неугомонного колеса и думая при этом свою думу. Вот бы попрясть хоть разок самому! Теперь мать и отец спали. Мальчик поглядел на них, поглядел на прялку, подождал минуту, потом с кровати сползла сначала одна голая ножка, за ней другая, и — гоп! обе очутились на полу! Мальчик еще раз оглянулся на папу и маму — спят ли? Да! И вот он, одетый в одну куцую рубашонку, тихонько-тихонько прокрался в угол, где стояла прялка, и давай прясть. Нитка слетела, и колесо завертелось еще быстрее. Я целовал золотистые волосики и голубые глазки ребенка. Прелестная была картинка! Вдруг мать проснулась, выглянула из-за занавески, и ей почудилось, что перед нею шалунишка-домовой или другое лукавое привиденье. «Господи Иисусе!» — прошептала она и толкнула под бок спящего мужа. Он проснулся, протер глаза и тоже взглянул на мальчугана. «Да ведь это Бертель!» — сказал он.

Из бедной каморки взор мой перенесся в покои Ватикана, где красуются мраморные боги. Расстояния для меня ведь не существует. Вот группа Лаокоона; мрамор, кажется, скорбно вздыхает. Вот музы; они как будто дышат; лучи мои облобызали их мимоходом и остановились на колоссальном изображении бога реки Нил. Облокотясь на сфинкса, он лежит, погруженный в думы — в думы о минувших веках; вокруг

него резвятся и заигрывают с крокодилами амурчики; из рога изобилия тоже выглядывает на величественного серьезного бога крошечный амурчик, живое изображение мальчугана, возившегося с прялкой. Те же самые черты! Как живой стоит здесь этот мраморный ребенок, а между тем колесо времени обернулось вокруг своей оси тысячи и тысячи раз с той минуты, как он восстал из мраморной глыбы. И это огромное колесо должно было обернуться еще столько же раз, сколько обернулось колесо прялки, прежде чем век создал других богов, подобных ватиканским.

Вот и минули эти годы! — продолжал месяц. — Я плыл над заливом у восточного берега Зеландии. Там тянутся чудные леса, высокие холмы и лежит старая усадьба, обнесенная красными кирпичными стенами; в рвах, наполненных водою, плавают лебеди. Неподалеку, в тени яблонь, ютится торговый городок с высокой колокольней. По зеркальной глади залива плывет целая флотилия лодок; на всех мелькают огоньки, но их зажгли не для ловли угрей, а ради праздника! С лодок раздается музыка, вот грянула и песня. В одной из лодок стоит сам виновник торжества — рослый, крепкий голубоглазый и седовласый старик в широком плаще. Я сразу узнал его и вспомнил и мраморных богов Ватикана, и бедную каморку, — если не ошибаюсь, в Зеленой улице, — где сидел за прялкой в своей куцей рубашонке маленький Бертель. Колесо времени обернулось положенное число раз, и из мрамора восстали новые боги. С лодок гремело «ура», «ура» в честь *Бертеля Торвальдсена!*»

ВЕЧЕР XXV

«Я поведу тебя сейчас во Франкфурт! — сказал месяц. — Там есть один дом, на котором подолгу покоятся мои лучи. Это не тот дом, где родился Гете, и не старинная ратуша с решетчатыми окнами, в которые еще глядят рогатые головы быков, зажаренных для народа в день коронации императора. Нет, дом, о котором я говорю, простой дом, выкрашенный зеленой краской. Стоит он на углу узкой Еврейской улицы; это дом Ротшильдов. Я глядел раз в открытую входную дверь; лестница была ярко освещена; по ступеням стояли слуги; они держали в руках массивные серебряные канделябры с зажженными свечами и провожали низкими поклонами старуху, которую несли вниз по лестнице в кресле. Хозяин дома стоял у входа с непокрытой головой и почтительно поцеловал на прощанье руку старухи. Это была его мать. Она приветливо кивнула головой сыну и слугам, и ее понесли по узкой, темной улице домой. Она жила там в крошечном домике; в нем родились все ее дети, в нем занялась для них заря счастья; покинь она эту невзрачную улицу, этот скромный домик — тогда, быть может, и счастье покинет ее детей! Она верила в это!»

Больше месяц не сказал на этот раз ничего; слишком не надолго заглянул он ко мне, но я-то долго потом думал о старухе, обитавшей в темной, жалкой улице. Скажи эта женщина слово, и к ее услугам роскошный дом на берегах Темзы; одно ее слово, и ее ждет вила на берегу Неаполитанского залива; но она говорит: «Покинь я этот скромный дом, где занялась для моих детей заря счастья, — тогда, быть может, и счастье покинет их!» Это суеверие, но особого рода; чтобы понять его, тому, кто слышал сейчас эту историю и видел эту картину, довольно вспомнить одно слово «Мать».

ВЕЧЕР XXVI

«Это было вчера поутру, на заре! — говорил месяц. — В большом городе не дымила еще ни одна труба, а я на трубы-то как раз и глядел. Из одной из них высунулась сначала чья-то голова, а потом и туловище по пояс; руки держались за края трубы. «Ура!» Это был мальчишка-трубочист; он в первый раз в жизни пролез через всю трубу и теперь глядел из нее на Божий свет. «Ура!» Да, это небось не то что карабкаться по узким коленам каминных труб! Ветерок так приятно освежал лицо трубочистика, а уж что за вид открывался ему оттуда! Весь город был как на ладони, а вдали виднелся и зеленый лес. Вдобавок в ту же минуту вошло солнце. Его круглый, румяный лик глянул в лицо трубочистика; оно так все и светилось от радости, даром что порядком было замазано сажей. «Теперь весь город может любоваться мною! И месяц, и солнце!» — сказал он и замахал метлой».

ВЕЧЕР XXVII

«Вчера ночью, — рассказывал месяц, — я плыл над одним китайским городом. Лучи мои освещали длинные голые стены, тянувшиеся вдоль улиц. Там и сям в них виднелись двери, но все они были на запоре — что за дело китайцу до внешнего мира! Плотные жалюзи прикрывали окна домов, выходившие на внутренние дворы. Только в окнах храма мерцали огоньки. Я заглянул туда. Какая пестрота! От самого пола до потолка подымались ярко раскрашенные и вызолоченные картины, на которых были изображены земные деяния богов. В каждой нише стояли кумиры, полускрытые пестрыми занавесками и распущенными знаменами. Все кумиры были оловянные; перед каждым возвышался жертвенник, на котором стояла чаша со святой водой, цветы в вазах и горели восковые свечки. В глубине храма помещалось изображение Фу, высшего божества,

в балахоне из шелковой материи священного желтого цвета. У подножия жертвенника сидело живое существо, молодой бонза. Он, вероятно, молился, да вдруг задумался о чем-то. Должно быть, дело было нечисто — щеки его горели ярким румянцем, а голова все больше и больше клонилась на грудь! Бедный Суи-Хунг! О чем он задумался? Унесся ли он мечтою в маленький садик, какие красуются здесь перед каждым домом, жалел ли о своем прежнем ремесле, желал ли опять работать на воле, вместо того чтобы вечно сидеть тут в храме, наблюдая за горящими восковыми свечками?.. Или он мысленно пировал за роскошно убранном столом, вкушая тонкие блюда и обтирая губы серебристой бумагой? Может быть, мысли его были до того греховны, что, выскажи он их, небо покарало бы его смертью? Может быть, он дерзнул унести мысленно на корабле варваров в их отчизну, далекую Англию? Нет, так далеко он не залетал, и все же мысли его были так греховны, что греховнее их и не могла бы подсказать человеку горячая молодая кровь! И где же он предавался им? В храме, перед лицом Фу и других богов! Я знаю, где витали его мысли. На краю города, на плоской крыше, обнесенной блестящими, словно фарфоровыми, перилами, между вазами с чудесными душистыми белыми колокольчиками сидит красавица Пэ. Узенькие, плутовские глазенки, полные сочные губки и крохотная ножка! Башмачок жмет ножку, но куда больнее сжимает тоска сердечко! Тоскливо заламывает она нежные, словно выточенные ручки, и атласные рукава громко шуршат. Перед нею стеклянная ваза с водой; в воде плавают четыре золотые рыбки. Пэ медленно и задумчиво помешивает воду пестрой лакированной палочкой. Может быть, она задумалась о рыбках: как ярко блестит их чешуя, как спокойно им живется в стеклянной вазе, как сытно их кормят... и все же куда счастливее жилось бы им на свободе! Да, именно об этом и думала красавица Пэ. Затем мысль ее унеслась из родного дома в храм, но привлекли ее туда не боги. Бедняжка Пэ! Бедняга Суи-Хунг! Земные мысли ваши встретились, но, словно меч херувима, блеснул и разделил их мой холодный луч!»

ВЕЧЕР XXVIII

«Море как будто заснуло! — рассказывал месяц. — Волны его спорили прозрачностью с волнами чистого эфира, в котором я плыл. Взор мой проникал в водяную глубь и ясно различал там причудливые растения; их саженные стебли тянулись ко мне, точно какие-то гигантские древесные стволы; над вершинами их проплывали рыбы. Высоко в поднебесье неслась стая диких лебедей; один из них вдруг стал опускаться: усталые крылья отказывались нести его дальше. Взор его печально следил за удалявшейся воздушной вереницей, а сам он, широко распластав неподвижные крылья,

плавно опускался вниз, как опускается в недвижимом воздухе мыльный пузырь. Вот лебедь коснулся морской поверхности. Спрятав голову под крыло, долго покоился он на лоне вод, точно белый лотос. Вот потянул ветерок и зарябил морскую поверхность, сиявшую тою же прозрачной лазурью, как и синее небо; казалось, это катило свои волны не море, а самый небесный эфир. Лебедь поднял голову и восторженно; голубыми искрами заблестели стекавшие с его груди и спины капли воды. Утренняя заря зарумянила облака, и лебедь, освеженный и подкрепленный, плавно поплыл навстречу восходящему солнцу, туда, где виднелся вдали синеющий берег. Туда направилась вся воздушная вереница, туда же направил свой полет и одинокий лебедь. С тоской в груди, один-одинешенек медленно летел он над голубой водяной равниной!..»

ВЕЧЕР XXIX

«А вот тебе еще картинка! — начал месяц. — Близ унылого берега Рокса стоит окруженный темными соснами древний монастырь «Врета». Луч мой скользнул между прутьями оконной решетки и осветил высокие своды, под которыми покоятся в каменных гробницах короли. Над ними прикреплена к стене эмблема земного величия — королевская корона. Она, впрочем, деревянная и только покрыта позолотою; поддерживает ее деревянный колышек, вбитый в стену. Вызолоченное дерево уже источено червями, от короны к гробницам протянута пауком воздушная сеть; это траурный флер, такой же недолговечный, как и печаль по умершим!.. Как тихо спят они! А я еще помню их всех так ясно! Так живо вижу горделивую улыбку на их устах, властно вещавших народу и горе и радость! Пока пароход переползает, как улитка, через горы, в монастырь заходит иногда путник и спрашивает имена погребенных под этими сводами королей, но они звучат для него чем-то давно позабытым, мертвым. Он смотрит на источенную червями корону и невольно улыбается; если, однако, он человек благочестивый, в улыбке его сквозит грусть. Спите же, мертвецы! Месяц помнит вас, месяц шлет ночью свои холодные лучи в ваше тихое царство, где вас венчает деревянная корона!..»

ВЕЧЕР XXX

«У проезжей дороги, — рассказывал месяц, — стоит постоянный двор, а напротив его большой сарай. Его как раз собирались перекрывать, и крыша была разобрана. Я глядел между стропилами и в открытую отдушину, и мне отлично видно было все это не-

приглядное помещение. На одной из балок примостился спящий индийский петух; в пустых яслях мирно покоились седла. Посреди сарая стояла дорожная колымага; в ней крепко спали господа, пользуясь временем, пока лошадей поят и кормят, а кучер потягивается и позевывает, хоть и спал преисправно добрую половину пути. Дверь в людскую отворена настежь; видна смятая и развороченная постель; на полу стоит подсвечник, а в нем догорает сальный огарок. Холодный ветер так и гуляет по сараю; время далеко за полночь; близится утро. В одном из стойл спит вповалку семья странствующих музыкантов; матери и отцу снится жгучая, прозрачная, как слеза, жидкость в бутылке, а бледной дочке — слеза в чьем-то взоре. В головах у них лежит арфа, в ногах — собака».

ВЕЧЕР XXXI

«Заглянул я раз в маленький городок! — рассказывал месяц. — Было-то это еще в прошлом году, да все равно, — я так ясно помню все. (Вчера вечером я прочел об этом в газетах, но там это выходило вовсе не так ясно.) Вожак медведя ужинал в харчевне, а Мишка стоял во дворе привязанным к поленнице дров. Бедный Мишка! Никогда и никому не сделал он ни малейшего зла, даром что смотрел так свирепо. В том же доме, на самом верху в чердачной каморке, играли при ярком свете моих лучей трое ребятишек. Старшему было лет шесть, младшему не больше двух. «Топ! топ!» — слышалось на лестнице. Кто бы это? Дверь распахнулась, и явился Мишка, огромный, лохматый Мишка! Он соскучился стоять во дворе один и отыскал дорогу наверх. Детишки трусили такого большущего лохматого зверя и попрятались по углам; он, однако, скоро отыскал их всех, обнюхал, но не обидел ничем! «Это, верно, большая собака!» — решили дети и принялись гладить его. Он развалился на полу, а младший мальчуган вскарабкался на него и принялся играть в прятки, зарывая свою золотистую кудрявую головку в густые черные лохмы медвежьей шубы. Затем старший мальчик ударил в барабан, медведь поднялся на дыбы и давай плясать! То-то веселье пошло! Все мальчишки взяли в руки по деревянному ружью, Мишке дали такое же, и он держал его в лапах крепко-прекрепко. Товарищ хоть куда! И вот все зашагали по комнате: раз-два, раз-два! Дверь опять отворилась, и вошла мать ребятишек. Поглядел бы ты на нее! Она просто окаменела от ужаса, лицо ее помертвело, язык прилип к гортани... Младший же мальчуган весело кивнул ей головкой и залепетал своим детским язычком: «А мы в солдатики играем!» Тут вошел и вожак медведя!..»

ВЕЧЕР XXXII

Дул холодный, резкий ветер; на месяц ежеминутно набегали облака, и я видел его только урывками.

«Я гляжу сквозь безграничное воздушное пространство на бегущие подо мною облака! — рассказывал он. — Гляжу и на пробегающие от них по земле длинные тени!.. Вчера я заглянул в темницу. У ворот ее стояла закрытая карета; приехали за одним из узников. Луч мой проскользнул между прутьями оконной решетки и озарил стену камеры. Узник что-то чертил на ней на прощанье. Чертил он не слова, а ноты, мелодию, выражавшую его душевное настроение в эту последнюю ночь. Дверь отворилась, и его вывели на воздух. Он было поднял глаза на мой круглый лик, но меня сейчас же закрыли облака, точно нам нельзя было видеть друг друга в лицо. Его усадили в карету, дверцы захлопнулись, кучер щелкнул бичом, и лошади помчали карету в темный лес, куда мой луч уже не мог проникнуть. Я опять заглянул в камеру. Лучи мои скользили по стене, разглядывая нацарапанную на ней мелодию, последнее прощанье узника. Там, где замирают слова, начинается царство звуков!.. Мои лучи могли осветить, однако, лишь несколько отдельных нот, большая же часть написанного скрывалась во мраке и навсегда останется для меня темной. Что написал заключенный? Похоронный ли марш? Ликующий ли гимн? Готовился ли он к смерти или неся мыслью в объятия милых сердцу? Не все написанное, хотя бы и рукою смертного, доступно взору месяца!

Я гляжу сквозь безграничное воздушное пространство на бегущие подо мною облака, гляжу и на пробегающие от них по земле длинные тени».

ВЕЧЕР XXXIII

«Как я люблю детей! — начал месяц. — Особенно маленьких — они такие забавные! Я часто люблюсь ими — мои лучи проскальзывают между краешком занавески и косяком окна детской, — а они-то и не думают обо мне! Презабавно наблюдать, как они раздеваются: вот выглядывает сначала крохотное кругленькое плечико, потом обнажается и вся ручка, а когда дело дойдет до чулок... и беленькая, полненькая ножка!.. Ну, как не поцеловать ее?.. Я и целую! — прибавил месяц.

Сегодня вечером — это стоит рассказать! — я тоже глядел в окно одной детской: занавески не были спущены — напротив не было никаких соседей. В комнате укладывалась спать целая ватага детишек, и сестер и братьев. Младшей из них всего четыре года, но она знает «Отче наш» не хуже других. Мать каждый вечер присаживается к ней на кроватку

и слушает, как она молится, потом целует ее и ждет, пока она уснет. Ждать приходится недолго; глазки крошки живехонько смыкаются. Сегодня двое старших немножко расшалились; один все прыгал в одной рубашонке по комнате, а другой взлез на стул, навертел на себя платя всех остальных и объявил, что это — шарада; пусть-ка отгадают. Третья и четвертая аккуратно складывали свои игрушки в ящик — надо ведь и это кому-нибудь делать! Но вот мать присела к малютке на кроватку и велела детям вести себя потише: девочка читала «Отче наш».

Я смотрел прямо под лампу. Четырехлетняя малютка лежала в своей постельке, прикрытая чистым белым одеяльцем; вот она сложила ручонки, личико ее приняло такое торжественное выражение, и она громко начала читать «Отче наш». «Постой! — перебила ее вдруг мать. — Что это ты сказала после слов «хлеб наш насущный даждь нам днесь?» Ты что-то прибавила, но я не расслышала. Повтори! — Малютка молчала, смущенно глядя на мать. — Что же ты сказала еще, кроме «хлеб наш насущный»?» — настаивала мать. «Не сердись, мамочка! — пролепетала крошка. — Я попросила на хлеб маслица!»





ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ¹

I. ТЕНЕВЫЕ КАРТИНЫ (Из путешествия по Гарцу 1831 г.)

Вместо предисловия

«Wenn jemand eine Reise thut,
kann er was erzählen!»² —

говорит Клаудиус; так-то так, да найдутся ли слушатели, вот вопрос!

Живем мы в такое время, когда мировые события следуют одно за другим, когда в один год совершается больше, нежели прежде в целое десятилетие. На политическом горизонте вспыхивает метеор за метеором, так где уж тут обращать внимание на поэтические вспышки какой-нибудь единичной души! Нынешний век трудится в пользу поэтов грядущих поколений, от них будет зависеть обессмертить наше время!.. Но стоит птице опериться, ей уж хочется испробовать свои крылья, полетать, что бы там ни происходило вокруг — война или мир, свадьба или похороны. И вот она порхает и поет, пока не умрет. Всегда ведь найдется хоть одна родственная душа, которой вздумается отдохнуть от мирской суеты, прислушиваясь к трелям пернатого певца; большего же этот ма-

¹ Имея в виду дать в «Собрании сочинений Андерсена» лишь наиболее выдающиеся из его многочисленных и крайне разнообразных по содержанию произведений и желая в то же время познакомить русских читателей с «Путевыми очерками» Андерсена, мы предлагаем здесь выдержки из описаний трех его путешествий по Европе, вышедших под заглавием «Теневые картины» (1831 г.), «Базар поэта» (1840 г.) и «По Швеции» (1849 г.). Их упомянутых произведений взяты некоторые наиболее характерные или поэтичные описания, эпизоды, размышления и афоризмы автора, а также те из помещенных среди них сказок, которые он включил в «Полное собрание сказок и рассказов». — *Примеч. перев.*

² «Кто путешествовал, тот может кое-что порассказать». — *Примеч. перев.*

ленький гражданин неба и не требует! Если же он тщеславен — а таково большинство молодых поэтов, — он желает увеличить число своих слушателей и ради этого начинает оригинальничать, поет не своим голосом. Иногда это и помогает! Чем диковиннее звучат его поэтические вопли, тем больше обращают на него внимания. Таким образом, он собирает вокруг себя публику; а кому из вновь выступающих певцов это не желательно? Вот все они и стараются превзойти друг друга в оригинальничанье.

Нечего греха таить. Хотелось привлечь на себя внимание и мне, когда я подумывал описать мое путешествие. Я желал быть оригинальным и уже составил целый план — кстати сказать, еще до самой поездки. Я решил усадить читательниц и читателей и представить им мое путешествие в драматической форме — идея абсолютно новая! Да, я задумал написать целую драму с прологом и антрактами, а также увертюру к ней. В антрактах иронизировать предоставлялось самой публике, в прологе же это брал на себя я. Увертюра должна была исполняться полным оркестром; глухой гул толпы будет изображать турецкую музыку, все усиливающийся рокот волн — *crescendo*, а щебетанье птиц и молоденьких дамочек на Лангелиние¹ — *adagio*. На самом пароходе я тоже нашел бы, конечно, спутников, которыегодились бы для увертюры, а мое собственное сердце могло бы сыграть небольшое соло на арфе. Словом, я полагал, что переезд от Копенгагена до Любека мог бы доставить довольно-таки разнообразный материал для увертюры. С прибытием в Травемюнде начался бы пролог, а с прибытием в Любек и самая драма. Да, никто еще не описывал своего путешествия таким образом; значит, решено! И я отправился в путь.

Но вот замелькали одно за другим новые незнакомые места и люди; для меня открылся между горами новый мир, меня окружила чудная природа; она не щеголяла оригинальностью и все же была оригинальна, хоть и оставалась сама собою. «А не в этом ли и есть вся суть?» — подумал я, и все эти деланные оригинальные затеи как ветром вымело у меня из головы! Я решил описать все виденное мною просто, без всяких прикрас. Не выйдет ничего оригинального — значит, я сам только копия, а это — что-то невероятно. Если уж ни один листочек на дереве не похож на другой, как же тогда человек, оставаясь самим собою, может явиться копией с других людей? Итак, читатели, проститесь с увертюрой, прологом и антрактами! Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы вам не стоило оставаться на своих местах: я раскрою вам свою душу и покажу ряд картин, вызванных в ней чарами путешествия. Нам не нужно хлопотать об экране — лишняя возня; у нас есть книжки с белыми страницами, на них и появятся картины. Конечно, они бледны в сравнении

¹ Набережная Зунда, излюбленное место прогулок копенгагенцев. — Примеч. перев.

с действительностью, но не надо забывать, что я и называю их лишь «теневыми». Перед вами развернется панорама долин, гор и городов вперемишку с фантастическими арабесками, наскоро набросанными моим пером. Поэт не уступает живописцу!

Пароход «Принцесса Вильгельмина» отходит в Любек. Что это? Берег плывет! Разве он хочет забежать вперед, чтобы не дать нам обогнать себя? Нет, это плывем мы сами! Из трубы валит черный дым, колеса работают и пенят воду; за нами остается длинный пенящийся след.

Путешествовать! Завиднейшее счастье! А ведь, в сущности, все мы знаем его. Вся вселенная путешествует! Даже беднейший из смертных обладает крылатым Пегасом мысли; когда же этот Пегас дряхлеет, человек совершает самое великое путешествие в объятиях смерти. Все путешествует! В море беспрерывно катятся волны, по небу несутся облака, над полями и лугами летают птицы. Все мы путешествуем; даже мертвые в своих тихих могилах путешествуют вместе с землею вокруг солнца. Да, путешествие, это — *idée fixe* вселенной, но мы, люди, как дети, еще играем в путешествие.

Море лежало передо мною, как зеркало; не было даже ряби. Какое наслаждение плыть так между небом и морем! Сердце поет свои песни, проникнутые желанием и тоской, душа созерцает полные значения, изменяющиеся звуковые фигуры, которые порождают мелодии этих песен.

Сердце и море сродни между собою! Море — сердце земли, вот почему оно так и волнуется в бурные ночи, вот почему и наполняет нашу душу тоской или восторгом, когда отражает в своей спокойной глади ясное звездное небо, это великое изображение вечности! Небо и земля отражаются в море, как и в нашем сердце, но человеческое сердце, потрясенное бурями жизни, никогда уже не бывает так спокойно, как великое сердце земли. А ведь наша земная жизнь только миг в сравнении с жизнью всего мира; проходит миг, и люди забывают свои горести, даже самые глубочайшие, проходит миг, и море тоже забывает свои бури; для мира же целые недели и дни человеческой жизни лишь мгновения. Но я, кажется, уж не на шутку разболтался! Так же вот разболтался я однажды и с одним маленьким ребенком. Он сидел у меня на коленях, и я рассказывал ему сказку за сказкой, одну лучше другой — по моему собственному мнению. Ребенок не сводил с меня своих больших глаз, и я, полагая, что мои рассказы Бог ведь как занимают этого внимательного маленького слушателя, сам увлекся своей ролью рассказчика. На самом интересном месте я, однако, прервал рассказ и спросил ребенка: «Ну, что скажешь?» И ребенок ответил: «Ты так много болтаешь!» Как бы и ты, любезный читатель, не сказал того же! Но подумайте, мы успели уже за это время переплыть Немецкое море! Солнце опять встало; красивое было зрелище, только почти некому было любоваться им: боль-

шинство пассажиров спало; они, верно, были одного мнения с Арвом¹: «Утро прекрасно, только бы оно не начиналось так рано!»

Направо виднелся Травемюнде, застроенный домами с красными крышами; из окон высовывались головы мужчин и женщин, издали казавшихся прехорошенькими. Увы! Издали! Даль, вот она, волшебная страна, эта Фата-Моргана, которая вечно убегает от тебя! Вдали все мечты детства, все надежды жизни! Вдали сглаживаются морщины с изрытого ими чела старца, вдали и седая старуха сходит за цветущую красавицу! Может быть, и Травемюнде хорош только издали?

В ДИЛИЖАНСЕ

Из двадцати пассажиров, выехавших из Гамбурга, нас осталось под конец в дилижансе всего шестеро. Один был веселый остроумный гамбургский студент. Он нашел, что мы теперь составляем как бы семейный кружок, а члены такого кружка непременно должны знать друг друга. Он не спрашивал, однако, наших имен, а только откуда мы родом, и сообразно с этим давал каждому из нас имя какой-нибудь знаменитости. Таким образом составилась целый кружок знаменитых людей. Меня, как датчанина, он назвал Торвальдсеном, а соседа моего, молодого англичанина, Шекспиром. Сам студент уж не мог удовлетвориться именем меньшей знаменитости, чем Клаудиус. Относительно же трех пассажиров, наших визави, он был в некотором затруднении. Наконец двум из них — восемнадцатилетней девушке и ее дяде, старому аптекарю из Брауншвейга, — он подобрал имена Муммы и Гейнриха Леве, но последняя пассажирка, ехавшая только до Люнебурга, так и осталась без имени, — мы не нашли ни одной знаменитости из ее родного города Люнебурга, знаменитого солью.

Мы прокатили через него, не увидав ни одной из его достопримечательностей, даже окорока той знаменитой свиньи, которая восемьсот лет тому назад открыла соляные источники. Хруст песка под колесами дилижанса, шелест ветвей, свист ветра и звуки почтового рожка сливались вместе в усыпляющую колыбельную песню. Пассажиры один за другим начали клевать носами, цветы в букетах, заткнутых за переплеты окон дилижанса, проделывали как будто то же самое движение всякий раз, как дилижанс встряхивало. Я закрыл глаза, потом опять открыл их, продолжая дремать или по крайней мере грезить. Взор мой приковала одна большая гвоздика в моем букете. Все цветы сильно благоухали, но эта гвоздика, казалось, превосходила все остальные цветы и запахом, и яркостью красок. Всего же забавнее было то, что в чашечке ее сидело

¹ Действующее лицо в одной из комедий Хольберга. — Примеч. перев.

крохотное воздушное прозрачное существо величиною не больше одного лепестка самого цветка. Это был гений цветка. В каждом цветке обитает ведь такой гений, который живет и умирает вместе с цветком. Крылышки его были того же цвета, как и лепестки гвоздики, но так нежны и тонки, что казались лишь отражением красок цветка в лучах месяца. Золотистые кудри гения, воздушнее цветочной пыли, вились по его плечам и слегка волновались от ветра.

Вглядевшись в другие цветы, я заметил, что и в каждом из них сидело по такому же созданию. Их крылышки и одеяния тоже казались отражением красок тех цветов, в которых они обитали. Они покачивались на нежных благоухающих лепестках, пели и смеялись, но так тихо, что мне чудились в воздухе лишь нежные тихие звуки Золовой арфы.

Скоро в открытое окно кареты влетели еще сотни эльфов всех видов. Они вылетели из темных сосен и степных цветов. То-то поднялась возня, смех, пение и пляска! Они пролетали под самым моим носом и не задумались даже устроить пляс прямо у меня на лбу! Эльфы, вылетевшие из сосен, напоминали дикарей с копьями и пиками, но были так же легки и воздушны, как тот легкий туман, который при первых лучах утреннего солнышка подымается из окропленной росой чашечки розы. Малютки делились на отдельные партии и давали целые представления, которые и снились во сне пассажирам, — каждому свое.

Молодому веселому гамбургскому студенту снился Берлин; целая толпа эльфов изображала немецких студентов, некоторые же — заправских филистеров с длинными трубками в зубах и дубинками в руках. Студенты стояли сплошными рядами, как будто собрались на лекцию; один из сосновых эльфов вскарабкался, как настоящий Гегель, на кафедру и начал говорить такую ученую и витиеватую речь, что я не понял из нее ни полслова. Другая партия эльфов плясала на губах англичанина и целовала их, а ему снилось, что он целует свою невесту, глядит в ее ласковые, умные глаза. Перед молодой девушкой эльфы разыграли серьезную сцену из ее собственной жизни; слезы текли по ее щекам, а малютки эльфы, улыбаясь, гляделись в них, как в зеркало, и вот в каждой слезинке, скатившейся по щекам спящей девушки, светилась невинная улыбка!

Старому аптекарю досталось от них хуже всех: он наступил на один из цветков и раздавил его вместе с его маленьким гением. Эльфы уселись старику на ноги, и ему приснилось, что он совсем лишился их и скачет по улицам Брауншвейга на деревяшках, а все соседи и прохожие останавливаются и смотрят на него. Но скоро малюткам стало жаль старика, и они вернули ему ноги, мало того — снабдили его еще крыльями, так что он мог даже летать! Это было презабавно, и старик даже расхохотался во сне.

Перед купцом из Дрездена, севшим к нам в Люнебурге, они изобразили гамбургскую биржу со всеми ее евреями и маклерами и подняли

курс так высоко, как он еще никогда не подымался. Так могут поднять его только такие воздушные пузыри, да и то лишь во сне.

На меня они долго не обращали никакого внимания. «Этот длинный, бледный человек — поэт!» — сказал, наконец, один из них. «А ему мы разве ничего не покажем?» — сказали другие. — «Да ведь он и так видит нас! Будет с него!» — «А не показать ли ему то, что мы видим сами? Проснувшись, он бы спел об этом другим людям!»

Долго совещались они, обсуждая вопрос: достоин ли я такой чести, но так как под руками не было другого лучшего поэта, то я и удостоился посвящения. Эльфы поцеловали мои глаза и уши, и я как будто стал совсем новым и лучшим человеком.

Я взглянул на обширную люнебургскую степь, слывущую такою некрасивою. Бог мой, чего только не наговорят люди! Впрочем, то, что они говорят, зависит ведь от их умения видеть и слышать. А что же видел я? Каждая песчинка была блестящим обломком скалы, длинные стебли травы, осыпанные пылью с дороги, — чудеснейшим шоссе для малюток эльфов. Из-за каждого листочка выглядывало крохотное улыбающееся личико. Сосны смотрели настоящими вавилонскими башнями и от нижних ветвей до самых вершин кишмя кишели эльфами. Самый воздух тоже был переполнен этими причудливыми созданныцами, светлыми и быстрыми, как лучи света. Пять-шесть цветочных гениев неслись на спинке белой бабочки, которую спугнули со сна. Другие строили замки из аромата цветов и лунного сияния. Вся степь была волшебным царством, полным чудес! Как дивно был соткан каждый лепесток! Какою жизнью дышал каждый сосновый отросток! Каждая пылинка отличалась своим цветом и построением! А бесконечное, необъятное, безбрежное небо над степью?!

Существует поверье, что морская дева может обрести бессмертную душу тогда только, если ее полюбит на жизнь и на смерть человек и, окрестив ее, вступит с ней в брак. Малюткам эльфам не так много нужно. Слеза раскаяния или искреннего сострадания, выкатившаяся из глаз человека, уже является для них крещением, дарующим им бессмертие. Вот почему они всегда и выются около людей. Когда же из нашей груди вырывается кроткий благочестивый вздох, они возносятся вместе с ним прямо на небо и там под лучами вечного источника света вырастают в ангелов.

Пала роса, и я увидел, как эльфы резвились на ее каплях. Некоторые поэты уверяют, будто эльфы купаются в каплях росы, но где же этим легким существам, порхающим по пушинкам одуванчика, даже не шевеля их, где им заставить расступиться под собою плотные водяные капли? Нет, они твердо стоят на этих круглых каплях и катятся вместе с ними в своих легких воздушных одеяниях — прелестные, миниатюрные изображения катящейся на шаре Фортуны!

Вдруг налетел порыв ветра, и я проснулся. Все исчезло, но цветы благоухали по-прежнему, а в окна дилижанса глядели свежие зеленые ветви березок. По случаю Троицы почтальон убрал ими весь дилижанс. Старик аптекарь потянулся со сна и промолвил: «А и здесь можно видеть сны!» Но ни ему, ни другим пассажирам и в ум не приходило, что я был посвящен в содержание их снов.

Встало солнце; мы все сидели молча; должно быть, каждый из нас возносился мыслью к Богу, прислушиваясь к щебетанию птиц, певших гимн Троице, и к проповеди собственного сердца.

Солнце так пекло, что мы еле живыми добрались до Гифгорна, а оттуда до Брауншвейга оставалось еще целых четыре мили. Я был до того измучен, что с трудом мог вылезть из дилижанса, когда глазам нашим предстали вдали горы Гарца и вершина Броккена. Наконец-то мы достигли цели нашего путешествия.

В БРАУНШВЕЙГЕ

— Что дают сегодня вечером в театре? — спросил я.

— Чудеснейшую вещь! — ответил половой. — «Три дня из жизни игрока»! — Я уже слышал об этой сенсационной пьесе, прошумевшей на всю Германию, и, как ни испечен был за день лучами солнца, как ни измучен с дороги, все-таки отправился в театр.

Пьеса делилась не на акты, а на дни; между каждым предполагался промежуток в пятнадцать лет. Два дня я выдержал, но больше не мог. Зрители были обречены на сущее мучение: скамейки являлись настоящими скамьями истязаний, а я и без того был весь разбит с дороги. Первый день кончился тем, что игрок убил своего отца, другой тем, что он всадил пулю в живот совершенно невинному человеку. Кровь во мне так и вскипела: а что как на третий день он покончит и со всеми зрителями? Вот ужас! Только в «Каторжниках» я и испытал нечто подобное.

На обратном пути домой мне повсюду мерещились подонки человечества, несчастные матери и проигравшиеся игроки. Я был взволнован и, чтобы успокоиться как-нибудь, начал напевать колыбельную песню, а потом рассказывать себе самому детскую сказочку. Послушай ее и ты, читатель!

Пока копенгагенские граждане остаются еще маленькими карапузиками, не бывавшими нигде дальше Фредериксбергского сада да букового леса, бабушки и няньки постоянно угощают их рассказами о заколдованных принцессах и принцах, о золотых горах и говорящих птицах. Немудрено, что детишки часто задумываются о волшебной стране, где водятся такие чудеса. Только где же она? Да уж, верно, там, далеко-далеко, за морем, где оно сливается с небом! Но стоит карапузикам

подрости, поступить в школу и познакомиться с географией — прощай, страна чудес!.. Бог с ней, однако, с этой географией! Мы остановимся пока на стране чудес. В стране этой много-много лет тому назад, когда еще никому и не снились ни моя авторская деятельность, ни «Три дня из жизни игрока», жил-был старый седой король. Он слепо верил в свет и людей и не мог даже представить себе, чтобы кто-нибудь когда-нибудь лгал. Ложь казалась ему чем-то несуществующим, фантастическим. Вот он раз возьми да и объяви в совете, что отдаст дочь и за нею полцарства в приданое тому, кто скажет ему нечто, прямо невероятное. Все подданные преусердно принялись учиться лгать и лгали один лучше другого, но добряк король всякую ложь принимал за правду. Под конец король даже затосковал, плакал, утирал глаза своей королевской мантией и вздыхал: «Ах, да неужто ж мне никогда никому не доведется сказать: врешь!» Дни шли за днями, и в одно прекрасное утро приходит красивый молодой принц. Он был влюблен в принцессу, и она отвечала ему взаимностью. Целых девять лет изощрялся он во лжи и теперь надеялся добиться невесты и полцарства. Он попросился у короля в огородники. «Хорошо, сын мой!» — сказал король и повел его в огород. В огороде росло видимо-невидимо капусты: кочаны были сочные, огромные, но принц скорчил гримасу и спросил: «Это что?» — «Капуста, сын мой!» ответил король. «Капуста? В матушкином огороде растет капуста такая, что под каждым листом уместится целый полк солдат». — «Возможно!» — сказал король. — «Природа так могуча и каких-каких только не производит плодов!» — «Ну, так я не хочу быть огородником!» — сказал принц. — «Возьмите меня лучше в овинные старосты». — «Хорошо; а вот и овин мой. Видал такие большие?» — «Такие? Поглядел бы ты, какой овин у моей матери! Представь себе, когда его строили и плотник работал топором на крыше, топор как-то сорвался с топорщища и полетел на землю, но, пока долетел, ласточка успела свить в отверстии обуха гнездо, положить яйца и вывести птенцов! Да ты, пожалуй, скажешь, что я вру?» — «Зачем? Нет! Искусству человеческого нет пределов! Почему ж бы и твоей матери не построить себе такого овина?»

Так и пошло; принц не добился ни царства, ни прелестной принцессы; и она, и он зачахли с горя; король ведь поклялся: «Руку моей дочери получит лишь тот, кто солжет мне!» Но, увы! Его доброе сердце не хотело верить в ложь. Наконец, он умер, но не нашел покоя даже в своей мраморной гробнице и, говорят, до сих пор еще бродит по земле, томимый все тем же желанием».

Только что я досказал себе эту сказку, в дверь моей комнаты постучали. Я крикнул: «Войдите!» — и представьте мое удивление! Вошел старый король в короне, со скипетром в руках! «Я слышал, как ты вспоминал историю моей жизни, — сказал он, — и это заставило меня явиться к тебе. Не услышу ли я от тебя какой-нибудь лжи? Тогда бы

я успокоился!» Придя в себя, я стал объяснять ему, что именно побудило меня рассказывать себе самому историю его жизни, и упомянул о «Трех днях из жизни игрока». «Расскажи мне эту пьесу! — сказал он. — Я охотник до страшных историй. Мне самому ведь довелось на старости лет сделаться страшилищем!» Я начал рассказывать ему всю пьесу, сцену за сценой, и нарисовал ему полную картину изображенной в ней человеческой жизни. Тут лицо короля прояснилось, он схватил меня за руку и восторженно воскликнул: «Вот это ложь, сын мой! Ничего такого на свете не бывает! Теперь я спасен!» И он исчез.

Поутру вся эта история со сказкой вместе стала казаться мне сном, и я отправился осматривать город.

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ. ГОСЛАР

Пробыв в Брауншвейге три дня, я выехал оттуда на «скорых». Спутниками моими оказались два молодых офицера, путешествовавших инкогнито — в качестве майоров. Меня они сейчас же произвели в профессора, и так как это производство не вовлекало меня в расходы, то я и примирился с ним, как истинный христианин. Еще с нами сидели: девушка-служанка лет сорока, ехавшая в Гослар встречать своих господ, да старый школьный учитель, большой оригинал. С ним мы сейчас познакомимся поближе. Девушка представляла собой что-то среднее между меланхолической и сангвинической натурой. Она ежеминутно принималась плакать, припоминая, что как раз сегодня в Брауншвейге ежегодный праздник стрелков, а ей вот, как на грех, уже третий год не приходится присутствовать на нем из-за этих поездок!

На первой же станции я расстался со всеми своими спутниками, кроме школьного учителя. Мы с ним пересели в четырехместный дилижанс, но оставались вдвоем во все время пути. Старику было лет шестьдесят; сухой, маленького роста, с живыми глазками и черной бархатной шапочкой на голове, он являлся живым портретом школьного учителя Вуца из рассказа Жана Поля. Спутник мой был, впрочем, не из Ауенталя, а из какого-то маленького ганноверского городка, ехал в Гослар навестить своего старого товарища и так же, как и я, впервые готовился взойти на горы. Он был одним из тех счастливцев, которые, по своей скромности и непритязательности в соединении с богатой фантазией, готовы всякий сухой пенек обвивать цветами, скромную каморку принимать за волшебный дворец и высасывать мед из самого невзрачного цветочка. С какой-то детской гордостью описывал он мне свой родной городок, являвшийся в его глазах чуть ли не центром вселенной. В последнее время городок этот так подвинулся вперед — в нем завелся даже театр!

— Да! — рассказывал он. — Поглядели бы вы на наш театр! Никто и не скажет, что тут прежде была конюшня! Стойла расписаны лирами и флейтами; наш старик маляр постарался на славу. А оркестр... да лучшего и желать нельзя в таком маленьком городке: две скрипки, один кларнет и большой барабан. Очень хорошо у них выходит! Не умею вам сказать отчего, но эта музыка удивительно хватает за сердце! Так вот и видишь перед собою Божьих ангельчиков в небе!.. Ну, конечно, мы и не требуем от музыкантов разных там фокусов-покусов, как берлинцы или брауншвейгцы. Наш старый кладбищенский смотритель, он же и дирижер, угощает нас в антрактах польским да моллинаски, дамы наши подпевают оркестру, а мы, старики, выбиваем такт своими тросточками. Превесело!

— Ну, а насчет игры артистов-любителей как? — спросил я.

— О, все идет превосходно! У нас ведь, скажу вам, прежде чем выпустить их перед всей публикой, заставляют набираться храбрости и привыкать играть на репетициях. На генеральную же репетицию каждая семья поставляет двух человек из своей прислуги, чтобы театр был полон и играющие могли, так сказать, взыграть духом!

— Да, должно быть, это превесело...

— Еще бы! — прервал он меня. — Да, мы веселимся от души и не завидуем им там, в Берлине! Занавес и декорации у нас тоже прекрасные. На занавесе изображена наша городская пожарная труба; струя из нее бьет так натурально — и как будто прямо из суфлерской будки! А ведь все это только нарисовано, но как нарисовано! Декорация улицы тоже одна прелесть; она изображает нашу городскую площадь, и так похоже, что каждый может даже отыскать свой собственный дом, какая бы ни шла пьеса!.. Одна беда у нас, с люстрой!.. Свечки все оплывают, и сало так и каплет с них. Поэтому, как бы много ни собралось народу, под люстрой всегда остается пустое место. Другой недостаток — я ведь не стану хвалить все! — другой недостаток вот какой: дамы наши, что участвуют в спектаклях, как завидят среди зрителей кого-нибудь из знакомых, сейчас давай хихикать и кивать им! Но, что ж? Все это ведь, в сущности, одна забава!

— Ну, а зимою, когда нет спектаклей, скучно, должно быть, живет у вас? Эти длинные, зимние вечера!..

— О, мы и не видим их! Жена моя, обе дочери и служанка садятся за прялки, а я читаю им вслух; так-то работа спорится живее, и время летит незаметно. На святках же мы играем в лото на пряники да на яблочные пышки и слушаем, как под окном славят Христа ребятишки... У меня от радости сейчас слезы навертываются на глаза!

Так-то оживленно беседовали мы, пока наш дилижанс вяло тащился по песчаной дороге. Горы мало-помалу выступали из тумана и рисовались огромными, величественными массами, обросшими темными сосновыми ле-

сами; в долинах между ними живописно раскинулись хлебные поля. Вот перед нами и древний Гослар, вольный имперский город. Крыши здесь все из шифера, отчего город, окруженный горами, и отличается каким-то мрачным видом. Здесь некогда была резиденция германских королей и императоров, здесь происходили государственные съезды и решалась судьба государств и стран, теперь же... Гослар известен благодаря своим рудникам да путевым картинам Гейне. Здесь поэт играл роль похитителя цветов и сердец. Почтенные бюргеры Гослара, однако, и знать не хотят поэта; одно имя его вызывало у них на лицах кислые мины. Делать нечего, пришлось быть поосторожнее! В Госларе я распростился со своим спутником в надежде встретиться с ним опять уже на Броккене.

Воздух здесь был какой-то удушливый, пропитанный запахом из рудников, похожим на тот, что, по рассказам, оставляет после себя рассерженный черт. Раз упомянув о черте, надо уж, пока не забуду, упомянуть и об одной из первых достопримечательностей Гослара — подарке этого знаменитого господина. Посреди городской площади находится большой металлический водоем; в него проведены трубы, посредством которых его наполняют водою; кроме того, во время пожара жители пользуются им вместо большого колокола — бьют о его края, и звон разносится по всему городу. Этот-то водоем, гласит предание, и принесен сюда некогда самим чертом; я потрогал чашу — весьма солидная работа!

На той же площади возвышается мрачная старинная ратуша, изукрашенная снаружи изваяниями могущественных императоров. Все они стоят с коронами на головах и скипетрами в руках, раскрашенные, словно лубочные нюрнбергские картинки. Перед ратушей я увидел старика рудокопа, показывавшего этих бравых героев своей маленькой внучке. Глядя на них, ребенок, верно, представляет себе и всех земных императоров и королей точно такими же угрюмыми каменными людьми с мечами и коронами, и в мозгу этого маленького разумного существа уже складывается понятие, что жизнь королей не Бог весть как сладка! Пойдите-ка вечно с тяжелой короной на голове перед зданием ратуши, на страже закона и правосудия!

ГОСЛАРСКИЕ РУДНИКИ

У спуска в рудники нам встретилась целая толпа молодых рабочих, выкатывавших глыбы руды. Тут же нам дали проводника; он зажег лампочку, отворил тяжелую дверь, и... сердце у меня как-то странно сжалось — мы начали спускаться в рудник. Скоро выложенный кирпичом проход кончился, и нас окружили голые скалистые стены и своды. Мы спускались все глубже и глубже. Навстречу попадались рудокопы со своими лампочками, обменивались с нами обычным приветствием: «В до-

брый час!» — и все вокруг опять погружалось в мертвую тишину. Своды здесь были как будто сложены из металла; руда проблескивала то зелеными, то медно-красными крапинками. Со мной спускался один госларский купец, и я крепко держался за него; пробирались мы по узенькой дощечке. Часто приходилось нагибаться, чтобы не стукнуться головами о низко нависшие отроги скал, ходы беспрестанно перекрещивались, и проводник иногда совсем пропадал у нас из виду. Вдруг над головами нашими раздался такой грохот, точно обрушилась целая гора. Я не издал ни звука, а только крепче прильнул к своему спутнику, который затем объяснил мне, что это открыли наверху шлюзы и пустили воду, приводящую в движение ворот, которым поднимают из нижних галерей глыбы руды.

Сбоку открылась пропасть. Лампочки наши не могли осветить нам всего огромного ворота, на который с шумом и пеной набегала вода. Не знаю, право, это ли зрелище или вид огромной освещенной факелами шахты, где откалывали массивные глыбы руды, представляло более живописную картину! Красные огненные языки высоко метались в воздухе, ярко освещая черных рудокопов. Я прислонился к скале и стал присматриваться к этому новому для меня, диковинному миру, прекрасному и в то же время страшному.

Да, поистине удивительный контраст представляют между собою разнообразная жизнь моряка и однообразная жизнь рудокопа! Моряк, распустив паруса, носится по волнам от берега к берегу; весело ему глядеть на сутолоку людскую в чужих гаванях. То борется он на море с бурей, от которой ломаются мачты и корабль бросает, как щепку, то сидит в корзинке, подвешенной к мачте, и смотрит на зеркальную безбрежную гладь морскую, сливающуюся с небом. Дни же рудокопа ничем не отличаются один от другого. В черной подземной глубине сидит он со своей лампочкой и откалывает молотом куски руды; на душе у него так же сумрачно и тихо, как и в этом подземелье. Только воскресенье приносит с собой некоторую перемену. Рудокоп облекается в лучшую свою одежду, идет в церковь и наслаждается видом красного солнышка, так приветливо льющего ему в душу свои лучи. После обеда он иногда отправляется в город, узнает там газетные новости и дивится людским тревоблениям и бурям там, за пределами его мирка. Если он еще молод, в его груди, может быть, и просыпается иногда желание пожить на воле, окунуться в водоворот жизни, но... настает понедельник, и он опять сидит в шахте со своей лампочкой, откалывая молотком от стен кусок за куском. Так оно и идет до тех пор, пока чужая рука не заколотит молотком его гроб.

Когда мы вышли из рудников, на небе опять сияло солнышко. Лучи его играли на зеленых соснах, и окропленные дождем зелененькие отростки их так и сверкали бриллиантами. При виде освещенных солнцем

гор и ясного неба мне показалось, что приветливее, красивее картины я не видел, так поразителен был переход от подземного мрака к этому залитому светом Божьему миру.

НА БРОККЕНЕ. РЮБЕЛАНД. ПЕЩЕРА БАУМАНА

Утром, около половины третьего, служанка позвала меня любоваться восходом солнца. Большинство путников, закутанных в плащи и башлыки, стояло уже на горной площадке. Из каких-каких только мест ни собралась сюда эта пестрая людская толпа, занятая теперь одною мыслью: сейчас восходит солнце!

Мы как будто находились на острове; облака расстилались под нами, словно безграничное, безбрежное море, вдруг застывшее неподвижной массой. На голубом небе не было ни малейшего отблеска зари; солнце вставало красно-кровавым шаром без лучей, и только когда оно уже совсем поднялось над горизонтом, на расстилавшееся у наших ног облачное море разом хлынул поток света.

Старый школьный учитель, мой спутник по дилижансу, долго-долго стоял, скрестив руки и не говоря ни слова, только блаженно улыбаясь. Наконец у него вырвалось: «Как жаль, что нет со мной ни жены, ни дочек! Да и старая Анна (их служанка) себя бы не вспомнила от радости, увидев такое великолепие! Что ж, Господи Боже мой? Места тут для всех бы хватило!.. Вот так-то я и всегда рассуждаю, когда люблюсь чем-нибудь таким особенным! Да, здесь хватило бы места и всем добрым друзьям! И они бы небось порадовались, глядя на это!»

Солнце подымалось все выше и выше, и более легкие облачка начали уже таять; голубой эфир как будто впивал их в себя; более же тяжелые облака ветер угонял вниз в горы, выдававшиеся из этого облачного моря островами. Скоро стало совсем светло, и мы увидели города, башни, поля и луга, казавшиеся издали прелестнейшими миниатюрами. Такого чудного утра не было еще в этот год на Броккене.

Я вскарабкался на так называемый Жертвенник ведьм и на высокую Чертову кафедру, напился холодной воды из Источника ведьм, купил себе броккенский букет, которым девушка украсила мой дорожный картуз, и простился с новыми своими знакомыми. Особенно сердечно распрощались мы со стариком, школьным учителем. Ему мы все так пришились по сердцу, что он попросил и меня, и всех прочих расписаться у него в альбоме: надо же ему было показать своим домашним, с какими хорошими людьми довелось ему столкнуться! Мы исполнили его просьбу и затем распростились.

Я присоединился к одному семейству из Гамбурга. Впереди шел проводник, за ним гуськом тянулся весь наш отряд, замыкавшийся осликом,

который нес наши пожитки. У каждого из нас было в руках по зеленой ветке, которой мы по временам подгоняли нашего ленивого Пегаса, — он, по-видимому, больше помышлял о собственном удобстве, нежели о нашем. Дорога шла то густым лесом, то по краю обрыва, в глубине которого виднелись небольшие горы, тоже обросшие сосновым лесом; на дальнем расстоянии они казались холмами, засаженными картофелем. На все, лежавшее внизу под нами, была как будто наброшена легкая дымка, так что мы смотрели на все это великолепие словно сквозь огромное зеленоватое стекло. В иных же узких ущельях лежал такой густой туман, что сквозь него ничего уже нельзя было различить, а с виду-то он казался таким же легким и прозрачным, как самый воздух!

Птички весело щебетали; в чашечках цветов сверкали жемчужинками капли росы, весь ландшафт был залит лучами солнца. Как, однако, хорош Божий мир!

Близ Эльбингероде, горного городка, я распростился со своими спутниками. Скоро меня окружили голые скалы; узкая тропинка бежала вдоль берега маленькой речки. Я находился в Рюбеланде; это искаженное название Rauberland — разбойничья страна; здесь, на одной из скал, стоял в старину замок рыцаря-разбойника. Теперь от замка нет и следов.

Окружающая меня природа действительно почти подавляла своим величием, но мне показалось все-таки, что она глядит на меня как-то уж чересчур свысока, и я, наконец, схватил бумагу и карандаш, решившись показать ей, что все же я господин над нею!

Своей грозной миной меня запугать
Тебе не удастся, громада немая!
Не думай и ты от меня убежать,
Бурливая речка, шалунья живая!
И птичка, что прочь улететь норовит,
И ты, моя речка, и скалы, и горы —
Все, все на бумаге здесь прочно стоит!
На что мои пали пытливые взоры,
Тому не избежать уж власти моей;
Поэт ведь опасный для всех чародей!

По ту сторону селенья Рюбеланд шла горная тропинка, подымавшаяся вверх к углублению в скале, служившему входом в пещеру Баумана... Здесь я нашел еще двух путешественников. Каждому из нас дали в руки по зажженной лампочке. Проводник двинулся вперед, и мы стали спускаться в глубь этого окаменелого фантастического царства.

Сначала пришлось пробираться по низкому проходу, напоминавшему те ходы, что прорывает от своей норы лисица; выпрямиться здесь было невозможно, и мы шли согнувшись. Затем вступили как будто в старый полуобвалившийся подвал какого-нибудь замка; здесь царила мертвая тишина, нарушаемая лишь однообразным звуком падения водяных капель.

Начался спуск в пропасть по сырым ступеням узенькой лестницы; тут уж каждый думал и заботился только о самом себе — как бы не ступить мимо, не сорваться с лестницы! Лампочки освещали только часть лестницы, все же остальное тонуло во мраке. Самой лестнице, казалось, не было конца. Этот мрак, мешавший нам разглядеть разверзавшуюся под нашими ногами бездну, донельзя увеличивал охватившее нас еще при самом начале спуска жуткое чувство. Проводник то и дело напоминал нам, чтобы мы держались покрепче и ступали куда следует, уверяя при этом, что опасности нет никакой — разве лестница сломается; тогда можно и шею свернуть!

Как, в сущности, человек односторонен в истинном значении этого слова! Мы ежедневно видим бесконечную бездну как над нами, так и вокруг нас, но эта воздушная бездна ничуть не волнует нас. Напротив, стоит нам увидеть бездну под ногами, и у нас голова кружится. Вообще к спуску в недра земли мы относимся с каким-то боязливым почтением, спускаемся туда неохотно, а между тем всем нам суждено сойти туда, и только там и ждет нас истинный отдых и покой!

Переходя из пещеры в пещеру, мы спускались все глубже и глубже; порой проход становился до того узким и низким, что приходилось идти поодиночке и согнувшись в три погибели, порою же так раздавался и вширь и ввысь, что свет от лампочек не достигал до стен и сводов.

Кругом, куда ни взглянешь, зияли темные пропасти, нависали причудливыми фигурами сталактиты; фигуры эти не всегда, однако, соответствовали тем предметам, с которыми сравнивал их наш проводник. Я ведь, кажется, тоже обладаю кое-какою фантазией, а между тем никак не мог согласиться с ним! Было здесь также и много такого, на что он не обращал нашего внимания, хотя и следовало бы.

У ног наших, журча, струился источник; мы напились из него холодной кристально-прозрачной воды. Один из моих спутников поднял с земли какую-то кость; осмотрев ее с величайшим вниманием, он объявил, что это остаток скелета какого-то животного древней породы. Я не спорил: кость была ни дать ни взять от коровьей ноги, а коровы ведь, как известно, очень древняя порода!

Пещера Баумана названа так в память открывшего ее рудокопа Баумана. Он спустился туда в 1670 г. на поиски руды, ничего не нашел и заблудился в ее бесчисленных ходах и переходах. Двое суток плутал он, пока не нашел выхода; душевное потрясение и голод так сильно подействовали на его организм, что он вскоре затем и умер, успев, однако, обратить внимание людей на диковинное построение пещеры.

Во время нашего странствия по этому лабиринту меня не покидала мысль о блуждавшем здесь злополучном Баумане, и сердце мое все время усиленно билось. Я все представлял себе, что должен он был пережить

и почувствовать за эти двое суток, один, охваченный страхом, обреченный на голодную смерть! С каким облегчением вздохнул я, выбравшись вновь на свет Божий, почувствовав себя опять между живыми людьми!

ДЕВИЧИЙ ПРЫЖОК

Когда я подходил к Девичьему прыжку (Mägdesprung), солнце уже садилось, и в ущелье царил полумрак; тем ярче зато горели верхушки деревьев, отбрасывавших от себя длинные, резкие тени. Тут нагнал я двух школьников, с которыми уже встречался на Броккене; они пользовались каникулами, чтобы побродить по горам и поближе познакомиться с великою матерью-природой.

Мы пошли вместе; по дороге встретился нам драбант; вид у него был самый разбойничий, свирепый; тронуть нас он, однако, не тронул, уstraшенный, вероятно, нашим численным превосходством; мы со своей стороны отплатили ему за любезность любезностью...

Скоро мы дошли и до черного железного креста, воздвигнутого на уступе, с которого, по преданию, бросилась вниз молодая девушка, преследуемая влюбленным в нее князем. Мужественная красавица, однако, избежала смерти: Бог повелел ветру подхватить ее и бережно снести на дно пропасти, где среди обломков скал пробивались побеги дикой ежевики. Обязано ли это место своим названием упомянутому преданию — не знаю. Оттомар же рассказывает, что, здесь на этом уступе, играли некогда две девушки-великанши, и одна с разбегу перескочила через пропасть, другой же такой скачок показался немножко рискованным; она помедлила, но потом тоже перепрыгнула через пропасть, да так грузно, что на скале остался след ее ноги. Какой-то крестьянин, пахавший неподалеку землю, принялся хохотать над огромной дамой, а она, не долго думая, забрала его вместе с волами и плугом в передник и унесла к себе домой в гору.

Хотя я, как взрослый и разумный человек, прекрасно знал, что этот рассказ только плод народной фантазии, что никакая великанша тут не прыгала, никакое человеческое существо не могло слететь на дно пропасти, не сломав себе шеи, я все-таки не мог не заинтересоваться этой местностью, невольно поражающей всякого, кто любит природу. Не одни только гордые скалы, поросшие необозримыми лесами и высокими кустам, нависающими над бурливой речкой, не одни мертвые руины сообщают местности романтический характер. Она принимает в наших глазах поэтический колорит главным образом тогда, когда с нею связано какое-нибудь предание. Предания оживляют мертвую обстановку; последняя перестает быть только красивой, но бездушной декорацией; каждый листок, каждый цветок превращается в певунью-птичку, а ручей в шепчущий

водомер, присоединяющий неумолчный говор своих струй к голосам невидимых духов. Немудрено поэтому, что лежавшая передо мною местность, оживленная упомянутым сказанием, показалась мне вдвое прекраснее.

По дороге начали попадаться встречные; чем дальше, тем больше; то угольщики с мрачными характерными физиономиями, то белые и румяные деревенские девушки. Рядом с нами бежала болтливая речка; она, вероятно, твердила то же, что и мы: «Ах, как тут хорошо!»

Скоро мы слышали шум, доносившийся из многочисленных мастерских; мы поднялись к достопримечательному обелиску, воздвигнутому здесь герцогом в 1812 г. в память своего покойного отца. Обелиск весь из железа, и мне передавали, что выше его нет во всей Германии. Путешественники покрыли его разными надписями и своими именами. Написали карандашом свои имена и мы. Всем нам хочется увековечить свое имя, и желание это выражается иногда самым наивным, чисто детским образом! В самом деле, дождь и снег скоро сотрут это карандашное бессмертие; на месте наших имен появятся другие, и так будет идти до тех пор, пока не сотрется с лица земли самый обелиск. Точно так же стремимся мы во время краткого земного странствия нашего начертать свои имена и на скрижалях истории — этом мировом обелиске; но точно так же стираются и сменяются одно другим имена и на нем, пока и сам он не превратится в прах. Бог весть, чье имя простоят на нем дольше всех? Верно, имя Самого Великого Зодчего, Который воздвиг и обелиск этот, и весь мир во славу собственного имени.

НА ПУТИ В АЙСЛЕБЕН. ЛЮТЕР

Основная черта моего характера какая-то странная торопливость! Чем интереснее книга, которую я читаю, тем больше спешу я дочитать ее до конца. Во время путешествия я не отдаюсь как следует впечатлению настоящего, а нетерпеливо рвусь навстречу будущему, чтобы отнестись затем точно так же и к нему. Ложась вечером спать, я уже заглядываю в будущий день, желаю, чтобы он поскорее наступил, а когда он наступит, меня занимает уже не он, а идущие за ним. Самая смерть представляет для меня что-то удивительно интересное, желанное, она ведь введет меня в новый мир!.. Куда же это меня тянет? Куда влечет меня мое мятежное сердце?

Окружавшая меня весенняя природа дышала юной свежестью и тихой радостью, мою же душу как будто заволакивал туман печали. Зачем, думал я, завидовать этим свежим пестрым цветам? Пусть они себе благоухают — пройдет месяц-два, и они завянут. Ручей, что так весело журчит, исчезнет в море, а само величавое, необозримое море испарится! Пусть себе солнце играет своими палящими лучами, и оно некогда вместе

с небом превратится в прах, тогда как мое сердце, изнывающее теперь от тоски, вызванной моими же собственными фантазиями, блаженно вознесется в страну вечности.

И в это утро мне, как всегда, не сиделось на месте, и я поспешно оставил Гарцгероде. Перед взором моим замелькали картина за картиною; вот одна из них, которая многим, может быть, покажется незаслуживающей особенного внимания, у меня же и до сих пор стоит перед глазами так же живо, как восход солнца на Броккене.

В деревеньке Клаус, состоящей, кажется, всего из трех дворов, зашел на постоялый двор — один из числа этих трех. Все здесь и просилось на картинку, во вкусе голландской школы. На самом пороге растянулся котенок, на полу дрались два петушка, а девушка-служанка, в сущности очень красивая, пышущая здоровьем, но одетая как истое дитя деревни, протянула мне стакан молока с самым равнодушным видом, точно подачку какую-то. Облагодетельствовав меня таким образом, она уж и вовсе перестала обращать на меня внимание, подошла к зеркалу и занялась своим туалетом. Первым долгом она распустила по плечам свои длинные волосы. Я как сейчас вижу перед собой эту картину. Желал бы того же и тебе, читатель! Картинка, право, была недурна!

В продолжение двух-трех часов я шел, не встречая души живой. Дорога то расширялась безмерно, так что и краев было не видно, то суживалась так, что по ней еле-еле могла проехать телега. Немудрено, что я заблудился; справиться о дороге было не у кого. «Разве у этих двух буков?» — подумал я, они показались мне земляками. Справился, но те в ответ только верхушками покачали.

Наконец я добрал до какой-то деревушки. На площадке перед одним из домов шла пляска. Плясали под звуки скрипки инвалида-Орфея одни девушки-подростки. Матери и вообще все остальные более зрелые представительницы женского населения деревни чинно сидели на окружавших площадку деревянных скамейках и глядели на веселье молодежи. На подошедшего путника никто и внимания не обратил. Может быть, эта старушка в черной шапочке на седой голове погрузилась в воспоминания о чудных днях своей юности, когда и она весело плясала тут под звуки скрипки! Давно кончилась та пляска, и первый танцор давно, может быть, спит себе под дерновым покровом.

Однако непрерывный ряд картин утомляет зрение; даже ребенку, наконец, надоедает перелистывать книжку с картинками, как бы они ни были пестры. Пропускаю поэтому несколько картин, хотя некоторые из них и были очень и очень красивы. Надо дать отдых и себе и читателю, а потому ограничусь лишь кратким формальным описанием местностей.

Леймбах: город, 660 жителей, медеплавильные заводы, ратуша и т. д. Мансфельд: город, лежащий на расстоянии четвертьчасовой ходьбы от Леймбаха, 1600 жителей и одна гостиница «Коричневый олень».

Ну вот я и отдохнул! А читатель? Как бы то ни было, а мы теперь уже в Айслебене.

Самый город показался мне необычайно приветливым и симпатичным. На площадке перед старинной церковью играл маленький мальчик; он выводил мелом узоры на каменных плитах, служивших, может быть, аспидными досками и самому Лютеру, когда он играл здесь ребенком. Ратуша напоминала своими угловатыми резкими очертаниями самый век Лютера; она, вероятно, сохранила свой первоначальный вид; напротив, дом, в котором родился великий реформатор, не избегнул некоторых переделок. Теперь в нем помещалась школа. Стекла одного окна были украшены изображениями Лютера и Меланхтона; над дверью же виднелась надпись, окружавшая барельеф с портретом Лютера:

Gottes Werck es Luthers Lehr,
Darum weyht sie nimmer mehr!

На улице перед дверью стоял крестьянин с женою. Он по складам читал ей стихи, и на лицах их ясно выражалось, какой глубокой, чудной поэзией дышало для них каждое слово. Взгляд их становился все светлее и светлее, когда же муж прочел последнее слово, видно было, что оба приняли все это изречение как бы за откровение небожителя. «Лютер! — говорит Жан Поль. — Тыходишь на рейнский водопад! Как мощно гремишь и бушуешь ты! Но как в струях водопада играет радуга, так и в твоей груди покоится радуга милости и мира! Ты колеблешь только устои земли, а не неба!» Это звучит очень красиво, но куда торжественнее, вернее, задушевнее, по тону и выражению, прозвучали для меня слова, сказанные жене стариком крестьянином: «Да, вот был человек!» Думаю, что и сам Жан Поль согласился бы со мною, присутствуй он при этом.

Да, Лютер был воистину человеком! Потому-то он и сломил папское иго, потому-то и пел:

Wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang,
Der Bleibt ein Narr sein Leben lang! —

потому-то и запустил в черта чернильницей. Недаром говорит один немецкий поэт (Берне, если не ошибаюсь): «Нет более опасного оружия против чёрта, как чернила и книгопечатание; они когда-нибудь окончательно сживут его со света!»

ОТ МЕРЗЕБУРГА ДО ЛЕЙПЦИГА

Дорога в Мерзебург была обсажена по обеим сторонам вишневыми деревьями. Самый город мрачен и невелик, но заехать в него все-таки стоит ради его старинного готического собора. Тут же мне рассказали

следующее народное предание. Какой-то мерзебургский епископ приказал казнить своего слугу за воровство; впоследствии открылось, однако, что вором был ручной ворон, любимец самого епископа. Последний, мучимый раскаянием, впал в меланхолию, повелел заточить птицу в железную клетку и выставить ее на всеобщее поругание. Мало того, он завещал особый капитал, на который городской совет Мерзебурга обязан был постоянно содержать в клетке ворона, обученного выкрикивать имя невинно казненного: «Яков!» Когда один ворон околевал, ему, как далай-ламе или папе, немедленно избирали преемника. И в бытность мою в Мерзебурге, там, как мне говорили (самому мне не удалось этого видеть), сидела в клетке такая несчастная, ни в чем не повинная черная птица и кричала: «Яков!» Она и знать не знала, ведать не ведала, за что ей досталась казенная квартира и стол, и, может быть, даже и в родстве-то не была с тем вороном-вором, по милости которого была учреждена эта воронья стипендия!

Солнце так и палило, когда мы выехали из города и направились в средоточие книжной торговли Германии — Лейпциг.

Какое-то странное чувство овладело мною при виде необозримой лейпцигской равнины; ведь каждое местечко здесь отмечено в истории европейских войн! Здесь проезжал великий Наполеон, здесь он предавался великим думам и чувствам! Теперь это необозримое поле было волнуемою нивою. Нищие кровавые раны не заживают так быстро, как раны природы! Довольно одной весны, чтобы украсить старые развалины зеленью и цветами. Когда я проезжал по лейпцигской равнине, там проводили новую проезжую дорогу, и я видел извлеченные из земли пули и человеческие кости. Под деревом сидел старый инвалид с деревяшкой вместо ноги. Вот он-то, наверное, помнил зрелище повеличественнее волнуемой нивы, песни погромче песен щебетуний-пташек, порхавших над ним в ветвях дерева!

ДРЕЗДЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

С чего же мне начать мое описание? Впрочем, можно ли даже ставить подобный вопрос! Разумеется, с «Мадонны» Рафаэля. Я пролетел через все залы, стремясь поскорее увидеть эту картину, наконец, остановился перед нею и — не был поражен. На меня глядело милое, но несколько не выдающееся женское лицо, каких, казалось мне, я много видел и раньше. «Так это-то и есть та знаменитая картина?» — думал я, тщетно стараясь найти в ней что-нибудь особенное. Мне даже показалось, что многие и Мадонны, и другие женские головки, мельком виденные мною сейчас в галерее, были гораздо красивее. Я вернулся к ним, и тут-то с моих глаз спала завеса: здесь передо мною были только нарисованные



человеческие лица, тогда как там я видел живые, божественные. Я опять подошел к картине Рафаэля и на этот раз проникнулся ее бесконечною жизненностью и прелестью! Да, она не поражает, не ослепляет с первого взгляда, но чем дальше всматриваешься в эту Мадонну и в младенца Иисуса, тем они кажутся тебе божественнее. Такого неземного, невинного детского лица нет ни у одной женщины, и вместе с тем лицо Мадонны как будто срисовано с натуры. В каждом невинном девичьем лице можно отыскать сходство с нею, но она является тем идеалом, к которому все остальные только стремятся. Вглядываясь в ее взор, не возгораешься к ней пламенной любовью, но проникаешься желанием преклонить перед ней колени. Теперь мне стало понятно, каким образом могут католики падать ниц перед картинами. Они преклоняются не перед красками и холстом, а перед воплотившимся в них духом божества. Человек видит это божество плотским своим оком, а льющиеся в это время мощные звуки органа успокаивают диссонансы в его душе, и она постигает гармонию между земным и небесным. Краски на картине поблекли от времени, но лица по-прежнему дышат жизнью. Сияние, окружающее головки херувимов, как-то меркнет, ступеньвается, и весь блеск, вся сила сосредоточены во взгляде младенца Иисуса. Подобного взора, подобных очей не встретишь ни у одного ребенка, и все же нас поражает именно их чисто детское, невинное выражение. А эти милые херувимчики внизу! Вот истое изображение земной невинности! С каким детским спокойствием глядит перед собою младший, тогда как старший уже подымает взор свой ввысь, на небесное видение. Одна эта картина могла бы прославить Дрезденскую галерею, она одна могла бы и обессмертить своего творца!

В той же зале висят еще три шедевра. Один из них «Ночь» Корреджо, поэтичная по идее и дивно прекрасная по мастерству выполнения. Главная фигура Иисус; от нее льется яркий свет на все окружающие; особенно хороша, по-моему, женщина, прикрывающая рукой глаза и слегка отворачивающаяся от этого ослепительного света. Эта картина вообще считается лучшею из всех творений Корреджо, но мне все-таки больше нравится его «Святой Себастиан». Эта картина находится тут же. Как хороши на ней группы ангелов! Они парят на легких облачках, окружая святого мученика. Как спокоен и в то же время вдохновенен его взор! В той же зале есть еще одна картина, которую, по-моему, можно поставить четвертою в ряду этих вдохновенных произведений искусства. Это «Христос» Карло Дольчи. Какое удивительное сочетание величия и глубокой скорби в этом благородном, божественном лице!

Я переходил из залы в залу, рассматривая дивные образцы искусства, но беспрестанно возвращался к упомянутым четырем шедеврам, к «Мадонне» Рафаэля и ангелочкам Корреджо. Сильное впечатление произвели на меня и некоторые другие превосходные картины. Между ними первое место занимает «Судный день» Рубенса. В этой картине он дал нам портреты

трех своих жен. Две из них возносятся ангелами на небо, третью же дьявол влечет в преисподнюю. Сам Рубенс сидит на своей могиле. Никто, по-видимому, не обращает на него внимания, а он глубоко задумался, размышляя, вероятно, о том, куда попадет сам, и спокойно ожидая своей участи.

Отмечаю как курьез, что на картине Бассано «Ковчег» первой входящей в него изображена свинья, которой, таким образом, и достается лучшее место.

Утомленный и духовно и физически, оставил я наконец галерею, уже заранее радуясь мысли посетить ее вновь, и не один раз.

АМУР-ПРОВОДНИК. ЧЕРТОВ ВКУС. ДОМ УМАЛИШЕННЫХ

К утру погода несколько прояснилась, но надежды на возможность пуститься в горы было мало. Это был первый ненастный день за все время моего путешествия, и с точки зрения новизны я нашел его даже интересным, да кроме того, утешал себя надеждой, что днем, верно, прояснится! Действительно, не прошло и часа, как ливень перешел в небольшой дождичек. Мы воспрянули духом и, взяв в проводники десятилетнего крестьянского парнишку, отправились в горы. Парнишка шлепал по лужам босыми ножонками, смеялся и болтал без умолку, так что мне невольно подумалось: «Парнишка-то из молодых, да ранний! Уж не сам ли это шалунишка Амур навязался нам в проводники?! Только бы он не сыграл с нами какой-нибудь штуки! Его ведь хватит на это! Вессель бранит его «сопляком, который пускает в людей стрелы»¹. Досадно ведь, в самом деле, что этакий мальчишка властен подстрелить любого взрослого, почтенного человека! Влюбленные взаимно, говорят, помогают друг другу вытащить стрелы из раны и живо выздоравливают, но беда, если стрела останется в сердце! Такая рана грозит смертью!

Путь наш лежал на Гогенштейн, но мы решили свернуть с дороги, чтобы взглянуть на причудливую картину природы близ Чертова моста. А право, у черта есть вкус! Любое местечко, носящее его имя или намекающее на него, отличается особой, оригинальной картинностью! С именем его обыкновенно связаны самые романтические уголки земли. Повторяю, у черта есть вкус — хоть одно хорошее качество!

Вдоль Эльбы, под навесом высоких скал, вьется узенькая тропинка. На той стороне реки возвышается замок Зоннштейн; в нем теперь убежище для умалишенных.

¹ «Vig lille Snottedede, som skyder Folk med Pile!» — популярное изречение из классической пародии датского поэта-юмориста Иоганна Весселя: «Kjoerlighed uden Stromper» («любовь без чулок»). — *Примеч. перев.*

Странное чувство должно охватывать каждого при входе в этот замок. В стенах его заключен особый мир, мир людей, как бы вихрем каким сметенных со своего естественного пути. Да, придави свежий, полный жизни зеленый росток, и он увянет, свернется или вырастет уродцем. Фантазия, этот лучший гений жизни, превращающий своими чарами пески пустыни в Эдем, переносящий нас на своих могучих крылах через глубочайшие пропасти, через высочайшие горы и открывающий нам небо, является здесь ужасною химерой с головой Медузы. Взгляд ее мертвит мысль, вовлекает жертву в магический круг, из которого ей уже нет выхода; она погибла для света.

Видите вы эту четырехугольную каморку с решетчатым окном у самого потолка? На полу солома, а в нее зарылся голый чернобородый человек. На голове у него венок из соломы; это его корона; в руках он держит увядший стебель репейника; это его скипетр. Он замахивается им на жужжащих вокруг него мух; он ведь король, деспот, а мухи его подданные, которые возмутились против него и теперь ищут его головы. Они уже проникли в нее, как — он сам не понимает, но слышит, что они жужжат там! Сорвать ее с плеч им, однако, пока не удастся!

А вот женщина; когда-то она была красива, но теперь черты ее искажены страданием. «Я — Леонора, возлюбленная Тассо! — говорит она. — Гейне тоже воспел меня! Ах, сколько поэтов воспели меня! Это приятно щекочет женское сердце! Я горжусь этим! Был еще один... но он не мог воспеть меня и застрелился... Что ж, это ведь не хуже песни! Теперь весь свет помешался от любви ко мне, вот я и отправилась сюда, в этот чужой замок. Но и здесь все без ума от меня! Я тут, однако, ни при чем!»

У открытого окна сидит бледный юноша; подперев голову рукою, он глядит на розовое вечернее небо и на плывущие по Эльбе корабли с распушенными парусами. Наше приближение не выводит его из этого задумчиво-созерцательного состояния, он и на все существование свое смотрит как на мечту, весь ушел в воспоминания о каких-то лучших временах и нас, как и все окружающее, принимает за призраки.

А вот этот человек помешан на мысли, что ему слышно биение сердца всех и каждого, слышно даже, как сердца разрываются в момент смерти, и вот эти звуки раздаются в его ушах так громко, дико, раздирающе, что доводят его до бешенства. Тогда его привязывают к стулу на колесах, который приводится в круговое движение, и кружат, кружат несчастного, издающего дикие вопли до тех пор, пока он не потеряет сознания.

Но скорее прочь от этого ужасного зрелища! Экипаж уже ждет нас и часа через два привозит обратно в Дрезден.

Странно! Я не задумываюсь поверять свои чувства бумаге, хотя ее листы и являются тростником царя Мидаса, готовым разблаговестить мои

тайны на весь мир, и в то же время я усердно скрываю их от людей, с которыми нахожусь в личных сношениях. В юности я столько натерпелся от насмешек над моей чувствительностью, что выучился играть в лапту собственным сердцем и лучшими его чувствами из страха прослыть чувствительным глупцом среди других разумных людей. Страх этот очень часто охватывает меня и теперь, когда сердце вдруг заговорит во мне, и я поскорее корчу забавную мину — авось не заметят, что я плачу! Вот и сейчас, прощаясь с моим земляком Далем, я стыдился дать ему заметить мою грусть, начал смеяться и шутить напропалую, пока не очутился на улице. Тут уж, должно быть, глаза мои запорошило песком — слезы так и потекли по щекам.

Вместо заключения

Перед нами лежал Людвигслюст со своим замком, огромными садами и широкими аллеями. Мы остановились в гостинице. Одно окно было открыто; на выступ его уселся воробей и весело зачирикал. О чем он чирикал, я не разобрал, но самая птичка и звук ее голоса показались мне удивительно знакомыми. Право, это тот самый пернатый господин, которого я слышал у себя под окном накануне своего отъезда из родного города; но и тогда я не понял, о чем, собственно, он чирикал. Близ Лауенбурга пошли песчаные дюны, дюны без конца! Право, как будто море только что отхлынуло с берега да забыло захватить их с собою. Дорога то раздавалась вширь так, что и сама не знала, где, собственно, кончается, то еле протискивалась между белыми песчаными холмами, и колеса экипажа так глубоко вязли в песке, что мы еле-еле двигались. Прибавьте к этому яркое лунное сияние, немую тишину и полное безлюдье вокруг.

Я хотел было описать эту поездку поподробнее, а также нарисовать вам картины Гамбурга и Любека, через которые я проехал на обратном пути, но, когда я, сидя спокойно за валами Копенгагена, уже взял в руки перо, на окно ко мне опять сел воробей и зачирикал, как и в день моего отъезда отсюда, как и в Людвигслюсте! И, право, кажется, он твердил все разы одно и то же! Должно быть, это рецензент: он нагнал на меня хандру. Значит, конец теневым картинам! Мне не удалось даже описать и дивного моря, которое тоже хандрило, когда я переплывал его, возвращаясь домой. А как шли к нему этот мрачный взор и свежий ветерок, что раздувал паруса и взвивал на воздух густой столб пароходного дыма!

Я увидел башни Копенгагена, и они показались мне такими остроконечными, такими насмешливыми, так живо напомнили мне перья, которые, быть может, скоро исчеркают мои «тенивые картины» и вдоль и поперек!...

II. БАЗАР ПОЭТА

(1840 г.)

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Ввиду того, что многим из моих читателей не приходилось еще видеть железной дороги, я прежде всего постараюсь дать им о ней хоть некоторое понятие. Представьте себе обыкновенную дорогу, прямую или извилистую — все равно; безусловно, необходимо только, чтобы она была гладкая, ровная, как пол в комнате. Ради этого прорывают встречающиеся на пути горы, перебрасывают через болота и глубокие пропасти мосты на арках. Когда же такой ровный гладкий путь готов, по всему протяжению его прокладывают железные рельсы, по которым покатятся колеса вагонов. Впереди всех вагонов локомотив, который управляется рукой опытного мастера, знающего, как остановить его, как пустить в ход; к локомотиву прицепляют один за другим вагоны, в них набираются пассажиры или скот, и — марш!

Прибытие поезда на каждую станцию известно по часам и минутам, и уже издали слышится сигнальный свисток, извещающий, что поезд тронулся с места; сейчас же на всех боковых дорогах, пересекающих рельсовый путь, опускают шлагбаумы; добрым людям — и пешим, и конным — приходится ждать, пока поезд пройдет. Вдоль всего рельсового пути понастроены на известных расстояниях друг от друга маленькие домики для сторожей. Расстояния эти невелики — надо, чтобы каждый сторож мог видеть развевающиеся флаги в руках соседних сторожей и успевать держать свой участок пути в исправности; на рельсах не должно валяться ни камешка, ни веточки.

Так вот вам и железная дорога! Надеюсь, что меня поняли.

Предстояло и мне в первый раз в жизни проехаться по железной дороге. Полдня и всю следующую за ним ночь я трясся в дилижансе по ужаснейшей дороге от Брауншвейга до Магдебурга. Усталый донельзя, приехал я на вокзал и через час должен был снова пуститься в путь, но уже по железной дороге.

Не скрою, что я еще заранее испытывал во всем своем существе какой-то особый болезненный трепет; назову это ощущение, пожалуй, железнодорожной лихорадкой! Оно достигло высшего своего напряжения в ту минуту, когда я вступил в огромное здание вокзала, откуда отходили поезда. Батюшки мои, что тут была за суматоха, что за беготня и возня с чемоданами и мешками, что за свист и шипенье! Шипели и свистели локомотивы, выпускавшие пары. В первую минуту просто не знаешь даже, куда приткнуться, где остановиться, чтобы не попасть под вагон, паровик или тележку с багажом. Конечно, безопаснее всего оставаться на платформе; ряды вагонов теснятся к ней, словно гондолы к набережной, а там дальше на дворе целая сеть рельсов, перекрещивающихся между собою, будто какие-то магические линии. Да, так оно и есть; только провела-то их человеческая мудрость; вагоны не должны сходить с этих магических линий — тут дело идет о жизни и смерти или искалеченье сотен людей. Я впился глазами в эти вагоны, в локомотивы, пустые тачки, гуляющие с места на место трубы и Бог весть что еще, мелькавшее передо мною в этом заколдованном царстве. Тут все предметы как будто с ногами! Дым, свист и толкотня пассажиров, стремящихся занять места, чад сала, фыркание паровозов — все это просто ошеломляет, особенно если человек, как я, например, находится тут впервые и невольно рисует себе разные страхи: а вдруг мы опрокинемся, переломаем себе руки и ноги, взлетим на воздух или столкнемся с встречным поездом и разобьемся вдребезги? Думаю, впрочем, что такие страхи мерещатся лишь тому, кто отправляется по железной дороге впервые.

Вагоны делятся на три класса; вагоны первых двух — те же закрытые дилижансы, только пошире; вагоны третьего класса открытые, и проезд в них стоит невероятно дешево. Самому бедному крестьянину можно пользоваться ими, это обойдется ему дешевле, чем остановки и ночевки на постоялых дворах, если он пустится в дальний путь пешком.

Вот раздается сигнальный свисток... Звук не из красивых, напоминает визг поросенка, когда его режут. Усаживаешься, точно в удобной карете, кондуктор запирает двери вагона и берет ключ себе, но мы можем спустить стекла окон и таким образом дышать свежим воздухом, не опасаясь сквозняка. Вообще вагоны почти не отличаются от обыкновенной кареты, только гораздо удобнее; здесь можно отдохнуть после утомительного переезда в дилижансе.

Вот вагоны слегка дергает, соединяющие их цепи натягиваются, опять раздается сигнальный свисток, и поезд трогается, но сначала так медленно,

словно игрушечный поезд, который тащит на веревочке детская ручонка. Мало-помалу скорость увеличивается, но ты и не замечаешь этого, спокойно читаешь себе книгу, разглядываешь карту и сам даже не знаешь хорошенько, движется ли поезд. Вагоны скользят по рельсам, как сани по гладкому снегу. Выглянув же в окно, ты заметишь, что мчишься вперед, точно вагоны запряжены горячими конями, несущимися вскачь. Ход все ускоряется, и наконец тебе кажется, что ты летишь на крыльях ветра. При этом ни малейшей тряски, ни резкой струи ветра в лицо, словом, никаких неприятностей, сопряженных со скорой ездой на лошадях.

Что это красное промелькнуло мимо нас, как молния? Это флаг в руках сторожа, стоящего на своем посту. Выгляни в окно! Поле, на расстоянии трех — семи сажен представляется бегущим, как стрела, потоком. Трава и растения просто обгоняют друг друга; право, как будто стоишь где-то вне земли и видишь, как она вертится на своей оси. Пристальное созерцание убегающей дороги, однако, скоро утомляет глаза, но брось взгляд вдаль — там предметы проносятся мимо нас не быстрее, чем когда мы едем в обыкновенном экипаже, запряженном парой добрых коней. На самом же дальнем горизонте все как будто стоит неподвижно, так что отлично можно разглядеть всю местность и получить цельное впечатление.

Так-то вот и следует путешествовать по странам, расположенным на ровной, гладкой поверхности! Города как будто лежат рядышком; не успеешь проехать один, глядь — уж и другой! Так вот, должно быть, минуют города и перелетные птицы. Обыкновенные проезжие, которых обгоняешь по дороге, словно совсем не двигаются с места; видно, правда, что лошади поднимают ноги, но как будто снова опускают их на то же место, а мы уж и промчались.

Недаром же сложился известный анекдот об одном американце; он тоже в первый раз ехал по железной дороге и, видя в окно мелькающие один за другим верстовые столбы, вообразил, что едет по кладбищу, — памятник на памятнике! Я бы не привел этого анекдота, если бы он не характеризовал так удачно ту быстроту, с которой вообще несется поезд железной дороги. И немудрено, что анекдот этот не выходил у меня из головы, когда я глядел в окно: если мимо нас и не мелькали столбы, то мелькали красные сигнальные флаги, и тот же американец сказал бы, пожалуй: «С чего это все люди разгуливают сегодня с красными флагами?»

Я же расскажу сейчас другой анекдот. Когда мы проезжали мимо забора, сократившегося, на мой взгляд, в один шест, сосед мой сказал мне: «Вот мы и в княжестве Гота!» Затем он взял себе понюшку табачку и предложил табакерку мне; я поклонился, взял тоже щепотку, чихнул и спросил: «А долго ли предстоит нам ехать по этому княжеству?» — «О! — ответил он. — Мы проехали его, пока вы чихали!»

А между тем бывает, что поезда идут еще куда быстрее нашего: станции сменялись тут чуть не ежеминутно, и поезд поэтому шел замедленным ходом; на каждой станции минутная остановка; некоторые пассажиры выходят, другие садятся, слуги подают нам в открытые окна разного рода прохладительные и подкрепительные яства и пития — кому что по вкусу! Здесь, в буквальном смысле слова, жареные рябчики сами летят вам в рот, только заплатите!.. А затем опять в путь. Болтаешь с соседом, читаешь книгу, любишься природою, стадом коров, с изумлением озирающихся на поезд, или лошадьми, которые вырываются из рук кучера и несутся сломя голову с досады, что десятка два каких-то вагонов осмеливаются пуститься в путь без их содействия, да еще перегнать их — а там, глядишь, опять под крышей, у платформы, где поезд останавливается. И не заметил, как проехал пятнадцать миль, в какие-нибудь три часа махнул в Лейпциг! В тот же день, часа четыре спустя, сделав почти такой же конец, но уже не по ровной местности, а через горы и реки, — приезжаешь в Дрезден.

Я слышал от многих, что будто бы с проведением железных дорог путешествие утратило всякую поэзию, что пролетаешь мимо красивых и интересных местностей на крыльях ветра. Что касается последнего неудобства, то всякий ведь волен остановиться на какой станции ему угодно, осмотреть, что его интересует, и затем со следующим поездом продолжать путь. С первым же утверждением я окончательно не согласен. Путешествие утрачивает всякую поэзию, именно когда сидишь запакованным в узкий дилижанс или почтовую карету, трясясь до отупения, глотая пыль и умирая от жары в самое лучшее время года, или от холода и бездорожья зимою. Да и самые картины природы приходится тогда воспринимать не в больших дозах, а лишь медленнее, нежели совершая путь по железной дороге.

Великое изобретение железная дорога. Благодаря ей мы теперь поспорим могуществом с чародеями древних времен! Мы запрягаем в вагоны чудо-коня, и пространства как не бывало! Мы несемся, как облака в бурю, как птицы во время перелета! Конь наш храпит и фыркает, из ноздрей его валит дым столбом! Быстрее не летели и Фауст с Мефистофелем на плаще последнего! Мы в наше время добились естественными путями такого же могущества, какого в средние века думали добиться лишь с помощью дьявола! Теперь мы потягаемся даже с ним самим: не успеет он опомниться, мы уже оставим его далеко позади.

Вообще я мало помню случаев в моей жизни, когда бы я был так взволнован, как теперь, когда бы так сильно ощущал близость Бога. Душа моя была проникнута таким благоговением, какое я испытывал лишь ребенком в церкви да взрослым среди залитого солнцем леса или

среди безбрежного простора моря в звездную ночь! В царстве поэзии владычествуют не одни чувство да фантазия; у них есть брат, столь же могущественный, как они, — разум. Он проповедует вечные истины, а в них и величие и поэзия!

МОИ САПОГИ (Невыдуманный рассказ)

В Риме есть улица, именуемая Purificazione, но чистотою не отличающаяся! Идет она то в гору, то под гору, повсюду валяются кочерыжки, черепки; из дверей остерии постоянно валит дым, а синьора соседка, — да, делать нечего, правда прежде всего! — вытряхивает по утрам в окна свои простыни. В этой улице ютится обыкновенно много иностранцев, но теперь страх лихорадки и других злокачественных болезней выгнал всех в Неаполь или во Флоренцию, и я жил в большом доме один-одинешенек. Даже хозяин с хозяйкой не оставались тут на ночь.

Дом был большой, холодный; при нем крохотный садик, в котором вился вокруг тычинки горошек да рос один полузачахший левкой. Зато в соседних садах, расположенных повыше, благоухали розы и золотились плодами лимонные деревья. Эти плоды отлично переносят непрерывные дожди; розы, напротив, имели такой вид, как будто пролежали с неделю на дне морском.

Тоскливо тянулись для меня вечера в этих огромных, холодных комнатах; камин зиял своей черной пастью, на дворе лил дождь, выл ветер. Все двери были заперты наглухо, но что толку, если ветер пробирался сквозь щели и пел и гудел в комнате на все лады? Тоненькие щепочки в камине только вспыхивали да трещали, а тепла не давали никакого. Каменный пол, сырые стены, высокий потолок — нет, совсем не зимнее жилье! Если мне хотелось иногда согреться и вообще устроиться поуютнее, приходилось натягивать на себя теплые дорожные сапоги, пальто, башлык и меховую шапку. Вот тогда действительно становилось довольно тепло, особенно тому боку, что поджаривался у камина. Но на этом свете надобно уметь вертеться, и я вертелся, точно подсолнечник.

Вечера тянулись бесконечно; скука... Так вот зубы мои и начали задавать концерты, да еще какие! Солидная датская зубная боль и сравниться не может с итальянской. Итальянка разыгрывала на моих зубах, словно на клавишах, такие пьесы, что хоть бы самому Листу или Тальбергу впору! То отдавалось у меня в передних зубах, то в коренных, как будто перекликались два хора; большой же передний резец исполнял партию примадонны со всевозможными руладами, стакато и трелями. Да, в этой игре была такая сила, такая гармония, что я под конец утрачивал всякое человеческое подобие.

Вечерние концерты перешли в ночные. Во время одного из таких концертов, сопровождаемых в виде аккомпанемента дребезжанием стекол в окнах и шумом ливня, я бросил унылый взгляд на ночник. Как раз возле него стоял мой письменный прибор, и я ясно увидел, что перо мое плясало по бумаге, как будто им водила чья-то невидимая рука. Но нет! Оказалось, что пишет оно само собой, только под диктовку. Кто же диктовал? Да, оно, пожалуй, покажется невероятным, но это истинная правда; уж поверьте мне! Диктовали мои сапоги, мои старые копенгагенские сапоги! Я промочил их в этот день и поставил сушиться в камин возле тлеющей золы. Бедняги! Если я схватил сегодня зубную боль, то они схватили водянку! Диктовали они свою автобиографию, и так как она может пролить некоторый свет на итальянскую зиму 1840 — 1841 года, то вот она.

«Нас двое братьев: сапог на правую ногу и сапог на левую. Первые воспоминания наши относятся к той минуте, когда нас отлакировали и затем вычистили щеткой! Мы могли смотреться друг в друга, как в зеркало, и видеть, что мы составляем как бы одно целое, являемся своего рода Кастором и Полуксом, сиамскими близнецами, которым судьба определила вместе жить, вместе и умереть. По рождению мы оба были копенгагенцами.

Мальчишка, ученик сапожника, бережно надел нас на руки, чтобы пустить нас в люди, и это обстоятельство пробудило в нас приятные, но ложные надежды относительно нашего назначения. Тот, кому нас принесли, сейчас схватил нас за уши и натянул себе на ноги, а затем зашагал в нас по лестнице. Мы скрипели от радости! На улице шел дождь, но мы все-таки скрипели, увы, только в этот первый день!

Ах, сколько грязных луж приходится перейти, живя на свете! А мы ведь не родились непромокаемыми! Грустно! Никакая щетка не могла уже вернуть нам нашего первоначального блеска, которым мы так гордились, когда сидели на руках мальчишки-сапожника. Кто же опишет наше счастье, когда мы узнали, что едем за границу, да еще в Италию, эту теплую, сухую страну, где нам придется ходить все по мрамору да по классической земле, впивать в себя солнечные лучи и, без сомнения, вернуть себе утраченный блеск юности! Мы отправились. Во время долгих переездов мы мирно спали себе в чемодане, и нам все снились теплые страны. В городах же нас вынимали, и мы вволю нагладелись на белый свет, но грязь и сырость встречали повсюду такие же, как и в Дании. Подошвы наши были поражены гангреной, нам сделали операцию и приставили искусственные подошвы. Их, впрочем, пригнали к нам так хорошо, что мы как будто и родились с ними. «Хоть бы поскорее перебраться через Альпы! — вздыхали мы. — Там и тепло и сухо!» Ну вот и перебрались через Альпы, —

ни тепло и ни сухо! Дождь, ветер, а если и приходилось ступать по мрамору, то по такому холодному, что на подошвах у нас выступал холодный пот, и мы оставляли за собою влажные следы. Вечера, впрочем, мы проводили очень оживленно: слуга отеля, перенумеровав все сапоги и ботинки приезжих, присоединял к ним и нас, и мы могли вволю наговориться со своими иностранными товарищами. Между прочим, случилось нам раз беседовать с парой чудесных красных сафьянных голенищ с черными головками; дело было, кажется, в Болонье. Они рассказывали о теплом лете в Риме и Неаполе и о своем восхождении на Везувий. Там-то они и прожгли себе головки! Ах, мы просто затосковали от желания удостоиться такого же блаженного конца! «Только бы поскорее перебраться через Апеннины! Поскорее бы в Рим!» — думали мы. Теперь мы в Риме, и... мокнем здесь от дождя и грязи неделю за неделей! Как же, надо ведь осмотреть все достопримечательности, а им, как и дождю, и конца нет! Хоть бы раз обогрел нас солнечный луч! Нет, холод, ветер и дождь! О Рим, Рим! Сегодня ночью в первый раз наслаждаемся мы теплом в этом благоденном камине и будем наслаждаться, пока не лопнем! Но прежде чем вкусить эту блаженную кончину, мы желаем оставить потомству эту правдивую историю, тело же наше завещаем доставить в Берлин тому, кто имел мужество описать «Италию, как она есть», правдолюбивому Nicolai!»

Тут сапоги развалились. Все стихло, ночник погас, я сам вздремнул немножко и, проснувшись утром, подумал, что видел все описанное во сне. Заглянув в камин, я нашел там совершенно съезжившиеся, высохшие, как мумии, сапоги. Потом я посмотрел на бумагу, лежавшую близ ночника; это была обыкновенная серая оберточная бумага, но вся в кляксах. Перо, значит, действительно бегало по ней. Но, увы, все буквы слились, и ничего нельзя было разобрать. Я записал поэтому весь рассказ по памяти и прошу всех помнить, что это не я, а мои сапоги жалуются на *bella Italia!*

ТРИ РИМСКИХ МАЛЬЧИКА

В великолепном Риме встречаются в узких извилистых улицах прекрасные большие дворцы: находишь они на виду, среди открытой площади, они были бы признаны архитектурными шедеврами. Один из таких я и собираюсь сейчас нарисовать и надеюсь, что по этому наброску пером его без труда отыщут среди других, если к тому же будет еще указана улица — *via Ripetta*, где его следует искать.

Маленький четырехугольный дворик обнесен высокими аркадами; каждая колонна — чудо искусства; между колоннами и в нишах стен

изуродованные мраморные статуи. Стены внизу украшены барельефами, вверху лепными головами римских цезарей; постаменты статуй обвиты стеблями трав и вьющихся растений; побеги их цепляются и за складки мраморных одеяний. Паук протянул свою сеть и покрыл ею, точно траурным флером, головы богов и императоров. Во дворе валяются кочерыжки, лимонные корки, осколки бутылок. Широкая мраморная лестница, ведущая в покои дворца, запущена и загрознена еще больше, чем двор.

На ступенях ее сидят три босоногих полуокоченелых мальчугана. Один кутается в старый изодранный ковер вместо плаща и сосет обломок камыша вместо трубки. У другого ноги обмотаны тряпьем, прикрепленным к телу веревочками, а на плечах широкий и длинный белый балахон: мальчуган может обернуть им все свое тело хоть дважды; зато балахон, кажется, и служит ему вместе с тем и панталонами. Все одеяние третьего состоит из шляпы да жилетки, если не считать старой туфли, лежащей под ступенькой. Все трое играют в карты.

Не интересно ли будет познакомиться с этими молодыми римлянами и с их семействами поближе? По воле случая чуть ли не все главы этих семейств собрались сейчас на террасе у площади del Popolo. Вон стоит группа бородатых мужчин в полосатых, белых с голубым, балахонах; мундир приметный; добавочной принадлежностью к нему являются обыкновенно цепочки — из тех, что носят на ногах. Перед нами арестанты, которые вышли на работу. Тот передний, что оперся на лопату, отец мальчугана, закутанного в ковер вместо плаща. Да, отец его! Но он ни вор, ни разбойник; он только злой проказник! История не сложная: он угодил в тюрьму из желания насолить своему господину. Как же он ему насолил? Взял да спрятал в господский экипаж контрабанду и сам же постарался, чтобы их с ней накрыли. По закону в таких случаях и лошади и экипаж конфискуются полицией, хотя бы собственник их и не был лично виновен в провозе контрабанды, кучера же сажают в тюрьму, но господин обязуется вносить на его прокорм ежедневно по пятнадцати байоко. Что ни говори — расход. Если арестант трудолюбив и ведет себя хорошо, каждые восемь месяцев его заключения считаются за год, и за работу ему назначают наивысшую плату. Вот какие соображения занимают сейчас арестанта: «Хозяин-то потерял и лошадей и карету! Хозяину приходится ежедневно раскошелливаться на меня! У меня же готовое помещение, постоянная работа, да еще за высшую плату, и значусь я «порядочным арестантом!» Пожалуй, и сыну моему не добиться лучшего».

По аллее мчится легкий щегольский экипаж; богатый иностранец лет тридцати сам правит лошадьми. Он не в первый раз в Риме; он был здесь восемь лет тому назад, а теперь вернулся сюда с молодой женой и показывает ей вечный город. Сейчас они ездили смотреть чудесную

статую Кановы. Иностранец с первого взгляда узнал эти роскошные формы, эту красавицу женщину, обессмерченную резцом ваятеля, но, конечно, не проговорился об этом жене. Красавица Джудита давно истлела в могиле, а сынишка ее играет теперь на мраморной лестнице дворца в карты и драпируется в свой огромный балахон не хуже, чем папаша его в свой щегольский плащ.

Ну, а где же искать нам родителей третьего мальчика? Пойдите, на след-то мы уже попали! Тут же под деревом стоит сморщенная старуха с грелкой в руках и просит милостыню во имя Мадонны. Она не бабушка и, конечно, уж не мать мальчику, но она одна могла бы кое-что рассказать о нем.

От площади святого Петра по направлению к замку Ангела идет улица; на этой улице есть большое здание; в стене его устроена подвижная ниша, обитая такой же полосатой материей, из какой шьется арестантское платье. На полу ниши лежит подушка, а самая ниша вертится на оси, как сторожевая будка. Рядом большой колокол. Девять лет тому назад к нише подошла эта самая старуха и положила на подушку небольшой сверток, повернула нишу, позвонила в колокол и скрылась. Здание это — приют для подкидышей.

Вот откуда третий мальчуган. Старуха могла бы рассказать и о его матери, да что толку? Молодая богатая синьора теперь далеко отсюда, в плавучей Венеции, где славится образцом добродетели и неприступности. А сынишка ее... Что ж, ему живется нехудо — сидит на мраморной лестнице и козыряет!

Мальчуганы эти так и просятся на полотно! Взгляды, каждое движение, засаленные карты, смелые клубы сигарного дыма — все живописно! Да, вот так группа!¹

Ее расстраивает нашествие стаи индюшек, которых вгоняют по ступеням мраморной лестницы двое крестьян. Индюшки куплены торговцем, что проживает в одной из зал дворца. День-два он еще, пожалуй, даст птицам побегать по каменному мозаичному полу под чудным лепным потолком, украшенным гербом вымершего знатного рода!..

НА ПАРОХОДЕ

Поэт, как птица, не может не петь; песня рвется из его груди сама собою, прорывается, как луч света, вздымается, как волна морская. Часто также перед ними разворачивается страничка из великой книги природы, и он, глядя на нее, поет как по нотам.

¹ Идеей этой и воспользовался известный датский художник Карл Блок для одной из своих знаменитых картин из итальянской жизни. — *Примеч. перев.*

Такой страничкой с нотами, песней без слов, явился для меня Неаполь и весь западный берег Италии.

Какое наслаждение плыть по волнам морским!

Неаполь, белый, залитый солнцем город! По улицам твоим, словно потоки лавы, разливаются с криком и песнями веселые волны людские: звуки долетают даже до нас! По берегу залива извивается, точно змея, цепь городов. Неаполь — ее голова, увенчанная короной, замком Сант-Эльмо.

Какое наслаждение плыть по волнам морским!

Вершина Везувия окутана густыми облаками; клочья их нависают над хижиной пустынника. Сама гора дышит пламенем, недра морские дышат пламенем, самый пароход наш, мое сердце — тоже, повсюду вулканы!!! Словно дымящаяся ракета, летит по берегу, вдоль залива, железнодорожный поезд. Вот в тени апельсиновых садов ютится Сорренто; пиния осеняет своей вершиной дом Тассо. Точно какие-то окаменелые облачные массы, ввергаются прямо в море голые скалы. По серому утесу карабкается горный козел...

Привет тебе, Капри, сказочный остров! Я помню твои пальмы под навесом диких скал, твой диковинный Лазурный грот, где пена морская алеет розами, камни напоминают цветом зимнее небо севера, а волны моря пламенеют. Высоко-высоко по горной тропинке бродит осел, ступая по мозаичному полу — последнему остатку роскошного дворца Тиберия. Пустынник преклоняет там колена среди безмолвия природы. Капри, очаг воспоминаний, сейчас мы пронесемся мимо тебя!.. Солнце садится, ночь сыплет мириадами звезд! Волны плещутся о борта и вспыхивают, будто тлеющие уголья; за пароходом тянется огненный след; небо горит бесчисленными огнями!..

Какое наслаждение плыть по волнам морским!

Ночь. Раздается возглас юнги: «Проснитесь! Проснитесь! Стромболи горит! Идите смотреть!» Закутанные в плащи, стоим мы у борта и смотрим через море, вспыхивающее фосфорическим блеском. Там на горизонте взлетают ракеты — красные, зеленые, голубые... Вот вздымается целый столб пламени... Это Стромболи, горящий остров, внезапно поднявшийся со дна моря. Он сын Этны, вынырнувший со своими братьями из морской глубины, подальше от родного материка. В восточных сказаниях говорится о Синдбаде, высадившемся со своими спутниками на кита, которого они приняли за песчаную отмель; они развели на нем огонь, животное нырнуло в глубину. Липарские острова тоже своего рода киты: люди строятся и живут на их спинах, а киты в один прекрасный день возьмут да и нырнут с ними в глубину. Мы подходим к Стромболи все ближе и ближе... Звезды блещут, волны пламенеют!..

Какое наслаждение плыть по волнам морским!

В ДАРДАНЕЛЬСКОМ ПРОЛИВЕ

Утром мы вошли в Дарданельский пролив, древний Геллеспонт. На европейском берегу лежал город, должно быть, больше заботившийся о своем брюхе, нежели о душе: там виднелся всего один минарет и целых пять мукомольных ветряных мельниц. К городу примыкала довольно красивая крепость. На азиатском берегу показался такой же город. Расстояние между ними равнялось, на мой взгляд, приблизительно морской миле. Оба берега отлоги; пески чередуются с зелеными полями. На европейском берегу виднелись жалкие каменные хижины; окнами и дверями в них служили пробитые в стенах дыры. Там и сям росли пинии; по тропинке вдоль берега шли какие-то турки. Азиатский берег смотрел приветливее; тут тянулись зеленые поля, росли густолиственные деревья.

Расстояние между берегами двух различных частей света показалось мне; как сказано, небольшим; я по крайней мере простым глазом совершенно ясно различал на обоих берегах каждый кустик, каждого человека; но, конечно, этому много содействовала прозрачность воздуха.

Я подошел к борту парохода, где сидели пассажирки-турчанки, подошел полюбоваться берегом, а кстати и турчанками. Они обедали и потому откинули свои чадры. Женщины, в свою очередь, поглядывали на меня. Самая младшая, самая хорошенькая и, должно быть, самая веселая из них, видно, сообщала другой, постарше, свои замечания относительно моей особы. Собеседница ее только кивала головой, сохраняя невозмутимую серьезность. Это взаимное наше созерцание было прервано подошедшим ко мне молодым турком, который заговорил со мною по-французски. В время беседы он заметил мне полушутливым тоном, что смотреть на женщину без чадры противно обычаям страны; оттого-то так серьезно и поглядывал на меня муж: разве я не заметил этого? Я посмотрел на турка. Старшая из его маленьких дочек подавала ему трубку и кофе, младшая резвилась по палубе, перебегая от него к женщинам и назад. Хочешь понравиться родителям — понравься детям! Вот чему учит нас житейская мудрость. Я хотел начать с младшей девочки, предложил ей фруктов и принялся шутить с ней, но она, точно козленок, быстро отпрыгнула к одной из черных девушек, прижалась к ней и закуталась в складки ее длинной чадры. Выставив оттуда одно личико, шалунья громко засмеялась, сложила губки, точно для поцелуя, потом взвизгнула и бросилась к отцу. Старшая девочка, должно быть лет шести, прехорошенькая, дичилась меньше. Эта маленькая турчанка была еще без чадры, в красных сафьяновых туфлях поверх желтых сапожков, в светло-голубых широких шелковых шальварах, красной коротенькой тунике и черной бархатной кофточке. Черные волосы спускались на спину двумя косами, перевитыми золотыми монетками, а на маковке красовалась пар-

човая шапочка. Она уговаривала младшую сестру взять от меня фрукты, но та не хотела. Я велел слуге принести разных сластей, и скоро мы со старшей девочкой подружились. Она показала мне свою игрушку, глиняный кувшинчик для питья, изображавший лошадку с маленькой птичкой на каждом ухе. Говори я по-турецки, я бы не замедлил рассказать ей об этой лошадке сказочку! Я усадил девочку к себе на колени; она гладила меня ручонками по щекам и так доверчиво и ласково глядела мне в глаза, что я не мог не заговорить с ней. Говорил я, конечно, по-датски, а она, слушая меня, заливалась смехом; такого забавного языка она, конечно, еще никогда не слыхала и, верно, полагала, что это просто тарабарщина какая-то. Ее маленькие ноготки были, по обычаю турчанок, выкрашены в черный цвет, поперек ладони тоже была проведена черная полоса. Я указал на нее пальцем, и девочка тотчас протянула поперек моей ладони кончик своей косички, чтобы и у меня на руке была такая же полоска. Она пыталась подманить к нам и младшую сестренку, но та, весело переговариваясь с ней, продолжала держаться на почтительном расстоянии. Отец подозвал старшую девочку к себе и, вежливо поклонившись мне на европейский манер, то есть сняв с головы феску, шепнул что-то малютке на ухо. Та кивнула головкой, взяла из рук слуги чашку кофе и поднесла ее мне. Затем мне была предложена и огромная турецкая трубка. Я не курю, поэтому взял лишь кофе и расположился с ним на подушке рядом с любезным турком, дочку которого успел обворожить. Милую девочку звали Зюлейкой, и я смело могу теперь сказать, что сорвал в Дарданельском проливе поцелуй с уст дочери Азии!

МОГИЛА

Высоко на горе, откуда открывается вид на весь город, реку и поросшие лесом острова, расположился древний Градчин. В здешней церкви покоятся в великолепной серебряной раке мощи святого Иоанна Непомука. Какая роскошь искусства внутри церкви, какая роскошь природы вокруг, и все же не сюда прежде всего направляет свои стопы датчанин, посетивший Прагу. Близ городской площади есть маленькая бедная церковь. Чтобы попасть в нее, надо пройти под аркой и затем через узкий двор. Священник как раз служит обедню; коленопреклоненная паства шепчет одно: «Молись о нас!» Шепот этот сливается в один глухой подавленный вздох, как будто несущийся из какой-то подземной глубины и вырастающий в болезненный вопль, стенание. Датчанин идет по коридору направо. В колонну вделана большая красновато-коричневая плита, на которой высечено изображение рыцаря в доспехах. Чей это прах покоится здесь? Земляка! Датчанина! Одного из мировых гениев, прославивших имя Дании, страны, изгнавшей его! Замок его на родине превратился в развалины, плуг прошел там, где

он в своей уютной комнатке изучал древние рукописи и принимал королей; чайки выются там, где он с башни читал по звездам! Остров, его любимый остров, теперь в чужих руках, не принадлежит более Дании, как не принадлежит ей и самый прах ее великого сына!

Датчанин плачет в чужой стороне над могилой Тихо Браге и негодует на его современников: «Дания! В твоём гербе сердца, но надо иметь сердце и в груди!..» Тише, сын нового века! Живи ты в то время, может быть, и ты не сумел бы оценить его как следует! Может быть, величие его уязвило бы и твоё тщеславие, может быть, и ты подлил бы яду в его жизненный кубок! Яблочко недалеко падает от яблони! Родство что-нибудь да значит!

На могильную плиту падают лучи солнца, падают, может быть, и слезы! По церкви по-прежнему разносится глухой болезненный шепот: «Молись о нас!»

III. ПО ШВЕЦИИ (1849 г.)

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Весна; раздается пение птиц... Понимаешь ты их песни? Нет? Так послушай их в вольном переводе.

«Садись ко мне на спину! — предлагает аист, благословенный гость наших зеленых островов. — Я перенесу тебя через Зунд. В Швеции тоже есть свежие душистые буковые леса, зеленые луга и хлебные поля; очутившись в Сконии, в яблоневом саду крестьянина, ты подумаешь, что все еще в Дании!»

«Полетим со мной! — щебечет ласточка. — Я залетаю за Халландский мыс, где буковые леса кончаются, залетаю на север дальше аиста. Ты увидишь, как чернозем мало-помалу переходит в скалистую почву, увидишь приветливые города, старинные церкви, крестьянские дома с уютными, чисто прибранными горницами, увидишь, как семья крестьянина стоит кругом обеденного стола и слушает молитву, которую читает младший ребенок, услышишь, как вечером и утром поются там псалмы. Я слышала и видела все это еще крошкой из родного гнезда под крышей».

«За мной! За мной! — кричит непоседа-чайка, выжидательно кружась над нашими головами. — За мной в шхеры, где вдоль берега тянутся, словно цветочные грядки, бесчисленные островки, поросшие соснами да елями, где рыбаки вытаскивают сети, полные рыбы!»

«Садись на наши распростертые крылья! — поют дикие лебеди. — Мы понесем тебя к большим озерам, вечно шумящим быстрым горным потокам, туда, где дубовые леса исчезают, а береза мельчает. Садись на

наши распростертые крылья, и мы полетим к Сулительме, полетим с зеленых долин на одетые снегом вершины гор, откуда видно Северное море, омывающее тот берег Норвегии. В Емтланд полетим мы, где синеют высокие горы, где шумят горные речки, где зажигают на берегу огни, чтобы призвать с той стороны паром. Полетим и туда, к глубоким холодным водам, туда, где летнее солнце не сходит с неба, где вечерняя заря сталкивается с утренней!»

Вот что поют птицы! Не послушаться ли нам их? Не пролететь ли хоть часть их пути? Мы, конечно, не сядем ни на спину к лебедям, ни на крылья к аисту; нас повезет пар, повезут лошади и понесут наши собственные ноги! Порою мы будем заглядывать за изгородь, отделяющую действительность от ближайшей к ней соседней страны — царства фантазии, будем срывать там то цветок, то листок и прятать их в записную книжку — на память о нашем путешествии. Итак, в путь, напевая: «Швеция, дивная страна!..»

ТРОЛЬГЕТТА

Кого же встретили мы на Трольгетте? О, это прямо невероятно! Сейчас мы расскажем все.

Мы сошли с парохода перед первыми шлюзами и очутились ни дать ни взять в английском парке: широкие аллеи, убитые щебнем и поднимающиеся вверх небольшими террасами, по бокам же залитый солнцем газон. Вид самый приветливый, красивый, но ничего поражающего, величественного. Кто ищет такого, должен взять немного правее, в сторону старых шлюзов, прорванных в скалах порохом. Зрелище величественное. Вода, пенясь, клубится по глубокому черному руслу. Отсюда вся долина и река видны, как на ладони. Противоположный берег реки представляет зеленую холмистую возвышенность, усеянную лиственными деревьями и красными деревянными домиками. По шлюзам поднимаются и корабли и пароходы; роль покорного духа играет здесь сама река, переносящая суда через скалы. Из-за леса слышится шум и рев: это грохот Трольгетты сливается с визгом лесопильных мельниц и стукотней молотов в кузницах.

«Через три часа мы пройдем все шлюзы! — сказал наш капитан. — За это время вы успеете осмотреть водопады. Встретимся у гостиницы наверху!» Мы направились по тропинке в лес, и тут нас окружила целая толпа белоголовых мальчишек. Все желали быть нашими проводниками и старались перекричать друг друга, давая самые разноречивые указания относительно того, как высоко подымается, не подымается и может подыматься в шлюзах вода. Да, и тут между учеными царило разногласие! Скоро мы остановились на обросшей красным вереском площадке скалы, на головокружительной высоте. Внизу под ними клокотала вода Адского водо-

пада, над ним другой, третий, водопад над водопадом, образуемые все тою же многоводной рекой, вытекающей из величайшего озера Швеции. Что за вид! Какое клокотанье вверху и внизу! Точно море низвергается сверху, море пенящегося шампанского или кипящего молока! Сначала водяная масса разбивается о две скалы, и мелкая серебристая пыль стоит в воздухе густым облаком, затем поток суживается и мчится дальше, сжатый с обеих сторон каменными стенами, затем опять разбивается, падая вниз, вырывается на волю, успокаивается, делает круговой поворот назад и снова тяжело обрушивается вниз, образуя Адский водопад. Что за шум, что за рев, что за клокотанье там в глубине!.. Язык немеет!..

Онемели и наши крикуны-проводники. Когда же язык у них снова развязался и они опять пустились в рассказы и объяснения, их скоро прервал какой-то старик. Никто не замечал его раньше и не знал, как он здесь очутился. Тем не менее он был тут и прервал мальчишек своим удивительно резким, сильным голосом. Он-то хорошо знал здешние места, а о старине рассказывал так, как будто все случилось только вчера.

— В так называемые языческие времена здесь на скалах сходились витязи на единоборство! — рассказывал он. — Витязь Стэркоддер, живший тут поблизости, влюбился в красавицу Огн Альфафостер, но ей больше был по вкусу витязь Хергример. Стэркоддер вызвал его на поединок здесь у водопада и убил, но Огн схватила окровавленный меч жениха и пронзила им себе сердце, чтобы не доставаться Стэркоддеру. С тех пор прошло сто лет да еще сто лет; здесь стоял тогда густой лес, в нем бродили лето и зиму волки да медведи, хозяйничали разбойники. Никто не мог открыть их убежища — пещеры, что была близ водопада, со стороны Норвегии. Теперь ее уж нет — обрушилась. Утес...

— Да, утес Портного! — закричали мальчишки. — Он рухнул в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году.

— Рухнул! — повторил старик, словно удивленный тем, что кто-нибудь, кроме него, мог знать это. — Все когда-нибудь рухнет, а портной рухнул сразу! Разбойники посадили его на самом краю утеса и велели ему вместо всякого выкупа поскорее сшить платье. Он было принялся за работу да как поглядел вниз — голова у него закружилась, и он полетел в клочущую бездну. С тех пор утес и носил его имя. Однажды разбойники изловили одну молоденькую девушку; пленница и выдала их, зажгла костер в пещере, дым увидели, пещеру нашли, разбойников переловили и перевешали!

Мы пошли дальше вдоль водопада к островку; опрятная, усыпанная опилками дорожка вела до самых шлюзов Польгемса, где искусство человеческое, придя на помощь природе, создало величественнейший из водопадов Трольгетты. Стремительный поток падает в черную бездну отвесной стеной. Скала соединена с островком легким железным мостом; так и кажется, что он переброшен над настоящей бездной. Переходишь

по этому колеблющемуся мосту над брызжущей, клокочущей водой на крошечный скалистый островок и стоишь там среди сосен и елей, пробивающихся из трещин. Перед нами низвергается с размаху огромный водяной поток, разбивается о скалистую глыбу, на которой мы стоим, осыпает нас дождем мельчайших брызг и делится на два рукава; огибая остров, они несутся с быстротой пущенных из какой-нибудь исполинской пушки и падают по уступам скал, образуя целый ряд водопадов. Все они перед нами как на ладони, и мы стоим, очарованные и самой картиной, и гармоничным грохотом, раздающимся тут испокон века. «А на тот островок небось никто не взберется?» — спросил кто-то из нас, указывая на другой островок, побольше, возвышающийся над самым верхним водопадом.

— Я-то знаю одного такого! — сказал старик, как-то странно улыбаясь.

— Это мой дедушка! — сказал старший из мальчуганов. — Вообще же туда редко кто заберется, разве один в сто лет! Крест, что стоит там на вершине, поставил мой дедушка. Зима стояла такая суровая, что все озеро замерзло; водопады тоже замерзли на несколько часов, так что можно было перейти на остров по камням русла. Дедушка с двумя своими товарищами и перешел, поставил там крест и вернулся обратно. Вдруг точно из пушек выпалили — такой треск пошел; лед взломало, и река опять понеслась по лугам и лесам. Все это правда, так дедушка рассказывал!

Один из моих спутников декламировал стихи Тегнэра, в которых говорилось о силах природы, покорившихся ныне уму человека.

— Да, бедный горный дух, бедный тролль! — продолжал он. — Сила и могущество твои все падают! Ум человеческий победил их! Тебе надо поучиться у нас!

Словоохотливый, не известный никому из нас, старик скорчил гримасу и что-то пробормотал себе под нос, но... мы дошли в это время до моста перед гостиницей и увидели пароход, уже миновавший шлюзы. Все поспешили сесть на него, и он быстро понесся вверх по реке, выше водопада, точно того и не существовало.

— Да как же это! — недоумевал старик. Он, по-видимому, не только не езживал никогда на пароходе, но даже и не видал ни одного. То-то он так и шнырял по всем углам, взбирался наверх, спускался вниз, всматривался в устройство машины, точно хотел пересчитать там все гвоздики, разглядывал колеса, перевешивался через борт, словом, совал свой нос всюду. Самый канал тоже был для него совершенно новой, незнакомой дорогой, карты и путеводители также. Уж он вертел, вертел их в руках! Читать вряд ли он умел. С местностью он был, однако, хорошо знаком, то есть с местностью, какою она была в старину. Всю ночь, что мы плыли по озеру Венерн, он не спал, изучая этот новый для него способ передвижения;

когда же утром мы стали подыматься из озера по шлюзам, все выше и выше, из озера в озеро, он просто себя не помнил от удивления и любопытства. Наконец мы достигли Муталы.

Шведский писатель Тернерос рассказывает о себе, что в детстве он спросил однажды: «Кто это тикает внутри часов?», и ему ответили: «Мастер Бескровный!» Такой же страх, какой охватил при этом имени малютку, заставив его сердечко забиться, а волосы встать дыбом, охватил и нашего старика с Трольгетты в Мутале, когда мы осматривали тамошний завод. Мастер Бескровный, который тикал внутри часов, работал здесь тяжелыми молотами. Мастер Бескровный, питаюсь человеческими мыслями, приобрел здесь плоть и члены — стальные, каменные, деревянные; мастер Бескровный черпал из человеческих мыслей физические силы, какими не обладает сам человек. Мастер Бескровный житель Муталы; тут он раскинул свои твердые члены по огромным заводам; члены эти — колеса, цепи, прутья да железные проволоки. Войдите сюда и посмотрите, как прессует раскаленные железные глыбы в длинные полосы и потом прядет их мастер Бескровный, посмотрите, как он режет ножницами твердые металлические доски, режет так легко и мягко, точно бумагу. Послушайте, как он ударяет молотом! Искры так и сыплются с наковальни! Посмотрите, как он ломает толстые железные брусья, ломает на куски одинаковой определенной величины, ломает, точно палочки сургуча. Глядите, как катают и стругают толстое железо, как вертятся огромные колеса, как над вашими головами бегут живые железные нити, тяжелые крепкие шнурки, слышится стук, визг, жужжанье!.. Кинешься оттуда во двор, где разбросаны железнодорожные вагоны и паровые котлы для пароходов, увидишь, что мастер Бескровный протягивает свои саженные руки и сюда. Все живет, работает само собою, человек только направляет да останавливает работу! В глазах рябит, голова идет кругом от одного вида. Смотришь, вертишься, поворачиваешься, останавливаешься, нагибаешься и просто не знаешь, что сказать, чем и выразить свое благоговение перед силою человеческой мысли. Она облеклась тут в плоть и кровь, обрела железные члены! Прислушайтесь к непрерывному грохоту молотов, приглядитесь ко всему, как пригляделся я! Старик с Трольгетты тоже весь ушел в созерцание, нагибался, привставал на цыпочки, ползал на коленях, совал голову во все уголки между машинами... Ему хотелось видеть все, изучить все, рассмотреть каждый винтик в механизме, понять, как он действует под водой. Пот лил с него градом, в пылу увлечения он все пятился задом и, наконец, угодил мне прямо в объятия, а не то бы попал под колесо! Он взглянул на меня и пожал мне руку.

— И подумать, что все это совершается естественными силами природы, просто и понятно?! Корабли идут против ветра и против течения, переплывают через леса и горы, вода сама их подымает, пар двигает?! — сказал он.

— Да! — ответил я.

— Да! — повторил он еще и еще раз и глубоко вздохнул.

Тогда я не понял этого вздоха, но несколько месяцев спустя понял, и к этому-то времени я сейчас и перескочу. Осенью на обратном пути я опять заглянул на Трольгетту и провел несколько дней среди этой мощной природы, где все больше и больше начинает хозяйничать неугомонный человек, превращая прекрасное в полезное. Заставили приносить пользу и самую Трольгетту: пилить бревна, двигать мельницы, ковать и рубить. Здание вырастает здесь за зданием, лет через пятьдесят вырастет целый город. Но я отклонился от своего повествования! Как сказано, я вернулся сюда осенью. Те же шум и грохот, то же прохождение парохода по шлюзам, те же болтливые мальчишки, провожающие приезжих к Адскому водопаду, к железному мосту и к гостинице. Я долго сидел здесь, перелистывая накопленные годами книги для записей туристов. Почти все туристы выражали чувства удивления и восторга, вызванные в них зрелищем водопада, выражали на разных языках, но большей частью на латинском, словами: «*Veni, vidi, obstupi!*» Один написал: «Я видел шедевр природы, прошедший через горнило искусства!» Другой писал, что «не может выразить того, что он и видел, и что он видел, того не может выразить». Какой-то делец остался при деловой точке зрения и написал: «С величайшим удовольствием увидел полезную для нас, вермландцев, работу Трольгетты». Одна пасторша из Сконии, — как она подписалась, — и на Трольгетте не вышла из круга семейных интересов и написала: «Пошли Бог моему зятю счастья, ум у него есть!» Много попадалось тут и плоских остроумий, зато стихотворение Тегнера, написанное им здесь 28 июня 1804 г., блеснуло настоящей жемчужиной среди кучи сора.

Устав читать, я поднял голову от книги — и кого же увидел перед собою? Старика с Трольгетты! В то время как я странствовал, он все ездил взад и вперед по каналу, осматривая шлюзы и заводы, изучая силу пара и его полезную деятельность. Он заговорил со мною о проектируемых новых железных дорогах; оказалось, что он еще не видел ни одной, и я описал ему, как тянется железнодорожное полотно то по насыпям, то по высоким мостам, то по туннелям, прорванным порохом в скалах.

— Завтракаешь в Лондоне, а вечерний чай приедешь пить в Эдинбург! — сказал я ему.

— Я это могу! — сказал он таким тоном, как будто никто другой не мог.

— Я тоже! — ответил я. — Я уже и делал это!

— Так кто же вы тогда? — спросил он.

— Обыкновенный турист! — сказал я. — Путешествующий на свой счет! А вы кто?

Он вздохнул.

— Вы не знаете меня. Мое время прошло, мастер Бескровный оказывается сильнее меня! — И он исчез.

Тогда-то я понял, кто он! Да, можно себе представить, что должен был теперь почувствовать старый горный дух, тролль, выходящий на землю раз в сто лет посмотреть, как далеко ушло за это время человечество! Это и был не кто иной, как сам тролль, — всякий человек в наше время просвещеннее! И я с некоторой гордостью сознал себя сыном своего века, века движущихся колес, тяжелых молотов, ножниц, режущих металлические доски, как бумагу, машин, ломающих железные брусья, как палочки сургуча, и все это — силою пара, повинующегося человеческому гению!

Был вечер; я стоял на холме близ старых шлюзов, смотрел, как плыли с распушенными парусами корабли, словно какие-то большие белые привидения. Ворота шлюзов отворялись грузно и с грохотом, как медные врата Тайного Судилища. В вечернем воздухе стояла такая тишь; громовый грохот Трольгетты, напоминавший шум целой сотни водяных мельниц, еще резче оттенял безмолвие природы. С деревьев слетела вдруг какая-то большая птица и, тяжело махая крыльями, скрылась в лесу пониже водопада. «Уж не тролль ли это?» — подумал я. И пусть будет так! По крайней мере, выйдет и интересно и романтично!

ОБОРВЫШИ

Художник Калло — кто не знает этого имени, по крайней мере благодаря Гофману? — дал нам несколько прелестных изображений итальянских нищих. На одной из его картинок мы видим нищего, буквально обвешанного одними лоскутками; он несет в руках свои пожитки и большое знамя с надписью: «Capitano de Baroni». Нельзя и поверить, чтобы нашелся в действительности такой экземпляр ходячей лоскутной лавочки. В Италии мы таки и не встречали ничего подобного; там все одеяние уличных оборвышей состоит зачастую из одной жилетки, так где же им набрать столько лоскутьев! Но на севере, в Швеции, нам случилось видеть таких оборвышей.

Раз мы плыли по каналу, соединяющему Венерн с Вигеном. На берегу, на горной площадке, стояли, как украшающий жалкий ландшафт цветущий репейник, два оборвыша в таких лохмотьях, такие ободранные и живописно чумазые, что я готов был принять их за модели, служившие Калло для его картин, или за продукт изобретательности родительской, рассчитывавшей такими лохмотьями вернее обратить на ребят благотворительное внимание туристов. Не умышленно таких оборванцев создать нельзя. Это было явление уж до невероятности смелое; каждый мальчишка мог назваться живым Capitano de Baroni. Младший из оборвышей был облечен в нечто, по-видимому, служившее когда-то взрослому и очень

плотному человеку курткой; она доходила мальчику до пят и держалась у него на плечах посредством остатка одного рукава да тесьмы, образовавшейся из узкой полоски подкладки. Трудно было угадать, где, собственно, кончалась куртка и начинались штаны: и там лохмотья, и тут лохмотья. Все одеяние было как будто рассчитано на доставление своему обладателю возможной прохлады — всюду отдушины! Желтый холщовый лоскуток, прикрепленный к «нижним обстоятельствам», должно быть, обозначал рубашку. На голове у мальчишки сидела набекрень огромная соломенная шляпа, побывавшая, как видно, не раз под колесами; дно ее предоставлялось изображать копне всклокоченных соломенно-желтых волос оборвыша. Главным же украшением мальчугана являлись его собственные голые коричневые плечи и руки. На другом мальчике красовались одни панталоны, тоже все в лоскутьях, но лоскутья эти были прикреплены к телу веревочками; одна шла вокруг щиколоток, другая под коленками, третья повыше, а четвертая вокруг талии. Что ж, он берег то, что у него было, и это уж много значит!

«Пошли прочь!» — крикнул капитан; мальчишка в штанишках повернулся, и мы... да, мы увидели... одни веревочки, завязанные бантиками, премиленькими бантиками! Оборвыш был одет только спереди; лоскутья составляли лишь переднюю часть панталон, заднюю же изображали одни веревочки, три миленьких веревочных бантика!..

МЕЖДУ МУТАЛОЙ И ВАДСТЕНОЙ

На севере Швеции не только в деревнях, но и во многих торговых городах встречаются целые хижины из дерна или хоть крытые дерном, да еще такие низенькие, что гоп! — и сидишь на крыше, на мягкой травке! Раннею весною, когда поля еще под снегом, появляются на крышах этих, где снег тает раньше, первые вестники весны — стебельки молоденькой травки; завидят их воробьи и зачирикают: «Весна пришла!»

Между Муталой и Вадстеной, у самой проезжей дороги, тоже стоит такая крытая дерном хижинка, одна из самых живописных. В ней всего одно окошечко, скорее широкое, чем высокое; побеги шиповника заменяют жалюзи. Мы видели эту хижинку весною. Дерн отливал зеленым бархатом, рядом с низенькой дымовой трубой росло вишневое деревцо, все осыпанное цветом; ветер стряхивал лепестки на маленького барашка, который разгуливал тут же по крыше, привязанный к трубе. Барашек — единственная животина в доме. Старушка, хозяйка его, сама каждое утро подымает его на крышу, а вечером снимает и берет на ночь к себе в горницу. Крыша как раз такая, что может сдержать только барашка — не больше; это уже доказано опытом. Прошлою осенью — а в эту пору года крыша бывает вся в цветах, по большей части голубых и желтых, как полосы националь-

ного шведского флага, — расцвел на крыше какой-то редкий цветок. Цветочек бросился в глаза проходившему мимо старому профессору-ботанику, и он в тот же миг — прыг на крышу, да в тот же миг и сквозь крышу! Сначала провалилась одна нога, за нею другая, а там и полтуловища профессора, та именно часть, где не может находиться голова. Потолка в хижинке не имеется, и поэтому профессор чуть не сел старушке хозяйке на голову. Теперь крыша опять в порядке и зеленеет свежей травкой; там, где провалилась наука, спокойно гуляет барашек, а на пороге низенькой двери стоит, улыбаясь и сложив руки, старушка хозяйка. Все богатство ее — воспоминания, песни, предания да этот маленький барашек, на которого сыплет свои белые цветы вишневое деревцо!..

НА ПУТИ В УПСАЛУ

Принято обыкновенно представлять себе воспоминание в виде молодой девушки с небесно-голубыми очами. Так рисует ее нам большинство поэтов, но мы не всегда бываем согласны с большинством поэтов. Нам воспоминание представляется в различных видах, смотря по тому, к какой стране или городу относится. Вспоминая Италию, мы видим перед собой Миньону с черными глазами и печальной улыбкой, распевющую нежные, трогательные песни Беллини. Из Шотландии гений воспоминания прилетает к нам в виде мускулистого молодца с голыми коленками, в живописно переброшенном через плечо плече и в шапочке, украшенной цветком репейника; мелодии Бернса звучат в воздухе, как трели степного жаворонка, а цветок репейника, питомца Шотландии, цветет и благоухает, что твоя роза. Ну, а гений воспоминания, прилетающий из Швеции, из Упсалы? Этот является в образе студента или по крайней мере носит на голове студенческую белую фуражку с черным кантом; эта фуражка служит приметой упсальского студента.

В 1843 году Упсалу посетили датские студенты; молодые сердца радостно забились, глаза заблестели, пошло веселье, смех и пение. В молодых сердцах залог будущего, залог будущих побед во имя истины, добра и красоты. И благо, если родственные нации узнают и любят друг друга. Ежегодно с тех пор вспоминается в Упсале эта дружественная встреча громким «ура» в честь Дании. Два года спустя упсальские студенты отдали визит копенгагенским, и, чтобы отличать друг друга в толпе, все надели белые фуражки с черными кантами. Таким образом, эта фуражка явилась воспоминанием, флагом на мосту дружбы, переброшенном через реку крови, которая текла некогда между двумя родственными нациями. Дружественная встреча, духовное братание сеет благодатные семена! Итак, сюда, светлый гений воспоминания! Мы по фуражке узнаем, что ты из Упсалы! Будь же нашим проводником!

ДОЛИНА СЕТЕР

Все было в порядке, повозка осмотрена, даже о кнуте позаботились! И хороший был кнут! Но два было бы еще лучше, по мнению торговца, у которого мы купили его, а уж у торговца-то есть опыт, которого часто не хватает у туриста! Приготовили и мешок, битком набитый мелкой медной монетой; к нему придется прибегать беспрестанно: то плати за проезд по мосту, то подавай милостыню нищим, то давай на чай пастушонкам или другим услужливым людям, которые будут отворять околицы.

На этот раз нам, однако, приходится отворять их самим! Дождь так и хлещет; кому охота выходить в такую погоду? Болотный тростник кланяется на все стороны, шумит вовсю; сегодня у него пир — разливное море! Верхушки его так и шелестят: «Уж мы пьем, пьем, пьем! И ногами, и головами, и всеми телесами, а все же стоим на одной ноге! Ура! Мы пьем на «ты» с плакучей ивой, с промокшими насквозь цветами! Чашечки их уже так переполнены, что вода бежит через край! А вот белая кувшинка, изящная барышня, та не прольет ни капельки! Ура! Вот так пир! Разливное море! Мы шумим и поем, гуляем вовсю! Это наша собственная песня! Завтра утром ее переймут квакушки и выдадут за самую последнюю новинку!»

И тростник раскачивался из стороны в сторону, а дождь лил как из ведра! Как раз подходящая погода для экскурсии в знаменитую своей красотой долину Сетер! Едем, едем... хлопущка у бича отлетает! Расплетаем немножко бич, устраиваем новую, потом опять и опять!.. Бич становится все короче и короче, под конец от него не остается даже ручки — была да сплыла! По такой дороге немудрено и сплыть: глядя на нее, получаешь наглядное представление о начале потопа. Вот одна кляча чересчур забирает вперед, другая чересчур отстает, и — валец пополам! Нечего сказать, везет! Веселенькая поездка! В складке кожаного фартука образуется глубокая речка, и устье ее оказывается как раз у меня на коленях. Затем где-то соскакивает гайка, потом лопаются постромки, а хомуту надоедает держаться на месте! О, где ты, чудный постоянный двор Сетера? Я горю большим желанием узреть тебя, нежели знаменитую долину! А лошади-то плетутся все ленивее, а дождь-то поливает все сильнее!.. И вот... да вот мы все еще не добрались до Сетера.

Терпение, тощий паук, спокойно ткущий свою паутину над ногами бедняков, терпеливо ожидающих своей очереди в передней, оплети паутиной мои вежды и погрузи меня в сон, столь же тихий, как наша езда! Терпение... Увы! Его-то как раз и недоставало в нашей повозке. К вечеру я, впрочем, добрался-таки до постоянного двора, лежавшего близехонько от знаменитой долины.

Во дворе хаотически-благодушно плавали и навоз, и полевые орудия, и шести, и солома. Курицы превратились от дождя в какие-то куриные

призраки, или уж самое большее — в куриные чучела; утки прижались к мокрой стене, сытые мокротою по горло. Встретивший нас во дворе парень был неприветлив и нерасторопен, служанка еще того меньше; трудно было добиться от них толку. Лестница была кривая, пол покатый, только что вымытый и густо посыпанный песком, воздух сырой и холодный. Зато шагах в двадцати от двора находилась знаменитая своею красотой долина, этот созданный самой природой сад с его чудными лиственными деревьями, кустами, источниками и ручьями! В окно я видел, однако, лишь огромную глубокую ложбину и высовывавшиеся из нее верхушки деревьев — все, окутанное густой сеткой дождя. Целый вечер сидел я у окна и глядел на этот ливень из ливней. Право, как будто кто-то задался целью вылить на землю сквозь мелкое сито и Венерн, и Веттерн, и еще парочку других озер! Я заказал себе ужин, но не получил ничего. Мимо меня бегали взад и вперед, на очаге что-то шипело, девушки трещали, работники пили водку, приезжие прибывали, их помещали и угощали и вареным и жареным... Так прошло несколько часов; наконец я разгромил служанку, а она флегматично проговорила: «Да ведь вы сидите и пишите, какая же тут еда!»

Долго тянулся вечер, но и ему пришел конец. В доме стихло; все проезжие, кроме меня, разъехались, рассчитывая, должно быть, обрести лучший ночлег в Хедемуре или Брунбаккене. Дверь на черную половину была не совсем притворена, и я видел в нее сидевших там парней; они играли в засаленные карты; под столом лежал и таращил глаза большой пес; в кухне не было ни души, в горницах тоже; пол был мокрый, ветер выл, дождь так и поливал... «Пора в постель!» — сказал я себе.

Проспал час, проспал два и пробудился; на дороге перед домом кто-то орал во все горло. Я приподнялся; в комнате царил полумрак — темнее в это время года ночи здесь не бывают. Поглядел на часы — за полночь. Кто-то с силой дернул за калитку, послышался громкий мужской голос и затем неистовый стук в ворота. Что это, пьяный или сумасшедший ломится к нам? Ворота открыли, и после недолгих переговоров слышались взвизги женщин, поднялся переполох, беготня, топотня деревянными башмаками, рев коров, ржанье лошадей, грубые мужские голоса... Я сидел на краю постели. Куда деваться? Что делать? Я выглянул в окно; на дороге ничего не было видно; дождь лил не переставая. Вдруг на лестнице слышались тяжелые шаги, дверь в соседнюю комнату растворилась... Потом все смолкло. Я прислушался; моя дверь была заложена на крюк. Опять слышались шаги... Вот подошли и к моей двери, дернули за ручку, потом ударили в нее ногой... А в окно так и барабанил дождь, ветер так и дребезжал стеклами!.. «Есть тут кто-нибудь?» — прокричал чей-то голос. — В доме пожар!» Я мигом оделся и выскочил на лестницу; тут дыма еще не было видно, но, выйдя на двор (весь дом и все надворные строения были деревянные), я увидел и огонь и дым. Выкинуло из хлебной печи; возле никого не было; какой-то проезжий

увидел огонь, заорал, принялся ломиться в ворота и перебудил всех. Женщины подняли визг, а коровы мычанье, когда огонь высунул им свой красный язык.

Явились пожарные, огонь потушили. Уже рассветало; я стоял на дороге всего в каких-нибудь ста шагах от знаменитой долины. Я и пошел туда. Дождь так и лил, вода сочилась отовсюду, вся местность превратилась в сплошное озеро. Лиственные деревья выворачивались от дождя наизнанку и, как вчера тростник, распевали: «Уж мы пьем, пьем, пьем! И ногами, и головами, и всеми телесами, и все-таки держимся на одной ноге! Ура! дождик поливает, а мы распеваем; это наша собственная песенка, и новенькая!»

А ведь то же самое пел вчера и тростник! То же самое, то же самое! Я глядел, глядел... и могу теперь сказать о знаменитой своей красотой долине одно: красота чистейшей воды!

В ЛЕКСАНДЕ

У хозяйки постоялого двора, где я проживал в Лександе, была внучка, премилый ребенок; все мои пожитки приводили ее в восторг: и пестрый мешок для белья, и шотландский плед, и красная сафьяновая подкладка чемодана. Девочка часто заходила ко мне в комнату, и раз я вырезал ей из листа бумаги турецкую мечеть с минаретом и открытыми окнами; малютка ушла от меня, не помня себя от восторга. Немного погодя я услышал во дворе громкие разговоры и, догадавшись, что дело идет о моем произведении, тихонько вышел на деревянный балкончик и стал глядеть вниз, во двор. Там стояла сама хозяйка и с сияющим лицом показывала собравшейся вокруг нее толпе парней и девушек вырезанную мною мечеть. Все дивились на этот шедевр искусства, а девочка, бедненькая девочка, кричала и протягивала ручонки за своей законной собственностью, которую у нее отняли, — уж чересчур она была хороша! Я удалился в свою комнату, весьма польщенный таким признанием моего таланта. Минуту спустя в дверь постучали и вошла старушка хозяйка с целой тарелкой пряников.

— Я славлюсь своими пряниками на всю Далекарлию! — сказала она. — Только вот пеку-то их все по старому фасону, как пекли еще при моей бабушке. Вы, сударь, так чудесно вырезываете... Не вырежете ли вы мне новых фасонов?

Я и провел весь вечер за вырезыванием новых фасонов для пряников. Каких-каких только фигур я не вырезал! И шелкунов в рыцарских сапогах со шпорами, и мельницы, и танцовщиц с ножкой, поднятой к небесам. Старушка забрала их все, но танцовщиц долго вертела в руках, стараясь угадать, где верх, где низ: одна нога была поднята так высоко, что старуха приняла этих дам за одноногих и трехруких.

— Ну вот, запаслась теперь новыми фасонами! — сказала она. — Только мудрены они!

Надеюсь, что я и до сих пор еще живу в Далекарлии... в новых фасонах пряников.

ВЫВЕСКА ПОЭТА

На вывеске поэта, если бы случилась в ней надобность, характернее всего было бы изобразить Шехерезаду из «Тысячи и одной ночи», рассказывающую султану свои сказки. Шехерезада — это сам поэт, султан — публика, которую надо занимать, иначе она казнит Шехерезаду. Бедная Шехерезада! Могущественный султан!

Султан служит олицетворением более нежели тысяче и одному лицу из слушающей Шехерезаду публики. Рассмотрим же хоть некоторых из них.

Вот сидит высохший ворчун, ученый; древо его жизни все покрыто листьями книжной мудрости, прилежание и усидчивость ползают, как улитки, по его коре из свиной кожи; желудок его изъеден молью, не варит, совсем не варит. Прости же поэту полноту чувств, невольный восторг, свежесть и юность мысли, не казни Шехерезаду! Но он казнит ее.

Вот сидит прошедшая суровую школу жизни старая дева, швея; она только что вернулась из чужого дома, где сидит одна в какой-нибудь каморке, шьет и набирается жизненной мудрости. Она-то знает толк в романтическом! Прости же, о дева, если рассказ не слишком забирает тебя за живое, не утоляет твоего романтического аппетита, возбужденного прозою твоей собственной жизни!

«Казни ее!» — произносит швея.

Вот сидит фигура в халате, этом восточном одеянии, которое носит ныне и графчик, и светлейший князь, и сын богатого пивовара, и прочие. Ни халат, ни самая физиономия этого господина, ни его тонкая улыбка — ничто не выдает, на каком именно стебельке он вырос. Требуется от Шехерезады того же, что и швея: рассказ должен интриговать его, кидать в жар и в холод, пичкать таинственностями!..

И этот казнит бедную Шехерезаду!

Мудрый, просвещенный султан! Являешься ты и в образе школьника, носящего на своей спине связанных ремнем греков и римлян, как Атлас носил небо. Не презирай же хоть ты бедную Шехерезаду, не произноси над ней приговора, пока не выучишь своих уроков и опять не превратишься в ребенка; не казни Шехерезаду!

Молодой щеголь-дипломат, с грудью, увешанной орденами, по которым можно счесть, сколько иностранных дворов ты посетил с твоими высокими господами или с письмами от них, подари Шехерезаду своим милостивым вниманием! Заговори о ней хоть по-французски, скажи, что

она стоит внимания, даром что говорит лишь на своем родном языке, переведи из ее песен хоть строчку! Как бы дурно ты ее ни перевел, только продекламируй ее в блестящем салоне, и смертный приговор сменится милостивым «charmant!...»

Могущественные сокрушители и перевозносители, газетные Зевсы и журнальные Юпитеры, не потрясайте в гневе своими кудрями, не мечите молний, если Шехерезада поет иные песни, нежели те, что вы привыкли слышать в своих кружках, или идет по своему пути одна, без услужливой свиты из ваших прихвостней! Не казните ее!

А вот и еще один слушатель, опаснейший из всех! Это — слепой энтузиаст с вечными похвалами на устах. Вода, в которой Шехерезада моет свои руки, для него уже Кастальский ключ! Увы! Самый трон, который он воздвигает для Шехерезады, зачастую становится ее эшафотом.

Так вот вам вывеска для поэта: «*Султан и Шехерезада*». Но отчего же среди этой толпы нет милых, честных, прекрасных лиц благосклонных слушателей? — спросите вы. Есть и они; на них-то с надеждой и смотрит Шехерезада, ободренная ими-то, и подымает свой гордый взор к звездам и поет о гармонии небесных сфер и сердец человеческих.

Да, меч занесен над головой рассказчицы, и, судя по лицу султана, он вот-вот упадет. Из арабских сказаний мы знаем, однако, что Шехерезада победила; побеждает и поэт. Он богач, если даже он бедняк; он не одинок, если даже сидит в своей камерке один-одинешенек: перед ним расцветает роза за розой, взлетает радужный мыльный пузырь за пузырем, небо сыплет падающими звездами, словно создается новое небо, а старое рушится!.. А мир-то ничего об этом не знает! Этот праздник, богаче королевских фейерверков, дается для одного поэта! Он счастлив, как Шехерезада, он победитель, он могуществен! *Фантазия* украшает стены его камерки богатыми гобеленами, каких нет ни у одного короля. *Чувство* затрагивает струны человеческих сердец и заставляет их звучать для него дивными аккордами. *Разум* подымает его через познание красоты земной до познания красоты небесной и в то же время помогает ему встать твердой ногой на земле. Он могуч, он счастлив, как немногие! Мы отнюдь не желаем вымаливать ему сострадание, мы только хотели нарисовать ему вывеску, беря для этого одни отрицательные краски жизни. «*Султан и Шехерезада*» — вот вам вывеска! Не казните же Шехерезаду!

КАРТИНАМ НЕТ КОНЦА!

Да, картинам нет конца; мир вокруг нас полон красоты; она проявляется даже в мельчайших мимолетных образах, которых толпа и не примечает.

В капле воды, взятой из лужи, кишит целый мир живых существ; сутки — капля, выхваченная из будничной жизни, тоже содержит в себе целый мир в картинах, полных красоты и поэзии. Открой только глаза и гляди!

Провидец-поэт и должен указывать на них или, лучше сказать, как бы накладывать на них микроскоп, чтобы сделать их видимыми толпе. Потом она мало-помалу и сама привыкнет вглядываться, прозреет, и жизнь ее, таким образом, обогатится — обогатится красотой.

Но если уж стоячая будничная действительность так богата картинами, то как же богата ими действительность, пробегающая перед глазами туриста! Перед ним возникают картины, картины без конца, хотя порою и до того миниатюрные, бедные великими моментами, так называемыми событиями, ландшафтами, историческими памятниками, что их почти и нельзя назвать картинами или цветами в гирлянде, которую плетет путешествие. Самая-то гирлянда, однако, плетется, и мы хотим сейчас взять из нее несколько мелких зелененьких листочков, несколько миниатюрных, почти сливающихся вместе, мимолетных картинок. Каждая из них поэтична, живописна, но все-таки не в такой степени, чтобы красоваться на мольберте отдельно.

Вот вам один час из нашей поездки, один из тех часов, в которые, собственно говоря, ничего такого не случилось, о чем бы стоило рассказать, ничего не встретилось, на что бы стоило обратить особенное внимание. Ехали мы через лес, а затем по большой дороге.

Нечего, собственно, рассказать — и в то же время как много!

У самой дороги возвышался холм, поросший можжевельником; свежие кусты его напоминают маленькие кипарисы, но эти были все увядшие, сухие и цветом напоминали волосы Мефистофеля. У подножия холма копошились свиньи — и худые, и жирные, и большие, и маленькие. На самом холме стоял свинопас, весь в лохмотьях, босоногий, но с книжкой в руках. Он был так погружен в чтение, что не видел и не слышал, как мы проехали. Может быть, мы видели будущего ученого, знаменитость!

Мы проехали мимо какого-то крестьянского двора. Заглянув в отворенные ворота, мы увидели на дерновой крыше главного строения какого-то крестьянина; он, видно, приводил ее в порядок и в эту минуту как раз рубил молоденькое деревцо, выросшее на крыше. Топор блеснул на солнце, и деревцо упало.

В лесу наехали мы на поляну, сплошь покрытую ландышами; воздух был так напоен их ароматом, что просто трудно было дышать. В просвет между несколькими высокими соснами лились яркие солнечные лучи и падали прямо на огромную паутину. Нити ее, проведенные с математической точностью, блестели, словно тоненькие призмочки. В самой середине этого воздушного замка сидел жирный и безобразный владелец его, паук. В сказке он, пожалуй, сыграл бы роль лешего!

Мы приехали на постоялый двор. Страшный беспорядок и в горницах и во дворе; все не на своем месте! Мухи так унавозили белую штукатурку стен, что они казались крашеными. Ломаная мебель была покрыта вместо чехлов толстым слоем пыли. По дороге, что шла перед домом, был раскидан навоз, а по навозу бегала дочка хозяина, молоденькая, стройная, белая и румяная, босоногая, но с большими золотыми серьгами в ушах. Золото так и блестело на солнце и очень шло к румяным щекам. Льняного цвета волосы были распущены по плечам. Знай девушка, как она хороша, она бы, наверно, умылась!

Мы пошли по дороге и набрали на беленький уютный домик — полную противоположность постоялому двору. Дверь стояла настежь. В горнице сидела мать и плакала над умершим ребенком. Другой ребенок, крохотный мальчуган, стоял возле матери и вопросительно смотрел на нее своими умными глазками. Вдруг он разжал ручонку, из нее вылетела бабочка и запорхала над телом умершего малютки. Мать взглянула и улыбнулась, поняв поэтическую игру случая.

Лошадей перепрягли, мы покатали дальше, и опять замелькали картины, картины без конца — и в лесу, и в поле, и в мыслях, всюду!

СВИНЬИ

Стоило милейшему Чарлзу Диккенсу рассказать нам о свинье, мы и смеемся теперь, едва заслышим ее хрюканье. Святой Антоний тоже взял свиней под свое покровительство, а вспомнив о блудном сыне, непременно вспомнишь и о свином закутке. Перед таким-то закутком и остановился однажды наш экипаж. У самой дороги стоял крестьянский дом, а тут же, под боком у него, и свиной закуток. Другой такой вряд ли бы где нашелся! Это была огромная старинная парадная карета. Вынули из нее сиденья, сняли колеса и без дальнейших церемоний ткнули в землю брюхом. Теперь в ней сидели четыре свиньи, но были ли они первыми, попавшими сюда, — сказать мудрено. О том же, что нынешнее помещение их — урожденная парадная карета, свидетельствовало все, до сафьянового лоскутка, остатка внутренней обивки, включительно. И все, что мы рассказываем, истинная правда!

«Хрю-хрю!» — слышалось из кареты, а сама карета скрипела и трещала, жалуясь на судьбу. Да, конец печальный! «Конец, конец красным денькам!» — вздыхала она или по крайней мере могла бы вздыхать.

Случилось нам опять проехать мимо нее осенью. Карета стояла на том же месте, но свиней в ней уже не было. Они теперь хозяйничали в лесу. Дождь так и сек деревья, а ветер рвал с них листья, ни на минуту не давая им отдыха. Птички все давно улетели. «Конец красным денькам!» — вздыхала карета. То же самое твердила и вся природа, и

ей вторило человеческое сердце: «Конец красным денькам! Конец чудному зеленому убору леса, теплomu солнышку и пению птичек, всему, всему!»

То же слышалось и в скрипенье дерев, тот же скорбный глубокий вздох слышался и из самой сердцевины розового куста. Это вздыхал царь роз. Знаешь ли ты его? Его нетрудно узнать: он весь одна борода, чудеснейшая красно-зеленая борода. Подойди к розовому кусту осенью, когда цветов на нем уже нет, а лишь одни красноватые плоды. Между ними часто сидит и большой красно-зеленый поросший мхом цветок. Это-то и есть царь роз, единственный мужчина на всем розовом кусте; на маковке у него торчит маленький зелененький листочек; это его султан. Так вот этот-то царь и вздыхал:

— Конец! Конец! Конец красным денькам! Конец розам! Листья все опали! Птички замолкли! Сыро, мокро! Свиньи пошли по желудям, свиньи хозяйничают в лесу!

Ночи пошли холодные, дни серые, но ворон, сидя на ветке, все-таки кричал: «Браво! браво!» Ворóны и вóроны облепили все ветви; эта семейка ведь не из маленьких! И все кричали одно и то же: «Браво! браво!» А большинство всегда ведь право.

Под высокими деревьями в овраге образовалось настоящее месиво, и тут-то валялись свиньи — и большие, и маленькие; уж так-то им здесь было вольготно! «Oui! Oui!» — твердили они. Больше они по-французски не знали, но ведь и это уже кое-что. Ах, они были такие умные и такие жирные. Старые лежали смирно; они что-то думали. Молодые, напротив, резвились напропалую. У одного маленького поросенка кончик хвостика завернулся в колечко. Мать поросенка не могла налюбоваться на эту завитушку, гордилась ею. И ей казалось, что все только и смотрят на завитушку, только и думают о ней, — а хоть бы кто! Каждый думал о самом себе да о том, что можно извлечь из этого леса.

Свиньи всегда полагали, что желуди растут на корнях деревьев, оттого всегда и рылись в земле, и вдруг явился один такой молокосос-поросенок — это уж вообще дело молодежи являться с новостями — и объявил, что желуди падают с ветвей. Ему самому один желудь угодил прямо в голову. Это подало ему первую идею, он стал наблюдать и окончательно уверился в своем предположении. Старые свиньи сбились головами в кучу и хрюкали: «Конец убранству! Конец птичьей пискотне! Подавайте нам теперь плодов! Что можно слопать, то и годится, а слопать можно все!»

«Oui! Oui!» — хрюкали все.

А мамаша поросенка глядела на сыночка с завитушкой на хвостике и говорила: «Нельзя же вовсе забыть и о красоте!»

«Браво! Браво!» — закаркал ворон, слетевший сюда, чтобы занять ампула соловья. Кому-нибудь да надо занимать его, вот ворона и приняла.

«Конец! Конец! — вздыхал царь роз. — Конец красным денькам!»

Было сыро, холодно и ветрено; дождь повис над лесом и полем, точно морской туман, и так и сек, так и хлестал их. Куда подевались все певуны-птички, куда подевались цветы с лугов и сладкие ягодки из леса? Конец, конец всему!

И вдруг в домике лесника блеснул, словно звездочка, огонек, и между деревьями проскользнул длинный луч света. Из домика слышалась песня. Это играли вокруг старичка дедушки ребятишки. Он же сидел с Библией на коленях, читал им из нее о Боге и о вечной жизни и говорил, что весна опять придет, лес опять зазеленеет, розы вновь расцветут, соловьи запоют, и красота снова взойдет на трон!

Но царь роз ничего этого не слышал. Он сидел в сырости и мокроте и вздыхал: «Конец! Конец!»

А свиньи все хозяйничали в лесу, и мамаша поросенка все любовалась на его завитушку.

«Всегда ведь найдутся ценители прекрасного!» — твердила она.

ПОЭТИЧЕСКАЯ КАЛИФОРНИЯ

Сокровища природы становятся нашим достоянием часто благодаря случаю. Собака запачкала нос о раздавленную пурпурную улитку, и — была открыта драгоценная пурпурная краска. Пара диких буйволов взрыла в драке рогами золотоносную почву Америки, и — из-под развороченного дерна заблестела богатая золотая жила.

«Да! Все это случилось в старину! — скажут люди. — Тогда все делалось иначе, само собою! В наше время таких открытий уже нет! Приходится все добывать кровью и потом, рыться в глубоких шахтах, чтобы отыскать драгоценные руды, — запасы их все более и более истощаются!» И вдруг... высунулся золотой перст земли из полуострова Калифорния, и мы узрели воочию баснословные богатства Монте-Кристо, узрели пещеру Алладина! Сокровищница природы неистощима; мы, говоря попросту, сняли пока одну верхушку, а самая мера еще полна! То же самое и с сокровищницей науки — перед нами еще целый мир открытий!

«Зато в стране поэзии обшарены уже все уголки, все лучшее, прекраснейшее взято! — ноет какой-нибудь поэт. — Счастлив, кто родился в древние времена. Тогда еще поэзия была почти нетронутой, девственной страной, сокровища ее блестели, как золотые жилы на поверхности земли!»

Не говори так! Счастлив и ты, современный поэт! Ты унаследовал все великие сокровища, обретенные в стране поэзии твоими предшественниками! Ты можешь учиться у них, что только истина будет жить вечно.

Наше время — время великих открытий. Откроется и в стране поэзии своя Калифорния.

«Где же ее искать?» — спросишь ты.

Она так близко, что тебе и в голову не приходит считать ее за новую неоткрытую страну. Переплыви же вместе со мною, подобно новому Леандру, отделяющий нас от нее пролив; черные слова на белой бумаге понесут тебя на своих хребтах, как волны; каждая точка — удар волны.

Огромная зала библиотеки, открытая для всех и каждого; кругом по стенам полки с книгами — и старыми и новыми. Рукописи навалены горами; всюду карты и глобусы. За маленькими столиками сидят и пишут труженики мысли и пера. Труд их нелегок! И вдруг все меняется: полки превращаются в террасы, на которых растут чудные деревья, покрытые цветами и плодами; тяжелые гроздья винограда повисают между осыпанными листвою лозами; кругом жизнь и движение!.. Старые фолианты и запыленные рукописи превращаются в цветущие богатырские курганы; откуда ни возмись встают закованные в доспехи рыцари и конунги в золотых коронах, звучат арфы бардов, история проникается жизненностью поэзии — в залу вошел поэт! Он увидел живые видения, вдохнул в себя аромат цветов, сдавил виноградные гроздья и напился чудодейственного сока. А он и сам еще не знал, что он поэт, носитель светоча поэзии перед поколениями и веками!..

Свежий, душистый лес; прощается чета влюбленных. Прощальный поцелуй является для поэта таинством посвящения! И аромат в лесу еще усиливается, щебетанье птиц звучит дивной гармонией, проглядывает солнышко, и веет прохладный ветерок. Природа становится вдвое прекраснее, чуя присутствие поэта!

И вот он стоит там, подобно Геркулесу на распутье: перед ним две фигуры. Обе готовы вести его и служить ему. Одна — сморщенная старуха, другая — юноша, светлый, как ангел-путеводитель Товии. На старухе плащ, затканый цветами, фигурами животных и людей, сплетающихся причудливыми арабесками. Она в очках, а в руках держит фонарь и мешок; в нем старые, золотообрезные карты, разные волшебные снадобья и талисманы — словом, все атрибуты суеверия. Она опирается на палку, как дряхлая старуха, и в то же время воздушна и легка, как болотный туман.

«Коли хочешь быть поэтом, видеть мир, как нужно поэту, — иди за мною! — говорит она. — Я зажгу свой фонарь; он лучше диогеновского!» И огонек заблестел, старуха подняла голову и словно вдруг выросла, перед поэтом очутилось могучее видение; имя ему — Суеверие. «Я владычествую в царстве романтизма! — говорит она и сама этому верит. Фонарь осветил землю, как полная луна, и земля сделалась прозрачною, как воды океана в штиль, как стеклянная гора в сказке. —

Все мое царство к твоим услугам! Воспевай, что видишь, воспевай, как будто до тебя не воспевал этого никто!»

И поэту чудится, что декорация местности перед ним все меняется. Вот плывут величественные готические соборы с покрытыми живописью стеклами, звучат полуночные колокола, встают из могил мертвецы... Под плакучей ивой сидит умершая мать и кутает свое нерожденное дитя; старые разрушенные рыцарские замки поднимаются из болотной почвы, подъемные мосты опускаются, и поэт смотрит в увешанные картинами пустынные залы, в галереи, где бродит вестница смерти — Белая дама... В глубоких подземельях обитает василиск, чудовище, вылупляющееся из петушиного яйца, неуязвимое никаким оружием, но бессильное вынести свой собственный вид; увидя свое отражение, он разрывается на куски, как гадюка от удара дубинкой. Видения плыли, сменяя одно другое, а старуха в это время мурлыкала свои таинственные песни, сверчок подтягивал ей, ворон вторил, и на свечке в фонаре нагорали стружки. «Смерть! Смерть!» — проносилось и шелестело по всему этому полному призраков царству.

«Следуй за мною в жизнь на поиски истины! — вскричал юноша, светлый, как херувим. От чела его исходило сияние, в руке у него сверкал огненный меч. — Я гений науки! — сказал он. — Мой мир куда выше, он доходит до царства истины!»

И ясный свет разлился вокруг. Призраки побледнели, расплылись: фонарь старухи освещал не действительность, а лишь отбрасывал туманные картины на стены старых развалин, картины, которые образовал болотный туман, гонимый ветром.

«Я обогащу тебя знанием и опытом! Истина во всем творении, истина в Боге!»

И луч света проник в глубь тихого озера, откуда подымался под звуки колоколов затонувшего замка призрачный туман, проник и — осветил мир подводных растений. Капля воды из лужи, освещенная этим лучом, явилась миром живых существ самых диковинных форм; существа эти боролись, наслаждались, жили!.. В водяной капле был целый мир. Острый меч гения науки рассек своды глубокого подземелья, где убивал людей василиск, осветил подземелье, и — чудовище расплылось в смертоносные испарения, когти его превратились в газы от бродящего вина, глаза в светильный газ, вспыхивающий от прикосновения струи свежего воздуха. Меч гения выковал из золотой песчинки лист, тонкий, как налет, оставаемый на стекле нашим дыханием. А от лезвия меча исходил такой свет, что нить паутины казалась якорным канатом. И голос гения науки зазвучал на весь мир, как будто вернулось время чудес. По всей земле протянулись тонкие железные ленты, а по ним, окрыленные паром, летят с быстротою ласточек нагруженные тяжелые вагоны. Перед современной мудростью расступаются горы, поднимаются ложбины. А по металличе-

ским нитям летят с быстротою молний мысли и слова, летят из города в город. «Жизнь! Жизнь! — звучало в природе. — Вот каково наше время! Поэт, оно принадлежит тебе, воспой разум и истину!»

И гений науки опять взмахнул сверкающим мечом. Что за зрелище! Словно луч света прорвался сквозь щелочку в темное пространство и образовал длинный крутящийся столб из мириад светлых пылинок. Но здесь каждая пылинка была целым миром: перед поэтом открылось звездное небо. Снова зазвучал голос гения: «Ты дивишься величине земли, а каждая точка здесь, каждая пылинка равна земле! Все это лишь пылинки и в то же время звезды-миры! Как крутящийся столб из мириад пылинок, образуемый солнечным лучом, прорвавшимся сквозь щелочку в темное пространство, — вертится в мировом безграничном пространстве столб из светил, который ты зовешь звездным небом. А за ним светится еще туманный Млечный Путь — новое звездное небо, другой столб, и оба они только два радиуса, две спицы в колесе Вселенной. Как же велико оно само и сколько радиусов исходит из вечного центра — Бога!

«Так вот что видит ныне глаз твой, вот как обширен горизонт, открывающийся нашему веку! Сын века, выбирай же, за кем из нас двух тебе идти! Я поведу тебя по новому пути! Иди по нему вслед за великими людьми своего века, впереди остальных! И ты будешь светить им, как утренняя звезда, светлый Люцифер!»

Да, наука открывает нам в стране поэзии новую Калифорнию! Правда, тот, кто предпочитает оглядываться назад и мало смотрит вперед, какое бы он высокое и почетное положение ни занимал, — скажет, пожалуй, что сокровищницей науки пользуются уже давно и она почти вся уже исчерпана великими бессмертными певцами, прозревавшими будущее значение науки! Положим; но не забудем также, что и в то время, когда Феспис говорил со своей колесницы, и тогда жили в мире мудрецы. Гомер давно уже спел свои бессмертные песни, но после него явились новые поколения, породившие Софоклов и Аристофанов. Древние северные саги и предания лежали как бы нетронутыми, неизвестными сокровищами, пока не явился Эленшлегер и не указал, какие можно вызвать оттуда мощные образы!

Мы не хотим сказать этим, что поэт должен излагать стихами разные научные открытия. Дидактическая поэзия и в эпоху своего расцвета была только механической куклой, а не имела в себе настоящей живой души. Поэт должен только просветиться светом науки, постичь ясным взором истину и гармонию и в малом, и в великом. Тогда разум и фантазия его очистятся, просветятся и укажут ему и новые формы, и более одухотворенные слова. Даже отдельные открытия в состоянии окрылить его мысли. Что за сказочный мир открывается, например, под микроскопом, если наложить его на наш человеческий мир! Электромагнетизм может стать жизненной нитью в новейшей комедии и романе, а сколько можно создать юмористических творений, если вознестись с нашей крошечной,

как песчинка, земли, заселенной мелким заносчивым человечеством, в бесконечное мировое пространство, где рассеяны млечные пути! Недурной иллюстрацией к нашей мысли могут послужить слова одной старой знатной барыни: «Если каждая звезда есть такая же планета, как наша земля, с разными государствами и высочайшими дворами, то какое бесконечное множество дворов! Голова закружится от одной мысли!»

Мы не скажем, как одна французская писательница: «Я рада умереть, не предстоит больше открытий в мире!» Осталось еще столько неизвестного, неисследованного и в море, и в воздухе, и в земле, столько чудес, которые должна открыть наука, чудес, каких не создаст и фантазия поэта.

И вот народится поэт с детской душой и, как новый Алладин, вступит в волшебную пещеру науки; мы говорим «с детской душой»: не будь у него детской души, великие силы природы поработят его. Новый Алладин зажжет лампу поэзии, которою всегда есть и будет человеческое сердце, и явится господином природы, добудет из пещеры дивные плоды и построит, с помощью духов, новый дворец поэзии в одну ночь.

События повторяются, характер человеческий не меняется и с тысячелетиями и повторяется в отдельных личностях, одна наука вечно производит новое! Наука озаряет весь мир светом истины!

Мощный образ Божий, освещающий человечество! И когда его духовный взор привыкнет к этому блеску, появится и новый Алладин, и Ты будешь с ним, когда он краткими, ясными и мощными стихами воспоеет истину и красоту, откроет новую поэтическую Калифорнию!





ПЕРВЕНЕЦ

Комедия в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Иесперсен, поэт.
Г-жа Иесперсен, его жена.
Христина, его сестра.
Доктор Вендель.
Дама.
Канатчик.
Барон Банке.
Миндель, рантье.
Николина Мунк.
Швеффель, ее жених.
Момсен, редактор.
Герцман, художник.
Серенсен, композитор.

Действие происходит в Копенгагене, в доме Иесперсена.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Уютная гостиная; три двери: одна — направо — ведет в переднюю, другая — налево — в кабинет Иесперсена, и средняя — в столовую.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Х р и с т и н а одна.

Х р и с т и н а (*пробегая список гостей*). Однако, тридцать пять персон! Тесненько будет за обедом, а делать нечего, приходится звать всех, иначе обидятся! Да, пир на весь мир!.. А завтрак можно считать генеральной репетицией. Маленькие же вечерние репетиции тянутся вот уже почти два месяца, с того самого дня, как брат начал знакомить друзей со своей пьесой. Да, не дешево обходится честь быть поэтом. Столько расходов!.. То есть если хочешь прославиться, а не довольствуешься собственным сознанием своего таланта! Боюсь только, чтобы тут не повторилась сказочная история о крестильном пире у портного: гости съели в конце концов и самого ребенка! Пожалуй, и у нас весь заработок пройдет между рук! Ну да пусть, наш первенец все-таки произвел фурор! Вчера его показали добрым людям, а сегодня будем принимать поздравления! Право, у нас точно и в самом деле родился ребенок! Только и папаша, и мамаша его — одно лицо!.. Фу! Что это мне все такие нехорошие мысли в голову лезут! А еще сестра! У меня почему-то с ума не идет комедия Хольберга¹, и как-то жутко становится... Но, конечно, наш-то первенец — родное детище моего брата, и притом лучшее. Наконец-то на него снизошло истинное вдохновение!.. Звонят!.. Начинаются поздравления! (*Идет и отворяет дверь в переднюю, откуда появляется доктор Вендель.*)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Христина и Вендель.

В е н д е л ь. Извините, мне сказали, что здесь живет господин Иесперсен. Нельзя ли мне видеть его?

Х р и с т и н а. Но, Боже мой!.. Неужели?.. Вы так похожи?..

В е н д е л ь (*кланяется*). Доктор Вендель.

¹ «Barselstuen» («Поздравления с новорожденным»). В этой пьесе Хольберг осмеивает нелепый и вредный обычай беспокоить родильницу посещениями и поздравлениями вскоре после родов. В словах Христины содержится намек на то, что в комедии Хольберга отец ребенка, по словам кумушек, оказывается не настоящим отцом ребенка. — *Примеч. перев.*

Х р и с т и н а. Доктор Вендель! Да ведь вы умерли!

В е н д е л ь. Должно быть, не совсем. А вы?.. Вы Христина, если осмелюсь назвать вас так бесцеремонно. Так вы меня узнали?

Х р и с т и н а. О Господи! Вы живы! Вот чудеса! Вендель! Доктор Вендель! А все говорили, что вы умерли там, в Америке! Все были так уверены!.. И сколько лет прошло с тех пор!.. Но я ужасно рада, что вы воскресли и явились с того света к своим старым друзьям!.. Ведь вы и в самом деле из другого света!

В е н д е л ь. И там мне повезло. Бедному кандидату хирургии удалось сделать себе карьеру. И вот кого первую суждено мне было встретить в вашем доме, в первом, который я поспешил посетить! Вы замужем? Невеста?

Х р и с т и н а. Или вдова? Нет, нет и нет!.. Но я, право, все еще не верю своим глазам!.. Не верю, что это вы, вы сами стоите передо мною!..

В е н д е л ь. Я сам, только немножко пополневший, немножко поседевший, а душою все тот же! Да и вы ничуть не изменились. Такая же, как были!

Х р и с т и н а. Не совсем. Обзавелась зубной болью, колотьями в боку, добродушием и другими почтенными слабостями, какими люди обзаводятся с годами. Но вы должны рассказать мне о «том свете», то есть о вашем житье-бытье там, — до описаний природы я, если помните, не охотница.

В е н д е л ь. Жизнь моя целый роман, как и жизнь каждого человека, если вдуматься в нее хорошенько!.. Вы знаете, каково было у меня на душе, когда я уезжал из Дании?..

Х р и с т и н а. Да, вы отличались в те времена умением отравлять себе жизнь. Вы уехали в Гамбург, оттуда в Америку, а через два года до нас дошло достоверное известие о вашей смерти.

В е н д е л ь. Если рассказывать все по порядку — и конца не будет. Поэтому расскажу все в нескольких словах. Мне не повезло в Нью-Йорке, и я отправился в Бразилию. Корабль наш разбился, а я в числе немногих счастливцев спасся. В Бразилии счастье, наконец, улыбнулось мне: там мне удалось устроиться, приобрести практику и... и... Ну, словом, теперь я вдовец.

Х р и с т и н а. Что? Вы женились там?

В е н д е л ь. Да. Теперь-то я могу позволить себе высказаться — пятнадцать лет ведь прошло с тех пор, я стал благоразумнее!.. Когда-то я мечтал встретить с вашей стороны взаимность. Но вы меня не любили, а ваш отец еще меньше! Ну, я и уехал скитаться по белу свету. В Бразилии я познакомился с одной дамой, немного старше меня... Она была прекрасная, умная и богатая женщина... горячо полюбила меня... Я полюбил ее, как сестру, мы женились и счастливо прожили одиннадцать

лет, счастливо не только в смысле внешнего благополучия, но и семейного счастья. Два года тому назад она умерла!.. Теперь я богат, независим... соскучился о друзьях юности, о старом Копенгагене, и — вот я опять здесь!

Х р и с т и н а. Что это, сказка?

В е н д е л ь. Да, одна из действительных сказок жизни, которые бывают зачастую куда сложнее и удивительнее сказок, созданных воображением поэта.

Х р и с т и н а. Вы найдете здесь много перемен. Мы сильно двинулись вперед!

В е н д е л ь. О, на родине все превосходно, чудесно! От всего веет такой свежестью, новизной и в то же время такой милой сердцу стариной. Право, я, кажется, раз сто остановился по дороге, идя к вам, чтобы посмотреть то на то, то на другое, мимо чего другие проходили вполне равнодушно. Я дивился даже нашим высоким остро-конечным крышам — я ведь совсем отвык от них! А уж как у меня чесались руки при виде наших старомодных ручек-колокольчиков! Так бы вот и зазвонил у первых дверей! У водокачалки же я таки и не вытерпел, подбежал и с таким наслаждением качнул раза два! Все так и воззрились на меня!

Х р и с т и н а. Я думаю!

В е н д е л ь. Я дал на гостинцы первому мальчишке, который обругал при мне другого по-нашему, по-копенгагенски! Да, да! Вам-то, конечно, не понять, что за радость увидеть старомодные ручки-колокольчики, водокачалку или услышать уличную брань! А вот поезжайте-ка в Бразилию, поживите там лет пятнадцать да вернитесь назад на родину — живо поймете! Однако я слышал, ваш брат, а мой старый друг, стал теперь знаменитостью?

Х р и с т и н а. Сейчас вы увидите его!

В е н д е л ь. Хозяин отеля рассказал мне и о славе моего друга, и о его женитьбе.

Х р и с т и н а. Ну, это-то уж старая история. Брат лет десять как женат.

В е н д е л ь. Узнал я тоже, что вы теперь живете у брата, что отец ваш давно умер...

Х р и с т и н а. Да, многое изменилось! Многое!.. Брата сейчас нет дома, но он скоро должен вернуться — сегодня у нас день торжественных поздравлений, и мы ждем много визитов. Вчера его пьеса, его драматический первенец, как я ее зову, шла в первый раз. Теперь мы ждем, что скажут газеты. Вы еще не знаете наших газет!

В е н д е л ь. Как же, знаю одну — «Мефистофеля». Мне его вчера показали и отрекомендовали.

Х р и с т и н а. Это самая забавная газета! То есть забавна она, пока тебя самого не задела в ней, — тогда она, конечно, отвратительна! Господам совестно читать ее, и потому ее выписывают одни лакеи да кучера, ну, а зачитывают-то сами господа!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и дама.

Дама (*входит из передней*). Извините! Господин Иесперсен дома?

Х р и с т и н а. Вы желаете видеть его?

Дама. Да! Надо вам сказать, что он мой писатель, то есть в моем вкусе. Он пишет так умно, а я вообще враг всякой банальности. Извините, что я так сразу перехожу на литературную почву, но ведь я в доме писателя, и вы, вероятно, уже привыкли к подобным разговорам! Вы, конечно, сама госпожа Иесперсен? О Боже!.. Быть женой такого поэта!

Х р и с т и н а. Нет, он мой брат.

Дама. Мать? Не может быть! Разве он так молод?

Х р и с т и н а. Я говорю — он мой брат!

Дама. Ах, брат! Понимаю! Видите ли, я иногда плохо слышу одним ухом, а вообще-то у меня слух превосходный! Но я так много болтаю! А мне, собственно, нужно бы поговорить с самим поэтом! У меня, видите ли, умерла тетка; злые люди поссорили ее со всеми нами, родными, чтобы завладеть ее имением... И это им удалось! Они получили все до ниточки! Ну, а я всегда слыла за женщину с сердцем и хочу это доказать. Вот я и думаю попросить вашего брата написать мне небольшое посвящение усопшей, оплакать ее в стихах... А я бы напечатала их в газете... Положим, она не отказала мне ни гроша, но все-таки она мне тетка!..

Х р и с т и н а. А мой брат вашу тетку знал?

Дама. Вот как! Знал?

Х р и с т и н а. Я спрашиваю — знал ли он ее? Ведь если он не знал ее, то ему очень трудно посвятить ее памяти стихотворение... Разве самое банальное. По-моему, вряд ли он возьмется за это.

Дама. О, я готова помочь ему кое-какими указаниями. Вот, например: эти злые люди, которые поссорили ее с нами, муж и жена; жена никуда не годится, а муж... (*шепотом*) говорят, он пьет и имеет связи на стороне!.. Ах, я так плакала, так плакала о бедной тете! Особенно когда она умерла! Ну вот, пусть ваш брат свяжет все это вместе, как хочет, и напишет стихотворение!

Х р и с т и н а. Не зайдете ли вы в другой раз, завтра утром, например, чтобы с ним самим переговорить?

Д а м а. Подарить? О, конечно, я не прошу его подарить мне свое стихотворение! Я заплачу. Само собой разумеется. Ведь он этим живет! Но такому человеку нельзя же прямо предложить денег, так я позволю себе вручить ему билет на розыгрыш чепчика. Я устраиваю лотерею, и билет стоит далер. А если ваш брат выиграет чепчик — он из батиста с чудесной вышивкой, — то это будет уже целых восемь далеров. Итак, завтра, часов?..

Х р и с т и н а. ...В девять или попозже!

Д а м а. Я бы предпочла не выставлять под стихотворением полного своего имени, а только начальную букву и пять точек. Довольно и этого, — догадаются, что это я написала! До свидания! (*Кланяется и уходит*).

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Христина, Вендель, потом г-жа И е с п е р с е н.

В е н д е л ь. Недурна! И много к вам ходит таких? Она в моем вкусе: я люблю оригиналов. А правду, верно, говорит поговорка, что оригиналы сами стучатся в дверь поэта! Этой барыне непременно надо услужить стихотворением, непременно! Хоть бы мне самому пришлось потряхнуть стариной!.. Да, я давно уже раззнакомился с музой.

Х р и с т и н а. А это грех, у вас, по-моему, был талант. Но вы всегда чересчур скромничали. (*Входит г-жа Иесперсон.*) А вот и жена моего брата. Иоганна! Знаешь, кто это? Подумай! Это друг Филиппа, доктор Вендель, которого мы считали умершим! Он вернулся вчера из Бразилии.

Г-жа И е с п е р с е н. Мы видимся с вами в первый раз, но я так много слышала о вас!.. Как обрадуется мой муж!.. Вы, вероятно, слышали уже об успехе его новой пьесы? Теперь только и разговоров что о ней.

В е н д е л ь. Слышал, слышал и с радостью готовлюсь разделить общий восторг. Дело идет о?..

Г-жа И е с п е р с е н. ...О «Любви»! Старая и вечно новая тема! Муж так и назвал эту вещь — «Любовь». Знаете, слушая ее, я много раз говорила самой себе: что за муж у тебя! как он все это прочувствовал и сумел выразить! Но газеты, конечно, опять будут бранить его — они всегда бранят его, когда он выступает в качестве поэта, и, напротив, хвалят как критика.

Х р и с т и н а. По их мнению, он умеет читать и понимать чужие произведения, а сам писать не смыслит!

Г-жа И е с п е р с е н. Христина!.. Эту вещь, однако, все хвалят и говорят, что поэтическое дарование моего мужа, которое до сих пор отрицали, выказалось, наконец, в полном блеске! Впрочем, вы сами убедитесь в этом! Знаете что, доктор? Вы — друг мужа... наш друг...

Останьтесь у нас, позавтракайте, стол уже накрыт, а после завтрака я проведу вас в кабинет мужа... Там есть качалка и вообще довольно уютно... Рукопись на столе, прочтите сколько успеете. Муж будет тронут: умерший друг — жив, вчера только из Америки и — уже знает его новую вещь!.. Вы, верно, смеетесь надо мной?

Вендель. Смеюсь? Да ваше предложение чудесно! Только от завтрака я откажусь.

Христина. Опять не могу не вспомнить комедию Хольберга! И вас сейчас поведут за ширмы любоваться новорожденным!

Г-жа Иесперсен. Христина!.. Да, впрочем, вы ведь старинные знакомые! Она все такая же!

Христина. Не бойся! Доктор наверное придет в восторг от нашего детища — он от всего здесь приходит в восторг, даже от уличных мальчишек и водокачалки!

Г-жа Иесперсен. Вполне вам сочувствую! Да, Христина смеется, а я... тоже нахожу все чудесным в нашей милой маленькой Дании! Ну, видели ли вы во время ваших странствий что-нибудь лучше нашего букового леса?

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и канатчик.

Канатчик. Позвольте узнать, не тут ли живет писатель?

Г-жа Иесперсен. Да, это мой муж.

Канатчик. Мне бы надо узнать, не купит ли он комедию?

Христина. Что такое?

Канатчик. Не купит ли он у меня комедию?

Христина. Книгу, что ли, вы хотите продать?

Канатчик. Нет, это я сам написал! Не я один то есть... а жена с барышней, жиличкой нашей, помогали. Нам бы хотелось продать ее, ну, я и подумал, что вернее всего будет пойти к таким людям, которые знают дорожку в театр... Что ж, и на моей комедии можно заработать денежки!

Г-жа Иесперсен. Как это вам пришло в голову?

Христина. Кто вас послал сюда?

Канатчик. А машинист один знакомый. Понятно, он велел мне идти к самому, а не к барыням. Пусть бы ваш муж купил мою комедию, а потом, глядишь, и сам бы заработал на ней!

Вендель. Как называется ваша пьеса?

Канатчик (*вынимает рукопись*). «Ух»! Надо бы было назвать ее «Тьфу», но жене и барышне это не понравилось, я и назвал: «Ух».

И мы не выдумали тут ни капли, это все истинная правда! Это мы про одно наше знакомое семейство написали... Только имена переменили — зачем, думаю, зря подымать людей на смех! А презабавная штука!

Х р и с т и н а. Это небольшая вещица, кажется. Больше получаса не займет...

К а н а т ч и к. Получаса? Нет, сударыня, и на целый вечер хватит! Я ведь читал ее два воскресенья кряду, и оба раза весь вечер ушел. Понятно, что между прочим мы тут и выпили, и закусили, и потолковали о том о сем!

Г-жа И е с п е р с е н. Муж мой вряд ли купит у вас комедию.

Х р и с т и н а. Он сам их пишет!

Г-жа И е с п е р с е н. Вообще не водится покупать чужих комедий! Если же вы непременно хотите видеть мужа, то можете застать его завтра около девяти — одиннадцати часов утра.

К а н а т ч и к. Только вы, пожалуйста, скажите ему обо мне. Я канатчик, только вот все еще не могу завести своей собственной мастерской. А комедия моя хоть тем хороша, что в ней все правда!

Г-жа И е с п е р с е н. Так около девяти — одиннадцати утра. (*Отворяет ему дверь.*)

К а н а т ч и к. А если он купит ее у меня, так пусть отпечатает на красной афишке, оно виднее будет! (*Уходит.*)

Г-жа И е с п е р с е н. Вот оригинал! Но пусть себе придет завтра! Он может пригодится мужу. А теперь, господин доктор, позвольте проводить вас в кабинет... (*Останавливается при виде входящего барона.*)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Вендель, Христина, г-жа Иесперсен и барон.

Б а р о н. Мой нижайший поклон и поздравления по поводу первой пьесы вашего мужа! Она бесподобна! Он замечательный лирик!

Г-жа И е с п е р с е н. Мерси! Позвольте вас познакомить с другом юности моего мужа. Доктор Вендель из Бразилии — барон Банке.

Б а р о н. Очень рад познакомиться! А вы видели эту прелестную вещь: «Любовь»? Есть английский роман того же названия, «Love», но то, конечно, совсем в другом роде. Господин Иесперсен дал нам вещь в чисто шиллеровском вкусе, à la «Kabale und Liebe». Эта великолепная процессия там... и звездное небо!.. Magnifique! Такой лиризм... такая поэзия! Весь corps diplomatique пойдет на эту пьесу. Я уже рассказывал о ней. Только бы принца играли получше. Право, эти господа как будто никогда не видели настоящих придворных!

Х р и с т и н а. Мало видеть — надо понять и схватить тип!

Б а р о н. Разумеется!

В е н д е л ь. Насколько я могу заключить из всего слышанного мною, новая пьеса является драгоценным вкладом в нашу литературу?

Б а р о н. В нашу литературу! Ах! Стыдно сказать, но у нас нет литературы! Мы, высшие классы, читаем только по-английски и по-французски; по-датски — никогда! Не за что взяться! У нас есть кое-какие рассказы, стихи, но разве это литература? Наша литература — нуль! Да, я имею мужество высказать это. Но вот теперь положено начало!.. Любовь — упорядочила хаос, «Любовь» положила начало созданию нашей литературы. Эта пьеса превосходна, superbe! Совершенно à la Corneille, à la Victor Hugo!

В е н д е л ь. Я совсем не знаком с новейшей датской литературой, так же, как и с иностранной, впрочем. Во время моего долголетнего пребывания в Бразилии приходилось искать поэзию не в книгах, а в самой природе.

Б а р о н. Должно быть, в высшей степени поэтическая страна, живописная! Я читал о ней одно превосходное сочинение...

В е н д е л ь. Природа там изумительно величава и богата. Но я принадлежу к детям нашего века, не довольствуюсь одной природой, скучаю о культуре, а она — в Европе!

Б а р о н. Культура! Наша культура выражается свободой и развязностью слова, низвержением высших классов общества, подведением всего под один общий уровень! Вы еще не знали этого? Скоро узнаете! У нас впереди всего журналисты, и все, что во времена Louis XIV стояло по правую руку трона, должно теперь лежать в грязи! Они только и кричат о дворянстве и против дворянства, а последний мещанинишка в наше время не уступит в гордости любому дворянину! Чернь ныне во всем подражает знати, но об этом молчат!

В е н д е л ь (*тихо Христине*). Он тоже придет завтра около девяти — одиннадцати часов утра?

Б а р о н. Да стоит говорить вообще! Вы не узнаете Дании! Теперь на первом плане — чернь! Счастлив, кто родился сыном сапожника! Народ судит и рядит, у народа завелись свои симпатии!.. И все это зло от газет. Не стоит, впрочем, и горячиться!.. Господин доктор, сударыня, charmante mademoiselle, честь имею...

Г-жа И е с п е р с е н. Куда же вы спешите? Стол накрыт, сделайте честь нашему скромному завтраку.

Б а р о н. Помилуйте, у вас всегда такой изысканный стол! Отдавая честь завтраку, я отдам честь хозяйке! (*Идет в столовую.*)

Г-жа И е с п е р с е н (*Венделю*). А вы так и не хотите?

В е н д е л ь. Если позволите, я лучше поспешу насладиться поэтическим произведением, прославившим моего друга!

Г-жа И е с п е р с е н (*проводя его до кабинета*). Кабинет не велик, но довольно уютен. (*Уходит в столовую.*)

Х р и с т и н а (одна). Вот уж не думала, не гадала-то! Вендель жив, вернулся и... первым долгом явился к нам! По крайней мере так он сам сказал. Вдовец и старая дева! Как время-то бежит! А, звонят!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Христина и Миндель входит из передней.

Х р и с т и н а. А, господин Миндель! Господи, что за жилет на вас! Вы всегда просто сияете!

М и н д е л ь. Украшаешь лучшее, что имеешь, а сердце — мое лучшее достояние. Поэт наш дома? Нет? А уважаемая — да ведь нельзя сказать «поэтесса»! Вот единственный случай, когда жена не разделяет титула мужа!

Х р и с т и н а. Брат, вероятно, скоро вернется. А пока не угодно ли закусить? В столовой — завтрак и... барон Банке!

М и н д е л ь. Завтрак манит, барон пугает! Он — осел! Опять заведет свои поэтические, эстетические разговоры, а я сыт по горло еще со вчерашнего! Мы обедали вместе у его превосходительства, советника Лампе.

Х р и с т и н а. Ах, там, где — вы говорите — подают к обеду только жареных сверчков да тараканьи ножки!

М и н д е л ь. Да, стол у них прескверный! Я понять не могу, что у них за манера стряпать, и вкус и запах — все есть, а чем больше ешь, тем как будто меньше съел!

Х р и с т и н а. Зато — разговоры, музыка, поэзия!

М и н д е л ь. Да, они собирают у себя артистов всякого сорта и угощают ими гостей вместо настоящей еды: то читает свои стихи какой-нибудь поэт, то является художник со своей папкой... Брр! Постоянно изображать из себя знатока — слуга покорный!

Х р и с т и н а. Но у нас ведь почти то же!.. Вам приходится слушать стихи моего брата!

М и н д е л ь. О, это дело другое! У вас и кухня в прекрасной гармонии с искусством, и можно отдохнуть в разговоре с такой... приятной собеседницей! Ах, я совсем измучился на этой неделе — всюду обеды, обеды!

Х р и с т и н а. Значит, вчерашний пост у советника был кстати! Расскажите же, где вы были еще, — вы мастер смешить.

М и н д е л ь. Сейчас! Дайте только вспомнить... В понедельник... в понедельник...

Г-жа Иесперсен выходит из столовой и здоровается с Минделем.

Х р и с т и н а. Господин Миндель занимает меня, прохаживаясь насчет своих добрых знакомых!

Миндель. Зачем быть такой злой! Да, да, у вас уж от природы такой язычок, что ой-ой!

Христина. Ну, с природой ничего не поделаешь!

Миндель. Понедельник — это был день объедения. Я обедал у почтенного коммерсанта Мунка. Как едят эти люди! Иначе бы, впрочем, никто к ним и не заглянул. Сам он — человек невозможный, а жена — гусыня! А знаете? Дочка-то просватана! И теперь водит своего нареченного напоказ!

Г-жа Иесперсен. Просватана? За кого же?

Миндель. За секретаря Швевфеля. Совсем мальчишка, да еще глупый мальчишка!

Г-жа Иесперсен. Он ведь гораздо ниже ее ростом!

Миндель. От земли не видно! Тем удобнее таскать его за собою! Погодите, они еще и к вам явятся сегодня. Вот так парочка! Пивная бочка под руку с помадной баночкой!

Христина. Поговаривали, что и вы были не прочь от этой пивной бочки.

Миндель. Я? Никогда! Хоть бы она битком была набита червонцами! Так, значит, это было в понедельник. Во вторник я обедал у графа Швальбе. Он — добряк, как говорят, чтобы не сказать «нуль». Жена держит его под башмаком.

Христина. А что, она правда так умна, как говорят?

Миндель. Она — дрянь! Да, я называю вещи своими именами. И груба вдобавок! Страшно груба! Но грубость в шелковом платье, в аристократической сфере — это ведь так пикантно! Все боятся графини, ухаживают за ней, а она всех третирует, старая ведьма! В среду я был у капитана Свингдорфа. Он нынче стал либералом — ему ведь пришлось выйти в отставку не по доброй воле! Вообще за столом сидели одни либералы; поэтому пили за торжество скандинавской идеи. Как времена переменчивы! Каких-нибудь семь лет тому назад уличные мальчишки свистали вслед шведским санкам, а нынче распевают шведские национальные песни!.. Была там тоже пасторша Броман — эта ходячая проповедь морали. Только и знает нападать на людскую испорченность, а ее собственные сынки хуже всех. Отчаянные шалопаи и донжуаны!

Г-жа Иесперсен. Дрянные мальчишки! Я слышала об их подвигах! Наша домашняя швея...

Миндель. Ах, и она!

Г-жа Иесперсен. Бог с вами! Нет! Она честная девушка, но она рассказывала мне!..

Миндель. Я тоже мог бы рассказать вам о них скандалезнейшую историю, но ее неудобно рассказывать дамам. Я расскажу ее вашему мужу, а уж он пусть вам!

Г-жа И е с п е р с е н. Неужели я, по-вашему, заставляю своего мужа пересказывать мне скандальные истории!

М и н д е л ь. Но эта история бесподобна! Чисто в копенгагенском вкусе.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, Николина Мунк и Швеффель.

Н и к о л и н а. Позвольте представить вам моего нареченного. Ах, и вы здесь, господин Миндель!

М и н д е л ь. Мне везет сегодня! Куда ни пойду — встречу вас с женихом! А ведь вы знаете, как я ценю и уважаю вас и господина секретаря — моего друга, моего лучшего друга!

Г-жа И е с п е р с е н. Поздравляю тебя, Николина! И вас, господин Швеффель!

Х р и с т и н а. Так, значит, вы решились пройти жизненный путь рука об руку!

Н и к о л и н а. Я немножко выше его, но это не беда!

Х р и с т и н а. Конечно, лишь бы он достал до сердца!

Н и к о л и н а. О, он еще выше! Посмотрите! Стань-ка ко мне спиной, Адольф! Вот так! Да не конфузья! Я тут как своя, и ты должен держаться так же!

М и н д е л ь. Сударыня! Вы не прямо стоите, приседаете!

Н и к о л и н а. Станьте прямее — я вам дам на чай! Да и все равно, кто выше — муж или жена, лишь бы вообще они были пара, вот как мы! Сегодня мы только и делаем, что бегаем с визитами. Показываемся всем! И уж в шести местах побывали! Сегодня я показываю его, а вчера он возил меня к своим. Ах, первый визит в семью жениха — это ужасная вещь! Но он стал теперь такой остроумный, везде что-нибудь забавное скажет! Право!

Ш в е ф ф е л ь. О!

Н и к о л и н а. Ну вот, он опять что-нибудь придумал, я уж вижу! Ах ты!.. Кстати, позвольте вас поздравить с успехом новой пьесы. «Любовь»! В одном заглавии сколько поэзии!

Х р и с т и н а. Особенно для влюбленных!

Н и к о л и н а. Мы тоже были вчера в театре. Никогда еще я так не наслаждалась! А он все время смешил меня до упаду! Такой уж он!.. Ах, как ваш муж понимает любовь! Я непременно спишу всю эту чудную вещь в свой альбом, у меня там уж много прелестных вещей списано! Адольф, посмеши нас чем-нибудь, ты столько рассказывал вчера у советницы! Он умеет представлять ее походку!

Швеффель. О!

Николина. Ну, какой ты сегодня скучный! Мы собираемся заказать живописцу наш портрет, Адольф хочет, чтобы нас обоих написали вместе. Что ж, я не прочь — ведь уж мы теперь обручены. Но я никогда не выйду хорошо: у меня такое подвижное лицо, и художник, наверное, схватит самое гадкое выражение!

Швеффель. О!

Николина. Я говорю! Да, я уже начинаю забирать его в руки! Теперь мы собираемся пройтись по набережной — пусть уж поскорее все увидят нас вместе, тогда конец всем церемониям! А он чудесно держит под руку!

Г-жа Иесперсен. Ну, не спешите так! Господин Швеффель, может быть, закусит у нас?.. И ты тоже?.. Кофе выпьете?.. (Минделю.) И вы не откажитесь! Муж скоро вернется и будет так рад увидеть вас всех!

Николина. Некогда нам, вот что... (Швеффелю.) Да ведь ты голоден?

Швеффель. О!

Николина. Голоден, голоден! Сам говорил!..

Миндель. Позвольте, я ваш камер-юнкер и отворяю двери! (Отворяет дверь в столовую.)

Г-жа Иесперсен. Пойдем, дорогая Николина! И сними шляпу. (Все, кроме Христины, уходят.)

Христина (одна). Вот визитов-то! А мой доктор возится теперь с нашим новорожденным. Однако надо позаботиться о кофе! (Уходит в столовую.)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Иесперсен и редактор Момсен входят из передней.

Редактор. Да, Иесперсен, ты никогда еще так не писал! Я долго и горячо заступался за тебя, когда другие обижали тебя, — теперь могу и не стараться так. Теперь ты сам доказал им, что у тебя есть талант! Раньше, признаюсь, и я что-то не замечал его... Но теперь ты велик! Такая поэзия!

Иесперсен. Момсен!

Редактор. Я говорю правду! Ты гений! Теперь ты можешь даже спокойно умереть хоть сейчас! И я буду гордиться тем, что знал тебя!

Иесперсен. Ты, кажется, взял с собой корректуру рецензии?

Редактор (вынимает рецензию). Вот! Я составил ее по твоему наброску и упомянул о всех местах, на которые ты указал. Нельзя было

только привести все стихи целиком — это заняло бы слишком много места.

И е с п е р с е н. Надеюсь все-таки, что ты привел те — о зарождении любви?

Р е д а к т о р. Еще бы! Это ведь лучше всего. И о невинности девушки — тоже. Мои дамы совсем без ума от них. Жена сказала даже: «Не понимаю, как может мужчина так войти в положение женщины!» Так вот рецензия! (*Читает вслух.*) «Несмотря на ускоренную, почти лихорадочную пульсацию нашей политической и общественной жизни, не остаются забытыми и изящные искусства, особенно поэзия. Но, приветствуя иной раз какое-нибудь выдающееся по силе и красоте поэтическое произведение талантливого писателя, мы не можем все-таки не вздохнуть втайне и не подумать о том, что бы мог сделать такой талант, если бы посвятил свои силы на служение общественным и политическим интересам страны. Одним из таких талантов является наш известный поэт Иесперсен, и о его-то последнем прекрасном поэтическом произведении мы и поведем сейчас речь».

И е с п е р с е н. Превосходно написано!

Р е д а к т о р. Хочешь сам прочесть? Дальше идет пересказ содержания и указание выдающихся мест, словом, все, как ты сам написал.

И е с п е р с е н. Да ты ведь попросил меня!.. Но я предоставил тебе выкинуть все, с чем бы ты оказался несогласным.

Р е д а к т о р. Я и выкинул, например, то место, где ты говоришь о своих прежних произведениях и об их оригинальности.

И е с п е р с е н. Но, дружище! Как же это можно! Ведь там я как раз объяснил, истолковал значение всей моей поэтической деятельности! Это непременно надо восстановить!

Р е д а к т о р. Ну, если надо!

И е с п е р с е н (*пробегаая рецензию*). А вообще премило и совершенно верно... Особенно вот это — о моей скромности. Но не следовало бы так подчеркивать, что это первое мое истинно поэтическое произведение!.. Такая маленькая вещица!..

Р е д а к т о р. Это — твой шедевр! Теперь только ты занял прочное положение на Парнасе! Дальше все слово в слово по твоему наброску.

И е с п е р с е н. Но насчет этого — молчок! Могут ведь перетолковать это в дурную сторону!

Р е д а к т о р. Да кто же знает и понимает произведение лучше самого автора? Кто слышит о нем больше разговоров, споров, различных суждений, чем он? И что ж, если бы даже ты написал сам и всю рецензию, что ж тут дурного? Разве великий Вальтер Скотт не писал сам критики на свои романы и не помогал этим их успеху? Я, как редактор, знаю, как пишутся и составляются большинство критических статей. Почти у всякого писателя найдутся и свои интимные друзья, и свои интимные

недруги. Они-то и пишут!.. Да! Чуть не забыл. Поэт Расмуссен в восторге от твоей пьесы и хочет писать о ней!

И е с п е р с е н. Только бы он не подписывался под статьей — его ведь куда как мало ценят как критика.

Р е д а к т о р. Если и не подпишется, толку мало! Выболтает! Где ему молчать!

И е с п е р с е н. Пусть бы он лучше посвятил мне стихотворение! Разумеется, прочувствованное! А ты бы напечатал его, — конечно, если оно будет удачно! Но я хочу еще раз пробежать рецензию, а ты пока пройди закусить!

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Т е ж е, художник Г е р ц м а н и композитор С е р е н с е н, изящной наружности и элегантно одетый.

Г е р ц м а н. Привет вам! Теперь мы знаем, что такое любовь, — мы видели твою пьесу! Вот так стихи! В лайковых перчатках, а жгутся! — Позволь тебе представить сего юного льва, рожденного в Дании, а гриву отрастившего за границей, композитора Серенсена! Он мигом положит все твои сокровеннейшие думы на четыре тромбона!

С е р е н с е н. Очень счастлив и рад познакомиться с высокоталантливым поэтом. Eugene Sue дал нам «Mystères de Paris» во всем их ужасе, а вы дали «Mystères d'amour» во всей их благородной прелести!

И е с п е р с е н. Спасибо, Герцман, за такое знакомство! Господин Серенсен, позвольте отрекомендовать вам нашего достойного друга, редактора и издателя «Духа Времени» Момсена!

Р е д а к т о р. Вы не привезли с собой чего-нибудь новенького? Или не пишете ли чего-нибудь? А то бы я кстати упомянул об этом в заметке о вашем приезде.

Г е р ц м а н. У него полный чемодан! Ну говори же, теперь ведь начинается твое бессмертие!.. «Потоп» — самое крупное его произведение.

С е р е н с е н. Да, это большая музыкальная картина. Начинается звуками плясовых мотивов, переходящих затем, если можно так выразиться, в неприличные завывания, что выражает всеобщее растление нравов, испорченность века. Потом слышится как будто шум падающего дождя, бушеванье волн... Потом молитва Ноя... Животные идут в ковчег: львы рыкают, бараны блеют...

Г е р ц м а н. На каких инструментах блеют?

С е р е н с е н. На фаготах! Очень натурально выходит! Затем опять удары волн, ковчег плывет... Потом *riano*, *rianissimo*... прилетает голубь, и показывается радуга...

Редактор. Гениально! Я попрошу вас дать мне этаким маленький набросок... насчет всего этого.

Серенсен. Охотно. Оканчивается же все торжественным маршем.

Герцман. Да, в этом молодце есть-таки кое-что! В тебе тоже, Иесперсен! Знаешь, я начал набрасывать одну вещицу... именно на тему твоей последней пьесы. Это будет гравюра, пусть Момсен выпустит ее в свет.

Иесперсен. Что же это за вещица?

Герцман. Видишь, посередине — твои чертовски прелестные стихи «в груди моей пламя горит», кругом — рамка или венок, назови как хочешь, из терна, репейника и роз, а между цветами и листьями проглядывает «любовь» всех родов и видов, от кота на крыше до Ромео у балкона! Амур является во всех видах и одеяниях — и трубочистом, и звездоносным вельможей!

Иесперсен. Знаешь, у тебя больше таланта, чем даже ты сам думаешь.

Герцман. Ну, не скажи!

Иесперсен. Да, наша маленькая страна богата выдающимися людьми!

Редактор. Вот даже тут, в этой комнате, их целых трое!

Иесперсен. Скажи — четверо, Момсен! Ты с честью занимаешь свой пост! Да, отрадно видеть, что культура и искусство не перестают приносить такие прекрасные плоды, несмотря на плохие времена. Вы все, конечно, закусите у нас? А затем, надеюсь, останетесь и обедать? Я приглашаю вас без дальнейших церемоний, хотя и знаю, что жене придется извиняться за блюда! Вот столовая! Я сейчас же приду! Мне только нужно просмотреть одну статью. Пожалуйста! *(Отворяет дверь в столовую; редактор, художник и композитор уходят. Иесперсен один.)* Пойду в кабинет и прочту еще раз рецензию. *(Идет к дверям кабинета, но вдруг отшатывается.)*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Иесперсен. Вендель с рукописью в руках выходит из кабинета.

Иесперсен. Господи помилуй!..

Вендель. Иесперсен! Да ведь это моя старая пьеса!

Иесперсен *(отворачиваясь и отмахиваясь рукой)*. Исчезни!

Вендель. Я сразу узнал ее!

Иесперсен *(по-прежнему)*. Да, да! Исчезни!

Вендель *(обнимает его)*. Что же, ты принимаешь меня за привидение? *(Смеется.)* Я живехонек! Разве жена твоя не сказала тебе, что я тут?

Иесперсен. Вендель! Ты жив! Вернулся!

Вендель. И сейчас же поспешил к тебе и даже успел прочесть твоё новое произведение. Жена твоя непременно хотела, чтобы я познакомился с ним, — а я давно уж знаю его! Ведь это моя старая драма, которую я написал ещё в те давно минувшие дни!.. Я излил в неё всю мою любовь к твоей сестре!.. И оказывается, я недурно написал!

Иесперсен. Тс! Ради Бога тише! Вендель! Славный мой... дорогой. Ты жив, вернулся! Как я рад... Я буду с тобой откровенен! Ты любил мою сестру... мой покойный отец был против тебя... а я всегда был твоим другом. Ты был несчастлив...

Вендель. ...И излил всю свою несчастную любовь в этой драме «Новый Ромео».

Иесперсен. Ты дал мне её... Не велел никому показывать... Я сдержал слово! Она все лежала в моем письменном столе... Ты уехал... Ты умер!.. Да, ты умер! И я прочел твоё произведение... со слезами, с искренним волнением! Вендель, оно было слишком хорошо, чтобы лежать так... без пользы. Я и выпустил его в свет.

Вендель. И отлично! А так как ты дал мне слово никогда не называть моего имени, то и выставил своё.

Иесперсен. Да, Вендель, так, так! Что ты намерен теперь делать?

Вендель. Повидаться с друзьями, пожать тебе руку и пустить в дело мои обе, когда увижу твоё произведение на сцене.

Иесперсен. Вендель! Ты благородный, великодушный человек! Ты ещё любишь сестру? Я сделаю всё!

Вендель. Спасибо, дружище! Но тут твоя помощь излишня. Я попытаюсь сам!.. Бедному кандидату не удалось, — может быть, удастся зрелому мужчине! Моя маленькая драма порадовала тебя успехом, и отлично; я не дух, который является с того света, чтобы потребовать её обратно! Она твоя. Я не знаю её и знать не хочу. Но я не могу не смеяться, когда вспомню о словах твоей сестры: она назвала сегодняшний день днем торжественных поздравлений с новорожденным первенцем, и вдруг — ты не отец своего ребенка!

Иесперсен. Тс.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же, г-жа Иесперсен, Христина и все гости выходят из столовой с бокалами в руках.

Все. За здоровье автора! Ура!

Г-жа Иесперсен. Что ж ты не благодаришь, милый.

Иесперсен (спохватясь). Благодарю! Благодарю!

Редактор. Я повторю, что сейчас сказал: все, что ты писал прежде — нуль! Это твое первое истинно талантливое произведение!

Иесперсен (бормочет). Благодарю, Момсен, благодарю!

Вендель (Христине). Чокнемся за здоровье автора?

Христина. Чокнемся!

Вендель. За успех «Любви»!

Христина }
Вендель } (вместе). Ура!

Г-жа Иесперсен. Господи, что ты должен чувствовать теперь, муженек! Как, должно быть, приятно сознавать себя таким поэтом, как ты!

Иесперсен. Да, уж именно!

ЗАНАВЕС





ДОРОЖЕ ЖЕМЧУГА И ЗЛАТА¹

Фантастическая комедия
в четырех действиях

Сюжет заимствован из «Der Diamant des Geisterkönigs» Раймунда и «Тысячи и одной ночи».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Царь духов.

Памфилий, первый его камердинер.

Зефис, знаменитый фокусник, принятый по смерти в царство духов.

Элимар, сын его.

Генрик, слуга Элимара.

Грета, служанка Элимара.

Червонный король, царствующий в стране Истины.

Червонная дама, его дочь.

Червонный валет, придворный.

Анна, англичанка.

Сип	}	две феи.
Сиппернип		

Дух огня.

Первый тролль.

Второй тролль.

Две кошмарихи.

Домовой.

Зима.

Лето.

¹ Написана для народного театра в Копенгагене «Казино», на сцене которого и пользовалась огромным успехом. — Примеч. перев.

Осень.

Весна.

Господин.

Дама.

Лесоторговец.

Сын его.

Первый вельможа.

Второй вельможа.

Пианист Мас.

Художник.

Ее милость.

Кормилица.

Ученый.

Первая девица.

Вторая девица.

Третья девица.

Четвертая девица.

В царстве Обезьян

В стране Истины

Феи, тролли и другие духи, жители страны Истины и царства Обезьян.

Действие происходит то во дворце Царя духов, то в доме Зефиса,
то в стране Истины, то в царстве Обезьян.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Передняя во дворце Царя духов. Пол, потолок и стены из облаков. Кругом, по стенам, сидят духи, феи и тролли; все с прошениями в руках. Ближе к входной двери сидит на красноватом облаке Дух огня, весь в красном, с красным лицом и руками.

Фея Сип. Это из рук вон! Просто неприлично заставлять нас ждать так долго! Мы ведь не служанки какие-нибудь!

Все. Стыд, срам!

Первый тролль. Ну можно ль, спрошу я вас, быть царем духов и спать так долго.

Второй тролль. А я спрошу вас: можно ль быть таким умным троллем, как вы, троллем первого класса, с действительным хвостом, и говорить так неразумно? Он — Царь духов, он должен бодрствовать за всех — стало быть, и спать должен за всех!

Первый тролль. Он обязан принять нас и выслушать! Да будь мы людьми, нас бы давно приняли. Он жалует только смертных!

Второй тролль. Что правда, то правда!

Фея Сип. Не будь у людей этой привычки умирать, им, право, жилось бы лучше нашего.

Фея Сиппернип. Да так оно и есть! Ведь вчера еще он принял в царство духов человека, убитого молнией!

Фея Сип. И какого человека-то! Фокусника Зефиса!.. Того самого, что сколотил себе своими фокусническими поездками такие капиталы! Дело не обошлось, конечно, без помощи Царя духов! Я-то знаю, какие выдавались Зефису суммы из благотворительных фондов!..

Фея Сиппернип. А умер-то он как! Убит молнией! Это в ноябре-то месяце?.. Все это подтасовано, чтобы взять его сюда к нам и дать ему влиятельную должность! У! Меня просто коробит от злости!

Первый тролль. Меня тоже коробит!

Все (с досадой). И меня, и меня коробит!

Дух огня (вскакивая с места). Пшют-пфу! Это уж чересчур! Я — дух огня, обер-фейерверкер и канонир Царя духов, спрашиваю, кто смеет сказать, что за последний год в заоблачный дворец Царя духов проник хоть один смертный? Что же касается маленького земного дворца — надо же ему иметь, где остановиться и на земле! — так разве мне не отпущена была из фонда общественной пользы сумма на поездку в Неаполь, на Везувий, чтобы изучить устройство кратера и затем построить по образцу его дворец для Царя духов? И разве мне не удалось это? Пшют-пфу!

Ф е я С и п. А зачем понадобился такой дворец? Не для того разве, чтобы мы, духи, пореже докучали Царю духов на земле, где он всегда в хорошем расположении духа? Невелика ведь, я думаю, сласть — пролетать к нему через кратер, как ведьмам через трубу!

Д у х о г н я. Нет! Пламя меня побери! Дворец этот построен только для того, чтобы отвадить лезть к Царю духов людей! А то они учатся здесь разным фокусам да вечно канючат о пособиях!

В т о р о й т р о л л ь. Правда! Правда!

П е р в ы й т р о л л ь. Рассказывай дуракам!

Д у х о г н я. И рассказываю! А не верите — я поклянусь вам в том ракетой! Глядите! (*Пускает ракету.*)

В с е да м ы. Ай, батюшки!

Ф е я С и п п е р н и п. Да вы нам в платья искру зароните!

В т о р о й т р о л л ь. Весь дворец сожжете!

В с е. Гоните его в шею! Вон его!

Д у х о г н я. Меня! Духа огня!

П е р в ы й т р о л л ь. И не таких-то еще выгоняли!

Д у х о г н я. Ну-ка суньтесь! Забросаю ракетами — бенгальские огни из глаз брызнут!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Т е ж е и П а м ф и л и й.

П а м ф и л и й. Милостивые государи и государыни! Да вы драку тут затеяли?

П е р в ы й т р о л л ь (*выступая вперед*). А, добрейший и милейший господин Памфилий!

Да м ы. Душка Памфилий! (*Окружают его.*)

В т о р о й т р о л л ь. Дружище! (*Оттесняет других.*)

П а м ф и л и й. Я имею честь возвестить вам, что Царь духов скоро изволит пробудиться и еще скорей того встать и одеться!

П е р в ы й т р о л л ь. О, charmant.

С и п и С и п п е р н и п. Наш милый повелитель!

Д у х о г н я. Фальшивые подлизы!

П а м ф и л и й. А, это вы, господин обер-фейерверкер, шумите здесь?

Д у х о г н я. Синильная кислота и натрий! Они бранили Царя духов, лгали на него, бунт затевали!

В с е. Врет! Врет!

Д у х о г н я. Вру?

В с е. Бесстыдный клеветник!

П а м ф и л и й. Милостивые государыни и милостивые государи! Я знаю вас, уверен в вашей преданности, в вашем умении держать себя!.. вас, господин дух огня, я тоже знаю. Вам здесь не место! Умерьте ваш пыл! Или я велю окатить вас холодной водицей! А теперь удалитесь!

В с е. Удалитесь!

Д у х о г н я. Удалиться! Со мной поступают, как с какой-нибудь спичкой! Чиркают об стену и швыряют! Я буду жаловаться! Сера и аммиак! (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же без духа огня.

П а м ф и л и й. Не угодно ли теперь изложить мне ваши просьбы? Только не все разом! Ну-с?

П е р в ы й т р о л л ь. Бесценный господин Памфилий! Вам, конечно, известно, как нас затирают! Ведь не на нас, а на людей изливает Царь духов все свои милости! А они только злоупотребляют ими и платят ему неблагодарностью.

В т о р о й т р о л л ь. А уж если платить неблагодарностью, так кому же ближе, как не нам!

П е р в ы й т р о л л ь. Помолчите!

В т о р о й т р о л л ь. У меня тоже есть мнение! Я такой же дух и живу на собственные средства.

Ф е я С и п. Во всем виновата фея Бравалла. Она околдовала Царя духов своим чудным пением.

П а м ф и л и й. И это единственная и общая ваша жалоба? Отлично! Больше жаловаться вам не придется! Фея, разумеется, немножко чересчур покровительствовала людям, но зато она теперь и удалена от двора. Дело в том, что последние протеже ее все как на подбор оказывались людьми недостойными, вот царь в гневе и обратил прекрасную певицу в птицу Феникс да сослал в царство Обезьян. Она будет там кочевать в своей золотой клетке от одного вельможи к другому.

В с е. Возможно ли?

П а м ф и л и й. Засим Царь духов постановил такое решение — оно уже опубликовано, и вам нельзя не знать его: «Ни один смертный не дерзает приблизиться к дворцу Царя духов без входного билета — пера из хвоста птицы Феникс».

В т о р о й т р о л л ь. А трудно его добыть?

П а м ф и л и й. В высшей степени. Искатель должен отправиться в страну Обезьян, добиться там доступа в лучшее общество и потихоньку выдернуть перо из хвоста птицы. Беда, если его изловят на этом, —

он в тот же миг превратится в одного из ничтожнейших местных жителей!

В с е. Ужасно!

П а м ф и л и й. Надеюсь теперь, что Царь духов снял с себя всякие нарекания?

В с е. Ура!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Спальня. Царь духов лежит на постели из облаков и лучей. Возле постели, у изголовья, сидят верхом на облаках два маленьких гения и играют на скрипках; в ногах стоят двое других; один держит шлафрок, туфли и корону, другой умывальный таз и кувшин. Царь духов просыпается; музыка смолкает.

Царь духов (*сбрасывая с себя несколько облаков, зевает*). А-а!.. Который час?.. Забыл завести свои часы! Где Памфилий? (*Звонит*.) Памфилий! (*Гении исчезают*.)

П а м ф и л и й (*вбегает*). Мой Повелитель!

Царь духов. Где ты был? Куда девался? Почему не будил меня? И кто стлал мне постель вчера вечером?

П а м ф и л и й. Я, Повелитель!

Царь духов. Так в другой раз не бери мокрых облаков, выпари их сначала; я не желаю спать мокрым! Право, ты как будто нарочно выбрал дождевые!.. И что за шум был там в передней? Кто там?

П а м ф и л и й. Там целая толпа духов, фей и троллей первых классов, не считая ведьм и другой мелкой сошки.

Царь духов. А что им опять нужно?

П а м ф и л и й. Они хотели... Они жалуются...

Царь духов. Ах, надоели они мне! Я не расположен сегодня принять их. Принеси сюда челобитные.

П а м ф и л и й. Вот они — полон карман!

Царь духов. Давай сюда! Вечные жалобы, вечные просьбы! (*Просматривает одну из бумаг*.) Это что? Могильная свинья и трехногий конь, много лет скрывавшие свою помолвку, просят разрешения вступить в брак! Нельзя: они в близком родстве! (*Берет другую бумагу*.) Двенадцать знаков Зодиака перессорились! Стрелец выстрелил в глаз Козерогу, этот наскочил на Весы и сорвал одну чашку, Близнецы вмешались в ссору, и их чуть не растерзал Лев, пришлось спрятаться за Деву! Теперь все, кроме Рака — тот благоразумно ретировался, — порчены и требуют ремонта! Еще бы! Но ведь это расход! (*Берет третью бумагу*.) Это что? Экие неугомонные! Две старые бабы-кошмарихи опять добиваются прежней должности! Из ума выжили! Ввести



опять кошмары! В наш-то просвещенный век! Позови их обеих сюда! (*Памфилий уходит.*) Да, в духе времени было бы это, нечего сказать! Бедное человечество! Довольно давит его и действительная жизнь, чтобы давить его еще кошмарами! (*Стук в дверь.*) Войдите!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Царь духов, Памфилий и две кошмарихи, одетые амазонками.

Обе кошмарихи (*преклоняют колена*).

Царь духов. Вас уволили в отставку с полной пенсией! Чего же вам еще? По-датски вам говорят или нет? Или по-немецки с вами заговорить? *Soll ich deutsch sprechen?* Берегитесь, я лишу вас пенсии! Довольно! (*Мечет молнии.*)

Обе кошмарихи, плача, целуют подол его халата и с низкими реверансами отступают к дверям.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же без кошмарих.

Царь духов. Чуть не вспылil! Это вечное нытье!.. Остальные челобитчики могут прийти послезавтра или... через год! Позови ко мне Зефиса. Он что теперь делает?

Памфилий. Сидит на облаке и режется с Снежной королевой в дураки.

Царь духов. В дураки! И я игрывал когда-то в дураки, бродя по земле переодетым!.. (*Впадает в задумчивость.*) Сколько воспоминаний пробудило во мне это слово «дураки»! Позови Зефиса! (*Памфилий уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Царь духов один.

Царь духов. Я рад, что залучил Зефиса сюда. Познакомился я с ним двадцать лет тому назад в Африке. Я разъезжал тогда по берегам Нила на страусе, ночевал в шатрах бедуинов, но больше всего доставило мне удовольствие знакомство с Зефисом. Я, как сейчас, помню нашу первую встречу. Память у меня хорошая! Зефис уже третий год занимался тогда изучением египетской магии. Он сразу

полюбился мне, и, когда мы с ним прибыли в Вену, я купил ему там дом с садом и устроил магический кабинет. Там у него умерла жена, прекрасная женщина. Он был огорчен ее смертью, плакал и стонал, и я, чтобы утешить его чем-нибудь, пообещал взять его после смерти к себе, в свое царство. Вчера его убило молнией в Копенгагене, я узнал об этом и тотчас же отрядил на место происшествия своих духов, повелев им доставить его сюда... Пусть он войдет ко мне! Эй, Памфилий! (Озирается.) Никто не слышит!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Царь духов и Зефис.

Зефис (в широком балахоне, украшенном магическими знаками). Повелитель духов! Как мне благодарить тебя!

Царь духов. Не стоит! Я рад видеть тебя! Что скажешь о нашем царстве? Ведь хорошо здесь? Воздух свежий!..

Зефис. О, Повелитель, я счастлив!.. Но... несмотря на все свое счастье, на весь этот блеск и роскошь... я страдаю бесконечно!

Царь духов. Страдаешь?

Зефис. Да, Повелитель! Ты знаешь сам, как ты обогатил меня, какими сокровищами владел я на земле!..

Царь духов. Ну да! Наследники не станут поминать тебя лихом!

Зефис. Я возвел для своих сокровищ обширное сводчатое здание, а ты снабдил его неоценимым качеством — необыкновенной эластичностью, так что я мог упрятать его в скорлупу кокосового ореха и возить за собою во время своих путешествий. Наконец, я прибыл в Копенгаген, и мне полюбилось местечко на Западном мосту...

Царь духов. Ну да, и ты купил там дом и зарыл в землю свой кокосовый орех, свою передвижную Алладинову пещеру!..

Зефис. Так, Повелитель. Мои сокровища остались там. Я запер подвал магическим словом, и ни один смертный не может открыть его. Да никто и не подозревает об этих сокровищах!

Царь духов. Ну, а коли не подозревают, так и плакать о них не станут, а тебе здесь сокровища тоже не нужны.

Зефис. Но у меня остался на земле сын! Остался беспомощным сиротою!

Царь духов. Разве у тебя есть сын?

Зефис. Повелитель не помнит малютку Элимара?

Царь духов. Ах, да! Верно! Теперь помню! Хорошенький был мальчик и умный, как и все дети своих родителей.

Зефис. Смерть разлучила меня с ним неожиданно; я не успел сделать ни завещания, ни высказать моему сыну свою последнюю волю!.. Повелитель, пошли к нему кого-нибудь из духов! И пусть посланный откроет ему тайну сокровищ. Дозволь также, Повелитель, — я знаю, это смелая просьба! — дозволь моему сыну явиться перед твои ясные очи! От этого зависит все счастье его жизни.

Царь духов. Я готов сделать для тебя и для него все, что только могу. Сын твой узнает о сокровищах и обретет их, но явиться ко мне он может не иначе, как исполнив условие, требуемое моим рескриптом от шестого сего июня. Он должен принести с собою перо из хвоста птицы Феникс, а его добыть нелегко!

Зефис. Мой сын не отступит ни перед чем, чтобы получить доступ к тебе!

Царь духов. Это уж его дело!

Зефис. Спаси же его от нужды и отчаяния!

Царь духов. То-то вот все вы, богачи! Не учите своих детей трудиться! Ну вот, остается такой оболтус сиротой, да еще внезапно лишается почему-нибудь всего богатства, и помогай ему высшие силы!.. Памфилий!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и Памфилий.

Царь духов. Пошли сейчас же кого-нибудь из добрых духов к сыну Зефиса; пусть сообщит ему то, что надо.

Памфилий. Повелитель, сейчас все...

Царь духов. Понимаю! Все заняты. Но мне до этого нет дела. Устройтесь там, как знаете! Allez! *(Памфилий уходит.)*

Зефис. Повелитель, как мне благодарить тебя!

Царь духов. Поменьше говорить об этом! Памфилий! *(Памфилий входит.)* Какое число у нас сегодня?

Памфилий. Двадцать седьмое ноября.

Царь духов. Что?! Вот так история! Никогда бы не подумал! Ноябрь месяц и — гроза в Копенгагене! Скорее бы следовало выпасть снегу!

Памфилий. Да, Повелитель, люди и то уж жалуются, что зима чересчур тепла, а лето холодно!

Царь духов. За что же я плачу временам года жалованье? За то, чтобы производить беспорядок? Так это я и без них бы сумел! Памфилий! Вызови сюда Зиму! *(Памфилий быстро исчезает.)* Эй, назад! *(Памфилий возвращается.)* Пусть и другие времена года придут! Все четверо! Живо! Беги!

П а м ф и л и й. Ну, и убегаюсь же я сегодня! (*Исчезает.*)

Ц а р ь д у х о в. Преданный и дельный слуга! И давно служит у меня — в Мартынов день минет две тысячи лет. А вот и времена года!

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и четыре времени года. Зима — старик в длинной шубе, меховой шапке и с муфтой в руках, весь запорошенный снегом. Лето в коломнянковом пиджаке, в таких же брюках, в соломенной шляпе, украшенной венком из васильков, и с зонтиком. Осень — плотный, здоровый мужчина в коротенькой зеленой куртке и белом переднике, как у половых; шапочка обвита виноградными лозами, под мышкой бочонок, а в руках гроздья винограда. Весна — молоденькая цветочница в шляпе, украшенной фиалками; в руках корзина цветов.

Ц а р ь д у х о в. Приблизьтесь, бездельники! Что я слышу о вас? Так разве ведут себя порядочные времена года? Чем, например, заняты вы, господин Зима? И вам не стыдно? Ну, прилично ли такому дряхлому, высохшему старцу обнаруживать такую пылкость — метать молнии? И откуда он взял их? Я не давал ему! Ну, говори же, оправдывайся!

З и м а (*густым басом*). Повелитель! Я тут ни при чем! Это все Лето. Только и думает, как бы насолить мне!

Ц а р ь д у х о в. Лету незачем соваться туда, где его не спрашивают! (*Кивая головой Лету.*) Ты что это? Суешься не в свое дело, а своими прямыми обязанностями пренебрегаешь? Пить, что ли, начал? Вечно на-веселе!

О с е н ь. Дозвольте молвить слово мне, Повелитель! Лето ни в чем не виновато! Это все Зима! Этот старик не дает ему покоя, в самое лучшее его время накидывает на него снежный ковер, окутывает туманом, так что у бедняги зуб на зуб не попадает! Ну, конечно, и Лету в долгу остаться не хочется, оно и устроило грозу зимою!

Л е т о. Все это истинная правда! Осень — мой единственный друг! Только у него я и прихожу в себя! Да, у меня горячее сердце и намерения у меня самые лучшие, но на это, как видно, не смотрят!

Ц а р ь д у х о в. Довольно! Слушать вас больше не хочу! Но вот вам мой сказ: ведайтесь между собой, как знаете, только чтобы все было тихо, смирно. Пожалуй, еще испортите мне мою любимицу Весну! (*Треплет ее по щечке и дает ей золотой.*) На, вот тебе на гостинцы, крошка!

В е с н а. О, Ваша Строгость, позвольте облобызать вашу руку! Я всегда буду паинькой!

Ц а р ь д у х о в. А теперь марш! Да помните мой наказ! Если до меня дойдет еще хоть одна жалоба на вас, я знаю, что сделаю! Особенно пусть держит ухо востро Лето! Лучше перепусти жару, чем холоду! Да чтобы не было продолжительных дождей, если даже слу-

чится дождь в день Семи Отроков¹. Зиме тоже советую глядеть в оба! Сегодня же посыпать Копенгаген снежком, а завтра подморозить! Поняли? Марш! (*Времена года уходят.*) И обо всем этом нужно помнить и заботиться мне!.. Ну, теперь ступай, дорогой мой Зефис! Я позабочусь о твоём сыне! Сделаю его счастливым, насколько вообще может быть счастливым смертный. Я знаю твою идею насчет седьмой статуи. Очень хорошая идея!.. Это, собственно, моя идея! Но вот что скажу тебе: ты не имеешь права помогать ему ни намеками, ни советами! Не то я поговорю с тобой! А теперь за завтрак. Сегодня у нас чудесный маринованный крокодил с альпийскими розами. (*Уходят при блеске молний и ударах грома.*)

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

В доме Зефиса. Просто обставленная комната.

Генрик (*один; поет на мотив: «Te volgio bene!»*).

Я — Генрик; прекрасное имя!
Сам Хольберг пустил его в ход.
Собой же я парень — картина —
Давно уж мне Грета поет.
Умом я тоже вышел,
А это не пустяк!
Любить могу трех разом,
Про это знает всяк!

Я вешать на квинту не стану
Свой нос ни за что, никогда!
Кому знать, скажите мне, нужно,
Что там у меня за беда!
Нет, весело пройду я
Весь жизненный свой путь.
Богат, хоть и бедняк я, —
Весельем дышит грудь!

Да, так-то так, да вот веселье-то мое пошло на убыль! А это скверно. Прошли наши красные деньки, не вернутся больше! Бедный мой молодой барин! Что-то с ним будет? Старик не оставил нам ни гроша, веселости у моего барины нет, одно образование, а с ним одним

¹ По датскому народному поверью, если в этот день идет дождь, то все лето будет дождливое. — *Примеч. перев.*

в наше время далеко не уйдешь! Что же он предпримет теперь? Надо будет мне подумать за него. (*Берет газету и читает.*) «Нужен заместитель — рекрут...» Ну, нет, это не подходит! Добро бы, нужен был заместитель какого-нибудь члена риксдага, — по крайней мере четыре далера суточных; все равно что годовое жалованье!.. Сегодня утром барин мой со слезами вручил мне последние пять далеров и велел искать себе другое место. Но я не оставляю его. Я читал чудесную историю об одном римском льве, который всюду ходил за своим господином Антоном Троплом. А если уж дикий зверь так ведет себя, мне не пристало уступать ему. Надо предпринять что-нибудь, и я уж придумал что! Счастье оказать нашему барину первую помощь я хочу предоставить нашей кухарке Грете, моей достойной невесте... Барин и ей отказал сегодня!.. Я решил стащить к закладчику ее бархатное пальто!

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Генрик и Грета.

Грета (*входит*). Ты что тут делаешь?.. Мое пальто!..

Генрик. Твое, твоё! Видишь, я хотел сделать тебе сюрприз: нам нужны деньги, так я решил снести его в заклад.

Грета. Отчего ж ты не несешь свое?

Генрик. Потому что люблю тебя!

Грета. И берешь мое прелестное пальто, которое теперь как раз время носить! Ну, будь это еще летом!

Генрик. Еще что, летом, когда в нем нет нужды! Нет, вот теперь-то именно и выкажется твоя доброта, твоё великодушие!

Грета. Нет, я еще с ума не сошла! Подавай мне его назад! Выдумал тоже!

Генрик. Разве мы с тобой не одно теперь? Разве мы не жених с невестой, не обручены?

Грета. Да, я сдуру-то согласилась! А могла бы сделать партию получше. Вышла бы за богатого мызника из Вальбю, так у меня были бы и коровы и овцы, а теперь что есть? Один ты!..

Генрик. «Кто недоволен малым, не стоит большего». Разве не я поставил тебя сюда, на это место? А здесь ты обзавелась и дружкой и нарядами! Будем же хорошими слугами, итак в наше время о прислуге пишут одно дурное!.. Ну, я думал, что ты добрее!.. (*Ласково.*) Ну же, Грета, Гречка!..

Грета. Барин идет!

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и Элимар.

Элимар. Что вы тут делаете? Оставьте меня одного!

Грета. Ай, как он плохо выглядит!

Генрик. Барин! Скушайте бифштекс! Не надо так падать духом! Кто же поддержит нас, если не мы сами?

Элимар. Спасибо! Только уйди!

Генрик. Бедный барин! С вами, пожалуй, еще дурно сделается, и вы никого не докличетесь!

Элимар. Ах, да уйди же, не мучь меня!

Генрик. Плох он, Грета! Ему не прожить ста лет! (Уходит с Гретой.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Элимар один.

Элимар. Теперь я остался один, один в полном смысле слова! Смерть отца разбила все мои надежды на счастье! Меня с детства окружали какие-то тайны и чудеса... Тело моего отца также исчезло непостижимым образом! Он часто намекал мне об этом еще раньше, но всегда как-то темно, неясно... Упоминал также и о каких-то сокровищах, которые я должен унаследовать, но опять-таки в темных выражениях. После его смерти, однако, ничего не нашли, даже клочка бумажки, из которого бы можно было узнать, где он хранил эти сокровища! Что же мне теперь предпринять?

Простите, светлые желанья,
Надежд и грез волшебных рой!
Один я! Нет души родной,
Удел мой — горе и страданья! (Вскакивает.)

Стучат. Войдите!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Элимар и домовой в красном колпаке высовывает голову из-под пола.

Домовой. Здравствуй!

Элимар. Кто ты?

Домовой. Домовой.

Элимар. Нечистая сила!

Домовой. Уж будто бы! Я просто домашний дух. Разве ты не читал обо мне в «Датских народных поверьях», изданных Рейцелем? (Как по книге.) «Домовой таскает воду и метет пол за служанок, чистит лошадей за конюхов, но также и наказывает небрежных и нерадивых слуг. Обыкновенное его одеяние — серый балахон и островерхий красный колпачок. До Михайлова же дня он ходит в круглой шляпе, как у крестьян». Аттестат, впрочем, не совсем верный, как видишь! Здравствуй! (Приподымает колпачок.)

Элимар. Я знаю тебя, северный эльф, веселый и шаловливый, как Пук в «Сне в летнюю ночь»! Ты отличаешься также верностью и преданностью своим хозяевам. Если они переезжают с квартиры, ты садишься на воз и переезжаешь вместе!

Домовой. Да, так делывал мой дедушка!

Элимар. Теперь во мне опять пробудились надежды — сверхъестественные силы протягивают мне руку помощи! И как не верить в чудеса в здешнем мире, где все — ряд чудес!

Домовой. Я явился к тебе с приятной вестью, но не могу сказать, кто меня послал. Я рад услужить тебе — меня всегда угощали здесь в доме славной кашей, а за хлеб, за соль надо платить добром, говаривали старые домовые.

Элимар. Какую же весть ты принес мне? Что ты хочешь сказать мне?

Домовой. Да вот то-то и есть! Все это еле-еле у меня в голове и в колпачке вмещается! Мне столько поручений надавали! Потому — мал золотник, да дорог!

Элимар. Да говори же!

Домовой. Я и то говорю! У меня с собой целый мешок орехов счастья. Знаешь ты, что это за орехи? В каждом какая-нибудь чудесная вещь, которая может пригодиться в минуту трудную. Видишь ли, тут, под полом, где я стою, есть лестница. Ты и не знал об этом! Ведет она в подвал. Ты и этого не знал! А в подвале-то несметные сокровища, которые оставил тебе отец. Вот зачем я и явился к тебе, словно крот из-под земли.

Элимар. Заря моего счастья занимается!

Домовой. Да, спустись со мной туда, так для тебя и солнце взойдет! Иди смело! Я друг твой!

Элимар. Я готов идти за тобою!

Домовой. Так следуй!

Элимар. Да, счастье ждет меня, я верю!

Домовой. С тобою я не лицемерю! (Спускается.)

Элимар (следуя за ним).

Я знаю, ты не демон злой,
Иду без страха за тобой!

Хор духов.

Отныне духов повелитель
Помощник твой и покровитель!
Достигнешь с помощью его
Всего, чем только жизнь богата.
Достигнешь также и того,
Что лучше жемчуга и злата!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Полутемное подземелье со сводами, изукрашенными позолотой; на первом плане две огромные порфировые вазы, наполненные золотыми монетами, жемчугом и драгоценными камнями. Затем стоят в ряд семь постаментов; на шести из них красуются статуи с надписями «луидоры», «соверены» и т. д. Седьмой постамент покрыт белым атласом, и на нем лежит свиток пергамента. Слышится тихая музыка.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Элимар и домовой спускаются по лестнице.

Домовой. Сюда!

Элимар. Не сон ли это? Что это, пещера Алладина? Что за блеск! Блестят и стены, и пол, и статуи! Жемчуг, золото!.. (Схватывает золотой.) Нет, я не во сне; это наяву! И все эти сокровища мои?

Домовой кивает головой.

Элимар. Голова кружится! (Читает надписи): Луидоры, соверены, цехины, жемчуг и золото!

Домовой. Да, вот так копилки! (Открывает один из постаментов.)

Элимар. А одной статуи недостает!.. Что это? Свиток! (Берет и разворачивает его.) Рука моего отца! (Читает.)

«Мой милый сын! Сокровищ этих груды —

И злато, и жемчуг, и изумруды,
И статуи тебе я эти завещал!

Шесть раз я от владыки духов получал

По статуе одной, к нему в обитель

Воздушную являясь. Покровитель

Он ныне также твой. Благоразумен будь

И в поиски за статуей седьмою в путь
Отправься! Все, чем жизнь богата,

Ничто пред ней! То — чудо из чудес,
То самый драгоценный дар небес,
Дороже жемчугов и злата!»

Д о м о в о й. Дороже жемчугов и злата!

Э л и м а р. Дороже! Какие же обрету я еще сокровища! И все это не сон, не мечта?

Д о м о в о й. Действительность!

Э л и м а р. Вчера я был нищий, сегодня я Крез!.. Но что это за седьмая статуя, дороже жемчуга и золота? И где искать ее?

Д о м о в о й. Это ведает лишь сам владыка духов!

Э л и м а р. Душу мою охватывает какое-то смутное желание! Я хочу найти эту статую! А как хороши и эти! Одна мраморная, другая золотая!..

Д о м о в о й. А эта, гляди, из цельного алмаза!

Э л и м а р. Но седьмая, которой недостает здесь, еще лучше, еще драгоценнее! «Дороже жемчугов и злата»! Ах, зачем я не могу сейчас повергнуться перед троном повелителя духов! Меня снедает не жажда золота, не алчность скряги, нет, более высокое чувство, стремление к чему-то высшему, лучшему! И неужели мне не поможет какой-нибудь добрый гений?

Д о м о в о й. Я!

Э л и м а р. Ты? Да, да, ты! Ты можешь и хочешь! Ты открыл мне это подземелье, указал мне все эти сокровища! Веди же меня к Царю духов!

Д о м о в о й. Не так-то это просто! Это длинная история! Вот она тут напечатана — читай! Это рескрипт от шестого сего июня. (*Сует ему бумагу.*)

Э л и м а р (*читает*). «Я, владыка духов, утомленный непрерывными докучными жалобами и просьбами недостойных смертных, сим объявляю, что с этих пор ни один смертный не дерзает являться в мой дворец без входного билета — пера из хвоста птицы Феникс, содержащейся в золотой клетке, в стране Обезьян». А где эта страна? Ты будешь моим путеводителем? Далеко она отсюда?

Д о м о в о й. И далеко, и близко, смотря по тому, как кому кажется. Ну да по железной дороге живо домчимся!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Г е н р и к, который спускается по лестнице. Затем Г р е т а.

Г е н р и к. Батюшки. Отцы родные! Да мы никак в музей Торвальдсена угодили! Грета! Иди сюда!

Г р е т а (*сверху*). Не темно ли там?

Генрик. Как на седьмом небе!

Элимар. Что тебе нужно? Зачем ты кричишь?

Генрик. Ах! Барин! *(Читает надписи.)* Дукаты, соверены... Ого-го! Да что это, мерещится мне, что ли?

Грета *(спускается)*. Что это?!

Элимар. Смирно! Эти сокровища достались мне в наследство от отца. Но пока об этом молчок! Я должен сначала совершить одну поездку. Я скоро вернусь, и тогда мы все заживем на славу!

Домовой. Сейчас я разобью один орех, и у нас будет железная дорога! *(Бросает орех об стену; стена раскрывается, и в отверстие виден бесконечный туннель, освещенный огоньками.)*

Грета. Ах! *(Падает в обморок.)*

Домовой. Вот и паровоз, вот и вагон! Возьми с собой Генрика! Я не могу быть и тут, и там. *(Из туннеля показывается паровоз и вагон.)*

Генрик. Ах, Господи! Грете дурно! Грета, Гречка!

Грета. Ох! Я еще не привыкла к колдовству! Это в первый раз ведь!

Элимар. Отправляйся наверх! Не бойся! Генрик поедет со мной! Тебе же я оставляю все ключи от дома. Я полагаюсь на твою верность!

Генрик. Больше, чем я! Ах, барин! Далеко ли поедет-то? Позвольте хоть попрощаться-то с ней хорошенько!

Домовой *(дает свисток)*. All right!

Элимар. Скорее, Генрик! За мной! А ты, Грета, подымись наверх и запри хорошенько люк. Да смотри не спускайся сюда без нас, не то как раз превратишься в такую же статую! Прощай! *(Вскакивает в вагон.)*

Грета. Ой! Только бы мне выбраться отсюда! Ой! Ноженьки подламываются. Генрик, не уезжай! Не едь туда в эту тьму, там нечисто!

Генрик. Это все — высшая магия! Старый барин ею кормился, молодой пойдет по той же дорожке! А за ним и я! Ты моя третья жизнь, Гречка, но если уж дело коснется моего барина, так я продам и тебя — хоть за алтын!

Грета. Помоги мне выбраться отсюда, Генрик! Куда вы едете?

Генрик. Не знаю, Гречка! Пожалуй, дальше Роскильде¹. *(Раздается звонок.)*

Элимар *(из вагона)*. Живо!

Генрик. Прощай, Грета! Дай мне поскорее чистое белье: две рубашки и хоть одну фуфайку; меньше уж нельзя!

Грета *(поднимаясь по лестнице)*. Прощай, прощай!

Генрик. Прощай! Прощай! Две рубашки и фуфайку!

¹ Город в 30 верстах от Копенгагена. — Примеч. перев.

Э л и м а р. Скорее!

Г е н р и к. Ах, барин! Да ведь это же экстренный поезд, для вас одних, так можно и помедлить чуточку! Даже обыкновенный поезд и тот всегда на четверть часика задерживают, если много багажа. (*Прыгает в вагон; оркестр играет железнодорожный галоп. Домовой дает свисток.*)

Г е н р и к (*высовывается из окна и кричит еще раз*). Две рубашки и фуфайку! (*Поезд трогается.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Комната наверху.

Г р е т а (*с маленьким саквояжем в руках*). Ну вот, тут все, и рубашки, и фуфайки! Генрик! Где же дыра? (*Подходит к люку; оттуда вдруг вырывается пламя, раздается гром, и люк закрывается.*) Ай! Я умру от страха! Все эти штуки просто убью меня! И буду я служить у такого господина, который летит этак прямо во внутрь земли да еще увозит от меня моего жениха? Ох, не увижу я его больше! Никогда! Подумайте, как долго! Ну, зато, если вернутся они, таким обедом их угощу — объедение! Стряпать-то я мастерица!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Царство Обезьян. Большая, освещенная зала. Посреди ее возвышение; на нем золотая клетка, в которой сидит птица Феникс. Раздается соло на виолончели: вариации на темы из «Лючии», выражающие тоску пленницы. Входят лесовладелец и его сын; оба, как и все остальные жители царства Обезьян, элегантно одеты по самой последней моде и с виду вполне похожи на людей. Выдают их только обезьяньи лица да — в минуты забывчивости — ухватки.

С ы н. Ах, папа! Слушай, слушай! Совсем как у нас в лесу, когда я прыгал там, словно дикий котенок!

Л е с о в л а д е л е ц. Charmant!.. А что ты сказал, сынок? (*Кланяется птице.*)

С ы н. Какая прелесть!

Л е с о в л а д е л е ц. Ужасно ты торопишься со своим восхищением! Никто еще не высказался! Мы чересчур рано явились. Глупо! Никого, кроме нас. (*Смотрит на сына.*) Голову прямо! Шляпу держать так, чтобы видна была белая подкладка! А правую перчатку вот так! Кланяться или низко, очень низко, или только одним кивком. Отлично! Слышишь? Кареты подъезжают! Здесь будет сегодня все высшее общество! А, мое почтение!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, Ее Милость — хозяйка дома; господин и дама; затем другие знатные гости; дама в сопровождении кормилицы, держащей на руках ребенка; первый вельможа, второй вельможа художник, пианист Мас, Генрикк, Элимар и другие.

Все(обмениваясь между собой поклонами и рукопожатиями). «Bonsoir!» «Bonsoir!» «Madame!» «Monsieur!» «O, quel plaisir!» «Que je suis heureux!»

Первый вельможа (ее милости). Позвольте представить вам, ваша милость, нашего знаменитого живописца!

Второй вельможа. А я привел пианиста Маса! Он играет сломанною кистью!

Знатный гость (вводит Элимара и Генрика). Вот два иностранца из Копенгагена! Сразу видно по платью!

Генрик. Ишь попка-то какой!

Элимар. Осторожнее!

Дама (глядя на них). Из Копенгагена? (Соседу.) Где это — Копенгаген?

Сосед. Сейчас посмотрю! У меня всегда справочная книжка с собою — карманная! (Перелистывает книгу.)

Ее милость (громко). Пианист Мас...

Все. Charmant!

Ее милость. Сыграет сейчас польку!

Пианист Мас размашисто подходит к фортепиано, садится, широко бросает руки на клавиши и начинает играть. Художник раскладывает перед кружком гостей свою папку с рисунками; старые дамы обмахиваются веерами, молодые трещат. Четверо молоденьких обезьян танцуют польку.

Элимар. А я под шумок подкрадусь к птице и, улучив минутку, выдерну у нее из хвоста перышко! (Подходит к клетке.)

Генрик (одной молоденькой обезьянке). Ваша улыбка, ваша грация сводят меня с ума! На всем пути, от самого Копенгагена, не встречал такой красоты.

Элимар подкрадывается в это время к клетке, тихонько открывает дверцу, протягивает туда руку, и птица садится ему на руку. В то же мгновение раздается удар грома, и Элимар вместе с клеткой и птицей проваливаются. Все в ужасе.

Все. О, ужас! Птицу Феникс похитили! (Бросаются к Генрику.) Дерзкий! Горе тебе! О, ужас! Что теперь будет!

Генрик (в то же время). О, горе! Меня убьют! Барин, помогите! Ай-ай! Что со мною? (Превращается в обезьяну; в ту же

минуту появляется домовой, схватывает его за руку, дает свисток, и оба проваливаются при блеске молний и ударах грома. Общая сумятица.)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Зала во дворце Царя духов. Он сидит на троне. Перед ним танцуют и поют добрые гении.

Царь духов. Прекрасно, прекрасно! Но надо и на завтра что-нибудь оставить! Завтра день моего рождения! (Гении, танцуя, удаляются.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Царь духов и Памфилий.

Памфилий. Две визитные карточки.

Царь духов (рассматривает их). «Умерший анонимный автор «Господина Расмуссена»¹. Он ждет тут за дверью. Интересно познакомиться! Но пусть подождет. «Профессор магии Клякс». Очень рад повидаться с ним, но не раньше как завтра. Пусть явится с поздравлением и подарками. Я охотник до подарков! У меня еще целы некоторые из прежних. (Показывает картонного плясуна.) Премилая выдумка! (Смеется.)

Памфилий. Превосходная! (Тоже смеется.)

Царь духов. А ты еще не знаешь его истории. Целая сказка! Только не напечатанная. «Жили-были два брата. Оба пустились искать счастья по белу свету и набрали на дом с вывеской: «Высшее учебное заведение; курс семилетний; зато выходят вполне образованные люди». «Я лучше пойду в лес!» — сказал один брат. «А я поступлю в это учебное заведение!» — сказал другой. Уж он-то знал, что делал! «Сначала надо выучить вас стоять как следует на ногах! — сказали ему там и поставили его в первую позицию. — Речь — серебро, а молчание — золото! — сказали ему потом, и он с тех пор словно воды в рот набрал. — Не подавайте и вида, что заняты собою, — глядите прямо вперед! — И он уставился в одну точку. — «Ходить надо не так! Продернем вам в ноги веревочки! — И продернули. — Руки не так!» — И в них продернули веревочки. И вот только когда его дергали за

¹ Название провалившейся комедии самого Андерсена. — Примеч. перев.

веревочки, он и двигал руками и ногами. Зато образованным стал! Погляди теперь на него! *(Опять показывает плясуна.)*

П а м ф и л и й. А с другим братом в лесу что было?

Ц а р ь д у х о в. Там было чудесно, птицы пели...*(За дверями слышится музыка — вариации на темы из «Лючии» — означающие прибытие птицы Феникс.)* пели, как вот сейчас! Слышишь? Узнай, в чем дело! *(Памфилий исчезает.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Ц а р ь д у х о в один, прислушивается с минуту, приложив руку к сердцу, затем начинает петь на мотив раздающейся мелодии сначала тихо, потом все громче и громче.

Эта песня, эти звуки
Будят рой воспоминаний!
Сердце полно сладкой муки...
Грудь же рвется от рыданий!..

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Ц а р ь д у х о в и П а м ф и л и й.

П а м ф и л и й. Повелитель! Фея Бравалла... Птица Феникс в золотой клетке! Принес ее сын Зефиса!

Ц а р ь д у х о в. Бравалла!.. Что со мною?!. Не говори никому об этой минуте слабости!.. Не одно перышко — мне принесли саму птицу! Смелчак! Пусть войдет! Нет, постой! Пусть птицу Феникс отнесут в солнечный кабинет. Там спадет с нее оперение, там вернется к ней ее прежняя красота, там мы и встретимся! Не надо унижать ее!

П а м ф и л и й. А сына Зефиса?

Ц а р ь д у х о в. Его я приму! Ты же позаботься о крошке домовом. *(Памфилий уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Ц а р ь д у х о в, Э л и м а р и Г е н р и к, с обезьяньим лицом и обезьяньими ухватками.

Ц а р ь д у х о в. Будь это завтра — это был бы мне сюрприз в день рождения.

Э л и м а р *(преклоняет колена, Генрик подражает)*. Повелитель духов! Осмелюсь принести тебе свою благодарность за все твои благодеяния!

Ц а р ь д у х о в. Добро пожаловать в мое царство!

Элимар. Осмелюсь также умолять тебя — возврати этому несчастному человеческий образ! (Указывает на Генрика.)

Царь духов. Понимаю! Эта обезьяна — твой слуга. (Берет кувшин воды и выплескивает ее Генрику на голову. Тот вскрикивает и подпрыгивает, обезьянья маска с него сваливается, и он опять становится прежним Генриком.)

Генрик. Ах, чтоб вас!.. И что это за манера! Воротничок весь мокрый! (Спохватясь.) Ай, простите, Ваша милость! Я уж больше не обезьяна?

Царь духов и Элимар. Ты возрожден! Поглядишь в зеркало!

Генрик прыгает и пляшет от радости.

Элимар. Генрик! Ты забываешься! Благодарю Царя духов!

Царь духов. А в прежнем виде он был интереснее! Но довольно об этом! (Элимару.) Я знаю, зачем ты явился сюда, можешь не трудиться говорить. Отцу твоему я дал шесть драгоценных статуй, тебе нужна теперь седьмая, самая прекрасная и драгоценная.

Элимар. Позволь мне припасть к твоим стопам!..

Царь духов. Помолчи! Слово пока за мною! Ты уже имеешь доказательства моего расположения к тебе! Я открыл тебе подземелье, я послал к тебе крошку домового, дав ему целую кучу орехов счастья... И он распорядился ими очень умно! Словом, я во всем принимал большое участие. Получишь ты и седьмую статую, что «дороже жемчуга и злата!..»

Генрик. А не найдется ли еще восьмой, хоть маленькой, — для меня?

Царь духов (продолжая). Ты ее получишь, но с условием: привези мне прежде восемнадцатилетнюю девушку, красивую, добрую и невинную, образец женщин, которая еще не сказала в жизни ни единого слова неправды!

Генрик. Покорно благодарю! Прощайтесь, барин, со статуей! Видно, что Повелитель духов совсем не знает женщин! Полно вам скупиться, Ваше Всемогущество! Дайте уж нам статую! Для вас это сущий пустяк!

Царь духов. Смирно! (Элимару.) Но смотри не влюбись в нее и немедленно доставь ее в мой дворец! Помни — каждый день, каждый час промедления собирает над твоей головой тучи горя, а если ты не передашь девушку мне вполне добровольно — ты умрешь в ту же минуту! Клянись же исполнить все!

Элимар. Клянусь! (Удар грома.)

Генрик. У! Как урчит у Повелителя в желудке!

Царь духов (Элимару). Помни! Ты или она!

Элимар. Я или она! Но, Повелитель, если даже я и найду такую восемнадцатилетнюю девушку, красивую, добрую и невинную, образец

всех женщин, как же мне узнать, не сказала ли она когда-нибудь неправды, хотя бы в шутку?

Г е н р и к. Загляни в ее аттестат!

Ц а р ь д у х о в (Элимару). Ты прав. Мне надо дать тебе средство распознавать женщин.

Г е н р и к. Ваша Прозрачность! Пусть он советуется со мной! Он еще так неопытен! Я лучше его знаю женщин и все их увертки!

Ц а р ь д у х о в. Хорошо! (Элимару.) Встретив подходящую девушку, возьми ее за руку: если она не невинна и не правдива, сего юношу (указывает на Генрика) тотчас же передернет, как будто сквозь него пропустили электрический ток.

Г е н р и к. Нет, нет, Ваша Немилость! Этого я не вынесу! Я смерть боюсь щекотки!

Ц а р ь д у х о в. Как я сказал, так и будет! Человек выносливее, чем сам полагает!

Г е н р и к. Прошу прощения! (Хочет уйти.)

Э л и м а р. Куда ты?

Г е н р и к. Мне что-то не по себе!

Ц а р ь д у х о в. Остайся!

Г е н р и к. Но, Повелитель! Я ведь не дух! Я человек с сердцем, с легкими, с желудком и прочее, и прочее! Я не могу исправлять должность электрической машины!

Ц а р ь д у х о в. Смирно! Тебя ждут и радости, несказанные радости! Если найдется такая девушка, невинная, верная, правдивая...

Г е н р и к. Мы ведь доставили вам птицу Феникс, такую редкость, чего вам еще!

Ц а р ь д у х о в. Слушай меня! Когда найдется такая девушка, ты исполнишься несказанного блаженства! Тебе захочется смеяться, петь, плясать!..

Г е н р и к. Плясать, Повелитель! Искалеченному-то!

Э л и м а р. Я позабочусь о твоём будущем!

Г е н р и к. Да, когда я буду лежать в земле!

Ц а р ь д у х о в. Так я хочу! Памфилий!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и П а м ф и л и й.

Ц а р ь д у х о в. Вели запрячь пару старых драконов, которые возят мою парадную колесницу; это смирные животные!

П а м ф и л и й. Невозможно, Повелитель! Один сломал себе левое крыло, а другой не может больше изрыгать огонь!

Ц а р ь д у х о в. Как же быть? Постой! Возьми один из небольших воздушных шаров. Только научи сначала крошку домового управлять им. (Элимару.) Где шар спустится, там и ищи счастья! Вам обоим выдадут сейчас на память об этом посещении драгоценные одеяния; они пригодятся и потомкам вашим в тридцати поколениях. Позабочусь я и о хорошей погоде.

Памфилий уходит.

Э л и м а р. Я полон отваги и воодушевления! Скоро я приведу тебе прекраснейшую, лучшую из женщин!

Низко кланяется и уходит.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Г е н р и к. А я, Повелитель, ухажу и без отваги, и без воодушевления! Еще бы!

Ц а р ь д у х о в. Станный человек! И чего ты так трусишь?

Г е н р и к. Да, Вашей Эфирности легко говорить! А терпеть-то придется мне! Уж по крайности произвели бы меня сначала в Геркулесы, а то ведь я зачахну! Грета, пожалуй, и не узнает меня!

Ц а р ь д у х о в. Грета? Это еще что за особа?

Г е н р и к. Чудесная девушка! Другой такой не сыскать от Копенгагена до Китая! Она моя невеста!

Ц а р ь д у х о в. Ну, можешь когда-нибудь привести ее ко мне!

Г е н р и к. Слуга покорный! Нет, уж лучше она останется при мне! «Не залетай высоко и корми себя честным трудом!» — вот ее поговорка. Грету-то уж я при себе оставляю!

Хоть Грет на свете много есть,
Такой другой вы поищите!
Нет, не сыскать вам, Ваша Честь,
Хоть свет кругом весь облетите!
В кухарках Гречка живет,
Чудесный мой цветочек!
И вам божусь — сама сойдет
За самый лакомый кусочек!

Ц а р ь д у х о в. С чем тебя и поздравляю!.. Обещаю тебе, что ты вернешься к ней еще красивее, чем был.

Г е н р и к. А могу я положиться на ваше обещание, Повелитель?

Ц а р ь д у х о в. Как на свою Грету!

Г е н р и к. Ага! Ну ладно, Ваше Могущество!

Уходит с низкими поклонами.

Ц а р ь д у х о в. Памфилий.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Царь духов, Памфилий.

Царь духов. Принеси мне несколько новых книжек из какой-нибудь частной библиотеки... Что-нибудь этакое скандальное насчет земли и ее обитателей!.. Да покури здесь! Сейчас слышно, что тут были люди!

Уходит при громе и молнии, сопровождаемый Памфилием.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Воздушное пространство. Воздушный шар несется над облаками. Элимар и Генрик сидят в корзине; оба в великолепных одеяниях. Домовой машет флагами. У Элимара в руках подозрительная труба, у Генрика лорнет и театральный бинокль, и он прикладывает к глазам попеременно то тот, то другой.

Элимар. Чудесная у меня подозрительная труба! Все видно!

Генрик. Да, сверху-то оно всегда виднее! (*Завидев приближающегося аиста.*) Барин! Аист!.. Сел к нам на край корзины!.. Здравствуй, Петруша! На вот, снеси-ка от меня письмецо Грете! Всего слова два! Кивает!.. Согласен! Барин! Щелкает клювом!.. Прощай, Петруша! Кланяйся Грете! Вот так летучая почта!

Элимар. Холодно! Надо накинуть плащи!

Оба. Что это там за город внизу? Какие странные высокие башни! Что-то невиданное! (*Шар исчезает за облаками.*)

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

В стране Истины. Все жители ее очень чопорны и церемонны, отвечивают при встречах низкие поклоны и вообще выглядят святошами.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Городская площадь. На заднем плане дворец; как во дворце, так и во всех домах оконные занавеси спущены; некоторые же окна закрыты ставнями. Червонный вальет с подозрительной трубой в руках выходит из дворца. Ученый, также с подозрительной трубой, выходит из противоположного дома; оба пристально глядят в трубы на небо и сталкиваются.

Оба вместе. Ах, простите великодушно! (*Снова смотрят кверху, и так в продолжение всей сцены.*)

Ученый. Спускается!

Червонный валет. Спускается, только медленно.

Ученый. И, по-вашему, это?..

Червонный валет. «Летучий Голландец»!

Ученый. Нет, птица Рок! Это нечто реальное, а «Летучий Голландец» это ведь явление из царства духов!

Червонный валет. Ну да! На шаре и написано: «Собственность духов». Я отлично разбираю все буквы. Чудесная подозорная труба — королевская!

Ученый. Они спускаются на Куриную площадь! (*Убегает.*)

Червонный валет. Они спускаются как раз сюда, на площадь Истины! (*Отступает в сторону.*)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Червонный валет, Элимар, Генрик и домовой спускаются на шаре.

Домовой. Не угодно ли высадиться на землю! (*Элимар и Генрик выходят.*) Я явлюсь с шаром, когда вы дадите сигнал!

Элимар. Что за странный город! Какая тишина на улицах! Точно город мертвых!

Домовой (*поднимаясь на шаре*). Прощайте! Желаю успеха!

Элимар. Спасибо, мой воздушный кормчий! Да, да, свисток у меня есть. (*Генрику*). Ну, что же ты такой сумрачный? Не нравится тебе этот город?

Генрик (*печальным голосом и с самым убитым видом, который сохраняет во время всей сцены*). Ах, барин! Для меня уж нет веселья!

Элимар. Не ребячься так! Не убивать тебя собираются! Попытка ведь не пытка!

Генрик. Да для меня-то пытка! Вам-то ничто, а мне-то каково! У! Я уж так заряжен электричеством, что из глаз искры сыплются! Пуф! Пуф! Настоящая батарея!

Элимар. Да помолчи ты! Ступай и позвони вон у ворот, надо же узнать, куда мы попали!

Генрик (*направляясь к воротам*). Иду, как жертва на заклатие!

Червонный валет (*выступает навстречу*). Извините, незнакомцы! Но какими чарами вас занесло сюда и что вам здесь надо!

Генрик. Вы говорите по-датски! Барин! Он говорит по-нашему!

Червонный валет. В нашей стране говорят на всех европейских языках, и по закону король и весь народ говорят по месяцу на каждом языке. Теперь мы как раз говорим по-датски!

Генрик. То-то кстати! Впрочем, и мы говорим по-всячески.

Элимар. Почтеннейший! Не скажете ли вы мне, где мы, собственно, находимся?

Червонный валет. Ты на острове Благопристойности, в стране Истины и Добронравия! Стоишь ты на нашей городской площади!

Элимар. Радуйся, Генрик! Мы у цели наших стремлений!

Генрик. Пусть бы ее оставалась за тридевять земель!

Червонный валет. Вот дворец нашего короля. Я же только смиренный слуга его.

Генрик. Слуга — и тыкает нас! Вот оно, добронравие!

Элимар. Не проведешь ли ты меня к королю? Я прибыл сюда по воздуху.

Генрик (указывая на Элимара). Это принц из страны Откровенности, а я его верный маршал! Прибыли мы на этой новомодной воздушной машине, на воздушном паровозе или пароходе!

Элимар. И приехал я сюда искать себе невесту. Я предложу ей свое сердце и свои несметные богатства!

Червонный валет. Твои намерения благородны! Я в точности доложу все королю.

Элимар. Познакомь меня также с обычаями и особенностями твоей страны.

Червонный валет. На нашем острове не бывает никаких ссор и раздоров. Мы не имеем никаких сношений с чужими странами, никогда не задаем ни пиров, ни балов, мы блещем лишь добродетелями и правдивостью.

Генрик. Фу ты!

Червонный валет. Наши улицы пустынные; мы выходим из дому лишь в случае крайней нужды. Сидя дома, мы размышляем о добродетелях ближних и воссылаем небу благодарственные молитвы. С уст наших не срывается ни одного легкомысленного слова, а ложь наказывается у нас строго, смотря по ее последствиям. К женщинам относятся, впрочем, снисходительнее, нежели к мужчинам. Клевету же на нашем острове Истины и Благопристойности знают лишь понаслышке.

Генрик. А дозволейте спросить, если кто-нибудь благопристойно украдет, его накажут?

Червонный валет. Виноватых всегда наказывают.

Генрик. Значит, высыплют ему горяченьких?

Червонный валет. Мы бьем лишь платя, а не людей, и это-то и считается у нас позорнейшим наказанием.

Генрик. И у нас тоже бьют по платю, да только когда оно надето на человеке!

Элимар. Ну, а как у вас поставлено дело женитьбы?

Червонный валет. Всех молодых девушек выдают замуж на двадцатом году, а до этого возраста ни одна не смеет показываться на улице одна. Они могут ходить лишь вчетвером, да и то в сопровождении двух вооруженных мавров. Их никогда не водят в балет, где танцуют в обтяжных «невыразимых», и за каждую наивность строго наказывают: наивность — мост, ведущий к гибели. Читать им дают лишь воинственные песни, так как эти песни всегда благопристойны! Девочкам запрещается также вступать в разговоры с мальчиками-однолетками.

Элимар. Бедненькие! Вот жаль-то их!

Червонный валет. Жаль! Смотри, не произноси таких слов перед нашим повелителем, когда я представлю тебя ему. В нашей стране достоин сожаления лишь тот, кто слеп к нашему счастью! (Уходит.)

Генрик. Вот так хват!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Элимар, Генрик, затем четыре окутанные покрывалами девушки в сопровождении двух мавров.

Элимар. Речи его не особенно-то подкрепили во мне надежду найти здесь то, что мне нужно. Но вот несколько девушек. Попытаю счастья!.. Генрик!.. Держи ухо востро! (Первой девушке.) Простите чужеземцу, осмелившемуся заговорить с вами, но красота ваша ослепляет даже через покрывало!..

Первая девушка. Какой учтивый кавалер!

Вторая. Но какое странное одеяние!

Элимар. Осмелюсь, по обычаю моей страны, поцеловать вашу ручку! (Целует.)

Генрик (подпрыгивая). Ай-ай!

Элимар (глядит на него и переходит к следующей). Позвольте вашу!

Вторая девушка. Премного благодарна!

Генрик. О! Я трещу по всем швам!

Все четыре девушки (глядя на него с изумлением). Что с ним? Рехнулся он, что ли?

Элимар (подходя поочередно ко всем остальным). И вашу!.. И вашу!..

Г е н р и к. У-у! (Бросается вперед; девушки с криком убегают; мавры за ними.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Элимар и Генрик.

Элимар. Бедняга! Мне жаль тебя!

Генрик. Ах, я навек теперь не человек! Эти две последние, должно быть, безбожно врани, еще не родившись на свет!

Элимар. Я все-таки не прощаюсь с надеждой.

Генрик. Зато я прощаюсь с жизнью!

Элимар. Ну, хочешь, отправимся в другую страну?

Генрик. Что толку? Женщины везде и всюду лгут. Я-то знаю свет, не то что сказочный король, не веривший в ложь и обещавший руку своей дочери да полцарства тому, кто соврет ему.

Элимар. И много приходило к нему лгунов?

Генрик. Страсть! Да он всем верил! Вся страна изолгалась, все чиновники, все — большие и малые, а король все верил да верил. Дочка так и не вышла замуж, а сам король так и умер от тоски по лжи... А и вся история-то ложь!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Червонный валет с двумя воинами.

Червонный валет. Чужеземцы! Сейчас король выйдет на площадь творить суд и расправу — вот вам и случай представиться ему.

Элимар. Прими мою благодарность!

Червонный валет. Затем — отдан приказ засадить твоего слугу в сумасшедший дом и заковать в цепи: он совсем бешеный!

Генрик. Меня в сумасшедший дом! Меня, апостола истины! Да, видно, что мы попали в страну Истины! В страну Лжи попали мы!

Червонный валет. Ну, как же не бешеный?

Элимар. Это мой слуга! Никто не властен над ним, кроме меня, а я ручаюсь за его разум и спокойное поведение впредь.

Червонный валет. Хорошо! Но при первом же новом припадке приказ будет приведен в исполнение.

Элимар. Генрик, берегись!

Червонный валет. Следуй за мной, чужеземец, и подкрепись с дороги во дворце короля — таков у нас обычай!

Элимар. Берегись же, Генрик! (Уходит за Червонным валетом.)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Г е н р и к один.

Г е н р и к. И не говорите лучше! Мне моя шкура тоже дорога! Ах, я злосчастный! Вот так поездка! Что мне делать? Пстой! (*Поднимает голову кверху и кричит.*) Шар! Спусти шар! Я хочу домой. Господин домовой! Милый господин домовой! Не слышит! Ах, если бы мне удрать отсюда! Я отказываюсь от места! Тут мне не место! Да и не только тут, а везде, — хоть бы на луне!

На свете лгут все, нет сомненья,
Бедняк, богач, и стар, и млад!
Лгут без стыда и без стесненья,
На свой, конечно, всякий лад!
Люби ты друга там, как знаешь,
Зови хоть первым из друзей,
Да лишь не верь — не проиграешь,
Скорей напротив — ей-же-ей!
Давно известно, мир земной весь
Гнездом коварства, лжи бранят!
Но все ж живется хорошо здесь —
Правдиво люди говорят!
Да! На земле ничто не вечно,
Так где ж тут истину искать?
Все лгут; ну, лгу и я, конечно,
Что ж от других-то отставать!

А, бьют в набат! Сам король жалует! Ба! знакомое лицо! Я видел его в колоде карт! Там он считается фигурой; ну-ка, а тут он что за фигура, посмотрим!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Г е н р и к, Червонный король с дочерью выступают в торжественном шествии, сопровождаемые свитой и народом. Затем Элимар и
Червонный валет.

Х о р.

Тебя мы величаем,
Лишь приказать изволь!
Тебя мы воспеваем,
Червонный наш король!

Ч е р в о н н ы й к о р о л ь. Просвещенная и образованная чернь вышних и низших классов! Я повелел вам собраться сюда, чтобы быть

свидетелями моего беспримерного правосудия и узреть создание, девушку — страшно вымолвить! — девушку, поправшую своим поведением и речами все обычаи нашей страны!

Все. Ура, владыка!

Червонный король. Но прежде пусть приведут ко мне чужеземца!

Червонный валет подводит к нему Элимара и Генрика.

Добро пожаловать, чужеземец. Так ты принц из страны Откровенности? Но что это за рыцарь Печального Образа рядом с тобой?

Элимар. Это мой слуга.

Генрик. А зовут меня Генрик!

Червонный король. Забавная фигура! Ха, ха, ха! (Народу.) Всем смеяться. (Все смеются.)

Генрик (про себя). Глупая нация!

Червонный король. А теперь к делу: я слышал, что приехал к нам искать себе невесту. Ты нравишься мне, и так как ты из благородного звания, то взгляни на мою дочь. Вот она, с золотым тюльпаном в руках.

Червонная дама. Чужеземец! Покорная моему высокому и мудрому отцу, я протягиваю тебе руку; я вижу по твоему лицу, что ты этого достоин. (Подает Элимару руку.)

Генрик, весь передергивается от боли. Элимар видя это, целует руку принцессы и выпускает ее.

Червонная дама. Он мне нравится!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, Анна и стража.

Анна (вбегает; в белом платье, с распущенными волосами; страже). Оставьте меня, жестокие люди! (Бросается на колени перед троном.) Повелитель! В чем я провинилась? За что со мною так поступают? Я бедная девушка, сирота, без друзей, но я не сделала ничего дурного! Я невинна!

Червонный король. Дерзкая! Как смеешь ты без зову являться пред мои светлые очи? Бесстыдная женщина! Все о тебе такого мнения!

Анна. Да что же я сделала?

Червонный король. Лгала, клеветала!

Анна. Неправда! Это на меня наклеветали злые люди, генерал от нравственности, жена бургомистра и ее легкомысленные сыновья!

Червонный король. Неслыханная дерзость! *(Народу.)* Всем негодовать со мною!.. Впрочем, нет, не надо! Эта преступница недостойна нашего негодованья. *(Анне.)* Отца твоего, английского капитана, погло-тили волны, когда корабль ваш разбился о наш берег, а тебя мы приняли к себе, приютили, как сироту. Тебе позволено было шить, вышивать и вообще быть полезной в наших знатнейших семействах, а ты отплатила нам за это ложью и клеветой! Ты осмеливаешься говорить, что истина у нас в стране не в чести, что наша семейная и домашняя жизнь — одна фальшь, лицемерие!.. Взять ее, посадить в лодку и пустить в море на произвол судьбы!

Червонный валет. Взять ее!

Элимар. Как она хороша! На лице ее написана такая доброта и такая невинность! Меня влечет к ней непостижимая сила!.. Стойте! Позволь мне, повелитель, задать ей один вопрос!

Червонный король. Позволяю!

Элимар. Милое дитя! Внушаю ли я тебе доверие?

Анна. О да! Ты, должно быть, добрый, хороший человек!

Элимар. Так дай мне твою руку! *(Она протягивает ему руку.)*

Генрик *(начинает плясать, припевая)*. Тра-ла-ла! Тра-ла-ла! *(Обнимает Червонную даму и ее фрейлин; те падают в обморок.)*

Анна *(в то же время)*. О, защити меня! Я невинна!

Элимар. Я знаю, моя дорогая! Ты невинна и чиста, как лилия!

Червонный король *(народу)*. Вы поняли, что он сказал?

Все. Да!

Червонный король. А я нет! И вы тоже!

Все. Тоже!

Червонный король. Оба они — и господин и слуга — сумасшедшие!

Элимар. Выслушай меня, король Истины! Я отказываюсь искать себе невесту среди дочерей вашей страны, только отдай мне эту девушку. Я возьму ее с собою на родину!

Червонная дама. Противный мужчина!

Все. Ужасно!

Червонный король. Смирно! Молчать! Всем молчать! *(Элимару.)* Ступай, слепец! Так-то ты платишь мне за гостеприимство! Ты пил у меня чай, получил доступ в мой дворец! Ты заслуживаешь наказания, и я наказываю тебя тем, что отдаю тебе эту недостойную и изгоняю вас обоих из страны Истины, с острова Благопристойности! Чтобы и духа вашего тут не было!

Элимар. Прими мое спасибо! *(Дает свисток.)*

Генрик. Славный конец! Нашли, что искали! *(Шар спускается.)*
А! Снимайтесь с якоря, адмирал!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и домовый.

Д о м о в о й. Вот и я! Стоп!

Э л и м а р. Иди за мной, Анна! Не бойся!

Г е н р и к. Коли нет справедливости на земле, так надо подняться за ней повыше!

Э л и м а р. Король! Ты не знаешь, какую жемчужину я увожу из твоей страны! (*Шар с Элимаром, Анной, Генриком и домовым поднимается под звуки музыки.*)

Ч е р в о н н ы й к о р о л ь (*народу*). Не смотреть на них! Потупить глаза! Не думать о них! Всем смотреть на меня и величать меня!

Х о р.

Тебя мы величаем,
Лишь приказать изволь!
Тебя мы воспеваем,
Червонный наш король!
(*Преклоняют перед ним колена.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Комната в доме Зефиса.

Г р е т а (*входит*). Ах, как я соскучилась по жениху и барину! У меня даже не хватает духа заглянуть в календарь! Сдается мне, что уж весна на дворе, а наверно не знаю. Знаю только, что на улицах грязь по колено, а на душе у меня как-то странно тоскливо.

Ах, скоро ль растает последний снежок,
Ах, скоро ль вернется мой милый дружок?
Сказал он: «Весною»! А скоро ль весна?
Стою у окна я, печальна, грустна,
И жду, не покажется ль аист!

О, вестник весны, прилетай же скорей!
Конец положи ты печали моей!
Сегодня ты ночью пригрезился мне,
Сидел мой дружок у тебя на спине!
Ах, скоро ль покажется аист?

Аист садится на выступ открытого окна.

Ах! А он тут как тут! Уселся на окно! Что это, опять колдовство или это ручная птица? Он кивает головой, щелкает клювом! Я не понимаю тебя!.. У него что-то надето на шее... Да это письмо! Ах, если бы он

был почтальоном! *(Берет письмо и читает адрес.)* «Девушке Грете Иенсен»! Да это мне! От Генрика. Ах, ты милая птичка! Будь у меня змейка или лягушонок, уж я бы угостила тебя! А что ты принесешь мне в следующий раз? *(Аист щелкает.)* Не понимаю! *(Аист наклоняет голову и показывает ей сидящих у него на спине двух близнецов-малюток.)* Фи! Что это за двусмысленные намеки! *(Аист улетает.)* Просто неприлично!.. Кто бы поверил?.. Но вот письмецо-то я все-таки получила от Генрика! Надо скорее прочесть его, а потом обежать всех подруг — рассказать об этом. *(Читает.)* На воздушном шаре! О Господи! На шаре! «Я здоров и бодр; желал бы того же и тебе!» Как он мило пишет! «О том, что я видел, рассказать не могу, а потому и не говорю! Твой и в высших сферах верный Генрик. Post scriptum: вечно буду любить тебя!» — Нет, ничего такого ни одному писателю не выдумать! *(Целует письмо и убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Ночь. Окрестность вулкана. Извержение. Элимар, Анна, Генрик и домовый спускаются на шаре.

Домовой. Стоп! Вот тут и живет Царь духов! *(Элимару.)* Ну, делай теперь свое дело, я свое сделал!

Анна. Какое ужасное место! Какой полет сквозь облака!

Генрик. Ветер так и щекотал мне макушку!

Элимар *(домовому, который подымается с шаром)*. Куда ж ты?

Домовой. А мое дело кончено! Прощай! Тебе надо спуститься в жерло вулкана, а я полечу в Копенгаген. *(Исчезает.)*

Генрик. Ах, барин! Вот так местечко! Тут и заночевать-то негде. *(Слышно пение демонов.)*

Анна. Где мы? Что все это значит? *(Элимару.)* Что ж ты молчишь? Отчего ты побледнел? Не я ли причиной?

Элимар. О, Анна! Я так несчастен!

Анна. Ты, мой друг?

Элимар. Твой друг!.. О, ты еще не знаешь, Анна!..

Анна. Я не понимаю тебя, едва понимаю самое себя! Что случилось? Что я сделала?

Ревела буря, ветер бушевал,
И гром гремел... Корабль наш накренило,
На мостик с ревом хлынул грозный вал
И смысл отца!.. Всех море поглотило,
Одна лишь я избегла смерти злой,

Но не на радость! Бедной сиротой
Все помыкали! Ласкового слова
Никто не молвил мне. И вдруг, вдруг снова
Блеснул на счастье мне надежды луч!
Явился ты и взял меня с собою!..
Мы понеслись высоко над землею,
Над цепью гор, грядями темных туч...
Ты был так добр ко мне... Тебя невольно
Я всей душой успела полюбить!

Элимар.

О, знала б ты, как речи эти больно
Меня терзают. Даже говорить
С тобой не смею, чистая, святая!

(Про себя.)

О, горе мне! Любовью к ней сгорая,
Навек расстаться с нею должен я!
О, Анна, Анна, бедная моя!

Анна.

Ты побледнел, дрожишь... Не понимаю,
Что говоришь ты, милый Элимар!
Во сне ль все это, въявь ли... я не знаю...
Нет, нет, конечно, это злой кошмар!..
Спаси ж нас, Боже!.. О! не плачь, мой милый,
Невинен ты, прими мой поцелуй!..

Элимар.

Бессилен я бороться с высшей силой!
Меня ей клятвой удалось связать!
Владыке духов мощному отдать
Тебя поклялся я неосторожно!
Он здесь живет! Разлуки час настал!

Анна.

Не может быть! Не верю! Невозможно!
Меня ужель ты для того лишь взял?
Иль пред тобою в чем я провинилась?
Иль испытать меня лишь ты хотел?
Молчишь?! Так горе вечный мой удел!
Так я на свет для горя лишь родилась!..
Зачем с отцом не утонула я?..
Веди ж меня! Твоей покорна воле!

Элимар.

О нет! Не в силах выдержать я боле!
(Падает перед нею на колени.)

Дитя, голубка чистая моя,
Прости навек! Навек прости!
Виновен я — так кару мне нести!

Г е н р и к. Барин, мне тоже невтерпеж! Отдайте уж лучше меня этому Царю духов, я-то ему больше пригожусь — не в обиду вам будь сказано. Только позаботьтесь о Грете!.. Пойдите! Барин! У меня явилась еще одна мысль. Они ведь что цыплятки — одна вылупится, за ней сейчас и другая! Позовите-ка вашего батюшку! Пусть посоветует, что нам делать. Он ведь мастер был на все штуки, да и с Царем духов в дружбе состоит!.. Да вы не слушаете меня! Ах, ведь и я от горя сам не свой, да от этого толку мало!.. Господин Зефис! Покойный господин Зефис! Услышьте нас, спуститесь с облаков, помогите нам! (*Громовой раскат.*)

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Т е ж е и Ц а р ь д у х о в, внезапно появляется на скале над пещерою и простирает к ним руку.

Ц а р ь д у х о в.

Мертвых оставьте!
Клятву нарушить
Думать не смей!
Разве забыл ты —
Ты иль она!

Э л и м а р.

О, горе мне! Наказан я жестоко!
На что теперь сокровища мне все?

Ц а р ь д у х о в. Ты иль она!

Э л и м а р.

Я преклоняюсь перед волей рока,
Твоей добычею готов я стать.
Прости, любовь моя! Твой покровитель
Отныне Бог один!

А н н а.

Нет, нет, стой!

(*Царю духов.*)

Бери меня, о, духов повелитель!

(*Бросается на землю перед Царем духов. Тот прикрывает ее своим плащом.*)

Прощай. Спасен теперь ты, милый мой!

Царь духов простирает над ней свою руку. Анна исчезает в пропасти. Элимар вскрикивает.

Царь духов.

Анна моя.
Ты же получишь
Статую ту,
Что драгоценней
Жемчуга, злата!

Элимар.

О, пощади, о, смилуйся над нами!
Не разлучай нас! Все назад возьми —
Брильянты все и золото с жемчугами,
Ее одну лишь мне опять верни!

Царь духов.

Мольбы напрасны!
Им я не внемлю!
В дом свой вернись,
Там ты получишь
Статую ту,
Что драгоценней
Жемчуга и злата!

Удар грома; Элимар падает на землю. Перемена декорации.

Генрик. Батюшки! Спасите! Все рушится! Все валится!.. Камни...
Деревья... Земля убегает из под ног!..

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Подземелье с сокровищами. Седьмая статуя стоит на пьедестале, окутанная голубым покрывалом, усеянным звездами. Элимар и Генрик.

Генрик (приходя в себя). А! где же это мы?.. Барин! Да мы дома! Барин, откройте глаза! И на что все это великолепие, если глядеть на него закрытыми глазами! Барин! Седьмая статуя тут, только еще не совсем распакована!

Элимар.

О, ты, проклятая, слепая сила!
Меня навек ты счастья лишила!
Теперь не надо мне твоих даров!
Я разобью на тысячу кусков
Ее сейчас!

Бросается к статуе с поднятым мечом; покрывало падает — на пьедестале Анна;
раздаются тихие звуки арфы.

А н н а. Мой милый Элимар!
Э л и м а р.

Ты, Анна! О! небесный чудный дар!
Да, это так: все, все, чем жизнь богата,
Ничто в сравненье с любящей женой!
Сокровищ блеск померк перед тобой.
Ты мне дороже жемчуга и злата!

Г е н р и к (ликует).

Ура! бедам настал конец!
Жена — желаний всех венец!
С женою счастьем жизнь богата,
Не надо жемчуга и злата!

Г р е т а (входит).

Вернулся ты, о Генрик мой!
Мы не расстанемся с тобой!
Теперь настал бедам конец!
С тобой пойдем мы под венец!

Г е н р и к.

Да, я вернулся, Генрик твой,
Мы не расстанемся с тобой!
Теперь настал бедам конец,
С тобой пойдем мы под венец!

(Обнимает ее.) Грета, милочка ты моя! Хоть ты и не брильянтовая статуя... А впрочем, где ты родилась?

Г р е т а. На острове Борчхольме.

Г е н р и к.

Ну, так ты борчхольмский алмаз.
Ура! настал бедам конец!
Жена — желаний всех венец!
С женою счастьем жизнь богата,
Не надо жемчуга и злата!

Задняя стена раздвигается и показывается сидящий на лучезарном троне Царь духов, окруженный гениями; Зефис, стоящий рядом, простирает руки, благословляя влюбленных.

Х о р д у х о в.

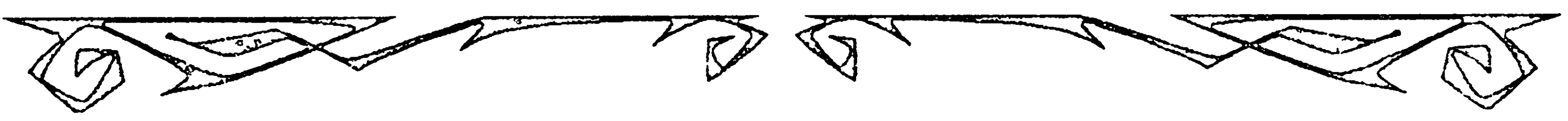
Бедняк богаче богачей,
Коль счастлив он с женой своей!
Дворцом любая станет хата,
Царит где добрая жена!

Дороже всех богатств она,
Дороже жемчуга и злата!

Д о м о в о й (прыгает вокруг влюбленных, машет колпачком и кричит.) Ура!!

ЗАНАВЕС





ГРЕЗЫ КОРОЛЯ

Романтическая драма в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Христиерн II, король Дании¹.
Бент, старый слуга его, солдат.
Дворянин.
Сигбрита.
Дювеке.
Эрик Валькендорф.
Монах.
Фоборг, секретарь.

Действие происходит в Сендерборгском замке, в темнице короля Христиерна II. Маленькая сводчатая келья с нишами в правой и левой стенах. В одной из ниш камин, в другой альков, задернутый длинной занавесью. Входная дверь замурована; над нею под самым потолком виден заменяющий ее люк. Посреди кельи большой круглый мраморный стол.

¹ За последним королем Унии (трех соединенных государств: Дании, Норвегии и Швеции) Христиерном (старинное имя, перешедшее затем в Христиан) II, правившим в 1513 — 1523 гг., утвердилось имя кровожадного и безумного тирана, что, однако, не совсем верно. Христиерн II заслуживает лучшей оценки хотя бы потому, что во всех его действиях и поступках проглядывает желание облегчить тяжелое положение и увеличить права порабощенного высшей аристократией простого народа. С аристократией же он действительно поступал слишком жестоко, вследствие чего Швеция отошла от Дании, а датские дворяне провозгласили датским королем дядю Христиерна, герцога Голштинского Фредерика I (время правления: 1523 — 1533 гг.). Христиерн бежал за границу, где скитался, ища помощи, девять лет, затем вернулся в Норвегию и, доверившись честному слову Фредерика, обещавшего ему полную свободу, отплыл в Данию, но был схвачен и заточен в Сендерборгский замок, где и сидел 27 лет и где обходились с ним первое время прямо бесчеловечно. — *Примеч. перев.*

Б е н т
(Сидит у алькова.)

Чудно идет оно на белом свете!
Ну, думал ли, гадал ли я тогда,
Как в Бергене вас встретил в первый раз,
Что ждет нас с вами этакая доля,
Что я слуга у вас один останусь,
О, добрый мой король!.. А! Он заснул!
Заснул король мой старый Христиерн!
Как тяжело он дышит!.. Спи же с Богом!
Подольше спи! Проспишь ты часом боле
И часом меньше пленником пробудешь.
Весь день-деньской сижу я и болтаю,
Болтаю без умолку языком,
Как маятником старые часы.
Но мой король охотно внемлет мне,
А я охотно вновь переживаю,
Рассказывая, старые года.
Да, да!.. А что-то там теперь творится?
Что делается в нашем государстве?
Когда-нибудь взойдет ли Христиерн
На трон опять? Как рад бы был народ!
Тебя любил он, ты любил его!
Воспитан сам ты был ребенком в доме
Простого горожанина, а ныне
С солдатом бедным делишь кров и пищу.
Но нет! На трон ты боле не взойдешь!
Дворянство не допустит: ты им страшен.
Тебе лишь смерть свободу принесет!
Пока ж ты жив, тебя я не покину,
И развлекать рассказами своими,
Как дядька старый, я, король мой, буду!

(Слегка отдергивает занавес и подносит к алькову лампу.)

Хорошее лицо! И сразу видно,
Что унаследовать он власть родился!
Гляди-ка! Там в углу сидит паук!
Проворно он снует свою основу...
Паук приносит счастье, говорят.
Кому же? Мне иль королю?.. Обоим!
Он сладко спит... спит мой король! Наброшу
Ему я на ноги мой старый плащ,
Чтоб не озяб он. Я же обойдусь:

К камину я присяду, там тепло.

(Садится.)

Коль лучшего угла у короля нет,
То мне, солдату, слишком хорошо здесь!

Пауза.

Сегодня весело мне что-то... Мысли
Мне прошлого картины все рисуют...
Да, мысли-то свободны и в тюрьме!
Какую-то я радость сердцем чую...
Гм! И паук ведь то же говорит!
Ну, а теперь попробую соснуть.
Устал!.. Король давно уж спит и грезит.

Слышится тихая музыка; звуки все растут, сцену окутывает туман; мало-помалу он рассеивается, и перед зрителями большая, убранная по-старинному комната в таверне. Сумерки. Христиерн, еще молодой принц, одетый в обыкновенное гражданское платье. Эрик Валькендорф, Сигбрита и Дювеке.

В а л ь к е н д о р ф

Что слышу? Шкипер Прэбен отплыл? Жаль!
По сердцу мне его пришлось речи!

С и г б р и т а

Еще бы! Коль он с вами был согласен,
Хотел того же, что и вы, — пуститься
Гренландию пропавшую искать!
Да, сделаетесь канцлером — пожалуй,
Снарядите вы корабли!

В а л ь к е н д о р ф

Конечно!
Ведь моряки датчане от природы,
А леса корабельного довольно
У нас в Норвегии. Да, с этой мыслью
Давно ношусь! Прилежно изучаю
Я книги; моряков, людей торговых
Выспрашиваю. Прэбен же помог мне
И путь морской на карте весь отметить.

С и г б р и т а

Ну, и положим, вам удастся. Что ж?
Какая польза? Для каких товаров
Откроете вы рынок? И оттуда
Вы будете что вывозить? Нет, лучше
Судьбой родного края вы займитесь.

Голландию за образец возьмите.
Цветущая страна! В ней земледелие,
Промышленность, торговля — все цветет.
Гренландию ж оставьте вы в покое:
Вам не она нужна, вам нужно имя!

Д ю в е к е

Сочувствую желанью Валькендорфа!
И я бы снарядила корабли,
Чтоб отыскать забытую страну.
Но это не мешало б и капусту
Мне здесь сажать. Примолвить к слову: надо
Рубить те кочны, что с дворянской спесью
Высоко больно головы вздымают!
Уж я бы показала всему миру,
Что новая на троне Маргарита!
А по веселью двор мой был бы первым!

В а л ь к е н д о р ф

Меня бы приняли в число придворных?

Д ю в е к е

О да! Ученостью и красноречьем
Вы взяли. Я ж вокруг себя одних
Избранников желала б видеть; тех,
Что в сан высокий Сам Господь возвел.

В а л ь к е н д о р ф

Художников, ученых и поэтов?

Д ю в е к е

Ну да! Всех тех, что в мире составляют
Аристократию истинную. Тех же,
Что лишь гербом кичатся, я зову
Простыми щитоносцами. Ведь им
Роскошный герб носить пришлось случайно!
Как королева, я таких бы сколько
Могла создать! Лишь герб навесить им,
Портной все остальное довершит!

С и г б р и т а

Дитя!

Д ю в е к е

Я выросла ведь в Амстердаме.
А там живут чуть-чуть что не в воде;
Каналы всюду. С нашего крылечка,
Что тоже в воду прямо уходило,

Частенько я спускала свой кораблик,
А им служил башмак мне деревянный!
Я лодочкой его звала сначала,
Потом услышала, что все вельможи,
По случаю различных празднеств, в рангах
Все повышаются, и это мне
Пришлось по вкусу, — в то же воскресенье
Я лодку в плот произвела; затем
В баркас, в корабль линейный, во фрегат!..
А в сущности-то мой башмак, конечно,
Все тем же башмаком остался!

Х р и с т и е р н

*(Сидевший все время в некотором отдаленье и внимательно слу-
шавший, вдруг встает.)*

Правда!
За вашу речь готов расцеловать вас!

Д ю в е к е
(Глядя на него.)

Вот как!

В а л ь к е н д о р ф
Писец мой, что вчера приехал.

Х р и с т и е р н
(Дювеке.)

Меня вы покорили вашей речью,
Умом и смелостью!

Д ю в е к е

И башмаком,
Который во фрегат произвела?

С и г б р и т а
(Валькендорфу.)

Своеобразное лицо! Сдается,
Рука его скорей к мечу привыкла!
С собой впервые привели сегодня
Вы земляка; так я винцом вас редким
Французским угощу за это. Выпьем
За Христиерна!

(Пристально глядит на него.)

Д ю в е к е

Датского медведя!..
Ну, что же, выпьем!

Х р и с т и е р н

Славу он себе
Стяжал дурную!

Д ю в е к е

Да, он силен духом,
Не хочет он идти путем обычным.
Герой он!

Х р и с т и е р н

Назвали медведем вы
Его; таков и есть он. Не любим
Он здесь в Норвегии. Жестоко слишком
И с Хидефадом Херлуфом, и с Карлом —
Епископом — он поступил! Зачем
Вы на меня так смотрите?

С и г б р и т а

Затем,
Что очень вы похожи на него.

Х р и с т и е р н

На Карла?

С и г б р и т а

Вас узнали, принц-наместник!

Х р и с т и е р н

Вы ошибаетесь. Я лишь похож
На Христиерна. Сходство это в пользу
Пошло мне, — я ему обязан местом.

В а л ь к е н д о р ф

Наместник наш, насколько мне известно,
Сидит теперь и пишет королю.
А вечером, попозже, должен он
Быть на балу, что в ратуше сегодня
Дают знатнейшие из граждан наших.
Все улицы давно полны народом!

Д ю в е к е

Так вы не Христиерн? И не хотите
Быть им? Пусть так! Тем лучше, — я свободней
Могу взглядеться в вас. Поближе к свету!
Так, значит, вот каков принц Христиерн!

Х р и с т и е р н

Таков! И это вам как раз по вкусу,
Что не похож он на других людей?

Д ю в е к е

Меня вся жизнь его пленяет. Сказкой,
Старинной хроникой звучат рассказы
О принце, отданном на воспитанье
Простому горожанину и певшем
На хорах вместе с бедными детьми.

В а л ь к е н д о р ф

А после, стражу подкупив, он часто
Дворец отцовский ночью покидал
И пировал у бюргеров простых.

Х р и с т и е р н

За что отец суровый драл нещадно
Его плетми, как всякого повесу.

Д ю в е к е

Он люб мне, этот сказочный герой!

С и г б р и т а

(С вином.)

Ну вот и я с вином!

(С улицы доносятся шум и крики.)

Кричат-то как!

Народ всю улицу запрудит скоро.

В а л ь к е н д о р ф

Пускай кричат. Иначе чернь не может:
Без крика ей веселье не в веселье!

С и г б р и т а

Да тут не чернь одна!.. Тут и дворяне!..

(Уходит в первую комнату.)

В а л ь к е н д о р ф

Итак, здоровье принца Христиерна!
Господь храни и укрепи его!

Д ю в е к е

Его возлюбленной того желаю!

Х р и с т и е р н

Зачем бы это? Не нашел пока он
Себе возлюбленной, когда ж найдет —
Ее счастливой сделать он сумеет!

Д ю в е к е

О, нет! Себя лишь одного он любит!

Но это кстати: это и толкает
Его к величию! Он королеву
Себе, конечно, сыщет и на троне
Сидеть с ней рядом, как с подругой, будет.
Но будет люб он ей? Она ему?..
Да, повторю опять: Господь спаси
И укрепи ее!

Х р и с т и е р н

А если он
Ее действительно полюбит? Если
Любить себя в ней самого он будет?..
Да так и есть! Уверен в этом я!

(Хватает ее за руку.)

Д ю в е к е

Пустите!.. Писарь!.. Валькендорф! Нечестно
Так поступать! Вы обманули нас! —
Не писарь — принц переодетый вы!

Х р и с т и е р н

Я Христиерн! Вы угадали! Что же?
Не можем разве мы друзьями быть?
Я много слышал о красе твоей...
Теперь воочию ее увидел...
А о моем лице что скажешь? Правда ль
Оно так страшно?

Д ю в е к е

Нет, сейчас оно
В наряде праздничном! Оно прекрасно!..
Меня вы поняли? В другое ж время
Оно, я знаю, может испугать.

С и г б р и т а

(Входит.)

Там просто бунт. Какой-то дворянин
Напился пьян и уложил на месте
Простого бюргера! Народ квартал
Весь оцепил!.. Скорее запереться!..

(Быстро уходит.)

Х р и с т и е р н

Так вот как! Пьяный дворянин убил
Простого бюргера!.. Убил!.. Зазнались
Вы, дети крови! Ладно, утолю

Я вашу жажду! Эрик Валькендорф!
Скачи, не медля, во дворец! Оттуда
Вернись с солдатами! Рассей толпу,
А дворянина мне на суд представь!

В а л ь к е н д о р ф

Исполню все!

Х р и с т и е р н

За мужиков и граждан —
Страны ядро — стоять никто не хочет,
Так постою же я!.. Скорее, Эрик!

В а л ь к е н д о р ф

Я здесь найду вас?

Х р и с т и е р н

Во дворце!.. Ступай!

Валькендорф уходит; шум то усиливается, то затихает.

Я помню, в Библии о деле злом,
Иосифа продаже, говорится:
Бог дело злое обратил в добро.
Вот так же зла желали мне те люди,
Благодаря которым в детстве я
Был удален отцом из дома, отдан
На воспитанье бюргеру простому, —
Бог дело злое обратил в добро!
Я научился люд простой любить,
Ценить крестьян и граждан — корень тот,
Который соками питает ствол
И крону древа-государства! Сгибнет
Оно без корня, я и охраняю
Тот корень. Если же дворянам быть
Плодами добрыми охоты нет,
Я оборву их, не жалея! Сами
Они пример мне подали жестокий,
Как поступать с подвластными нам можно!

Д ю в е к е

О, благородный принц! Лишь речи ваши
Жестоки! Люди не поймут, быть может,
Вас так, как должно, я же понимаю!
Вы сильны духом, сильны волей!.. Бог,
Всем миром правящий, и вас направит
На должный путь! Прощайте! Увидала
Теперь таким вас, как того желала!

(Хочет уйти.)

Х р и с т и е р н

Одну минуту! Я сказать хочу
Еще вам что-то. К цели прямо я
Пойду! Давно о вашей красоте
От Валькендорфа слышал, а теперь
В ней убедился сам. Прекрасны вы!
И даже боле, чем прекрасны! В вас
То сочетанье редкое телесной
Красы с духовной!.. Сердце покорили
Мое вы! Должен я сейчас уйти,
Но прежде с вас беру я обещанье
На бал явиться в ратушу! Вас встретит
Там Валькендорф и проведет обоих —
И вашу мать, и вас — ко мне! Ни слова!
Иначе бал задам я во дворце
И позову туда вас! Вы придете!

Д ю в е к е

Вы так уверены!

Х р и с т и е р н

Да, вы должны!
Я вас люблю!.. Каков теперь ответ ваш?

Д ю в е к е

Будь я принцессой — был бы мой ответ,
Конечно, «да», но так как я лишь дочь
Простой трактирщицы, то...

Х р и с т и е р н

То?..

Д ю в е к е

То... нет!

Х р и с т и е р н

Вот что! Принцессою могла бы ты
Меня любить, теперь же — нет! Супругой
Ты быть не прочь; любовницей — стыдишься!

Д ю в е к е

Меня вы поняли не так! Причислить
Поторопились к женщинам ничтожным!
Я не из их числа! Люби я вас
Любовью истинною — отдалась бы
Я вам всецело, — что мне суд людской?

Судью правдивее ношу я в сердце!
Не утрашили бы меня насмешки,
Когда бы знала, что могу счастливей,
Добрей и лучше сделать я того,
Кого всем сердцем полюбила!

Х р и с т и е р н

Да!

Его ты можешь лучше и добрее,
Счастливей сделать! Дювеке моя!
Благословлять тебя весь север будет!
О трех валькириях, я помню, слышал.
О сестрах трех, которые всегда
Летали вместе об руку рука.
Таковыми ж сестрами родными можно
Назвать и Данию с Норвегией
И Швецией! Одна в их жилах кровь!
И заключить хочу в свои объятья
Всех трех и жить всем трем на благо! Ты
Мне в том поможешь!

Д ю в е к е

Принц!

Х р и с т и е р н

Ответь же мне,
Ответь по чести!

Д ю в е к е

Вы переодетым
Сюда явились, к хитрости прибегли,
Ответа ж честного хотите! Впрочем,
Его дала уж вам!

Х р и с т и е р н

О, не старайся
Улыбку скрыть!.. Я знаю, мать твоя
Мне не откажет — явится на бал.
А с ней и ты... и ты... молю!

Д ю в е к е

Во всем я
Повиноваться ей готова!

Х р и с т и е р н

Ей

И — сердцу, Дювеке! Моя голубка¹,
Спустись в ковчег мой и маслины ветвь
В мою вплети корону!

Д ю в е к е

До свиданья!

Х р и с т и е р н

Так ты?..

Д ю в е к е

Я дочь послушная!..

Х р и с т и е р н

А мать

Придет наверно!.. Будешь танцевать?

Д ю в е к е

Забыть хочу я в танцах о короне!

Х р и с т и е р н

И я, с тобой танцуя, все забуду!

Дювеке убегает; Христиерн смотрит ей вслед. Музыка внезапно смолкает, на сцене снова темнеет, и перед зрителями опять темница. Слышатся тихие звуки старинного танца. Из алькова доносится голос Христиерна.

Х р и с т и е р н

Еще один, один лишь тур, голубка!

Б е н т

(Вскакивает.)

Король, вы бредите!

Х р и с т и е р н

Я брежу, да!

Я днями юности прекрасной брежу!

Она умчалась, как и все умчалось,

Что было светлого!.. Дай руку мне!

Еще я верю в дружбу!

(Пауза.)

Как же долго

Воспоминанья старые хранят

Свой аромат, как те фиалки, что

По многу лет лежат, как память, в книгах!

Фиалки... Имя Дювеке ведь так же

Благоухает!..

¹ Дювеке — голландское имя, означающее «голубка». — Примеч. перев.

(Опять засыпает.)

Б е н т

Спит опять! Спи с Богом! —
Ему приснились счастья дни былого!
Приснилась Дювеке!.. Да, да! Я помню
Тот бал, что в ратуше был дан. Я сам
На нем присутствовал, — драбантом был я.
Гремела музыка... веселье... танцы...
Толпы блестящих дам и кавалеров...
Одна лишь знать! Вдруг в боковые двери
Ввели двух женщин: старшая была
Сигбрита, младшая же дочь ее.
Как все таращились на них, на дочь
Простой трактирщицы! Наместник сам
Ее на танец пригласил!.. Эх, юность!
Кто не был молод, не любил? Вдруг в зал
Вошел гонец: «Король опасно болен!»
Немедля принц уехал, а затем
Взошел на трон. В столице скоро был
Построен дом — ну, что твоя игрушка!
То приготовил золотую клетку
Своей голубке Христиерн. Увы!
Она отравленных поела вишен
И умерла. О, пусть же грезы счастье
Перед тобой бывшее воскресят!
Пусть не тревожит сон твой крови вид!
Она рекой лилась и... льется! Что-то
Наш Копенгаген? Взят ли?.. Голова
Болит от скорбных дум! Прилягу!.. Спи же,
Король мой! Грезь о Дювеке своей!

Прислоняется головой к камину. Снова начинается музыка, и декорация опять меняется.
Просторная комната в доме Дювеке и Сигбриты в Копенгагене.

М о н а х

(Глядя в окно.)

Да вот толпа там у ворот стоит!
И все ведь знать!.. Частенько их Сигбрита
Там на морозе заставляет ждать!

Ф о б о р г

(Входит с корзиной вишен.)

Отец мой!

(Останавливается в дверях.)

М о н а х

А! тебя небось впустили!
Да! Торбен Оксе с слугами своими
Сюда дорожку знает! От него ты?

Ф о б о р г

Он вишни Дювеке прислал вот эти!

М о н а х

А где ж письмо?

Ф о б о р г

Да никакого нет!

М о н а х

Так на словах что должен передать?
Остерегись солгать! Твой духовник я!
Неправды каждое словечко станет
Меча стального острием, и ты
Пойдешь по ним к Царя царей престолу!
Так без утайки мне поведай все!

Ф о б о р г

Не искушай меня! И так я грешен!

М о н а х

Кто лучше Бога и меня то знает?
Мне и твои, и Торбена, и даже
Все Дювеке грехи известны! Любят
Они друг друга и бежать хотят!

Ф о б о р г

О Боже, Боже!

М о н а х

Грешник недостойный!

Ф о б о р г

Сказал не я вам это! Их не предал!

М о н а х

Чистосердечен будь! Открой мне все!

Ф о б о р г

Мой господин велел мне эти вишни
Отдать ей в собственные руки!

М о н а х

(Берет у него корзинку.)

Отдал! —

Ее я правая рука! Она

Ее ведет к спасенью! Ну, скорей
Мне говори, что знаешь об их бегстве!
Но помни, все твои грехи я знаю,
Хоть и молчу о них. Поставщиков
Счета фальшивые...

Ф о б о р г

О, пощадите!
Скажу я все! Мне кажется... что шлет...
Он вишни в знак... что все готово... Должен
Я ей сказать: «Теперь они созрели!»
Должно быть... кажется... сегодня в ночь!..

М о н а х

Сегодня в ночь!.. *(Тихо)*. Так умереть пора ей!

Ф о б о р г

Что говорите вы! О, я несчастный!
Меня вы губите!.. Зачем вы это?!

М о н а х

(Слегка отвернувшись, поливает ягоды из пузырька.)

Закрой глаза, как закрываю я
Свои на все твои грехи!

Ф о б о р г

О Боже!
Меня погубите вы!

М о н а х

Да, коль слово
Одно ты скажешь!

(Отдает ему корзинку.)

Вот, бери!.. Идут!

Д ю в е к е

(Входит.)

Отец святой! Заставила вас ждать!..
А, Фоборг!.. Бледен ты! Должно быть, строго
Святой отец с тобою обошелся!

М о н а х

Так надо!

Д ю в е к е

Разве здесь исповедальня?

(Фоборгу.)

Ты что принес? Ах, вишни! Так уже...

Созрели?

Ф о б о р г

Да, теперь они созрели!

Д ю в е к е

Так господину передай поклон
И благодарность!

Ф о б о р г

(Падая на колени.)

О, молю, простите!

И помолитесь за меня!

Д ю в е к е

Что это?

Что с ним? Он болен!

М о н а х

Словом увещанья

Я пробудил в нем совесть!

(Фоборгу.)

Ты прощен!

Ступай!

Фоборг закрывает лицо руками и уходит.

Д ю в е к е

Да что такое? Что он сделал?

Вы, верно, слишком строги были с ним!

Мы грешны все!

М о н а х

И этим утешаться?!

Вам Торбен Оксе эти вишни шлет

Эмблемой сердца грешного плода —

Любви меж вами!

Д ю в е к е

Что вы говорите?

Любовь меж мной и Христиерном, та

Была б действительно теперь грехом!

Теперь он муж Елисаветы!.. Тою

Любовью оба мы когда-то так

Гордились! Ныне уж не то! Я старше

Успела стать и думаю иначе!

В любви же к Торбену не признавалась

Я вам, отец, и не просила вас

Мне отпустить ее, как грех! Ее
Я не считаю грешной! Он свободен!

М о н а х

Свободен? Разве он не связан знатной
Своей родней? На вас женитьба всех
Их оскорбит... чтоб не сказать похуже!

Д ю в е к е

Монах!.. Не стоит, впрочем, горячиться...
Еще не время! Кончим это! Вот

(Предлагает ему ягод.)

Хотите ягод? Спелые! Возьмите
Да мне о странствиях порасскажите
Своих.

М о н а х

Не трону их я, да и вам
Совет мой бросить их, а с ними вместе
И мысль греховную! Родня его
Вас не потерпит! Да и сам он вас
Несчастной сделает! Пройдет пыл первой
Любви, а там — раскаянье придет!
Родней отвергнутый, возненавидит
Свою голубку он! Поверьте мне!

Д ю в е к е

Кто говорит о том, что любим мы
Друг друга?

М о н а х

Все и каждый при дворе,
Глаза и щеки ваши, наконец!..
Но не забудьте — Бог не дремлет! Ядом
Любой цветочек напитать Он может...
И даже ягоды вот эти!.. Дьявол
Вас искушает! Вы в борьбу вступить
С ним не хотите — Бог вас покарает!..
И час возмездья близок!

Д ю в е к е

Нет, Он добр!
Ведь Он блудницу даже пожалел!

М о н а х

Учением Лютера и вы успели
Уж заразиться! Но скажите мне:



Стояла падшая та перед Ним
Так вызывающе, как вы? Нет! В прахе
Она лежала, казни ожидая!

Д ю в е к е

Ну, если пала я, так Он же мне
Поможет встать!

М о н а х

Падешь еще ты ниже!
Как Люцифер!

(Уходит.)

Д ю в е к е

Что он сказал!.. Спаситель,
И ты, Пречистая! Меня, молю,
Вы не оставьте!.. Долго я боролась
С собой, обдумывала, размышляла...
Нет! Не грешу своей любовью я
Ни перед Богом, ни пред Христиерном!
О, как любить умеет Торбен! Ради
Меня он родину, родных и власть
Забыть готов! Бежим мы в ночь сегодня!
Так вы «созрели», вишни, — дар последний,
Что посылает мне он здесь!.. Еще,
Быть может, много лет та вишня будет
Весной цветами, осенью плодами
Вся убираться, но — не для него!
С нее уж вишен не сорвет мой Торбен!
Судьба Бог весть куда его забросит!
И с ним меня!.. Но с милым всюду рай!

(Ест вишни.)

Быть может, ласточка расскажет вишне
О наших странствиях! «Не дремлет Бог!
Он может ядом напитать цветок!
И даже ягоды вот эти!» Строг ты,
Монах, уж слишком! Бог же милосерд!

(Опять ест вишни.)

Какие сладкие! Мне жаль лишь мать!..
Меня простишь ли ты, моя родная!..

С и г б р и т а

(Входит.)

Ты здесь! Здесь холодно! Тебе к обедне

Идти пора!.. Ты девушку с собой
Возьми!

(Смотрит в окно.)

Что, любо вам теперь порог
Мой обивать, спесивые дворяне?
Да, подежурьте нынче у ворот
«Простой трактирщицы»!

Д ю в е к е

Хоть от окна-то
Ты отошла бы, матушка! Зачем
Их так дразнить? Прими их! За советом
К тебе, за помощью они пришли!

С и г б р и т а

Вот то-то! Вижу их насквозь! Явились
Ко мне за помощью, а сами «ведьмой»
Меня зовут! Во всех несчастьях их
Виновна я! Костра давно достойна!

Д ю в е к е

Дрожу я часто, матушка, за вас —
За Христиерна и тебя! Железной
Рукой вы правите. Но и железо
Ведь сокрушить возможно! Знаю, ждут
Дворяне датские давно минуты
Удобной! Герцог Голштинский давно
Уж Христиерну недруг! Любек тоже!
Народ же... Да!.. Конечно, крепко любит
Он Христиерна... но народ так слаб!
Они рабы, и рабские в них души!

С и г б р и т а

Пустое! Прочен Христиерна трон.
Не пошатнется! Ныне породнился
К тому же с Австрией он сильной!.. Нет!
Он будет властвовать, а с ним и я!..
Пусть злится Любек! Больно уж завистлив!
Бояться нечего нам и дворян!..
Цветущей Дания страной такой же,
Как и Голландия, я верю, станет!
Оттуда родом ведь недаром мы —
И королева и *(указывая на себя)* министр! Сюда
Переселить успели мы уж много
Голландцев добрых! Пусть датчан научат

Они ремеслам, земледелью! Пусть
Ее промышленность поднимут!

Д ю в е к е

Да!..

Но что народ на это говорит?

Купцы из Любека? И все дворяне?

С и г б р и т а

И Торбен Оксе? Да? Тебя недавно

Он посетил опять... Что предан он

Тебе — я знаю; но опасен также!..

Откуда вишни эти?

Д ю в е к е

От него.

Принес их Фоборг. Торбена же я

Дня два, пожалуй, не увижу!

С и г б р и т а

Значит,

Ты им тем больше будешь занята!..

Меня ведь трудно провести! Признайся

Во всем мне! Верь, дитя: надежней друга,

Чем мать, ни в ком ты не найдешь! Тебя...

Но, Боже! Что с тобой?! Ты побледнела!..

Д ю в е к е

Мне дурно... Боже! Все горит внутри!..

С и г б р и т а

Дитя! Ко мне!.. Сюда... Присядь!..

Д ю в е к е

Монах!

Теперь слова твои я понимаю!..

С и г б р и т а

Сюда! На помощь!

Д ю в е к е

Я горю вся!.. Яд!..

Х р и с т и е р н

(Входит.)

Что это значит?! Дювеке моя!

С и г б р и т а

Она умрет!.. Дитя мое!..

Д ю в е к е

Король!

Вы здесь!.. Туман нас разделяет!.. Тяжко!..

Горю я, матушка!.. О, Торбен!..

(Умирает.)

С и г б р и т а

Яду

Ей дали в вишнях!..

Х р и с т и е р н

Ад и смерть!

С и г б р и т а

Скончалась!..

Х р и с т и е р н

Сказала: Торбен... Торбен Оксе? Да?

С и г б р и т а

Да, вишни он прислал ей!

Х р и с т и е р н

Умерла

Моя голубка!.. Нет! Нет! Быть не может!

Га! Торбен Оксе! Га! Как ни высок ты,

Я доберуся до тебя! Палач

Тебя казнит! Я крови жажду, крови!

Музыка внезапно смолкает, разрешившись диким диссонансом; декорация снова меняется — перед зрителями опять темница. Бент привстает и прислушивается к голосу Христиерна, раздающемуся из алькова.

Х р и с т и е р н

Я крови жажду!

Б е н т

Кровь ему приснилась!..

Она рекой лилась в Стокгольме! Кровь

И виноватых и невинных! Словно

Свирепый смерч, что губит и с плодами

Деревья, — всех губил ты беспощадно!

Твой ангел добрый — Дювеке тогда

Тебя покинула уже!.. Бедняжка

Была отравлена! И ты, как тигр,

Рассвирепел, почуяв кровь!.. Дворяне

С народом так же поступали. Но

Ведь то с народом черным! С ним-то можно

Как со скотом каким-то поступать!
А ты, ты вздумал за дворян приняться!
Ты окорнать задумал крылья хищным
И гордым вранам! Тут-то по стране
Их злое карканье и раздалось
О Христиерне Кровожадном!.. Нет!
Ты другом бедных был! Твоей рукою,
Когда законы ты писал, водили
И ум и сердце! Но твой гений злой
Ее подталкивал, когда она
Бралась за меч! И датское дворянство,
Тобой напуганное, предалось
Врагу. За помощью ты обратился
К родне и отплыл за море с семьей.
Стоял в тот день я на валу и видел:
Народ вдоль берега бежал, корабль
Твой провожая... Плакали все горько...
И я заплакал... Был обманут ты
В своих надеждах, мой король! На дружбу
Тот не надейся, кто в размолвке со счастьем!

(Пауза.)

Твоя супруга умерла, а дети
Разбросаны по свету... Где лежит
Сигбиты старой прах — никто не знает!
А ты, король мой, где ты ни блуждал,
Ища друзей и помощи! На миг лишь
Блеснул надежды луч и — обманул!
Поверил недруга ты обещанью,
Вернулся в Данию, и вот — в тюрьме!
Цари земные! Что вся ваша власть,
Когда Небесный Царь вас покидает!..

(Садится возле алькова и прислоняется головой к кровати.)

К твоей постели прислонить хочу
Свою седую голову, король мой!
Заря уж брезжит, я же не успел
И отдохнуть порядком! Бент до гроба
Тебе служить, король мой старый, будет;
Как пудель верный, спать у ног твоих,
Умрешь — могилу сторожить твою!

Засыпает; начинается тихая торжественная музыка; слышатся мотивы погребальных псалмов; с ними сливаются звуки утренних молитв, раздающихся за стенами темницы; в решетчатые окна ударяют лучи солнца.

Х р и с т и е р н
(Просыпаясь.)

Проклятье! Горе!.. Бент!
Ах, нет! Все это
Мне лишь пригрезилось!

(Отдергивает занавеску и еще несколько времени сидит на краю постели; он сед, одет в грубое простое платье.)

Темница та же!

(Смотрит на Бента.)

Как крепко спит товарищ верный мой!..
Что мне пригрезилось! Вся жизнь моя
Передо мной как будто промелькнула.
Я молод был опять... с своей голубкой
Беседу вел я в Бергене... Потом же
Я в Копенгаген перенесся, где
Ее убили!.. Я как будто сам был
Всему свидетелем незримым. Да!
Сгубили Дювеке мою!.. Туманом
Заволоклась вся жизнь моя, и кровь
Ручьями хлынула! Нарушить клятву
Не постыдились датские дворяне!
Изгнанником в земле чужой бродил я,
А на моем престоле иноземец —
Голштинский герцог восседал спокойно!
Потом опять приснился Берген мне.
Оттуда в Данию я отплыл, слову,
Врагом мне данному, поверив слепо!..
То было ночью; на корме стоял я...
Передо мной лежал мой Копенгаген!
Мы королевского посланца ждали...
Вдруг над водой всплыла морская дева...
Она на Дювеке была похожа!
И грустным голосом она запела:
«Обманут ты и предан, мой король!»
И вот корабль наш с якоря снялся
И поплыл к Сендерборгу! Красный замок,
Что в Зунд глядится, стал моей тюрьмой!
Слуга мой, карлик бедный, плакал горько,
Твердя мне то же: «Ты обманут низко
И предан, мой король!» Да, я был предан!
Во сне всю жизнь я снова пережил!
Сон кончился, но нет конца неволе!

Я поседеть успел в тюрьме!.. А ведь
Задатки добрые во мне таились...
Любовью я горел к родной стране.
Но Царь царей судил мне в узах кончить
Мой век! Теперь один мне путь — вокруг
Стола вот этого. И в камне твердом
Мой палец борозду уже провел!..
Мне снятся сны в темнице, Фредерику —
В гробнице золотой — о том, что сделал
Со мною он!.. Нет! Мне ли осуждать!..
Как славно светит солнышко в окно!
Ах, если бы теперь в зеленый лес,
На волю!.. Как там хорошо!.. А что-то
Творится в Дании? Народ мой бедный!
Междоусобица, война!..

(Преклоняет колена.)

О Боже,
Даруй ты Дании злосчастной мир!
Повырви с корнем сорные все травы,
Что пьют из почвы, из народа соки!
Обрежь дворянам — вранам хищным, крылья!
Простри свою десницу над страной!
Посей в народах севера скорее
Любви и дружбы семена! Пускай
Сердца их братскою горят любовью,
Как в Дании гербе они горят!¹

До слуха короля долетают напевы утренних псалмов; он стоит с минуту, погруженный в думы; люк наверху в стене открывается; оттуда спускают лестницу, и по ней сходит рыцарь.

Рыцарь

(Спускаясь, говорит кому-то наверху.)

Один спущусь! Мне никого не надо!
Лишь лестницу держите крепче! Вот
Я и спустился!

(Христиерну.)

К вам послом явился
Я, благородный господин мой!

¹ Намек на пылающие в датском гербе сердца. — Примеч. перев.

Х р и с т и е р н

Как?

Одни вы? Вам позволили со мною
Наедине поговорить? Скорее
Скажите мне, что Копенгаген?
Все осажден? И кто послал ко мне вас?

Р ы ц а р ь

Все в Дании теперь спокойно! Сняли
Осаду с Копенгагена, и правит
Страною Третий Христиан!.. Велел
Он мне привет сердечный передать вам
И вот письмо!

(Подает письмо.)

Х р и с т и е р н

Дай Бог ему успеха!
Он любит Данию! Пусть с миром носит
Венец тяжелый королевский!

Р ы ц а р ь

Вам,
Конечно, ведомо, мой господин,
Что испытать пришлось земле родной
По смерти дяди вашего. Дворянство
И духовенство высшее нарочно
Ему преемника не избирали,
Чтобы самим хозяйничать в стране!
Пошли раздоры... смуты... Граф Христоффер
С войсками высадился, началась
Междоусобная война!.. А Любек
Послал войска в Голштинию. Ранцау,
Однако, их отбросил со стыдом.
Ютландцы и фионцы королем
Признали Христиана, но мятежный...

Х р и с т и е р н

Да, шкипер Клемент! Чем он кончил?

Р ы ц а р ь

Скоро
Его счастливая звезда померкла!
И голова его теперь в свинцовой
Короне выставлена напоказ!
Да, «распрю графскую» забудем мы
Не скоро!..

Х р и с т и е р н
Копенгаген! С ним что было?

Р ы ц а р ь
Да худшие его враги скрывались
Ведь в нем самом! К ним голод и болезни
Еще прибавились, и Копенгаген
Открыл мне ворота! И на коленях
О милости просили герцог Альберт
И граф Христоффер. Христиан в столицу
Вступил торжественно. Низвергнул он
Крамольников-епископов и ввел
В стране ученье Лютера!..

Х р и с т и е р н
Вот радость!
Благодарю тебя за то, мой Боже!
Тебя же, Христиан, благословляю!..

Р ы ц а р ь
Вы плачете, мой господин!..

Х р и с т и е р н
Да, плачу!
Что ж мне еще осталось, старику,
Невольнику?.. Лишь плакать!..

Р ы ц а р ь
С этих пор
Вам предоставят большую свободу!
Так повелел король! — Письмо прочтите!
Не может он пока освободить
Совсем вас!.. Надо дать страстям улечься!

Х р и с т и е р н
Сливаются все буквы... Слабы стали
Мои глаза!

(Опирается на стол.)

Р ы ц а р ь
Дадут вам помещение
Получше. Будете в саду гулять,
На свежем воздухе, на солнце...

Х р и с т и е р н
Как!
На воздух выйду!.. Море я увижу!..
О, вы с собою жизнь мне принесли!..

Глаза туман мне заволок, но вижу
У вас я слезы на глазах, мой рыцарь!
Лицо знакомо ваше мне, но где
Я видел вас — не помню... Были вы
Так молоды тогда... Не брежу ль я?
Вы так похожи на... на Христиана!

Рыцарь

(Протягивая ему руку.)

К тебе пришел он, Христиерн!

Христиерн

Кузен!

Мой друг и Дании король!

Христиан III

Пусть Бог

Ее хранит, и ты вздохни свободней!

Христиерн

Благодарю тебя! Ты вечер жизни

Моей лучами солнца осветил!..

Дневной свой путь уж я прошел!

Христиан III

Так пусть

Хоть вечер будет ясен твой! Увы!

Нельзя с тобой мне властью поделиться:

Один строною править должен...

Христиерн

Ты!

Венец по праву твой! Его стяжал ты

Как рыцарь истинный! Но помни Бога

Ты, царствуя! Тебе примером я

Могу служить, что значит власть земная!

Меня венчали три венца, а ныне

Мое все царство — этот уголок,

А злато — солнышка лучи в окне!

Христиан III

Сюда из Фленсборга заехал я.

Со мною свиты нет; лишь двое-трое

Из самых близких лиц. Один смотритель

Тюрьмы об этом посещение знает.

Оно истории принадлежать

Не должно! Сердцу повинуюсь, я

К тебе пришел. Сердечное пожатье

Красноречивей слов! Так не питай же
Ты злобы к мертвым! Вспомни, все мы грешны!

Х р и с т и е р н

Мои грехи напишут на скрижалях
Истории мои враги!

Х р и с т и а н I I I

Зато

Отсюда, из твоей темницы, голос
Твои вины смягчающий раздастся!
Да вспомнят люди и добро, что ты
Народу делал! Время справедливо!

Х р и с т и е р н

Вчера в окно крылом ударил лебедь,
И я подумал: смерть моя близка!
Но нет! То мне свободу предвещало!..

Х р и с т и а н I I I

В наш Каллундборгский замок ты уедешь.
Там чудная охота ждет тебя
И ловля рыбы!.. Дай лишь всем страстям
Улечься, и корабль мой королевский
Тебя туда доставит!.. Ты доволен.
Мне это говорит твое пожатье!
Итак, на волю!

Х р и с т и е р н

Да, на волю! Эй!
Проснись, товарищ верный мой! На волю
Зовут нас!.. Это что? Рука как лед!..

Х р и с т и а н I I I

Он, верно, болен!..

Х р и с т и е р н

(Наклоняясь к лицу Бента.)

Тысяча громов!
Не болен!.. Нет!.. Он мертв!.. Мой старый друг,
Товарищ верный мой в неволе!.. Мертв!

Х р и с т и а н I I I

Ужели?..

Х р и с т и е р н

Вот что значил лебедь белый!
Он возвестил свободу нам обоим,
Но ты вкусил ее, друг старый, первым!..

Х р и с т и а н I I I

Тебе на воздух нужно!.. Кликну я
Сейчас людей!..

Х р и с т и е р н

Рассказами своими
Ты помогал мне коротать часы,
Что так томительно текли в неволе!
Еще сегодня ночью ты прикрыл
Меня своим плащом и мерзнул сам!..
Кому я в жизни больше был обязан?
Король, гляди, — он из народа вышел!
О, будь же добр к народу! Им страна
Крепка!

Х р и с т и а н I I I

(Прикрывая лицо Бенга плащом.)

Накрыли саваном тебя
Два короля!

Х р и с т и е р н

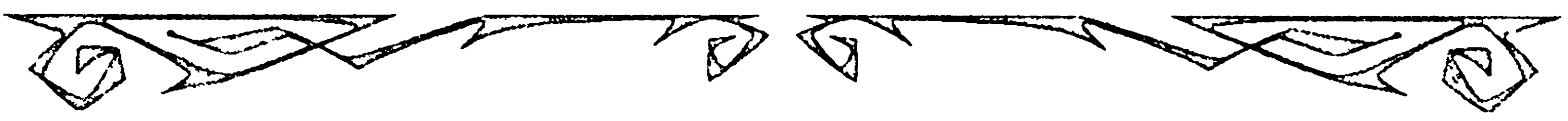
А твой товарищ старый
Рыдает горько над тобой! Монетой
Ты золотою был, лишь без герба!..

Х р и с т и а н I I I

Бог знает, что творит! Ничто — мы сами
Пред ним, ничто и власть вся наша! Брат,
Идем же!.. Скоро Бог залечит раны
Как наши, так и Дании родимой!

ЗАНАВЕС





СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихотворения помещены здесь приблизительно в том же порядке, в каком они находятся в датском издании, с более, впрочем, строгим соблюдением хронологического порядка. Возможностью украсить наше издание собранием стихотворений Андерсена в таких прекрасных переводах с подлинника мы всецело обязаны любезному содействию русских поэтов, которым и приносим здесь нашу искреннюю благодарность.

А. и П. Ганзен



УМИРАЮЩЕЕ ДИТЯ (1825 г.)

Как устал я, мама, если бы ты знала!
Сладко я уснул бы на груди твоей...
Ты не будешь плакать? Обещай сначала,
Чтоб слезою щечки не обжечь моей.
Здесь такая стужа, ветер воет где-то...
Но зато как славно, как тепло во сне!
Чуть закрою глазки — света сколько, света,
И гурьбой слетают ангелы ко мне.

Ты их видишь?.. Мама, музыка над нами!
Слышишь? Ах, как чудно!.. Вот он, мама, вот,
У кровати — ангел с белыми крылами...
Боженька ведь крылья ангелам дает?..
Все цветные круги... Это осыпает
Нас цветами ангел: мамочка, взгляни!
А у деток разве крыльев не бывает?
Или уж в могилке вырастут они?

Для чего ты ручки сжала мне так больно
И ко мне прильнула мокрою щекой?
Весь горю я, мама... Милая, довольно!
Я бы не расстался никогда с тобой...
Но уж только, мама, ты не плачь — смотри же!
Ах, устал я очень!.. Шум какой-то, звон...
В глазках потемнело... Ангел здесь... все ближе...
Кто меня целует? Мама, это он!

В. С. Лихачев

РОЗЫ И ЗВЕЗДЫ

(Из первого произведения Андерсена
«Прогулка на остров Амагер», 1828 г.)

Я знаю две звезды — лучистей звезд небесных,
Две розы видел я — прекрасней роз земных.
Упала чистая слеза с тех звезд прелестных,
Рассыпавшись росой на розах молодых.
И сердцем полюбил я их красу живую,
Она дороже мне и неба и земли...
Ужель напрасно я надеюсь и тоскую?
Ужели розы те и звезды не мои!..

Гр. А. Голенищев-Кутузов

В МИНУТУ СМЕРТИ (1829 г.)

Блеск вижу необъятный, и мысль смелей летит!
Свет, свет необъяснимый мои глаза слепит!
В усилиях мощных духа поник я головой...
Свободнее на сердце, яснее мыслей строй...
И крылья, крылья воли даны нежданно мне,
Несусь быстрее мысли к надзвездной вышине!

В лазоревых пространствах мне звезд не сосчитать!
И Божий лик я вижу... его не описать!
Бессмертье ощущаю во всем, в своей груди!
Весь мрак и все туманы остались позади,
И ясно познаю я сердца людей других...
Все немощны, все слабы, но нет совсем дурных!

О, если б можно было в сердцах людей читать
При жизни, здесь, и раньше, чем станешь умирать!
Как знали бы мы ближних, чтоб все и вся прощать!
Зачем же только в смерти дано нам познавать?
И вот я умираю... душа моя вольна...
Стремленья в ней, и трепет... и мир, и тишина!

К. Случевский

ЛЮБОВЬ (1830 г.)

Любовь сильна, как смерть,
Прекрасна, как утренняя заря.
Эленшлегер

Вот солнце склонилось на лоно морское
И рдеет, пылая любовным огнем.
И смолкло все... Нет! никаким языком
Нельзя передать, что таится в покое
Земли умиленной, и как, шелестя
Под ветром, головки свои наклоняют
Малютки цветы и тихонько лобзают
Друг друга, от всех свои грезы тая...

И темно-зеленый камыш обнимает
Залив, где колышется лодка; на ней
Восторженный юноша с милой своей;
Он молча глядит, он блаженно страдает...
А небо везде отражает свой свет:
В глазах, в синеве, в засыпающем море...
Но самое светлое небо — во взоре
Безумцев, которых счастливее нет...

Когда ж в небесах мириады мерцают
Светил, так, что кажется, — небо сквозит,
И думы твои, как и звезды, блуждают
В обителях духа — увы! говорит
Тебе твое сердце: дитя ты!.. Но строго
Глядишь ты, как муж вдохновенный, и вот
Ты мыслишь, ты любишь, ты веруешь в Бога,
И, духа ища, дух твой в небе живет.

Я. П. Полонский

ВЕЧЕР (1830 г.)

Солнце садится, и небо алеет закатом,
В копнах стоящее сено полно ароматом,
В воздухе пляшут и хором жужжат комары.
Тихо косарь утомленный подходит к деревне.
Гордо поодаль курган возвышается древний;
Там, нарушая затишье вечерней поры,
Юность резвится, и всплескам веселого смеха
Вторит над лугом и сонными рощами эхо...

К дому причетника пышный склоняется бук.
Старец под буком; с ним дети, ягнята и птицы
Дружной семьею... Пушистая шкура лисицы
Сохнет, повешена кем-то на сук.
Аист в раздумье стоит на кудрявой верхушке.
Лужей стал пруд, — но забили тревогу лягушки:
Парни, подростки гурьбою поят лошадей,
Свищут, поют... и уносятся к шире полей.

Двое ребят краснощеких, здоровых, ядреных
Заняты, видно, игрою из самых мудреных:
Палкой чертят на земле и строенья, и двор;
Мать на отцовский кафтан нашивает заплаты.
Звон колокольный несется в безмолвный простор,
Господа славит крестьянин молитвой средь хаты;
Набожно дети стоят вокруг большого стола, —
Сущие ангелы: дать бы им по два крыла.

Там, где малина растет, у церковной ограды,
Села старуха на камне в час тихой отрады;
Прядь серебристых волос шевелит ветерок...
Тут же, у ног, с молоком деревянная чашка;
Палку держа на коленях и охая тяжко,
Что-то старуха жует: верно, хлеба кусок...
Двое влюбленных сидят на пригорке отлогом,
Там, за стеною... И пусть их сидят себе с Богом...

В. Величко

СЫН ПУСТЫНИ (1830 г.)

Оседлаю коня полудикого
И помчусь в беспредельную даль:
Не уйду ли от горя великого,
Не развею ль по ветру печаль!

Больно сердцу: как солнце палящее
Жжет в родимой пустыни пески,
Жжет мне сердце желанье томящее,
Рвется грудь от любви и тоски.

Загорается небо безбрежное
Миллионами ярких светил,
Но светлей горит пламя мятежное,
Что в душе я своей затаил.

Кровь горячей волной подымается...
Конь мой! Дальше, в раздолье степей!
Сердце, сердце во мне разрывается
От любви безнадежной моей!

Вера Рудич

ГЕФИО¹

Вот Гюльфе пирует — король молодой...
Горят рудо-желтые свечи.
Сверкает и пенится мед хмелевой,
Медовые слышатся речи...
Обходит веселая чаша гостей,
И снова идет вкруговую.
А странница с арфой стоит у дверей, —
Сыграет... — «Ладь песню другую!..»
Звенит, говорит и рокошет струна.
Срываются звуки каскадом.
Растут, словно буря, — стеною стена,
Бегут диких буйволов стадом,
И песня бушует, как ветер степей...
Так бьются — за стаею стая —
Студеные волны холодных морей,
Скалистые кручи лобзая!..
Все громче и громче... Вот жалобный стон
Впивается в сердце стрелою.
Все тише, все тише... То арфы ли звон,
Иль птицы летят стороною?..
И слушает Гюльфе, не чуя души:
— За песню певиче награда, —
Две пары волов запрягай и паши
Лесную новину, услада!..
Что́ за день успеет отрезать твой плуг,
Прими в дар из рук из царевых!..
И странница вышла, и смолкли все вдруг
В пиру на скамьях на дубовых...
— Чу, словно запела она на струнах!..
— Нет, буйволов реву я внемлю!..
— Чу, словно гроза расходилась в горах!..

¹ Сев. мифол. В Эдде есть сказание о Гефione, женщине из рода Азов, которая получила от шведского короля Гюльфе в дар столько земли, сколько могла вспахать на 4 быках в одни сутки. Она, превратив в быков своих сыновей, и отпахала от Швеции нынешнюю Зеландию. — *Примеч. перев.*

— Нет, плуг это врезался в землю!..
— Чу, песня опять заиграла — грозна,
Как шум снегового обвала!..
— Нет, это от Сконии плугом она
Новину себе отпахала!..
Вот в борозды справа заходит вода,
Вот остров вздымается слева...
Леса и курганы, прощай навсегда!..
Хвала тебе, Гефион-дева!..

А. Коринфский

ПОЧКА РОЗЫ...

Почка розы, ты чиста,
Будто де́вичьи уста!
Жду, лобзания прося;
Вижу, как горишь ты вся!
Я ответа жду, смотрю —
Весь я горю!

Верь ты правде слов моих:
Я не ведал уст иных,
Никого не целовал
И тебя одну лишь ждал!
Изнываю — не брани...
В душу взгляни!

Поцелуешь — песню дам
И прильну к твоим устам!
Ты умрешь, но песня — нет,
Полетит тебе вослед
В мир иной, к тебе одной —
Только к одной!

Дочерям родной страны
Песни мной посвящены...
Поцелуев их я жду!
Пусть торопятся — уйду,
Не открыть могилы дверь...
Лучше теперь!

К. Случевский

КОРОЛЕВА МЕТЕЛЕЙ¹

Темной ночью метель и гудит, и шумит,
Под окошком избушки летая, свистит;
А в избе при огне, у сырого окна,
Ждет красotka кого-то одна.
Все на мельнице стихло... огонь не горит...
Вышел мельник-красавец, к красотке спешит.
Он и весел, и громко и стройно поет,
И по снежным сугробам идет.
Он и с ветром поет, и с метелью свистит,
По сугробам глубоким к красотке спешит...
Королева метелей на белом коне
Показалась вдали, в стороне.
И завыл ее конь, как израненный зверь,
И запела она: «Мой красавец, теперь —
Ты так молод, прекрасен — со мною пойдем!
Ты не хочешь ли быть королем?»
У меня есть чертоги в горе ледяной,
Блещут радугой стены, и пол расписной,
И на мягком сугробе нам быстро постель
Нанесет полуночи метель».
Все темно, и метель и шумит, и гудит...
— Мой красавец! Не бойся, что месяц глядит, —
Чтоб не видел он нас — до земли с облаков
Заколеблется полог снегов.
Ярко солнце блестит в голубых небесах,
И сверкают пылинки на снежных полях,
И на брачной постели покоится он —
Тих и свеж его утренний сон...

Ф. Н. Берг

¹ Из сборника «Поэты всех времен и народов». Издано Костомаровым и Бергом.
Москва, 1862 г.

МЕЛОДИИ СЕРДЦА (1830 г.)

I

Темно-карих очей взгляд мне в душу запал,
Он умом и спокойствием детским сиял;
В нем зажглась для меня новой жизни звезда.
Не забыть мне его никогда, никогда!

II

Гордая мысль моя мощной скалой
К синему небу стремится,
В сердце ж поэта волна за волной,
Словно как в море, клубится!

Образ твой к небу поднимлет скала.
Там он царит на просторе!
Ты же сама свой приют обрела
В сердце глубоком, как море!

III

О, если бы целительная сила
Была в цветах, что ты мне подарила,
Я исцелился бы. Но в них ведь яд разлит,
И раны сердца мне он как огнем палит!

IV

Царицей дум и чувств моих ты стала,
Тебя я первую — последнюю люблю!
Тебя само мне небо указало,
Люблю тебя, люблю и ввек не разлюблю!

V

Увял букет, тобой мне данный,
Но верю, вновь — благоуханный
Воскреснет в песнях он моих.
Узнай и встретить приветом их!

VI

Тебе непонятны ни волн рокотанье,
Ни звучных аккордов, ни песен рыданье,
Ни запах душистый весенних цветов,
Ни пламя сверкающих в небе миров,

Ни пение пташек, встречающих лето,
Так где же понять тебе душу поэта?
Ее не сравнить и с пучиной морскою,
В ней звуки рождаются сами собою,
Весенних цветов аромат в ней разлит,
Священное пламя в ней вечно горит!
В ней борются духи бессмертных желаний
Со смертью — пределом земных упований!

VII

Старинное гласит преданье:
Жемчужины создание
Бедняжке-устрице, живущей в глубине,
Лишь жизни стоит — не дороже!
Любовь! Как перл была дана ты мне
И стоишь мне того же!

Анна Ганзен

У КЛАДБИЩА

В огнях зари алеют облака, —
На посох опершись, стою я молча в поле;
Над сердцем тень, и свет, и смутная тоска:
Так лебедь молодой один грустит, грустит на воле!

В душистой мгле, окрест, вверяюся мечтам
И чувствую наплыв святых воспоминаний;
Я душу распахнул и небу, и цветам —
Так жутко — хорошо!.. но грудь полна рыданий.

Молитвенная тишь! И вдруг, с родных могил,
Где мрак объемлет персь, нашедшую забвенье,
Как сладкий говор струн, как глас небесных сил,
Пернатого певца струится вдохновенье.

Туманный серп луны печально льет лучи,
А звуки говорят: когда он вновь родится,
Ты крепко будешь спать в таинственной ночи,
И небывалый сон в земле тебе приснится!

Кн. Э. Ухтомский

БУК

Высоко держал, как знамя,
Я кудрявую главу!
Соков жизненное пламя
Ствол делил с детьми-ветвями,
Разодетыми в листву.
Гордых деток не бранили
И не били палачи!
Выполняя без усилий
Труд свободный, ветви пили
Утра влагу и лучи.

Мысль отцовская бессменно
И любовь их берегла.
И мечтал я вдохновенно:
Милых деток непременно
Ждут великие дела!

Каждой ветви мачтой стройной
Суждено над морем встать,
Плыть по бездне беспокойной
И в холодный край, и в знойный —
И себя там показать!

Всех ветвей тринадцать было,
И одна лишь, — о позор! —
Только в метлы поступила!
Три других, увы! насилу
Были приняты в забор...
К остальным неумолима
Доля горькая была!
Печь их жадно приняла.
Разлетелась струйка дыму
И осталась... лишь зола!..

В. Величко

ОСЕНЬ

Аист на юг улетел, воробей его занял гнездо.
Вянет лист, падают ягоды спелой рябины на землю;
Холодно, сыро, туманно, и в роще уж рубят дрова;
Ходит по рыхлому полю крестьянин, работая плугом.
В поле над ямой кротов одинокая ласточка вьется,
Жметя в тростник на болоте, о пенье забывши и думать;
Падают капли холодные, крупные с веток деревьев.
Память о прошлом жива — и щемит одиночество сердце.
Точно как в море безбрежном пред грозною бурей,
В царстве природы немое затишье повсюду настало.
Бури оно предвещает, и скоро они разразятся,
Лес обнажится, напомним собой корабельные мачты.
Видно унынье повсюду, затихли и радость, и скорби,
Замерло сердце природы, дышавшей величьем и силой.

Д. Стахеев

РОЗА

Ты улыбнулась мне улыбкой светлой рая...
Мой сад блестит в росистых жемчугах.
И на тебе, жемчужиной сверкая,
Одна слеза дрожит на лепестках.

То плакал эльф о том, что вянут розы,
Что краток миг цветущей красоты...
Но ты цветешь, — и тихо зреют грезы
В твоей душе... О чем мечтаешь ты?..

Ты вся — любовь, пусть люди ненавидят!
Как сердце гения, ты вся — одна краса,
А там, где смертные лишь бренный воздух видят,
Там гений видит небеса!..

П. Гнедич

СКАЗКА О ЖЕНАХ

Корзинщик недаром сидел — мастерил.
Конечно, не ахти что он сотворил,
Но все же красивая вышла новинка.
— Ну, вот, слава Богу, готова корзинка!
Готова! — сказал он вошедшей жене,
А ей — все равно, равнодушна вполне...
— Ну, что ж ты, скажи: слава Богу, готова!
— А вот, не скажу ничего я такого:
Зачем говорить, коли сам ты сказал? —
— Скажи! — И супруг уже палкой махал...
— Нет, нет! Не хочу я! — жена повторяла —
И кончилось тем, что ей крепко попало...
И слезы, и крики... Соседка вошла;
Узнавши, за что потасовка была,
Сказала: «Задаром бедняжка побита!»
Сказала и — хлопнула дверью сердито,
А дома поведала мужу о том,
Как плохо соседке с таким муженьком...
Но муж возразил, покачав головою:
— Никак не могу согласиться с тобою!
Жена — не права. Что на мужа пенять?
Зачем же она не хотела сказать?
— Затем, что не нужно, и — кончено! Что же?
И я ведь сама не сказала бы тоже!...
— Сама? Даже если бы муж приказал?
Ну, знаешь, и я бы тут палочку взял!..
— Возьми! Любопытно мне это и ново!
— Ага! Так скажи: слава Богу, готова!
— А вот не скажу же! Была не была!
И тут тоже палочка в дело пошла...
На крики другая соседка влетела,
Сейчас же узнала доподлинно дело
И громко воскликнула: «Обе они,
Обе побитые, правы вполне!»
Мужу и третья пошла рассказала
И в заключение под палку попала.
Так и пошло: город был невелик,
Но что ни дом, то удары и крик!
Нет, не уважено мужнино слово:
«Вот, слава Богу, корзинка готова!»
Скоро по всей населенной стране



Жены (причины, знать, были одни)
Мужниных слов повторять не желали —
Слышались крики и палки стучали...
Но неужели тут правда видна?..
С этим вопросом к жене обратитесь.

МОРАЛЬ

На поцелуи жене не скупитесь,
Палку — оставьте, не то — берегитесь:
Палкою станет от палки жена!

В. Щиглев

КИРСТИНА И ПРИНЦ БУРИС

В сонном воздухе скошенной пахло травой,
И был воздух прозрачней воды ключевой;
При мерцании звезд засыпала земля;
Но, щекою к щеке и с устами в уста,
Все прощалась в саду молодая чета —
Это были принц Бурис с сестрой короля.
Им прощаться б хотелось всю ночь напролет:
Дрозд в ветвях им любовную песню поет;
Им на ум не придет на терновник взглянуть,
На росу, что слезами усыпала путь.

Была ночь. Весь дворец был как храм освещен;
А принц Бурис был схвачен в ту ночь, ослеплен
И, закованный в цепи, низвержен в тюрьму.
И сестра Вальдемара, бледней мертвеца,
Выступая с ним в пляске, внимала ему:
«Зарумянишься снова ты розою той,
Что принц Бурис сорвал дерзновенной рукой.
Я сотру на меня навлеченный позор»!
И он с ней танцевал, танцевал до тех пор,
Пока мертвой упала она на ковер¹.

Где темница в свободное море глядит,
Прах Кирстины в холодную землю зарыт;
Терн ее окружает могилу.
Каждый день, на цепи, из тюремных ворот
К той могиле слепец одинокий идет —
Он влачит свою цепь через силу;
На лице его бледном терзанье и боль.
Даровал ему велию милость король:
Его ржавая цепь небывало длинна —
До бесценной могилы доходит она.

Пл. А. Кусков

¹ Исторический факт. — Примеч. перев.

ПОЭТ И АМУР (1830 г.)

Поэт:

Как грущу я, одинокий,
Про себя любовь тая!
Сердцу милая далеко:
Ей чужда печаль моя.

Амур:

Ободришь, не плачь, не сетуй:
Стих твой — злато и жемчуг...
И Амур всегда поэту
Покровитель был и друг.

Поэт:

Говорить с ней не могу я,
Жизнь из глаз ее впивать;
И, как ласточка, тоскуя,
Близ окон ее порхать;
Видя сердце в милом взоре,
Гнать сомнения недуг!..
Ах, любовь мою и горе
Позабудет милый друг.

Амур:

Ободришь, не плачь, не сетуй:
Ты счастливее других.
Ведь позволено поэту
Говорить в стихах своих.
Напиши же диво-строки,
Как страдаешь ты, любя.
Кто поймет твои намеки?
Но она поймет тебя.
Напечатай их: для света
Выйдет только том стихов,
Для нее же — я поэта
Разъясню смысл тайный слов.

Пл. Краснов

* * *

Пастушок пасет овец;
Трон его — пенек сосновый,
Месяц — кованый венец.
Солнце — плащ пурпурный, новый.
Он стоит, мечтой объят,
Долго смотрит на закат:
Сердце бьется... Молвить проще,
Горяча молодая кровь —
Ах, любовь
Краше всех деревьев в роще!

Загрустила невзначай
В мрачном замке королева:
Что ей шелк и горностаи! —
Доля девичья плачевна.
Мысль летит, как птичка, вдаль;
Но пройдет ее печаль:
Сердце бьется... Молвить проще,
Горяча молодая кровь —
Ах, любовь
Краше всех деревьев в роще!

Есть из замка тайный ход,
В темный лес бежит тропинка...
Жук шепнул: «Она придет!»
— Вот она! — шуршит былинка.
Свищут птички и Эол:
— Он нашел ее, нашел!
Сердце бьется... Молвить проще,
Горяча молодая кровь —
Ах, любовь
Краше всех деревьев в роще!

Н. Никифоров

КАРТИНКА

Вьется змейкою дорожка;
Покосившийся немножко
Набок домик там стоит.
Дверь с петель слететь грозит;
Словно щурятся оконца
От лучей вечерних солнца.
Вьются ласточки... Щенок
Лает, глядя на порог.
На пороге, улыбаясь
И с ребенком забавляясь,
Мать-красавица сидит;
На щеках заря горит.
Мальчуган здоровьем дышит
И румянцем так и пышет.
Он совсем не хочет спать!
По ножонкам толстым мать
Бьет его за то шутило.
Кот преважно, молчаливо
Дремлет... Ах, какой испуг!
На нос муха села вдруг!
Цап! — Не будь такой задорной!
И опять, что твой придворный,
Развалился, — важный вид!
А дитя как ангел спит!..

Анна Ганзен

ГЕНИЙ ФАНТАЗИИ

Живу я в тишине, в тени долины влажной,
Где резвые стада пасутся под горой,
И часто с пастухом внимаю стон протяжный
Влюбленных голубей вечернею порой.
Когда ж его свирель звучит о счастье нежно
И Филис падает на грудь к нему, — небрежно
Я возле мыльные пускаю пузыри,
Где блещет радуга прощальная зари...

На сумрачной скале, где старый замок дремлет,
В развалинах шумлю я с ветром кочевым;
В чертогах короля мне важность робко внемлет,
И в бедной хижине я плачу над больным.
Я в трюме корабля за тяжкими досками
Смеюсь и шучу над звучными волнами
И в час, когда горит румяная заря,
Задумчиво брожу в стенах монастыря.
В ущелье, между скал, в пещере одинокой
Я демонов ночных и призраков бужу;
На мрачном севере, зарывшись в снег глубокий,
Я молчаливые дубравы сторожу.
На поле грозных битв, в час краткого покоя,
Победой близкою баюкаю героя,
Со странником в степи кочую и певцам
Указываю путь к бессмертным небесам!

Ребенок сам — с детьми я чаще всех бываю.
Доступней волшебство невинным их сердцам.
И маленький их сад при мне, подобно раю,
Цветет и сладко льет душистый фимиам.
Их тесный уголок становится чертогом,
И аист кажется им странным полубогом.
Когда он по двору разгуливает хмур...
И ласточка для них — весенний трубадур.

И часто я с детьми при вечере румяном
Гляжу на облака, плывущие вдали.
Как дышится легко в саду благоуханном,
Как нежно нам журчат ручьи из-под земли!
Мы видим, как, сребрясь, за горы убегает
Гряда отсталых туч, и радуга сияет

Алмазным поясом по светлым небесам,
И чайка белая ласкается к волнам...

Я и с тобою рос; когда ты был ребенком,
Сидели мы вдвоем, смотрели на камин,
Следили за игрой огня на угле тонком,
Где возникал и гас рой пламенных картин.
Мы сказки слушали, не зная лжи опасной,
Звучали вымыслы нам правдою прекрасной,
И с херувимами — покорные мечте —
Мы Бога видели в небесной высоте...

К. Фофанов

ПУТЕШЕСТВИЕ

На Рейне!

Где, обвит лозой кудрявой,
Старый замок величаво
Отражается в потоке;
Колокольный звон далекий
Раздается по волнам, —
Доведется ль быть мне там?
В Париже!
Там базар цветов найду я,
Лувр роскошный осмотрю я,
Пред Вандомскою колонной
Прах почту Наполеона,
Погуляю по садам, —
Но придется ль быть мне там?
В Швейцарии!
Где глубокие озера,
До небес восходят горы;
На утесах дремлют тучи;
И альпийский рог певучий
Раздается по лесам, —
Доведется ль быть мне там?
В Валенции!
Где весною небо дышит,
Ветр лимонный цвет колышет,
Где, смягчая дух мятежный,
Переливы песни нежной
Улетают к небесам, —
Доведется ль быть мне там?
В Данию!
Где летят в струе воздушной
Облака грядой послушной,
Где живут воспоминанья,
Где волшебные преданья
Про минувшие года, —
Всею душой стремлюсь туда!

Пл. Краснов

ДЕВОЧКА У ЦЕРКОВНОЙ ОГРАДЫ

Через кладбище путь лежит,
Кресты чернеют, снег блестит,
Скрыв ряд могил от взора;
Старик пастор домой идет,
Луна над церковью встает, —
Наступит полночь скоро.
В сиянии месячных лучей
Стоит малютка у дверей;
Бледна, глядит несмело.
Подходит к ней старик пастор:
«Кто ты и здесь с которых пор?
Ты вся похолодела!»

«Пустите, дедушка, меня!
Об этом маме знать нельзя!
Она и так все плачет».
«Тебе не сделаю я зла,
Но ты зачем сюда пришла?
Кровь на руке что значит?»

«Ах, много слез я пролила!
Но в чем к спасенью путь нашла —
Сказать решусь едва ли...
За долг отец в тюрьме сгниет,
Весь скарб наш взят, псалтырь — и тот
За бедность нашу взяли.

О бедных детях плачет мать,
Им корки хлеба негде взять...
Там дома тяжело, тяжело...»
«Не стой же тут, мое дитя!
Что за письмо ты от меня
Стремишься скрыть, бедняжка?
Дай мне его! Мне жаль тебя.
Что ж это? Кровь на нем твоя?
Что тут ты начертала?»
«О, не сердитесь! Знаю я,
Что делать этого нельзя,
Но мама так рыдала!
Она сказала: только Бог
В несчастье нам помочь бы мог!

В его руках спасенье!
Но помощь к нам не шла, — тогда
Я ожидать пришла сюда
Полночи наступленья.

Разрезав руку в кровь свою,
Я этим душу продаю
Не духу зла, а Богу...
Бог любит деток, — Он возьмет
Меня к себе, а сам придет
К нам, в дом наш на подмогу.

Но маме знать о том не след,
У ней и так уж много бед,
А новых слез не надо...»
Старик ей крепко руку жмет:
«Дитя, Господь тебя спасет
И даст тебе отраду!..»

А. Михайлов

ДОЧЬ ВЕЛИКАНА (1830 г.)

Глубоко под землею, в утробе крепких гор
Палаты великана таятся с давних пор.
Там блещет позолотой и живописью свод,
Там дочка великана красуется-цветет...

Стройна и величава в расцвете красоты,
Та дочка вышла ростом поболее версты...
В руках перебирая две пары бревен-спиц,
Она усердно вяжет чулочки для сестриц.

Когда же от работы захочет отдохнуть,
Идет она на воздух, где легче дышит грудь,
Где куполом над нею синее свод небес,
Где кажется ей лугом густой зеленый лес...

Дома, лачуги, церковь пред нею вдалеке
Расставлены, как будто игрушки на лотке...
По лугу вековому привольно ей гулять,
На озеро ложиться, на влажную кровать...

В венок себе вплетая бруснику, бересклет,
Идет она и песню веселую поет;
Срывает для букета сосну, и дуб, и клен
И дергает березы, как вереск или лен.
Но вот пред нею что-то копается в пыли,
Едва-едва приметно над скатертью земли...
К отцу она с находкой вбегает, весела.
— Смотри, что я сестренкам с прогулки принесла!

И ручку опускает проворно в свой карман...
Но смотрит на находку, прищурясь, великан
И молвит полустрого: — Хвалить я не могу,
Что ты еще не знаешь всю эту мелюзгу.

Пусти ее тотчас же! Хоть ростом и мелка,
Она не бесполезна и разумом крепка.
В моих палатах каждый крупней ее сверчок;
Но это — плуг с волами, а это — мужичок.
Он создан, чтобы в зелень рядить откосы гор
И сеять рожь, премилый для плоскости убор;

Нет! надо знать природу и в горной тесноте;
Прочти у Блуменбаха об этой мелкоте!

Задумалася дочка — и часто с той поры
Лучи мелькают света из трещины горы:
В палате под землею свеча горит всю ночь,
Читает до рассвета задумчивая дочь.

Вникает в Блуменбаха, забыла о чулке
И целый день болтает о крошке мужичке,
О маленьком творенье, налегшем на плужок...
Сестренки же гуляют по залам без чулок.

Н. Аксаков

ЛИЗОЧКА У КОЛОДЦА

Колодец вырыт подле дома.
Подходит Лизочка к нему,
Глядит, задумавшись невольно,
В его таинственную тьму.

Малютке мама говорила,
Что в том колодце есть приют
Иль магазин такой, откуда
Порою деток достают...
Да, да! И даже крошка Лиза,
Над ним стоящая теперь,
Тому назад четыре года
На свет пришла чрез ту же дверь.

Еще был вытащен недавно
Ей из хранилища ребят
И брат, которого большие
Целуют так и теребят!

В колодец долго смотрит Лиза.
— Ужель детей там больше нет?
Иль все попрятались за камни
До появления на свет?

Сестра, положим, уверяла,
Что аист нас, детей, принес,
Что он девчонок и мальчишек
В гнезде скрывает... Но вопрос:

Как разбирает это аист?
Из них никто ведь не одет...
И их так много!.. Сомневаюсь.
Оно совсем не так! Нет! нет!

Наверно, все живут в колодце:
Ведь я сама же там была!..
Да и теперь там на поверхность,
Я вижу, девочка всплыла!
Вишь, улыбается плутовка!
Ну! вылезай ко мне скорей!
Она на Лизочку похожа

Лицом и золотом кудрей!

Ах! если б только эту крошку
Могла достать оттуда я!
Она куда красивей, лучше,
Чем кукла глупая моя!..

В. Величко

* * *

Покров рассеялся туманный,
Весна! Вольнее дышит грудь,
И ветерок благоуханный.
И солнца луч — зовет нас в путь,
Рождая смутную тревогу!..
Поднимем парус, и — вперед.
Без колебаний в путь-дорогу.
Кто путешествует — живет.

Умчимся мы быстрее птицы
На крыльях пара далеко.
Как вешних тучек вереницы
Кругом сменяются легко,
Бегут пред нами прихотливо
Иные страны, небеса...
Какое счастье — в час прилива
Поднять свободно паруса!

Я слышу пташки щебетанье,
В окно стучит она крылом!
Скорей! Умчимся за теплом
И светом истинного знанья!
Сорвем рукою смелой плод
Всего, что дивно и прекрасно!
Поднимем парус! Небо ясно!
Кто путешествует — живет!

О. Чюмина

ПОЭЗИЯ (1832 г.)

Поэзия — мечты в действительность стремление.
Гармония страстей в хаосе бытия;
Поэзия — небес земное отражение,
Поэзия — всех чувств и мыслей выражение;
Пусть близится мой путь в загробные края,
Я знал поэзию, она была — моя!..

За облака взбегают горы,
И водопады, и леса;
И видят, близко видят взоры
Обитель Бога — небеса...
Там дремлет мысль, но сердце слышит,
Что мир поэзии с ним дышит!

При тусклой лампе, под землею,
Стальной киркой камень бьет
Работник шахты и с тоскою
Одну и ту же песнь поет;
Пред ним в мечтах семья родная,
А с ней — поэзия живая!..
В пороховом дыму поляны,
За лесом город — весь в огне...
Там башни падают титаны,
Там смерть гарцует на коне,
Там пули сыплют знойным градом,
Там бьет поэзия каскадом!..

Плывет корабль... В глубоком трюме
Попарно скован груз живой...
Застыло море в тяжелой думе...
Чу, плеск раздался роковой:
Двумя рабами меньше стало!
И здесь — поэзия витала...

Скалистый остров в море дальнем;
Могила... В ней — колосс земли,
Умерший странником опальным...
Проходят мимо корабли...
И этот остров, эти волны —
Поэзии высокой полны!..

Когда любовь твою оценит,
Когда мечты твои поймет
Она — чье сердце не изменит,
Кого своей твое зовет, —
Когда она без слов все скажет,
Тебя поэзия с ней свяжет!..

Когда твой лучший друг забвенью
Предаст заветы лучших дней
И в жертву чуждому глумленью
Отдаст цветы весны твоей,
И дружба холодом повеет —
Тебя поэзия согреет!..

Ребенка грезы, тихий ропот
Старухи-памяти седой,
Разбитой жизни горький опыт,
Очаг с покинутой женой
В кругу детей... Семьи руины...
Во всем — поэзии картины!..

А звуки музыки, а пляска,
А знойной молодости хмель!
А зрелых лет живая ласка,
Могила — дней преклонных цель!..
Вся жизнь и все ее стремленья
Несут поэзии волненья!..

Я чувствовал себя и сильным, и свободным,
Душа моя плела из радостей венец...
Пусть радостям земли, живым и благородным,
Как листьям и цветам под вихрем дней холодным,
В дни осени моей — безрадостный конец,
Всю жизнь мою согрел поэзией Творец!..

А. Коринфский

АГНЕТА

(Из драматической поэмы «Агнета и водяной», 1833 г.)

Печалить я должна — всех, с кем живу,
Стремясь к тому, чего сама не знаю.
Живые сны я вижу наяву,
Но, жизнь любя, я к смерти взор склоняю.
Мои мечты повсюду — об одном:
Уснуть и вечно спать холодным сном.

Когда, устав, притихнет вод волненье,
Хочу я быть на дне морском, вдали,
Лежать и видеть каждое мгновенье,
Как надо мной проходят корабли,
И сладко спать в зеленой колыбели,
Забыв земные бури и метели.
Когда ж встает за валом дикий вал,
Когда ворчат свирепые буруны,
Меня влечет — прыгнуть с прибрежных скал,
В душе звучат загадочные струны,
На гребнях волн мне хочется уснуть,
Соленый запах брызг в себя вдохнуть.

Как труп, земля должна парчой прикрыться,
Весной одеться в мантию цветов,
А море вечно дышит — и стремится
Раздвинуть ширь далеких берегов,
Оно всегда самым собой прекрасно,
Таинственно, непобедимо, властно.

К. Бальмонт

СТАРЫЙ ШТУРМАН (1833 г.)

Устаю на берегу 'я,
Бремя чувствую годов;
Рвусь я в море, молодею
Там вдали от берегов.
И когда, вконец усталый,
Успокоюсь в вечном сне,
Вы меня, окутав флагом,
Смело вверите волне.
Ведь Господь меня, коль хочет,
На морском отыщет дне!

А. Саломон

ДЕТИ ГОДА

Родил двенадцать деток год.
Пущу их аттестаты в ход!..

Январь — сын первый, он не глуп:
От стужи прячется в тулуп.

Гуляка — брат его, Февраль;
Рублей на масленой не жаль.

А Март пачкун и нравом дик;
В грязи валяться он привык.

Апрель простужен, и для нас
Его улыбки — ряд гримас.

Май с доброй славою знаком,
Но и его бранят тайком.

Июнь сулит миллион чудес
И манит в поле нас да в лес.

Июль порой обдаст дождем,
Но урожай мы славный ждем.

Украсит Август все сады:
Повсюду ягоды, плоды!..

Сентябрь — художник: по плечу
Ему леса рядить в парчу.

Октябрь хандрит: он зол и хмур,
Что лето кратко чересчур.

Ноябрь трубит в волшебный рог,
И в бурю вихрь нас валит с ног.

Декабрь в углу, в тепле сидит
И деток «елкой» веселит.

Н. Никифоров

ЖЕНЩИНА С ЛУКОШКОМ ЯИЦ

(Старая история в новых стихах)

В деревне, что под городом, жила-была владелица
Крестьянской всякой всячины и курицы единственной.

А курица как курица, несла, известно, яйца —
Все по яичку в день.

По счету этой женщины скопилось два десяточка —
Выходит дело ладное!.. Заботливо, старательно

Сложивши их в лукошечко, она его на голову
Поставила как следует

И в город побрела.

Дорога все же дальняя, а в одиночку кажется

Она еще томительней, так время есть раздумывать

Да барыши рассчитывать... Что ж, всякому желателен
Хороший-то барыш!

Идет она, торопится и вслух усердно думает:

— Ну да, за два десяточка рублишко, верно, выручу,

А выручу, так парочку я кур себе куплю —

Вот три уж будет курицы! Известно, значит, каждая
Яиц мне нанесет,

И снова будут денежки, а коли будут — троечку

К тем трем приобрету... Ну вот, как дело сладится,

Яичек понакопится, я половину добрую

Продам, а весь остаточек — на выводку цыплят...

Ах, батюшки! Глядите-ка:

Куриный целый двор!

Яиц, цыплят и курочек не сосчитать хозяйюшке!

Недолго тут — о Господи, совсем разбогатеть!

Гусей куплю я парочку, потом барашка славного —

Торговля и расширится: есть яйца, есть курицы,

Перо и даже шерсть!

А как мощна наполнится, тогда и поросеночка

Куплю, да и коровушку, а может быть, и две!..

Через годик — глядь: высокие хоромы словно выросли!

Работники, работницы идут толпой к хозяйюшке.

А с поля гонят скот...

Вот тут жених и явится, а у него хоромы-то

Куда моих обширнее! «Позвольте, мол, сударыня,

Мне вашу ручку правую сейчас поцеловать!»

И — ах, какою гордою тогда пройдуся я павою!

Нос этак задеру...

И задрала!.. Лукошечко свалилось — трах! и яйца,
Попадавши, разбились, а вместе с ними рушились
Хоромы разноцветные... А что ж, и это, кажется,
Пожалуй, хорошо?..

В. Шиглев

РОДИНА

От каждой мелочи ты болен:
В глаза ли малая пылинка попадет,
Прохожий ли тебя на улице толкнет, —
Тотчас ты родиной и жизнью недоволен...
И лица глупые людей,
И лестниц скользкие перила,
И скука мертвых, серых дней —
Вся жизнь тебя своим уродством утомила,
За все проклятье шлешь ты родине своей!..

А только что ее покинешь, — за тобой
Воспоминаний ангел светлоокий
Летит и все поет о родине далекой,
О милых летних днях, о жатве золотой,
О многозвездной тьме январской ночи, —
И вдруг — забыто все, полны слезами очи,
И мил родной язык среди чужих людей
Тебе, как ласка матери твоей!

Весь мир ты облети, но как бы ни пленила
Краса чужих небес, ты будешь им чужой:
Таинственная нить навек соединила
Тебя с родимой землей.
Напрасно ищешь ты свободы:
Чем дальше от нее, тем крепче эта нить,
Тоски по родине ничем не победить, —
В ней — сила вечная природы!

Ах, все изменчиво, и все проходит мимо,
Но только власть земли родной неодолима!
Она сердца людей, чрез земли и моря,
Таинственно влечет, как сила янтаря...
Тоска по родине — здоровье, правда жизни;
Она когда-нибудь от горя и забот
На крыльях, более могучих, унесет
Нас к Вечному Отцу и к неземной Отчизне!

Д. Мережковский

* * *

Когда весна благоухала,
Сорвав одну из первых роз,
Ты в темный шелк своих волос
Ее с улыбкою вплетала.
Но лето красное пришло,
И ты с волнением затаенным
Плела венок в саду зеленом,
Склоняя юное чело.

Пора осенняя настала,
И пестротой ее цветов,
Как целым рядом орденов,
Ты грудь беспечно украшала.

Теперь — зима. Среди полей
Цветы увяли безнадежно,
И потому ты можешь нежно
Прижать меня к груди своей!

О. Чюмина

* * *

Я далеко от берега родного,
Я одинок, и одинок мой путь,
Но ты со мной, песнь детства дорогого,
Ты солнца луч, тобой согрета грудь!

Ты зазвучишь, и розой расцветает
Воспоминаний ласковый цветок,
И родины картины открывает
Мне, распускаясь, каждый лепесток!

Вот остров мой; с него прохладой веет,
Задумчиво дремучий лес растет,
И озеро спокойное синеет,
И лебеди скользят по лону вод!

А. Саломон

СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК (1833 г.)

Зажигают на елке нарядной огни,
А за дверью заветною дети толпятся
И смеются, и к скважине шумно теснятся...
О, как бьются сердца, как блаженны они!
Их отцы также счастливы нынче и юны...
Только я... О, зачем вас, уснувшие струны,
Пробуждать! Ведь на радость беспечную их
Я в замерзшие окна могу любоваться:
Подышу на стекло — и начнут расплавляться
Ледяные узоры цветов ледяных.
О, безгрешное детство! О, юность святая!
О, надежд легкокрылых смеющийся рой!
Всюду радость, — лишь я, о былом вспоминая,
Поникаю усталой своей головой.
Я один — в дни ль веселья, в годину ль ненастья;
Вечный сумрак в душевной моей глубине.
«Он не знал никогда бесконечного счастья
Разделенной любви»... — говорят обо мне.
Да, мне сладкие грезы солгали, как сказки!
Я был беден и молод, а годы все шли...
И увидел я розу — волшебные краски
Мне блеснули в глаза... и надежду зажгли.
Все пред нею я жаждал излить, ослепленный,
Все, что звездам шептал я в час ночи бессонной...
Но другой подошел и сорвал мой цветок,
Мой любимый цветок, мой цветок благовонный...
Оттого-то, о дети, я так одинок,
Холостяк, сединой убеленный!..

Ф. Червинский

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЕЗУВИЙ

(Во время извержения 24 февраля 1834 г.)

Под защитой гор лиловых
Спит Неаполь. На волнах
Реет Иския в багровых,
Угасающих лучах.

Снег в расщелинах сверкает,
Будто стая лебедей;
Грозный конус потрясает
Прядью огненных кудрей.
Выше, выше по тропинке!
Торопись — уже темно!
Здесь не встретишь и былинки:
Без следа все сожжено.

Мулы, бережно ступая,
Поднимаются с трудом;
Гору звездами венчая,
Блещет лава над жерлом.

Дальше нет дороги мулам,
И долой с них — в добрый час!
Берегись! С зловещим гулом
Камень катится на нас.

Выше! выше! Издалека
Буря мечет в нас золой.
О, как тяжек зной сирокко!
Почва дышит под ногой.
Тьма нависла черной тучей.
Будто речка между скал.
Но без волн, струей тягучей
Льется пламенный металл.

Вместо месяца над нами
Шар пылающий висит;
К небу черными столбами
Дым взлетает: все горит!
Месяц меркнет в клубах дыма.
Мы стоим не шевелясь.

Гром и пламя; камни мимо
Низвергаются, дымясь.
Мнится, в бездне сокровенной
Небу гимн земля поет.
Страшно! дивно! несравненно!
Сердце к Богу с верой льнет.

В. С. Лихачев

МОЕ ИЗВИНЕНИЕ
(1835 г.)

Пусть осуждают
Мои стихи
И в них находят
Везде грехи.

Пусть даже скажут,
Коли хотят,
Что то из Гейне
Лишь плагиат.

Пускай и вправду
Сходны они,
Тому виною
Лишь Бог любви!

Кн. Д. Цертелев

ИЗ РОМАНТИЧЕСКОЙ ДРАМЫ «МУЛАТ» (1835 г.)

Нет на нем алмазов, не блистает злато,
Повелитель негров убран небогато:
Брошена пантера на нагие плечи...
Он идет с охоты. Для веселой встречи
С кликами и песней двинулся народ.

Жрец, старик степенный, став перед толпою,
Поздравляет князя с первенцем-княжною,
Подает малютку, князь ее ласкает —
На устах улыбка, взор его пылает.
Грохот барабанов, трубный звук растет.

Жизнь княжну встречает светлою улыбкой:
Скоро ей на плечи ляжет пурпур гибкий;
Ей венец из перьев холит страус белый;
«Жемчугом долины» королевич смелый
Назовет любовно княжескую дочь.

Плещется, купаясь, лебедь перед нею, —
И дрожит, и жметя, и сгибает шею...
Новой Афродитой стала дева юга,
Из пустыни знойной ждет она супруга.
Стройного красавца, черного как ночь.

Одинок, покинут лебедь белоснежный:
Кровью и слезами залит склон прибрежный,
Паруса надулись южными ветрами...
Ты плывешь, царевна, с черными рабами.
И тебя отчизне не вернет волна!

Ты на поле чуждом станешь вечной жницей,
И покроют плети стан твой багряницей,
Пурпур не покинет молодого тела!
Жни, не уставая, в счастье веруй смело:
Ласкою хозяйской ты награждена!
Князь погиб. К кургану, из чужого края,
Вал бежит приветный, тяжело вздыхая...
Время было о князе в песне сохранило...
Грузными слонами стопчется могила, —
Догорит в неволе черная княжна.

Вл. Гр. Жуковский

ДОБРОВОЛЕЦ (1848 г.)

Не в силах я медлить... бежит мой покой, —
Влечет меня к сече кровавой.
Светло наше знамя, его Всеблагой
Покроет нетленною славой.
Века ты, о Дания, мощной была,
Но буря недаром ревела:
Ты дрогнула... Ныне даль снова светла;
О, слишком ты долго терпела.

Мы дышим отвагой; не властны над ней
Врагов разъяренных угрозы;
Щиты наши лилий весенних белей.
Мечи наши страшны, как грозы.
Мой дух закален, весь я полон огня...
Спасибо, о мать, что пред битвой
От тайных тревог и сомнений меня
Святой оградила молитвой!

Прощайте ж, друзья! Отлетел мой покой,
Влечет меня к сече кровавой.
Светло наше знамя — его Всеблагой
Покроет бессмертною славой.

Ф. Червинский

«ДАНИЯ — МОЯ РОДИНА»
(1849 г.)

В цветущей Дании, где свет увидел я,
Берет мой мир свое начало;
На датском языке мать песни мне певала,
Шептала сказки мне родимая моя...
Люблю тебя, родных морей волна,
Люблю я вас, старинные курганы,
Цветы садов, родных лесов поляны,
Люблю тебя, отцов моих страна!..

Где ткёт весна узорные ковры
Пестрей, чем здесь, — богаче и душистей?
Где светит месяц ярче и лучистей,
Где темный бук разбил пышней свои шатры?..
Люблю я вас, леса, холмы, луга,
Люблю святое знамя «Данеброга», —
С ним видел Бог победной славы много!..
Люблю я Дании цветущей берега!..

Царицей севера, достойною венца,
Была ты — гордая своею долей скромной;
Но все же и теперь на целый мир огромный
Звенит родная песнь, и слышен звук резца!..
Люблю я вас, зеленые поля!
Вас пашет плуг, места победных браней!..
Бог воскресит всю быль воспоминаний,
Всю быль твою, родимая земля!..
Страна, где вырос я, где чувствую родным
И каждый холм, и каждый нивы колос,
Где в шуме волн мне внятен милый голос,
Где веет жизнь пленительным былым...
Вы, берегов скалистые края,
Где слышны взмахи крыльев лебединых,
Вы, острова, очаг былин старинных, —
О, Дания! О, родина моя!...

А. Коринфский



ТЕРНОВНИК (1851 г.)

Графчик встретил нечаянно Грету-красу:
Землянику она собирала в лесу.
Земляника чудесная, алого цвета...
— Что за встреча! — вскричал он. — Ну, милая Грета.
Я тебе помогу, помогу!

— Я одну уж нашел! Как свежа, как чиста!
Что за вкусная ягодка... эти уста!
Что красавица ты — лишь тебе неизвестно...
Ничего! Как приятель — охотно и честно
Я тебе помогу, помогу!..

Рос терновник вблизи... Отчего-то стремглав
Графчик в куст полетел и забился, упав...
Скрылась Грета, «спасибо» сказав не без смеха!
Куст колючий, щетинистый... То-то потеха!
Вот тебе «помогу, помогу!...».

В. Лебедев

ПТИЧКА И СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ¹

За крепкой, железной решеткой,
В холодных и тесных стенах,
Лежит на истлевшей соломе
Угрюмый преступник в цепях.
Вот луч заходящего солнца,
Играя, упал на окно.
Ведь солнце лучи рассыпает
На злых и на добрых равно.
Играющий луч в каземате
И стены, и пол золотит.
На луч с отвращеньем и злобой
Угрюмый преступник глядит.

Вот птичка к окну прилетела
И с песнею села за ним.
Ведь птичка-певунья щебечет
Равно и хорошим и злым.

Сидит на решетке железной
Она и щебечет: квивит!
Вертит миловидной головкой
И глазками чудно блестит.

И крылышки чистит и холит,
Встряхнется, на миг отдохнет —
И перышки снова топорщит
На грудке, и снова поет.

И, глаз не спуская, на птичку
Угрюмый преступник глядит.
По-прежнему руки и ноги
Железная цепь тяготит...

Но легче на сердце; светлеет
Лицо, злые думы бегут,
И новые мысли и чувства
В душе одичалой растут.

¹ Переложение сказки Андерсена «С крепостного вала» (см. т. I, с. 275). — Примеч. перев.

Ему самому непонятны
Те мысли и чувства, — они
Лучу золотистому солнца
И нежным фиалкам сродни;

Тем нежным, душистым фиалкам,
Что в дни благодатной весны
Растут и цветут у подножья
Высокой тюремной стены.

Чу! Звуки рогов... Это трубят
Стрелки на валу крепостном.
Какой отголосок стозвучный
Прошел, прокатился кругом!

Испуганно птичка вспорхнула
С решетки и скрылась из глаз.
И солнечный луч побледневший
В тюремном окошке погас.

Погас — и в тюрьме потемнело.
И снова, суров и угрюм,
Преступник лежит одиноко,
Под гнетом вернувшихся дум.

А все-таки доброе дело,
Что птичка пропела ему,
Что солнце к нему заронило
Луч света в глухую тюрьму.

И. Суриков

ФИРДУСИ¹

Среди высоких пальм верблюды издалека
Дорогой тянутся; они нагружены
Дарами щедрого властителя страны,
Несут богатый груз сокровища востока.
Властитель этот дар назначил для того,
Кто не искал наград и жил среди лишений,
Кто стал отрадою народа своего
И славой родины... Он найден, этот гений.
Великий человек, кто низкой клеветой
И завистью людской отправлен был в изгнание.
Вот бедный городок: измученный нуждой,
Изгнанник здесь нашел приют и сострадание.
Но что там впереди? Из городских ворот
Покойника несут навстречу каравану.
Покойник тот убог; за ним нейдет народ,
Он в жизни не имел ни золота, ни сана.
То был холодный труп великого певца,
Умершего в нужде, изгнании и печали, —
То сам Фирдуси был, которого искали...
Тернистый славы путь прошел он до конца!

И. Суриков

¹ Переложение одного из эпизодов сказки «Тернистый путь славы» (см. т. I, с. 429). Оба переложения взяты из полного собрания стихотворений Сурикова, изд. Солдатенкова. — *Примеч. перев.*

ЧУДО
(1875 г.)

Однажды мумию на север привезли
От хмурых пирамид ее родной земли.
Гласил иероглиф, что множество веков
Покоилась она среди немых песков...
В дни смерти мумию украсили пышной
И колос золотой вложили в руку ей...
И здесь, на севере, из рук ее зерно
Весной посеяли — и выросло оно!..
О, чудо! Вместе с ним в нас вера возросла!
Напрасно годы шли, меняясь без числа, —
Зерно ничтожное и жило, и живет...
Так наш бессмертный дух, среди земных невзгод,
Порой покинет свет, покинет жалкий прах —
Но сам живет, живет — и будет жить в веках!..
Да, чудо наша жизнь и вечности сильней;
Постичь нельзя ее, но чудо, чудо в ней!..

В. Лебедев

ВЕЧЕР

И день и ночь — царят попеременно.
Безмолвен лес. Не дышит ветерок.
Но есть сердца, где мрак царит бессменно,
Где никогда не заблестит восток.

О, ниспошли, Создатель милосердный,
Всем жаждущим, всем страждущим — покой,
Чей дух не спит, тревожный и усердный,
Всем, кто скользит над бездною морской.
Кто, бедный, утомленной головою
Там глубоко, в угрюмых рудниках,
Склоняется над жилой золотою
И чахнет в черном мраке, как в тисках.

Всех, кто не знал блаженного мгновенья,
В чьем сердце — месть, чьи скудны шалаши, —
Пролей бальзам целебного забвенья,
Всех успокой, всех бурных утиши!

К. Бальмонт

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЬ ПОЭТА

Час пришел — так бери же, неси меня, Смерть,
В беспредельные области духа!
Без расспросов — куда? я прошел путь земной,
Изволением свыше ведомый...
Что я людям давал, — я давал не свое,
А что было мне подано свыше,
И не знал, не считал, не ценил, что даю.
Пел, как Божья в поднебесье птичка...
До свиданья ж, друзья! Мир цветущий, прощай!
С благодарной душой вас покину —
Славя Бога за все, что мне дал — что мне даст —
В бесконечном пути к совершенству!..
Уноси ж меня, Смерть, над пучиной времен,
Ближе — ближе все — к Вечному Свету!

А. Майков

СОДЕРЖАНИЕ

ИМПРОВИЗАТОР. Роман в двух частях 5

ПЕТЬКА-СЧАСТЛИВЕЦ 251

КАРТИНКИ-НЕВИДИМКИ 307

ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ 335

ПЕРВЕНЕЦ. Комедия в одном действии 395

ДОРОЖЕ ЖЕМЧУГА И ЗЛАТА. Фантастическая комедия в четырех
действиях 413

ГРЕЗЫ КОРОЛЯ. Романтическая драма в одном действии 453

СТИХОТВОРЕНИЯ 483

**Ганс -Христиан
АНДЕРСЕН**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ 3

Редактор

С. Кондратов

Художественный редактор

И. Сайко

Технический редактор

Г. Шитова

Корректоры

В. Антонова, М. Александрова,

В. Рейбекель

**ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 3.03.95. Формат 70 X 100 1/16. Бумага
офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 44,2. Уч.-изд. л. 36,77. Тираж 15 000 экз. Заказ 812**

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

**Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.**

**Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском полиграфкомбинате Комитета Российской
Федерации по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.**

